





PG 3350.5  
.Y 6  
A 92  
1893

799-1837.

*[Handwritten scribbles and signatures]*


THE LIBRARY OF THE  
UNIVERSITY OF  
NORTH CAROLINA



ENDOWED BY THE  
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC  
SOCIETIES

PG3350.5  
.Y6  
A92  
1893






10003147435

[illegible]





Digitized by the Internet Archive  
in 2022 with funding from  
University of North Carolina at Chapel Hill

<https://archive.org/details/iunosheskiegodyp00aven>











PG 3350.5

.Y6

A92

1893

# ОТРОЧЕСКІЕ ГОДЫ ПУШКИНА

БІОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ

В. П. Авенариуса.

„Въ тѣ дни, когда въ садахъ лица  
Я безмятежно расцвѣталъ,  
Читалъ охотно Апулея,  
А Цицерона не читалъ,  
Въ тѣ дни, въ таинственныхъ долинахъ  
Весной, при кликахъ лебединыхъ,  
Близъ водъ, сіявшихъ въ тишинѣ,  
Являться Муза стала мнѣ.“

(Евг. Онегинъ.)

Изд. 3.

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ  
въ первый разъ иллюстрированное.

Съ 8-ю рисунками и портретомъ Пушкина

Въ первомъ изданіи одобрено Ученымъ Комитет. Мин. Народн. Просвѣщ. для  
ученическихъ и фундаментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній,  
мужскихъ и женскихъ, и Учебнымъ Комит. вѣдомства Императрицы Маріи для  
чтенія въ трехъ старшихъ классахъ и для подарковъ и рекомендовано Главнымъ  
Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе книжнаго магазина П. В. Луковникова.

Лештуковъ переулочъ, д № 2—80.

1893



Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 25 ноября 1893 г.



— ОГЛАВЛЕНІЕ. —

	СТР.
Глава I. Поэтъ-дядя и поэтъ-племянникъ . . . . .	5
» II. Въ ожиданіи экзамена. . . . .	17
» III. Экзаменъ . . . . .	29
» IV. Молодое вино бродить . . . . .	40
» V. Молодое вино бурлитъ. . . . .	52
» VI. Первый привѣтъ лица . . . . .	59
» VII. На новосельи. . . . .	68
» VIII. Тюрьма или клѣтка? . . . . .	77
» IX. Открытіе лица . . . . .	90
» X. Колесо завертѣлось. . . . .	100
» XI. Первая «проба пера» . . . . .	110
» XII. Штрафной билетъ . . . . .	120
» XIII. Правнукъ арапа Петра Великаго. . . . .	128
» XIV. Первый расцвѣтъ лицейской Музы . . . . .	141
» XV. Война 1812 года. (Первый періодъ.) . . . .	153
» XVI. Гувернеръ-театраль . . . . .	163
» XVII. Театральная горячка и роковой исходъ ея. . .	174
» XVIII. Война 1812 года (Второй періодъ.) . . . .	185
» XIX. Стихотворныя шалости . . . . .	196
» XX. Литературныя розы и тернія . . . . .	205
» XXI. Книги Веды. . . . .	220









## ГЛАВА I.

### ПОЭТЪ-ДЯДЯ И ПОЭТЪ-ПЛЕМЯННИКЪ.

„Мой дядюшка-поэтъ  
На то мнѣ далъ совѣтъ  
И съ Музами сосваталъ“.

(Послание къ Дельвигу.)

„Ты, бѣсенокъ, еще молодецъ,  
Со мною тягаться слабенекъ!“

(Сказка о купцѣ Остолопѣ.)

**В**ъ необычную пору дня, въ 9-мъ часу утра, 12-го августа 1811 года, по Невскому проспекту, усаженному еще въ то время четырьмя рядами тощихъ липъ, катился щегольской фаэтонъ. Маленькій груммъ въ парадной ли-  
вреѣ сидѣлъ сзади, на возвышенныхъ запяткахъ, со скрещенными на груди руками, потому что экипажемъ правилъ самъ владѣлецъ его, молодой еще человѣкъ, лѣтъ 26-ти. Полное и красивое лицо его дышало душевнымъ благородствомъ и неподдѣльною добротой. Въ быстрыхъ глазахъ его свѣтился живой, пытливый умъ.



То былъ общій любимецъ высшаго круга Петербурга и Москвы, Александръ Ивановичъ Тургеневъ \*). Лично хорошо извѣстный всему Царскому Дому, онъ, благодаря своему блестящему образованію, своимъ рѣдкимъ способностямъ и душевнымъ качествамъ, шелъ быстро въ гору и, уже годъ тому назадъ, занялъ высокій постъ директора департамента духовныхъ исповѣданій. Но этотъ баловень судьбы, казалось, заботился не столько о собственной своей карьерѣ, которая устраивалась какъ-бы сама собою, сколько о судьбѣ близкихъ ему людей, которые, безъ его поддержки, не пробили бы себѣ, быть можетъ, дороги къ жизни.

Такъ и сегодня, несмотря на свою природную тучность и склонность къ пуховикамъ, онъ нарочно поднялся такъ рано изъ-за 12-тилѣтняго мальчугана, судьбу котораго взялъ въ свои руки. Въ Царскомъ Селѣ должно было открыться на-дняхъ привилегированное учебное заведеніе совершенно новаго образца, именно — лицей, куда московскій пріятель Тургенева, Сергѣй Львовичъ Пушкинъ, во что бы то ни стало, желалъ опредѣлить своего старшаго подростка — сына Александра. По особенной только протекціи Тургенева мальчикъ былъ занесенъ въ списокъ кандидатовъ въ лицей; самъ же Тургеневъ привезъ его изъ Москвы, а теперь ѣхалъ напомнить, что сегодня предстоитъ пріемный экзаменъ, потому что какъ было положиться на маленькаго вѣтреника? Какъ было положиться и на дядю его, Василья Львовича Пушкина, пріѣхавшаго также вмѣстѣ съ нимъ изъ Москвы?

---

\*) Родственникъ нашего знаменитаго писателя И. С. Тургенева.



Тотъ, какъ стихотворецъ, виталъ, обыкновенно, въ заоблачномъ мірѣ, а теперь, ктому же, весь былъ поглощенъ однимъ литературнымъ споромъ. Дѣло въ томъ, что въ одномъ посланіи къ другу своему, Жуковскому, онъ имѣлъ неосторожность похвалиться знаніемъ древней литературы:

„Виргилій и Омиръ, Софокль и Эврипидъ,  
Горацій, Ювеналь, Саллюстій, Фукидидъ  
Знакомы стали намъ...“

На это прежній другъ, а теперь заклятый журнальный врагъ его, президентъ академіи наукъ Шишковъ, позволилъ себѣ, въ полномъ собраніи академіи, заявить, что есть-де «стихотворцы, которые взываютъ къ Виргиліямъ, Гомерамъ, Софокламъ, Еврипидамъ, Гораціямъ, Ювеналамъ, Саллюстіямъ, Фукидидамъ, затвердя только имена ихъ, и—что всего удивительнѣе—научась благодѣланію и знаніямъ въ парижскихъ переулкахъ».

Василій Львовичъ Пушкинъ, особенно гордившійся своимъ французскимъ воспитаніемъ и личнымъ знакомствомъ съ французскими писателями, былъ до глубины души возмущенъ этимъ брошеннымъ въ него незаслуженнымъ комомъ грязи. Надо было дочиста смыть позорное пятно! И вотъ, сопровождая племянника въ Петербургъ, онъ, въ продолженіи всего пути, придумывалъ новое «посланіе» къ третьему другу—Дашкову, а прибывъ на мѣсто, усердно занялся печатаніемъ, въ лучшей тогда петербургской типографіи Шнора, отдѣльной брошюры обоихъ посланій: къ Жуковскому и Дашкову.

Тургеневъ былъ почти увѣренъ, что застанетъ поэта за его брошюрой,—и не ошибся.



Василій Львовичъ, коренной москвичъ, занималъ въ Петербургѣ временную квартиру въ небольшомъ каменномъ домѣ на Мойкѣ. Свернувъ туда у Полицейскаго моста, Тургеневъ остановился у подъѣзда своего пріятеля, бросилъ поводья грумму; съ легкостью юноши, несмотря на свою полноту, спрыгнулъ на панель и съ тою-же легкостью взбѣжалъ по лѣстницѣ во второй этажъ. Когда онъ вошелъ въ первую изъ трехъ комнатъ Василья Львовича, служившую и пріемной, и столовой, и уборной, то увидѣлъ именно ту картину, которую ожидалъ.

Самъ Василій Львовичъ, невысокаго роста, полный и рыхлый мужчина среднихъ лѣтъ, сидѣлъ передъ простѣночнымъ зеркаломъ, съ пудермантелемъ на плечахъ. Безотлучный старикъ-камердинеръ его, Игнатій, юлилъ около него съ дымящимися щипцами. Вся голова барина была уже въ искусныхъ завиткахъ; оставалось только прижечь надъ высокимъ челомъ верхнюю буклю. Но едва Игнатій успѣлъ захватить щипцами послѣднюю прядь волосъ на барской макушкѣ, какъ Василій Львовичъ наклонился опять надъ подзеркальнымъ столикомъ, чтобы исправить краснымъ карандашемъ типографскую опечатку на корректурномъ листѣ, который онъ держалъ въ рукахъ.

— Да я васъ, сударь, ей-Богу-же, прижгу!.. проворчалъ Игнатій, успѣвъ еще во-время отдернуть руку при внезапномъ движеніи барина.

— Только смѣй! отозвался поэтъ и, окончивъ поправку, распустилъ опять передъ собой корректурный листъ.

— Все еще за корректурой? спросилъ, по обычаю



того времени, по-французски Тургеневъ, подходя къ пріятелю съ насмѣшливо-добродушной улыбкой.

— Все за корректурой! былъ французскій же отвѣтъ.

Но при этомъ Василій Львовичъ такъ неожиданно вспрянулъ съ мѣста, что камердинеръ, несмотря на привычку къ парикмахерскому дѣлу, дернулъ-таки его щипцами за прижигаемый клокъ. Баринъ испустилъ болѣзненный вопль.

— Сами виноваты-съ, оправдывался Игнатій. — Благо бы дѣломъ занимались, а то нѣтъ, все, вишь, проклятые эти стихи...

— Ужъ ты-то, братецъ, сдѣлай милость, не разсуждай! Ну, что ты въ стихахъ смыслишь? говорилъ баринъ-стихотворецъ, важно расхаживая назадъ и впередъ въ пудермантелѣ, какъ въ римской тогѣ, съ корректурнымъ листомъ въ рукахъ. — О, я ему этого такъ не спущу! Запляшетъ онъ у меня!

— Да за что же-съ, сударь? На старости-то лѣтъ?

— Не объ тебѣ рѣчь! отмахнулся листомъ Василій Львовичъ.

— А объ комъ же-съ?

— Объ томъ, кому я готовлю сію позлащенную пилюлю!

— Хоть убейте, въ толкъ не возьму, твердилъ Игнатій, бѣгая съ щипцами по комнатѣ слѣдомъ за бариномъ. — Маленечко бы вамъ, сударь, только еще присѣсть... по вискамъ бы пройтись...

— И такъ безподобень! рѣшилъ Тургеневъ, безъ дальнихъ околичностей срывая съ плечъ пріятеля бѣлую тогу. — Подай-ка теперь живѣе барину одѣваться. А что, племянникъ твой готовъ? спросилъ онъ Василья Львовича.



— Несомнѣнно, отвѣчалъ тотъ, съ достоинствомъ продѣвая руки въ поданный ему камердинеромъ фракъ.

Коротенькій, по тогдашней модѣ, съ коротенькими же фалдами, небесно-голубаго цвѣта фракъ плотно облегалъ его небольшое пузатое тѣльце. Туго накрахмаленное, острое жабо крѣпко упиралось въ свѣжевыбритыя, лоснящіяся щеки. Богатая вышивка сорочки такъ и выпячивалась изъ-подъ молочно-желтой пикейной жилетки, по которой вилась и блестѣла змѣйкой, вывезенная самимъ Васильемъ Львовичемъ изъ Парижа, тоненькая золотая цѣпочка; съ цѣпочки же свѣшивался цѣлый арсеналъ дорогихъ бирюлекъ, бряцавшихъ, привсякомъ движеніи, поколыхающемуся брюшку.

— Хоть сейчасъ на балъ! сказалъ Тургеневъ и, взявъ пріятеля подъ-руку, вошелъ вмѣстѣ съ нимъ въ спальню его племянника—Пушкина, въ то время еще не знаменитаго Александра Сергѣевича, а просто—шалуна Александра.

Вошли они—да такъ и остолбенѣли въ дверяхъ. Александръ и не думалъ еще вставать съ постели. Но онъ не спалъ. Выпроставъ руки изъ-подъ одѣяла, онъ гусинымъ перомъ усердно царапалъ что-то на четвертушкѣ бумаги, которая лежала около его изголовья, на краю постели.

— Хорошъ мальчикъ, нечего сказать! произнесъ, послѣ нѣкотораго молчанія, Василій Львовичъ, стараясь придать своему голосу возможную строгость. (Весь слѣдующій разговоръ, какъ и предыдущій, происходилъ въ перемежку то по-русски, то по-французски.)

Услыхавъ слова дяди, молодой Пушкинъ очнулся и быстро сунулъ бумажку и перо подъ подушку.











— Напрасно трудишься, милый мой: улика на лицо, продолжалъ Василій Львовичъ, указывая на чернильницу, стоявшую на стулѣ, около изголовья.

— А главное—непрактично, добавилъ Тургеневъ,— чернила съ подушки едва ли смоются.

— Смоются! засмѣялся въ отвѣтъ мальчикъ.—Но знаете что, Александръ Ивановичъ: если стихъ разъ за-сѣлъ гвоздемъ въ головѣ...

— То надо его и увѣковѣчить, хотя бы Дамокловъ мечъ висѣлъ надъ головой! тѣмъ-же шутливымъ тономъ досказалъ Тургеневъ.— Бралъ бы примѣръ съ дяди: тотъ нынче хотъ бы пальцемъ къ своей корректурѣ прикоснулся.

Василій Львовичъ неодобрительно покосился на пріятеля, а Александръ, понявъ шутку, звонко расхохотался. При этомъ довольно некрасивое, смуглое лицо его африканскаго типа, обрамленное курчавыми бѣлокурыми волосами \*), разомъ преобразилось: слегка вздернутыя губы открыли рядъ бѣлыхъ, крѣпкихъ зубовъ и сложились въ плутоватую, премилую усмѣшку, а быстрые, умные глаза, подъ темною дугою бровей, такъ и заискрились. Невзрачный на первый взглядъ, мальчикъ обратился чуть не въ красавца.

Въ отвѣтъ на неделикатный смѣхъ племянника, Василій Львовичъ только пожалъ плечами и, доставъ изъ кармана серебряную съ финифтью табакерку, взялъ кончиками пальцевъ щепотку табаку.

— Да вѣдь я, дядя, по вашимъ же стопамъ... началъ Александръ.

---

\*) Волосы А. С. Пушкина стали темнѣть только съ 17-тилѣтняго возраста.



— Т. е., куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней? съ достоинствомъ отозвался дядя и, не спѣша, угостилъ табакомъ свой крупный, загнутый на одну сторону носъ.—Тягаться съ дядей не тебѣ, молокососу. Заслуги мои на россійскомъ Парнасѣ изрядно извѣстны. Поэма моя въ несчетныхъ спискахъ ходитъ изъ конца въ конецъ по всей матушкѣ-Россіи. Посланія мои, басни, экспромты всѣми и каждымъ заучиваются наизусть. А почему?—Потому, что до такой тонкой сатиры, какъ моя, не дошелъ ни Крыловъ, ни даже многоуважаемый нашъ другъ-поэтъ и министръ Иванъ Ивановичъ \*).

„Вы вспомните о томъ, что первый, можетъ быть,  
Осмѣлился глупцамъ я правду говорить,  
Осмѣлился сказать хорошими стихами,  
Что авторъ безъ идей, трудяся надъ словами,  
Останется всегда невѣждой и глупцомъ;  
Я злаго Гашпара убилъ однимъ стихомъ!“ \*\*)

Убилъ наповаль, какъ вы, друзья мои, сейчасъ и убѣдитесь. Эй, Игнатій!

Изъ дверей столовой высунулась сѣдовласая голова Игнатія.

— Самоваръ, сударь, поданъ.

— Дѣло теперь не въ самоварѣ! Подай-ка сюда корректуру.

— Я отдалъ ее сейчасъ разсылному.

— Врешь вѣдь?

— Зачѣмъ мнѣ врать? Пожалуйте, сударь, чай заварить. Всегда за разговоромъ забудете...

---

\*) Василий Львовичъ разумѣлъ извѣстнаго въ то время писателя И. И. Дмитріева, который, съ 1810 по 1814 г., былъ и министромъ юстиціи.

\*\*) Изъ посланій В. Л. Пушкина къ \*.\*.



И голова Игнатя уже скрылась за дверью.

— Вретъ! ей-Богу, вретъ, вполголоса замѣтилъ Василій Львовичъ.—Ну, да Господь съ нимъ! Итакъ припомнимъ. Вниманія, государи мои!

Онъ картинно отставилъ ногу, выпятилъ грудь, простеръ впередъ правую руку и готовъ былъ уже продолжать декламировать; но Тургеневъ взглянулъ на часы и остановилъ его за руку.

— Уже половина девятого, душа моя. А въ девять вѣдь экзаменъ.

— Первая перекличка. Ты выслушай только пару строфъ. Шишковъ, какъ знаешь, укорялъ меня въ томъ, что Парижъ я знаю, будто-бы, только по закоулкамъ, Ха! А я ему вотъ что на это:

„Не улицы однѣ, не площади, не дома,—  
Сенъ-Пьеръ, Делиль, Фонтанъ мнѣ были тамъ знакомы:  
Они свидѣтели, что я въ землѣ чужой  
Гордился русскимъ быть и русскій былъ прямой...“

— И такъ далѣе, прервалъ Тургеневъ.—Я это ужъ слышалъ.

— Нѣтъ, ужъ извини. До сихъ поръ никто еще не удостоился...

— Ну, такъ что-нибудь въ томъ-же родѣ.

— Да, это легкое подражаніе, неосторожно ввернулъ маленькій Александръ.

— Подражаніе?! вскинулся на него дядя.—Кому?

— Да я только такъ, дяденька... Можетъ быть, это случайное совпаденіе: великіе умы сходятся...

— Нѣтъ, голубчикъ, не отвиливай! Говори: кому я подражалъ? ну!

— Если вы, дядя, ужъ непремѣнно требуете... По-



мните, у Фонвизина, въ его Посланіи къ Шумилову, Ванькѣ и Петрушкѣ, сказано:

„Москва и Петербургъ довольно мнѣ знакомы;  
Я знаю въ нихъ почти всѣ улицы и дома..“

Далѣе продолжать ему ужъ не пришлось. Задѣтый за-живое, маститый стихотворецъ поймалъ племянника за ухо и приподнялъ его такъ съ кровати. Но тотъ, какъ былъ —неодѣтый, необутый, тутъ же бросился къ дядѣ, обвилъ его руками и вихремъ закружился съ нимъ по комнатѣ, напѣвая модный въ то время вальсъ.

— Оставь!.. сумасшедшій!.. пыхтѣлъ Василій Львовичъ, тщательно выбиваясь изъ цѣпкихъ объятій шалуна.

— А сердиться не будете? спрашивалъ на-лету племянникъ.

— Не буду... отпусти только душу на покаянье!.  
Александръ рознялъ руки,—и толстякъ мѣшкомъ повалился въ ближнее кресло.

— Уфъ! совсѣмъ измучилъ, злодѣй... И табакъ-то просыпалъ... и сорочку измялъ...

— Новую надѣнете.

— Ну, да, какъ-же! А вотъ тебѣ такъ, въ самомъ дѣлѣ, пора одѣваться.

— Да, Александръ, поторопись, подтвердилъ Тургеневъ,—а то какъ-разъ опоздаешь.

Александръ безпрекословно принялся за свой туалетъ.

— А поэта изъ тебя все-таки никогда не выйдетъ! послѣднимъ залпомъ выпалилъ въ него дядя.

— Только еще не признанъ, какъ вы, отшутился мальчикъ.—У васъ, говорите вы, есть своя поэма? И у меня есть своя: «La Toliade».

— За которую тебѣ учитель Русло уши надраль?



— Изъ зависти, дядя, чисто изъ зависти, потому что стихи мои были лучше его стиховъ. Но чего у васъ нѣтъ, а у меня есть,—это знаменитая комедія: «L'escamoteur», которую я самъ же и представлялъ.

— И которую единственная твоя публика—сестрица твоя Оля—нещадно освистала?

— Нѣтъ, Василій Львовичъ, вмѣшался тутъ Тургеневъ: ты, право, слишкомъ требователенъ. Отъ 12-тилѣтняго мальчика развѣ можно ожидать безсмертныхъ произведеній? Но стихи Александра хоть куда.

— Да какіе стихи?—французскіе; а кто же теперь не пишетъ гладкихъ французскихъ стиховъ?

— Нѣтъ, въ немъ горитъ, кажется, и настоящій поэтическій огонекъ. Я какъ теперь вижу такую картину: самъ ты, Василій Львовичъ, взмогилъ на стулъ среди зала и вдохновенно декламируешь что-то. Со всѣхъ сторонъ плотно обступили тебя взрослые слушатели, а къ самому стулу твоему прижался вотъ этотъ мальчуганъ и, блѣдный, взволнованный, не смѣядохнуть, глазъ съ тебя не сводитъ, ловитъ каждое твое слово...

Отъ такой поддержки со стороны неизмѣннаго его защитника—Тургенева, щеки мальчика вспыхнули, глаза заблистали.

— Да, есть люди, которые и теперь признаютъ въ моихъ сочиненіяхъ нѣкоторый талантъ, не безъ гордости заявилъ онъ.

— Вотъ какъ! усмѣхнулся дядя.—Кто-жъ эти цѣнители? Такіе же малолѣтки?

— Нѣтъ, взрослые... барышни...

— А! барышни. Да, дѣйствительно, это первые судьи. Кто же именно?



— Да всѣ наши московскія знакомыя... Помните, передъ самымъ отъѣздомъ изъ Москвы, мы съ вами провели послѣдній вечеръ у Воронцовыхъ? Ну, такъ вотъ всѣ барышни, что были тамъ, окружили меня и стали наперерывъ просить написать каждой изъ нихъ въ альбомъ хоть какой-нибудь стишокъ.

— И ты написалъ?

— Написалъ.

— Каждой?

— Каждой.

— Поздравляю—только не ихъ. Впрочемъ, до сихъ поръ ты пишешь однѣ французскія вирши, поэтому, каковы бы онѣ ни были, русскаго стихотворца изъ тебя никогда не выйдетъ.

— А вотъ увидимъ! Хотите, дядя, объ закладъ побиться?

— Поди ты съ своимъ закладомъ! Однако, ты никакъ и одѣлся, и умылся? Идемъ же теперь чай пить. И ты, Александръ Ивановичъ, конечно, не откажешься отъ стаканчика?

Тургеневъ взялся за шляпу.

— Спасибо, братъ, сказалъ онъ,—я дома ужъ напился. Смотрите, господа, не замѣшайтесь. Ужо заѣду узнать о результатѣ.

И добрый геній своихъ друзей и знакомыхъ исчезъ, чтобы летѣть далѣе—благодѣтельствовать другимъ.





## ГЛАВА II.

### Въ ожиданіи экзамена.

„Заутра казнь. Но безъ боязни  
Онъ мыслить объ ужасной казни;  
О жизни не жалѣетъ онъ.“

(Полтава.)

Пріемный экзаменъ долженъ былъ происходить на квартирѣ министра народнаго просвѣщенія, графа Алексѣя Кирилловича Разумовскаго. Пробыло уже девять, когда Пушкины, дядя и племянникъ, снимали свое верхнее платье въ швейцарской министра.

— Ну, что, мой другъ, каково тебѣ? спросилъ Василій Львовичъ, полузаботливо, полушутливо заглядывая въ лицо племянника.— Забила, чай, боевая лихорадка?

— Ничуть, отвѣчалъ тотъ, отворачиваясь.

— А что же ты такъ ежишься? Дай-ка сюда руку—пульсъ пощупать.

— Ахъ, перестаньте, дядя!.. Пойдемте...



— Ага! знаетъ кошка, чье мясо съѣла.

Они стали подниматься по широкой, устланной краснымъ ковромъ, лѣстницѣ съ колоннадами. На первой же площадкѣ попалась имъ небольшая группа: присѣвшій отдохнуть на высокій ясеновый стулъ, бѣлый, какъ лунь, старичекъ-адмиралъ, а подлѣ него два мальчика въ какой-то полукадетской формѣ—въ черныхъ курткахъ со стоячими воротниками и съ металлическими пуговицами. Взоры обоихъ кадетиковъ были устремлены на приближавшагося къ нимъ Александра, и онъ, съ непривычной ему застѣнчивостью, отвелъ въ сторону глаза и прошмыгнулъ мимо. Но на поворотѣ лѣстницы до него явственно донеслось снизу: «Тоже, видно, экзаменоваться идетъ»,—и онъ оглянулся; глаза его встрѣтились съ глазами одного изъ мальчиковъ. Оба они смущенно улыбнулись, и Пушкинъ ускореннымъ шагомъ, почти бѣгомъ сталъ опять подниматься по лѣстницѣ и скрылся за поворотомъ.

Но отъ этой улыбки будущаго товарища сердце въ груди его, какъ пташка, встрепенулось. Ему стало вдругъ такъ весело и легко, точно онъ предчувствовалъ, что вотъ кто будетъ ему на много лѣтъ лучшимъ другомъ.

Въ большой и свѣтлой пріемной министра записавшіеся къ экзамену мальчики были уже почти въ полномъ сборѣ. Каждого изъ нихъ, разумѣется, сопровождалъ какой-нибудь родственникъ или воспитатель. Василій Львовичъ, обведя присутствующихъ испытующимъ окомъ, направился прямо къ молодому сановитому генералу въ аксельбантахъ, котораго онъ хотя и видѣлъ впервые, но въ которомъ сразу узналъ своего брата—человѣка высшаго круга. Подсѣвъ къ генералу,

онъ не замедлилъ завязать съ нимъ оживленную бесѣду на французскомъ языкѣ и, казалось, забылъ уже о существованіи племянника.

Около нихъ не было ни одного свободнаго мѣста, и Александръ, переминаясь, оглядѣлся, гдѣ бы ему пристроиться.

— Да садитесь къ намъ! зазвенѣлъ тутъ, вблизи него, дѣтскій голосокъ.

На диванѣ сидѣла дама, мальчикъ-подростокъ и крошка-дѣвочка, лѣтъ четырехъ-пяти, пухленькая, бѣленькая, вся въ бѣлокурыхъ локонахъ, при всякомъ движеніи колыхавшихся вокругъ ея прелестной головки. Она доверчиво подняла на Александра свои большіе, небесно-голубые глазки и привѣтливо манила его ручкой:

— Вотъ сюда... около брата. Тося, дай же мѣсто!

Братъ отодвинулся, и Пушкинъ съ поклономъ усѣлся рядомъ съ нимъ. Надо было въ благодарность хоть сказать что-нибудь; но съ чего начать? Онъ искоса оглядѣлъ своего сосѣда. Блѣднолицый, серьезный, въ синихъ очкахъ, тотъ производилъ впечатлѣніе чуть не юноши.

— Вы издалека? наконецъ, рѣшилъ начать Александръ.

— Изъ Москвы, былъ отвѣтъ.

— И я оттуда же.

— И вы изъ Москвы? подхватила, обрадовавшись, малютка-дѣвочка. — Какъ же мы съ вами не встрѣтились по дорогѣ?

— Потому что, вѣроятно, ѣхали въ разное время. Я ужъ съ іюня мѣсяца здѣсь; а вы?

— А мы только со вчерашняго дня. Мы пріѣхали



вмѣстѣ съ мамашей и вотъ съ мадемуазель, нашей гувернанткой; но мамаша очень устала съ дороги и осталась на дачѣ въ Петергофѣ...

— Замолчите ли вы, Мими! по-французски шепнула тутъ болтушкѣ мадемуазель.

Разговоръ на минутку прервался. Но неугомонный язычекъ Мими не давалъ ей покоя, и она снова затараторила:

— А сколько вамъ лѣтъ?

— Двѣнадцать, отвѣчалъ Пушкинъ, съ трудомъ подавляя улыбку.

— О! такъ братъ мой гораздо старше: ему на прошлой недѣлѣ пошелъ уже четырнадцатый годъ \*).

— А какъ ваше имя?

— Пушкинъ, Александръ Сергѣевичъ.

— Какъ важно! А брата мы зовемъ, просто, Тосей.

Теперь французженка-гувернантка сочла нужнымъ пояснить Пушкину, что его сосѣдъ—баронъ Антонъ Антоновичъ Дельвигъ.

— Такъ вы, стало быть, нѣмецъ? обратился Пушкинъ къ молодому барону.

— Ой нѣтъ! отвѣчалъ тотъ.—Фамилія у меня только нѣмецкая, потому что предки наши изъ лифляндцевъ, но самъ я и тѣломъ, и душой русскій, православной вѣры и по-нѣмецки не умѣю почти, что называется, въ зубъ толкнуть.

— Такъ же, какъ и я! точно обрадовался Пушкинъ. Вмѣстѣ, значить, отличимся: въ компаніи провалиться все же не такъ обидно.

— Не провалитесь, если знаете по-французски;

---

\*) А. С. Пушкинъ родился 26-го мая 1799 г., въ день Вознесенія; баронъ Дельвигъ—6-го августа 1798 г.

вѣдь можно экзаменоваться изъ одного какого-нибудь иностраннаго языка: или нѣмецкаго, или французскаго.

— О! тогда мнѣ не страшно!

— Завидую вамъ! вздохнулъ Дельвигъ.—Я ни въ одномъ предметѣ не твердъ.

Француженка, понимавшая, какъ видно, по-русски, съ укоромъ взглянула на черезчуръ откровеннаго барона и постаралась смягчить его приговоръ о себѣ.

— Здоровье молодого барона, замѣтила она, — довольно слабо, поэтому не въ мѣру утруждать его ученьемъ нельзя было.

— Да прибавьте еще къ этому природную лѣнь, добавилъ по-русски Дельвигъ.

— Ну, что до лѣни, подхватилъ весело Пушкинъ, — то я вамъ въ ней, навѣрное, не уступлю! Если бы не сестра моя...

— А у васъ также есть сестра? заинтересовалась крошка баронесса.

— Да, годомъ меня старше.

— У, какая старая! А зовутъ ее?...

— Олей.

— Отчего же не Ольгой Сергѣевной, если вы — Александръ Сергѣевичъ? —

— Перестаньте, Мими! остановила ее опять мадемуазель, и обратилась къ Пушкину: — а кто васъ училъ въ Москвѣ французскому языку?

— Я даже всѣхъ и не припомню, отвѣчалъ по-французски же Пушкинъ: — графъ Монфоръ, мосье Русло, мосье Шедель... и не перечесть! А есть, знаете, у насъ такая русская пословица: «у семи нянекъ дитя безъ глазу».



— Пословица, я вижу, довольно мѣткая, проговорила, не безъ колкости, французенка.

— А все-же ученье вамъ, видно, въ прокъ пошло, замѣтилъ, съ своей стороны, молодой баронъ:— вы говорите прекрасно по-французски. Но неужто эти иностранцы учили васъ и русскому языку?

— Да, училъ такой же иностранецъ, нѣмецъ, херръ Шиллеръ; къ сожалѣнію однако, то былъ не знаменитый поэтъ Шиллеръ, а только его однофамилецъ. Но, кромѣ него, у меня русскимъ учителемъ былъ еще одинъ священникъ, человѣкъ очень начитанный и ученый \*). Настоящей же, чистой русской рѣчи я прежде всего научился отъ няни своей да отъ бабушки. Няня эта, Арина Родіоновна, просто, я вамъ доложу, кладъ! Вынянчила всѣхъ насъ: и сестру, и меня, и брата, да такая мастерица говорить сказки, былины народныя, что слушаешь—не наслушаешься. Пословицы, поговорки у нея сыплются какъ изъ рукава. А покойная бабушка моя \*\*), женщина также вполне русская и хорошо образованная, знала пропасть разныхъ преданій, историческихъ и семейныхъ, и я, бывало, по цѣлымъ часамъ просиживалъ въ ея рабочей корзинѣ: все слушалъ, развѣсивъ уши, ея безконечныя розказни. Если послѣ всего этого изъ меня не выйдетъ поэта, то тутъ уже, право, ни няня, ни бабушка не виноваты \*\*\*).

\*) Отецъ Бѣликовъ, авторъ извѣстной книги: „Духъ Массильона“.

\*\*) Марія Алексѣевна Ганнибалъ, урожденная Пушкина, мать Надежды Осиповны, матери А. С. Пушкина.

\*\*\*) Личности няни и бабушки слились впоследствии въ представленіи Александра Сергѣевича въ одинъ общій поэтический образъ вдохновлявшей его Музы:

„Наперсница волшебной старины,  
Другъ вымысловъ игривыхъ и печальныхъ,—

Въ это время, общее вниманіе присутствующихъ обратилъ на себя тотъ старикъ-адмиралъ, котораго, съ двумя его птенцами, Пушкины застали давеча на лѣстницѣ. Дежурный чиновникъ уступилъ почтенному старцу свой собственный стулъ, а самъ, стоя, записывалъ въ журналъ получаемые пакеты.

— Такъ что же, милостивый государь, произнесъ громкимъ голосомъ адмиралъ:—когда же графъ Алексѣй Кирилловичъ соблаговолитъ принять меня?

— Сію минуту-съ, ваше высокопревосходительство, засуетился чиновникъ.—Его сіятельство доканчиваютъ туалетъ свой...

— А вы, сударь, передайте его сіятельству, перебилъ адмиралъ, нетерпѣливо постукивая по полу костылемъ,—передайте, что андреевскому-де кавалеру, адмиралу Пущину, не пристало дожидать; что мнѣ нуженъ онъ самъ, Алексѣй Кирилловичъ, а не туалетъ его.

Чиновникъ съ поклономъ исчезъ въ министерскихъ дверяхъ. Василій Львовичъ сидѣлъ неподалеку отъ адмирала и, съ обычною своею подвижностью, ловко покачивая свое полное тѣло на тонкихъ ножкахъ, почтительно приблизился къ старику.

— Смѣю обезпокоить ваше высокопревосходитель-

---

Тебя я звалъ во дни моей весны,  
Во дни утѣхъ и сновъ первоначальныхъ!  
Я ждалъ тебя. Въ вечерней тишинѣ  
Являлась ты веселою старушкой,  
И надо мной сидѣла въ шушунѣ,  
Въ большихъ очкахъ и съ рѣзвою гремушкой.  
Ты, дѣтскую качая колыбель,  
Мой юный слухъ напѣвами плѣнила,  
И межъ пеленъ оставила свирѣль,  
Которую сама заворожила!...“



ство вопросомъ, заговорилъ онъ, указывая глазами на двухъ мальчиковъ въ курткахъ, которые прислонились тутъ-же къ окошку: — внучата-съ?

Адмиралъ Пушинъ окинулъ вопрошавшаго съ головы до ногъ орлинымъ взглядомъ и, удовлетворенный, повидимому, осмотромъ, не торопясь, отвѣтилъ: — Внучата.

— Позвольте представиться вашему высокопревосходительству: Пушкинъ, Василій Львовичъ, небезъизвѣстный россійскій стихотворецъ.

— Слышалъ, какъ же. Тоже, чай, кого-нибудь въ лицей опредѣляете?

— Да, вотъ, племянничка, сына родного брата моего, Сергѣя Львовича Пушкина. Можетъ статься, бывали тоже въ Москвѣ, слышали про братца?

— Бывать-то бывалъ, лѣтъ съ десятокъ назадъ, да что-то не помню...

— О! буде теперь собрались бы, несомнѣнно услышали бы про него. Братецъ мой, надо вамъ доложить, въ московскомъ высшемъ кругу играетъ, такъ-сказать, первую скрипку. Ни одинъ домашній спектакль, ни одна вечеринка съ живыми картинами и инымъ прочимъ не обойдется безъ него. А какъ онъ читаетъ Мольера! Даже мнѣ, записному литератору и чтецу, за нимъ не угоняться. Какіе строчить на всякихъ языкахъ альбомные стишки! Хоть сейчасъ въ печать. А ужъ по части каламбуровъ и экспромтовъ—голову прозакладую—во всей Европѣ равнаго ему не найти: вся Москва повторяетъ ихъ потомъ изъ конца въ конецъ.

— Такъ у него, стало быть, нѣтъ опредѣленныхъ служебныхъ занятій?

— Времени не достало бы, ваше высокопревосходи-

тельство, для свѣтскаго представительства. Въ юныхъ лѣтахъ, правда, оба мы съ нимъ тянули лямку въ екатерининской гвардіи, получили въ ней, какъ говорится, послѣднюю шлифовку...

— И не дотянули?

— Да-съ. Не снесли—если смѣю такъ выразиться—ярма военной дисциплины. Да и чего намъ еще? Любимы, уважаемы, какъ сыръ въ маслѣ катаемся... Я-то, правда, живу почти-что бобылемъ: имѣю дома только сынка-малютку; но у братца моего этой благодати цѣлая троица, а жена у него первая умница, первая красавица московская!... Правду сказать, африканскаго темперамента,—откровенничаль словоохотливый Василій Львовичъ, понижая тутъ голосъ и поглядывая въ сторону племянника,—пальца въ ротъ ей не клади: своенравна, вспыльчива, такъ что—у! какъ-разъ откусить! Да ужъ и властолюбива же, что грѣха таить! Забрала въ ручки бѣлыя весь домъ, какъ есть, вертитъ всѣмъ и каждымъ, какъ пѣшками: и муженькомъ, и людьми, и ребятишками, за исключеніемъ развѣ этого вонъ сорванца.

— Такъ онъ у васъ большой шалунъ? Неисправимъ?

— Какъ вамъ сказать? Въ головѣ у него, точно, вѣтеръ гуляетъ; но каши этой мозговой тамъ болѣе, можетъ статья, чѣмъ у иного взрослого полоумка. А ужъ начитанъ какъ! Чего-чего не перечиталъ! И Илліаду, и Одиссею, и Плутарха отъ доски до доски, и новѣйшихъ энциклопедистовъ...

— Гмъ... На какомъ же это все языкѣ?

— А все, конечно, на французскомъ. Раненько, можетъ быть, да что противъ жажды знанія подѣлаешь? У отца его, изволите видѣть, такъ же, какъ и у покор-



нѣйшаго вашего слуги, библіотека на славу.—Александръ, поди-ка сюда! крикнулъ Василій Львовичъ по-французки.—Не разрѣшите ли, ваше высокопревосходительство, познакомить съ нимъ молодцовъ вашихъ?

— Что-жъ, пускай знакомятся: послѣ, все равно, придется же. Экіе дички, право! Руку-то другъ другу хоть подайте!

Мальчики исполнили приказаніе и застѣнчиво обмѣнялись нѣсколькими общими фразами. Одно узналъ при этомъ молодой Пушкинъ: что новые знакомцы его были между собой двоюродные братья, и что одного изъ нихъ—того, съ которымъ онъ на лѣстницѣ переглянулся,—звали Иваномъ, а другого Петромъ.

Сидѣвшій по близости шустрый, востроглазый мальчуганъ съ большимъ вниманіемъ слѣдилъ за завязывавшимся между тремя сверстниками его знакомствомъ; шепнувъ сидѣвшей рядомъ съ нимъ дамѣ: «Я, мама, тоже отрекомендуюсь»,—онъ развязно подошелъ къ нимъ и шаркнулъ ножкой.

— Позвольте и мнѣ отрекомендоваться: Константинъ Гурьевъ.

Пушкинъ медлилъ принять протянутую ему руку и съ безотчетнымъ недовѣріемъ оглядѣлъ навязчиваго мальчугана. Но тотъ на видъ былъ очень приличенъ: платье съ иголочки, самъ причесанъ, приглаженъ, даже надушенъ; какъ въ голосѣ его, такъ и въ чертахъ лица, во всѣхъ движеніяхъ была одна и таже игривая мягкость. Только черезчуръ юркіе глазки то и дѣло потуплялись и бѣгали по сторонамъ, точно не смѣли открыто встрѣтить испытующаго чужаго взгляда.

«Кошечка», невольно подумалось Пушкину.

Разговориться имъ, впрочемъ, теперь не пришлось:

возвратившійся отъ министра чиновникъ пригласилъ старика Пущина къ его сіятельству Алексѣю Кирилловичу, и тотъ, въ сопровожденіи двухъ внуковъ, удалился.

Василій Львовичъ воспользовался этимъ, чтобы подвести племянника къ своему прежнему собесѣднику, молодому генералу, оказавшемуся княземъ Горчаковымъ, и къ его подростку сыну, который былъ не только писаный красавецъ, но имѣлъ такое благородное, славное лицо, что нельзя было не залюбоваться.

«Вотъ ангельская душа, сейчасъ видно», сказалъ самъ себѣ Пушкинъ:—«не то, что этотъ Гурьевъ».

А Гурьевъ былъ ужъ тутъ-какъ-тутъ, съ тою же, словно заученною фразой:

— Позвольте и мнѣ отрекомендоваться: Константинъ Гурьевъ.

На этотъ разъ ему болѣе посчастливилось: маленькій Горчаковъ отвѣчалъ ему довѣрчиво и охотно, а Гурьевъ за словомъ въ карманъ не лѣзъ; Пушкинъ увидѣлъ себя совсѣмъ оттертымъ и былъ даже радъ, когда дежурный чиновникъ сталъ теперь выкликать ихъ по списку. Разговоры кругомъ поневолѣ прекратились; каждый выкликаемый по очереди выступалъ впередъ и отзывался: «Здѣсь!»

— Кюхельбекеръ, Вильгельмъ!

— Здѣсь! Пробасилъ, съ рѣзкимъ нѣмецкимъ акцентомъ, долговязый юноша, нескладно, но крѣпко сшитый.

Пушкинъ не могъ не усмѣхнуться. Но тутъ онъ разслышалъ, какъ Гурьевъ, наклонясь къ Горчакову, тихонько подтрунилъ: «По Сенькѣ и шапка—прямой



Кюхельбекеръ!»—и Пушкину уже досадно стало на насмѣшника:

«Показала, небось, кошечка когти!»

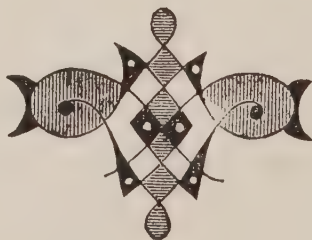
— Пушкинъ, Александръ!

— Здѣсь! откликнулся онъ какимъ-то не своимъ, металлически-звонкимъ голосомъ и, самъ не зная зачѣмъ, выскочилъ на средину залы. Со всѣхъ сторонъ на него обратились удивленные взгляды; онъ смѣшался и еще поспѣшнѣй отступилъ назадъ. А Гурьевъ опять-таки наклонился къ уху Горчакова и съ лукавой улыбкой нашептывалъ ему что-то.

«Вѣрно, про меня!» догадался Пушкинъ:—«вотъ и царапнулъ!»

Онъ на ходу круто повернулъ налѣво-кругомъ и отретировался къ Дельвигамъ.

Перекличка кончилась. Рѣшительная, неизбѣжная минута приблизилась, сейчасъ должна была наступить. Въ ожиданіи ея, въ послѣдній мигъ, всѣ языки развязались, всѣ громко заговорили, зашевелились. И вдругъ, какъ по мановенію волшебнаго жезла, все точно такъ же опять смолкло, замерло: одного изъ мальчиковъ дежурный чиновникъ вызвалъ въ экзаменаціонный залъ.





### ГЛАВА III.

#### Экзаменъ.

„Мы всё учились понемногу,  
Чему-нибудь и какъ-нибудь:  
Такъ воспитаньемъ, слава Богу,  
У насъ немудрено блеснуть“.

(Евгеній Онѣгинъ.)

**Н**адъ министерскою пріемной нависла, казалось, грозовая туча: разговоры велись уже только втихомолку; взоры всѣхъ—и старыхъ, и малыхъ—были неотступно прикованы къ роковой двери, которая поочередно поглощала экзаменующихся мальчиковъ и выпускала ихъ, затѣмъ, одного за другимъ, какъ изъ бани, встрепанными и ошпаренными.

Вотъ очередь дошла и до барона Дельвига; Пушкинъ вздохнулъ ему вслѣдъ. Напрасно крошка-баронесса пыталась возобновить съ молодымъ землякомъ—москвичемъ свою дѣтскую болтовню: онъ отвѣчалъ разсѣяннo и невпопадъ. По спинѣ его забѣгали мурашки—первый приступъ предсказанной Васильемъ



Львовичемъ «боевой лихорадки». Наконецъ, министерская дверь опять распахнулась и на порогѣ показался молодой баронъ...

Но, Боже праведный! что съ нимъ такое? Идетъ, повѣсивъ голову, еле ноги волочить...

— Тося! жалобно крикнула сестричка, бросаясь черезъ всю комнату къ нему на встрѣчу.—Неужели провалился?

— Потише, Мими... уклонился онъ отъ отвѣта и вернулся объ руку съ нею къ своему мѣсту, стараясь не глядѣть на Пушкина.

— Такъ что же, скажи: выдержалъ или нѣтъ? не отставала отъ него малютка.

— Кажется, что нѣтъ... проговорилъ онъ нехотя, беззвучно.

Мими прослезилась и протянула къ брату ручки, чтобы обнять его.

— Ну, ничего, Тосенька, голубчикъ; мама вѣдь добрая, не разсердится.

Пушкина такъ заняла эта сцена, что онъ и не слышалъ, какъ вошедшій вслѣдъ за Дельвигомъ чиновникъ произнесъ фамилію его, Пушкина.

— Такъ что же, Пушкина, стало быть, нѣтъ? повторилъ, озираясь кругомъ, чиновникъ.

— Александръ! тебя зовутъ, не слышишь развѣ? крикнулъ по-французски Василій Львовичъ, подсакивая въ племяннику, и тронулъ его за плечо.—Первое условіе, дружокъ: не падать духомъ.

— Дай вамъ Богъ бѣдшаго успѣха, пожелалъ Александру съ своей стороны и Дельвигъ, заглядывая ему теперь прямо и дружелюбно въ лицо.

— Благодарю васъ, пробормоталъ тотъ въ отвѣтъ,

и, съ напускною удалью, широко размахивая руками, послѣдовалъ за чиновникомъ въ раскрытую курьеромъ настежь дверь.

Какъ ни храбрился Пушкинъ, но, подходя къ поставленному поперекъ зала большому, покрытому зеленымъ сукномъ, столу, за которымъ возсѣдали экзаменаторы, онъ точно не чуялъ уже ногъ подъ собой, и, сквозь заволакивавшій ему глаза туманъ, не могъ хорошенько различить ни одного лица. Инстинктивно только чувствовалъ онъ, что сдѣлался вдругъ центромъ, на который направлены десятки испытующихъ глазъ, и что лучи ихъ словно жгутъ, магнитизируютъ его; нервы его натянулись, какъ струны, до послѣдней степени.

— Не родственникъ ли вамъ писатель Пушкинъ? слышался тутъ чей-то ласковый старческій голосъ.

Не успѣлъ Александръ отвѣтить, какъ другой, будто знакомый уже, голосъ отозвался вмѣсто него:

— Точно такъ, ваше сіятельство: родной дядя.

Александръ сдѣлалъ сверхъестественное усиліе надъ собой, мигнулъ разъ—другой, расширилъ зрачки—и разглядѣлъ говорящихъ: прямо противъ него, на разстояніи не болѣе полутора аршина, сидѣлъ важный, сѣдовласый старикъ, грудь котораго была усыяна звѣздами; очевидно, то былъ ни кто иной, какъ самъ министръ, графъ Алексѣй Кирилловичъ Разумовскій; по правую же руку отъ него сидѣлъ тотъ, голосъ котораго показался Александру знакомымъ и въ которомъ онъ призналъ теперь новаго директора лицея, Василья Ѳедоровича Малиновскаго, раза два уже видѣннаго имъ по пріѣздѣ изъ Москвы. О, этотъ добрякъ его не выдастъ! И въ ушахъ Пушкина про-



звучало опять напутствіе дяди: «первое условіе—не падать духомъ!»

— Да, я его племянникъ, отвѣтилъ онъ, въ свою очередь, довольно уже бойко.

— Въ такомъ случаѣ, вы, конечно, знаете и другихъ русскихъ литераторовъ? продолжалъ министръ.

— Еще бы! оживленно подхватилъ мальчикъ:— Дмитріевъ, Карамзинъ, Жуковскій, Батюшковъ—у насъ въ домѣ свои люди...

— Не о личныхъ вашихъ знакомствахъ рѣчь, сухо оборвалъ его графъ.—Вообще примите за правило, молодой человѣкъ: выслушивать старшихъ до конца, не прерывая. Итакъ, я спрашиваю васъ: читали вы произведенія нашихъ лучшихъ писателей?

Выслушанное внушеніе умѣрило первую прыть мальчугана. Онъ смутился и отвѣтилъ сдержанно, хотя и не безъ тайнаго самодовольствія:

— Кажется, всѣ перечелъ.

— Всѣ, безъ разбора?

— Да, все вообще, что есть интереснаго въ библіотекѣ моего отца, а библіотека у него въ тысячу слишкомъ томовъ!

— И вамъ не было запрету брать оттуда все, что заблагоразсудится? Странные, однако, порядки у васъ въ домѣ... Но если вы все перечитали, продолжалъ Разумовскій, и насмѣшливая улыбка заиграла на его тонкихъ губахъ,—то любопытно знать: кого вы почитаете первымъ русскимъ поэтомъ? Вѣроятно, вашего дядю?

Пушкинъ вспыхнулъ, но, попрежнему сдерживаясь, сказалъ просто:

— И у дяди моего есть прекрасные стихи. По в ре-

мѣни первымъ поэтомъ русскимъ надо считать Ломоносова...

— А про Кантемира, небось, и забыли или не слышали?

— Кантемиръ не поэтъ: у него рубленая проза.

— Вотъ какъ!

— Не я одинъ это говорю: я отъ многихъ слышалъ. По качеству же стиховъ первымъ поэтомъ хотя и принято у насъ считать Державина, но стихъ у него черезчуръ ужъ напыщенъ; у Жуковского, у Батюшкова онъ гораздо натуральнѣе и благозвучнѣе...

— Каковъ критикъ! съ снисходительнымъ пренебреженіемъ замѣтилъ министръ:—съ чужого, знать, голоса говорить. Господинъ профессоръ! не угодно ли вамъ теперь приступить къ допросу?

Одинъ изъ экзаменаторовъ покорно преклонилъ голову и обратился къ Пушкину:

— Вы, прочитавъ малую толику, запомнили, несомнѣнно, кое-что и наизусть?

— Очень многое.

— Напримѣръ... ну, хоть бы Карамзинскую «Марѳу Посадницу»...

— Прочитать?

— Прочитайте; только съ подобающей интонаціей и экспрессіей, не глотая словъ и запятыхъ.

— «Раздался звукъ вѣчеваго колокола», началъ «подобающимъ» неспѣшнымъ и торжественнымъ голосомъ Пушкинъ:—«и вздрогнули сердца въ Новгородѣ. Отцы семействъ вырываются изъ объятій супруговъ и дѣтей, чтобы спѣшить, куда зоветъ ихъ отечество. Недоумѣніе, любопытство, страхъ и надежда влекутъ гражданъ шумными толпами на великую площадь...»



Профессоръ движеніемъ руки остановилъ маленькаго декламатора.

— Начало, конечно, кому не извѣстно, сказалъ онъ. — А помните ли вы художественное описаніе появленія Марѳы среди народа?

— «Еще продолжается молчаніе», — не задумываясь, задекламировалъ опять Пушкинъ. — «Чиновники и граждане въ изумленіи. Вдругъ колеблются толпы народные, и громко раздаются восклицанія: «Марѳа, Марѳа!» Она входитъ на желѣзныя ступени тихо и величаво; взираетъ на безчисленное собраніе гражданъ и безмолвствуетъ... Важность и скорбь видны на блѣдномъ лицѣ ея...»

Пушкинъ, какъ слѣдуетъ, на минутку здѣсь замолкъ, чтобы дать слушателямъ взглянуть въ возсозданную имъ передъ ихъ внутреннимъ окомъ картину.

— Вотъ это музыка словъ, истинная поэзія, хотя и въ прозаической формѣ! воскликнулъ графъ Разумовскій. — Память у васъ довольно счастливая, надо сознаться, и читаете вы весьма и весьма сносно.

— Не позволите ли, ваше сіятельство, перейти къ грамматикѣ? обратился къ нему экзаменаторъ.

— Извольте.

— Пожалуйста-ка, молодой человѣкъ, къ доскѣ.

Пушкинъ подошелъ къ саженной доскѣ и вооружился мѣломъ.

— Вы, какъ юнецъ, отдавали только-что предпочтеніе передъ маститымъ нашимъ поэтомъ — исполиномъ Державинымъ — юному поколѣнію поэтовъ, не достойныхъ подвязать и ремни на сандаляхъ его. Я продиктую вамъ такіе перлы его музы, какихъ вы ни у

кого изъ иныхъ прочихъ со свѣчей не сыщите. Пишите:

„Спустилъ сѣдой Борей Эола  
Съ цѣпей чугунныхъ изъ пещеръ...“

— Я и такъ знаю, подхватилъ мальчикъ:

„Ужасны крылья расширяя,  
Махнулъ по свѣту богатырь...“

Стихи звучные, но все-таки, по моему мнѣнію...

— Вашего мнѣнія не спрашиваютъ! Извольте писать!

Александръ крупнымъ дѣтскимъ почеркомъ, косымъ и небрежнымъ, живо исписалъ всю доску, сверху до низу, четырьмя приведенными строками.

— Въ правописаніи вы слабы, замѣтилъ профессоръ, и указалъ пять-шесть орфографическихъ ошибокъ, послѣ чего задалъ еще нѣсколько грамматическихъ вопросовъ. Отвѣты точно такъ же были довольно сбивчивы и нетверды.

Между тѣмъ, директоръ Малиновскій, какъ видѣлъ издали Пушкинъ, наклонился съ просительной миной къ министру, и тотъ, кивнувъ головой, громко объявилъ:

— Начитанность ваша отчасти васъ еще выручаетъ. Посмотримъ, каковы ваши познанія въ иностранныхъ языкахъ. Начнемъ съ нѣмецкаго.

Пушкинъ оторопѣлъ.

— Нельзя ли мнѣ отвѣчать изъ одного французскаго?..

— А нѣмецкаго вы, значитъ, вовсе не знаете?

— Вовсе! брякнулъ онъ, чтобы только поскорѣе развязаться.

— Гм.. И читать даже не умѣете?

— Читать, конечно, умѣю.

— Такъ вотъ, прочтите.



Мальчикъ изъ поданной ему нѣмецкой книжки прочелъ довольно бѣгло нѣсколько строкъ.

— Ну, этого на первый разъ, пожалуй, и достаточно, смилостивился министръ, и отнесся по-французки къ сидѣвшему тутъ же за столомъ маленькому старичку въ напудренномъ парикѣ: — Мосье де-Будри! не соблаговолите ли теперь вы?..

Де-Будри, несмотря на свои преклонныя лѣта, чрезвычайно живой и подвижный, вертя въ пальцахъ черепаховую табакерку, предложилъ Пушкину простой грамматическій вопросъ, но предложилъ по-русски, уморительно коверкая слова. Пушкинъ, съ трудомъ подавляя улыбку, отвѣчалъ ему безъ запинки на самомъ чистомъ парижскомъ нарѣчii. Французъ весь такъ и встрепенулся, и не замедлилъ самъ перейти на свой родной языкъ.

— А! Такъ вы, милый мой, читали, быть можетъ, и нашихъ великихъ классиковъ?

— Расина, Корнеля, Мольера? переспросилъ Александръ: — читалъ, такъ же какъ и философовъ Руссо, Вольтера...

— Руссо и Вольтера! вырвалось у графа Разумовскаго, и онъ многозначительно переглянулся съ присутствующими. — Тоже, видно, брали безъ спроса изъ библіотеки отца?

— Да...

— Будемъ надѣяться, что вы ихъ хотя на половину не поняли.

— Ну, Расинъ, Корнель и даже Мольеръ безвредны, вступился мосье де-Будри.

— Я умѣю читать Мольера и на разные голоса, вызвался ободрившійся опять Пушкинъ.

— О! о! на разные голоса! Не разрѣшите ли, ваше сіятельство, прочесть ему намъ, для образчика, какую-нибудь Мольеровскую сценку?

— Отчего же, пускай прочтетъ. Выборъ пьесы, молодой человѣкъ, мы предоставляемъ вамъ.

Особенно глубоко запечатлѣлся въ памяти Александра одинъ любимый его отцомъ и дядей Мольеровскій діалогъ. Онъ слышалъ его столько разъ, что помнилъ не только обѣ роли отъ слова до слова, но и самое выраженіе голоса обоихъ. Точно записной импровизаторъ, охваченный вдохновеніемъ, онъ забылъ, казалось, даже, гдѣ онъ, и, безъ всякой уже робости, передалъ діалогъ почти безупречно.

— Безподобно! изумительно! не правда ли, милостивые государи? воскликнулъ по-французки де-Будри, озираясь кругомъ съ такимъ торжествующимъ видомъ, точно онъ самъ такъ блистательно подготовилъ молодого импровизатора. — Послѣ такой аттестаціи, ваше сіятельство, я полагаю, было бы просто грѣшно испытывать его еще въ грамматическихъ мелочахъ. А незнаніе нѣмецкаго языка болѣе чѣмъ извинительно.

Профессоръ нѣмецкой словесности, человѣкъ еще молодой, но строгаго и неприступнаго вида, началъ было протестовать; но министръ, не желая затягивать экзаменовку по другимъ предметамъ, принялъ сторону де-Будри.

По географіи и исторіи повторилось то же, что и по русскому языку: сбиваясь въ нѣкоторыхъ, самыхъ элементарныхъ, вопросахъ по физическому описанію земли, не зная твердо ни одного года историческихъ событій, Пушкинъ такъ осмысленно, съ такимъ увлеченіемъ передавалъ разныя любопытныя по-



дробности этнографическія и политическія, что самъ графъ Разумовскій не скрылъ своего одобренія.

— Чтò вы учили по обязанности, то усвоили плохо; чтò читали безъ спроса, то усвоили прекрасно, сказалъ онъ и, обернувшись къ директору Малиновскому, прибавилъ вполголоса:—я рекомендовалъ бы вамъ, сударь мой, обратить на сего птенца особенное ваше вниманіе: онъ сколь необузданъ, столь и даровитъ. Въ ариѳметикѣ онъ, я увѣренъ, всего слабѣе.

Графъ не ошибся. Сухая цыфирь, требующая сосредоточеннаго вниманія, была для богатаго фантазіей, но бѣднаго терпѣніемъ начинающаго поэта всегда непреодолимымъ камнемъ преткновенія. Написавъ на доскѣ мѣломъ продиктованную ему задачу, онъ, какъ только приступилъ къ ея разрѣшенію, такъ и перепуталъ. Тщетно профессоръ математики, повидимому, также расположенный въ пользу мальчика предшествовавшими удачными его отвѣтами, пытался навести его на истинный путь: Пушкинъ, точно въ дремучемъ, топкомъ бору, забирался все глубже въ непроходимую трясиину, пока совсѣмъ не завязъ; тогда онъ безнадежно опустилъ голову и положилъ мѣлъ.

— Нѣтъ, не умѣю...

— Довольно, рѣшилъ министръ.

— Дозвольте мнѣ, ваше сіятельство, предложить ему еще только одинъ-другой теоретическій вопросъ, вступился профессоръ:—задача, пожалуй, была для него не въ мѣру замысловата-съ...

— Довольно! повторилъ графъ и внушительно кивнулъ головой Пушкину на дверь.

До послѣдней минуты, неизвѣстность будущаго поддерживала еще Александра, какъ утопающаго надъ

бездонною топью. Теперь все кончилось безповоротно: неумолимая судьба придавила его тяжкимъ гнетомъ и потянула въ темную глубь. Съ невыносимою тяжестью этою на сердцѣ, съ отуманенною головой, самъ не зная какъ, онъ выбрался въ пріемную и машинально поплелся къ своему мѣсту. Дельвиговъ уже не было; зато передъ нимъ, какъ листъ передъ травой, выросъ Гурьевъ и любезно освѣдомился:

— Можно поздравить?

— Да! и вамъ того же желаю! буркнулъ въ лицо ему Пушкинъ и круто повернулся къ Василью Львовичу, также въ это время подошедшему къ нему:— Бога ради, уйдемте, дядя...

— Куда же ты? Скажи мнѣ, по крайней мѣрѣ...

— Потомъ все расскажу... Уйдемте только...

— А съ будущими товарищами-то ты такъ и не простишься?

— Не будутъ они мнѣ товарищами...

И, не дожидаясь дяди, Александръ опрометью выбѣжалъ на лѣстницу. Василій Львовичъ, пыхтя, едва нагналъ его уже на второй площадкѣ.

— Ты, стало быть, срѣзался, мой другъ?

— Стало быть.

— Изъ чего же?

— Изъ ариѳметики.

— Только-то?

— Кажется, довольно!

— Ну, такъ не все еще пропало; не кручинься. Уломаемъ Малиновскаго, чтобы далъ тебѣ переэкзаменовку; а не дастъ—подобьемъ Тургенева: ужъ этотъ, какъ добрый волшебникъ въ сказкѣ, такъ-ли, сякъ-ли выручитъ.





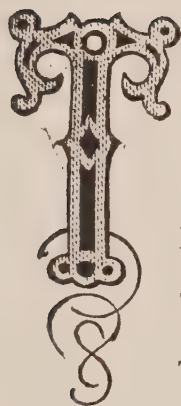


## ГЛАВА IV.

### Молодое вино бродитъ.

„Какъ ты шалишь и какъ ты милъ,  
Какой избытокъ чувствъ и силъ,  
Какое буйство молодое!“

(Посланіе къ Языкову.)



Точно ли Тургеневъ, этотъ «добрый волшебникъ», по выраженію Василья Львовича, по-содѣйствовалъ опять благопріятному исходу дѣла,—осталось неизвѣстнымъ; о своемъ содѣйствіи онъ никому никогда не заикался. Какъ бы то ни было, только, послѣ нѣсколькихъ дней томительнаго ожиданія, Василій Львовичъ привезъ племяннику отъ директора Малиновскаго радостную вѣсть, что онъ, Александръ, попалъ-таки въ число 30-ти счастливцевъ, выбранныхъ въ лицей самимъ министромъ изъ 38-ми экзаменовавшихся.

— И безъ переэкзаменовки? восторженно спросилъ Александръ, отрываясь отъ ариѳметики, надъ которою всѣ эти дни онъ, по настоянію дяди, по цѣлымъ часамъ корпѣлъ или, вѣрнѣе, зѣвалъ.

— Безъ переэкзаменовки, отвѣчалъ Василій Львовичъ;—но Малиновскій все же рассчитываетъ, что ты, до переѣзда въ Царское, хорошенько повторишь зады...

— Такъ онъ ошибся въ расчетѣ! воскликнулъ вѣтреникъ, —и ненавистная ему учебная книжка со всего размаха полетѣла на другой конецъ комнаты, гдѣ, ударившись объ стѣну, шлепнулась плашмя на полъ.— Видите, гдѣ она лежитъ теперь? Тамъ до Царскаго и пролежить.

— Ну, поднять-то все-таки не мѣшаетъ, благодушно сказалъ Василій Львовичъ, поднимая книгу съ полу и кладя ее на столъ.—Послѣ, можетъ, подумаешься. До начала классныхъ занятій пройдетъ еще не мало времени; Государь отвелъ для васъ цѣлый флигель своего царскосельскаго дворца, а вѣдь его надо еще приспособить: раздвинуть стѣны, переставить печи, перестлать полы, все заново перекрасить, пообчистить...

— Экая досада, право! А я ужъ радовался, что сейчасъ познакомлюсь кой съ кѣмъ изъ товарищей...

— Одно другому не мѣшаетъ. Малиновскій велѣлъ передать тебѣ, что онъ ожидаетъ всю вашу братью завтра утромъ къ себѣ, на квартиру, для примѣрки казенной амуниціи; тамъ и сведешь знакомство, съ кѣмъ пожелаешь.

И точно: на другой же день, а потомъ еще нѣсколько разъ, лицеисты собирались для указанной цѣли на квартирѣ директора. Затѣмъ, когда тотъ отбылъ 1-го сентября въ Царское Село, съ чиновниками лицейскаго правленія, для наблюденія на мѣстѣ за ремонтными работами, роль хозяина въ домѣ принялъ старшій сынъ его, Иванъ, также лицеистъ, но лѣтъ



уже 15-ти, вслѣдствіе чего товарищи относились къ нему съ нѣкоторымъ уваженіемъ.

А какъ было весело на этихъ сходкахъ! Сколько было тутъ хохота и шутокъ, когда примѣриваемое казенное платье или сидѣло мѣшкомъ, или же, напротивъ, не сходилось на груди, а стоячій красный воротникъ былъ такъ широкъ и высокъ, что можно было уйти въ него съ подбородкомъ до самыхъ ушей. Какъ было потѣшно надѣвать передъ зеркаломъ треуголку по-наполеоновски, поперекъ головы, или, въ высокихъ лакированныхъ ботфортахъ, съ пѣтушиной важностью расхаживать взадъ и впередъ по всему ряду комнатъ, — благо самого хозяина не было на лицо!

Одна только капля дегтя отравляла имъ эту бочку меда: до формальнаго открытія лица имъ было строго воспрещено щеголять во всей новой красѣ своей внѣ дома.

Всѣ мальчики, которыхъ Пушкинъ успѣлъ мелькомъ узнать до экзамена въ пріемной министра, оказались принятыми; только изъ двухъ Пушиныхъ одному пришлось отказаться отъ лица, — не потому, чтобы онъ не выдержалъ испытанія, а потому, что графъ Разумовскій хотѣлъ возможно бѣльшему числу «знатныхъ» семействъ открыть доступъ въ новое привилегированное заведеніе и предоставилъ адмиралу Пушину одну только вакансію для обоихъ его внуковъ, съ тѣмъ, чтобы онъ самъ выбралъ изъ нихъ въ лицей любого. Выборъ палъ на Ивана Пушина, т. е. на того самаго, который болѣе приглянулся Пушкину. И вотъ, при первомъ же разставаньи на квартирѣ директора, Пушкинъ зазвалъ его къ себѣ.

— Не зайдете ли вы когда-нибудь вечеромъ? Пожалуйста!

— «Вы?» переспросилъ Пушкинъ и взглянулъ Пушкину въ глаза такъ открыто и довѣрчиво, что тотъ невольно покраснѣлъ.

— Ну, «ты», поправился Пушкинъ. — Тутъ недалеко... (онъ сказалъ адресъ). Зайдешь?

— Съ удовольствіемъ.

— И мнѣ можно? раздался позади ихъ вкрадчивый голосъ. Оказалось, что то былъ голосъ подслушавшаго ихъ Гурьева.

Хотя послѣдній, по своей дѣланной любезности и навязчивости, и не особенно былъ пріятенъ Александру, но такъ-какъ, въ то же время, своею неизмѣнною игривостью и веселостью онъ оживлялъ всякое общество, то Пушкинъ не задумался изъяснить свое согласіе.

— Сдѣлай одолженіе. Чѣмъ больше насъ будетъ, тѣмъ лучше.

— Такъ и Ломоносова привести можно? Онъ добрый малый!..

— Конечно, приведи.

Пушкинъ охотно пригласилъ бы еще и барона Дельвига, и князя Горчакова, но тѣ проводили осень у родныхъ на дачѣ: одинъ—въ Петергофѣ, другой—гдѣ-то еще дальше.

Такъ, еще до поступленія въ лицей, Пушкинъ сошелся съ тремя названными товарищами и съ сыномъ директора Малиновскаго, который нерѣдко также навѣщалъ его. Но болѣе тѣсныя, дружескія отношенія у него установились только съ Пушинымъ, съ которымъ онъ видался почти ежедневно, то на дому, то въ Лѣтнемъ саду.

Василій Львовичъ не хотѣлъ вернуться въ Москву до окончательнаго водворенія племянника въ стѣнахъ



лица; онъ не разъ нанималъ лодку и возилъ маленькихъ пріятелей на острова. Первая изъ такихъ поѣздокъ, устроенная вскорѣ послѣ экзамена, въ ознаменованіе его благополучнаго исхода, осталась особенно памятною всѣмъ участникамъ.

Вечеръ былъ тихій, ясный; настроеніе всѣхъ—самое праздничное. Лодочника не взяли, потому что и безъ него въ яликѣ было куда тѣсно отъ пяти чловѣкъ лицеистовъ и толстяка Василья Львовича. Да въ помощи его и не нуждались: мальчики чуть не дрались изъ-за веселъ и гребли наперерывъ.

Пока они плыли еще Мойкой и Крюковымъ каналомъ, юной удали ихъ негдѣ было развернуться. Но, выбравшись разъ изъ подземнаго рукава Крюкова канала, изъ мрака, сырости и духоты, въ Большую Неву, на солнце, просторъ и воздухъ, они вздохнули вольною грудью, и когда тутъ Василій Львовичъ затянулъ густымъ, звучнымъ баритономъ: «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ»,—всѣ пятеро лицеистовъ разомъ подхватили своими звонкими отроческими альтами,—и понеслась стародавняя пѣсня, правда, не совсѣмъ стройно, но очень одушевленно, надъ сверкающей зыбью рѣки.

— Вы бы, Гурьевъ, немножко полегче, ласково замѣтилъ Василій Львовичъ:—у васъ слуха-то, кажется, совсѣмъ не полагается.

А живчикъ-племянникъ ужъ вскочилъ со скамейки и энергически замахалъ тактъ рукой надъ головами хора:

— Дружно! Дружно!

„Ничего въ волнахъ не видно“.

Улыбаясь пылкости самозваннаго капельмейстера, но все-таки повинуваясь движеніямъ его руки, хоръ, въ







самомъ дѣлѣ, запѣлъ какъ-будто согласнѣй. Когда, наконецъ, въ воздухѣ замерли послѣдніе звуки пѣсни, Александръ, подъ впечатлѣніемъ охватившаго его порыва, простеръ руки къ солнцу и воскликнулъ:

— А славно жить на свѣтѣ, господа! Такъ бы сейчасъ и обнялъ весь міръ!

— И бухнулъ бы вмѣстѣ съ нимъ въ воду, досказалъ дядя, стараясь привести въ равновѣсіе яликъ, который такъ и качался съ боку-на-бокъ подъ ногами непосѣда-племянника.— Умѣрь свой телячій восторгъ и садись-ка лучше.

— Сегодня, дяденька, мой день! Вы хоть и пригласили насъ, но я плачу и за яликъ, и за угощенье!

— Изъ какихъ это благъ?

— Ну, столько-то у меня найдется; а ежели бы не достало, то у васъ достанетъ.

— А-га!

— Нѣтъ, дядя, я говорю не о вашихъ собственныхъ деньгахъ, а о тѣхъ, что вы взяли у меня на храненіе.

— Я—взялъ? Перекрестись! Когда это?

— Да неужто вы забыли? Бабушка Варвара Васильевна и тетюшка Анна Львовна \*) подарили мнѣ на орѣхи, передъ отъѣздомъ нашимъ изъ Москвы, сто рублей, а вы дорѣгой отняли ихъ у меня. Игнатій можетъ засвидѣтельствовать это.

— А! да... замялся Василій Львовичъ.—Ну, бра-

---

\*) Варвара Васильевна Чичерина—сестра родной бабушки Александра Сергѣевича со стороны отца, Ольги Васильевны Пушкиной, урожденной Чичериной; Анна Львовна Пушкина—сестра Василья и Сергѣя Львовичей.



тецъ мой, возвращать ихъ тебѣ цѣлостью, я вижу, опасно, потому что ты сейчасъ готовъ растратить.

— Но они мнѣ могутъ понадобиться въ Царскомъ...

— Царское еще впереди, а теперь тебѣ ихъ не видать, какъ своихъ ушей.

Возвратилъ ли когда-нибудь впослѣдствіи племяннику до-нелзя забывчивый Василій Львовичъ эти сто руб.—неизвѣстно; знаемъ мы только изъ письма Александра Сергѣевича къ князю Вяземскому, написаннаго четырнадцать лѣтъ спустя, что къ тому времени деньги все еще не были возвращены.

Спустившись внизъ по Невѣ на взморье, наша веселая компанія обогнула Галерную Гавень, завернула въ Малую Невку и высадилась на Крестовскомъ островѣ. Минутъ десять спустя, она сидѣла уже въ тѣнистомъ садикѣ извѣстнаго тогда ресторана, котораго въ наше время и вспоминѣ нѣтъ, такъ-какъ процвѣтавшій нѣкогда Крестовскій теперь рѣшительно забытъ и заброшенъ.

— Такъ, стало быть, мы можемъ сегодня порошкошничать на твой счетъ? насмѣшливо спросилъ Василій Львовичъ племянника.

— Можете, и даже прошу.

— Слышите, господа? Онъ проситъ васъ не стѣсняться въ депансахъ. Эй, человѣкъ! мнѣ, первымъ дѣломъ, двѣ дюжины устрицъ и бутылку клико! Да льду, чуръ, не забыть.

Вскорѣ за столомъ завязалась самая задушевная, шумная, полудѣтская полуиюношеская бесѣда. Оживленію ея не мало способствовало и замороженное шампанское, которое Василій Львовичъ разлилъ по бокаламъ изъ потребованной имъ сперва одной, а по-

томъ и второй бутылки. По тонкой, самодовольной улыбкѣ, не сходявшей съ его благодушнаго лица, легко было догадаться, что про себя онъ давно уже рѣшилъ потѣшиться только надъ расточительнымъ племянникомъ и, въ концѣ концовъ, всѣ «депансы» по сегодняшнему угощенію покрыть изъ собственнаго кармана.

Александръ же, въ качествѣ хозяина, былъ особенно развязенъ и веселъ. Щеки его горѣли, глаза искрились; онъ былъ, что называется, въ ударѣ: шутилъ, острилъ и, то и дѣло, заливался самымъ искреннимъ смѣхомъ, показывая сплошной рядъ своихъ чудныхъ бѣлыхъ зубовъ.

Пушинъ невольно на него заглядѣлся и замѣтилъ:

— А веселость тебѣ, Пушкинъ, очень къ лицу.

— Юный Вакхъ! пояснилъ Василій Львовичъ:— только бы увить кудри цвѣтущимъ плющемъ и виноградомъ... Никто изъ васъ, господа, я чай, и не повѣритъ, что сей самый попрыгунъ и живчикъ, на первой зарѣ жизни, сирѣчь, до 7-ми лѣтъ, былъ неповоротливый пузанъ и медвѣженокъ.

— Ну? Не можетъ быть! удивились товарищи Александра.

— Дядя преувеличиваетъ, отозвался племянникъ.

— Преувеличиваю? Шила, братъ, въ мѣшкѣ не утаишь! Ужъ кому, какъ не мнѣ, знать тебя съ младыхъ ногтей? Расскажу вамъ, государи мои, въ назиданіе, только слѣдующій случай. Въ одно прекрасное утро, матушка нашего героя разрядила своего первенца, какъ куколку, и повела гулять. Медвѣженокъ же съ первыхъ шаговъ усталъ и какъ-разъ, когда приходилось перейти улицу, категорически заявилъ свое рѣшеніе:



«А я, мама, сяду».

Мама, понятно, такъ и ахнула.

«Куда же? Боже тебя упаси!»

Молодчикъ, между тѣмъ, ужъ привелъ въ исполненіе свое рѣшеніе: преспокойно усѣлся посреди улицы, — благо было сухо; но за то, какъ сѣлъ, такъ вокругъ него столбомъ пыль взвилась. А тутъ, какъ на бѣду, всю эту сцену видѣла изъ окошка ближняго дома какая-то дама, и отъ души расхохоталась. Александръ вломился въ амбицію, окрысился и на всю улицу крикнулъ дамѣ:

«Нечего зубы-то скалить!»

На этомъ мѣстѣ разсказъ Василья Львовича былъ прерванъ громогласнымъ хохотомъ слушателей-лицеистовъ. Самъ герой разсказа, Александръ, чтобы скрыть свое смущеніе, хохоталъ чуть не громче всѣхъ и залпомъ осушилъ свой бокаль.

— Я совѣтовалъ бы тебѣ, Александръ, не пить больше, предостерегъ его дядя: — ты такъ полнокровенъ.

— Что жъ изъ того? легкомысленно возразилъ Пушкинъ, откидывая назадъ голову.

— А то, дружище, что въ возбужденномъ состояніи ты намъ здѣсь, пожалуй, учинишь еще пуцій афронтъ, чѣмъ достоуважаемой матушкѣ. Можете вообразить себѣ, господа, какъ сконфузила вышеописанная выходка сына столь блестящую и гордую барыню, какова извѣстная всему высшему кругу Бѣлокаменной Надежда Осиповна Пушкина! Она готова была, какъ сама мнѣ потомъ признавалась, сквозь землю провалиться, и, разумѣется, съ того самаго раза никогда ужъ его съ собой гулять не брала. Вообще я долженъ относительно матушки его доложить вамъ...

— Оставьте, пожалуйста, дядя, матушку мою въ покоѣ! отрывисто и глухо пробурчалъ, весь вспыхнувъ, Александръ и, уткнувшись въ тарелку, съ ожесточеніемъ принялся рѣзать и набивать себѣ за обѣ щеки поданную ему котлетку.

— Да картина, любезнѣйшій мой, не была бы полна...

— Ни слова больше! перебилъ, задыхаясь уже, племянникъ,—а не то...

— Что?

— Я... я совсѣмъ уйду отсюда...

— Ну, ну, не буду. «Чти отца твоего и мать твою», гласитъ пятая заповѣдь Господня.

И Василій Львовичъ ласково сталъ гладить курчавую голову мальчика, приговаривая:

— Паинька-заинька!

Но такое дѣтское обращеніе, да еще въ присутствіи товарищей, было черезчуръ обидно для нашего поэта-лицеиста. Онъ бросилъ на тарелку ножъ и вилку, и разомъ отодвинулся отъ стола.

— Это ужъ слишкомъ!..

— Нѣтъ, голубушка, по головѣ-то тебя, хочешь, не хочешь, а погладимъ, не унимался дядя.—Господа! поддержите-ка его!

Вотъ это, дѣйствительно, было «ужъ слишкомъ». Александръ увернулся отъ протянутыхъ къ нему рукъ, опрокинулъ при этомъ стулъ, на которомъ сидѣлъ, и бросился вонъ, прижимая къ глазамъ платокъ.

— Да онъ, сумасшедшій, въ самомъ дѣлѣ, удереть! не на шутку всполошился дядя.—Бѣгите за нимъ, господа, верните его...

Пушинъ пустился въ погоню и, нагнавъ бѣглеца у выхода изъ сада, остановилъ его.



— Куда же ты, Пушкинъ?

— Пусти! со слезами въ голосъ проговорилъ тотъ, пряча платокъ и отталкивая Пущина.

— Если домой, то вѣдь ты и дороги-то не знаешь, продолжалъ убѣждать Пущинъ. — Заблудишься ночью, Богъ знаетъ, куда попадешь, а въ лодкѣ преспокойно доѣхалъ бы опять въ компаніи.

— Ну, да! хороша компанія дяди! ты видѣлъ... Онъ воображаетъ, что я все еще малютка...

— Да пойми же, онъ смотритъ на тебя какъ на своего сына, что онъ только пошутилъ!

— Шутка шуткѣ рознь и всякому терпѣнію есть конецъ. Послѣдняя его шутка была послѣднею каплей... она переполнила чашу...

— Послѣднею каплей, мнѣ кажется, былъ именно тотъ лишній глотокъ шампанскаго, отъ котораго онъ раньше предостерегалъ тебя, возразилъ шутливо Пущинъ. — А уйдешь теперь, такъ вѣдь онъ, пожалуй, подумаетъ, что ты не хочешь расплатиться, какъ обѣщаль.

— Такъ вотъ—на, возьми мой кошелекъ...

— Нѣтъ, братъ, не возьму; я въ ваши семейные счета не мѣшаюсь.

Въ это время, къ двумъ пріятелямъ подошелъ Ма-линовскій.

— Гдѣ же вы запропалились, господа? Мы собираемся играть въ кегли.

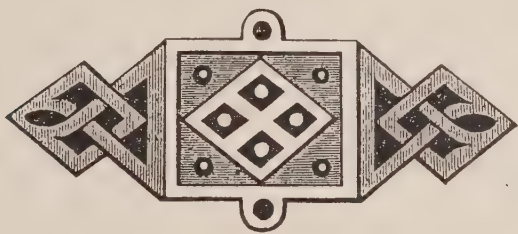
— Я не играю! отказался Пушкинъ.

— Ну, такъ посмотри хоть: глядя, можетъ, не удержишься, самъ станешь играть.

— Да что съ нимъ долго растобарывать-то, рѣшилъ Пущинъ:—нейдетъ доброй волей, такъ поведемъ

насильно! Ты, Малиновскій, бери-ка его оттуда, а я—отсюда.

И, подхваченный подъ руки съ обѣихъ сторонъ, Пушкинъ, почти уже не сопротивляясь, даже смѣясь сквозь невысохшія еще слезы, направился со своими провожатыми къ кегельбану.







## ГЛАВА V.

### Молодое вино бурлитъ.

„Я ѣду, ѣду, не свищу,  
А какъ наѣду, не спущу!“

(Русланъ и Людмила.)

**Н**аступилъ если не полный миръ, то продолжительное перемиріе. Четверо товарищей Пушкина, сбросивъ сюртуки и засучивъ рукава, съ юношескимъ азартомъ предались тревоженіямъ кегельной игры. Василій Львовичъ не игралъ; вооружившись бокаломъ, онъ усѣлся на барьерѣ кегельбана и, болтая по воздуху своими короткими ножками, дѣлалъ игрокамъ дѣльные замѣчанія, а въ случаѣ пререканій между ними—служилъ посредникомъ-экспертомъ. Племянникъ, не совсѣмъ еще успокоенный, прислонился къ столбу позади дяди и своими быстрыми глазами неотступно слѣдилъ за игрою товарищей, не особенно умѣлою, но чрезвычайно одушевленной. Шары съ трескомъ и гуломъ катились

внизъ по галлерей и съ грохотомъ вторгались въ разставленный на другомъ ея концѣ треугольникъ кеглей. Если кому удавалось хорошенько разгромить треугольникъ, то ловкость его награждалась общимъ возгласомъ одобренія; если же кто давалъ промахъ, то его осмѣивали безпощадно.

— Этакъ-то и я съумѣю! послѣ одного такого промаха насмѣшливо замѣтилъ изъ-за своего столба Пушкинъ.

— Такъ что же, дружокъ, попробуй! оглянулся на него дядя:—вѣкъ живи—вѣкъ учись.

— Не хочу!

Однако веселость играющихъ была такъ заразительна, что когда, послѣ двухъ сыгранныхъ партій, Александра опять пригласили, онъ не только не сталъ отнѣкиваться, но даже счелъ нужнымъ заявить:

— Въ кегли я, положимъ, не игралъ, но на бильярдѣ играю, и очень даже недурно.

— Гречневая каша сама себя хвалить, замѣтилъ сосѣду вполголоса Гурьевъ.

— Что?

— Глухимъ двухъ обѣденъ не служатъ. Кидай, братъ, кидай!

Пушкинъ, по примѣру прочихъ, ухарски засучилъ рукавъ, смочилъ ладонь о влажную губку, взялъ шаръ и, раскачивая его, отступилъ на два шага.

— Вниманія, господа! крикнулъ ему подъ-руку Гурьевъ:—первый пробный, но мастерской шаръ!

Пушкинъ, въ это время, разбѣжался и, размахнувшись, не могъ уже удержать шара. Отъ неопытности ли, или оттого, что Гурьевъ такъ не впору «сглазилъ», увѣсистый шаръ вырвался изъ обхватывавшей



его маленькой руки на полсекунды ранѣе, чѣмъ бы слѣдовало, ударился о бортъ и покатился вдоль барьера, не задѣвъ ни одной кегли.

Понятно, что, послѣ предшествовавшей похвальбы игрока, такая его неудача не обошлась безъ взрыва хохота окружающихъ. А Гурьевъ опять-таки не преминулъ подтрунить:

— Видѣли, господа? Вотъ у кого бы намъ поучиться! Почему берешь за урокъ, Пушкинъ?

— Недорого, былъ отвѣтъ:—здоровую плюху, если ты хоть слово еще пикнешь!

Угроза была сдѣлана такъ задорно, что Гурьевъ даже побдѣднѣлъ, а прочіе товарищи, видимо, были непріятно поражены грубостью Пушкина. Тутъ дядя его нашелъ нужнымъ выступить въ своей роли посредника.

— Ты ужасный пѣтухъ, Александръ, замѣтилъ онъ ему по-французски:—отъ друга-то можно бы, кажется, снести шпильку.

— Во-первыхъ, онъ мнѣ не другъ! огрызнулся по-французски же Александръ,—а во-вторыхъ, я никому не позволю такихъ шпилекъ...

— Французъ! слышался чей-то голосъ.

Пушкинъ мигомъ обернулся.

— Кто это бранится? Опять ты, Гурьевъ?

А тотъ ужъ схоронился за чужой спиной и оправдывался самымъ невиннымъ тономъ:

— И не думалъ... Господь съ тобой! Что же, господа, будемъ мы еще играть или нѣтъ?

Игра возобновилась. Пушкинъ продолжалъ дуться, но, въ то же время, бросалъ шаръ очень старательно, такъ что разъ свалилъ даже восемь кеглей.

— А? что? обратился онъ къ Гурьеву.—Гречневая каша даромъ, что ли, хвалилась?

— Да всѣхъ девяти штукъ ты все-таки не свалилъ!

— И ты не свалилъ.

— Захочу—свалю.

— Какъ-же!

— А вотъ, гляди.

По какой-то счастливой, или, вѣрнѣе, несчастной случайности, Гурьеву на этотъ разъ, въ самомъ дѣлѣ, удалось свалить всѣ девять кеглей, и онъ, ликуя, закружился на каблукѣ.

— Ай-да я! чья взяла, а?

Но торжество его было непродолжительно. Пушкинъ, не въ силахъ уже сладить съ собой, подступилъ къ нему съ стиснутыми кулаками, съ трясущеюся нижнею челюстью, и собирался что-то сказать; но непослушныя губы его издали только какой-то дѣтскій лепетъ:

— Ва-ва-ва...

— Ва-ва-ва! передразнилъ зазнавшійся Гурьевъ.

Клокотавшая въ жилахъ Пушкина кровь ударила ему въ голову, затуманила ее; не помня себя отъ гнѣва, онъ поднялъ на насмѣшника руку; но, къ счастью, одинъ изъ товарищей успѣлъ въ время отвести ударъ, такъ что зазорный кулакъ только слегка скользнулъ по плечу Гурьева. Этотъ дотога перепугался, что расплакался навзрыдъ, какъ малый ребенокъ. Пушкинъ же проворно подхватилъ забіяку подъ руку и увелъ въ глубь сада.

— Помилуй, Пушкинъ, что ты дѣлаешь? урезонивалъ онъ его, шагая съ нимъ рука объ руку по темной аллеѣ.—Положимъ, Гурьевъ тоже виноватъ; но



ты видѣлъ сейчасъ, какой онъ нюня, точно старая баба: такъ стоитъ ли изъ-за него портить себѣ кровь? А главное, не забудь: вѣдь намъ битыхъ шесть лѣтъ придется высидѣть вмѣстѣ съ нимъ въ лицеѣ.

— Все это я очень хорошо понимаю, сознался со вздохомъ Пушкинъ: — но что подѣлаешь со своей дикой натурой? Я все равно, что горячая лошадь: раззадорили ее — и кончено! готова, сломя голову, летѣть черезъ рвы и канавы въ первую пропасть.

— Какъ это въ тебѣ уживаются вмѣстѣ такое безумство и такой умъ? замѣтилъ Пущинъ. — А ума у тебя очень много, болѣе, чѣмъ у кого изъ насъ...

— Вотъ вздоръ! Я, можетъ быть, прочиталъ только немножко больше книгъ...

— Не немножко, а въ десять разъ больше, поэтому ты и развитѣе насъ. Мы съ Малиновскимъ ужъ толковали объ этомъ, и онъ совершенно согласенъ со мной.

— Да развѣ я когда-нибудь важничалъ передъ вами?

— Напротивъ: уму и познаніямъ своимъ ты точно не придаешь никакой цѣны. За то въ пустякахъ ты страшно самолюбивъ: никакъ не можешь простить, если кто-нибудь перещеголяетъ тебя въ физической силѣ или ловкости. Вѣдь правда?

— Правда; и ужъ изъ этого одного, Пущинъ, ты видишь, что я совсѣмъ не уменъ, а глупъ.

— Нѣтъ, не глупъ, а только — какъ ты самъ сейчасъ сказалъ — дикъ, горячъ. Теперь вотъ ты успокоился и прекрасно понимаешь, что погорячился. Знаешь ли, что я сдѣлалъ бы на твоемъ мѣстѣ?

Юные пріятели вышли въ это время изъ тѣнистой

аллеи обратно на открытую площадку передъ рестораномъ, и послѣдній отблескъ потухающей зари отчетливо освѣтилъ лицо Пушкина, въ половину обращенное къ собесѣднику. Въ выразительныхъ чертахъ его прежнее угрюмое упрямство уступило мѣсто искреннему раскаянію; на рѣсницахъ его сверкали слезы.

— Знаю! сказалъ онъ, и безъ оглядки побѣжалъ къ кегельбану. Тутъ, подойдя сзади къ Гурьеву, онъ опустилъ ему на плечи руки и шепнулъ на ухо:

— Прости меня... забудь, пожалуйста...

Трусишка Гурьевъ никакъ, повидимому, не ожидалъ, что гордецъ Пушкинъ самъ придетъ къ нему съ повинной, и въ первую минуту сильно испугался. Но, заглянувъ въ застѣнчиво-дружелюбные глаза своего недавняго врага, онъ понялъ, что, дѣйствительно, гроза миновала, и крѣпко обнялъ, расцѣловалъ его.

— И ты забудь... Милые бранятся — только тѣшатся.

— А что же у меня-то, Александръ, ты такъ и не попросишь прощенья? съ снисходительной усмѣшкой спросилъ Василій Львовичъ.

Александръ также улыбнулся въ отвѣтъ и потупился.

— Да вѣдь не я, дядя, первый началъ...

— Такъ, стало быть, и не тебѣ первому мириться? Ну, изволь, Господь съ тобой! Гора не подошла къ Магомету, такъ Магометъ подошелъ къ горѣ.

При видѣ протянутой ему руки, сердце Александра смягчилось, и онъ такъ искренно сжалъ эту выхоленную, пухлую руку своими костлявыми, нервными пальцами, что Василій Львовичъ даже поморщился.

— Полегче, братъ!



Такимъ образомъ, общій миръ былъ окончательно заключенъ и уже не прерывался. Гурьевъ, послѣ даннаго ему Пушкинымъ урока, точно воспылалъ къ нему особенною нѣжностью и весь остальной вечеръ заискивалъ, юлилъ около него, заглядывалъ ему въ глаза, громче всѣхъ смѣялся его остротамъ.

Когда, наконецъ, стали собираться во свояси и потребовали отъ буфетчика разчета, то между двумя Пушкиными—дядей и племянникомъ,—завязалось благодарное соревнованіе: ни одинъ изъ нихъ не хотѣлъ допустить другого до расплаты. Александръ, отведя дядю рукой, высыпалъ изъ маленькаго бисернаго кошелька своего на прилавокъ весь наличный свой капиталъ. Но тутъ оказалось, что капиталъ этотъ не покроетъ и половины сдѣланныхъ «депансовъ». Василій Львовичъ, смѣясь, доплатилъ остальное.

— Чтѣ и требовалось доказать! сказалъ онъ.—А впослѣдствіи, братъ, увидишь, еще займешь у меня.

— Клянусь вамъ, дядя...

— Не заклинайся: нарушеніе клятвы—одинъ изъ самыхъ тяжкихъ грѣховъ.

Не разъ еще послѣ того повторялись эти водяные прогулки. Повторялись у молодого Пушкина и вспышки его задорнаго нрава. Но онъ самъ уже строго наблюдалъ за собой, чтобы не дать этимъ вспышкамъ разгорѣться до пожара. А дядя былъ настолько предусмотрителенъ, что, для устраненія горячаго матеріала, угощалъ впослѣдствіи молодежь только однимъ чаемъ.





## ГЛАВА VI.

### Первый привѣтъ лица.

„Прощай, свободная стихія!  
(Къ морю.)

„Мой первый другъ, мой другъ безцѣнный!“  
(Стихи безъ заглавія, писанные къ Пущину.)



Открытие лица, предполагавшееся къ началу учебныхъ занятій въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, т. е. 1-го сентября, отлагалось дважды: сперва—вслѣдствіе замедленія во внутренней отдѣлкѣ лицейскаго зданія, потомъ—вслѣдствіе несвоевременной доставки изъ Петербурга классной мебели. Наконецъ, все было готово, и воспитанникамъ было предложено съѣхаться въ Царское Село за нѣсколько дней до 19 октября, когда должно было послѣдовать формальное открытіе лица.

За три дня до этого торжества, Пушкины, дядя и племянникъ, выѣхали къ мѣсту въ собственной бричкѣ Василья Львовича, въ которой прибыли еще изъ Мо-



сквы. Единственнымъ путемъ сообщенія между столицею и Царскимъ Селомъ служило въ то время шоссе; а такъ какъ имъ пользовался и весь Высочайшій Дворъ, то оно содержалось въ образцовомъ порядкѣ, и трех-часовой переѣздъ въ Царское не столько утомилъ нашихъ бывалыхъ путешественниковъ, сколько возбудилъ въ нихъ волчій аппетитъ. Директоръ лицея, Василій Ѳедоровичъ Малиновскій, принялъ Пушкиныхъ тѣмъ болѣе радушно, что зналъ Василья Львовича еще по Москвѣ, и тотчасъ распорядился закуской. Въ ожиданіи послѣдней, Василій Львовичъ усадилъ хозяина рядомъ съ собою на диванъ и, схвативъ его за пуговицу, съ обычнымъ своимъ увлеченіемъ сталъ осыпать его, какъ изъ рога изобилія, столичными новостями. Племянникъ, между тѣмъ, точно чѣмъ-то подавленный, пришибленный, отошелъ на противоположный конецъ комнаты, къ окошку, выходившему въ садъ.

До послѣднихъ дней погода стояла чуть не лѣтняя: ясная, теплая. Но въ послѣднюю ночь ртуть въ градусникѣ разомъ упала ниже нуля: съ ранняго утра стоялъ густой туманъ, а теперь, къ полудню, разыгралась первая зимняя вьюга. Съ ноющей тоской слѣдилъ Александръ за безжалостной игрой бушевавшаго вѣтра: какъ срывалъ онъ съ деревьевъ послѣдніе листья, какъ смѣшивалъ ихъ съ хлопьями крутящагося снѣга и тутъ же засыпалъ безжизненной бѣлой пеленой,—не такъ ли точно срывались теперь и послѣдніе листья съ вольнаго, беззаботнаго дѣтства его, Александра, и заматались не на одинъ годъ, а на цѣлыя шесть лѣтъ мертвящимъ снѣгомъ школьной дрессировки?

И крылатая мечта перенесла его уже далеко-далеко—въ Москву, а оттуда еще за 40 верстъ далѣе—

въ милое Захарьино, имѣніе покойной бабушки его, Марьи Алексѣевны. Съ ранней весны они всей семьей перебрались уже туда на дачу; и вотъ онъ, вдвоемъ съ сестрицей Олей, неразлучной подругой его дѣтскихъ игръ, весело обѣгаетъ сперва весь домъ, а потомъ взламываетъ наглухо заколоченную съ осени дверь балкона. О, какъ здѣсь чудно свѣжо, какъ дышется вольно! Рука объ руку съ Олей, онъ соскакиваетъ въ садъ и, со смѣхомъ таща ее за собой, во весь духъ несется внизъ по кленовой аллеѣ, покрытой первымъ зеленымъ пухомъ, къ манящему вдали зеркальному пруду. Бѣгутъ они и на бѣгу кричатъ другъ другу:

— Смотри-ка, смотри: вонъ, тутъ, помнишь, мы играли сколько разъ въ горѣлки?

— А тамъ, направо, видишь, старый дубъ, гдѣ обѣдали всегда въ жаркую погоду?

Въ это время, откуда-то доносятся къ нимъ звонкіе дѣвичьи голоса, такъ и заливающіеся знакомою пѣсней.

— Ахъ, это, вѣрно, опять хороводъ въ деревнѣ! Но вотъ, сестрицу Олю увели переодѣваться. Онъ, Александръ, потихоньку уноситъ со стола забытую отцомъ книжку и зарывается въ глубину парка, гдѣ его уже никто не разыщетъ. Растянувшись на мягкой, душистой травѣ, онъ раскрываетъ книгу. Но лежать здѣсь такъ отрадно: солнечные лучи, сквозь прозрачную еще зелень, пригрѣваютъ такъ ласково... И интересная книга валится у него изъ рукъ. Заложивъ, вмѣсто подушки, за голову руки, онъ лежитъ на спинѣ и, не отрывая глазъ, глядитъ въ это синѣющее между зелеными верхушками небо, по которому тихо-тихо



плывутъ молочно-бѣлыя облака. И грудь у него ширится, точно готова распахнуться, и самъ онъ готовъ ринуться туда, въ эту глубокую, бездонную синеву, и, падая, ухватиться за облачко, чтобы поплыть на немъ чѣмъ далѣе, тѣмъ лучше, хоть на самый край свѣта...

— О чемъ замечтались, миленькій мой? прозвучалъ надъ самымъ ухомъ Пушкина чей-то не то насмѣшливый, не то вкрадчивый голосъ, и чья-то рука фамиллярно легла къ нему на плечо.

Милыя видѣнья недавняго прошлаго разлетѣлись какъ дымъ. Снова передъ глазами его замелькали, закрутились безчисленные снѣжные хлопья, снова нависъ сверху непроглядный, свинцово-сѣрый небесный сводъ, а сердце загрызла прежняя тоска. Рѣзкимъ движеніемъ плеча онъ отвелъ непрошенную руку и, нахмурясь, обернулся.

Передъ нимъ стоялъ сухопарый господинъ въ вицмундирѣ, съ тонкою усмѣшкой на тонкихъ губахъ и съ умильно-прищуренными, маслянистыми глазами; но глаза эти, вмѣстѣ съ тѣмъ, глядѣли такъ пристально, что, казалось, хотѣли проникнуть въ самую душу.

— Съ кѣмъ имѣю честь?.. холодно пробормоталъ Пушкинъ.

Незнакомецъ беззвучно разсмѣялся и отвѣтилъ тѣмъ же ласковымъ тономъ:

— Имѣете честь говорить съ однимъ изъ вашихъ будущихъ начальниковъ, класснымъ надзирателемъ Мартыномъ Степановичемъ Пилецкимъ-Урбановичемъ. Но таковымъ я почитаюсь только по званію служебному, на дѣлѣ же я буду вашимъ ближайшимъ другомъ, который вполнѣ замѣнитъ вамъ и отца, и мать, и дядю.

— Никогда! вырвалось у Пушкина.

— Та-та-та! Экой вы, милѣйшій мой, недотрога и незамайка. Мнѣ говорили ужъ, что вы до сей поры, какъ одичалый конь, не вѣдали узды и браздовъ. Наши бразды будутъ самыя вольготныя, можно сказать—бархатныя, но все-же научать васъ идти туда, куда долгъ велить. Вы вступаете у насъ, дорогой мой, въ такую же родственную семью, какъ ваша, но, несомнѣнно, въ болѣе благоустроенную, ибо, какъ я не безъ огорченія слышалъ...

Пушкинъ не далъ ему договорить.

— Прошу васъ, господинъ надзиратель, не трогать моей семьи! Я этого не могу позв... не могу слышать...

Пилецкій промолчалъ, только сжалъ свои тонкія губы, повернулся на каблукахъ и отошелъ къ Василью Львовичу, который продолжалъ свою неумолкаемую бесѣду съ Малиновскимъ.

— Однако племянничекъ-то вашъ, господинъ Пушкинъ, признаться сказать, еще строптивѣе, чѣмъ вы мнѣ давеча говорили! замѣтилъ Пилецкій.

— Не всякое лыко въ строку, господинъ надзиратель, благодушно вступился Василій Львовичъ: — разлука, знаете, съ родными, новая обстановка, то да сѣ...

— Да и голодъ, конечно! хватился Малиновскій.— Что-жъ это не подадутъ горячаго бульону?

И, позвонивъ слугу, онъ распорядился завтракомъ.

— Прошу васъ, господа, закусить, чѣмъ Богъ послалъ. Александръ! подите же сюда, покушайте съ нами.

— Благодарю... право, не хочется... отказался мальчикъ.



Зато Василья Львовича не нужно было еще разъ просить; смачно закусывая, онъ обратился къ надзирателю:

— Изволите видѣть: даже аппетитъ у молодца отбило, хоть съ утра во рту маковой росинки не было. Выражаясь фигурально, это—молодое деревцо, пересаженное на чуждую почву: какъ его ни поливай — въ первое время, свѣжіе дотолѣ листья поблекнутъ, свернутся. Все теперь въ вашихъ рукахъ, въ рукахъ его будущихъ садовниковъ; вы можете акклиматизировать его, заставить приносить обильные и сочные плоды, какъ вотъ эта ветчинка. А славно запечена! Это у васъ здѣшній колбасникъ мастеръ такой, или изъ Питера вывезли? Отвѣдай, Александръ: во рту, я тебѣ скажу, таетъ.

— Ей-богу, не могу, дядя...

— Ну, послѣ, за общимъ столомъ накушается тѣмъ плотнѣе, замѣтилъ Малиновскій.—Вы бы, Мартынъ Степановичъ, отвели его теперь къ товарищамъ; это его немножко развлекло бы.

— Слушаю-съ, отвѣчалъ Пилецкій и взялъ уже Александра за руку.

Но Василій Львовичъ остановилъ племянника:

— Да вѣдь мы съ тобой, я думаю, ужъ не увидимся?

— Вы сейчасъ развѣ ѣдете, дядя?

— Мнѣ надо еще уложиться въ Москву.

Племянникъ заволновался.

— Какъ? но передъ отъѣздомъ туда вы все-же заѣдете?

— Да, проѣздомъ, пока на станціи перепрягаютъ

лошадей, можетъ статья, загляну на минутку. Но проститься, на всякій случай, не мѣшаетъ.

— А къ открытію лица вы развѣ не будете?

— Не пустятъ, дружокъ: за множествомъ сановниковъ, которые будутъ сопровождать Ихъ Величества, для нашего брата, простого смертнаго, говорятъ, мѣста не хватитъ.

— Да, къ сожалѣнію, подтвердилъ директоръ:—по распоряженію министра...

— Ахъ, дядя!...

— Что, голубушка родная, жутко стало? Ничего, не тужи! Терпи казакъ—атаманомъ будешь. А дома-то отъ тебя поклониться?

— Пожалуйста! Олѣ, нянѣ...

— И родителямъ?

— Да, конечно... Прощайте, дядя...

— А обнять на прощанье не хочешь?

Александръ, не сдерживая уже слезъ, повисъ у него на шеѣ.

— Прощайте... не забываютъ меня, пишите... Благодарю васъ, дядя, за все, за все...

— Не за что, милый мой, отвѣчалъ растроганный Василій Львовичъ, цѣлуя племянника.

Такъ-же порывисто, какъ обнялъ дядю, Александръ оторвался теперь отъ него и выбѣжалъ изъ комнаты, отирая на-бѣгу глаза. Надзиратель Пилецкій схватилъ со стола свою фуражку и поспѣшилъ за мальчикомъ, напрасно крича ему:

— Куда же вы, Пушкинъ? Вѣдь вы и дороги-то не знаете!

Догналъ онъ его только на другой сторонѣ двора, когда Пушкинъ поневолѣ задержалъ шагъ, недоумѣвая,



въ какую дверь войти. Буйнымъ вѣтромъ такъ и развѣвало на непокрытой головѣ его густыя кудри, такъ и хлестало его по разгоряченному лицу колючими снѣжинками.

— Сюда, за мной! крикнулъ ему Пилецкій, бросаясь въ ближайшую дверь: — въ четвертый этажъ!...

Пушкинъ уже опередилъ его и, шагая черезъ двѣ ступени, побѣжалъ наверхъ. Тутъ, на поворотѣ лѣстницы, онъ столкнулся лицомъ къ лицу со спускавшимся внизъ другимъ лицеистомъ, въ казенной уже формѣ — синемъ сюртукѣ съ красными обшлагами.

«Пушкинъ!» «Пушинъ!» вырвалось разомъ у обоихъ.

Не будь тутъ надзирателя, который, задыхаясь, догонялъ Пушкина, они, быть можетъ, заключили бы другъ друга въ объятья; теперь же, въ присутствіи незваного свидѣтеля, они ограничились только рукопожатіемъ. Впрочемъ, и Пилецкому, должно быть, уже порядкомъ успѣлъ надоѣсть не вмѣру шустрый новичекъ-лицеистъ, потому что онъ поспѣшилъ сбить его съ рукъ.

— Очень радъ, что вы попались намъ, Пушинъ. Отведите-ка товарища въ его камеру, да кликните дежурнаго дядьку.

Съ этими словами, онъ отворилъ сосѣднюю дверь третьяго этажа и захлопнулъ ее за собой. Лицеисты наши продолжали стоять на площадкѣ, держась за руки и глядя вслѣдъ надзирателю.

— Съ этой минуты, значитъ, мы шесть лѣтъ будемъ неразлучны? заговорилъ первымъ Пушинъ, крѣпко сжимая руку пріятеля и дружески заглядывая ему въ глаза. — Да ты, Пушкинъ, никакъ плакалъ?

— Ахъ, вовсе нѣтъ!.. сконфуженно возразилъ тотъ:—я не выспался хорошенько...

— Чего же ты стыдишься? Вѣдь ты, вѣрно, сейчасъ прощался съ Василиемъ Львовичемъ?

— Прощался.

— Ну, вотъ. И я тоже, когда разставался со своими,—а они совсѣмъ близко, въ Петербургѣ,—и я захныкалъ, какъ маленькій ребенокъ.

— Мы оба, стало быть, еще дѣти! разсмѣялся Пушкинъ.—Однако, здѣсь на лѣстницѣ вовсе не жарко.

— И то правда! идемъ же, идемъ. Я тебѣ сейчасъ покажу твою новую квартиру. Ну, кто скорѣе?

— И, по-прежнему держась за руки, они взапуски пробѣжали остальные ступени до четвертаго этажа.







## ГЛАВА VII.

### На новосельи.

„Стулъ ветхій, необитый  
И шаткая постель,  
Сосудъ водой налитый,  
Соломенна свирѣль—  
Вотъ все, что предъ собою  
Я вижу...“

(Посланіе къ сестрѣ.)

**Въ** нижнемъ этажѣ отведеннаго для лица флигеля царскосельскаго дворца было размѣщено все лицейское начальство (за исключеніемъ директора, помѣстившагося въ надворной пристройкѣ); во второмъ этажѣ были: столовая, конференцъ-зала, канцелярія и больница; въ третьемъ—классы, рекреационный залъ, физическій кабинетъ, а въ аркѣ, соединявшей лицей съ главнымъ зданіемъ дворца,—библіотека лицеистовъ, гдѣ насчитывалось, уже въ 1811 году, 800 томовъ; наконецъ, весь четвертый этажъ, куда поднялись те-

перъ Пушкинъ и Пущинъ, былъ занятъ дортуарами воспитанниковъ. Вдоль всего этого этажа шелъ коридоръ, который освѣщался только рѣшетчатыми окосечками въ дверяхъ камеръ, расположенныхъ по обѣ его стороны, такъ что даже въ свѣтлый солнечный день тамъ царствовалъ полумракъ, а теперь, въ пасмурную погоду, было еще темнѣе. Въ этихъ потемкахъ Пушкинъ едва разглядѣлъ общія очертанія двигавшейся издали навстрѣчу имъ, мѣрнымъ солдатскимъ шагомъ, коренастой, рослой фигуры.

— Старшій дядька нашъ Леонтій Кемерскій, шепнулъ ему Пущинъ:—преуслужливый, но и пре-продувной!

Рекомендованный такъ дядька приблизился къ нимъ, между тѣмъ, уже настолько, что Пушкинъ различилъ весьма благообразнаго, осанистаго старика-бакенбардиста, съ цѣлымъ рядомъ медалей и крестовъ на широкой, выпуклой груди и съ нѣсколькими почетными нашивками на рукавѣ.

— Вотъ, Леонтій, я привелъ тебѣ еще новичка — № 14, заявилъ ему Пущинъ.

Леонтій сдѣлалъ новичку, по-военному, подъ воображаемый козырекъ.

— Здравія желаемъ вашему благородію! Добро пожаловать! Камера ваша давно по васъ плачетъ.

Доставъ изъ кармана полную горсть нумерованныхъ ключей, онъ пошелъ назадъ по коридору и, пройдя нѣсколько камеръ, остановился передъ дверью съ черною досочкой, на которой Пушкинъ прочелъ надпись:

«№ 14. АЛЕКСАНДРЪ ПУШКИНЪ».



— А посмотри-ка, рядомъ кто? сказалъ Пущинъ. На сосѣдней двери такая же дощечка гласила:

«№ 13. ИВАНЪ ПУЩИНЪ.»

Пушкинъ переглянулся съ пріятелемъ сіяющимъ взоромъ.

— Сама судьба насъ свела!

Дядька, тѣмъ временемъ, раскрылъ настежь дверь и покровительственнымъ движеніемъ руки ввелъ новичка во владѣніе его будущимъ жилищемъ.

— Милости просимъ, сударь! Съ новосельемъ-съ.

Камера была не велика, но, во всякомъ случаѣ, достаточно помѣстительна для одного человѣка, тѣмъ болѣе для подростка! Въ ней стояли: подъ окномъ—столикъ, у одной стѣны—кровать и умывальный столъ, у другой—комодъ съ зеркальцемъ надъ нимъ, стулъ и конторка. Окрашенная въ свѣтло-сѣрый цвѣтъ, съ красной каемкой по потолку, освѣщаемая единственнымъ, но высокимъ окномъ, комнатка эта даже теперь, въ сѣрый зимній день, имѣла привѣтливый уютный видъ. На конторкѣ стояли чернильница и шандалъ со щипцами (въ то время употреблялись однѣ только сальные свѣчи, съ которыхъ нагаръ «снимался» щипцами), а на гвоздяхъ у дверей аккуратно были развѣшаны полотенце и казенная амуниція новаго постояльца. Глаза Александра прежде всего съ удовольствіемъ остановились на чернильницѣ.

— И чернила ужъ налиты! сказалъ онъ.

— Да, чернильная душа, отвѣчалъ Пущинъ.— Можешь хоть сейчасъ приняться писать стихи.

— Нѣтъ ужъ, батюшка, ваше благородіе, вмѣшался дядька, буквально принявшій слова Пущина:—перво-

на-перво дайте имъ хошь перерядиться, какъ быть слѣдуетъ.

Выдвинувъ ящикъ комода, онъ досталъ оттуда бѣлье, снялъ съ гвоздя форменное платье и поштучно сталъ подавать Пушкину каждую вещь, приговаривая:

— Наша обязанность, сударь, хранить и холить вашу милость, яко зеницу ока. Душевное здравіе ваше—дѣло начальства; за тѣлесное отвѣтствуетъ наша братія, нижніе служители, передъ совѣстью и передъ Богомъ.

— Оттого-то онъ безъ вѣдома начальства и снабжаетъ насъ всякимъ контрабанднымъ товаромъ, шутиливо добавилъ Пущинъ.

— А нѣшто не святая обязанность наша ублажать вашу милость и безъ воли начальства? убѣжденнымъ тономъ спросилъ Леонтій.—Окромѣ птичьяго молока развѣ, всяку штуку вамъ раздобудемъ... Вотъ-те нѣ! совсѣмъ вѣдь изъ старой башки вонъ! хлопнулъ онъ себя по лбу.—Память, знать, ужъ отшибать начинается. Не казните, ваше благородіе! сейчасъ все справимъ...

И, положивъ бѣлье и платье бережно на кровать, онъ исчезъ за дверью.

— Куда это онъ? недоумѣвалъ Пушкинъ.

— А ты не догадываешься? Вѣдь онъ же нашъ оберъ-провіантмейстеръ, и вдругъ такъ оплошалъ: не позаботился приготовить тебѣ для перваго знакомства приличное угощеніе! Понятно, что тебѣ нужно будетъ отблагодарить его. «Сухая ложка ротъ деретъ»—любимая его пословица.

Пушкинъ машинально хватился рукой за то мѣсто, гдѣ у него въ «собственномъ» платьи былъ карманъ; потомъ, точно вспомнивъ что-то, насупился.



— Такая досада, право...

— А что?

— Да такъ...

— Понимаю: денегъ нѣтъ? Вѣдь ты тогда на Крестовскомъ все до послѣдней копѣйки издержалъ?

— Н-да...

— А дядя взятыхъ у тебя на храненіе ста рублей такъ и не возвратилъ?

— Забылъ, конечно...

— А ты, конечно, спросить забылъ?

— Не то, знаешь, въ головѣ было...

— Ну, ничего, у меня есть лишнія...

И Пущинъ торопливо вынулъ свой кошелекъ, изъ котораго, отвернувшись, досталъ блестящій, послѣдней чеканки, серебряный рубль.

— На вотъ цѣлковый; будетъ съ него на первый разъ.

Пушкинъ, однако, успѣлъ разглядѣть, что кошелекъ товарища былъ довольно тощъ, и, не принимая монеты, спросилъ:

— Да вѣдь цѣлковый этотъ у тебя единственный? Пущинъ покраснѣлъ и замялся.

— О, нѣтъ... пробормоталъ онъ.

— А отчего онъ такой новенькій? Вѣрно, подарилъ тебѣ кто-нибудь на прощанье?..

— Ну, прошу тебя, возьми! умоляющимъ голосомъ настаивалъ Пущинъ.—У меня тутъ осталось мелочи, сколько угодно...

И онъ насильно втиснулъ рубль въ руку пріятеля. Сдѣлалъ онъ это какъ-разъ вѣ-время, потому что лицейскій оберъ-провіантмейстеръ Леонтій Кемерскій показался уже опять на порогѣ, нагруженный обѣщан-







нымъ «угощеньемъ». Тщательно притворивъ за собою дверь, онъ отвѣсилъ Пушкину поклонъ въ поясъ.

— Бьемъ челомъ вашему благородію хлѣбомъ-солью!

Послѣ чего самодовольно сталъ разгружаться и разъяснять:

— Это вотъ, батюшка-сударь мой, ситный хлѣбъ утрешняго печенья — изволите видѣть, какой рыхлый, мяконькій! А сверху-то еще золотой паточкой помазанъ: что ни есть подходящее для балованнаго барскаго желудка. Тутъ вотъ плиточка царскаго шоколадцу. Испробуйте-ка, такъ во рту и таетъ-съ! А здѣсь пяточекъ яблочковъ: небольшія хошь, да чисты, румяны, что́ твоя щечка дѣвичья. Заправскія крымскія! Маль золотникъ, да дорогъ.

— Спасибо, братецъ, поблагодарилъ Пушкинъ и сунулъ ему въ руку только-что навязанный Пушинымъ рубль:—получи.

— И вамъ, сударь, сугубое мерси! Дай вамъ Богъ добраго здоровья! Нашему брату этихъ подачекъ вовсе бы и не нужно, да какъ отказаться? — еще, чай, въ обиду примете! Въ ину пору я вамъ и не тѣмъ бы еще услужилъ: чашечкой кофею съ бисквитцами, что-ли...

— Спасибо, и съ этимъ-то мнѣ разомъ не справиться, отвѣтилъ Пушкинъ и, отломивъ половину большущаго ситнаго корова, принялся съ аппетитомъ упивать его за обѣ щеки.

— Кушайте во здравіе, ваше благородіе! Ну, что́ скажете, каковъ хлѣбецъ-то? Правду я говорилъ, не совралъ?

— Очень хорошъ.

— Пряникъ печатный-съ! Да-съ; придворный хлѣ-



бопекъ-то нашъ—мастеръ своего дѣла; даромъ что русскій человѣкъ—всякаго нѣмца-булочника за-поясъ заткнетъ. И скажу вамъ теперя, ваше благородіе, по чистой совѣсти, значить: за доброту да за ласку вашу, отъ сей минуты, дядька Леонтій Кемерскій вашей милости покорнѣйшій холопъ. Свистните только—и онъ ужъ, какъ въ сказкѣ бурка-кавурка, тутъ какъ тутъ.

— У тебя и безъ меня, я думаю, довольно дѣла?

— Это точно, вѣрное слово изволили сказать. И прочимъ-то дядькамъ работы вдосталь, не сидятъ сложа руки, а старшему и того паче: за ними, братьей своей, да за инвалидами, чтò имъ въ помощь даны, гляди въ оба, чтобы не баловались, — это разъ; лампы да свѣчи приправляй, за топкой наблюдай, чернила доливай—два; за исправность и мебели-то казенной, и одѣжи вашей, и тетрадокъ, и карандашей, и перьевъ головой отвѣчай—три; градусники вездѣ провѣрай, чтобы въ спальняхъ, значить, было тепла ни больше, ни меньше, какъ градусовъ 12—13, въ столовой—13, въ классахъ 13—14!... Вотъ и со счету сбился! Кажись, четыре?

— Да, четыре, сказалъ Пущинъ и, шутя, помогъ ему далѣе въ счетѣ:—лакомства намъ добывай и желудки портъ—пять.

— А ужъ это грѣхъ вамъ, сударь, говорить! Товаръ у меня самый свѣжій: сосуну-младенцу въ ротикъ хоть положь—и тотъ проглотитъ безъ вреда для себя. Какъ передъ Богомъ, могу сказать: служу вамъ, яко ангелъ-хранитель, денно и ночью глазъ надъ вами не сомкну.

— Зачѣмъ же и «ночно»? спросилъ Пушкинъ.— Если мы спимъ, такъ отчего же и тебѣ не спать?

— Нѣтъ, сударь, нельзя-съ; вы, стало, порядковъ нашихъ еще не знаете. Днемъ намъ, дядькамъ, положено дежурить при васъ и въ классахъ, и на гуляньи, и за столомъ, а ночью — ходить, коли дежурство на тебя выпало, вонъ тутъ, по коридору, взадъ да впередъ, ровно маятникъ въ часахъ, посматривать въ окошечки направо и налево.

— Для этого-то, видно, и окошечки въ дверяхъ у насъ продѣланы?

— Знамое дѣло. А не углядишь чего, прозѣваешь — ну, и жди грозы: нагрянетъ среди ночи, какъ снѣгъ на голову, либо надзиратель, либо дежурный гувернеръ...

— Да что же прозѣвать-то?

— Мало ли что! Хошь бы то, что вы засидѣлись, заболтались другъ у дружки, али съ книжкой за полночь лежите, даромъ казенное сало жжете.

— Да неужели и читать-то ночью нельзя?

— Отнюдь. Я къ этимъ порядкамъ давно пріобыкъ: въ пажескомъ корпусѣ дядькой же безъ-мала двадцать лѣтъ состоялъ. Зато сюда прямо и наибольшимъ поставленъ. Да и гдѣ же читать еще вамъ, сударь, коли ровнехонько въ шесть часовъ каждымъ утромъ колоколъ васъ съ постели встряхнетъ?

— Но если для меня чтеніе все равно, что воздухъ, если я безъ него жить не могу!

— Охота, значить, пуще неволи-съ? спросилъ Леонтій и подмигнулъ лукаво однимъ глазомъ. — Ну, что-жъ, ваше благородіе, на нѣтъ и суда нѣтъ. Коли у васъ ужъ малодушество такое, что безъ грамоты вамъ никакъ быть нельзя, такъ отъ нашего брата, мелкой сошки, вамъ заказу въ томъ не будетъ: жгите себѣ



огня, сколько душенькѣ угодно, а наше дѣло только подать вамъ знакъ съ коидору, чтобы врасплохъ, значить, не застало начальство.

— Хитеръ и увертливъ, какъ истый шляхтичъ! замѣтилъ Пущинъ.

Сановитый, бравый дядька выпрямился во весь ростъ и окинулъ сверху мальчугановъ — лицеистовъ огненнымъ, чуть-чуть презрительнымъ взглядомъ.

— Шляхтичъ-то шляхтичъ, не отрекаюсь, съ достоинствомъ произнесъ онъ, но отставной сержантъ гвардіи блаженной памяти матушки — Царицы нашей Екатерины Алексѣевны (царствіе ей небесное!); прослужилъ смолоду до сѣдыхъ волосъ Русскому Царю честию и правдой, и до издыханія своего пребуду столь же вѣрнымъ слугою престола и отечества!



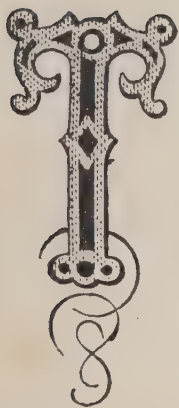


## ГЛАВА VIII.

### Тюрьма или клѣтка?

„Послѣдняя туча разсѣянной бури!  
Одна ты несешься по ясной лазури,  
Одна ты наводишь унылую тѣнь,  
Одна ты печалишь ликующій день.  
Довольно, сокройся!...“

(Туча.)



акъ-то ты служишь престолу и отечеству?  
внезапно раздался изъ-за двери посторонній  
голосъ.

Если бы теперь, среди зимы, грянулъ вдругъ  
оглушительный раскатъ грома, всѣ трое раз-  
говаривавшихъ не содрогнулись бы, кажется, такъ,  
какъ отъ этого голоса, слишкомъ имъ знакомаго. Всѣ  
разомъ, какъ по командѣ, повернулись лицомъ къ про-  
волочному окошечку въ дверяхъ, изъ-за котораго  
сверкали на нихъ два жгучіе глаза.

— Мартынъ Степанычъ... пробормоталъ, не менѣ  
школьниковъ смѣшавшійся, дядька и вытянулся въ  
струнку, руки по швамъ.



— Да, Мартынъ Степанычъ, подтвердилъ надзиратель и, распахнувъ дверь, вошелъ въ камеру. — Твоя служба престолу и отечеству, стало быть, въ томъ, чтобы языкъ точить по пустякамъ? А это что?

Вопросъ относился къ ломтю намазаннаго патокой ситника въ рукахъ Пушкина и къ заманчиво — разложеннымъ на комодѣ другой половинкѣ ломтя, шоколадной плиткѣ и кучкѣ яблокъ.

— Голодъ не тетка, ваше высокоблагородіе, нашелся тотчасъ же оберъ-провіантмейстеръ, — а въ желудкѣ у нихъ нынче полкъ квартировалъ...

— И ты ничего умнѣе не придумалъ, какъ эти сласти, отъ которыхъ и желудокъ, и зубы разболятся? И яблоки, я увѣренъ, незрѣлыя.

Говоря такъ, Пилецкій взялъ съ комода самое крупное яблоко и откусилъ половину его.

— Вонъ, какъ крѣпки, хоть и довольно сочны, продолжалъ онъ. -- Покупать, господа, съѣстное на свои деньги вамъ, пожалуй, и не возбранено, но, не говоря уже о бесполезной тратѣ денегъ, вы, изъ простой деликатности къ нашему образцовому заведенію, могли бы быть воздержнѣе: вы здѣсь у насъ на полномъ содержаніи и коштѣ, и голодать вамъ никакъ ужъ не полагается.

— Но я съ утра ничего не ѣлъ... позволилъ себѣ заявить Пушкинъ.

— А зачѣмъ же вы, миленькій мой, не ѣли? беззвучнымъ своимъ смѣхомъ разсмѣялся Пилецкій. Вѣдь Василій Ѳедоровичъ, добрейшій директоръ нашъ, въ видѣ исключенія, предлагалъ вамъ давеча закусить? Хлѣбъ свой, такъ и быть, доѣдайте, но все прочее тутъ сохраните для десерта, что ли, послѣ обѣда. Сами

потомъ мнѣ спасибо скажете. Впрочемъ, четырехъ штукъ яблокъ вамъ, пожалуй, много: какъ-разъ захвораете. Парочку, съ вашего разрѣшенія, я захватилъ бы съ собой для своихъ дѣтокъ. Дозволите?

— Берите хоть всѣ! съ холодною гордостью отвѣчалъ Пушкинъ.

— Вамъ жалко? Ну, не нужно.

Пушкинъ покраснѣлъ какъ ракъ.

— Нѣтъ, берите, пожалуйста, берите всѣ...

— Ну, благодарствуйте. Парочки съ меня довольно. Казенная форма на васъ, я вижу, сидитъ какъ на заказъ. Грива только невозможная: длинна, да и завита никакъ.

— Да, природою! уже разсмѣялся мальчикъ.

И надзиратель благодушно усмѣхнулся.

— Противъ погрѣшностей природы, дорогой мой, есть у насъ радикальныя средства; въ данномъ случаѣ—ножницы. Ужѣ, Леонтій, какъ придетъ парикмахеръ, не забудь кликнуть этого молодчика.

— Слушаю-съ, ваше высокоблагородіе.

— А теперь, господа, не угодно ли спуститься въ рекреационный залъ: тамъ вывѣшено сейчасъ расписание будущихъ вашихъ уроковъ. Чай, небезынтересно и вамъ взглянуть?

Лицейсты послушно вышли изъ камеры и ускореннымъ шагомъ направились по коридору.

— А онъ вовсе не такой людоѣдъ, какъ мнѣ показалось сначала, вполголоса замѣтилъ на ходу Пушкинъ. — Только зачѣмъ у него на языкѣ все эти сахарныя пословицы: «дорогой мой», «миленькій мой?»...

— Сахаръ Медовичъ, привычка ужъ такая, что подѣлаешь? отозвался Пущинъ. — Но вообще онъ къ намъ очень внимателенъ.



— Кажется, даже черезчуръ! На язычкѣ медъ, а подъ язычкомъ ледъ.

— Да, отъ него ничего не скроешь, все пронюхаетъ, разглядитъ, и если разъ попадешься, то не жди пощады.

— О комъ это вы говорите, Пушкинъ? слышался опять въ двухъ шагахъ за ними медовый голосъ Пилецкаго, который, на своихъ мягкихъ подошвахъ безъ каблучковъ, неслышно нагналъ лицеистовъ.—Если обо мнѣ, то ошибаетесь: какъ истинный христіанинъ, я, видя искреннее раскаяніе, всегда готовъ пощадить; злонамѣреннаго же упорства я, точно, не поущу.

Застигнутые врасплохъ, мальчики, какъ преслѣдуемая дичь, бросились бѣжать и, спустившись съ лѣстницы, искали спасенія въ рекреационномъ залѣ.

Здѣсь отъ нѣсколькихъ десятковъ молодыхъ голосовъ стоялъ въ воздухѣ такой гулъ и гамъ, что, въ первую минуту, Пушкинъ былъ точно оглушенъ. Вдругъ навстрѣчу ему бросился Гурьевъ съ распростертыми руками.

— А! французъ! Душка ты мой!

И, прежде чѣмъ Пушкинъ успѣлъ отстраниться, тотъ облобызалъ его въ обѣ щеки.

— Французъ! французъ! весело подхватили другіе и, обступивъ вновь прибывшаго, стали наперерывъ пожимать ему руку.

Въ это время къ нимъ подошелъ высокій и статный мужчина, лѣтъ 28-ми, въ вицмундирѣ, бесѣдовавшій въ углубленіи окна съ двумя-тремя воспитанниками.

— Куницынъ! шепнулъ кто-то около Пушкина.

— Здравствуйте, Пушкинъ, заговорилъ молодой про-

фессоръ и, затѣмъ, обернулся къ прочимъ:—вы, господа, кажется, и не подозреваете, что дѣлаете ему честь, называя его «французомъ»? Вы этимъ признаете только его превосходство надъ вами во французскомъ языкѣ. Или въ васъ говорить зависть? Не хотѣлось бы думать.

Внушеніе было сдѣлано съ такою добродушною, благородною строгостью, что лицеисты не могли обидѣться, а только смутились. Гурьевъ же, благоговѣйно сложивъ пальцы, проговорилъ какъ-бы про себя, но настолько явственно, что нельзя было не разслышать:

— Какъ это вѣрно, какъ хорошо сказано!

Если онъ разсчитывалъ заслужить этимъ благодарность профессора, то ошибся въ расчетѣ: Куницынъ оглядѣлъ его слегка презрительнымъ взглядомъ, позволялъ къ себѣ Пушкина и, обнявъ его за плечи, пошелъ ходить съ нимъ по залѣ.

— Вы дружны съ этимъ Гурьевымъ? былъ первый вопросъ его.

— Нѣтъ, только случайно раньше познакомились, отвѣчалъ Пушкинъ.

— И не совѣтую особенно дружиться съ нимъ. А что до клички «французъ», прибавилъ онъ, ласково улыбнувшись, — то предрекаю вамъ, что она, какъ наклеенный ярлыкъ, за вами такъ и останется. Ну, что, каково вамъ здѣсь показалось? Дома вы пользовались полною свободой, а мы одѣли васъ въ общую форму, втиснули въ рамки опредѣленнаго распisanія, точно связали по рукамъ и ногамъ, не правда ли?

— Ахъ, да... вздохнулъ Пушкинъ.—И въ дверяхъ камеръ даже проволочныя рѣшетки, какъ въ тюрьмѣ...

— Не думалъ я, признаться, что попаду въ тю-



ремщики! засмѣялся Куницынъ.—Но успокойтесь: повѣрьте мнѣ, что скоро обживетесь, какъ птичка въ клѣткѣ. Вы здѣсь не въ тюрьмѣ, а въ клѣткѣ.

— Только не въ золотой!

— Именно, въ золотой. Великодушный Монархъ нашъ пріютилъ васъ, лицеистовъ, въ своемъ царскомъ чертогѣ, предоставилъ вамъ даже тотъ самый флигель, гдѣ до сихъ поръ жили его младшіе братья и сестры. Радѣя о васъ, какъ о родныхъ дѣтяхъ, онъ отдалъ вамъ свою собственную библіотеку, гдѣ многія книги носятъ еще на поляхъ собственноручныя его драгоцѣнныя помѣтки. «Мнѣ надобны люди добрые, честные для службы моей»:—его подлинныя слова. И дабы приготовить васъ надлежащимъ образомъ «ко всѣмъ важнымъ частямъ службы государственной» (какъ дословно выражено въ Высочайшемъ указѣ), мы, ваши ходатаи и рачители, приставлены къ этой золотой клѣткѣ кормить васъ самымъ отборнымъ научнымъ зерномъ. А отростутъ у васъ крылья—съ Богомъ! летите на всѣ четыре стороны и всемѣрно прославляйте имя вашего Державнаго Куратора, чтò вашу юность такъ отчески возлелѣялъ.

Слегка напыщенная, но образная рѣчь молодого профессора сама по себѣ не могла уже не затронуть созвучной струны въ груди мальчика-поэта. А глубокая убѣжденность, почти юношеская восторженность, которыми дышало каждое слово этой рѣчи, придавали ей неотразимую силу. Увлеченный ею, Пушкинъ откровенно признался:

— Я всегда безотчетно любилъ Государя: онъ такъ ангельски добръ, говорятъ! Въ памяти моей навсегда

остался одинъ случай, о которомъ я какъ-то слышалъ въ дѣтствѣ.

— Какой это случай?

— А однажды, видите ли, Государь со свитой гулялъ верхомъ за городомъ. Вдругъ онъ поскакалъ впередъ. Оказалось, что на берегу рѣки онъ увидѣлъ толпу крестьянъ, которые, вытащивъ изъ воды утопленника, не знали что съ нимъ дѣлать. Государь соскочилъ съ коня, велѣлъ раздѣть покойника и, вмѣстѣ съ крестьянами, сталъ тереть ему виски, руки, подошвы ногъ. Между тѣмъ прискакала и свита, и, можете себѣ представить, какъ была удивлена! А крестьяне совсѣмъ обомлѣли: они до тѣхъ поръ принимали Государя за простого офицера. Въ свитѣ былъ и лейбъ-медикъ... Забылъ какъ его зовутъ...

— Вилье, подсказалъ Куницынъ.

— Да, Вилье! Онъ досталъ сейчасъ же ланцетъ и сталъ пускать утопленнику кровь. Но кровь не пошла. Государь не могъ успокоиться и цѣлыхъ два часа, вмѣстѣ со свитой и крестьянами, возился съ несчастнымъ. Но всѣ старанія были напрасны. Государь былъ въ отчаяніи и велѣлъ Вилье еще разъ попробовать пустить кровь. И что же?—Кровь пошла, покойникъ очнулся! Государь отъ радости даже заплакалъ и сказалъ: «Эта минута — счастливѣйшая въ моей жизни!» Разорвавъ собственный свой платокъ на бинты, онъ, вмѣстѣ съ Вилье, перевязалъ больному руку и оставилъ его только тогда, какъ убѣдился, что всякая опасность миновала. Англійское общество «Спасанія погибающихъ», когда узнало о такомъ поступкѣ Государя, прислало ему золотую медаль и дипломъ почетнаго члена.



— И это не единичный случай, сказалъ Куницынъ, выслушавъ разсказъ Пушкина съ сочувственнымъ вниманіемъ. — Но еще болѣе, быть можетъ, должны мы цѣнить его общія мѣры человѣколюбія. Вы—мальчикъ развитой, вы меня поймете.

И, съ прежнимъ одушевленнымъ краснорѣчіемъ, онъ передалъ теперь подробности о томъ, какъ Императоръ Александръ Павловичъ, вслѣдъ за восшествіемъ на престолъ, раскрылъ ворота Петропавловской крѣпости для всѣхъ, въ ней заключенныхъ; какъ уничтожилъ висѣлицы на площадяхъ въ городахъ и селахъ; какъ отмѣнилъ пытку во всѣхъ видахъ ея: съ истязаніями и «пристрастными допросами»; какъ изгналъ слово «нещадно» даже изъ судебныхъ приговоровъ; какъ облегчилъ разныя затрудненія къ поѣздкамъ русскихъ за-границу и къ въѣзду иностранцевъ въ Россію; какъ, для возможнаго уравниенія правъ своихъ подданныхъ, разрѣшилъ купцамъ, мѣщанамъ и казеннымъ поселянамъ покупать земли; какъ воспретилъ публикаціи въ вѣдомостяхъ о продажѣ людей безъ земли...

— И говорятъ даже, прибавилъ Куницынъ съ возрастающимъ увлеченіемъ,—что Государь задумалъ совсѣмъ освободить крѣпостныхъ крестьянъ...

— Этимъ онъ себя обезсмертитъ! воскликнулъ Пушкинъ.—Позвольте, я сейчасъ разскажу другимъ...

— Чшшш!.. пока никому ни слова! спохватился профессоръ.—У меня какъ-то нечаянно съ языка сорвалось. О будущихъ благихъ предначертаніяхъ своихъ самъ Государь хранитъ молчаніе, и хотя бы таковыя были имъ даже окончательно рѣшены и сдѣлались извѣстны всему свѣту, онъ не любитъ громкихъ восхваленій, ибо до крайности скромнъ. Примѣръ: послѣ

войны 1805 года, кавалерская дума наша преподнесла ему, въ ознаменованіе воинскихъ доблестей противу современнаго Цесаря — Наполеона Бонапарта, орденскіе знаки Георгія 1-й степени; а онъ что же?—отклонилъ отъ себя столь высокое отличіе и принялъ лишь тѣ-же знаки 4-й степени. Теперь вы, я полагаю, понимаете, за что его всѣ такъ любятъ?

— О, да! не любить его—боготворить надо... Какъ бы мнѣ хотѣлось хоть разъ увидѣть его!

— А вамъ развѣ не довелось еще видѣть его?

— Никогда!

— Ну, скоро удастся—въ этотъ четвергъ, 19-го числа. А видѣть его надо: онъ прекрасенъ и духомъ, и тѣломъ.

Подошедшій тутъ къ Пушкину дядька Леонтій Кемерскій прервалъ дальнѣйшій разговоръ.

— Пожалуйте-ка, ваше благородіе: цирюльникъ ждетъ—не-дождется.

Неохотно оторвался мальчикъ отъ молодого профессора, который своею благородною пылкостью сразу привлекъ его къ себѣ.

День пролетѣлъ незамѣтно среди разнообразныхъ новыхъ впечатлѣній, въ тѣсномъ кругу товарищеско-лицейскихъ. Когда же, послѣ вечерняго чая, всѣ они разбрелись по своимъ кельямъ, и Пушкинъ вошелъ къ себѣ, усталый, съ отяжелѣвшей, отъ всего пережитаго въ теченіи одного этого дня, головой,—имъ овладѣло вдругъ смутное чувство полного одиночества. Въ первый разъ въ жизни вѣдь онъ былъ одинъ, совсѣмъ одинъ! Правда, эти новые товарищи были веселые, рѣзвые мальчишки, но все-же чужіе ему, какъ и эта комната...



Онъ тоскливо оглядѣлся: тускло горѣла на ночномъ столикѣ единственная сальная свѣча; непривѣтливо стояла кругомъ казенная скромная мебель, а въ дверяхъ зіяла черными квадратами проволочная сѣтка...

Келья, какъ есть, да еще тюремная!..

Съ тяжелымъ вздохомъ Пушкинъ протянулъ руку къ лежавшей на комодѣ плиткѣ шоколада и случайно взглянулъ при этомъ въ висѣвшее надъ комодомъ зеркальце. Оттуда въ упоръ уставилось на него, точно чужое, незнакомое ему теперь, собственное лицо — унылое, съ остриженными подъ гребенку волосами. Губы его искривились горькой улыбкой.

— Арестантъ! произнесъ онъ вслухъ, въ какомъ-то безсиліи опустился на край кровати и машинально сталъ обдирать обложку съ шоколадной плитки.

Съ улицы доносился заунывный свистъ и вой разгулявшейся мятели; стекла въ оконной рамѣ дрожали и дребезжали подъ хлопьями налетаващаго на нихъ снѣга.

«Заупокойная по мнѣ!» думалъ про себя Пушкинъ, и съ какимъ-то ожесточеніемъ грызъ шоколадъ. — «И зачѣмъ это они еще кровать переставили? Кто ихъ просилъ!..»

— Что же вы не ляжете, сударь! Аль по своимъ взгрустнулось? слышался надъ головой его участливый голосъ.

— Ахъ, это ты, Леонтій! Оставь меня, пожалуйста...

— А то не обидѣлъ ли кто изъ товарищей? продолжалъ допытывать дядька. — Не ушиблись ли играючи?

— Нѣтъ, нѣтъ...

— Али, Боже упаси, не болитъ ли животикъ отъ непривычной кухни нашей?

Пушкинъ слабо усмѣхнулся.

— Ничего не болитъ! Видишь: шоколадъ твой ѣмъ. А вотъ что скажи мнѣ, Леонтій: зачѣмъ это ты распорядился переставить мою кровать къ другой стѣнѣ?

— Зачѣмъ-съ? — И концы щетинистыхъ, сѣдыхъ усовъ дядьки приподнялись и зашевелились отъ добродушно-лукавой улыбки. — Затѣмъ-съ, что рядомъ тутъ въ камерѣ, бокъ-о-бокъ съ вашей милостью, поживаетъ закадычный другъ и пріятель вашъ, господинъ Пущинъ.

— Я и забылъ про него... Да что толку, если мы раздѣлены стѣной? Разговаривать вѣдь нельзя.

— То-то, что можно-съ наилучшимъ манеромъ: стѣнка-то тончающая, всякое словечко сквозь нее слышно. Извольте примѣчать.

Онъ ударилъ кулакомъ въ стѣну. Оттуда тотчасъ донесся такой же глухой стукъ и голосъ Пущина:

— Это ты, Пушкинъ?

— Слышали-съ? Ну и отводите душу съ пріятелемъ въ душевныхъ разговорахъ-съ. Я васъ, батюшка, беспокоить долѣе не буду, сейчасъ уйду-съ; пожалуйста мнѣ только вашу сбрую, чтобы утрушкомъ, значить, спозаранку почистить, да гдѣ нужно — починить.

Получивъ «сбрую», заботливый дядька на прощаньи освѣдомился еще, не натеръ ли себѣ «его благородіе» мозолей казенными сапогами, наказалъ не забыть потушить свѣчку и запомнить, что приснится впервой на новомъ мѣстѣ; затѣмъ пожелалъ доброй ночи и вышелъ.

Отъ простодушной ли ласки старика-солдата, или



отъ сознанія, что онъ, Пушкинъ, все-же не одинъ, потому что вотъ тутъ рядомъ, за стѣной, на разстояніи менѣе аршина, спитъ любезный его Пущинъ, у него на сердцѣ разомъ удивительно полегчало. Ему было уже не до чтенія: въ жилахъ у него точно былъ налить свинецъ, глаза такъ и слипались.

Снявъ щипцами нагаръ со свѣчки, онъ погасилъ ее, завернулся поплотнѣе въ одѣяло и съ удовольствіемъ уткнулся стриженной головой въ обтянутую свѣжей наволочкой подушку. Завывавшая за окошкомъ вьюга уже не сердила, не мучила его, а только убаюкивала. Но не успѣлъ еще онъ заснуть, какъ у самого его уха раздался опять стукъ въ стѣну и голосъ Пущина:

— Ты еще не заснулъ, Пушкинъ?

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ:—а что?

— Слышишь, какъ вѣтеръ на улицѣ воетъ?

— Ну?

— А въ постели-то какъ тепло и уютно!

— Да, а главное, Пущинъ, что мы съ тобой здѣсь такъ близко другъ къ другу!

— Вотъ это-то я и хотѣлъ сказать. Знаешь что, Пушкинъ: хочешь, мы будемъ друзьями?

— Будемъ! И никогда, до послѣдней минуты, другъ друга не выдадимъ. Друзья на жизнь и смерть!

— Аминь!

— А теперь о другомъ: тебѣ, Пущинъ, спать, вѣрно, тоже сильно хочется?

— Очень.

— А я на-половину ужъ заснулъ. Доброй ночи, другъ мой!

— Пріятныхъ сновъ, дружище!

Какъ отрадно стало у него теперь на душѣ! Да, Куницынъ былъ правъ, тысячу разъ правъ: здѣсь не тюрьма, а клѣтка, и именно золотая. Не запоетъ ли онъ теперь свои лучшія пѣсни, не зальется ли соловьемъ?

И, въ сладостномъ предчувствіи будущей славы поэта, онъ незамѣтно задремалъ.

Немного погодя, мимо камеры новичка проходилъ дядька Кемерскій. Видя, что огня тамъ уже нѣтъ, онъ припалъ къ рѣшеткѣ ухомъ. Ровное дыханіе показывало, что Пушкинъ спитъ крѣпкимъ, здоровымъ сномъ молодости.

— Заснулъ! прошепталъ про себя старикъ, набожно перекрестилъ спящаго изъ-за рѣшетки и побрелъ далѣе.







## ГЛАВА IX.

### Открытіе лица.

„ . . . Тебя мы долго ожидали,  
И свѣтель ты сошелъ съ таинственныхъ вершинъ,  
И вынесъ намъ свои скрижали.“  
(Къ Н \* \* \*.)

„И мы пришли, и встрѣтилъ насъ Куницынъ  
Привѣтствіемъ межъ царственныхъ гостей.“  
(Лицейская годовщина 1836 г.)



Вотъ, наконецъ, наступило 19-е октября — давно ожидаемый день официального открытія лица. За ночь выпалъ свѣжій сухой снѣжокъ, къ утру приморозило, и солнце взошло въ полномъ лучезарномъ своемъ блескѣ, празднично озаряя всѣ углы и уголки обширнаго лицейскаго зданія и оживляя и безъ того весело настроенныхъ лицеистовъ. Сегодня имъ вѣдь въ первый разъ разрѣшено было прифрантиться, надѣть свою новенькую, съ иголки, парадную форму: бѣлый пижонный жилетъ, однобортный синій мундиръ съ красными обшлагами, краснымъ воротникомъ и серебря-

ными пуговицами и—что эффектнѣе всего—высокіе лакированные ботфорты! Одѣваясь, они, отъ внутренней радостной тревоги, обмѣнивались шутками, шумѣли, но шумѣли какъ-то сдержаннѣе, были и другъ къ другу какъ-то добрѣе, внимательнѣе, точно передъ исповѣдью въ «прощеный день».

— У всѣхъ ли шляпы съ собой, господа? спрашивалъ дежурный гувернеръ Чириковъ, оглядывая выстроившихся по два въ-рядъ щеголевато-разряженныхъ лицеистовъ.

Оказалось, что Кюхельбекеръ, по всегдашней разсѣянности, забылъ свою треуголку. Дежурный дядька поспѣшилъ подать ему ее.

— И какъ вы держите ее? говорилъ Чириковъ.— Берите примѣръ съ Горчакова: видите, какъ надо держать? Подъ мышкой и только кончиками пальцевъ. Стройся!

Съ гувернеромъ во-главѣ и въ сопровожденіи дядьки, лицеисты въ стройномъ порядкѣ спустились въ третій этажъ и аркою, соединявшею лицей съ дворцомъ, вышли на хоры дворцовой церкви. Отсюда, съ высоты, такъ сказать, птичьяго полета, все, что совершалось внизу, было имъ видно, какъ на ладони.

Благолѣпно убранная, но небольшая дворцовая церковь оказалась на этотъ разъ довольно тѣсной для массы присутствующихъ. Приглашенные на торжество освященія небывалаго дотолѣ учебнаго заведенія, высшіе сановники: члены синода и государственнаго совѣта, сенаторы, министры и иностранные послы стояли толпой въ храмѣ и, кланяясь другъ другу, обмѣниваясь рукопожатіями, такъ и пестрѣли лентами, такъ и сіяли шитыми золотомъ мундирами и звѣздами. У при-



творѣ въ Императорскіе покои, въ ожиданіи выхода Высочайшей Фамиліи, сгруппировались, въ шитыхъ же мундирахъ, директоръ, надзиратель, профессоръ и прочій служебный персоналъ лицея. А наружныя двери, то и дѣло открываясь, впускали все новыхъ лицъ, увеличивая тѣмъ общую тѣсноту и пестроту. Косые лучи октябрьскаго солнца, проникая въ церковь сквозь разноцвѣтныя стекла высокихъ оконъ, заливали нарядную публику красными и желтыми, синими и фіолетовыми лучами, и, вмѣстѣ съ мерцающимъ свѣтомъ безчисленныхъ зажженныхъ восковыхъ свѣчей въ хрустальныхъ люстрахъ, придавали всей этой необычайно торжественной обстановкѣ какой-то обаятельно-фантастическій оттѣнокъ.

Гувернеръ Чириковъ, успѣвшій своею обходительностью въ нѣсколько дней пріобрѣсти довѣріе и расположеніе лицеистовъ, стоялъ позади ихъ и вполголоса передавалъ имъ фамиліи сановниковъ. Пушкинъ, какъ и прочіе товарищи, наклонясь черезъ перила, зорко оглядывалъ каждаго незнакомца и мысленно дополнялъ все недосказанное. Въ то-же время, взоръ его безотчетно тянуло къ тѣмъ дверямъ, откуда долженъ былъ сейчасъ войти Императоръ Александръ Павловичъ, котораго, послѣ разговора съ профессоромъ Куницынымъ, ему такъ хотѣлось видѣть.

И вотъ, въ началѣ 11-го часа, у дверей этихъ произошло внезапное движеніе; всѣ, кто стояли тутъ, какъ волны, отхлынули направо и налево, и на порогѣ показался онъ самъ, въ сопровожденіи двухъ Императрицъ: вдовствующей и царствующей, Наслѣдника престола Константина Павловича и Великой Княжны Анны Павловны.

Въ октябрѣ 1811 года, Императору Александру I было безъ малаго 34 года\*); но съ виду онъ казался гораздо моложе. Высокая и статная фигура его, нѣсколько наклоненная впередъ, невольно напомнила Пушкину классическую позу античныхъ статуй. Рѣдкіе, бѣлокуро-золотистые волосы были причесаны по античному и дѣлали его высокій лобъ еще болѣе открытымъ. А въ слегка-прищуренныхъ, близорукихъ, небесно-голубыхъ глазахъ, въ каждой чертѣ художественно-правильнаго лица его отражалась такая ангельская доброта, такая кротость, что нельзя было не почувствовать безграничнаго благоговѣнія къ его царственному величію. Очарованный Пушкинъ не могъ отвести глазъ отъ него.

«Такъ вотъ онъ каковъ!» думалось ему, и въ памяти его возникло, одно за другимъ, все, чтò сдѣлано этимъ Государемъ для своего народа. Ему сдавалось, что вся эта, стоящая внизу, толпа разряженной знати молится теперь только за него, за своего возлюбленнаго Монарха.

Молебень кончился. Внизу опять все заколыхалось, чтобы пропустить духовенство, направлявшееся въ зданіе лица для освященія его.

— Здоровъ ли ты, Пушкинъ? спросилъ заботливо Пущинъ, замѣтивъ разгоряченное лицо и лихорадочно-блестящіе глаза друга.

— Здоровъ... нехотя пробормоталъ тотъ въ отвѣтъ и протѣснился впередъ, чтобы избавиться отъ дальнѣйшихъ разспросовъ.

Обойдя кругомъ всѣ помѣщенія лица и окропивъ

---

\*) Онъ родился 12 октября 1777 года.



ихъ водой, духовенство удалилось; остались однѣ свѣтскія власти. Въ большой лицейской конференцъ-залѣ былъ поставленъ между колоннами столъ, покрытый до-полу краснымъ сукномъ съ золотой бахромой. Справа отъ него стали въ три ряда лицеисты, съ директоромъ, надзирателемъ и гувернерами во-главѣ; слѣва — профессора и чиновники лицейскаго управленія. Для сановныхъ гостей было отведено все остальное пространство залы, уставленное рядами креселъ и стульевъ. Когда всѣ размѣстились, вошла Царская Фамилія и, отвѣтивъ на общій поклонъ привѣтливымъ наклоненіемъ головы, заняла первый рядъ креселъ. Министръ, графъ Разумовскій, сѣлъ рядомъ съ Государемъ.

Первымъ выступилъ директоръ департамента народнаго просвѣщенія Мартыновъ и, взволнованнымъ, неестественно-высокимъ фальцетомъ, прочелъ сперва манифестъ объ учрежденіи лица, а потомъ грамоту, Всемилоствѣйше дарованную лицу. Графъ Разумовскій, принявъ отъ него грамоту (пергаментный фолиантъ въ богатомъ, золотого глазета переплетѣ), поднесъ ее Государю для подписи и затѣмъ передалъ директору лица, Малиновскому.

Пушкинъ, стоя въ переднемъ ряду лицеистовъ, какъ-разъ позади Малиновскаго, замѣтилъ, какъ тотъ переминался съ ноги на ногу, тяжело дышалъ и, тихонько откашливаясь, подносилъ къ губамъ платокъ; а когда почтенный Василій Ѳедоровичъ, принявъ отъ Разумовскаго грамоту и самъ выступивъ впередъ, развернулъ свитокъ приготовленной имъ привѣтственной рѣчи, то поблѣднѣлъ какъ полотно. Прерывающимся, едва слышнымъ голосомъ прочелъ онъ свою рѣчь, изъ

которой болѣе отчетливо можно было разобрать только заключительныя слова:

«Мы потщимся каждую минуту жизни нашей, всѣ силы и способности наши принести на пользу сего новаго вертограда: да Ваше Величество и все отечество возрадуется о плодахъ его».

Всѣ присутствующіе, казалось, не менѣе самого Малиновскаго были рады, когда тотъ вздохнулъ послѣ своей пытки и когда его смѣнилъ конференцъ-секретарь, профессоръ Кошанскій. Тотъ прочелъ только списокъ начальствующихъ лицъ и воспитанниковъ лица, причемъ каждый изъ называемыхъ поочередно выступалъ изъ ряда и кланялся Государю.

Послѣднимъ ораторомъ за краснымъ столомъ оказался профессоръ Куницынъ. Какъ ни любили его лицеисты, но, отстоявъ себѣ ноги въ теченіи трехъ первыхъ чтеній, они не безъ основанія ужасались ожидающихъ ихъ еще цвѣтовъ краснорѣчія. У публики точно также терпѣніе истощилось, потому что все кругомъ задвигало стульями, стало сморкаться, перешептываться. Но вотъ зала огласилась благозвучнымъ голосомъ молодого профессора—и все насторожилось: можно было слышать полетъ мухи.

Въ прочувствованной, но изукрашенной риторическими мудростями рѣчи Куницына не все, быть можетъ, было понятно отрокамъ-лицеистамъ, къ которымъ, собственно, она была обращена, и потому впечатлѣніе отъ нея, на Пушкина по крайней мѣрѣ, было не совсѣмъ цѣльное. Зато отдѣльныя фразы, болѣе доступныя, глубоко отпечатлѣвались въ душѣ Пушкина, и онъ мысленно повторялъ ихъ про себя, пока потокъ рѣчи струился неудержимо далѣе.



«Отечество пріемлетъ на себя обязанность быть блюстителемъ воспитанія вашего, дабы тѣмъ сильнѣе дѣйствовать на образованіе вашихъ нравовъ, говорилъ Куницынъ;—государственный человѣкъ долженъ имѣть обширныя познанія, знать первоначальныя причины благоденствія и упадка государства»...

«Ужели же и я тоже буду современемъ государственнымъ человѣкомъ? Буду въ состояніи сдѣлаться имъ?» — мелькнуло въ головѣ Пушкина.

«Но главнымъ основаніемъ вашихъ познаній должна быть истинная добродѣтель, продолжалъ профессоръ: — жалкимъ образомъ обманется тотъ изъ васъ, кто, опираясь на знаменитость своихъ предковъ, вознерадѣетъ о добродѣтеляхъ, увѣнчавшихъ имена ихъ безсмертіемъ... Любовь къ славѣ и отечеству должна быть вашимъ руководителемъ»...

«Не въ бровь, а прямо въ глазъ! говорилъ самъ себѣ Пушкинъ:—я горжусь своими предками,—но по какому праву? Показалъ ли я себя уже достойнымъ ихъ?»

Рѣчью Куницына заключился актъ открытія лица. Несмотря на ея продолжительность, она не только не утомила еще болѣе слушателей, а точно освѣжила, наэлектризовала ихъ, и всѣ, казалось, сожалѣли, когда смолкъ молодой ораторъ. Государь самъ подошелъ къ нему и, пожимая ему руку, сказалъ нѣсколько теплыхъ благодарственныхъ словъ. Затѣмъ всѣ тронулись обозрѣвать лицей, а лицеистовъ дежурный гувернеръ отвелъ въ столовую—обѣдать.

Не покончили они еще и съ супомъ (къ которому, торжественнаго дня ради, были поданы и пирожки), какъ въ дверяхъ столовой появилась опять

Царская Фамилія; впереди всѣхъ—самъ Императоръ Александръ съ графомъ Разумовскимъ. Подобно другимъ лицеистамъ, повернувъ голову ко входу, Пушкинъ невольно обратилъ вниманіе, что слѣдовавшіе за Государемъ Наслѣдникъ Цесаревичъ и адъютанты, какъ въ походкѣ, такъ и во всѣхъ движеніяхъ своихъ, старались подражать ему; даже шляпу и шпагу держали точно такъ-же, прищуривались такъ-же, какъ онъ.

Не останавливаясь у стола и не прерывая бесѣды своей съ министромъ, Государь отошелъ съ нимъ къ окошку. Цесаревичъ и Великая Княжна со свитой удалились въ углубленія другихъ оконъ; обѣ же Императрицы стали обходить обѣдающихъ лицеистовъ, предлагая имъ вопросы и отвѣдывая ихъ кушанья. Императрица-мать, Марія Ѳеодоровна, о которой Пушкинъ еще дома слышался, какъ о главной покровительницѣ воспитательнаго дома и всѣхъ женскихъ учебныхъ заведеній, остановилась какъ-разъ напротивъ него, по другую сторону стола, и онъ имѣлъ возможность внимательно разглядѣть ее. Хотя ей было уже лѣтъ за 50, но тонкія черты ея правильнаго лица сохранили еще слѣды прежней красоты и живо напоминали ея царственнаго сына, тѣмъ болѣе что, будучи такъ-же бризорука, она, подобно Государю, часто подносила къ глазамъ золотую лорнетку. Но вотъ она наклонилась надъ ближайшимъ лицеистомъ, Корниловымъ, и когда тотъ хотѣлъ приподняться, оперлась рукой на его плечо. Какъ онъ, бѣдняга, съежился, покраснѣлся! А она такъ просто и милостиво проговорила:

— Сиди, пожалуйста. Ну, что, хорошъ супъ?

Корниловъ еще пуще смѣшался и, уткнувъ носъ въ тарелку, пробормоталъ по-французски:



— Oui, Monsieur!

Государыня ничего не сказала, только чуть-чуть улыбнулась и отошла прочь отъ обѣденнаго стола. Сосѣдямъ-лицеистамъ стоило немалого труда воздержаться отъ подтруниванья надъ отличившимся такъ товарищемъ. Но пока Августѣйшіе Гости не оставили столовой, шалуны поневолѣ только перемигивались и фыркали. Зато, по уходѣ гостей, насмѣшкамъ не было уже конца.

Когда, затѣмъ, при наступленіи вечернихъ сумерекъ, зданіе лица освѣтилось блестящею (для того времени) иллюминаціею: площадками по панели и окнамъ и громаднымъ, разноцвѣтнымъ вензелемъ Александра І въ срединной аркѣ,—лицеисты всѣ высыпали на улицу; забѣлка Пушкинъ сгребъ комъ свѣже-выпавшаго снѣга и швырнулъ его въ спину Корнилова съ знаменитой фразой послѣдняго:

— Oui, Monsieur!

Раззадоренный Корниловъ не остался въ долгу, и, съ крикомъ: «Ай, французъ!» такъ мѣтко пустилъ въ обидчика отвѣтный зарядъ снѣга, что Пушкинъ схватился за щеку. Какъ по данному сигналу, снѣговые ядра полетѣли теперь со всѣхъ сторонъ, въ кого попало, съ тѣми-же двумя боевыми кликами «Oui, Monsieur»! «Ай, французъ!»

Вниманіе столпившихся передъ иллюминированнымъ зданіемъ зѣвакъ обратилось всецѣло на разыгравшуюся молодежь. А тутъ кто-то изъ сражающихся, чуть ли не Гурьевъ, коварно подставилъ еще сзади ножку великану Кюхельбекеру. Тотъ, какъ снопъ, растянулся на снѣгу во весь ростъ, и снѣжные заряды, ни съ того, ни съ сего, вопреки поговоркѣ: «лежачаго не









бьютъ», такъ и посыпались на безоружнаго. Зрители-горожане кругомъ громко загоготали:

— Ай-да баричи! Лихо! Хорошенько его!

Дальнѣйшее побіеніе злосчастнаго Кюхельбекера было пріостановлено появленіемъ гувернера Чирикова, который, пристыдивъ сперва шалуновъ, объявилъ имъ затѣмъ:

— А у меня, господа, есть очень лестная для всѣхъ насъ новость.

— Новость? какая новость, Сергѣй Гавриловичъ? приступили къ нему гурьбой лицеисты.

— А вотъ, пойдемте, я вамъ расскажу.

— Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста, здѣсь же скажите!

— Ну, такъ слушайте. Вы знаете, конечно, что какъ военнымъ за ихъ воинскіе подвиги дается Георгіевскій крестъ, точно такъ-же намъ, штатскимъ, за гражданскія заслуги жалуются орденъ Св. Владиміра. Такъ вотъ Его Величество пожаловалъ сегодня Владиміра 4-й степени, въ знакъ особаго своего благоволенія, профессору вашему, Александру Петровичу Куницыну.

— Ура! крикнулъ Пушкинъ.

— Ура!! подхватили остальные 29 человѣкъ лицеистовъ, а за ними тотъ же возгласъ перекатился и по всей окружающей толпѣ, хорошенько, вѣроятно, неразобравшей въ чемъ дѣло, но невольно заразившейся восторженностью молодежи.

Нѣсколько дней спустя, лицеисты узнали, что тотъ-же орденъ Владиміра, но 1-й степени, былъ пожалованъ и министру, графу Разумовскому, за его труды по учрежденію лицея. За Корниловымъ же навсегда остался между лицеистами титулъ «Monsieur», пожалованный ему ими тогда же, въ незабвенный день открытія лицея.







## ГЛАВА X.

### Колесо завертѣлось.

„Пора, пора! рога трубятъ;  
Псари въ охотничьихъ уборахъ  
Чѣмъ свѣтъ ужъ на коняхъ сидятъ,  
Борзые прыгаютъ на сворахъ“.

(Графъ Нулинъ.)



у, батюшка, ваше благородіе, вставайте! пора и честь знать. Ей-богу же, опоздаете въ классы.

Говоря такъ, старшій дядька Леонтій Кемерскій, ровно въ 6 часовъ утра, въ понедельникъ, 26 октября, — въ первый день правильныхъ классныхъ занятій во вновь открытомъ лицѣ, — деликатно тормозилъ Пушкина. Тотъ, въ отвѣтъ, безсвязно проворчалъ только что-то подъ-носъ себѣ и зарылся глубже въ подушку. Бывалый дядька, съ долготерпѣніемъ старой няньки и съ настойчивостью стараго служака, сталъ осторожно стаскивать съ плечъ его одѣяло.

— Отстань, Леонтій, сдѣлай милость, отстань!—не то сердито, не то умоляя, буркнулъ Пушкинъ и, накрывшись съ головой одѣяломъ, повернулся къ стѣнѣ.

Отдѣлаться отъ Леонтья, однако, было не такъ-то легко.

— Задохнетесь, сударь, говорилъ онъ, бережно раскрывая голову мальчика и поднося къ глазамъ его горящую свѣчу.—Изволите видѣть: ужъ солнышко въ окошко свѣтитъ!

Пушкинъ, щурясь отъ огня, въ сердцахъ оттолкнулъ свѣчу рукой.

— Что за шутки, Леонтій!

— Какія шутки, ваше благородіе? Вглядитесь только хорошенько: солнышко какъ быть должно — казенное-съ.

— Ну, да, казенное! Скажи, пожалуйста, что тебѣ вздумалось мучить меня? Мнѣ снился такой чудный сонъ...

— Не до сновъ-съ, голубчикъ вы мой. Доселева уроковъ не было—ну, и дрыхли себѣ на здоровье, сколько хотѣлось. А теперича—шалишь! Прочіе товарищи ваши давно поднялись. Вона, слышите, чай, гамъ какой въ коридорѣ? Что твой жидовскій шабашъ. А вонъ, чу, и второй ужъ звонокъ. Живо, сударь, живо! Вотъ извольте получить носки-съ...

Пушкину стало стыдно.

— Оставь... я ужъ самъ... проговорилъ онъ, потягиваясь, и, зѣвая во весь ротъ, началъ одѣваться.

Когда онъ, безъ сюртука, съ полотенцемъ въ рукѣ, вышелъ въ коридоръ, чтобъ умыться, во всѣхъ аркахъ тамъ горѣли еще ночники, при колыхающемся свѣтѣ которыхъ взадъ и впередъ шныряли бѣлыми



привидѣніями, съ неумолкаемымъ говоромъ и смѣхомъ, такія же полуодѣтыя фигуры.

— А, Пушкинъ! проснулся, наконецъ? крикнулъ ему кто-то на бѣгу и промелькнулъ какъ тѣнь.

— Здравствуй, Пушкинъ! привѣтствовалъ его чей-то другой голосъ.

— Здравствуй, отвѣчалъ онъ, не узнавъ ни того, ни другого, и направился къ одному изъ двухъ большихъ умывальниковъ, вѣланныхъ, для общаго употребленія, въ стѣну по обоимъ концамъ коридора. Здѣсь кто-то уже стоялъ, наклонясь надъ тазомъ, и только-что подставилъ обѣ руки подъ струю воды, чтобы умыть себѣ лицо, какъ Пушкинъ безъ церемоніи оттолкнулъ умывавшагося въ сторону. «Пусти! будетъ съ тебя!» и, живо вымывшись, заключеніе плеснулъ товарищу въ фізіономію цѣлую горсть воды.

Тотъ хоть бы слово вымолвилъ на эту выходку, и только обтерся полотенцемъ. Пушкина удивила такая кротость; онъ началъ всматриваться: на него задумчиво глядѣли большіе, выпуклые, очевидно, близорукіе глаза.

— Это ты, Дельвигъ? проговорилъ онъ, невольно сконфузясь.—Ты снялъ очки,—такъ тебя и не узнать.

— А я льва по когтямъ тотчасъ узналъ, былъ дружелюбно-шутливый отвѣтъ.

— Такъ почему же и ты не плеснулъ въ меня водой?

— Потому, что со львомъ шутки плохи.

— Господа! господа! не болтать! Пора въ классы! заторопилъ появившійся тутъ гувернеръ, и мальчики разбѣжались по своимъ нумерамъ.

Учебное колесо завертѣлось, завертѣлось на цѣлая

шесть лѣтъ. Хотя лицеистамъ и было объявлено передъ началомъ курса, что на лѣтнія и зимнія вакаціи ихъ будутъ увольнять къ роднымъ, но вскорѣ вышло новое распоряженіе министра—не выпускать ихъ изъ стѣнъ заведенія до окончанія полного курса. Понятно, что такой запретъ произвелъ на нихъ подавляющее впечатлѣніе. Но такъ-какъ, волей-неволей, надо было покориться, то они тѣмъ скорѣе и тѣснѣе сплотились между собой и съ профессорами въ одну общую школьную семью.

Профессора (за исключеніемъ только одного, уже извѣстнаго читателямъ старичка-француза) были все люди молодые, не достигшіе еще и 30-ти лѣтъ. Трое изъ нихъ: Куницынъ, читавшій «нравственныя науки» (логику, психологію, естественное и другія права, политическую экономію и «финансы»), Кайдановъ, преподававшій «историческія науки» (исторію, географію и статистику) и Карцовъ, математикъ и физикъ, — были товарищами по педагогическому институту и, какъ лучшіе три воспитанника, были посланы за-границу на казенный счетъ, для приготовленія къ профессорскому званію, а по возвращеніи оттуда были прямо приглашены на три каѣдры во вновь учрежденный лицей. Съ благороднымъ рвеніемъ принялись они, каждый по своей части, за духовное развитіе порученныхъ имъ 30-ти будущихъ «государственныхъ людей»; но наиболѣе глубокое и благотворное вліяніе на лицеистовъ имѣлъ, несомнѣнно, Куницынъ, который и внѣ класса, въ оживленныхъ бесѣдахъ, старался усвоить имъ свой собственный, возвышенно-нравственный взглядъ на жизнь. Долго спустя, по выходѣ изъ лицея, бывшіе ученики его



вспоминали о немъ съ искреннею благодарностью, которая, въ 1825 году, выразилась у Пушкина въ слѣдующихъ стихахъ:

„Куницыну дань сердца и вина!  
Онъ сѣздалъ насъ, онъ воспиталъ нашъ пламень.  
Поставленъ имъ краеугольный камень,  
Имъ чистая лампада возжена...”

Что же касается лицейской Музы, имѣвшей такое рѣшительное значеніе въ послѣдующемъ развитіи Пушкинскаго генія, то первое пробужденіе ея должно быть отнесено всецѣло къ заслугамъ профессора латинской и «россійской словесности», Кошанскаго. Страстный любитель древней классической поэзіи, талантливый переводчикъ многихъ классическихъ произведеній, Кошанскій съ увлеченіемъ молодости старался втянуть и своихъ юныхъ слушателей въ этотъ, отошедшій уже въ вѣчность, но все еще чарующій міръ. А на урокахъ русскаго языка, рядомъ съ заучиваніемъ одъ Ломоносова и Державина, басенъ Хемницера и Крылова, онъ посвящалъ мальчугановъ и практически въ тайны стихосложенія. (О результатахъ этихъ первыхъ поэтическихъ опытовъ будетъ подробно изложено въ послѣдующихъ главахъ.)

Словесности, какъ русской, такъ, въ особенности, иностранной, вообще было отведено въ учебномъ курсѣ лицеистовъ первенствующее мѣсто. Ежедневно, не менѣе четырехъ часовъ, профессора иностранныхъ языковъ: нѣмецкаго — Гауеншильдъ и французскаго — де-Будри, по примѣру Кошанскаго, упражняли воспитанниковъ, сверхъ обычныхъ классныхъ работъ, въ декламациіи и чтеніи вслухъ театральныхъ пьесъ по ролямъ; а въ свободные часы обязывали ихъ

говорить между собой то по-нѣмецки, то по-французски. Успѣхи лицеистовъ въ томъ и другомъ языкѣ были, однако, далеко не одинаковы.

Нѣмецъ Гауеншильдъ, при всей своей научной подготовкѣ и несмотря на свои молодые лѣта, не сумѣлъ заслужить любовь своихъ учениковъ, потому что, нервно-раздражительный и довольно черствый душой, онъ относился къ нимъ съ холоднымъ пренебреженіемъ, а нерѣдко былъ и несправедливъ. Они же свою антипатію къ преподавателю перенесли и на самый предметъ, такъ-что серьезно заниматься нѣмецкимъ языкомъ почиталось у нихъ чуть ли не позоромъ.

Зато старичекъ-французъ, мосье де-Будри или, просто, Давидъ Ивановичъ, какъ называли его лицеисты даже во французскомъ разговорѣ, былъ для нихъ, послѣ Куницына, самымъ милымъ человѣкомъ. Приземистый и круглый, какъ шаръ, въ напудренномъ парикѣ временъ Людовика XVI, въ замасляномъ пестромъ жилетѣ, съ неразлучною черепаховою табакеркой и краснымъ фуляромъ въ рукахъ,—онъ, по подвижности и энергіи, не уступалъ никому изъ своихъ молодыхъ собратій, а съ воспитанниками обходился какъ съ любимыми своими дѣтьми. Поэтому и мальчики, съ своей стороны, гдѣ бы онъ имъ ни попался,—въ коридорѣ, въ классѣ или въ паркѣ,—привѣтствовали его весело и непринужденно, какъ старшаго близкаго знакомаго, на родномъ его языкѣ:

— Здравствуйте, Давидъ Ивановичъ! Какъ ваше драгоценное здоровье?

— Благодарю васъ, дѣти мои, слава Богу! съ неизмѣннымъ добродушіемъ отвѣчалъ онъ, спасая только



свою дорогую табакерку отъ напиравшихъ на него шалуновъ.

Дорожилъ онъ ею собственно потому, что на крышкѣ ея красовался портретъ прославившагося во французской исторіи своею кровожадностью Марата, приходившагося ему роднымъ братомъ. Немудрено, что эта табакерка сдѣлалась неистощимою тѣмой для болтовни на французскихъ урокахъ, причемъ запѣвалой являлся всегда Пушкинъ, который, съ самаго пріемнаго экзамена, пользовался предпочтительнымъ расположеніемъ де-Будри. За обѣденнымъ столомъ лицеистовъ разсаживали по поведенію, въ классѣ—по отмѣткамъ; и хотя Пушкинъ, вообще не отличавшійся прилежаніемъ, сидѣлъ, обыкновенно, гдѣ-нибудь назади, но на урокъ у француза, какъ одинъ изъ первыхъ, пересаживался на переднюю скамейку. Завязавъ съ профессоромъ оживленный разговоръ, онъ незамѣтно похищалъ у него табакерку, которая тутъ-же переходила по всѣмъ скамьямъ, или же заводилъ рѣчь о табакеркѣ, чтобы прямо заполучить ее изъ собственныхъ рукъ де-Будри.

— А позвольте-ка еще разъ взглянуть на вашего знаменитаго братца, приступалъ онъ, бывало, къ профессору и, безъ дальнихъ околичностей, отбиралъ у него табакерку.—Вонъ вѣдь какой молодецъ изъ себя и совсѣмъ не страшный на видъ! Какъ это его угораздило тогда?.. Ахъ, расскажите, пожалуйста, мосье, какъ это было?

— Да я ужъ не разъ говорилъ вамъ...

— Ну, пожалуйста, дорогой Давидъ Ивановичъ, расскажите еще разъ! подхватывалъ хоромъ весь классъ.

И Давидъ Ивановичъ, не совсѣмъ довольный, но,

тѣмъ не менѣе, съ необыкновеннымъ одушевленіемъ повѣствовалъ опять о кровавыхъ дѣянiяхъ своего покойнаго брата.

— Такъ не потому ли вы и фамилію-то свою перемѣнили? спрашивалъ Пушкинъ.

— Воля Государя Императора! отвѣчалъ Маратъ-де-Будри, возводя очи къ потолку съ выраженіемъ покорности судьбѣ.

А табакерка съ кровопійцей Маратомъ, между тѣмъ, гуляла уже по скамьямъ изъ рукъ въ руки, и вдругъ всѣ 30 школьниковъ заразъ раздражались немолкаемымъ чиханьемъ и взаимными пожеланіями:

— Будь здоровъ!

— А тебѣ сто годовъ, нажить сто коровъ, лошадей табунъ, самому карачунъ!

— Брысь подъ печку!

Тутъ добрякъ французъ ужъ начиналъ терять терпѣніе и говорилъ:

— Но вѣдь вы, друзья мои, весь табакъ у меня вынюхаете!

— А мы вамъ новаго купимъ, утѣшалъ Пушкинъ.—Господа! сдѣлаемте складчину и купимъ мосѣ куль табаку!

— Купимъ! завтра же купимъ! весело соглашались остальные шалуны.

— Ну, будетъ, милые мои, довольно, натѣшились! серьезно останавливалъ ихъ почтенный старичекъ и приступалъ къ уроку, не допуская затѣмъ уже никакихъ шутокъ.

За эту его незлобивость и обходительность, а еще болѣе за его многостороннія познанія и житейскую опытность, лицеисты скоро привыкли не только лю-



бить, но и уважать своего француза. У него былъ даръ — въ простой дружеской бесѣдѣ передавать воспитанникамъ всевозможныя научно-практическія свѣдѣнія, собранныя имъ въ теченіи своей продолжительной и довольно бурной жизни. Такъ, благодаря ему, лицеисты не только стали вскорѣ бойко объясняться по-французски, но даже пріобрѣли болѣе широкій и болѣе ясный взглядъ на жизнь. Де-Будри и Куницынъ шли какъ бы объ-руку въ дѣлѣ ихъ развитія: тотъ носился съ ними въ заоблачныхъ высяхъ «нравственныхъ наукъ», а де-Будри любовно и бережно спускалъ ихъ опять на твердую житейскую почву.

Если, такимъ образомъ, было сдѣлано все, что возможно, для правильнаго умственнаго роста лицеистовъ, то не менѣе было приложено заботъ и къ тѣлесному ихъ развитію. Обѣдъ ихъ состоялъ изъ трехъ сытныхъ, ужинъ — изъ двухъ легкихъ блюдъ. Въ праздники прибавлялось еще четвертое блюдо. Поваръ лицейскій, въ первые, по крайней мѣрѣ, годы, былъ мастеръ своего дѣла; даже такія заурядныя кушанья, какъ щи да каша, въ его образцовомъ приготовленіи представлялись лицеистамъ чуть ли не верхомъ кулинарнаго искусства.

Съ понедѣльника въ столовой вывѣшивалось уже росписаніе блюдъ (меню) на цѣлую недѣлю, такъ что мальчики могли напередъ мѣняться между собой порціями любимыхъ каждымъ изъ нихъ кушаній. Развитію въ нихъ аппетита не мало также способствовали чередовавшіяся съ классными ихъ занятіями комнатныя игры и прогулки на воздухѣ, которыя, кстати замѣтить, никогда, — даже и въ дурную погоду, — не отмѣнялись: послѣ утренней молитвы и стакана чаю

съ крупичатою булкой, воспитанники, просидѣвъ съ 7-ми до 9-ти часовъ въ классѣ, отправлялись гулять. Возвратившись къ 10-ти часамъ домой, они до 12-ти отсиживали опять за уроками, потомъ до 2-хъ часовъ совершали вторую прогулку, обѣдали, а послѣ обѣда рѣзвились въ рекреационномъ залѣ. Съ 2-хъ до 3-хъ часовъ они какъ-бы отдыхали отъ моціона, занимаясь только чистописаніемъ или рисованіемъ, послѣ чего, до 5-ти часовъ, шли опять научные уроки. Этимъ заканчивалась ихъ обязательная классная работа. Въ 5 часовъ, напившись снова чаю съ полубулкой, они шли гулять въ третій разъ; затѣмъ должны были готовить уроки къ слѣдующему дню. Въ половинѣ 9-го звонкъ сзывалъ ихъ къ ужину, послѣ котораго, вплоть до 10-ти часовъ, имъ предоставлялось дѣлать что угодно: читать, играть или болтать. День какъ начинался, такъ и заканчивался общей молитвой. Разойдясь по своимъ дортуарамъ, донельзя усталые отъ ученія и шалостей, мальчуганы засыпали тотчасъ, какъ убитые. А завтра опять то-же и въ томъ-же порядкѣ.

Да, это было своего рода сложное машинное колесо, которое, только благодаря постоянной, аккуратной смазкѣ и приставленнымъ къ нему опытнымъ механикамъ, могло вращаться изо дня въ день, изъ года въ годъ, безъ запинки. Кто могъ предвидѣть тѣ сцѣпленія обстоятельствъ, тѣ роковыя случайности, которыя засорили нѣкоторые зубцы, обломили нѣкоторые спицы колеса и до такой степени нарушили его правильный ходъ, что оно едва-едва не соскочило съ оси?..







## ГЛАВА XI.

### Первая „проба пера“.

„Ну, женскіе и мужескіе слоги!  
Благословясь, попробуемъ: слушай!  
Равняйтесь, вытягивайте ноги  
И по-три въ рядъ въ октаву заѣзжай!  
Не бойтесь, мы не будемъ слишкомъ строги!“  
(Домикъ въ Коломнѣ.)



днажды, въ самомъ началѣ еще учебнаго курса, послѣобѣденный урокъ «россійской» словесности у профессора Кошанскаго окончился минутъ за 20 до звонка. Профессоръ, довольный удачными отвѣтами учениковъ, сошелъ съ кафедры и, съ лукавой улыбочкой потирая руки, объявилъ имъ:

— Ну-съ, государи мои, на сихъ дняхъ еще заставилъ я васъ въ особину занотовать себѣ стишокъ великаго нашего Гавріила Романовича \*):

„Всѣмъ смертнымъ славолюбье сродно,  
Различенъ путь лишь и предметъ:  
И въ бочкѣ циникъ благородно  
Велѣлъ царю не тмить свой свѣтъ.“

---

\*) Имя и отчество Державина.

А вѣдомо ли вамъ, что имѣлъ я симъ въ предметѣ? Навести васъ на то, въ чемъ всякому истинному любителю изящныхъ писъменъ надлежитъ полагать высшее свое удовольствіе. Доселѣ версификацію познали вы лишь по образцамъ и примѣрамъ. Для вѣщаго вашего въ ней усовершенствованія, не угодно ли вамъ теперь самимъ осѣдлатъ Парнасскаго коня, проще сказать — испробовать ваши перья?

— Намъ стихи писать, Николай Ѳедорычъ? озадаченно переглядываясь, спрашивали лицеисты.

— А вы думаете, Державинъ не былъ развѣ такимъ же мальчишкой, да еще и моложе васъ? Вы же имѣете передъ нимъ тотъ великій шансъ, что его зрѣлая Муза можетъ служить вамъ неисощимымъ кладеземъ для почерпнутія потребныхъ вдохновенію вашему матерій.

— Да никто изъ насъ никогда еще не писалъ стиховъ...

— Я писалъ! отозвался тутъ неожиданно одинъ изъ лицеистовъ, Илличевскій.

Илличевскій этотъ, сынъ томскаго губернатора, воспитывался до лица въ единственной въ то время петербургской гимназіи (нынѣ 2-й, что на Казанской). Примѣръ губернатора-отца и прирожденная смѣтливость развили въ немъ раннюю самостоятельность, а артистическія наклонности еще въ гимназіи побуждали его испытывать свои силы во всѣхъ искусствахъ. Попавъ въ лицей, онъ разомъ выдвинулся между лицеистами какъ хорошій чтецъ, рисовальщикъ, заправила всякихъ школьныхъ игръ. А теперь вдругъ онъ оказывался еще и поэтомъ!

Соревнованіе съ нимъ подзадорило тотчасъ двѣ другія поэтическія натуры.



— И я тоже пописывалъ стихи, хотя пока одни французскіе, заявилъ Пушкинъ.

— А я нѣмецкіе! подхватилъ Кюхельбекеръ.

— Ну, ужъ не ври, пожалуйста, вмѣшался Гурьевъ:— вѣрно, чухонскіе?

— Я васъ, Гурьевъ, сію минуту выпровожу вонъ, строго замѣтилъ профессоръ.— А вы, Кюхельбекеръ, на зубоскальство его и дурачество не обращайте вниманія. Бude въ васъ точно горитъ священный пламень, таковой превозможетъ и трудности чуждаго вамъ русскаго языка. Благо, представляется вамъ къ тому вожделѣнный случай. Итакъ, господа, на первый разъ опишите мнѣ стихами предметъ общеизвѣстный—цвѣтокъ розу.

Писаніе началось, перья заскрипѣли. Но первые стихи приходились лицеистамъ куда солоны. Скрипѣли перья не столько отъ сочиняемыхъ, сколько отъ зачеркиваемыхъ строкъ, и скрипъ ихъ прерывался только вздохами и перешептываніемъ совѣщавшихся между собой писакъ. Кошанскій, заложивъ за спину руки, ходилъ взадъ и впередъ между скамьями, оглядывая пишущихъ, направо и налѣво, съ самодовольно-снисходительной улыбкой.

— Что же, други милые, не осѣняетъ свыше? И вы, Илличевскій, даромъ, я вижу, похвалились?

— По заказу, Николай Ѳедорычъ, никакъ не возможно, отговорился тотъ, почесывая себѣ переносицу бородкой пера.

— А я готовъ! объявилъ Пушкинъ, вскакивая съ мѣста.

— Готовы-съ? На французскомъ діалектѣ-съ?

— Нѣтъ, по-русски.

— Скоренько, сударь мой. Есть у насъ пословица русская: «скоро, да не споро.» Ну, что-же-съ, слушаемъ ваше произведеніице. Прочитайте-ка вслухъ: заслужить одобреніе—порукоплещемъ; не заслужить—головы не снимемъ съ плечъ. Повѣсьте, господа, уши ваши на гвоздь вниманія! — какъ прекрасно сказано нѣкимъ древнимъ мудрецомъ.

Зараженные насмѣшливостью профессора, лицеисты заранѣе уже пофыркивали. Казалось, Пушкину стѣбитъ только ротъ раскрыть, какъ слова его будутъ заглушены громогласнымъ хохотомъ. Покраснѣвъ и сердито косясь на сосѣдей, Пушкинъ съ чувствомъ прочелъ слѣдующее:

— „Гдѣ наша роза,  
Друзья мои?  
Увяла роза,  
Дитя зари.  
Не говори:  
Такъ вянетъ младость!  
Не говори:  
Вотъ жизни радость!  
Цвѣтку скажи:  
Прости, жалѣю!  
И на лилею  
Намъ укажи.“

Чтоъ случилось съ шалунами-слушателями? Отчего же никто изъ нихъ не хохочетъ, отчего усмѣшка у каждаго такъ и застыла на губахъ?

Дельвигъ, всегда такой безучастный, холодный, первый выразилъ свое одобреніе:

— А, ей-богу, премило!

Онъ, видимо, выразилъ общее впечатлѣніе, потому что съ нимъ сейчасъ же согласились и другіе:

— И то, очень даже недурно. Ай-да французъ!



Всѣ взоры обратились на профессора, въ ожиданіи, что онъ скажетъ. Но тотъ, насупясь, промычалъ только: «гмъ...» и взялъ изъ рукъ Пушкина его тетрадь. Вполголоса перечтя стихи вторично, онъ пристально посмотрѣлъ на маленькаго автора.

— Скажите-ка по чистой совѣсти, Пушкинъ: у кого это вы позаимствовали?

Пушкинъ такъ и вспыхнулъ.

— Я, господинъ профессоръ, не сталъ бы выдавать чужихъ стиховъ за свои!

— Не распаляйтесь, любезнѣйшій. Амбиція здѣсь не у мѣста. Я спросилъ только потому... потому что... Гмъ... гмъ...

И Кошанскій, въ тактъ кивая головой, принялся перечитывать стихи въ третій разъ.

— Нѣтъ у васъ еще подобающей выпренности, да и идея не совсѣмъ-то вытанцовалась, наконецъ высказался онъ: — но для перваго дебюта стишки, право, хоть куда. Однако, дабы вы не слишкомъ о себѣ возмечтали, я возьму ихъ съ собой.

Онъ вырвалъ страницу изъ тетради и, сложивъ ее вчетверо, опустилъ въ боковой карманъ.

— Когда-нибудь, быть можетъ — какъ знать?... вы станете нашимъ «великимъ національнымъ поэтомъ», добавилъ онъ, добродушно усмѣхаясь: — тогда я сочту долгомъ преподнести вамъ на серебряной тарелочкѣ, любопытства ради, сей первобытный вашъ поэтический лепетъ.

Раздавшійся изъ коридора звонокъ прервалъ на этотъ разъ дальнѣйшія упражненія въ стихотворствѣ. Зато толки по поводу ихъ теперь только разгорѣлись; сдва лишь Кошанскій скрылся за дверью, какъ вся

орава маленькихъ стихотворцевъ обступила Пушкина и со смѣхомъ принялась поздравлять его, какъ будущаго «великаго національнаго поэта».

— Дай приложиться къ тебѣ, душоночекъ ты мой! дай набраться отъ тебя этого «выспреннаго» духа! съ притворною нѣжностью говорилъ Гурьевъ и полѣзъ уже цѣловаться.

Пушкинъ грубо оттолкнулъ его.

— Терпѣть не могу лизаться!

Тотъ показалъ видъ, будто не обидѣлся, и даже сейчасъ предложилъ:

— Ну, такъ покачаемте его, братцы!

И не успѣлъ Пушкинъ очнуться, какъ, подхваченный разомъ десятками рукъ, съ криками «ура!» очутился уже на воздухѣ.

— Ты, Гурьевъ, право, хоть кого выведешь изъ терпѣнія! замѣтилъ онъ, когда наконецъ сталъ опять на ноги.

— Да вѣдь я только за ноженьку твою подержался, только за самый кончикъ сапога! отшутился Гурьевъ.

— А ну его! сказалъ Пушкину Дельвигъ и насильно увелъ его съ собой.—У меня, знаешь ли, есть до тебя большая просьба...

— Что такое?

— Продиктуй мнѣ, сдѣлай милость, свою «Розу».

— Ты, Дельвигъ, туда же, насмѣхаться вздумалъ надо мной?

— Нѣтъ, честное, благородное слово, стихи твои мнѣ такъ понравились, что я хотѣлъ бы хорошенько разъ-другой еще перечестъ ихъ.

— Ты, значитъ, тоже охотникъ до стиховъ?

— Страстно люблю ихъ, и самъ даже...



— Самъ даже пишешь?

— Да, грѣшенъ...

А кравшійся слѣдомъ за ними Гурьевъ ужъ подслушалъ ихъ и громко захлопалъ въ ладоши:

„Ха-ха-ха! хи-хи-хи!

И нашъ Дельвигъ пишетъ стихи!“

— Ай-да я! Недаромъ, видно, за сапогъ подержался. Этакъ, чего добраго, скоро у насъ пол-лица попадетъ на Парнасъ. Такъ вѣдь, кажется, Пушкинъ, прозывается наша будущая квартира?

Гурьевъ не подозрѣвалъ, конечно, что шутливое предсказаніе его вполнѣ сбудется. Стихотворные или, по выраженію Гурьева, «смѣхотворные» уроки Кошанскаго съ тѣхъ поръ регулярно повторялись, и чѣмъ далѣе, тѣмъ глаже и звучнѣе выходили стихи, особенно у Пушкина. Но такъ-какъ Кошанскій придавалъ въ стихахъ наибольшее значеніе «выспренности», и такъ-какъ Илличевскій въ этомъ отношеніи довольно удачно подражалъ Державину, то ему, Илличевскому, профессоръ долгое время отдавалъ предпочтеніе даже передъ Пушкинымъ, стихи котораго, по мнѣнію Кошанскаго, были черезчуръ «легки». Впрочемъ, для обоихъ поэтиковъ стихотворство было пока еще простою забавой, «игрою въ рифмы»; въ погонѣ за первенствомъ въ этой игрѣ они взялись разъ, уже внѣ класса, сочинить каждый по рыцарской балладѣ (въ ту пору баллады Жуковскаго вошли только-что въ моду). Но задача оказалась имъ еще не по силамъ, и ни тотъ, ни другой не довелъ своей баллады до конца.

Зато въ стихотворныхъ насмѣшкахъ надъ товарищами и воспитателями неопытная, но шаловливая Муза

ихъ принесла, въ первое же время, обильные, хотя и далеко недозрѣлые плоды. Такъ, съ особеннымъ увлеченіемъ всѣ лицеисты распѣвали сочиненный общими силами, на извѣстный современный мотивъ, длиннѣйшій романсъ, въ которомъ чуть ли не каждому обитателю лица было отведено по куплету. Новые куплеты появлялись нежданно-негаданно, какъ грибы послѣ дождя, вслѣдъ за обстоятельствами, вызвавшими ихъ, и тутъ-же въ компаніи дополнялись, закруглялись, такъ что доискаться первоначальнаго автора ихъ затруднились бы и сами лицеисты.

Разъ профессоръ математики Карцовъ изловилъ Пушкина, во время урока, за чтеніемъ посторонней книги, и выпроводилъ его изъ класса. И вотъ, на слѣдующее же утро, это великое событіе увѣковѣчилось новымъ куплетомъ:

„А чтò читаетъ Пушкинъ?--  
 Подайте - ка сюды!  
 Ступай изъ класса съ Богомъ,  
 Назадъ не приходи.“

Въ другой разъ, заучиваемыя лицеистами въ долбязку правила ненавистной имъ нѣмецкой грамматики и плохой выговоръ столь же нелюбимаго преподавателя ея, Гауеншильда, послужили благодарною тѣмой для слѣдующей стихотворной нелѣпицы:

„Скажите мнѣ шатицы,  
 Какъ напимѣрь: wenn so,  
 Je weniger und desto —  
 Die Sonne scheint also.“

Ознакомить съ этимъ перломъ лицейской Музы самого Гауеншильда озаботился бѣдовый Гурьевъ, который, не сочинивъ самъ на своемъ вѣку ни одной строки (кромѣ развѣ вышеприведеннаго двустишія на



Дельвига), не обладая ни малѣйшимъ музыкальнымъ слухомъ, то и дѣло мурлыкалъ, однако, про себя наиболѣе зазорные стихи, особенно въ присутствіи того именно лица, котораго они касались. Къ Гауеншильдѣ онъ даже прямо подѣхалъ съ вопросомъ:

— А слышали вы, г-нъ профессоръ, новый романсъ великаго земляка вашего Шиллера?

— Какой романсъ? недоумѣвая, переспросилъ тотъ.

— О, прелесть, я вамъ доложу! Послушайте!

И, по обыкновенію фальшивя, школьникъ съ одушевленіемъ пропѣлъ вышеприведенный полу-нѣмецкій «романсъ».

— Какъ вы смѣете!.. напустился на него нѣмецъ.

— А развѣ это не Шиллера? съ самой наивной миной выразилъ удивленіе Гурьевъ. — Какъ же Кюхельбекеръ клялся мнѣ всѣми своими германскими богами? Эй, Вильгельмъ Карлычъ, пожалуй — ка сюда на расправу!

Гурьевъ, какъ всѣмъ было извѣстно, пользовался особеннымъ благоволеніемъ надзирателя Пилецкаго, котораго онъ успѣлъ окрутить кругомъ своимъ притворнымъ смиреніемъ и заискивающею услужливостью. Поэтому Гауеншильдъ, пожавъ плечами, ограничился только тѣмъ, что обѣщалъ сбавить озорнику два балла въ поведеніи, но предупредилъ, что если услышитъ хоть разъ еще Шиллеровъ романсъ, то виновному уже не сдобровать. Вскорѣ ему, дѣйствительно, пришлось привести въ исполненіе угрозу; но ловкій Гурьевъ, какъ всегда, отвелъ ударъ съ своей больной головы на чужую, здоровую. Онъ побился объ закладъ съ Пушкинымъ на чайную булку, что тотъ не посмѣетъ при Гауеншильдѣ пропѣть знаменитой пѣсни. Подзадо- ренный Пушкинъ на слѣдующемъ же урокъ нѣмец-

каго языка затынулъ ее вполголоса. Гауеншильдъ, какъ ужаленный, вскочилъ съ кресла и окинулъ мальчиковъ съ каѳедры грознымъ взглядомъ.

— Это кто? Опять вы, Гурьевъ?

— Нѣтъ, не я.

— Конечно, вы. Нынче же вы будете на черной доскѣ!

— Вотъ вамъ Христосъ, г-нъ профессоръ, не я! увѣрялъ Гурьевъ, крестясь, причемъ въ голосъ его слышались слезы.—Если на то пошло, то я могу даже сказать—кто.

— Фискалъ! презрительно замѣтилъ Пушкинъ и поднялся съ мѣста.—Это я, г-нъ профессоръ.

— Я такъ и зналъ: либо Гурьевъ, либо вы! Значить, на черной доскѣ будете вы, а теперь убирайтесь—ка оба вы съ Гурьевымъ вонъ изъ класса!

— Изыдите, изыдите, нечестивіи! хоромъ загорла-нилъ весь классъ.

Профессоръ въ отчаяніи замахалъ руками и оставилъ всѣхъ безъ третьяго блюда, а имя Пушкина въ тотъ-же день было написано крупными буквами на такъ-называемой «черной доскѣ».

Всѣ наказанія лицеистовъ дѣлились на четыре степени: первою, легчайшею, считалось отдѣленіе провинившагося за особый, «черный» столъ въ классѣ; второю—черная доска; третья—заклучалась въ оставленіи на хлѣбѣ и водѣ не долѣе двухъ дней; наконецъ, четвертая—въ «уединенномъ заключеніи», т. е. въ карцерѣ.

Съ этимъ послѣднимъ наказаніемъ довелось ознакомиться на дѣлѣ и Пушкину, вмѣстѣ съ пятью другими лицеистами, на второй же мѣсяцъ пребыванія ихъ въ лицее, и вотъ по какому случаю.







## ГЛАВА XII.

### Штрафной билетъ.

„Златые дни, уроки и забавы,  
И черный столъ, и бунты вечеровъ...“

(19 октября.)

„Занесъ же вражій духъ меня  
На распроклятую квартиру!“

(Гусаръ.)

**В**ъ свободное отъ классныхъ занятій время, лицеисты, какъ уже упомянуто, обязаны были говорить между собой на одномъ изъ иностранныхъ языковъ. Но какъ было заставить ихъ исполнять это и тогда, когда никого изъ начальства не было по близости?

Разрѣшить такую мудреную задачу удалось, по-видимому, все тому-же профессору Гауеншильду, а надзиратель Пилецкій успѣлъ склонить и директора Малиновскаго испробовать предложенную мѣру. Состояла она въ томъ, что одному изъ воспитанниковъ вручался штрафной билетъ, который онъ долженъ былъ передать товарищу, изобличенному имъ въ раз-

говорѣ по-русски; этотъ, въ свою очередь, тѣмъ же порядкомъ долженъ былъ сбыть билетъ третьему, третій—четвертому и т. д., пока билетъ не обойдетъ всѣхъ нарушителей запрета. Послѣдній, у кого подъ конецъ дня оказывался билетъ, въ искупленіе общей вины, подвергался опредѣленному наказанію.

Мѣра эта, однако, не всегда достигала цѣли. Иной разъ билетъ къ вечеру пропадалъ безслѣдно, и отыскать виновнаго въ пропажѣ было положительно невозможно. Тогда оставалось одно—привлечь къ отвѣтственности весь классъ, лишивъ его, напр., сладкаго блюда. Но, въ этихъ случаяхъ, наказанныхъ выручалъ всегда съ избыткомъ провіантмейстеръ Леонтій Кемерскій, который приносилъ, взамѣнъ недополученнаго казеннаго слоенаго пирожка или клюквеннаго киселя (разумѣется, за соотвѣтственное денежное вознагражденіе), какое-нибудь другое лакомство.

Но чаще случалось, что штрафной билетъ оставался преспокойно, вплоть до вечерняго чая, въ карманѣ того, кому онъ былъ данъ по-утру. Зато послѣ чая и послѣ третьей прогулки, между школьниками начиналась настоящая травля: билетъ въ нѣсколько минутъ переходилъ десятки рукъ и, въ концѣ концовъ, подсовывался тайкомъ къ какому-нибудь зѣвакѣ или, передъ самымъ ужиномъ, прищипливался булавкой на спину неизмѣннаго козла отпущенія—Кюхельбекера. Когда же тотъ, по хохоту окружающихъ, догадывался въ чемъ дѣло, и, отцѣпивъ своими длинными руками билетъ отъ спины, передавалъ его одному изъ тѣхъ, кто говорилъ въ эту минуту по-русски, то всѣ наотрѣзъ отказывались принять его.

— Нѣтъ, братъ Кюхля, шалишь! Но, чуръ, ни-гу-гу, не фискалить!

И добросовѣстный Кюхля, ворча только что-то себѣ подъ носъ по-нѣмецки, покорялся своей неизбѣжной участи.

Однажды, съ день «французскій», билетъ былъ врученъ по-утру «французу»-Пушкину. Каково-же было удивленіе надзирателя Пилецкаго, когда, на вопросъ его за ужиномъ, у кого билетъ,—тотъ оказался у Пушкина.

— Это рѣшительно загадка для меня! сказалъ, разводя руками, Пилецкій.—Вѣдь вы, Пушкинъ, болтаете по-французски чуть ли не лучше, чѣмъ на родномъ языкѣ?

— Да онъ, Мартынъ Степанычъ, никому и не передавалъ билета! смѣясь, разрѣшилъ загадку Гурьевъ.

— Что?! Не передавалъ? Правда это?

— Правда, подтвердилъ Пушкинъ.

— Это что значить? Или вы никого не успѣли уличить въ русской рѣчи?

— Не то что не успѣлъ, но не считалъ нужнымъ.

— Какъ? Повторите!

— Очень просто,—забылъ про билетъ, Мартынъ Степанычъ, выступилъ теперь уже на защиту пріятеля Гурьевъ.

— У васъ, Гурьевъ, я знаю, сердце пряминое, какъ вотъ этотъ боберъ, похвалилъ любимца своего Пилецкій, ласково проводя рукой по коротко-остриженнымъ, шелковистымъ его волосамъ.—Пушкинъ же, при всей своей строптивости, имѣетъ одно хорошее качество: онъ прямодушень, не умѣетъ лукавить. Поэтому, я увѣренъ, онъ самъ сейчасъ признается, точно ли за-



былъ про билетъ, или нарочно оставилъ его у себя.

— Нарочно, сознаюсь! коротко отрѣзалъ Пушкинъ.

Тонкія губы надзирателя сложились въ знакомую уже лицеистамъ, не обѣщавшую ничего добраго, улыбку; въ маслянистыхъ глазахъ его загорѣлся зловѣщій огонекъ, а рѣзкій голосъ его принялъ неестественную нѣжность.

— Вы, миленькій мой, стало быть, нарочно не исполняете возложенной на васъ начальствомъ обязанности? спросилъ онъ.

— Если обязанность моя—быть Іудой-предателемъ товарищей, то я не въ состояніи исполнять ее! былъ гордый отвѣтъ.

— Bravo, Пушкинъ! раздалось тутъ съ другого конца стола.

Пилецкій круто обернулся: то былъ Пущинъ.

-- Прокофьевъ! холодно крикнулъ онъ дежурнаго дядьку:—этихъ двухъ молодцовъ ты сейчасъ же отведишь на сутки въ карцеръ.

— Слушаю-съ, ваше высокоблагородіе, отвѣчалъ дядька.— А ужина нельзя имъ докушать-съ?

— «Сейчасъ», сказано тебѣ. Не слышалъ, что ли? А вы, голубчики мои, перестаньте-ка кушать. Прокофьевъ уже доставитъ вамъ вашъ заслуженный десертъ: хлѣбца краюху да ключевой водицы.

Два пріятеля, обмѣнявшись дружелюбнымъ взглядомъ, молча встали изъ-за стола, чтобы слѣдовать за ожидавшимся ихъ Прокофьевымъ. Но тутъ, совсѣмъ неожиданно, поднялся также одинъ изъ самыхъ скромныхъ и послушныхъ лицеистовъ, баронъ Дельвигъ,

и почтительно, какъ всегда, обратился къ надзира-  
телю съ просьбой:

— Я, Мартынъ Степанычъ, одного съ ними мнѣ-  
нія на этотъ счетъ,—такъ позвольте ужъ и мнѣ идти  
съ ними.

Мартынъ Степановичъ былъ, видимо, пораженъ.  
Какъ поступить съ маленькимъ наивнымъ барономъ,  
который собственно ни въ чемъ вѣдь не провинился?  
Помолчавъ немного, онъ заговорилъ наставительно и  
кротко:

— Вы, милѣйшій баронъ, при малыхъ успѣхахъ  
въ наукахъ, отличались до сихъ поръ примѣрнымъ  
благонравіемъ, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что теперь  
вы повинуетесь только внушенію вашего добраго  
сердца...

— «О, дружба, это ты!» вмѣшался опять Гурьевъ.—  
Вѣдь они, Мартынъ Степанычъ, оба—поэты, ихъ и  
водой не разольешь.

Пилецкій потрепалъ шутника по пухлой щекѣ.

— Адъютантикъ мой!—и съ вызывающей усмѣш-  
кой оглядѣлъ затѣмъ весь столъ.—Можетъ быть,  
между вами, господа, найдутся и другіе поэты?

— Да вотъ Кюхельбекеръ, отпрапортовалъ адъю-  
тантъ.

— Да, и я поэтъ! не отрекся тотъ.

— И желали бы тоже посидѣть на хлѣбѣ и водицѣ?  
Гурьевъ отъ удовольствія даже заржалъ:

— Униженно васъ просить! Что, братъ, Виль-  
гельмъ, влопался какъ куръ въ щи.

— Экая вѣдь дрянь этотъ Гурьевъ! подалъ теперь  
голосъ и Илличевскій.—Предлагаю, господа, не гово-  
рить съ нимъ до будущей недѣли.

— Это ужъ заговоръ какой-то! воскликнулъ надзиратель. — Вы, Илличевскій, также отправитесь въ карцеръ.

Илличевскій съ сдержанной улыбкой отвѣсилъ поклонъ.

— Какъ прикажете. Вотъ Корсаковъ тоже просится въ компанію съ нами.

Пилецкій отъ изумленія даже ротъ разинулъ и остолбенѣлъ. Если Пущинъ и Дельвигъ примкнули къ Пушкину по какому-то ребяческому влеченію; если Кюхельбекеръ «влопался» по оплошности, то два послѣдніе заговорщика, очевидно, заразились только сію минуту заносчивостью Пушкина, потому что Илличевскій до сихъ поръ почитался образцомъ послушанія и вѣжливости, а Корсаковъ, кроткій и робкій, и воды никогда не замутилъ.

Неизвѣстно, чѣмъ бы разразился справедливый гнѣвъ Пилецкаго, если бы въ эту минуту къ столу не подошелъ самъ директоръ лицея, Малиновскій, который съ порога столовой уже нѣсколько времени безмолвно слѣдилъ за описанною сейчасъ сценой.

— Вы, Корсаковъ, кажется, такъ же, какъ и Илличевскій, пишете стихи? былъ первый вопросъ его.

Ни мало не угрожающій, а только огорченный, грустный тонъ неизмѣннаго въ своемъ добродушіи Василья Ѳедоровича произвелъ на всѣхъ лицеистовъ болѣе глубокое впечатлѣніе, чѣмъ тонкая язвительность надзирателя. Застѣнчивый же Корсаковъ совсѣмъ растерялся.

— Пишу-съ... прошепталъ онъ, мѣняясь въ лицѣ.

— Значитъ, главною причиною ихъ послушанія, Мартынъ Степанычъ, былъ не злой умыселъ, а, такъ-



сказать, созвучіе одинаково настроенныхъ душъ, продолжалъ директоръ.—Отсидѣть въ карцерѣ положенныя вами сутки ослушникамъ, разумѣется, придется. А вы, Гурьевъ, внезапно обернулся онъ къ «адъютантику» надзирателя,—какъ оказывается, самый задорный изъ всѣхъ...

— О! онъ только рѣзовъ немножко, но препослушный, преуслужливый мальчикъ, заступился Пилецкій за своего любимца, у котораго съ перепугу на вернулись даже на глазахъ слезы.

— Нѣтъ, Мартынъ Степанычъ, извините меня: вы насчетъ его нѣсколько ослѣплены. Если товарищи отворачиваются отъ мальчика, то это ужъ самая плохая для него атестація, и я убѣжденъ, что не будь Гурьева, подбивающаго другихъ, не было бы и такого поголовнаго протеста. Онъ, во всякомъ случаѣ, достоинъ не меньшей кары, какъ и прочіе. Но чтобы не было новыхъ столкновеній, его можно запереть отдѣльно, напр., въ классной комнатѣ.

Гурьевъ уже не на шутку расхныкался.

— Помилуйте, простите! молилъ онъ, сложа руки и захлебываясь отъ слезъ.— Не сажайте меня хоть одного...

— Онъ буки боится! презрительно замѣтилъ Илличевскій.—Мы вамъ отъ души благодарны, Василій Ѳеодорычъ, что вы избавляете насъ отъ него.

— Слышите, Гурьевъ? Гласъ народа—гласъ Божій. Но чтобы вамъ въ темнотѣ не было такъ страшно, Прокофьевъ можетъ не тушить у васъ огня. А вы, господа, захватите съ собой шинели: карцеръ, кажется, нынче не топлень. Да не забудь, Прокофьевъ, отнести къ нимъ туда табуретовъ, сколько нужно.

Такая заботливость добряка-директора окончательно примирила обреченныхъ на наказанье съ ихъ участью. Когда они, подъ конвоемъ дядьки, гуськомъ спускались по лѣстницѣ въ нижній этажъ, гдѣ помещался карцеръ, навстрѣчу имъ попался сынъ директора, лицеистъ Малиновскій, который, ужиная и ночуя на квартирѣ отца, не присутствовалъ при разсказанномъ эпизодѣ въ лицейской столовой, а теперь возвращался въ лицей за забытой книгой.

— Куда такъ поздно, господа? удивился онъ, введенный въ заблужденіе накинутыми на плечи товарищей шинелями. Узнавъ же въ чемъ дѣло, онъ воскликнулъ:

— Ахъ, ужъ этотъ штрафной билетъ! Отецъ никогда не одобрялъ его.

— Не стойте, господа! Впередъ, маршъ! скомандовалъ конвойный Прокофьевъ.

— Не унывайте, братцы, мы васъ выручимъ, успокойлъ ихъ, съ своей стороны, Малиновскій.

— Пожалуйста!

— По крайней мѣрѣ, постараюсь. До свиданія!

— До свиданія!

И процессія двинулась далѣе.





## ГЛАВА XIII.

### Правнукъ арапа Петра Великаго.

„У всякаго своя есть повѣсть,  
Всякъ хвалить мѣткій свой кистень.  
Шумъ, крикъ. Въ ихъ сердцахъ дремлетъ совѣсть:  
Она проснется въ черный день“.



Въ твѣдя маленькихъ преступниковъ въ мѣсто ихъ заключенія—въ низкую и сырую коморку, всю мебель которой составлялъ единственный табуретъ, — стражъ-дядька, согласно наказу директора, принесъ еще нѣсколько табуретовъ и, затѣмъ, пожелавъ имъ на прощанье доброй ночи, удалился, тщательно замкнувъ на ключъ дверь и захвативъ съ собой и свѣчу. Оставшись одни въ непроглядномъ мракѣ ночи, наши шесть арестантовъ-лицеистовъ нѣсколько минутъ хранили молчаніе, точно каждому изъ нихъ сдавалось, что онъ заживо схороненъ подъ землей. Но на міру и смерть красна, говоритъ пословица. Одинъ тихо засмѣялся—и общая могила разомъ огласилась звонкимъ, неумолкаемымъ хохотомъ всѣхъ шести погребенныхъ.



— Что же, мы такъ всю ночь и простои́мъ на ногахъ? заговорилъ первый Пушкинъ. — Благо, сидѣть есть на чемъ, такъ покорнѣйше прошу, милостивые государи, садиться; будьте какъ дома.

«Милостивые государи», смѣясь, послѣдовали приглашенію, причемъ, за кромѣшною тьмою, кто-то стукнулся головой съ Пушкинымъ и охнулъ.

— До свадьбы заживетъ! утѣшилъ Пушкинъ. — Ну, что, сѣли, государи мои?

— Сѣли.

— Засѣданіе открывается; а такъ-какъ заснуть, сидя на табуретахъ, все равно не придется, то предлагаю коротать время разказами. Согласны?

— Согласны.

— Кому же начинать?

— Ты, Пушкинъ, подалъ мысль, — такъ ты и начинай, рѣшилъ Илличевскій.

— Могу. Дайте только подумать, что бы такое разсказать... Да! слыхалъ кто-нибудь изъ васъ про Абрама Петровича Ганнибала?

— Я слышалъ, отозвался Кюхельбекеръ, — а здѣсь, въ царскосельскомъ паркѣ, ему и памятникъ поставленъ: «Побѣдамъ Ганнибала». Живя съ дѣтства въ Павловскѣ, я часто бывалъ тутъ...

— Нѣтъ, это памятникъ не Абрама Ганнибала, а сына его, Ивана Абрамовича, который прославилъ себя какъ побѣдитель турокъ при Наваринѣ, гдѣ сжегъ весь ихъ флотъ. Я говорю теперь объ отцѣ его — арапѣ Петра Великаго.

— Объ этомъ-то и я отъ отца моего слышалъ! подхватилъ Илличевскій. — Онъ былъ вѣдь простой арапъ-невольникъ, а дослужился до генеральскаго чина?

— До генералъ-аншефа и Андреевской звѣзды! поправилъ Пушкинъ.—Но былъ онъ не простой невольникъ, а царскаго рода, потомокъ знаменитаго африканскаго полководца Ганнибала. Еще въ глубокой старости, среди нашихъ сѣверныхъ снѣговъ, Абрамъ Петровичъ съ умиленіемъ вспоминалъ о своей знойной Африкѣ. Ихъ, чернокожихъ сыновей-принцевъ, было у отца его ни болѣе, ни менѣе какъ 19 человекъ; но Абрамъ, какъ младшій, сдружился особенно съ малюткой-сестрицей своей Лаганью. Цѣлый день, бывало, рѣзвились они подъ тѣнистыми пальмами отцовскаго сада, плескаясь вмѣстѣ подъ брызгами фонтановъ. Но разъ, когда ему было еще только 8 лѣтъ, нагрянули къ нимъ, откуда ни возмись, бѣлые дьяволы. Мы, люди бѣлаго племени, представляемъ себѣ дьявола чернымъ, а имъ, чернокожимъ, дьяволъ представляется бѣлымъ. И недаромъ! Дьяволы эти измѣнически напали на лагерь чернокожихъ, кого перебили, кого увели въ неволю. Въ числѣ послѣднихъ былъ и маленькій Ибрагимъ (по-нашему—Абрамъ). Связанный по рукамъ и ногамъ, онъ пластомъ лежалъ на палубѣ корабля и, сквозь дыру въ стѣнкѣ, безмолвно, съ замираніемъ сердца глядѣлъ на удаляющійся родной берегъ, глядѣлъ на дорогую подругу своихъ дѣтскихъ игръ, Лагань, которая, какъ вѣрная собаченка, плыла за кормою корабля. Но вотъ берегъ уже началъ скрываться въ голубой дали; вотъ и Лагань начала отставать и пропала, наконецъ, изъ виду. Что случилось съ бѣдняжкой?—этого Ибрагимъ никогда такъ и не узналъ. Самого его продали въ султанскій сераль. Происходя отъ царской крови, онъ поражалъ своею благородною осанкой, своею рѣдкою для арапа

красотой, и нашъ русскій посланникъ при турецкомъ дворѣ, по словамъ однихъ, перекупилъ его у султана, по словамъ другихъ—просто выкралъ его изъ дворца. Какъ бы тамъ ни было, посланникъ отослалъ его въ Петербургъ, въ подарокъ государю своему, Петру Великому. Тому онъ также сразу приглянулся. Вмѣстѣ съ Польской королевой, государь окрестилъ арапчика и назвалъ его Петромъ. Но крестникъ никакъ не могъ свыкнуться съ новымъ христіанскимъ именемъ, плакалъ и умолялъ до тѣхъ поръ, пока государь не махнулъ рукой и не возвратилъ ему его прежнее имя. Зато маленькій Ибрагимъ, или Абрамъ Петровичъ (какъ стали звать его послѣ, по крестному отцу), просто выбивался изъ кожи, чтобы угодить государю, и своею природною смѣтливостью, своимъ рѣдкимъ умомъ такъ полюбился ему, что Петръ ни днемъ, ни ночью уже не отпускалъ его отъ себя. Арапъ спалъ рядомъ съ царскою спальней—въ токарнѣ, а во время похода—въ царской палаткѣ. Бывало, ночью царь его окликнетъ:

«— Арапъ»!

Тотъ мигомъ очнется и откликнется:

«— Чего изволите?»

«— Подайка-ка огня и доску!»

А аспидную доску царь требовалъ затѣмъ, что записывалъ на ней наскоро приходившія ему въ голову ночью мысли. Написавъ, что требовалось, онъ возвращалъ арапу доску:

«— На, повѣсь и поди, спи»!

Впослѣдствіи, когда Абрамъ Петровичъ отъ самого царя научился грамотѣ, письму и ариѳметикѣ, онъ писалъ на доскѣ подъ диктовку царя, а царь уже



поутру перечитывалъ написанное, дополнялъ и заносилъ въ свою записную книжку.

Петръ Великій, вѣроятно, никогда не разстался бы съ своимъ вѣрнымъ арапомъ, если бы Абрамъ Петровичъ не выказалъ особенно замѣчательныхъ способностей къ математикѣ. Петръ счелъ за грѣхъ оставить это безъ вниманія, и арапъ былъ отправленъ въ Парижъ—доучиваться въ тамошней инженерной школѣ. Но тутъ у французовъ разгорѣлась война съ Испаніей. Пылкій африканецъ не утерпѣлъ: не спросясь даже у своего государя, онъ записался въ армію тогдашняго регента французовъ, герцога Орлеанскаго, и пошелъ драться съ испанцами. Пробираясь разъ со своимъ отрядомъ потайнымъ ходомъ въ монастырь, въ которомъ засѣли испанцы, онъ наткнулся на враговъ. Послѣ жаркой схватки, арапа, съ разрубленною головой, товарищи замертво вынесли на воздухъ. Жизнь его висѣла на волоскѣ; съ транспортомъ раненыхъ его отвезли обратно въ Парижъ.

Юноша во цвѣтѣ лѣтъ и Геркулесъ по сложенію, онъ живо поправился и, разумѣется, сдѣлался героемъ дня: смертельно-раненый лейтенантъ «великой націи», да еще изъ араповъ, да вдобавокъ и принцъ! Всѣ парижскіе салоны настезь раскрылись передъ нимъ, и его, какъ говорится, на рукахъ носили. Диво ли, что такіе успѣхи вскружили нашему африканцу его буйную голову? Напрасно благодѣтель его, русскій царь, писалъ ему письмо за письмомъ, требуя возвращенія въ Россію: арапъ не могъ оторваться отъ обласкавшаго его Парижа. Разъ, однако же, на выходѣ во дворцѣ, герцогъ Орлеанскій подозвалъ его къ себѣ и молча подалъ ему письмо,

которое только-что получилъ отъ Петра. Абрамъ Петровичъ перепугался не на шутку: онъ зналъ, что съ царемъ шутки плохи, и былъ увѣренъ, что тотъ требуетъ выслать его къ нему по этапу. Въмѣсто того, что же оказалось? Петръ предоставлялъ ему на выборъ: возвратиться домой или поселиться въ Парижѣ, но обѣщалъ, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ, не покидать его. Такая отеческая любовь крестнаго отца дотого тронула арапа, что онъ тутъ-же уложилъ свои пожитки и поскакалъ восвояси. На послѣдней станціи отъ Петербурга, въ Красномъ Селѣ, онъ, войдя въ избу, увидѣлъ за столомъ, у окошка, какого-то исполина въ зеленомъ кафтанѣ, который, куря трубку, читалъ нѣмецкую газету. А исполинъ также его замѣтилъ и радостно вскочилъ съ лавки.

«— Ба, арапъ! Здорово, крестникъ!»

Абрамъ Петровичъ теперь только узналъ своего благодѣтеля, и хотѣлъ повалиться ему въ ноги; но Петръ принялъ его въ свои объятія и поцѣловалъ въ голову.

«— Мнѣ дали знать, что ты ѣдешь, сказалъ онъ, — и я поѣхалъ къ тебѣ на встрѣчу».

Онъ благословилъ его образомъ апостоловъ Петра и Павла, и повезъ съ собой, въ собственной коляскѣ, въ Петербургъ. Здѣсь, на крыльцѣ дворца, ихъ встрѣтила императрица Екатерина и двѣ молодыя царевны. Петръ, улыбаясь, обратился къ старшей изъ нихъ, Елисаветѣ Петровнѣ:

«— Помнишь, Лиза, арапчика Ибрагима, что кралъ для тебя когда-то въ Ораніенбаумѣ яблоки изъ моего сада? Такъ вотъ — рекомендую. Но это ужъ не тотъ

простой арапъ, а Абрамъ Петровичъ Ганнибалъ, капитанъ-лейтенантъ моего Преображенскаго полка».

Арапъ, при этой новой царской милости, бросился цѣловать руки Петра, а тотъ, глядя его по курчавой головѣ, продолжалъ:

«— И не забудь, Лиза: онъ мой любимый крестникъ. Если, волею Божьею, меня уже не станетъ на свѣтѣ, то тебѣ поручаю заботы о немъ».

Послѣ этого, до конца жизни, царь уже не отпускалъ его отъ себя, а умирая, завѣщалъ ему 2,000 дукатовъ и снова повторилъ дочери, чтобы она не забывала его крестника. Но царевна Елисавета сама не скоро попала въ силу, а у Абрама Петровича, какъ у всякаго выдвинувшагося изъ ряда человѣка, были завистники-враги: сперва князь Меншиковъ, потомъ Биронъ. Подъ предлогомъ, что Абрамъ Петровичъ, какъ искусный инженеръ, лучше всякаго другого измѣритъ Китайскую стѣну (а для чего ее нужно было измѣрить—Господь одинъ знаетъ!), Меншиковъ усадилъ его въ кибитку, да и спровадилъ его прямо хонько въ Сибирь. Вскорѣ, однако, самого Меншикова препроводили туда же, а арапъ вернулся назадъ, въ Петербургъ. Но и преемнику Меншикова, Бирону, выскочка-арапъ былъ сучкомъ въ глазу, и вотъ Абрама Петровича, подъ другимъ какимъ-то предлогомъ, во второй разъ отправили за Уралъ. Съ помощью добрыхъ людей онъ, однако, и на этотъ разъ тихомолкомъ выбрался на волю и долгіе годы жилъ гдѣ-то около Ревеля. Здѣсь онъ женился на коренной нѣмкѣ, дочери капитана, Христинѣ Регинѣ фонъ-Шебергъ, а когда взошла, наконецъ, на престолъ Елисавета Петровна, явился ко Двору. Дочь Великаго



Петра, хорошо помня завѣтъ покойнаго отца, приняла живое участіе въ судьбѣ арапа, и съ этого времени онъ пошелъ быстро въ гору. Доживъ до 92 лѣтъ, онъ умеръ генераль-аншефомъ и Андреевскимъ кавалеромъ, уважаемый всѣми, оплакиваемый своими дѣтьми, внуками и правнуками, изъ которыхъ одного, милостивые государи, вы видите теперь передъ собой \*).

— Какъ? Можетъ ли быть? Ты, Пушкинъ, — правнукъ арапа Петра Великаго? посыпались на разсказчика со всѣхъ сторонъ вопросы.

— По прямой линіи, отвѣчалъ онъ:—сынъ его и Христины Шебергъ, Осипъ Абрамовичъ Ганнибалъ, женился уже на русской Пушкиной, а дочь ихъ, Надежда Осиповна Ганнибалъ («прекрасная креолка», какъ зовутъ ее въ Москвѣ), вышла также за Пушкина—отца моего, такъ что я, въ нѣ-  
которомъ родѣ, Пушкинъ въ квадратѣ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ,—немножко и нѣмецъ, и арапъ...

\*) А. С. Пушкинъ всегда гордился своимъ прадѣдомъ Абрамомъ Ганнибаломъ и сыномъ его Иваномъ Абрамовичемъ, а когда, впоследствии, одинъ изъ литературныхъ враговъ его, Ѳаддей Булгаринъ, позволилъ себѣ печатно поглумиться надъ его чернокожими предками, нашъ поэтъ отвѣчалъ ему слѣдующими блестящими стихами:

„Видокъ Фигляринъ, сидя дома,  
Рѣшилъ, что дѣдъ мой Ганнибалъ  
Былъ купленъ за бутылку рома  
И въ руки шкиперу попалъ.  
Сей шкиперъ былъ тотъ Шкиперъ  
славный,  
Кѣмъ наша двинулась земля,  
Кто придалъ мощно бѣгъ дер-  
жавный  
Кормъ родного корабля.

„Сей Шкиперъ дѣду былъ до-  
ступенъ.  
И сходно-купленный арапъ  
Возросъ усерденъ, неподкупенъ,  
Царю наперсникъ, а не рабъ.  
И былъ отецъ онъ Ганнибала,  
Предъ кѣмъ, средь гибельныхъ  
пучинъ,  
Громада кораблей вспылала  
И палъ впервые Наваринъ.“

— Но царской крови! африканскій принцъ! воскликнулъ Пушинъ.—Поздравляю, ваше высочество! Позвольте пожать вашу руку.

— И мнѣ позвольте! и мнѣ! подхватили весело прочіе слушатели и, сталкиваясь въ темнотѣ другъ съ другомъ, наперерывъ жали руку вновь-объявленному принцу.

— То-то ты такой смуглый и курчавый, заговорилъ опять Пушинъ!—Дядя твой Василій Львовичъ рассказалъ мнѣ съ три короба о вашемъ родѣ Пушкиныхъ, а о Ганнибалахъ хоть бы словомъ заикнулся.

— Потому что въ собственныхъ его жилахъ нѣтъ ни капли ихъ крови. Но Пушкины, дѣйствительно, тоже одна изъ древнѣйшихъ фамилій. Родоначальникъ нашъ Раджа, выходецъ изъ Пруссіи, прибылъ въ Россію еще при Александрѣ Невскомъ, и послѣ того Пушкины цѣлые вѣка состояли при русскихъ царяхъ въ разныхъ придворныхъ и другихъ высшихъ званіяхъ: боярами и думными дворянами, оружейниками и рындами, великими послами, воеводами и даже намѣстниками \*).

На этомъ дальнѣйшая бесѣда о предкахъ Пушкина прервалась: съ коридора донеслись звуки чьихъ-то шаговъ, и всѣ въ карцерѣ насторожились. Ключъ въ замкѣ дважды щелкнулъ, дверь со скрипомъ растворилась—и узники невольно зажмурились, ослѣпленные, послѣ продолжительной темноты, внезапно ворвавшимся къ нимъ свѣтомъ.

— Здравія желаемъ, ваши благородія! раздался зна-

---

\*) Для большей наглядности, въ концѣ книги прилагается родословная Пушкиныхъ и Ганнибаловъ, начиная со второй половины XVII вѣка.

комый старческій голосъ.—Каково тутъ живете-можете?

Загораживая своей плечистой, широкой фигурой узкій входъ карцера, на порогѣ его стоялъ, добродушно улыбаясь, оберъ-провіантмейстеръ лицейскій, Леонтій Кемерскій, съ подносомъ въ рукахъ; на подносѣ же, вокругъ горящей свѣчи, заманчиво дымилось шесть стакановъ чаю и горкою громоздились сладкіе сухари и булки.

— Вотъ за это спасибо! Ай-да умница! ай-да благодѣтель! заликовали лицеисты, и мигомъ разобрали стаканы.

— Не меня благодарите, а пріятеля вашего, Малиновскаго: уломалъ батюшку своего, директора, согрѣть васъ чаемъ. Да и къ утру—я такъ смекаю—васъ ужъ, вѣрно, отселѣ совсѣмъ вызволятъ.

— Да здравствуютъ же отецъ и сынъ! возгласилъ Пушкинъ и хлебнулъ изъ стакана, но обжегся при этомъ и охнулъ:—ой, горячо!

— А я, господа, пью за Гурьева, сказалъ Дельвигъ:—безъ него не состоялась бы наша веселая компанія.

— Ахъ, да, кстати, Леонтій, спохватился Пушкинъ:—снеси-ка стаканъ и ему, бѣднягѣ. Чай, томится въ классѣ одинъ одиныхонекъ.

— Объ нихъ не беспокойтесь, отвѣчалъ, пожимая плечами, Леонтій:—господинъ надзиратель ужъ съ часъ назадъ какъ ихъ выпустили.

— Ну, вотъ! замѣтилъ, негодуя, Илличевскій. — А ты, Пушкинъ, еще пожалѣлъ о немъ! Конечно, въ семьѣ не безъ уроды, но этотъ Гурьевъ, просто, невозможенъ. Съ виду сахарная кукла, вербный херувимчикъ, прифранченъ, надушонъ—за версту одеколономъ пахнетъ. А въ душѣ черенъ—чернѣе трубо-



чиста, право. Кто можетъ быть ему полезенъ,—тому отъ него отбою нѣтъ. Сперва лебезилъ все около Горчакова, а когда тотъ его раскусилъ, стряхнулъ съ себя,—онъ началъ лѣзть теперь къ Броглю. благо — графчикъ тоже. А ужъ передъ начальствомъ—какъ собачка на заднихъ лапкахъ ходитъ, юлитъ какъ...

— Какъ чортъ передъ своей бабушкой? договорилъ Кюхельбекеръ, чтобы заявить и свое знаніе тонкостей русскаго языка!

— Передъ заутреней, хочешь ты сказать? поправилъ его Илличевскій и продолжалъ:—а Пилецкому онъ такъ-таки змѣей въ самую душу влѣзъ. Я даже подозрѣваю, господа, что онъ наушничаетъ ему про насъ.

— И я тоже! подхватилъ опять Кюхельбекеръ.

— И ты тоже наушничаетъ? разсмѣялся Пушкинъ.

— Да ну его, этого Гурьева, Богъ ему судья! прервалъ Дельвигъ. — Если вамъ угодно, господа, я тоже могу теперь кое-что поразсказать изъ дѣйствительной жизни, и даже изъ своей собственной.

И молодой баронъ началъ разсказъ о походѣ 1807 года, въ которомъ онъ, будто-бы, случайно участвовалъ, сопровождая одного старшаго родственника, Разсказъ его былъ такъ ловко веденъ, обставленъ такими мелкими подробностями, что товарищи просто заслушались и почти готовы были ему вѣрить. Простодушный же дядька Кемерскій, дѣйствительный участникъ описываемаго похода, повѣрилъ всему безусловно и только поддакивалъ:

— Все это, какъ Богъ святъ, истинная правда!

Тутъ, увидавъ допитые стаканы, онъ съ досадой почесалъ въ затылкѣ.

— Экая жалость, право! Надоть идти, а смерть какъ







охотно бы еще послушалъ... Батюшка баронъ! сдѣлайте такую божескую милость, не досказывайте теперича: ужо, завтра, что ли, послѣзавтра доскажете, и меня, старика, позовите.

— Ладно, будь по твоему, улыбнулся баронъ. Что съ нимъ подѣлаешь, господа? Надо уважить старика. Разсказывай теперь кто-нибудь другой.

И разсказы возобновились. Но усталость взяла свое... Когда, на разсвѣтѣ, надзиратель Пилецкій заглянулъ въ карцеръ, то засталъ всѣхъ арестантовъ спящими въ самыхъ разнообразныхъ позахъ. Четверо держались еще кое-какъ на своихъ табуретахъ: Пущинъ и Дельвигъ, прислонясь—одинъ къ стѣнѣ, другой—къ окошку, Илличевскій и Корсаковъ—прислонясь другъ къ другу; двое же остальныхъ оказались на полу: Пушкинъ — прикурнувъ въ углу, вытянувъ одну ногу, а Кюхельбекеръ, припавъ щекою къ этой ногѣ, какъ къ подушкѣ, растянулся во весь ростъ и издавалъ здоровый храпъ. Пилецкому стоило немалого труда растолкать и поднять ихъ на ноги; но, и стоя на ногахъ, они только хлопали посоловѣвшими глазами и зѣвали во весь ротъ, врядъ ли хорошо понимая смыслъ назидательнаго поученія надзирателя, что такимъ сокращеніемъ своего ареста они обязаны—де исключительно особой снисходительности директора, Василья Ѳедоровича.

— Да и моей уступчивости, добавилъ онъ.—А какъ вы, милые мои, время проводили? До меня дошли слухи, будто въ разсказахъ.

— А развѣ и этого нельзя? ошетинился Илличевскій, прежде другихъ очнувшійся отъ сна.

— Напротивъ, дорогой мой, занятіе прекрасное,

которое я, съ своей стороны, совѣтовалъ бы вамъ и впредь продолжать, замѣсто разныхъ дурачествъ. А еще лучше было бы, ежели бы вы дали себѣ трудъ записывать ваши рассказы. Вы могли бы, такимъ образомъ, составить нѣкое литературное общество, члены коего обязаны были бы представлять каждый на судъ собратьевъ по одной письменной работѣ въ недѣлю, что ли, въ двѣ недѣли... Да вы, я вижу, спите еще, друзья мои, не слышите меня! Ступайте-ка, сперва умойтесь, освѣжитесь, а тамъ опять потолкуемъ.

Этимъ и окончилась исторія перваго ареста лицейстовъ. Одного Дельвига только директоръ Малиновскій потребовалъ днемъ къ себѣ и заставилъ пересказать свои воинскіе подвиги, о которыхъ ему, какъ и Пилецкому, отрапортовалъ съ наивнымъ энтузіазмомъ дядька Кемерскій. Дельвигъ почти дословно передалъ свой вчерашній рассказъ.

— И все это въ самомъ дѣлѣ было? усомнился Малиновскій.

— Было, отвѣчалъ хладнокровно Дельвигъ, не моргнувъ и глазомъ.

Послѣ того, нѣсколько вечеровъ подрядъ, около него собиралась кучка товарищей и инвалидовъ — дядекъ, подъ главенствомъ «набольшаго», Леонтья, которые всѣ горѣли нетерпѣніемъ услышать продолженіе удивительныхъ приключеній молодого барона. Ужъ долго спустя послѣ того, Дельвигъ признался, наконецъ, что все рассказанное имъ было не болѣе какъ плодъ его фантазіи, но что ему совѣстно было повиниться въ этомъ слушающему его съ такимъ вниманіемъ уважаемому директору.







## ГЛАВА XIV.

### Первый расцвѣтъ лицейской Музы.

„Издrevле сладостный союзъ  
Поэтовъ межъ собой связуетъ:  
Они жрецы единыхъ Музъ;  
Единый пламень ихъ волнуеть.“

(Посланіе къ Языкову.)

**В**ключеніе въ карцеръ имѣло для лицейстовъ дваважныя послѣдствія: во-первыхъ, штрафной билетъ былъ навѣки отмѣненъ; во-вторыхъ, высказанная Пилецкимъ мысль, чтобы лицеисты основали изъ среды своей литературное общество, дѣйствительно была осуществлена ими, причемъ, однако, новое общество вскорѣ получило такое развитіе и приняло такое направленіе, какихъ, конечно, не предвидѣлъ и не могъ желать самъ надзиратель. Въ первые дни все ограничивалось устными разсказами собиравшихся въ кружокъ лицейстовъ, слушавшихъ особенно охотно Дельвига. Въ молодомъ баронѣ точно было два отдѣльных существа: обязательныя занятія были для него мукой; онъ по-



стоянно просыпалъ первый урокъ, засыпалъ даже во время класса; въ играхъ товарищей никогда не участвовалъ,—словомъ, былъ олицетвореніемъ неподвижности и лѣни; а между тѣмъ, давъ разъ волю своей фантазіи, онъ увлекался дотого, что могъ, какъ никто другой, сочинить самую замысловатую, таинственную исторію и, въ концѣ-концовъ, распутать всѣ узлы и узелки ея такъ искусно, что любо-дорого было слушать. Помѣряться съ нимъ по этой части могъ развѣ одинъ Пушкинъ; но рассказы послѣдняго, напротивъ, поражали своею классическою простотою и естественностью. Такъ, лицеистамъ тогда же довелось услышать отъ него два разсказа «Мятель» и «Выстрѣлъ», которые, только 20 лѣтъ спустя, сдѣлались достояніемъ всей читающей публики, въ числѣ такъ называемыхъ «Повѣстей Бѣлкина».

Для разнообразія, устраивалась мальчиками иногда и общая литературная игра, не мало ихъ забавлявшая и состоявшая въ томъ, что каждый изъ нихъ долженъ былъ, поочереди, продолжать вымышленную исторію съ того мѣста, гдѣ оборвалъ ее его предшественникъ. Само собою разумѣется, что выходившіе изъ этой литературной кухни блины были недоквашены, недопечены или перепечены, но самимъ поварамъ они приходились какъ нельзя болѣе по вкусу, подобно тѣмъ незатѣйливымъ блинчикамъ, что мѣсятъ и пекутъ на своей игрушечной кухнѣ маленькія дѣти, изъ полученныхъ отъ матери горсточекъ муки, сахара и коринокъ.

Наконецъ, въ первыхъ числахъ декабря того-же 1811 года, приступили и къ письменнымъ опытамъ. Начало было сдѣлано Илличевскимъ, представившимъ на судъ товарищей стихотвореніе свое: «Сила времени».

Авторъ не мало надъ нимъ потрудился, и оно, дѣйстви-  
тельно, вышло настолько удачно, что невзыскатель-  
ными судьями было признано единогласно пре-  
восходнымъ.

— Хоть сейчасъ въ печать! говорили они.—Что бы  
тебѣ, Илличевскій, въ самомъ дѣлѣ, въ какой-нибудь  
журналъ послать?

— Идея, господа! воскликнулъ тутъ Корсаковъ,  
ближайшій другъ Илличевского, ради компаніи съ ко-  
торымъ онъ также просидѣлъ намеренно въ карцерѣ.—  
Да отчего бы и намъ самимъ не издавать журнала?  
Первою статьею такъ и помѣстили бы «Силу времени»  
Олосеньки (Олосенькой называли лицеисты Илли-  
чевскаго, вмѣсто Алексѣй).

Отъ маленькаго и тщедушнаго, застѣнчиваго и не-  
разговорчиваго Корсакова, необращавшаго на себя до  
сихъ поръ ничьего вниманія, никто не ожидалъ такой  
прыти.

— И то, господа, покровительственно поддержалъ  
его польщенный Илличевскій:—идея вовсе не дурная.  
Только моихъ стиховъ, конечно, нечего ставить на пер-  
вый планъ. Скорѣе рассказъ Дельвига о его воен-  
ныхъ похожденіяхъ.

— Ну, нѣтъ, братъ, не дожدهшься, лѣниво улыб-  
нулся въ отвѣтъ Дельвигъ:—писать для меня ка-  
торга.

— Голубчикъ, Тосенька, умоляю тебя! присталъ къ  
нему Корсаковъ, хватая его нервно за обѣ руки.—  
Вѣдь все ужъ у тебя въ головѣ; стоить тебѣ только  
взять перо...

— Легко сказать: взять перо! Возьмешь его,—такъ  
и води по бумагѣ, вырисовывай каждую букву, да

еще обдумывай каждую фразу, каждое выражение, чтобы слова лишняго не сказать. Нѣтъ, братцы, меня ужъ, сдѣлайте милость, увольте. Вотъ Пушкинъ—другое дѣло: за словомъ въ карманъ не полѣзетъ; ему и книги въ руки; онъ вамъ мигомъ накатаетъ исторію своего прадѣда, арапа Петра Великаго.

— Исторія арапа для меня слишкомъ дорога, чтобы писать ее какъ-нибудь, сплеча, отозвался Пушкинъ: — я храню ее для крупнаго романа, который, можетъ быть, и сочиню когда-нибудь, когда вырасту...

— И когда выростетъ и талантъ твой? досказалъ Дельвигъ.— Это, вѣрно, слишкомъ драгоцѣнная тѣма!

— Ахъ, ты, Господи! вздыхалъ Корсаковъ.— А я такъ ужъ радовался, что журналъ мой состоится... Ну, дай хоть свой «Выстрѣлъ» или «Мятель».

— Если успѣю, — съ удовольствіемъ.

— А я дамъ тебѣ лучшій кусочекъ изъ моей «Грозы С-тъ Ламберта», вызвался тутъ самъ Кюхельбекеръ.

— Ужъ если Виленька дастъ свой «лучшій кусочекъ», то дѣло въ шляпѣ! подтрунилъ зубоскалъ Гурьевъ.

— Не смѣй называть меня Виленькой! огрызнулся на него Кюхельбекеръ.— Я не разъ ужъ просилъ тебя...

— Экой чудакъ, право! Вѣдь мамаша твоя тебя такъ называетъ...

— То мамаша, а то ты!

— Да вѣдь вотъ другіе же за такія клички не обижаются: Илличевскій—за «Олосеньку», Дельвигъ—за «Тосеньку»...



— Ну, полноте, господа, перестаньте, прошу васъ! вмѣшался умоляющимъ тономъ Корсаковъ. — Твой вкладъ, Кюхельбекеръ, я съ благодарностью принимаю. А на васъ обоихъ, прибавилъ онъ, обращаясь къ Пушкину и Дельвигу, — я, положительно, рассчитываю.

Разсчета его они, однако, не оправдали. Какъ онъ ни торопилъ ихъ, наши лѣнивцы все отнѣкивались, а отложить выпускъ разъ задуманнаго изданія не позволяла Корсакову его издательская лихорадка. И вотъ, 11-е число того же декабря ознаменовалось выходомъ перваго лицейскаго рукописнаго журнала.

На заглавной страницѣ было выведено съ калиграфическими выкрутасами названіе журнала:

### **«В Ъ С Т Н И К Ъ».**

Подъ заголовкомъ, столь же старательно, но болѣе мелкимъ шрифтомъ, было изображено:

### **«издаваемый Николаемъ Корсаковымъ».**

По скромности Илличевского, его «Сила времени» такъ и не украсила первыхъ страницъ журнала; онѣ были отведены фельетону, посвященному разнымъ мелочамъ лицейскаго быта: штрафному билету, пари изъ-за булки, продѣлкамъ и ссорамъ Гурьева и т. п. За фельетономъ шелъ отдѣлъ, почему-то названный «Смѣсью», хотя онъ весь состоялъ изъ двухъ только стихотворныхъ пьесъ: вышеупомянутаго стихотворенія Илличевского и обѣщаннаго Кюхельбекеромъ «кусочка» перевода его «Грозы С-тъ Ламберта». Насколько вѣренъ и грамотенъ былъ этотъ переводъ, — можно судить уже по тому, что про-

фессоръ Кошанскій (которому, какъ первому вдохновителю лицейской Музы, былъ обязательно поднесенъ Корсаковскій «Вѣстникъ») впослѣдствіи не разъ прочитывалъ эти образцовыя въ своемъ родѣ вирши, чтобы указать, «какъ *не* слѣдуетъ писать».

Третій и послѣдній отдѣлъ перваго номера журнала составляли «Разныя извѣстія», гдѣ, между прочимъ, говорилось и о предложеніи надзирателя Мартына Степановича Урбановича-Пилецкаго учредить лицейское литературное общество.

Переходившій изъ рукъ въ руки, «Вѣстникъ» былъ только «предвѣстникомъ» дальнѣйшей журнальной дѣятельности лицеистовъ. Каждый, кому удалось связать мало-мальски складно пару фразъ, а тѣмъ болѣе—стиховъ, чаялъ теперь въ себѣ назрѣвающій талантъ и порывался если и не издавать также свой самостоятельный органъ, то хотя принести въ чужой журналъ свою посильную лепту. Изъ среды этихъ вновь народившихся литераторовъ выдвигались Илличевскій и Пушкинъ,—эти «лицейскіе Державинъ и Дмитріевъ», какъ величали ихъ съ какою-то благоговѣйною шутливостью ихъ собратья по перу. У того и другого были свои поклонники, которые сгруппировались около нихъ еще плотнѣе, когда, въ началѣ 1812 года, оба они также стали издавать журналы. Журналъ Илличевскаго получилъ названіе: «Для удовольствія и пользы», журналъ Пушкина—«Неопытное перо». Въ первомъ номерѣ своего журнала Пушкинъ помѣстилъ свое первое же стихотвореніе «Роза», положившее начало его литературной славѣ. Нечего и говорить, что самымъ вѣрнымъ сотрудникомъ его былъ баронъ Дельвигъ, который,

ради поддержки журнала, усиленно боролся съ одо-  
лѣвавшей его лѣнью. И Кюхельбекеръ тоже мечталъ-  
было принять участіе въ журналѣ, но Пушкинъ каж-  
дый разъ оказывалъ его поэтическіе порывы ключевой  
водой.

— Писалъ бы ты, Кюхля, лучше по-своему, по-  
нѣмецки, совѣтывалъ онъ ему.

— Да я такой же русскій, какъ и ты! обижался  
«Кюхля».—Я родился въ Россіи, здѣсь, въ Павловскѣ,  
гдѣ покойный отецъ мой былъ комендантомъ, и сердце  
въ груди у меня чисто русское...

— Да языкъ-то у тебя во рту нѣмецкій, сукон-  
ный. Право, братъ, послушайся меня: по-нѣмецки ты,  
можетъ быть, написалъ бы что-нибудь и дѣльное...

— У нѣмцевъ и безъ меня довольно своихъ поэ-  
товъ, а русскимъ и я принесу крупицу пользы.

— Но когда, спрашивается? Вѣдь если стихи твои—  
извини, братъ! — и принимаются въ наши лицейскіе  
журналы, то больше для потѣхи.

— А! вотъ какъ!.. Буду знать...

И, съ этой минуты, Пушкинъ лишился своего  
«потѣшнаго» сотрудника, который перекочевалъ въ  
лагерь болѣе снисходительнаго Илличевскаго. Но та-  
кая потеря ни мало не огорчила Пушкина, который  
въ Дельвигѣ нашелъ и самаго преданнаго друга, и  
усерднаго сотрудника.

Поэтъ, по понятіямъ того времени, долженъ былъ  
быть сколь возможно лѣнивъ и безпеченъ. Этими  
двумя отрицательными качествами оба друга наши об-  
ладали вполнѣ. Разница между ними была только въ  
томъ, что Дельвигъ, считавшійся однимъ изъ послѣд-  
нихъ учениковъ въ классѣ, и за стихи принимался



нехотя и вяло, тогда какъ Пушкинъ, по необычайной своей даровитости, на урокахъ схватывалъ все на-лету и опережалъ болѣе прилежныхъ товарищей; въ писаніи же стиховъ выказывалъ замѣчательную усидчивость: отдѣлывалъ, оттачивалъ, какъ токарь, каждый стишокъ, пока не оставался совершенно доволенъ имъ.

— Въ тебѣ нѣмецкая кровь прабабки твоей фонъ-Шебергъ, замѣчалъ Дельвигъ.—Во мнѣ же кровь эта вся выдохлась: осталась одна родная, святая славянская лѣнь.

И, точно, своею «святою» лѣнью онъ какъ-бы даже гордился, рисовался, неоднократно воспѣвалъ ее, и еще въ лицѣ написалъ себѣ такую надгробную надпись:

„Прохожій! здѣсь лежитъ философъ-человѣкъ:  
Онъ прѣспалъ цѣлый вѣкъ.“

Пушкинъ хотя такъ-же тяготился связывающимъ, обязательнымъ трудомъ, но не «просыпалъ» своего вѣка: былъ игривъ и пылокъ, а насидѣвшись въ классѣ, набѣгавшись до-упаду съ прочими шалунами, охотнѣе всего искалъ отдохновенія въ бесѣдѣ съ спокойнымъ и разсудительнымъ Дельвигомъ, который, въ свободныя часы, лежалъ обыкновенно у себя въ камерѣ на кровати съ книжкой или же, просто, дремалъ. Но оба они были мечтатели, ярые поклонники классической поэзіи и миѳологіи, и располагали по-этому неистощимой тѣмой для дружескихъ изліяній; по разнородности же своихъ темпераментовъ, они какъ-бы дополняли одинъ другого и, по-этому, безотчетно все сильнѣе тяготѣли другъ къ другу.

А тутъ подошла и весна—эта лучшая союзница

всѣхъ сочувственныхъ душъ. Въ то самое время, какъ прочіе товарищи, рѣзвясь, бѣгали взапуски по оголеннымъ аллеямъ дворцоваго парка, по его топкимъ полянкамъ, покрытымъ еще кой-гдѣ тонкой пеленой обледенѣвшаго снѣга, — Дельвигъ бралъ подъ-руку Пушкина, порывавшагося бѣжать вслѣдъ за товарищами, и насильно усаживалъ его рядомъ съ собой на скамейку.

— Ну, посидимъ тутъ! Охота тебѣ бѣгать! Вишь, какъ славно солнышко уже грѣетъ!

И, молча, нѣжились они вдвоемъ подъ первыми теплыми лучами весенняго солнца, вдыхали полною грудью слегка нагрѣтый, но еще свѣжій воздухъ, пропитанный запахомъ оттаивающей земли и прошлогоднихъ листьевъ.

— Слышишь, какъ журчитъ гдѣ-то? говорилъ, бывало, разслабленнымъ отъ блаженства голосомъ Дельвигъ, щурясь сквозь темныя очки и не шевелясь съ мѣста. — Это мать-земля просыпается и въ полуснѣ лепечетъ.

А живчикъ Пушкинъ съ любопытствомъ всматривался въ ту сторону, откуда доносилось мелодичное журчанье снѣгового ручья, и вдругъ замѣчалъ, какъ изъ-подъ прибитаго къ землѣ, полуистлѣвшаго листа начинается выглядывать острою зеленою иглой молоденькая травка.

— Смотри, Тося, смотри! въ безотчетномъ восторгѣ восклицалъ онъ: — я вижу, какъ трава растетъ...

— Ну, этого ты не увидишь, возражалъ болѣе хладнокровный Дельвигъ. — Вѣроятно, вѣтромъ какъ-нибудь листь немножко сдуло.

Пушкинъ въ досадѣ вскакивалъ на ноги.

— Да нѣтъ-же! Говорю тебѣ: на моихъ глазахъ сама травка свернула его въ сторону.

— Ну, ладно, не кипятись, садись, пожалуйста, соглашался миролюбивый другъ.

— Нѣтъ, смотри самъ...

— Я вѣдь близорукъ и вѣрю тебѣ на-слово.

А волшебница-весна все болѣе вступала въ свои права: одѣла уже оголенные вѣтви деревъ зеленымъ пухомъ, а тамъ и глянцовитою, густою листвою, вызвала изъ южныхъ странъ цѣлые хоры пернатыхъ пѣвчихъ. Сторожа-инвалиды, въ угоду ей, смели вездѣ опавшіе осенью листья. Песочныя дорожки живо побсохли. Въ нѣсколько дней, пустой, запущенный паркъ сдѣлался неузнаваемъ: пріубрался, принарядился, огласился птичьимъ гамомъ и свистомъ.

Не разъ друзья-поэты садились теперь у подножія памятника знаменитаго предка Пушкина—Наваринскаго героя Ивана Абрамовича Ганнибала, и Пушкинъ посвящалъ своего новаго друга во всѣ подробности своей семейной хроники. Но любимымъ мѣстомъ отдохновенія ихъ былъ полуостровокъ большаго пруда. Здѣсь, въ виду зеркальной водяной глади, отражавшей въ себѣ и береговую зелень, и молочныя облака въ вышинѣ, и длинношейныхъ красавцевъ-лебедей, гордо плававшихъ взадъ и впередъ,—они, растянувшись въ мягкой муравѣ, по часамъ зачитывались стихами русскихъ и французскихъ поэтовъ и обдумывали вмѣстѣ тѣмы для собственныхъ своихъ будущихъ твореній, изъ которыхъ бѣольшая часть, конечно, такъ и осталась ненаписанной. По временамъ только оба вздрогнутъ, бывало, когда какой-нибудь шальной лебедь пронзительно загогочетъ во все свое лебединое горло,



а вся стая лебедей тутъ-же подхватить его крикъ и стремительно понесется надъ стекляною гладью пруда, съ плескомъ разбивая ее взмахами своихъ широкихъ крыльевъ. Вздрогнуть они—и улыбнутся другъ другу; потомъ вдругъ, какъ по уговору, въ одинъ голосъ начнутъ декламировать элегію Батюшкова:

„Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ, ♦  
Есть радость на приморскомъ брегѣ...“

Товарищи-лицеисты, особенно въ первое время, немало подтрунивали надъ вновь объявленными друзьями, называя ихъ то діоскурами Касторомъ и Поллуксомъ, то Орестомъ и Пиладомъ, или сравнивая ихъ то съ Донъ-Кихотомъ и вѣрнымъ его оруженосцемъ Санхо-Пансой, то съ человѣкомъ и его неразлучною тѣнью, то съ нашею землею планетой и ея спутницей—луной. Сравненія эти, впрочемъ, были довольно мѣткі: Пушкинъ стоялъ всегда горой за своего молчаливаго оруженосца, за свою тѣнь и луну—Дельвига, превознося, даже преувеличивая талантъ его; Дельвигъ же, съ своей стороны, былъ самымъ пламеннымъ поклонникомъ нарождающагося генія своего рыцаря-властина, и искренно благоговѣлъ предъ каждою мыслью, предъ каждымъ стихомъ его.

А какъ-же относился къ «измѣнѣ» Пушкина Пушкинъ, этотъ первый его другъ лицейскій?

Тотъ словно и не замѣчалъ его измѣны, потому что, въ дѣйствительности, измѣны и не было. Новому другу, Дельвигу, Пушкинъ отвелъ въ своемъ сердцѣ только одинъ сокровенный уголокъ, маленькую поэтическую кумирню, куда не допускалъ уже ни одного непосвященнаго; всю-же остальную часть своего об-

ширнаго сердца онъ по-прежнему оставилъ открытою настежь для своего перваго друга, Пущина. И теперь, какъ въ былое время, между двумя жильцами сосѣднихъ №№, 13 и 14, часто происходилъ, на сонъ грядущій, откровенный обмѣнъ волновавшихъ ихъ мыслей и чувствъ по поводу разныхъ мелочныхъ обстоятельствъ лицейскаго быта; часто приходилось Пущину задушевною, дружескою рѣчью успокоить бурю, возбужденную въ черезчуръ пылкомъ и самолюбивомъ Пушкинѣ столкновеніями съ тѣмъ или другимъ изъ шалуновъ-товарищей.





## ГЛАВА XV.

### Война 1812 года.

#### ПЕРІОДЪ ПЕРВЫЙ.

„Вы помните: текла за ратью рать,  
Со старшими мы братьями прощались  
И въ сѣнь наукъ съ досадой возвращались,  
Завидуя тому, кто умирать  
Шелъ мимо насъ... И племена сразились.“

(Лицейская годовщина.)



Ничто, казалось, не могло нарушить идиллической тишины лицейской. И вдругъ — тишина эта огласилась призывными воинскими трубами и барабаннымъ боемъ, отдаленнымъ гуломъ орудій и стонами умирающихъ. Наступило лѣто рокового 1812 года.

Нѣкоторое время уже въ лицей проникли смутные слухи о разрывѣ между Императоромъ Александромъ I и Наполеономъ. Разъ, въ половинѣ іюня, лицейскій докторъ Пешель, который, какъ ходячая газета, раз-



носилъ акуратно каждый день по Царскому Селу самая свѣжія вѣсти обо всемъ, совершающемся на бѣломъ свѣтѣ, — ворвался впопыхахъ въ лицейскую столовую и разразился надъ обѣдавшими воспитанниками громоносною новостью:

— Ну, господа, поздравляю: каша заварилась!

Давно со страхомъ ожидавшіе этого извѣстія, лицеисты гурьбой обступили доктора.

— Война?

— Да, даже и безъ формальнаго объявленія! Наполеонъ, какъ ни въ чемъ не бывало, перешелъ нашу границу. Государь глубоко оскорбленъ и объявилъ, что до тѣхъ поръ не положитъ оружія, пока хоть одинъ французъ останется на Землѣ Русской.

Наслышавшись отъ профессора де-Будри восторженныхъ розказней о «безсмертныхъ» подвигахъ «новаго Цесаря» — Наполеона, лицеисты не иначе представляли себѣ его, какъ какимъ-то баснословнымъ героемъ, окруженнымъ сіяющимъ ореоломъ. Теперь же, когда грозовыя тучи, постоянно висѣвшія надъ Европой, надвинулись и на Россію, обаятельный образъ этого героя мгновенно померкъ и превратился въ какое-то страшное, многоголовое чудище, готовое пожрать и ихъ, вмѣстѣ съ другими. Ко времени прихода газетъ, лицейская библіотека была теперь биткомъ набита. На урокахъ у лицеистовъ съ профессорами только и разговоровъ было, что о войнѣ. Съ сдержаннымъ негодованіемъ передавали они другъ другу повторяющуюся изо дня въ день неутѣшительную вѣсть съ поля дѣйствій: что войска наши хотя и отбиваются геройски, но отступаютъ шагъ за шагомъ; что арміи нашей, доходившей едва до 250,000

человѣкъ, не по силамъ было опрокинуть полумилліонную армію прекрасно обученныхъ и избалованныхъ побѣдами французовъ; никто изъ нихъ не могъ этого понять, какъ не понимала того даже и бѣольшая часть взрослыхъ патріотовъ. Профессоръ-же Кошанскій, прочитывавшій обыкновенно во всеуслышаніе въ классѣ всѣ послѣднія реляціи нашего главнокомандующаго, военного министра Барклая-де-Толли, началъ вскорѣ открыто возмущаться:

— Истый Кунктаторъ! Проклятый нѣмецъ! рыба крови! ни капли патріотизма!

По примѣру его, понятно, стали громко роптать и лицеисты. Ободрялъ ихъ только молодцоватый видъ проходившихъ съ музыкой и пѣснями черезъ Царское Село солдатъ, особенно ополченцевъ — «жертвенниковъ» (какъ называлъ ихъ народъ), въ смурыхъ полукафтанахъ, съ золотымъ крестомъ на шапкѣ, съ ружьями, пиками и съ небритой бородой. Изъ-за рѣшетки лицейскаго сада мальчики восторженными криками привѣтствовали бравыхъ воиновъ; а когда среди этихъ загорѣлыхъ, запыленныхъ лицъ попадался еще какой-нибудь знакомый или даже родственникъ одного изъ лицеистовъ, то они гурьбой высыпали за рѣшетку на улицу и со слезами обнимали идущихъ почти на вѣрную смерть.

— Возьмите и насъ съ собой! восклицали они и, вздыхая, глядѣли имъ вслѣдъ.

Каждый день приносилъ вѣсти изъ арміи о чудесахъ храбрости нашихъ, отступающихъ противъ собственной воли, войскъ. Особенно-же сильное впечатлѣніе на лицеистовъ произвелъ подвигъ Раевскихъ. Командовавшій нашею 2-ю Западною арміею, князь

Багратіонъ, желая соединиться подъ Смоленскомъ съ 1-ю Западною арміей Барклая-де-Толли, поручилъ генералу Раевскому задержать на время авангардъ французовъ. Корпусъ Раевского состоялъ всего изъ 10,000 человѣкъ. Отбросивъ передовой отрядъ непріятеля на семь верстъ, Раевскій у деревни Салтановки наткнулся на 5 дивизій маршала Мортъе, въ 40,000 человѣкъ. Французы были защищены лѣсомъ и рѣкой; русскимъ же приходилось идти большою дорогою, совершенно открытой для непріятельскихъ выстрѣловъ. Не думая долго, Раевскій со всѣмъ своимъ штабомъ и съ двумя малолѣтними сыновьями—Александромъ, 16-ти лѣтъ, и Николаемъ, 11-ти, спѣшилъ, сталъ во главѣ передняго, Смоленскаго пѣхотнаго полка, взялъ за руки обоихъ сыновей и бросился впередъ съ крикомъ:

— За мной, ребята! Я и дѣти мои откроемъ вамъ путь!

Подъ градомъ пуль и картечи французскихъ батарей, солдаты ринулись за своимъ любимымъ командиромъ. Смерть острою косою врывалась въ ряды ихъ; но ряды смыкались и смѣло продолжали двигаться впередъ. Молоденькій подпрапорщикъ, ровесникъ и другъ старшаго изъ братьевъ Раевскихъ, со знаменемъ въ рукѣ, бѣжалъ впереди колонны.

— Дай мнѣ нести знамя! кричалъ вслѣдъ ему товарищъ.

— Я самъ сумѣю умереть! былъ отвѣтъ, и въ то-же мгновеніе, пораженный вражескою пулей въ самое сердце, знаменщикъ, не издавъ ни звука, упалъ ничкомъ на свое знамя. Александръ Раевскій мигомъ высвободилъ изъ-подъ убитаго друга знамя и, высоко поднявъ его, побѣждалъ далѣе съ крикомъ: «ура!»







Отецъ, держа за руку младшаго сына, обернулся къ солдатамъ:

— Въ штыки, ребята!

Съ неудержимымъ натискомъ солдаты ударили въ штыки; вражескія орудія смолкли, Мортые были отброшенъ—и задача выполнена: князь Багратіонъ могъ теперь соединиться съ Барклаемъ-де-Толли.

Самъ Раевскій-отецъ былъ контуженъ въ грудь; младшему же сыну его, Николаю, предательская пуля прорвала платье, не причинивъ ему, однако, никакого вреда.

— Знаешь ли, Коля, зачѣмъ я водилъ тебя съ собою въ дѣло? спросилъ его отецъ по окончаніи боя.

— Знаю, просто отвѣтилъ мальчикъ: зачѣмъ, чтобы намъ вмѣстѣ умереть.

Нашихъ лицейстовъ такое геройство воспламенило какъ порохъ. Пушкинъ волновался, конечно, не меньше другихъ. Думалъ ли онъ, что ему суждено подружиться въ послѣдствіи съ этимъ маленькимъ героемъ, Николаемъ Раевскимъ, что онъ посвятитъ ему даже свою поэму «Кавказскій плѣнникъ»?

Теперь же, подобно товарищамъ, онъ только завидовалъ и жаловался на свою судьбу:

— Другіе умираютъ, а мы тутъ сиди себѣ, сложа руки! Не пустятъ по доброй волѣ, такъ вырвемся силой!

Директору и профессорамъ стоило немалого труда умѣрить ихъ пылъ обѣщаніемъ, что, въ случаѣ крайности, будетъ испрошено разрѣшеніе министра образовывать изъ нихъ особый легіонъ добровольцевъ. И вотъ, казалось, начальство намѣрено было сдержать свое обѣщаніе; лицейскій дядька-портной Малыгинъ



принялся готовить для воспитанниковъ китайчатые тулупы на овечьемъ мѣху.

— Наконецъ-то! заликовали мальчуганы, и еще съ бѣлымъ жаромъ предались военнымъ играмъ, въ которыхъ званіемъ полководца, «генерала отъ инфантеріи», былъ ими единодушно пожалованъ Илличевскій. Но скоро имъ пришлось горько разочароваться. Оказалось, что ихъ снаряжали въ походъ не противъ, а отъ непріятеля, потому что въ Петербургѣ было получено приказаніе Государя: не медля вывезти оттуда всѣ присутственныя мѣста, учебныя заведенія, архивы, разныя драгоцѣнности и коллекціи Эрмитажа, даже конную статую Петра Великаго, что на Сенатской площади.

Кое-что, дѣйствительно, было вывезено. Но монументъ остался на своемъ мѣстѣ, благодаря вотъ какому любопытному случаю. Тогдашнему почтъ-директору Булгакову, не менѣе другихъ взбудораженному грозившею столицѣ опасностью, приснился вдругъ вѣщій сонъ: будто за нимъ, за Булгаковымъ, скачетъ самъ Петръ на своемъ бронзовомъ конѣ; а когда навстрѣчу скачущему на Каменноостровскомъ проспектѣ попался Императоръ Александръ Павловичъ, Петръ съ коня возвѣстилъ ему:

— Великое бѣдствіе грозитъ тебѣ! Но за Петербургъ не бойся: я постою за него, и доколѣ я здѣсь—городъ мой безопасенъ.

Министръ народнаго просвѣщенія, князь Голицынъ, человѣкъ крайне религіозный и суевѣрный, услышавъ отъ Булгакова о дивномъ его снѣ, не посмѣлъ лишить столицу ея хранителя, и, вотъ, такимъ-то образомъ, монументъ не тронули. Впослѣдствіи, Пушкинъ на эту

тѣму написалъ одну изъ лучшихъ своихъ поэмъ: «Мѣд-  
ный Всадникъ» \*).

На самомъ дѣлѣ, Петербургъ спасся отъ непрі-  
тельскаго нашествія только благодаря графу Витген-  
штейну. Направивъ главныя свои силы противъ на-  
шихъ двухъ Западныхъ армій и преслѣдуя ихъ до  
Москвы, Наполеонъ поручилъ маршалу Удинѣ идти  
на Невскую столицу. Но Витгенштейнъ, имѣя въ  
своемъ распоряженіи всего одинъ корпусъ войскъ,  
въ теченіе трехъ недѣль (съ 17-го іюля по 10-е  
августа) задерживалъ три корпуса Удинѣ, и нанесъ  
ему при этомъ такой уронъ, что императоръ фран-  
цузовъ былъ вынужденъ отказаться отъ своего за-  
мысла—взять Петербургъ—и отозвалъ маршала. Вит-  
генштейнъ же сдѣлался кумиромъ петербуржцевъ, а  
вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, и царскосельской лицей-

\*) Герой поэмы, Евгенийъ, обезумѣвъ отъ горя, что любимая имъ  
дѣвушка погибла во время петербургскаго наводненія 1824 года, вы-  
ходитъ ночью на Петровскую площадь:

...„Въ темной вышинѣ,  
Надъ огражденною скалою,  
Гигантъ съ простертою рукою  
Сидѣлъ на бронзовомъ конѣ...  
Ужасенъ онъ въ окрестной  
мглѣ!

Какая дума на челѣ!  
Какая сила въ немъ сокрыта!  
А въ семъ конѣ какой огонь!  
Куда ты скачешь, гордый конь,  
И гдѣ опустишь ты коныта?...“

„Безумецъ бѣдный обошелъ  
Кругомъ скалы съ тоскою  
дикой

И надписъ яркую прочелъ,  
И сердце скорбію великой  
Стѣснилось въ немъ...“

...„Но вдругъ стремглавъ

Бѣжать пустился. Показалось  
Ему, что грознаго царя,  
Мгновенно гнѣвомъ возгоря,  
Лицо тихонько обращалось...

И онъ по площади пустой  
Бѣжить и слышитъ за собой  
Какъ-будто грома грохотанье,  
Тяжело-звонкое скаканье

По потрясенной мостовой—  
И, озаренъ луною блѣдной,

Простерши руку въ вышинѣ,  
За нимъ несется Всадникъ Мѣдный

На звонко-скачущемъ конѣ;  
И во всю ночь безумецъ бѣдный,

Куда стопы ни обращалъ,  
За нимъ повсюду Всадникъ Мѣд-

ный

Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ.“

ской молодежи, которая, подобно другимъ, съ энтузіазмомъ распѣвала во славу Витгенштейна пѣсню, оканчивавшуюся словами:

„Хвала, хвала тебѣ, герой,  
Что градъ Петровъ спасенъ тобой!“

Тѣмъ временемъ, дѣла нашей главной арміи приняли дурной оборотъ. Между двумя начальниками ея, Барклаемъ-де-Толли и княземъ Багратиономъ, возникли серьезныя несогласія, отзывавшіяся на самомъ ходѣ военныхъ дѣйствій. И войско, и вся страна стали уже громко роптать противъ хладнокровнаго, осторожнаго Барклая, сдерживавшаго черезчуръ горячаго Багратиона:

— Долой этого нѣмца! Дайте намъ русскаго полководца!

И Государь внялъ голосу своего народа: 8-го августа, славный сподвижникъ Суворова, Кутузовъ, возведенный за нѣсколько дней передъ тѣмъ въ званіе свѣтлѣйшаго князя, былъ назначенъ главнокомандующимъ, вмѣсто Барклая. 11-го августа, когда онъ проѣзжалъ черезъ Царское Село въ армію, лицеисты имѣли счастье увидѣть его лично. Старчески-тучный, съ прострѣленнымъ въ Турецкой войнѣ глазомъ, Кутузовъ милостиво кивалъ головой направо и налево толпившимся по обѣимъ сторонамъ дороги горожанамъ и крестьянамъ, прикладывая руку къ своей бѣлой кавалергардской фуражкѣ. Но вотъ экипажъ его долженъ былъ остановиться: подошло духовенство съ иконами, затѣмъ городскіе жители съ хлѣбомъ-солью. Народъ хлынулъ со всѣхъ сторонъ къ коляскѣ съ криками:



— Спаси насъ! побей супостата!

Когда же кучеръ хотѣлъ тронуться далѣе, толпа выпрягла лошадей и повезла экипажъ на себѣ.

— Ура! ура! ура! гремѣло безъ умолку. Плачущія женщины, съ дѣтьми на рукахъ, бѣжали за народомъ. Старики падали на-земь и цѣловали слѣды колесъ удаляющагося экипажа.

Нѣсколько дней спустя, лицеисты прочли въ газетахъ, съ какимъ восторгомъ армія встрѣтила новаго главнокомандующаго.

«— Пріѣхалъ Кутузовъ бить французовъ!» говорили солдаты, которыхъ особенно поразило слѣдующее необычное знаменіе: когда старый полководецъ сталъ объѣзжать лагерь, надъ нимъ внезапно, откуда ни возмись, взвился, какъ-бы предвѣстникомъ будущихъ его побѣдъ, громадный орелъ. Кутузовъ обнажилъ голову, а весь лагерь огласился нескончаемымъ «ура!»

Старикъ-поэтъ Державинъ написалъ тотчасъ же по этому поводу стихотвореніе «На пареніе орла», которое Кошанскій не преминулъ прочесть въ классѣ лицеистамъ.

Надежды, возлагавшіяся всею Россіей на князя Кутузова, оправдались. Съ войскомъ въ 113 тысячъ, онъ сразился подъ Бородинымъ (въ 112-ти верстахъ отъ Москвы) съ 170 тысячами французовъ. Самъ Наполеонъ признавался потомъ, что такого презрѣнія къ смерти, какое выказали русскіе въ этомъ небывало-кровопролитномъ дѣлѣ, онъ еще не встрѣчалъ. До тѣхъ поръ ни одно сраженіе у него не длилось долѣе 2-хъ—3-хъ часовъ, послѣ чего непріятель всегда бѣжалъ съ поля битвы въ полномъ безпорядкѣ. При Бородинѣ же, несмотря на численное превосходство

французовъ, бой затянулся съ ранняго утра до поздняго вечера, и ни съ одной позиціи русскіе не были сбиты. Каждая изъ сторонъ приписывала побѣду себѣ. Въ дѣйствительности же оба войска прекратили бой потому, что совершенно обезсилѣли: какъ у насъ, такъ и у французовъ, выбыло изъ строя по 60 тысячъ человѣкъ. Мы, стало быть, потеряли половину, а французы третью часть арміи; но побѣду все-таки слѣдуетъ признать за нами—побѣду нравственную, потому что, устоявъ на этотъ разъ противъ грознаго, непобѣдимаго дотолѣ завоевателя, русское войско перестало его бояться; французы же утратили вѣру въ свою непобѣдимость.

Въ Царскомъ Селѣ извѣстіе о Бородинской битвѣ было получено двумя часами ранѣе, чѣмъ въ Петербургѣ, такъ-какъ записной лицейскій вѣстникъ, докторъ Пешель, успѣлъ перехватить драгоцѣнную вѣсточку у мчавшагося мимо курьера.

Нечего и говорить, что лицеисты были опять первыми, которыхъ онъ обрадовалъ этою новостью.

— Французы на-голову разбиты! Ай-да Кутузовъ! кричали другъ другу мальчики, бѣгая въ припрыжку по всему зданію лицея и на бѣгу обнимаясь и цѣлуясь.





## ГЛАВА XVI.

### Гувернеръ-театралъ.

„Конюшій дряхлаго Пегаса,  
Служитель старенькій Парнаса...“

(Моему Аристарху.)

„...О, бѣдность, бѣдность!  
Какъ унижаетъ сердца намъ она!“

(Скупой рыцарь.)

**В**ѣсть о Бородинской побѣдѣ пришла какъ нельзя болѣе кстати: въ самый день Царскихъ именинъ, 30-го августа; и когда вечеромъ этого дня Государь (возвратившійся, между тѣмъ, изъ арміи въ Петербургъ) посѣтилъ Александринскій театръ, ликованію публики, сверху донизу наполнявшей театральную залу, не было конца. И самая пьеса, которая давалась въ этотъ вечеръ: «Ополченіе», Висковатова, точно была приноровлена къ чрезвычайному случаю. Главную роль — старика-инвалида временъ Румянцева и Суворова — игралъ извѣстнѣйшій въ то время актеръ Дмитревскій. Когда онъ снялъ съ груди своей двойной рядъ медалей и крестовъ со сло-



вами: «Что дано мнѣ за старую службу, то отдаю для новой службы за отечество», и затѣмъ сталъ благословлять своего внука на войну, — Государь не могъ удержаться отъ слезъ, и весь театръ заплакалъ вмѣстѣ съ нимъ.

Въ тотъ-же вечеръ, та-же пьеса «Ополченіе» давалась и въ царскосельскомъ лицѣѣ. Хотя играли одни лицеисты, но они были настолько подготовлены своимъ режиссеромъ, внукомъ того-же знаменитаго Дмитревскаго, что пьеса, нѣтъ сомнѣнія, имѣла-бы полный успѣхъ, если бы... если бы не непредвидѣнный случай, внезапно прервавшій представленіе въ самомъ разгарѣ. Но прежде чѣмъ рассказать этотъ злосчастный случай, мы должны познакомить читателей съ личностью виновника какъ самаго спектакля, такъ и его провала.

Этотъ внукъ Дмитревскаго былъ ни кто иной, какъ одинъ изъ лицейскихъ гувернеровъ, Иконниковъ, лѣтами еще не старый, но крайне болѣзненный, нервный и рѣдкій чудакъ. Сверхъ того, онъ не въ мѣру вѣрилъ въ цѣлебныя свойства «гофманскихъ капель», которыя, по его словамъ, только и поддерживали его разстроенный житейскими невзгодами организмъ, но которыя, понятно, еще болѣе возбуждали общее ненормальное состояніе его духа. Недостатки эти, однако, значительно искупались его душевной добротой и тлѣвшимся въ немъ священнымъ огнемъ: онъ пописывалъ и стихи, и драматическія пьесы, и не менѣе, быть можетъ, самого профессора Кошанскаго способствовалъ очищенію литературнаго вкуса поэтовъ-лицейстовъ, съ доброжелательною откровенностью критикуя ихъ скороспѣлыя произведенія.

— Это у васъ, батенька, просто-таки глупо, а это вотъ низко и отнюдь не достойно воспѣванія, объявлялъ онъ, не обинуясь, каждому въ лицо.

Зато мало-мальски сносные стихи онъ хвалилъ такъ-же чистосердечно, а за всякій особенно звучный стихъ, особенно удачное сравненіе, съ умиленіемъ заключалъ юнаго автора въ объятія и производилъ его чуть не въ геніи.

Хотя лицеисты исподтишка и подсмѣивались надъ его эксцентричными выходками и чрезмѣрною чувствительностью, но въ то-же время жалѣли его, любили за прямоту и мягкость, какъ больного старшаго брата, и охотно навѣщали чудака въ его убогой комнаткѣ, расположенной въ томъ-же коридорѣ, какъ и ихъ собственныя камеры.

Недѣли за три до 30-го августа, наиболѣе излюбленные Иконниковымъ мальчуганы (Илличевскій, Пушкинъ, Пущинъ, Горчаковъ и еще человѣка два-три) были приглашены имъ къ себѣ на особое совѣщаніе. Молча принявъ гостей, онъ торжественнымъ движеніемъ руки предложилъ имъ усѣсться, а самъ зашагалъ по комнатѣ.

Молоденькіе гости, не смѣя прервать его размышленій, слѣдили за нимъ глазами и тихонько перешептывались. Сухопарый и длинный, какъ жердь, съ развѣвающимися около тоненькихъ пѣтушиныхъ ногъ лапами сюртука, съ обмотаннымъ вокругъ шеи чернымъ шарфомъ, съ беспорядочно-всклокоченными волосами, блѣднымъ, впалымъ лицомъ и лихорадочно-вспыхивающимъ взоромъ, — Иконниковъ, ни дать, ни взять, напоминалъ какого-то средневѣковаго звѣздочета или алхимика, погруженнаго всецѣло въ таинства

своей науки и забывшаго окружающій его міръ. Хожденіе его длилось, однако, слишкомъ долго, такъ что одинъ изъ мальчиковъ рѣшился наконецъ громко напомнить хозяину объ ихъ присутствіи:

— Александръ Николаичъ! а, Александръ Николаичъ!

Тотъ остановился, какъ вкопанный, и дико оглядѣлся кругомъ.

— А? что? кто это звалъ меня?

— Мы всѣ ждемъ, зачѣмъ вы насъ созвали.

— Я созвалъ? Вотъ вздоръ! галиматья!

Лицеисты, уже не стѣсняясь, захихикали.

— Да вы никакъ ослѣпли, Александръ Николаевичъ,—не видите насъ?

Онъ усиленно похлопалъ глазами, и, въ самомъ дѣлѣ, теперь только, казалось, сталъ различать отдѣльные лица. Мрачныя черты его, какъ облитыя внезапно—выглянувшимъ солнцемъ, разомъ прояснились, судорожно—сжатые губы расплылись въ умильную улыбку.

— И то, други мои, словно слѣпота нашла. Это со мной бываетъ. Разбитый человѣкъ—не взыщите. А гдѣ же моя табакерка?

Комната огласилась еще пущимъ смѣхомъ:

— Да вонъ она,—у васъ въ рукахъ.

И точно, служившую ему табакеркой коробку изъ-подъ конфектъ онъ все время держалъ въ конвульсивно—сжатыхъ пальцахъ. Добродушно улыбнувшись своей разсѣянности, онъ высыпалъ изъ коробки въ кулакъ здоровую понюшку табаку и, прямо изъ кулака, съ видимымъ наслажденіемъ втянулъ его въ носъ.

— А! теперь совсѣмъ прозрѣлъ. Вы, я вижу, го-



рите нетерпѣніемъ узнать, въ чемъ дѣло. Не буду томить васъ. Угодно вамъ въ царскій день, 30-го числа, сыграть подобающую комедь? Да или нѣтъ?

— Да! былъ единодушный, восторженный отвѣтъ.

— Если такъ, то приступимъ, не медля, къ выбору пьесы.

Мальчики, горячася и перебивая другъ друга, предлагали каждый то, что случилось самимъ имъ читать или видѣть. Иконниковъ стоялъ передъ ними, широко разставивъ ноги, и терпѣливо слушалъ, переводя глаза съ одного на другого; потомъ, убѣдившись, что толку не будетъ, мановеніемъ руки прекратилъ дальнѣйшія пререканія.

— Минутку вниманія, други мои, сказалъ онъ.— Есть въ нашемъ драматическомъ репертуарѣ, какъ въ царскомъ вѣнцѣ, единый крупный алмазъ, — Озеровскій «Эдипъ въ Аѳинахъ». Какъ сейчасъ помню великаго дѣда моего Дмитревскаго въ коронной роли...

И, перекинувъ правою рукою воображаемую тогу черезъ лѣвое плечо, взъерошивъ волосы на макушкѣ, гувернеръ-театраль съ мольбой протянулъ впередъ обѣ ладони и задекламировалъ:

„Зри руки ты мои, прощеньемъ утомленны,  
Ты зри главу мою, лишенную волосъ!  
Ихъ изсушила скорбь и вѣтеръ ихъ разнесъ.“

Говорилъ онъ съ такимъ неподдѣльнымъ чувствомъ, съ такимъ увлекательнымъ паѳосомъ, унаслѣдованнымъ, видно, отъ дѣда-актера, что юнымъ слушателямъ, въ самомъ дѣлѣ, сдавалось, будто волосы на «главѣ» его шевелятся отъ вѣтра. Всѣ дружно захлопали въ ладоши:

— Браво! Браво!

— Вы-то, Александръ Николаичъ, понятно, въ грязь лицомъ не ударите, сыграете Эдипа на-славу, замѣтилъ въ минорномъ тонѣ Илличевскій.—Но гдѣ же намъ, прочимъ, за вами угоняться? Кому исполнить, напримѣръ, роль Антигоны?

— Антигоны? переспросилъ Александръ Николаичъ и отчески положилъ руку свою на голову милovidнаго Горчакова: — такой смазливой Антигонушки, какъ нашъ красавчикъ князь, на двадцать верстъ кругомъ съ фонаремъ не сыскать.

Горчаковъ зардѣлся какъ маковъ цвѣтъ и оторопѣлъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, Александръ Николаичъ... я не буду играть...

— Какъ есть красная дѣвица! еще краше сталъ, какъ зарумянился! Таковую-то намъ и нужно.

— Нѣтъ, прошу васъ, увольте... бормоталъ маленький князь.

— Онъ боится, что замужъ сейчасъ выдадимъ, подтрунилъ Пушкинъ.

Злая шутка возбудила взрывъ хохота, а Горчаковъ, со слезами на глазахъ, съ укоромъ взглянулъ на шутника и, молча, отвернулся.

— Какъ тебѣ, братъ, не стыдно? шепнулъ Пушкину Пущинъ, потомъ замѣтилъ вслухъ: — нѣтъ, право, Александръ Николаичъ, намъ «Эдипъ» не по силамъ. Мало-ли есть легонькихъ пьесъ...

— Напримѣръ, у Коцебу, вставилъ Илличевскій.

Иконниковъ, какъ отъ комара, отмахнулся рукой.

— Только съ коцебятиной этой отъ меня подальше! Это — профанация чистаго искусства.

Тутъ, совершенно неожиданно, подалъ голосъ оправившійся уже отъ обиды Горчаковъ:

— А почему бы намъ не выбрать, ради царскаго праздника, какую-нибудь патріотическую пьесу? Вѣдь вотъ, на Александринской сценѣ въ Петербургѣ, я слышалъ, ставится къ тому дню новая пьеса: «Ополченіе»...

Иконниковъ ударилъ себя по лбу.

— Экій вѣдь старый баранъ! Самъ же давеча думалъ объ этомъ, а теперь, вишь, изъ ума вонъ. Спасибо вамъ, милый вы мой, дорогой мой! Дозвольте въ головку поцѣловать...

И, въ порывѣ нѣжности, онъ взялъ въ обѣ руки голову князя, бережно приложился губами къ приглаженному пробору его золотисто-бѣлокурыхъ волосъ и затѣмъ прибавилъ:

— Завтра же, съ первыми пѣтухами, пѣшешествую въ Питеръ, чтобы списать пьесу.

(Кромѣ своего ограниченнаго гувернерскаго жалованья, уходившаго почти сполна на нюхательный табакъ, «гофманскія капли» и другія лѣкарства, Иконниковъ не имѣлъ никакихъ денежныхъ средствъ, и потому, когда ему нужно было побывать въ Петербургѣ, онъ почти всегда «пѣшешествовалъ», т. е. ходилъ пѣшкомъ туда и обратно.)

На этомъ пока и порѣшили. Пушкинъ, еще малымъ ребенкомъ игравшій «въ театръ» съ сестрицей своей Олей, словно былъ наэлектризованъ мыслью о предстоящемъ спектаклѣ, вьюномъ вился около гувернера-театрала и закидывалъ его вопросами: гдѣ да какъ устроится сцена, будутъ ли настоящія декорации, рампа, суфлерская будка, занавѣсъ.



— Много будете знать — скоро состаритесь, съ улыбкой отвѣтилъ Иконниковъ.— Если въ васъ, другъ мой, столько же сценическаго дара, сколько любительскаго огня, то изъ васъ выйдетъ первый нашъ лицедѣй. По поводу же вашихъ вопросовъ замѣчу только, что дѣло не въ обстановкѣ, а въ исполненіи. Для примѣра приведу то, что я видѣлъ своими глазами. Прошлымъ лѣтомъ мнѣ удалось, благодаря дѣду, подсмотрѣть нѣкій дѣтскій спектакль, что устроила у себя въ Павловскѣ Императрица Марія Ѳеодоровна: замѣсто всякихъ кулисъ служили трельяжи, увитые зеленью, а на заднемъ фонѣ, изъ-за зелени и цвѣтовъ, бѣлѣлъ бюстъ самой Государыни. И дивно вышло, я вамъ доложу! — такая прелесть, что пальчики расцѣлуешь! Отчего бы и намъ не сдѣлать что-нибудь въ томъ-же родѣ? И дешево, и сердито. Но какъ бы то ни было, а гостей на пищѣ святаго Антонія оставить едва ли будетъ удобно. Какъ вы полагаете, господа?

— Еще бы! разумѣется! согласились лицеисты.— Вѣдь и дамы, и дѣвицы будутъ?

— Надѣюсь. Разошлемъ, по крайней мѣрѣ, приглашительныя повѣстки всей здѣшной знати. Такъ вотъ, изволите видѣть, потребуются нѣкоторые расходы. Не учинить ли намъ для сей цѣли добровольную складчину?

Послѣднее предложеніе было принято точно такъ-же единодушно; только одинъ Пушкинъ промолчалъ и даже нахмурился. Когда же члены совѣщанія, радостно болтая, стали расходиться, онъ одинъ поплелся къ себѣ, повѣся носъ.

— Что это ты, будто въ воду опущенный? замѣ-

тилъ ему съ порога своей камеры другъ и сосѣдъ его Пущинъ.

Пушкинъ пробурчалъ только что-то непонятное и захлопнулъ за собою дверь.

Полчаса спустя, когда Пущинъ улегся уже въ постель и началъ читать на сонъ грядущій какой-то новый журналъ, до слуха его вдругъ донеслись изъ-за тонкой стѣнки сосѣдней камеры всхлипыванья и вздохи. Въ изумленіи онъ опустилъ книжку и сталъ прислушиваться. Не было сомнѣнія: Пушкинъ плакалъ навзрыдъ.

— О чемъ это, Пушкинъ? съ участіемъ спросилъ онъ.

Отвѣта не было, но всхлипыванья стали тише и глуше, какъ-будто рыдавшій уткнулся лицомъ въ подушку.

— Кто тебя опять обидѣлъ? не отставалъ съ своимъ допросомъ Пущинъ.

— Никто... замолчи, пожалуйста... услышатъ... донесся, наконецъ, раздраженный отвѣтъ.

— Ума не приложу! продолжалъ Пущинъ.—Только-что вѣдь радовался, какъ ребенокъ, что будешь «лицействовать», а теперь...

— А теперь не буду, ни за что не буду!

— Да почему же? Ага!—понимаю, все та-же исторія; тебѣ вѣдь изъ дому въ послѣдній разъ деньги прислали только къ Пасхѣ, и у тебя ужъ ни гроша для складчины не осталось?

— Можетъ быть...

— Не «можетъ быть», а навѣрное такъ. У меня самого кошелекъ теперь то же, какъ есть, пустыня Сахара. Придется попризаныть у кого-нибудь. Почему бы и тебѣ не занять?

— Нѣтъ, я и то ужъ долженъ тебѣ...

— Да Горчаковъ, напр., сколько угодно будетъ ждать; онъ всегда такъ радъ помочь...

— Нѣтъ, у Горчакова — то я ужъ ни за что ни гроша не возьму!

— Вотъ-те нѣ! Чтò онъ тебѣ сдѣлалъ?

— Ни-ни! Онъ на меня дуется.

— За что?

— За то, что я давеча хотѣлъ его замужъ выдать.

Пушинъ разсмѣялся.

— Пустяки! Ты, братъ, судишь по себѣ. Онъ добрейшій малый...

— А я злющій? Благодарю за комплиментъ!

— Да ужъ что грѣха таить: ты черезчуръ... не знаю, какъ деликатнѣе выразиться... не то гордъ, не то злопамятенъ...

— И прекрасно! и не связывайся тогда со мной!..

— Вотъ и обидѣлся опять!

— Ни слова больше! Не мѣшай мнѣ спать!

— И то правда, проспись, душа моя: утро вечера мудренѣе. А я — повѣрь моему дружескому слову — такъ ли, сякъ ли, а улажу дѣло.

На слѣдующее утро Пушинъ, дѣйствительно, «уладилъ» — было дѣло. Когда Пушкинъ явился къ Иконникову и объявилъ о своемъ рѣшеніи не участвовать въ спектаклѣ, то, къ великому удивленію своему, услышалъ, что за него внесена уже Пушинымъ довольно крупная сумма. Очевидно, тотъ занялъ ее для него! Повторивъ еще разъ свой отказъ, Пушкинъ побѣждалъ распушить своего коварнаго друга.

— Кто тебя поставилъ нянькой надо мной? на-



паль онъ на него: кто далъ тебѣ право вмѣшиваться въ мои дѣла?

— Дружба наша, съ сердечною искренностью отвѣчалъ Пущинъ.—Я занялъ у Горчакова лично для себя...

— Какъ? у Горчакова? закипятился еще пуще упрямецъ. — Послѣ того, какъ я тебѣ сказалъ, что отъ него-то именно и не приму никакого одолженія, ты насильно дѣлаешь меня его должникомъ! Такъ вотъ она какова, твоя дружба?

— Клянусь тебѣ, какъ передъ Богомъ, что я и не заикнулся о тебѣ. Я взялъ у него деньги только для себя, а ты ужъ бери ихъ у меня.

— А кто тебѣ сказалъ, что я у тебя возьму? Я и такъ по горло у тебя въ долгу, Пущинъ.

— О долгахъ между нами не можетъ быть и рѣчи: что мое—твое.

— Вотъ какъ! На твою долю, значитъ, долги, а на мою—деньги? И ты думаешь, я такъ и приму эту милостыню?..

— Ты ужасно упрямъ, Пушкинъ...

— Да, упрямъ! И ты могъ бы, кажется, это знать. Прежній долгъ мой тебѣ я при первыхъ же деньгахъ возвращу, а въ театрѣ все-таки не приму участія.

— Но почему?

— Потому что, разъ отказавшись, отъ слова своего ужъ не отступлю. Довольно, не мучь меня!

И точно, какъ Пушкина ни убѣждали послѣ того товарищи, онъ настоялъ-таки на своемъ: не принялъ никакого участія въ спектаклѣ.





## ГЛАВА XVII.

### Театральная горячка и роковой исходъ ея.

„Стремглавъ лечу, лечу, лечу,  
Куда—не помню и не знаю;  
Лишь встрѣчнымъ звѣздочкамъ кричу:  
„Правѣй!..“ и на-земь упадаю.“

(Гусарь.)

**П**риготовленія къ спектаклю, между тѣмъ, шли своимъ чередомъ. Директоръ Малиновскій тотчасъ же далъ свое согласіе на эту затѣю. Надзиратель Пилецкій замѣтилъ—было, что не мѣшало бы, на всякій случай, заручиться формальнымъ разрѣшеніемъ министра, который Богъ-вѣсть еще какъ взглянетъ на дѣло; но, всегда уступчивый, Василій Ѳедоровичъ на этотъ разъ коротко отвѣтилъ, что цѣль здѣсь вполнѣ оправдываетъ средства, и что всю отвѣтственность онъ беретъ на себя.

— Я умываю руки! отозвался Пилецкій, и былъ, какъ оказалось впослѣдствіи, правъ.

Гувернеръ-режиссеръ, какъ обѣщалъ, такъ и сдѣлалъ: на слѣдующее же утро прогулялся пѣшкомъ въ

Петербургъ и, безъ особенныхъ затрудненій, благодаря своему дѣду, актеру Дмитревскому, добылъ тамъ списокъ съ новой пьесы Висковатова: «Ополченіе». Вернувшись назадъ въ Царское, онъ, первымъ дѣломъ, прочиталъ вслухъ пьесу намѣченнымъ имъ актерамъ, затѣмъ, по взаимному соглашенію, распредѣлилъ между ними роли и, наконецъ, поручилъ каждому изъ нихъ списать себѣ свою роль. Но такъ-какъ пьеса эта не пополнила бы цѣлаго вечера, то послѣ нея должна была идти другая, собственнаго издѣлія Иконникова: «Роза безъ шиповъ», а для финала всѣ дѣйствующія лица должны были пропѣть его же сочиненія патріотическій гимнъ.

Все время, вплоть до 30-го августа, прошло у лицейстовъ въ лихорадочныхъ хлопотахъ. Съ утра до поздняго вечера, по лѣстницамъ, коридорамъ и переходамъ лицейскимъ шла непрерывная болтовня и бѣготня, носился запахъ столярнаго клея и масляныхъ красокъ, ежеминутно напоминавшій о готовящемся торжествѣ и поддерживавшій тѣмъ общее возвышенное настроеніе. Одною изъ труднѣйшихъ задачъ былъ вопросъ о приличной обстановкѣ пьесы. Но Иконниковъ, еще живо помня то отрадное впечатлѣніе, которое онъ вынесъ отъ безыскусственной обстановки видѣннаго имъ въ прошломъ году дѣтскаго спектакля въ Павловскомъ дворцѣ, разрубилъ однимъ взмахомъ Гордіевъ узелъ. Занавѣсъ, рампу, кулисы и все прочее должны были, просто-на-просто, замѣнить размалеванныя раздвижныя ширмы; а для костюмовъ самымъ удобнымъ и дешевымъ матеріаломъ могли служить казенныя шинели. Деревянные рамы для ширмъ сооружалъ въ своей коморкѣ лицейскій столяръ (онъ же одинъ



изъ сторожей-инвалидовъ), а расписываніе ширмъ красками было поручено записному живописцу—лицейсту Илличевскому, который, будучи не мало польщенъ такою честью, видимо щеголялъ своими перепачканными въ краскахъ руками и платьемъ. Все приспособленіе казенныхъ шинелей къ требовавшейся для первой пьесы ополченской формѣ заключалось въ томъ, что шинели были выворочены наизнанку и обшиты лицейскимъ портнымъ на живую нитку кумачемъ да фольгой. Неудивительно, что около этихъ трехъ мастеровъ всегда толпилась кучка зрителей-лицеистовъ. Самъ режиссеръ, въ сопровожденіи нѣсколькихъ приспѣшниковъ изъ нихъ же, то и дѣло бѣгалъ въ Гостинный дворъ за разными бутафорскими принадлежностями и распоряжался всѣми мелочами для предстоящаго празднества. Болѣе всего, однако, занимали всѣхъ ежедневныя репетиціи. Сколько было тутъ смѣху и шутокъ! Зато, подъ конецъ дня, расходясь по своимъ угламъ, каждый еле-волочилъ ноги и валялся на постель счастливый и довольный.

Единственнымъ исключеніемъ являлся Пушкинъ. Наскоро опорожнивъ свой стаканъ утренняго чаю, онъ убѣгалъ, съ книгою подъ мышкой, куда-нибудь подальше отъ общей кутерьмы, въ самую глушь парка. Изъ всѣхъ товарищей только Пущинъ понималъ его душевное состояніе и не докучалъ ему разспросами. Дельвигу и другимъ онъ отвѣчалъ одно:

— Какъ это у васъ самихъ хватаетъ терпѣнія заниматься такимъ ребячествомъ?

Наконецъ, наступилъ и день спектакля. Покончивъ съ генеральной репетиціей, молодые актеры, полные внутренней счастливой тревоги, усѣлись только-

что за обѣдъ, какъ докторъ Пешель ворвался къ нимъ съ вѣстью о Бородинской побѣдѣ. Какъ уже сказано выше, вѣсть эта была принята всѣми лицеистами съ особеннымъ энтузіазмомъ, актеровъ же такъ ободрила, что они нисколько не сомнѣвались теперь въ блестящемъ успѣхѣ вечерняго ихъ дебюта.

Третъ лицейскаго актоваго зала была отгорожена ширмами для сцены; остальное пространство было заставлено креслами и стульями. Сторы въ окнахъ были спущены, и безчисленныя восковыя свѣчи въ люстрахъ и канделябрахъ обливали своимъ свѣтомъ стекавшуюся сюда празднично-разряженную публику. За полчаса до назначеннаго для спектакля времени, всѣ рѣшительно мѣста были уже заняты. Неучаствовавшіе въ представленіи лицеисты и бѣольшая часть начальствующихъ лицъ слонялись около стѣнъ и колоннъ. Становилось жарко, какъ въ биткомъ-набитомъ ульѣ; отъ смѣшаннаго говора присутствующихъ въ воздухѣ слышалось неумолкаемое, словно пчелиное, жужжанье, а изъ-за размалеванныхъ ширмъ доносились звуки передвигаемой мебели и молодыхъ голосовъ, покрываемыхъ иногда густымъ, осиплымъ басомъ гувернера-режиссера.

Но вотъ шумъ на невидимой сценѣ умолкъ; раздался тонкій звонъ серебрянаго колокольчика — и ширмы раздвинулись. Дельвигъ, не игравшій ни въ одной изъ пьесъ, стоялъ, въ числѣ другихъ товарищей-зрителей, прислонясь къ противоположной стѣнѣ, и только теперь замѣтилъ, что Пушкина все еще нѣтъ съ ними. Утромъ онъ поздравилъ его съ днемъ ангела, и тотъ съ благодарностью, молча, пожалъ ему руку, а потомъ, по обыкновенію, ушелъ. Къ обѣду

онъ хотя и явился, но затѣмъ опять какъ въ воду канулъ.

Дельвигъ протѣснился къ выходной двери и отправился отыскивать отсутствующаго. Но напрасно обѣжалъ онъ все зданіе лица, окликаая друга-поэта: отклика не было; никто изъ дядекъ и сторожей также не видѣлъ пропавшаго, и Дельвигъ поневолѣ долженъ былъ бросить свои поиски. Когда онъ вернулся въ зрительную залу, половина первой пьесы была уже сыграна.

Вполнѣ понятная и простибельная робость юныхъ «лицедѣевъ» въ началѣ представленія вскорѣ уступила мѣсто одушевленной развязности. Недаромъ опытный режиссеръ заставлялъ каждого изъ нихъ на репетиціяхъ повторять по нѣскольку разъ наиболѣе бьющія въ глаза движенія, наиболѣе поражающія слухъ фразы. А Илличевскій, на котораго была возложена самая выдающаяся роль,—дѣда-ветерана, исполнялъ ее съ такимъ одушевленіемъ, что оживлялъ и другихъ исполнителей.

— Ай-да молодецъ-мужчина! хоть бы самому дѣду моему Дмитревскому подѣ-стать! похваливалъ его въ антрактѣ Иконниковъ, отъ удовольствія то и дѣло похлебывая изъ сткляночки свои «гофманскія капли». — За твое здоровье, голубчикъ! Поди сюда, почеломкаемся!

Болѣе другихъ актеровъ конфузился князь Горчаковъ, потому конечно также, что былъ въ женскомъ платьѣ. Но это какъ-разъ подходило къ его роли—молоденькой, застѣнчивой невѣсты; а хрустально-звучный альтъ, которымъ пропѣлъ онъ заключительный дуэтъ съ своимъ суженымъ, довершилъ производимое



имъ обаяніе и привлекъ ему окончательно симпатіи зрителей. Когда задвинулись опять ширмы и начались безконечные вызовы актеровъ, имя маленькаго князя выкрикивалось даже громче, чѣмъ имя славнаго Дмитревскаго-Илличевскаго, а расчувствовавшійся Иконниковъ заключилъ его такъ крѣпко въ свои объятія въ гардеробной, что бѣдняжка даже пискнулъ отъ боли.

Вызовы только тогда утихли, когда оберъ-провіантмейстеръ, Леонтій Кемерскій, съ своими официантами-сторожами, сталъ протискиваться между рядами стульевъ съ чайными подносами.

— А Пушкина все нѣтъ какъ нѣтъ! беспокоился Дельвигъ, и обратился къ проходившему мимо Леонтью:—не видалъ ли ты, братецъ, Пушкина?

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше благородіе. Я такъ смекаю, не съ ахтѣрами ли они? Да вонъ, спросите-ка всего лучше у Сазонова, а мнѣ, батюшка, ей-ей, некогда.

Сазоновъ былъ младшій изъ дядекъ, котораго представили къ ширмамъ, чтобы раздвигать и сдвигать ихъ. Въ эту минуту, безбородое лицо его съ клювообразнымъ, острымъ носомъ только-что промелькнуло изъ-за края одной ширмы. Дельвигъ пробрался кое-какъ за колоннами къ сценѣ и тихонько кликнулъ Сазонова. Птичій носъ снова высунулся оттуда.

— Чего изволите?

— Не видѣлъ ли ты Пушкина?

Сазоновъ только усмѣхнулся, покосился назадъ и подмигнулъ однимъ глазомъ.

— Такъ онъ тамъ, за тобой, что-ли?

Дядька молча поднесъ палецъ къ губамъ и скрылся за ширмой.

— Что бы это значило? недоумѣвалъ Дельвигъ: — къ чему эта таинственность?

А дѣло было въ томъ, что когда прекратились вызовы актеровъ, и тѣ удалились въ гардеробную, чтобы переѣнить костюмы для слѣдующей пьесы, Сазоновъ, перестанавливая придвинутый къ колоннѣ диванъ, увидалъ спрятавшагося за нимъ Пушкина. Въ первую минуту дядька разинулъ даже ротъ отъ удивленія, но, вслѣдъ затѣмъ, такъ и прыснулъ со смѣху и приложилъ съ комическою почтительностью два пальца къ правому виску:

— Здравія желаю, ваше благородіе! Хорошо ли все видѣли, слышали?

— Чш-ш-ш!.. пригрозилъ, вскакивая, Пушкинъ.

— Не выдавать, стало? Не выдадимъ-съ, не беспокойтесь. Только куда бы намъ вашу милость теперь схоронить? За диваномъ-то, вишь, какъ пыльно! Позвольте маленько спинку отряхнуть. А вотъ, сударь, пожалуйста сюда, за ширму; мы васъ еще стуломъ позадвинемъ: никто не запримѣтитъ.

Въ эту-то самую минуту заботливаго дядьку и окликнулъ Дельвигъ; но онъ скрылъ отъ него, гдѣ спрятался Пушкинъ.

Вторая пьеса—«Роза безъ шиповъ»—началась едва ли не удачнѣе еще первой. Но вдругъ, какъ на грѣхъ, у одного изъ лицеистовъ-актеровъ, Маслова, отъ внутренняго волненія, должно быть, пошла носомъ кровь, и онъ, прижавъ къ лицу платокъ, бросился опрометью со сцены. Прочіе исполнители дотога растерялись отъ такой неожиданности, что стали заикаться, сбиваться. Заправило-гувернеръ, зоркимъ окомъ наблюдавшій изъ-за дверей гардеробной за свои-

ми подчиненными, буркнулъ что-то, выскочилъ на сцену и продолжалъ роль сбѣжавшаго актера съ той самой фразы, на которой тотъ оборвалъ ее. Но, впопыхахъ и по обычайной своей разсѣянности, онъ не сообразилъ, что онъ ни гриммированъ, ни костюмированъ, и что поэтому не только публика, но и остальные актеры не догадаются, кого онъ изображаетъ. Послѣдніе совсѣмъ стали втупикъ и не пикнули уже ни слова; а такъ-какъ молчать значило—сразу провалить пьесу, то Иконниковъ продолжалъ говорить, все болѣе и болѣе увлекаясь своимъ собственнымъ неистощимымъ краснорѣчіемъ.

По зрительной залѣ пробѣжалъ сперва сдержанный шепотъ; но когда режиссеръ-актеръ уже высказалъ все содержаніе пьесы и загородилъ явный вздоръ,—тамъ и сямъ слышался веселый смѣхъ, а изъ заднихъ рядовъ раздалось чье-то довольно громкое ироническое замѣчаніе:

— Зарапортовался!

Это ужасное слово безповоротно рѣшило судьбу спектакля. Иконниковъ, до слуха котораго также донеслось это слово, не только не сконфузился, но даже произнесъ самоувѣреннымъ тономъ:

— Да-съ, государи и государыни мои, вѣрно-съ: зарапортовался! Но не забудьте прошу васъ: экспромтомъ-съ!

Затѣмъ, подбоченясь одной рукою, онъ другою взъерошилъ себѣ вихоръ на макушкѣ и окинулъ сидящую передъ нимъ посмѣивавшуюся толпу вызывающимъ взглядомъ. Неизвѣстно, чѣмъ бы еще разразился онъ, если бы спрятанный за сценой Пушкинъ не вмѣ-



шался въ дѣло. Выскочивъ изъ засады, онъ живо взялъ Иконникова подъ руку и насильно увелъ со сцены.

— Вы нездоровы, Александръ Николаичъ, пойдите! уговаривалъ онъ его и крикнулъ въ дверяхъ Сазонову: — задвигай ширмы!

Въ гардеробной бѣдный режиссеръ со стономъ повалился на стулъ. Пушкинъ поспѣшилъ налить ему стаканъ воды; тотъ выпилъ его залпомъ, и, задыхаясь, пропыхтѣлъ только:

— Еще...

Опорожнивъ и второй стаканъ, онъ молча протянулъ его опять Пушкину, и только послѣ третьяго стакана, едва переводя духъ, поднялъ на ухаживавшаго за нимъ мальчика полные слезъ глаза и заговорилъ совершенно упавшимъ голосомъ:

— Вотъ тебѣ и «Роза безъ шиповъ»! А шипъ-то въ самое сердце пронзилъ, убилъ наповалъ! Я, право кажется, помѣшаюсь...

— Вы, просто, нездоровы, Александръ Николаичъ...

— Нѣтъ, дружокъ, не то... Все, видно, эти проклятыя «гофманскія капли»... А гости-то наши — Боже праведный! чтò они подумаютъ? Вона, гамъ какой, хохотъ, скрежетъ зубовъ! Милый мой! Бѣгите, Христа ради, скажите имъ что нибудь, успокойте...

Пушкинъ побѣжалъ на сцену, выступилъ за ширмы, вѣжливо и ловко шаркнулъ ножкой и обратился въ волнующимся зрителямъ по-французски съ такими словами:

— Не взыщите, милостивые государины и государи, за невольный перерывъ: у одного изъ нашихъ актеровъ, Маслова, пошла носомъ кровь; режиссеръ нашъ хотѣлъ-было его замѣстить, но вдругъ почувствовалъ







себя дурно. Такимъ образомъ, къ крайнему нашему прискорбію, пьеса эта не можетъ быть доиграна. Третья же и послѣдняя часть программы—хоровое пѣніе,—во всякомъ случаѣ, будетъ исполнена.

Отвѣсивъ опять глубокій поклонъ, онъ отретировался за ширмы. Находчивость мальчика и его бойкая французская рѣчь вызвали дружныя рукоплесканія. Еще болѣе сгладилось дурное впечатлѣніе, когда лицейскіе офиціанты начали разносить новое угощеніе—фрукты и «студенческій овесъ» («Studentenhafer»), т. е. миндаль и изюмъ, чтобы заткнуть поскорѣе крикливыя глотки. Когда же опять раздвинулись ширмы и хоръ молодыхъ актеровъ, уже въ своей лицейской формѣ, согласно пропѣлъ финальный гимнъ,—слушатели, повидимому, окончательно примирились со спектаклемъ и, какъ послѣ первой пьесы, стали громко вызывать всѣхъ исполнителей.

— Дирижера! крикнулъ насмѣшливо чей-то голосъ.

Но голосъ этотъ не нашелъ отклика. Да злосчастнаго дирижера и не докликались бы. Онъ сидѣлъ все на томъ-же стулѣ въ гардеробной и, припавъ головой къ столу, рыдалъ, какъ малое дитя. Напрасно старались успокоить страдальца обступившіе его актеры.

— И таковъ-то конецъ моего любимаго духовнаго дѣтища, моей коронной пьесы! не слушая ихъ, причитывалъ злополучный авторъ «Розы безъ шиповъ». — Погибъ, какъ есть, погибъ.

Онъ говорилъ о гибели своей авторской славы. Но его ожидала и другая гибель — служебная. Министръ, графъ Разумовскій, до котораго вскорѣ дошелъ слухъ о неудачномъ исходѣ лицейскаго театра, строго-на-строго воспретилъ на будущее время всякія подоб-

ныя зрѣлища, а виновнику всей бѣды, гувернеру-режиссеру, приказалъ немедленно подать въ отставку.

Прощаніе лицеистовъ съ чудакомъ-гувернеромъ, котораго они полюбили какъ своего брата-лицеиста, было самое задушевное. Самъ Иконниковъ, впрочемъ, былъ еще болѣе ихъ растроганъ. Въ знакъ неизмѣнной памяти и любви къ нимъ, онъ оставилъ имъ цѣлый пукъ своихъ собственныхъ стиховъ и театральныхъ піесъ для лицейскихъ журналовъ, и просилъ только, какъ милости, — принять его въ число постоянныхъ ихъ сотрудниковъ-корреспондентовъ.





## ГЛАВА XVIII.

### Война 1812 года.

#### ВТОРОЙ ПЕРІОДЪ.

„Пылай, великая Москва!  
Благослови Москву, Россія!“  
(Наполеонъ.)

„О, поле, поле! кто тебя  
Усѣялъ мертвыми костями?“  
(Русланъ и Людмила.)

**В**слѣдъ за окончаніемъ Бородинской битвы, когда не успѣли еще опредѣлить потери нашей арміи, главнокомандующій, князь Кутузовъ, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ одержаннаго успѣха, издалъ приказъ о новомъ наступленіи, чтобы окончательно разгромить вражьи полчища. Но къ утру слѣдующаго же дня выяснилось, что цѣлой половины нашей арміи уже не существуетъ, а другая половина дотого измучена и разстроена, что о немедленномъ наступленіи не можетъ быть и рѣчи. Между тѣмъ, Наполеонъ, встрѣтивъ такой упорный отпоръ, навѣрно не станетъ ждать, пока



войска наши оправятся, а пойдетъ напроломъ, чтобы, во что бы то ни стало, завладѣть Москвой. Такимъ образомъ, вопросъ сводился къ тому, что принести въ жертву: остатки ли нашей арміи, или Москву?

Послѣ продолжительнаго совѣщанія со своими генералами въ деревнѣ Филяхъ, Кутузовъ, видя, что соглашеніе между ними не состоится, рѣшилъ принять отвѣтственность на себя и приказалъ отступить. Всю ночь послѣ того старикъ-фельдмаршалъ скорбѣлъ душой и не смыкалъ глазъ; приближенные его слышали, какъ онъ вплоть до зари то стоналъ, то плакалъ.

Но подробностей этихъ никто въ Россіи не зналъ, и потому громовая вѣсть о томъ, что Москва безъ выстрѣла отдана французамъ, смертельнымъ воплемъ пронеслась по всему лицу Земли Русской.

— Москва взята! съ горестью твердили и лицеисты. — Ну, теперь конецъ...

Да, то былъ конецъ, но конецъ не величію Россіи, а счастливой звѣздѣ Наполеона, начавшей меркнуть уже подъ Бородинымъ.

2-го сентября непріатели вступили въ нашу древнюю столицу, а вечеромъ того-же дня, въ нѣсколькихъ мѣстахъ ея вспыхнуло пламя, которое, все разрастаясь, особенно вслѣдствіе поднявшейся въ ночь съ 3-го на 4-е число страшной бури, разлилось, наконецъ, по всему городу.

— Москва горитъ! съ ужасомъ повторялось теперь, какъ вездѣ, и въ отдаленномъ лицѣѣ.

Но вскорѣ ужасъ смѣнился совершенно понятнымъ, торжествующимъ злорадствомъ, когда стало извѣстно, что городъ былъ подожженъ самими жите-

лями. Профессоръ Кошанскій не преминулъ по этому поводу разсказать въ классѣ о такой-же самоотверженности древнихъ грековъ, которые, при нашествіи Ксеркса, сами сожгли свои Аѣины.

О томъ, что происходило въ сожженной Москвѣ, свѣдѣнія были очень сбивчивы и отрывочны, такъ-какъ они получались, по большей части, только отъ плѣнныхъ и перебѣжчиковъ. Въ одномъ, однако, всѣ показанія сходились: что цѣлые кварталы Бѣлокаменной обратились въ груды развалинъ и пепла, и что вся она не сгорѣла только благодаря проливному дождю, шедшему непрерывно почти двое сутокъ и заливавшему пламя. Далѣе передавалось, что самъ Наполеонъ со своимъ штабомъ едва спасся отъ смерти, когда, между двумя рядами пылающихъ домовъ, подъ огненнымъ дождемъ искръ и головней, по раскаленнымъ кирпичамъ и горящимъ балкамъ, онъ сталъ пробираться изъ Кремля за городъ, въ Петровскій замокъ, и что, переселясь по прекращеніи пожаровъ, 8-го сентября, опять въ Кремль, онъ не узналъ своей прежней образцовой арміи: она превратилась въ безначальную шайку грабителей-мародеровъ, или «міродеровъ», какъ перекрестилъ ихъ нашъ народъ. Посылавшіеся же за городъ за жизненными припасами французскіе фуражиры или возвращались ни съ чѣмъ, или вовсе не возвращались, потому что перехватывались русскими. Въ это именно время стали формироваться изъ помѣщиковъ, отставныхъ военныхъ, а особенно изъ крестьянъ, партіи новаго типа добровольцевъ—«партизановъ», которые нападали на врага всегда изъ засады, врасплохъ. Кто не слыхалъ о самомъ удаломъ партизанѣ Денисѣ, Давыдовѣ? Но, кромѣ

него, немалую извѣстность заслужили себѣ и нѣкій отчаянно-храбрый дьячекъ, и старостиха Василиса, забравшая въ плѣнъ цѣлую партію французовъ.

— Слышали, господа, рассказывалъ лицеистамъ докторъ Пешель, — что Наполеонишка уже второго гонца въ Питеръ прислалъ: не желаетъ ли Государь нашъ помириться?

— Ага! знаетъ кошка, чье мясо съѣла! говорили лицеисты. — А что же Государь?

— Государь по-прежнему отвѣчаетъ ему гордымъ молчаніемъ.

— Господа! новая басня Крылова: «Волкъ на псарнѣ», возгласилъ разъ съ кафедры Кошанскій: — вчера самъ Крыловъ читалъ ее въ Павловскѣ Императрицѣ, а нынче мнѣ оттуда прислали списокъ съ нея. Слушайте внимательно. Поймете ли вы, въ чемъ тутъ соль, кто оный «волкъ на псарнѣ»?

Ни одна басня нашего великаго баснописца, понятно, не произвела до сихъ поръ на мальчиковъ такого смѣхотворнаго дѣйствія, какъ эта, особенно, когда они узнали въ послѣдствіи о томъ, какъ читалась она въ арміи Кутузовымъ, въ присутствіи прибывшаго къ нему Наполеонова гонца. Не получая никакого отвѣта изъ Петербурга, императоръ французовъ рѣшился, наконецъ, обратиться съ запросомъ и къ нашему главнокомандующему: «Не пора ли кончить войну?»

Отвѣтъ на сей разъ хотя и послѣдовалъ, но самый странный: «Война еще не начиналась — она впереди».

Тогда былъ посланъ уже ближайшій адъютантъ Наполеона съ дополнительными инструкціями. Но тутъ какъ-разъ поспѣла изъ Петербурга эта новая



Крыловская басня. Терпѣливо выслушавъ парламен-тера, старикъ-фельдмаршалъ нашъ многозначительно переглянулся съ окружающими и прочелъ наизусть ту часть басни, гдѣ ведутся мирные переговоры волка, попавшаго, вмѣсто овчарни, на псарню:

— „Друзья! къ чему весь этотъ шумъ?

Я вашъ старинный другъ и кумъ!

Пришелъ мириться къ вамъ, совсѣмъ не ради ссоры.

Забудемъ прошлое, устанемъ общій ладъ!

А я не только впредь не трону вашихъ стадъ,

Но самъ за нихъ съ другими грызться радъ,

И волчьей клятвой утверждаю,

Что я..“

— „Послушай-ка, сосѣдъ,

Тутъ ловчій перервалъ въ отвѣтъ:

„Ты сѣрь, а я, пріятель, сѣдъ..“

При этихъ словахъ, Кутузовъ, тонко улыбаясь, снялъ фуражку и указалъ на свои серебристыя сѣдины.

Свита не дала ему кончить и разразилась единодушнымъ «ура!», которое тутъ же было подхвачено незнавшими даже, въ чемъ дѣло, часовыми и громогласно прокатилось по всему лагерю.

— Слышите? обратился фельдмаршалъ къ посланному Наполеона: — при такомъ настроеніи войска, можно ли думать о мирѣ? Такъ и передайте вашему императору.

А вскорѣ послѣ того, подъ Тарутинымъ, русскіе, перейдя уже въ наступленіе, разбили въ пухъ и прахъ лучшій изъ отрядовъ французскихъ — корпусъ Неаполитанскаго короля Мюрата — и захватили весь обозъ его.

Что оставалось тутъ дѣлать волку — Наполеону? Оставалось одно: выбраться со псарни по-добру, по-здорову и бѣжать, бѣжать безъ оглядки.

6-го октября, изъ московскихъ заставъ потянулись первые обозы французовъ, нагруженные награбленнымъ добромъ и похожіе скорѣе на цыганскій таборъ, чѣмъ на прежнюю красу и гордость «великой націи» — Наполеонову армію.

Въ Царское Село извѣстіе о бѣгствѣ непріятеля пришло не ранѣе 19-го октября, въ самый день годовщины открытія лица, и было привезено никѣмъ инымъ, какъ Александромъ Ивановичемъ Тургеневымъ. Пушкинъ, не выдавшій никого изъ родныхъ и прежнихъ знакомыхъ чуть ли не цѣлый годъ, побѣждалъ на-встрѣчу дорогому гостю съ распростертыми объятіями. Но, не добѣжавъ пяти шаговъ, онъ вдругъ устыдился своей дѣтской радости, опустилъ руки и остановился, какъ вкопанный.

— Ну, что же? спрашивалъ Тургеневъ, съ сіяющей улыбкой, самъ раскрывая ему объятія: — поди, прижмись!

Мальчикъ порывисто припалъ къ нему на грудь.

— О, какъ я соскучился!.. Никто-то мнѣ изъ дому не пишетъ... Не знаю даже живы ли, выбрались ли изъ Москвы...

— Живы, живы, дружокъ, успокойся. А что не пишутъ—мудренаго тутъ ничего нѣтъ: правильной почты до сихъ поръ не было. Только теперь, когда французы оставили Москву...

— Французы оставили Москву?! прервалъ, не вѣря ушамъ, Пушкинъ.

— Да, и бѣгутъ, какъ травленный звѣрь. Теперь, говорю я, пути сообщенія опять возстановились. Вчера еще я получилъ вѣсточку отъ князя Вяземскаго о твоихъ родителяхъ...

— Ну, что? гдѣ они?

— Они съ весны еще гостятъ въ Остафьевѣ, у Вяземскихъ, и почти все добро свое успѣли заблаговременно вывезти изъ Москвы. Вотъ дядѣ твоему Василью Львовичу менѣе посчастливилось. Вяземскій выслалъ мнѣ два подлинныя письма, полученныя имъ изъ Нижняго. На вотъ, прочти самъ.

Пушкинъ съ лихорадочною поспѣшностью пробѣжалъ сперва одно письмо, потомъ другое. Первое было отъ поэта Батюшкова, помѣченное 3-мъ октября.

«Здѣсь я нашелъ всю Москву, писалъ Батюшковъ;— Александръ Михайловичъ Пушкинъ \*) плачетъ неутѣшно; онъ все потерялъ, кромѣ жены и дѣтей. Василій Львовичъ забылъ въ Москвѣ книги и сына; книги сожжены, а сына вынесъ на рукахъ его слуга. Отъ печали Пушкинъ лишился памяти и насилу могъ прочитать Архаровымъ \*\*) басню о «Соловьѣ». Вотъ до чего онъ и мы дожили! У Архаровыхъ собирается вся Москва или, лучше сказать, всѣ бѣдняки: кто безъ дома, кто безъ деревни, кто безъ куска хлѣба, и я хожу къ нимъ учиться терпѣнію. Вездѣ слышу вздохи, вижу слезы—и вездѣ глупость. Всѣ жалуются и бранятъ французовъ по-французки, а патріотизмъ заключается въ словахъ: «point de paix!»

Второе письмо къ князю Вяземскому отъ самого Василья Львовича Пушкина гласило:

---

\*) Дальній родственникъ нашего поэта, извѣстный переводчикъ Мольера.

\*\*) Иванъ Петровичъ Архаровъ извѣстный московскій богачъ и хлѣбосоль, котораго князь Вяземскій въ своей „Записной книжкѣ“ называетъ „последнимъ буртграфомъ московскаго барства и гостепріимства, сторѣвшихъ, вмѣстѣ съ Москвою, въ 1812 году“.



«...Другой Москвы не будетъ... Я потерялъ въ ней все движимое мое имѣніе. Новая моя карета, дрожки, мебель и драгоценная моя библіотека — все сгорѣло. Я ничего вывезти не могъ; денегъ у меня не было, и никто не помогъ мнѣ въ такой крайности...

«Ты спрашиваешь, что я дѣлаю въ Нижнемъ-Новгородѣ? Совсѣмъ ничего. Живу съ избѣ и хожу по морозу безъ шубы, а денегъ нѣтъ ни гроша. Вотъ завидное состояніе, въ которомъ я теперь нахожусь! Алексѣй Михайловичъ, однофамилецъ мой, кричитъ громче и курить табакъ болѣе прежняго...

«Посылаю тебѣ стихи мои къ жителямъ Нижняго-Новгорода».

Улыбаясь сквозь слезы, прочелъ племянникъ бѣднаго погорѣльца оба письма, прочелъ и приложение къ послѣднему стихотвореніе, каждый куплетъ котораго начинался тяжеловѣснымъ двустишіемъ:

„Примите насъ подъ свой покровъ,  
О, Волжскихъ жители береговъ!“

— Стихи съ голодухи, какъ видишь, тоже хромаютъ, замѣтилъ Тургеневъ. — Другъ нашъ Дмитріевъ по поводу ихъ сострилъ довольно зло, что милѣйшій Василій Львовичъ похожъ на колодника, который подъ окномъ христарадничаетъ, а самъ съ бранью оборачивается къ уличнымъ мальчишкамъ (т. е. къ французамъ), что дразнятъ его.

— И вамъ, Александръ Ивановичъ, не жаль дяди! укорилъ Пушкинъ.

— Сердечно жаль, былъ искренній отвѣтъ. — А все же много другихъ несчастіе его. И знаешь ли, Александръ, кто, быть можетъ, заслуживаетъ наибольшаго сожалѣнія?

— Кто?

— Наши враги, французы.

— Эти изверги!

— Другъ мой, не забывай, что Спаситель простилъ и великую грѣшницу, и разбойника на крестѣ за ихъ чистосердечное покаяніе. А французы, повѣрь мнѣ, каются теперь какъ никто. И виноваты ли они? Могли ли они не слѣдовать за своимъ государемъ, за своимъ кумиромъ, въ котораго вѣрили слѣпо, какъ въ божество? И вдругъ—неожиданное паденіе его съ высоты! вмѣсто новыхъ побѣдъ, онъ постыдно бѣжитъ, а по его слѣдамъ, какъ стадо барановъ, сломя голову, бѣгутъ и они, чтобы хоть жизнь-то свою спасти.

— Но Москва...

— Москва, какъ фениксъ, возникнетъ изъ пепла, и зарево ея освѣтитъ нашъ путь къ Парижу.

Какъ вѣрно предугадалъ будущее дальнзоркій Тургеневъ, — въ этомъ Пушкинъ ежедневно все болѣе и болѣе убѣждался и, въ то-же время, не могъ преодолѣть въ себѣ тайнаго сочувствія къ несчастному «стаду барановъ», преслѣдуемому нашимъ войскомъ.

Тщетно Наполеонъ пытался пробиться въ наши хлѣбородныя губерніи: каждый разъ его отбивали съ урономъ, и, волей-неволей, онъ долженъ былъ возвращаться на старый смоленскій путь, въ мѣста, уже прежде разоренныя имъ самимъ. Казаки неотступно кружили около бѣгущихъ, отбивали у нихъ обозъ за обозомъ. Крестьяне-партизаны, съ топорами, вилами, косами, среди густой лѣсной чащи нападали на нихъ врасплохъ, перебивали ихъ по-одиночкѣ.

А тутъ, во второй половинѣ октября, повалилъ густой снѣгъ, затрещали настоящіе русскіе морозы. Ни тулуповъ, ни обуви для солдатъ своихъ Наполеонъ не догадался во-время припасти,—и вотъ имъ пришлось кутаться отъ холода во что попало: и въ дорогія шелковыя ткани, захваченныя съ собой изъ московскаго Гостиного двора, и въ золотыя ризы, похищенныя изъ православныхъ храмовъ или, просто, въ какое-нибудь ваточное одѣяло съ прорѣзанною для головы дырой; ноги же они обматывали лохмотьями истасканныхъ казенныхъ мундировъ.

Лошади, не различая дороги за сугробами снѣга, падали въ канавы, причемъ увлекали за собой и экипажи, и орудія; изнуренныя до-нельзя безкормицею, онѣ падали и умирали, а обезумѣвшіе отъ голода вожатые тутъ-же накидывались на падаль, рвали ее и пожирали, не давая себѣ даже труда хорошенько прожарить мясо. Наскоро насытятся, эти полулюди-полувѣри плелись далѣе, но—недолго: въ изнеможеніи они падали въ снѣгъ, а вьюга заживо еще заносила ихъ своимъ бѣлымъ саваномъ. На привалахъ французовъ, вокругъ тлѣющихъ еще костровъ, наши войска находили груды окоченѣвшихъ труповъ, отъ которыхъ при приближеніи ихъ, живыхъ людей, отлетали съ карканьемъ вóроны, отбѣгали съ ворчаньемъ одичалые псы, слѣдовавшіе по пятамъ за гибнувшей арміей отъ самыхъ воротъ Москвы.

Она таяла, эта армія, таяла со дня на день, дѣлалась жертвой стихій и непредусмотрительности ея надменнаго вождя. А самъ этотъ вождь, этотъ полубогъ—чтоъ сталося теперь съ нимъ? Онъ, какъ истуканъ, рухнулъ съ своей высоты! Никто уже не слу-



шался его; окружающіе только стерегли, какъ бы онъ не ускользнулъ впередъ; а когда онъ, чтобы не быть узнаннымъ, вздумалъ назваться Коленкуромъ, свита исподтишка трунила надъ нимъ, называя его: «Colin qui court» \*).

Лицейскому профессору-французу де-Будри, который за время войны совсѣмъ стушеввался и сталъ тише воды, ниже травы, пришлось тоже услышать этотъ каламбуръ и, конечно, не отъ кого иного, какъ отъ неисправимаго школьника Гурьева. Старикъ поблѣднѣлъ какъ полотно, крупная слеза скатилась по его морщинистой щекѣ; но онъ не вымолвилъ ни слова, а только вышелъ изъ класса. Зато насмѣшнику досталось-таки отъ Пушкина и прочихъ товарищей!

Они перестали ликовать по-прежнему, когда чаша страданій бѣгущаго непріятеля переполнилась, когда, подъ убійственнымъ огнемъ нашихъ орудій, послѣдніе воины побѣдоносной «великой арміи» нашли могилу въ ледяныхъ волнахъ Березины, и изъ полумилліоннаго полчища, побѣдоносно перешедшаго за полгода передъ тѣмъ границу русскую, перебралось обратно за нее не болѣе одной тысячи калѣкъ-мародеровъ.

Теперь Пушкинъ уже не могъ сомнѣваться въ вѣрности предсказанія Тургенева о вступленіи нашихъ войскъ въ Парижъ, что, дѣйствительно, и совершилось спустя годъ съ небольшимъ — 19-го марта 1814 года.



\*) Коленъ, который бѣжить.



## ГЛАВА XIX.

### Стихотворныя шалости.

„О чемъ прозаикъ, ты хлопочешь?  
Давай мнѣ мысль, какую хочешь:  
Ее съ конца я заострю,  
Летучей риемой оперю,  
Взложу на тетиву тугую,  
Гослушный лукъ согнувъ въ дугу,  
А тамъ пошлю наудалую —  
И горе нашему врагу!“

(Прозаикъ и поэтъ.)



Воевая гроза прошла, громы орудій смолкли. Вздуродоруженная извнѣ лицейская жизнь попала опять въ старое русло и потекла по-прежнему — ровно, невозмутимо, журча лишь слегка, по временамъ, отъ встрѣчныхъ небольшихъ подводныхъ камней или отъ налетнаго утренняго вѣтра!

Такъ, между прочимъ, оживленію однообразія школьнаго быта не мало способствовало открытіе, въ 1813 году, профессоромъ Гауеншильдомъ пригото-вительнаго заведенія къ лицію. Въ первое время заве-

деніе это помѣщалось въ наемномъ домѣ въ предмѣстьи Царскаго Села — Софіи; но вскорѣ оно было переименовано въ «благородный лицейскій пансіонъ» и переведено въ казенный домъ, рядомъ съ лицеемъ, послѣ чего лицеисты съ пансіонерами видѣлись ежедневно. Въ числѣ пансіонеровъ, въ томъ-же 1813 году, былъ принятъ и младшій братъ Пушкина, Левъ. Совсѣмъ оторванный до тѣхъ поръ отъ родной семьи, Александръ, понятно, былъ не мало радъ этому; но, подобно другимъ лицеистамъ, находилъ нужнымъ относиться къ «мальчишкамъ»-пансіонерамъ, въ томъ числѣ и къ младшему своему брату, съ покровительственнымъ снисхожденіемъ. Вѣдь тѣ и двухъ строкъ-то римо-ванныхъ связать не умѣли!

А поэтическіе опыты самихъ лицеистовъ все продолжались. Ктому же возбужденная въ нихъ отечественною войной восторженная любовь къ родинѣ сблизила ихъ еще болѣе, какъ-бы сроднила между собой, и въ новомъ лицейскомъ журналѣ «Юные пловцы» уже мирно уживались прежніе литературные соперники: Илличевскій и Пушкинъ. Впрочемъ, первому изъ нихъ по-прежнему отдавалась пальма первенства какъ товарищами, такъ и профессоромъ Кошанскимъ. Въ стихотворствѣ на заданныя тѣмы, гдѣ требовалось не столько вдохновенія, сколько запаса рима, онъ, дѣйствительно, опережалъ Пушкина, и упроченію его славы по этой части не мало способствовалъ слѣдующій случай.

Однажды, на урокъ «стихотворныхъ упражненій», лицеисты должны были описать «Восходъ солнца». Самый простоватый и малоспособный изъ нихъ, Мясоѣдовъ, перещеголявшій товарищей развѣ только въ



одномъ—въ обжорствѣ, чѣмъ заслужилъ себѣ кличку «Мясожоровъ», обратился шепотомъ къ общепризнанному уже поэту Илличевскому, сидѣвшему впереди него:

— Будь другъ, Олосенька, выручи! Одну-то, первую строчку я сочинилъ, но дальше, хоть убей, ни съ мѣста...

Тотъ принялъ отъ него изъ-подъ лавки тетрадь, прочелъ написанное, минутку подумалъ, усмѣхнулся и живо дописалъ четверостишіе.

— Нѣ, получи! Но, чуръ, не пенять.

— Спасибо, голубчикъ! искренно поблагодарилъ «Мясожоровъ» и, въ радости своей, что такъ скоро устроилъ дѣло, не далъ себѣ даже труда перечестъ приписку, а съ торжествующимъ видомъ замахалъ по воздуху тетрадкой.

— Николай Ѳедорычъ, и я настрочилъ-съ!

— И вы? изумился Кошанскій. — Вы, Мясоѣдовъ, сирый и убогій, туда же возсѣли на крылатаго Пегаса?

— А что-же-съ? Отчего бы и мнѣ на немъ хоть разъ не прокатиться?

— Правильно: бываетъ, что и блоха закашляетъ, что и курица пѣтухомъ запоетъ. Лишь бы не выпасть вамъ изъ сѣдла. Покажите-ка сюда.

Профессоръ только заглянулъ въ тетрадку, какъ закусилъ губу, чтобы не выдать своей веселости; прочитавъ же еще разъ, остановилъ на минутку глаза на Илличевскомъ и обратился затѣмъ опять къ самозванному автору стиховъ:

— Итакъ, эти стихи, Мясоѣдовъ, говорите вы, вашего собственнаго издѣлія?

— Собственнаго-съ! былъ самодовольный отвѣтъ.

— И мысль, въ нихъ выраженная, такъ-же ваша?

— А то какъ же-съ?

— Поздравляю! До сей поры, государи мои, весь міръ ученыхъ былъ того мнѣнія, изволите видѣть, что солнце можетъ восходить съ одной лишь стороны свѣта—съ востока. А нынѣ оказывается, что мнѣніе это превратно. Достойному нашему молодому ученому, синьору Мясоѣдову, принадлежитъ честь открытія сего великаго феномена:

„Грядетъ съ заката царь природы..“

Весь классъ залился смѣхомъ, а наивный Мясоѣдовъ, лишь теперь смекнувшій, что опростоволосился, покраснѣлъ, но не только не упалъ духомъ, а напротивъ—до ушей осклабился и оглядѣлся кругомъ.

— А что, не остро развѣ?

— Остро, но обоюдоостро, осадилъ его тутъ-же профессоръ: — стихъ этотъ вы просто-на-просто, украли.

— Укралъ?

— Да, синьоръ, у синьоры Буниной, доморощенной тоже поэтессы, у коей одна элегія начинается точно такъ же:

„Блеснулъ на западѣ румяный царь природы..“ \*).

— Значитъ, все же не совсѣмъ такъ, какъ у меня! обрадовался уличенный поэтъ-воришка. — А остальные три строки зато ужъ какъ есть мои.

— Такъ ли?

---

\*) Сборникъ стихотвореній А. П. Буниной вышелъ въ 1809 году подъ заглавіемъ: „Неопытная Муза“.

— Что-бы мнѣ провалиться на этомъ мѣстѣ!..

— Ой, провѣлитесь... Читать дальше или нѣтъ?

— Читайте.

— Сама себя раба бьетъ, что нечисто жнетъ. Я умываю руки. Итакъ:

„Грядетъ съ заката царь природы,  
И изумленные народы  
Не знаютъ, что начать:  
Ложиться спать или вставать?“

Теперь стекла въ окнахъ задрезжали отъ громогласнаго хохота молодыхъ слушателей.

— Ай-да Мясожоровъ! отличился!

Самодовольная улыбка на губахъ «Мясожорова» такъ и застыла въ видѣ кислосладкой гримасы.

— Вотъ это, точно остро, заговорилъ опять Кошанскій. — Недаромъ соученики ваши загрохотали. Но въ сей послѣдней остротѣ вы неповинны, яко младенецъ новорожденный. Виденъ соколъ по полету. Прибавка оная ваша вѣдь, Илличевскій, а?

— Моя, каюсь, не безъ тайной гордости сознался подлинный авторъ.

— За поведеніе надлежало бы вамъ баллика два сбавить. Ну, да экспромтъ вашъ былъ столь изряденъ, что на сей разъ грѣхъ вамъ отпускается: грядите съ миромъ.

Такой успѣхъ случайной шутки дотого поощрилъ Илличевского, что онъ, съ этого времени, сталъ преимущественно упражняться въ подобнаго рода стихотворныхъ шалостяхъ; а Мясоѣдовъ, съ своей стороны, позаботился дать ему для того еще новую пищу. Желая отплатить насмѣшникамъ-товарищамъ и доказать имъ, что онъ можетъ, коли захочетъ, и самъ сло-



жить пару-другую рифмованныхъ строкъ, Мясоѣдовъ написалъ цѣлую басню «Ослы». Но басня эта, прочитанная имъ вслухъ въ классѣ Кошанскаго, вызвала со стороны послѣдняго, вмѣсто похвалы, только слѣдующій нелестный цитатъ изъ Державина:

„Осель останется осломъ,  
Хотя осыпь его звѣздами;  
Гдѣ должно дѣйствовать умомъ,  
Онъ только хлопаетъ ушами.“

Съ этихъ поръ, чуть только, бывало, Мясоѣдовъ разинетъ ротъ, чтобы высказать что-нибудь,—его перебивали словами:

„Осель останется осломъ!..“

А Илличевскій, успѣвшій, какъ уже сказано, заявить себя искуснымъ рисовальщикомъ, въ ближайшемъ же номерѣ новаго лицейскаго журнала «Лицейскій Мудрецъ» нарисовалъ карикатуру, изображавшую Мясоѣдова въ дурацкомъ колпакѣ съ ослиными ушами, и съ слѣдующей подписью внизу:

„О чемъ ни сочинить, бывало,  
Марушкинъ, борзый стихотворъ,  
То вѣрь, что не солжешь ни мало,  
Когда заранѣ скажешь: вздоръ!  
Марушкинъ объ ослахъ вдругъ басню сочиняетъ,  
И басня хоть куда! Но страненъ ли успѣхъ?  
Свой своего всѣхъ лучше знаетъ,  
И слѣдственно опишетъ лучше всѣхъ.“

«Марушкинъ-Мясоежовъ», однако, вкусивъ разъ отъ древа поэзіи, не думалъ еще сложить оружіе и, знай, продолжалъ кропать басню за басней. Когда же и эти не нашли себѣ хвалителей, и издатели «Лицейскаго Мудреца» наотрѣзъ отказали ему принять ихъ въ свой журналъ, непризнанный поэтъ тща-

тельно перебѣлилъ свои писанія въ особую, изрядную тетрадь, которую озаглавилъ:

«ХОТЬ ХУДО, НО СВОЕ».

Илличевскій и тутъ не далъ ему покоя, и въ слѣдующемъ номерѣ «Мудреца» появилась такая эпиграмма:

„Ты выбралъ къ басенкамъ заглавіе простое:

*Хоть худо, но свое.*“

И этакъ хорошо, но этакъ лучше вдвое:

Чтò худо — то твое,

Чтò хорошо — чужое.“

И прочіе лицейскіе сочинители пустились теперь взапуски съ Илличевскимъ строчить эпиграммы; но только Пушкинъ одинъ могъ соперничать съ нимъ; стихотворныя шутки его были нерѣдко еще болѣе тонки и колки, чѣмъ у Илличевского.

Къ сожалѣнію, дѣло не ограничилось эпиграммами. На мотивъ облетѣвшей, въ 1812 году, всю Россію патриотической пѣсни Жуковского «Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ», лицеисты стали распѣвать новую, собственнаго сочиненія «національную пѣсню», въ которую, само собою разумѣется, угодилъ опять-таки профессоръ-нѣмецъ Гауеншильдъ. Онъ вошелъ однажды въ классъ, вмѣстѣ съ директоромъ, въ ту самую минуту, когда шалуны, подъ управленіемъ Гурьева, распѣвали хоромъ сатирическіе куплеты, сочиненные ими на его счетъ. Гурьевъ, стоя на кафедрѣ, махалъ въ тактъ руками, какъ дирижерской палочкой.

— Вы сами теперь изволите слышать, ваше превосходительство! Что прикажете дѣлать съ этими сорванцами? обратился Гауеншильдъ понѣмецки къ директору, трясаясь отъ негодованія, какъ въ лихорадкѣ.

Малиновскій окинулъ школьниковъ печальнымъ взглядомъ и объявилъ затѣмъ:

— Какъ мнѣ ни прискорбно, господа, воспретить вамъ заниматься поэзіей, тѣмъ болѣе что между вами, какъ увѣряетъ Николай Ѳедорычъ, есть недюжинные таланты (взоры его скользнули при этомъ по Илличевскому и Пушкину),—но я вижу, что ничего иного не остается. Впрочемъ, окончательное рѣшеніе вопроса будетъ зависѣть отъ конференціи.

— И только-то, ваше превосходительство? возразилъ Гауеншильдъ.

— Безусловное воспрещеніе писать стихи и издавать журналы, повѣрьте мнѣ, господинъ профессоръ, будетъ имъ чувствительнѣе лишенія всякихъ сладкихъ блюдъ. А теперь вы, Гурьевъ, пожалуйста-ка сюда на расправу.

Спрятавшійся за кафедрой, Гурьевъ вообразилъ-было, что про него забыли, и съ самымъ смиреннымъ видомъ выползъ теперь на свѣтъ Божій.

— Сколько разъ я васъ предупреждалъ, Гурьевъ; но васъ, видно, какъ кривое дерево, не выпрямишь.

— Да чтò же я такое сдѣлалъ, Василій Ѳедорычъ? Помилуйте! плаксиво отозвался Гурьевъ.

— Какъ, чтò вы сдѣлали? Вы стояли на кафедрѣ и въ тактъ размахивали руками!

— Размахивалъ, потому что упрашивалъ товарищей не пѣть этихъ дерзкихъ куплетовъ...

— Вотъ чтò я вамъ скажу, Гурьевъ: шалить въ вашемъ возрастѣ извинительно; но лицемѣрить, лгать старшимъ въ лицо и сваливать еще вину свою на другихъ — безстыдно и достойно примѣрнаго наказанія. Вы, въ настоящемъ случаѣ, явно были первымъ за-



чинщикомъ, и поступокъ вашъ также будетъ переданъ на судъ конференціи.

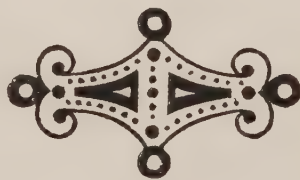
Такая непривычная со стороны добряка-Малиновскаго строгость совсѣмъ ошеломила Гурьева; онъ вдругъ разрыдался и готовъ былъ обнять ноги директора, чтобы только вымолить прощеніе.

— Мы всѣ вѣдь виноваты, Василій Ѳедорычъ! вступился тутъ Пушкинъ.—Простите и его на этотъ разъ.

— Простите его! подхватили прочіе.

— Хорошо, такъ и быть, въ послѣдній разъ, смягчился, по обыкновенію, Малиновскій.—Но повторяю вамъ, Гурьевъ: берегитесь впередъ!

Конференція, по обсужденіи предложенія директора—воспретить впредь лицеистамъ писать стихи и издавать журналы,—почти единогласно утвердила это предложеніе. Двое только—Кошанскій и Куницынъ,—старались выгородить поэтовъ, но, въ концѣ концовъ, остались при «особомъ мнѣніи». Имъ же лицеисты были обязаны, что къ осени 1813 года строгая мѣра была негласно отмѣнена. Тогда же былъ снятъ запретъ и со спектаклей. Въ первомъ изъ нихъ, устроенномъ въ день лицейской годовщины, 19-го октября 1813 года, приняли участіе какъ Дельвигъ, такъ и Пушкинъ.





## ГЛАВА XX.

### Литературныя розы и тернія.

„Мараеъ онъ единымъ духомъ  
Листъ;  
Внимаетъ онъ привычнымъ ухомъ  
Свистъ...“

(Исторія стихотворца.)

„Ужъ эти мнѣ друзья, друзья!  
Объ нихъ не даромъ вспомнилъ я“

(Евгеній Оягинъ.)



что же дѣлала, въ теченіи запретнаго времени, Пушкинская Муза?

Она по-неволѣ смирилась, но не бездѣйствовала. Съ наступленіемъ весны 1813 года, прежнія прогулки двухъ друзей-поэтовъ въ тѣнистыхъ аллеяхъ царскосельскаго парка возобновились, а съ ними и нескончаемыя бесѣды о поэзіи древней и современной. Одно время къ нимъ примкнулъ-было или, вѣрнѣе, навязался еще и третій стихотворецъ, Кюхельбекеръ. Восторженный почитатель романтизма, процвѣтавшаго тогда въ Германіи, онъ успѣлъ уломать Дельвига—сообща съ нимъ перечестъ идилліи Гесснера, баллады, оды и элегіи Гете. Но когда

они приступили къ «Мессіадѣ» Клопштока и имѣли неосторожность пригласить къ участию въ чтеніи и Пушкина, искусственная напыщенность творца «Мессіады» дала Пушкину такой богатый матеріалъ для колкихъ замѣчаній, что Дельвигъ самъ заразился его насмѣшливостью, а Кюхельбекеръ съ негодованіемъ махнулъ на обоихъ рукой.

Пушкину, впрочемъ, было теперь вообще не до чужихъ писаній. Отъ забившей его разъ писательской лихорадки у него, какъ говорится, руки зудѣли: ему непременно надо было сочинять во что бы то ни стало, но только не какія-нибудь эпиграммы или бывшія тогда въ модѣ «посланія».

— Я чувствую въ себѣ какую-то сверхъестественную силу! признавался онъ, въ минуты откровенія, Дельвигу.—Знаешь, вотъ какъ этотъ древній богатырь русскій, Святогоръ, который хотѣлъ укрѣпить въ небѣ кольцо на желѣзной цѣпи, чтобы за цѣпь ту перевернуть всю землю,—такъ точно и мнѣ хотѣлось бы создать что-нибудь такое, чтобы весь міръ ахнулъ! Трехтомный романъ, что-ли, пяти-актную ли драму... Вотъ что, братъ баронъ: напишемъ-ка что-нибудь въ компаніи.

— Что ты, Господь съ тобой! испугался Дельвигъ. — И безъ меня найдешь себѣ не мало компаньоновъ. Вотъ Яковлевъ, напримѣръ, говорилъ мнѣ какъ-то, что смерть хотѣлось бы сочинять вмѣстѣ съ тобой, но что не знаетъ, какъ къ тебѣ подступиться, потому что ты слишкомъ гордъ...

— Съ чего онъ взялъ? Такъ ты, Тося, напрямикъ отказываешься?



— Дà, ужъ избавь меня, душа моя, а Яковлеву ты доставишь большое удовольствіе.

— Ну, нечего дѣлать, попытаюсь хоть съ нимъ.

Не прошло и мѣсяца, какъ по рукамъ лицеистовъ стала ходить новая комедія «Такъ водится въ свѣтѣ», сочиненная компаніей «Пушкинъ и Яковлевъ», а осенью, въ одинъ изъ царскихъ праздниковъ, она уже была разыграна на лицейской сценѣ.

Между тѣмъ, Пушкинъ готовилъ товарищамъ новый сюрпризъ. Съ какимъ-то лихорадочнымъ усердіемъ перелистывалъ онъ по цѣлымъ часамъ имѣвшіяся въ лицейской библіотекѣ нравоописательныя и философскія сочиненія, и нерѣдко поражалъ пріятелей то любопытными подробностями о бытѣ кочующихъ народовъ, то кудреватыми учеными фразами.

— Откуда это у тебя? недоумѣвали тѣ.

Онъ только таинственно улыбался и отвѣчалъ коротко:

— Когда-нибудь да узнаете.

— Пушкинъ что-то грандіозное затѣваетъ, шепотомъ передавали другъ другу лицеисты.

«Грандіозное», дѣйствительно, назрѣвало, и докторъ Пешель первый удостоился проникнуть въ тайну. Пушкинъ встрѣтился съ Пешелемъ съ-глазу на-глазъ въ коридорѣ и обратился къ нему съ убѣдительною просьбой отослать его въ лазаретъ. Докторъ пощупалъ у него пульсъ, потомъ взялъ его голову въ руки и повернулъ лицомъ къ свѣту.

— Гмъ... Пульсъ какъ-будто лихорадочный, глаза тоже... Покажите-ка языкъ.

Мальчикъ едва не фыркнулъ ему въ лицо.

— Да нѣтъ же, докторъ...

— Покажите языкъ, говорю я вамъ!

Пушкинъ на вершокъ высунулъ языкъ: весь онъ былъ точно вымазанъ черной краской или сажей. Отъ такой неожиданности, докторъ даже отскочилъ назадъ.

— Чтò это вы ёли? спросилъ онъ:— чернику, что ли?

— Ахъ, нѣтъ, это отъ чернилъ! расхохотался Пушкинъ.

— Экій вѣдь школьникъ! Чернила пить далеко не безвредно.

— Ну, вотъ, я и отравился ими. Положите меня въ лазаретъ.

— Да вы вправду, больны?

— Ужасно боленъ! Ой-ой, какъ въ боку сейчасъ закололо!

— А мы налѣчимъ вамъ здоровую шпанскую мушку, пропишемъ двѣ порціи касторки...

— Нѣтъ, ужъ увольте, докторъ! Въ лазаретѣ я и безъ того живо поправляюсь.

— Понимаю теперь вашу болѣзнь: «febris pritvocalis»?—отъ уроковъ отлыниваете?

— Нѣтъ «febris poetica».

— Ну, отъ той вѣрнѣйшее средство — уши надрать.

— Можете, если мой «Цыганъ» не удастся.

— Вашъ цыганъ?

— Ахъ, проболтался! Ну, да все равно, ужъ повѣдаю вамъ, по секрету. Никто еще объ этомъ не знаетъ. «Цыганъ» — крестное имя моего будущего литературнаго дѣтища—романа, ни болѣе, ни менѣе, какъ въ трехъ частяхъ!

— Что такъ много?

— «Мало», хотите вы сказать? Я дотога, знаете, теперь начитался этихъ серьезныхъ книгъ, дотога набилъ себѣ голову умными мыслями, что онѣ, просто, оттуда вонъ выпирають, такъ и рвутся вылиться на бумагу. А гдѣ время взять, когда эти противные уроки да и прогулки покою не даютъ! Смилуйтесь, докторъ! Я за васъ весь вѣкъ буду Богу молиться. Нарочно приглашу васъ на крестины моего дѣтища...

И смилостивился добрякъ-докторъ, отправилъ его въ лазаретъ. Здѣсь навѣщавшіе мнимаго больного пріятели хотя и заставляли его, какъ слѣдуетъ, въ больничномъ халатѣ и полулежащимъ на кровати, но всегда съ бумагой около изголовья и съ перомъ въ рукахъ. Напрасно допытывались они, что онъ пишетъ.

— Вотъ ужó, на Рождествѣ, когда будетъ Иконниковъ, какъ-разъ кончу и прочту вамъ, былъ всегда одинъ отвѣтъ.

Но Иличевскій, особенно заинтригованный таинственною работою опередившаго его соперника по перу, украдкой утащилъ у него изъ-подъ изголовья ворохъ исписанныхъ листковъ, и къ вечеру того-же дня, когда Пушкинъ только-что хватился пропажи, вернулъ ему ихъ съ самымъ лестнымъ отзывомъ о глубинѣ идей, проводимыхъ въ романѣ.

— Изъ тебя, право, выйдетъ новый Вальтеръ-Скоттъ, заключилъ онъ свой панегирикъ.

— Ну, ужъ и Вальтеръ-Скоттъ! усмѣхнулся въ отвѣтъ Пушкинъ, готовый-было напустить на черезчуръ любопытнаго пріятеля, но безоруженный теперь его искреннею похвалою. — Ты, Иличевскій, прочелъ пока одну первую часть; вотъ, погоди, что скажешь дальше...



Послѣ этого вдохновеніе начинающаго романиста еще болѣе окрылилось, и вторую часть онъ набросалъ въ какіе-нибудь три дня. Повидимому, она удалась ему еще лучше первой. Сначала онъ задумалъ написать три части; но третью можно было скомкать, для ускоренія дѣла, въ видѣ эпилога, а съ эпилогомъ легко справиться и между дѣломъ.

И вотъ, юный романистъ нашъ выписался изъ лазарета. Къ Рождеству, когда эксъ-гувернеръ Иконниковъ, въ самомъ дѣлѣ, навѣстилъ опять своихъ любимцевъ—лицеистовъ, романъ украсился не только эпилогомъ, но и прологомъ.

Въ первый же вечеръ, въ камеру автора «на крестины» были приглашены избранные свидѣтели: изъ взрослыхъ — Иконниковъ да Пешель, изъ товарищей — четверо самыхъ близкихъ — Пущинъ, Дельвигъ, Илличевскій и Корсаковъ. На столѣ горѣли двѣ свѣчи; между ними заманчиво красовался подносъ съ незапѣйливими сластями: яблоками, леденцами, орѣхами и стручками. Въ печкѣ трещалъ веселый огонь.

— Что печь затопили—хвалю, говорилъ Иконниковъ, становясь, съ раздвинутыми фалдами, спиной къ грѣющему пламени.— Имѣлъ глупость нынче не пѣхтурой, а конницей изъ Питера притащиться, ну, и перемерзъ, чтò ледяная сосулька, не могу оттаять.

— Да вы бы, Александръ Николаевичъ, присѣли къ самому огню, хлопоталъ около него молодой хозяинъ, придвигая ему, какъ предсѣдателю, нарочно добытое откуда-то, продавленное вольтеровское кресло.— А васъ, докторъ, не знаю ужъ, право, гдѣ лучше пристроить...

— Не беспокойтесь; я тутъ вотъ, на краешкѣ,

отвѣчалъ докторъ, усаживаясь на краю кровати и закуривая сигару. — Матеріальнаго довольствія у васъ, я вижу, для всѣхъ припасено, а вотъ хватить-ли—духовнаго?

— Пара вещицъ есть: одна—помельче, въ стихахъ; другая—покрупнѣе, въ прозѣ, словомъ, чего хочешь—того просишь. Правда, первой и самъ я не придаю особеннаго значенія: это не болѣе какъ обычное «посланіе»...

— Къ кому?

— Къ «Другу-стихотворцу».

Глаза всѣхъ присутствовавшихъ, какъ по уговору, обратились на Дельвига. Но Пушкинъ поспѣшилъ разувѣрить ихъ:

— Нѣтъ, я разумѣлъ не того или другого изъ друзей-стихотворцевъ; каждый, кому угодно, можетъ принять на свой счетъ.

Заглянувъ еще разъ въ коридоръ, гдѣ къ дверямъ былъ приставленъ часовымъ старикъ-сторожъ, чтобы ни одинъ непрошенный гость не ворвался въ избранный кружокъ, — Пушкинъ сѣлъ на серединѣ кровати, между двумя ближайшими друзьями, Пушинымъ и Дельвигомъ, разложилъ передъ собой свои писанія, видимо волнуясь, откашлянувшись и, не глядя ни на кого, спросилъ:

— Прикажете начать?

— Чего же ждать? откликнулся отъ печки Иконниковъ. — Вы, знай, читайте, а мы, какъ котъ Крыловскій, будемъ слушать да кушать.

— И такъ, началъ Пушкинъ:

— „Аристъ! и ты въ толпѣ служителей Парнаса!  
Ты хочешь осѣдлать упрямаго Пегаса...”

Тщательно-отдѣланные стихи этого, дѣйствительно, очень удачнаго стихотворенія произвели на всѣхъ слушателей самое отрадное впечатлѣніе. Самъ верховный судія, Иконниковъ, незамѣтно придвинулся даже съ своимъ кресломъ отъ огня къ столу и въ-полголоса повторялъ наиболѣе хлесткіе стихи, сопровождая ихъ киваніемъ головой.

— «На Пиндѣ лавры есть, но есть тамъ и крапива», прогнусилъ онъ вслѣдъ за чтецомъ, и, отсыпавъ себѣ въ кулакъ изъ знакомой уже читателямъ коробки-таблинки горсточку табаку, втянулъ его, не спѣша, сперва въ одну ноздрю, потомъ въ другую.— О, какъ это вѣрно!

Еще больше тронуло его поученіе невоздержнаго отшельника мужикамъ.

— Да, милые мои! вздохнулъ онъ:— азъ, рабъ Божій, для васъ тотъ-же отшельникъ:

„...Какъ васъ учу, такъ вы и поступайте;  
Живите хорошо, а мнѣ не подражайте.“

По окончаніи чтенія, торжество молодого поэта было полное. Товарищи наперерывъ выражали ему свое восхищеніе; докторъ молча протянулъ ему свою жирную руку и обдалъ его, какъ оиміамомъ, клубами сигарнаго дыма, а эксъ-гувернеръ вытащилъ его къ себѣ изъ-за стола и, какъ медвѣдь, крѣпко облапилъ.

— Ну, утѣшилъ, душенька! Ты дѣлаешь честь не одному лицу, а и всей матушкѣ-Россіи. Не сердись, дружище, что я тебя «тыкаю»; ты для меня теперь не чужой, а словно сынъ родной, сыновей же не «выкаютъ».

Результатъ превзошелъ самыя смѣлыя ожиданія



Пушкина. Конфузясь своего чрезмѣрнаго успѣха, онъ вотъ-же время, такъ и сіялъ отъ счастія.

— Да ужъ будто такъ недурно?... бормоталъ она, высвобождаясь изъ отеческихъ объятій Иконниковъ.

— Очень даже недурно, подалъ теперь голосъ и докторъ Пешель.

— Недурно?! обидчиво вскинулся на послѣдняго предсѣдатель. — Восхитительно, докторъ, неподражаемо! Вы людей, что кошекъ, рѣжете, такъ у васъ, небось, сердце травой поросло. А у нашего брата, истиннаго любителя и цѣнителя, видите: глаза мокры. Отчего? — Оттого, что всѣ струны сердечныя созвучно затрепетали, забренчали!

— Вы слишкомъ добры, Александръ Николаевичъ, соскромничалъ Пушкинъ: — я очень хорошо самъ сознаю, что только подражаю дядѣ моему Василью Львовичу...

— Поди ты съ нимъ! Ну, гдѣ ему до тебя!.. Постой, постой: ты куда это отъ меня?

— На свое мѣсто.

— Нѣтъ, милочка моя, не уйдешь теперь; мѣсто твое тутъ, около меня. Господа! уступите кто-нибудь стулъ. Да не стулъ слѣдуетъ тебѣ, а тронъ!

Усѣвшись на стулъ рядомъ съ Иконниковымъ, Пушкинъ отложилъ въ сторону прочитанное «Посланіе», привелъ въ порядокъ пачку рукописныхъ листочковъ своего «Цыгана» и, какъ опьяненный предшествовавшимъ успѣхомъ, побѣдоносно обратился къ слушателямъ съ шутливымъ предисловіемъ:

— Милостивые государи! Стихотвореньице, столь терпѣливо сейчасъ выслушанное вами, было не болѣе, какъ легонькой закуской передъ капитальной прозаи-

ческой трапезой. Сія же послѣдняя будетъ сервирована вамъ въ четыре пріема, именно: въ двухъ частяхъ съ прологомъ и эпилогомъ.

Пресытился ли аппетитъ угощаемыхъ отъ стихотворной закуски, или провизія, изъ которой была состряпана прозаическая трапеза, была черезчуръ сытна и грузна,—только съ особеннымъ наслажденіемъ, казалось, никто ея не вкушалъ. Прологъ выслушали среди гробового молчанія, прерывавшагося только шелканьемъ орѣховъ да пережевываніемъ прочихъ снѣдей. Такое безмолвіе могло быть приписано всеобщему глубокому вниманію, и потому авторъ-чтецъ, не отрывая глазъ отъ рукописи, выждалъ нѣсколько мгновеній, не выскажется ли кто-нибудь. Но никто отзывомъ не торопился, а докторъ даже обратился шепотомъ къ своему сосѣду съ совершенно постороннимъ вопросомъ:

— Гдѣ вы берете здѣсь эти сочныя яблоки?

Пушкинъ поморщился и скороговоркой приступилъ къ чтенію первой части. Но и та была выслушана такъ-же безучастно. Авторъ уже съ нѣкоторымъ безпокойствомъ оглядѣлъ присутствующихъ и замѣтилъ, что глаза ихъ точно избѣгали его вопрошающаго взгляда. Кровь горячею волной хлынула ему въ голову, въ вискахъ начало стучать, углы рта судорожно задергало.

— Что же, не нравится? проговорилъ онъ вызывающимъ тономъ. Но голосъ его, какъ надтреснутый, дрогнулъ.

Настала неловкая для всѣхъ пауза.

— По правдѣ сказать, мало оживленія въ разсказѣ, добродушно брякнулъ, наконецъ, простякъ-докторъ.

— Это такъ, подтвердилъ Пушинъ:—цыганъ твой философствуетъ, какъ печатная книга, а между тѣмъ...

— Ну, что ты, профанъ, смыслишь! не выдержалъ и буркнулъ Пушкинъ. — Вотъ Илличевскій, — кажется, признанный знатокъ, — читалъ эту самую часть и сравнивалъ меня даже съ Вальтеръ-Скоттомъ.

— М-да... прошамкалъ Илличевскій:—есть нѣкоторое сходство...

— Даже большое, подхватилъ неугомонный докторъ Пешель:—и вы, и Вальтеръ-Скоттъ одинаково наводите изрядную скуку.

Уязвленный романистъ вспыхнулъ до корней волосъ и готовъ ужъ былъ вскочить со стула. Тогда докторъ, смекнувъ, что зашелъ слишкомъ далеко, предупредилъ его и, какъ ребенка, насильно усадилъ опять на мѣсто.

— Ну, полноте, Пушкинъ! Я вѣдь это такъ, сдуру сболтнулъ. — Эге! добавилъ онъ, взглянувъ на часы:— про пациентовъ-то своихъ я и забылъ. До свиданія, господа!

Пушкинъ, конечно, его не удерживалъ и, исподлобья поглядывая на другихъ, перелистывалъ свою рукопись.

— Нѣтъ, докторъ не правъ, вступился теперь за друга своего Дельвигъ.—Въ романѣ очень много ума, хорошихъ мыслей... Не правда ли, Корсаковъ?

— О, да... какъ-то ежась, проговорилъ тотъ и повернулся къ окошку.—Ай, батюшки, какой снѣгъ валить!

Бѣдный авторъ безпомощно покосился на сидѣвшаго рядомъ съ нимъ главнаго цѣнителя, Иконникова.



Но этотъ, нервно ероша себѣ волосы, проворчалъ только:

— Читай дальше!

подавивъ вздохъ, Пушкинъ наскоро налилъ себѣ стаканъ воды, выпилъ его залпомъ и принялся за вторую часть. Но крылья вдохновенія были уже пришиблены; оно не могло подняться до прежней высоты; читалъ онъ неровно: голосовыя струны то и дѣло обрывались минорными тонами. Вторая часть, вмѣсто того, чтобы увѣнчать его торжество, самому ему показалась теперь даже слабѣе первой; а когда онъ произнесъ опять заключительную фразу: «Конецъ второй части», председатель досказалъ подъ тонъ ему:

— «И послѣдней!» Ибо хоть у васъ для десерта и припасенъ еще эпилогъ... такъ, вѣдь?

— Такъ... совсѣмъ упавшимъ голосомъ, чуть слышно пролепеталъ авторъ.

— Но вашего цыгана онъ уже не воскреситъ изъ мертвыхъ; тотъ умеръ и погребенъ на вѣки-вѣчные въ началѣ первой части. Вы, впрочемъ, другъ мой, понапрасну не убивайтесь. Конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается. Будучи поваренкомъ, вы возмнили себя заправскимъ поваромъ и изготовили намъ такую стряпню, что хоть брось. Къ стихамъ есть у васъ несомнѣнный даръ; но въ нихъ — чтò главное? Музыка словъ, гуслирный звонъ. «Стрень-брень, гусельки, золотыя струнушки!» Ну, а для прозы этого маловато. Надо завязку, надо развязку, а первѣе того — житейскую опытность да собственную смекалку. Тутъ надерганными у другихъ сочинителей мыслями не отдѣлаетесь. Я даже скажу вамъ, откуда у васъ чтò. Вы, вѣрно, начитались передъ тѣмъ Шатобріана. Правда?

— Правда... долженъ былъ сознаться уличенный авторъ. — Изъ быта цыганъ я не могъ ничего подыскать, а краснокожіе, которыхъ описываетъ Шатобріанъ, такіе же кочевники...

— То-то, что не такіе же! И вышелъ у васъ, продувной по природѣ, цыганъ честнѣйшимъ краснокожимъ. Читали вы затѣмъ, вѣроятно, «Признанія» Руссо?

— Какъ вы это знаете?

— Все, батенька, знаю. Чую у васъ и струйку Вольтера. Вотъ мой совѣтъ вамъ: оставайтесь покуда при вашихъ гусяхъ; мы васъ всегда съ охотою прослушаемъ и спасибо вамъ скажемъ.

Послѣднихъ доброжелательныхъ словъ эксъ-гувернера Пушкинъ ужъ не дослушалъ: онъ сгребъ въ охапку со стола свой злосчастный романъ и бросилъ его въ пылающую печь. Кто-то изъ лицеистовъ ахнулъ; Иконниковъ же одобрилъ, кивнувъ головой.

— Такъ-то лучше, сказалъ онъ: — сразу сожгли за собой корабли и отрѣзали себѣ отступленіе. Да оно какъ-то и почетнѣе для произведенія ума человѣческаго погибнуть на кострѣ, чѣмъ медленною естественною смертію.

— А гдѣ же мои стихи? хватился Пушкинъ.

— Вѣрно, въ огонь же спровадилъ, отвѣчалъ Дельвигъ, который, предвидя, что и стихи можетъ постигнуть одна участь съ прозой, упряталъ ихъ въ карманъ. — Да не пора ли намъ, господа, и по домамъ!

— Пора, согласился Иконниковъ. — Пусть отдохнетъ наболѣвшее сердце.

Только-что гости, выйдя въ коридоръ, сдѣлали нѣсколько шаговъ, какъ услышали за дверью покинутой камеры грохотъ падающихъ вещей и звонъ разбитой

посуды. Пушкинъ повернулъ—было назадъ, чтобы узнать въ чемъ дѣло, но Иконниковъ удержалъ его:

— Оставьте, не тревожьте.

Затѣмъ онъ обратился къ сторожу-часовому:

— Поди, помоги.

Когда тотъ вошелъ къ Пушкину,—глазамъ его представилась картина полного разрушенія: столъ, два стула и подносъ лежали на полу, а кругомъ, по всей комнатѣ, были разбросаны остатки лакомствъ и осколки графина и стакана. Надо всѣмъ этимъ, какъ Марій на развалинахъ Карѳагена, стоялъ въ мрачномъ раздумьи самъ хозяинъ.

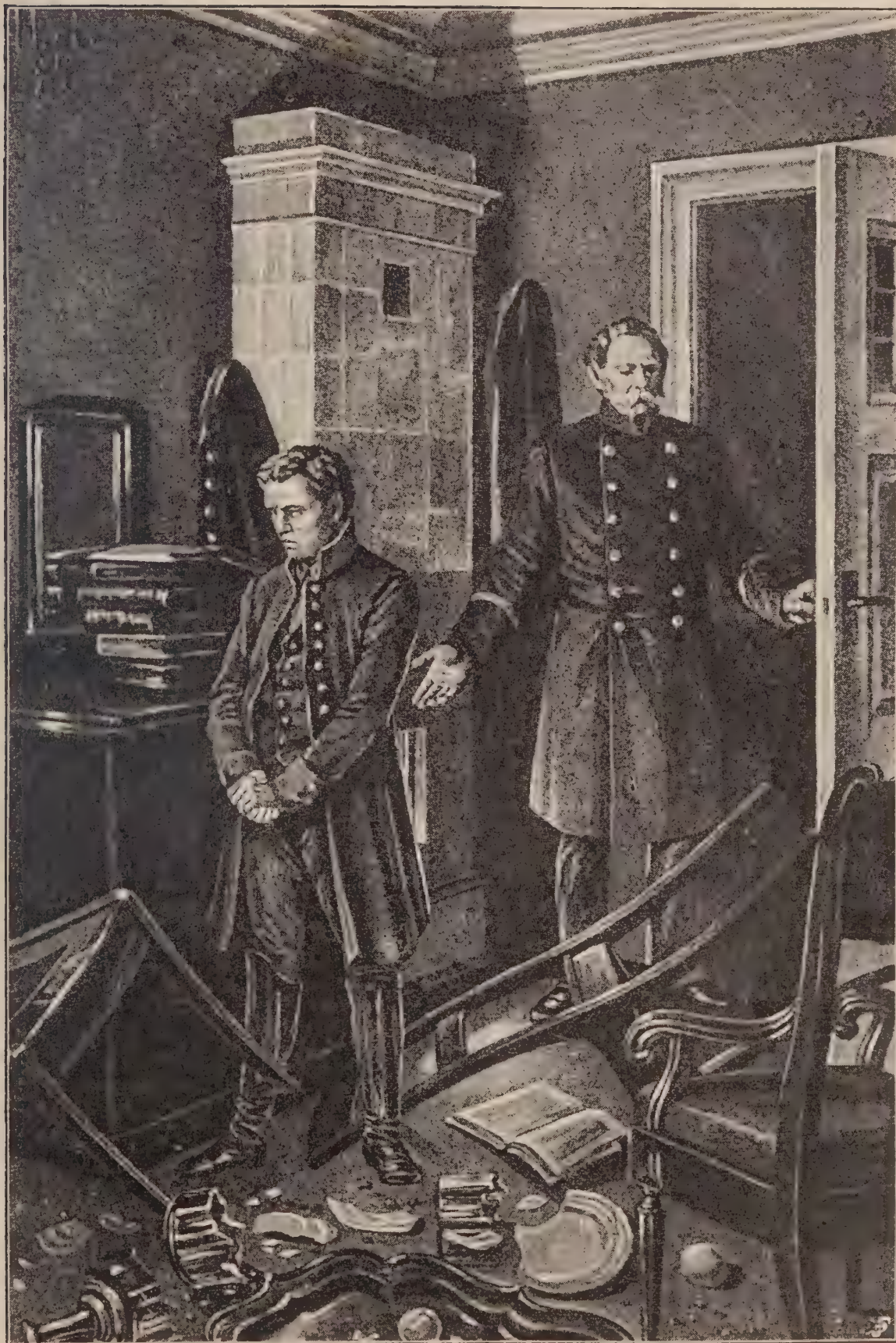
Выждавъ, пока сторожъ подобралъ все съ полу и возстановилъ нѣкоторый порядокъ, Пушкинъ молча указалъ ему на дверь; а когда тотъ вышелъ, онъ схватился обѣими руками за голову и застоналъ, какъ отъ глухой внутренней боли:

— О-о-о!

— Послушай, Пушкинъ, донесся изъ-за стѣны увѣщающій голосъ:—зачѣмъ принимать такъ близко къ сердцу!..

— Замолчи, не говори! крикнулъ Пушкинъ, и, зажавъ ладонями оба уха, забѣгалъ взадъ и впередъ по комнатѣ. Но вслѣдъ затѣмъ, какъ обезсиленный, онъ опустился на стулъ и закрылъ лицо руками. Долго сидѣлъ онъ такъ, съ опущенною головой; но вдругъ, какъ-будто что-то вспомнивъ, вскочилъ опять на ноги, кинулся къ конторкѣ, досталъ со дна ея цѣлый ворохъ своихъ писаній и швырнулъ ихъ въ печь. Съ какою-то злобною радостью слѣдилъ онъ, какъ вспыхнули сперва верхніе листы, какъ потомъ









пламя охватило весь ворохъ и обратило его въ тлѣющую груду пепла...

— А гдѣ же Пушкинъ? спросилъ за ужиномъ дежурный гувернеръ.

— Оплакиваетъ своего «цыгана», отвѣчалъ за другихъ Гурьевъ, который, какъ парень пронырливый, успѣлъ уже провѣдать обо всемъ.

— Неправда! горячо вступился за отсутствующаго друга Пушинъ.—Кто тебѣ сказалъ?

— Слухомъ земля полнится.

Послѣ уже выяснилось, что убравшій камеру Пушкина сторожъ кое-что выдалъ, а объ остальномъ проболтался простодушный Иконниковъ. Понятно, что вѣсть о печальной участи «Цыгана» быстро разнеслась по всему лицу. Товарищи, впрочемъ, были настолько деликатны, что избѣгали вообще заговаривать съ блѣднымъ авторомъ, который нѣсколько дней ходилъ точно больной: блѣдный, понурый, сторонился ото всѣхъ и замыкался въ своей камерѣ, гдѣ, какъ можно было видѣть въ рѣшетчатое окошко, лежалъ на кровати съ закинутыми за голову руками и съ закрытыми глазами. Гурьевъ вздумалъ-было воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы снова къ нему подольститься, и началъ утѣшать его; но Пушкинъ такъ фыркнулъ на непрошеннаго утѣшителя, что тотъ еле ноги унесъ.







## ГЛАВА XXI.

### Книги Веды.

„Учись, мой сынъ: наука сокращаетъ  
Намъ опыты быстротекущей жизни.“

(Борись Годуновъ)

„Передъ гробницею святой  
Стою съ поникшею главой...“

(Къ тѣни полководца).

**К**ромѣ классныхъ журналовъ, куда заносились отмѣтки по отдѣльнымъ урокамъ, каждый профессоръ и гувернеръ велъ свою особую вѣдомость о «дарованіяхъ, прилежаніи и успѣхахъ» воспитанниковъ. Хранились эти вѣдомости за стекломъ, въ одномъ изъ шкаповъ конференцъ-залы, и, по своей таинственности, а быть можетъ и по созвучію словъ, назывались у лицейстовъ «Книгами Веды».

Въ январѣ 1814 года, въ одно воскресное утро, когда всѣ воспитанники отправились къ обѣднѣ въ дворцовую церковь, Гурьевъ, подъ предлогомъ не-

здоровья, не пошелъ съ ними; когда же товарищи вернулись оттуда, онъ съ лукавой улыбкой тихонько зазвалъ къ себѣ въ камеру нѣкоторыхъ изъ нихъ: двухъ ближайшихъ друзей своихъ, Броглио и Ломоносова, да трехъ другихъ, расположенія которыхъ особенно искалъ,—Пушкина, Дельвига и Горчакова.

— Да что у тебя здѣсь? недоумѣвали тѣ, когда онъ плотно притворилъ за ними дверь.

— А чудо-чудное, диво-дивное! отвѣчалъ онъ и съ важностью указалъ на окно:—«Книги Веды»!

На подоконникѣ, въ самомъ дѣлѣ, были въ порядкѣ разложены неприкосновенныя дотолѣ вѣдомости лицейскаго начальства.

— Да кто тебѣ позволилъ, Гурьевъ? удивился Горчаковъ.

— Наивный вопросъ! Развѣ на запретные плоды испрашивается позволеніе?

— Но это можетъ тебѣ и не сойти съ рукъ...

— Сойдетъ! легкомысленно разсмѣялся въ отвѣтъ шалунъ.— Я даромъ, что ли, тебя-то зазвалъ? Ты, какъ щить, меня прикроешь. А теперь, благо ты здѣсь, не хочешь ли взглянуть тоже, что о тебѣ пишутъ?

Прочіе приглашенные, тѣмъ временемъ, съ понятнымъ любопытствомъ наперерывъ уже перелистывали вѣдомости. О Дельвигѣ имѣлся такой отзывъ гувернера Чирикова:

«Насмѣшливъ, упрямъ; впрочемъ, добрѣ и весьма усерденъ; прилежанія посредственнаго. Хладнокровіе—есть особенное его свойство.»

Про Гурьева одинъ надзиратель Пилецкій высказывался одобрительно; профессора же и гувернеры

поголовно признавали его «нерадивымъ, лживымъ и лицемѣрнымъ».

— Вотъ видишь ли, Гурьевъ, что они говорятъ про тебя, кротко замѣтилъ Дельвигъ:—то-же, что мы съ Пушкинымъ говорили уже не разъ. Будь немножко прямѣе, правдивѣе—и всѣ тебя больше полюбятъ.

— Ну, да, хороши и вы оба съ Пушкинымъ! хорохорился Гурьевъ:—записные лѣнтяи!

— Себя я не защищаю, по-прежнему спокойно отозвался Дельвигъ:—но Пушкинъ—другое дѣло; да и въ фальши его ужъ никто не обвинить. Вотъ, смотри, какъ думаетъ о немъ Кайдановъ:

«При маломъ прилежаніи, оказываетъ очень хорошіе успѣхи; а сіе должно приписать однимъ только прекраснымъ его дарованіямъ. Въ поведеніи рѣзвъ, но менѣе прежняго...»

— Особенно со смерти несчастнаго «Цыгана»! не безъ ядовитости вставилъ Гурьевъ.

Сдерживавшійся до сихъ поръ Пушкинъ поблѣднѣлъ и съ сжатыми кулаками подступилъ къ насмѣшнику.

— Какъ ты сказалъ? Повтори!

— А тебѣ пріятно дважды слышать такія любезности? отгрызнулся Гурьевъ, ретируясь за Дельвига.— Ну, что же, баронъ, есть тамъ еще что?

— А вотъ мнѣніе Кошанскаго, отвѣчалъ баронъ, довольный, что можетъ отвлечь вниманіе своего друга отъ обидчика:—ты, Пушкинъ, слушай же, какъ этотъ отзывается:

«Больше имѣетъ понятливости, нежели памяти, больше вкуса къ изящному, нежели прилежанія къ



основательному; почему малое затрудненіе можетъ остановить его, но не удержать; ибо онъ, побуждаемый соревнованіемъ и чувствомъ собственной пользы, желаетъ сравняться съ первыми воспитанниками. Успѣхи его въ латинскомъ языкѣ довольно хороши, въ русскомъ не столько тверды, сколько блистательны».

— Ага! что, не правъ развѣ я? воскликнулъ Гурьевъ.—Даже патронъ его, Кошанскій, находитъ, что успѣхи его «не столько тверды, сколько блистательны». А другіе чествуютъ его еще не такъ! Вотъ хоть Чириковъ:

«Легкомысленъ, вѣтренъ, неопрятенъ, нерадивъ; впрочемъ — добродушенъ, усерденъ; учтивъ, имѣетъ особенную страсть къ поэзіи».

— Что я вѣтренъ—не отрекаюсь, согласился Пушкинъ:—неопрятность же и нерадивость моя вся въ томъ, что тетради у меня въ кляксахъ, а пальцы—въ чернилахъ...

— Да и грива, какъ у дикаго звѣря, всклокочена, непричесана!

— Кудрява, такъ и всклокочена; а чесать ее каждую пять минутъ—слуга покорный!

— Такъ хоть помадилъ бы!

— У льва она тоже никогда ненапомажена! возразилъ, съ своей стороны, Дельвигъ:—а левъ все-же царь звѣрей!

Школьники были такъ заняты своимъ споромъ, что и не замѣтили, какъ дверь отворилась и вошелъ самъ директоръ Малиновскій. Только когда надъ головами ихъ раздался его голосъ: «А что это у васъ тутъ, господа?»—они, какъ отъ удара грома, шарахнулись въ разныя стороны, а Гурьевъ, присѣвъ къ полу, хо-

тѣлъ-было змѣею юркнуть вонъ. Но Малиновскій поймалъ его за шиворотъ и поставилъ передъ собой:

— Вы, милый, куда?.. Откуда у васъ эти вѣдомости?

— Не знаю-съ... кто-нибудь безъ меня принесъ и положилъ... бодрясь, залепеталъ Гурьевъ.

— Стало-быть, не вы?

— О, нѣтъ! ей-Богу, не я! кто-нибудь подсунулъ мнѣ...

— Напрасно вы, конечно, не стали бы божиться, сказалъ Малиновскій и оглядѣлъ кружокъ лицестовъ.—Такъ кто-жъ это изъ васъ, господа? И вы здѣсь, Горчаковъ? Не ожидалъ, признаться.

Горчаковъ готовъ былъ сгорѣть со стыда и, какъ красная дѣвица, потупился. Прочіе также молчали; но недовольные взгляды, которые они кидали исподлобья на Гурьева, выдали директору настоящаго преступника.

— Виновнымъ оказываетесь все-таки вы, Гурьевъ, проговорилъ глубоко возмущенный Малиновскій.— Вы солгали мнѣ!

Тотъ, видя, что попался и не увернется, принесъ повинную.

— Я, право, не хотѣлъ лгать, Василій Ѳеодорычъ...

— А солгали и даже побожились? У васъ, значитъ, нѣтъ ни совѣсти, ни религіи! Вы, что-жъ, взломали шкафъ, гдѣ хранились эти журналы?

— Боже меня упаси! Шкафъ былъ отпертъ...

— Это опять неправда: я самъ его запираю и ключъ всегда ношу при себѣ.

— Я ужъ и не понимаю хорошенько, Василій Ѳеодорычъ, чтò говорю... Я отъ испуга такъ теперь разстроенъ, что на меня точно туманъ какой нашелъ...

— Это бываетъ съ лжецами! Но я помогу вашей памяти. Вы, просто, какой-нибудь ключъ подобрали?

— Ахъ, да! Ключикъ отъ моей конторки приходился къ тому шкапу. «Дай-ка, думаю, не откроется ли?» А тутъ какъ-разъ лежали передо мной эти журналы. «Дай, думаю, возьму ради шутки...»

— Эта шутка вамъ дорого обойдется! Если вы съ подобраннымъ ключемъ добываете то, что положено не для васъ, вы способны на все.

— Въ послѣдній разъ простите! взмолился теперь не на шутку струхнувшій школьникъ.

— «Въ послѣдній разъ» вы уже получили прощенье. Теперь все будетъ зависѣть отъ рѣшенія конференціи.

— Мы всѣ въ этомъ немножко виноваты, Василій Ѳедорычъ, заступился тутъ за товарища Пушкинъ:— намъ тоже хотѣлось узнать, что думаетъ о насъ начальство...

— Такъ вы были съ нимъ заодно?

— Нѣтъ, до сихъ поръ мы ничего объ этомъ не знали.

— И, навѣрное, не сдѣлали бы того, что онъ?

— Нѣтъ!

— Вотъ видите ли: вы сами осудили его.

— Да вѣдь на милость, Василій Ѳедорычъ, образца нѣтъ! А вы столько грѣховъ ужъ намъ простили,— простите же и его еще разъ!

Въ мягкосердомъ Васильѣ Ѳедоровичѣ происходила явная борьба, морщины на лбу его слегка сгладились. Но онъ не счелъ пока возможнымъ уступить безусловно:

— О Гурьевѣ рѣчь впереди, сухо оборвалъ онъ



этотъ разговоръ.—А что касается васъ самихъ, Пушкинъ, то любопытство ваше удовлетворено: вы узнали, какого мнѣнія о васъ начальство...

— Узналъ...

— И нисколько не желали бы измѣнить этого мнѣнія? Всѣ признають, вѣдь, что дарованія ваши незаурядныя, но что прилежаніе ваше оставляетъ желать многоаго. Боюсь, что, когда меня не будетъ съ вами, вы совсѣмъ, пожалуй, какъ Гурьевъ, съ пути собьетесь...

Директоръ не договорилъ: его сталъ душить страшный кашель. Онъ кашлялъ ужъ нѣсколько недѣль, а отъ его сына воспитанники слышали, что онъ сильно страдаетъ грудью; да и сами они не могли не замѣтить происшедшей съ нимъ въ короткое время поразительной перемѣны: онъ исхудалъ, какъ скелетъ, сгорбился, началъ говорить какимъ-то беззвучнымъ, упавшимъ голосомъ, и даже характеръ его, всегда ровный и благодушный, какъ-будто сдѣлался раздражительнѣе. Теперь онъ самъ открыто заявилъ о своемъ опасномъ положеніи.

— Да, друзья мои, сказалъ онъ, когда кончился припадокъ кашля и онъ могъ опять перевести духъ, — скоро, скоро, не сегодня, такъ завтра, меня ужъ не станетъ...

— Чтò вы говорите, Василій Ѳедорычъ! воскликнулъ Горчаковъ, порывисто хватая его за руку.

Малиновскій оглянулся на дверь и продолжалъ, понизивъ голосъ:

— Только сыну Ивану не передавайте, господа. Отъ васъ мнѣ нечего скрывать: смерть стережетъ меня, я это чувствую тутъ, въ разбитой груди. Но, какъ часовой

на своемъ посту, я до послѣдней минуты буду исполнять свой долгъ. И вамъ бы, милые мои, слѣдовало дѣлать то же... Ахъ, Пушкинъ, Пушкинъ! за васъ, признаться, мнѣ больнѣе всего. При вашихъ прекрасныхъ природныхъ задаткахъ вы могли бы пойти очень далеко. А что еще изъ васъ выйдетъ! Возьмите себѣ въ образецъ хоть вотъ этого товарища и друга вашего — Горчакова. Вѣдь онъ другъ вашъ?

— Да, я съ перваго дня полюбилъ его...

— И я тебя тоже, отвѣтилъ съ чувствомъ маленький князь, протягивая ему руку.

— Кажется, всѣ вы, господа, точно такъ же расположены къ князю? продолжалъ Малиновскій.

— Всѣ! былъ единодушный отвѣтъ.

— Ну, вотъ. А это не мѣшаетъ ему пользоваться расположеніемъ и начальства. Такъ-какъ журналы у насъ теперь подъ рукой, то я вамъ прочту, что думаютъ о немъ.

Горчаковъ такъ и оторопѣлъ.

— Помилуйте, Василій Ѳедорычъ...

— Вамъ, другъ мой, конфузно слышать похвалы себѣ? благосклонно усмѣхнулся Василій Ѳедоровичъ. — Ну, что-же, можете покуда выйти въ коридоръ.

— Нѣтъ, умоляю васъ...

— Ступай, ступай! прервалъ его Пушкинъ, по-пріятельски выпроваживая его за дверь.

Между тѣмъ, директоръ, отыскивая въ одной изъ вѣдомостей имя выпровожденнаго, снова раскашлялся и схватился за грудь.

— Нѣтъ, не могу самъ... проговорилъ онъ. — Прочтите за меня, Пушкинъ... Вотъ замѣтка о князѣ гувернера вашего Чирикова.

Пушкинъ прочелъ слѣдующее:

«Благоразуменъ, благороденъ въ поступкахъ, любитъ крайне ученіе, пріятенъ, вѣжливъ, усерденъ, чувствителенъ, кротокъ, но самолюбивъ. Отличительныя его свойства: самолюбіе, ревность къ пользѣ и чести своей и великодушіе.»

— Самолюбіе—не порокъ, а скорѣе добродѣтель, если сопровождается усердіемъ и великодушіемъ, пояснилъ Малиновскій.—И такъ же точно отзываються о Горчаковѣ всѣ профессора. Прочтите, напримѣръ, недавній отзывъ Николая Оедорыча.

Отзывъ профессора Кошанскаго (отъ 15 декабря 1813 года) былъ такой:

«Одинъ изъ немногихъ воспитанниковъ, соединяющихъ многія способности въ высшей степени. Особенно замѣтна въ немъ быстрая понятливость, объемлющая вдругъ и правила, и примѣры, которая, соединяясь съ чрезмѣрнымъ соревнованіемъ и съ какимъ-то благородно-сильнымъ честолюбіемъ, открываетъ быстроту ума въ немъ и нѣкоторыя черты генія. Успѣхи его превосходны.»

— И въ васъ, Пушкинъ (что́ таить!), есть признаки генія, заговорилъ опять Малиновскій:—но успѣхи ваши, увы! далеко «не превосходны». Знаете старую, но золотую пословицу: «корень ученія горекъ, да плоды его сладки?» А вы, вмѣсто того, чтобы углубиться въ этотъ корень, гоняетесь за мыльнымъ пузыремъ—поэзіей.

Дружелюбно-грустный тонъ, которымъ были произнесены эти слова, а еще болѣе, быть можетъ, удрученный болѣзною видъ любимаго директора произвели на Пушкина сильное впечатлѣніе. Къ тому же онъ и



самъ теперь, казалось, махнулъ рукой на поэзію. Онъ поникъ головой и не возразилъ ни слова. Зато, молчаливый въ иное время, Дельвигъ отшутился вмѣсто него:

— Да вѣдь у поэзіи-то, Василій Ѳедорычъ, и корень сладокъ!

— А плоды горьки! подхватилъ собравшійся между тѣмъ съ духомъ Гурьевъ. — Пушкинъ съѣлъ на дняхъ такой грибъ...

— Отъ котораго вы поперхнетесь! рѣзко оборвалъ его Малиновскій. — Извольте-ка идти за мной.

И, захвативъ похищенные вѣдомости, онъ сдалъ шалуна на руки первому, попавшемуся имъ въ коридорѣ дядкѣ, для заключенія въ карцеръ. Оттуда заключенникъ, хотя и былъ дня черезъ два выпущенъ, но только для того, чтобы ужъ навсегда покинуть стѣны лица: согласно рѣшенію конференціи, несмотря на заступничество Пилецкаго, матери неисправимаго школьника было предложено взять его изъ заведенія «по домашнимъ обстоятельствамъ». Кромѣ его самого, никто изъ лицеистовъ не пролилъ ни слезинки по случаю его внезапнаго ухода.

Что же касается Пушкина, то исторія съ «Книгами Веды» должна была имѣть, напротивъ, самыя плодотворныя послѣдствія. Въ теченіи слишкомъ двухъ мѣсяцевъ, профессора не могли нахвалиться его усердіемъ и блестящими отвѣтами, за исключеніемъ, впрочемъ, профессора математики Карцова, наука котораго по-прежнему не давалась Пушкину, такъ-какъ безъ основательной первоначальной подготовки она, какъ зданіе, построенное на рыхломъ пескѣ, не имѣетъ необходимой прочности.

Трудно сказать, насколько времени хватило бы у него этого рвенія, если-бы оно не было разомъ охлаждено роковымъ событіемъ, перевернувшимъ вверхъ дномъ весь бытъ лицейскій: опасенія, высказанныя директоромъ относительно недолговѣчности своей, 23-го марта 1814 года, къ несчастію, оправдались. Утромъ Василій Ѳедоровичъ черезъ силу зашелъ въ классы, а вечеромъ его уже не стало.

Подобно своему здоровью и благополучію, мы до тѣхъ поръ не знаемъ цѣны милымъ намъ людямъ, пока ихъ вдругъ не лишимся. Вѣтренику Пушкину никогда и въ голову не приходило давать какую-нибудь цѣну заботамъ о немъ Малиновскаго, и только послѣ знаменательнаго разговора по поводу «Книгъ Веды» въ немъ проснулось сознаніе объ этой заботливости. Теперь же, когда угасъ навсегда человѣкъ, въ рукахъ котораго была вся его дальнѣйшая судьба, ему сдавалось, что солнце на небесахъ мгновенно потухло и весь міръ охватила одна непроглядная тьма. За гробомъ онъ шелъ объ руку съ старшимъ сыномъ покойнаго, лицеистомъ Иваномъ Малиновскимъ, который былъ ему теперь ближе всѣхъ другихъ пріятелей и друзей. Когда дорогій имъ обоимъ прахъ стали опускать въ мерзлую землю, бѣдный сынъ истерически разрыдался: «О, Боже, Боже! за что Ты такъ жестоко наказалъ меня!» Ноги у него подкосились и онъ готовъ былъ, кажется, ринуться стремглавъ вслѣдъ за отцомъ. Но твердая рука удержала его — рука Куницына, стоявшаго рядомъ съ нимъ, по другую сторону; убитый же духъ его молодой профессоръ старался поднять и оживить словами разума и вѣры:

— Не забудьте, другъ мой, что вы, какъ старшій

братъ, теперь единственная опора вашей семьи. Утрата ваша безмѣрна, но роптать на Бога вамъ грѣшно: можете ли вы знать, для чего Онъ ниспослалъ вамъ это горькое испытаніе? Когда вы были еще малымъ ребенкомъ, вы не понимали вѣдь всѣхъ требованій вашего отца, но слѣпо повиновались ему, потому что вѣрили, что онъ дурному васъ не научить. Вѣрьте же, что и Всевышній Отецъ вашъ не даромъ причинилъ вамъ эту глубокую скорбь, что такъ нужно было.

И рыданія безутѣшнаго сына понемногу утихли; улеглось и глухое отчаянье Пушкина, не пропустившаго ни одного слова утѣшителя. Но энергія въ немъ была уже потрясена; уроки пошли съ этихъ поръ опять кое-какъ. Да и профессора, впрочемъ, относились теперь къ своему дѣлу какъ-то равнодушнѣе: бразды управленія лицеемъ, выпавъ изъ мягкихъ, но опытныхъ рукъ покойнаго директора, вообще поослабли.

— Что-то будетъ? кого дадутъ намъ? озабоченно толковали между собой и профессора, и лицеисты.

— Хуже будетъ! вздыхалъ Пушкинъ, — втораго Василья Ѳедорыча намъ не найти!

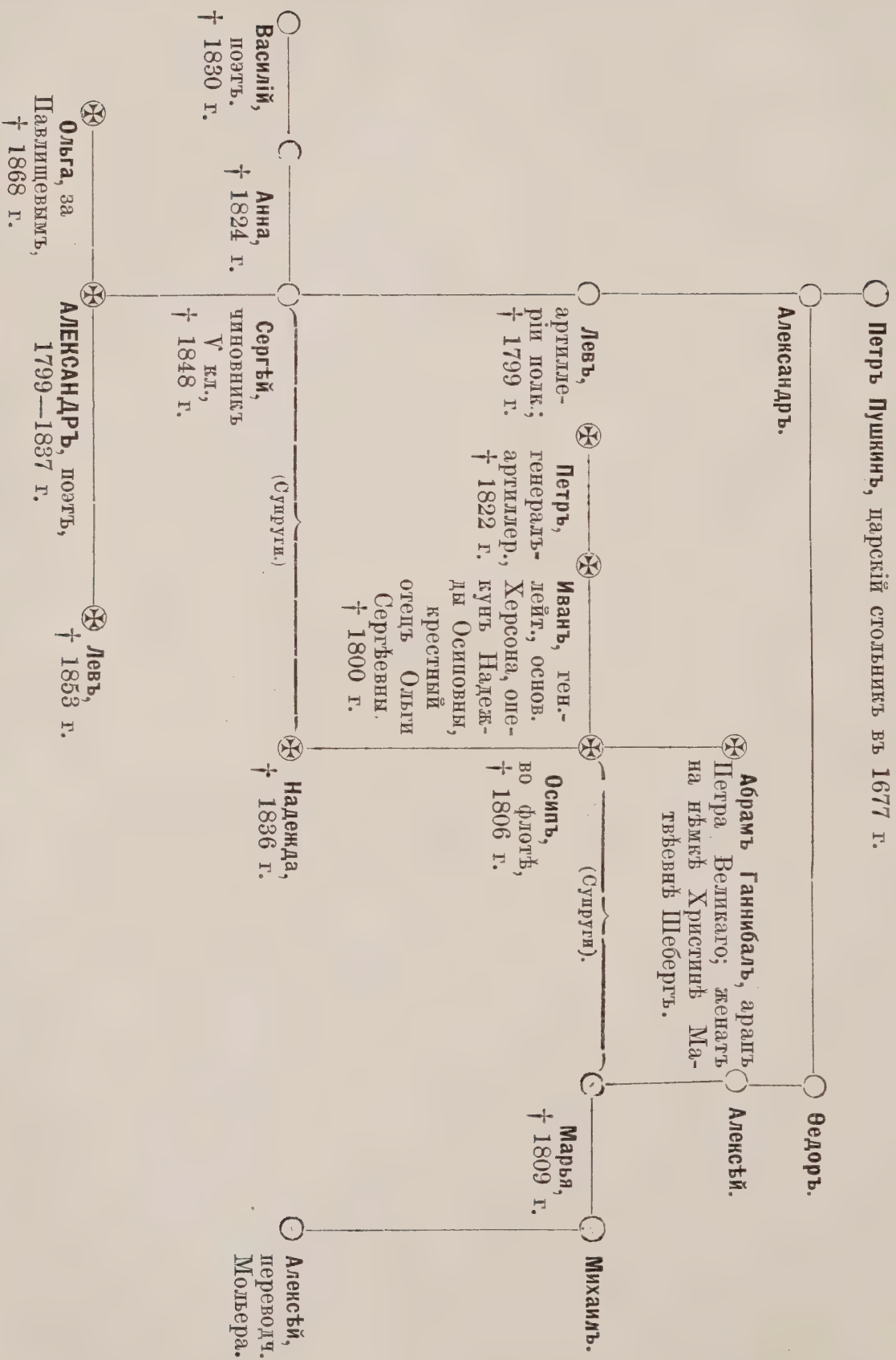
Онъ былъ правъ. Настала для лицея самая тяжелая, безотрадная пора — пора безначалія, «междущарствія» (какъ называли ее впослѣдствіи), продолжавшаяся безъ малаго два года. Благодаря ненормальнымъ условіямъ этого «междущарствія», отроки-лицеисты преждевременно созрѣли, обратились въ юношей-скоропѣлокъ; но за то и цвѣтъ молодой Музы нашего будущаго великаго поэта распустился ранѣе и пышнѣе, чѣмъ то было бы при обыкновенныхъ условіяхъ.

Этому второму, юношескому періоду лицейской жизни Пушкина мы посвятили отдѣльную повѣсть.





# РОДОСЛОВНАЯ А. С. ПУШКИНА.



## П Е Р Е Ч Е Н Ь

главнѣйшихъ сочиненій, послужившихъ матеріаломъ для настоящей повѣсти.

- 1) Сочиненія А. С. Пушкина и, особенно, „Записки“ его.
- 2) „А. С. Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи“. П. В. Анненкова. 1873. г.
- 3) „А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху. 1799—1826 г.“ П. Анненкова. 1854. г.
- 4) „Родъ и дѣтство Пушкина“. П. Бартенева. („Отеч. Записки“, 1853 г. № 11).
- 5) „А. С. Пушкинъ въ дѣтствѣ“. М. Макарова. („Современникъ“ 1843 г. № 3).
- 6) „А. С. Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи“. П. Бартенева. Глава I. Дѣтство. —Глава II. Лицей. („Московскія Вѣдомости“ 1854 г., №№ 71, 117—119).
- 7) „Сельцо Захарово“. Н. Берга. („Москвитянинъ“ 1851 г., № 9).
- 8) „А. С. Пушкинъ, его жизнь и сочиненія“, изд. 1864 г.
- 9) „Къ біографіи Пушкина. Выдержки изъ записной книжки“. М. И. Семевского. („Русскій Вѣстникъ“ 1869 г., № 11).
- 10) „Альбомъ Пушкинской выставки 1880 г.“, изд. Общ. Любит. Росс. Словесности, подъ редакціею Л. Поливанова, 1882 г.
- 11) „Записки И. И. Пущина о дружескихъ связяхъ его съ Пушкинымъ“. („Атеней“ 1859 г., № 8).
- 12) „Пушкинъ въ лицей и его лицейскія стихотворенія“. В. Гаевского. („Современникъ“ 1863 г., №№ 7 и 8).
- 13) „Памятная книжка Императорскаго Александровскаго лицея“. 1856 г.
- 14) „Историческій очеркъ Императорскаго бывшаго царскосельскаго, нынѣ Александровскаго лицея“. И. Селезнева. 1861 г.
- 15) „Старина царскосельскаго лицея“. Я. Н. Грота. („Русскій Архивъ“ 1875 г., № 4).
- 16) „Воспоминанія лицеиста. („Русскій Архивъ“ 1866 г.).
- 17) „Извлеченія изъ писемъ Илличевского“. („Русскій Архивъ“ 1864 г.).
- 18) „Дельвигъ.“ В. Гаевского. („Современникъ“ 1853 г., № 2).
- 19) „В. К. Кюхельбекеръ. 1797—1846“. Ю. В. Кусова и М. В. Кюхельбекера. („Русская Старина“ 1875 г., № 7).
- 20) „В. Л. Пушкинъ.“ Біограф. очеркъ В. П. Авенариуса. („Историческій Вѣстникъ“ 1882 г., № 3).
- 21) „А. И. Тургеневъ.“ И. И. Срезневскаго. („Русская Старина 1875 г., № 3).

- 22) „Генераль-аншефъ Авр. Петр. Ганнибалъ (арапъ Петра Великаго“). **М. Д. Хитрова.** („Историч. статьи“ его, 1873 г.).
- 23) „Обозрѣніе жизни и царствованія императора Александра Перваго “ **Н. Путьяты.** („XIX вѣкъ“ 1872 г., книга 1-я).
- 24) „Императоръ Александръ 1 въ воспоминаніяхъ Шуазель-Гуфье.“ („Русская Старина“ 1877 г., № 12).
- 25) „Воспоминанія перваго камеръ-пажа великой княгини Александры Теодоровны“, между прочимъ, объ императорѣ Александрѣ I („Русская Старина“ 1875 г., № 4).
- 26) „Полное собраніе сочиненій“ **А. И. Михайловскаго-Данилевскаго**, 1850. Т. IV и V. (Отечественная война 1812 года).
- 27) „Записки о 1812 годѣ **Сергѣя Глинки**, перваго ратника московскаго ополченія.“ 1836.
- 28) „Н. Н. Раевскій.“ **Н. М. Орлова.** („Русская Старина“ 1874, № 9).
- 29) „О Мѣдномъ Всадникѣ А. С. Пушкина.“ **П. Бартенева.** („Русскій Архивъ“ 1877 г., № 8).
- 30) „Выдержки изъ старыхъ бумагъ Остафьевскаго архива.“ Письма къ князю П. А. Вяземскому по поводу войны 1812 года („Русскій Архивъ“ 1866 г.).
- 31) „Разказы о русской старинѣ.“ **С. Н. Шубинскаго.** 1871.
- 32) „Записки современника съ 1802 по 1809 годъ. Ч. I. Дневникъ студента.“ (**С. П. Жихарева**). 1859.
- 33) „Выдержки изъ старой записной книжки, въ 1812 г.“ Князя **П. А. Вяземскаго.** („Русскій Архивъ“ разныхъ годовъ).
-



Въ книжномъ магазинѣ П. В. ЛУКОВНИКОВА,

С.-Петербургъ, Лештуковъ пер., уголъ Фонтанки, д. № 2—80,

И У ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ КНИГОПРОДАВЦЕВЪ

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ

**В. П. АВЕНАРИУСА:**

I.

**«Васильки и Колосья».**

Разказы и очерки для юношества. Съ 22-мя портретами и рисунками. Цѣна 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р. Учебнымъ Комитетомъ вѣдомства Императрицы Маріи рекомендована для ученическихъ библіотекъ старшаго и средняго возраста среднихъ учебныхъ заведеній, и Учебнымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщенія допущена въ ученическія для младшаго возраста библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

Отзывы печати: «Съ истиннымъ удовольствіемъ прочли мы сборникъ В. П. Авенаріуса. Чтеніе этой книги вполне подтверждаетъ справедливость положенія, которое не разъ высказывалось нами, что «только талантливые писатели могутъ писать хорошія вещи для юношества и для дѣтей, и что написанная вещь для юношества и для дѣтей будетъ читаться съ интересомъ и взрослымъ». Имя г. Авенаріуса давно уже извѣстно въ нашей литературѣ, а также и въ литературѣ для дѣтей, и о талантѣ его нечего распространяться; мы ограничимся здѣсь лишь замѣчаніемъ, что въ разсматриваемомъ сборникѣ, въ незатѣйливыхъ по большей части разказахъ, выказалась въ особенномъ блескѣ замѣчательная способность автора увлекательно разсказывать. Г. Авенаріусъ, пересказывая даже чужіе разказы («Дѣтскіе годы Моцарта», «Сказаніе о Фритіофѣ» и др.), дѣлаетъ это такъ искренно и тепло, какъ будто-бы самъ видѣлъ и испыталъ все разсказанное, и это придаетъ такую обаятельность простому въ сущности пересказу, что, начавъ читать, положительно едва можешь оторваться отъ книги. Лучшими и болѣе крупными вещами въ сборникѣ являются произведенія самого автора: «Меньшой потѣшный», «На Яйлѣ», «Чѣмъ былъ для Гоголя Пушкинъ», «М. Ю. Лермонтовъ». Несомнѣнно, что «Васильки и Колосья» займутъ подобающее имъ мѣсто въ ученическихъ библіотекахъ, а также обратятъ на себя вниманіе всѣхъ родителей, заботящихся о разумномъ чтеніи своихъ дѣтей». («Образованіе».)

Г. Авенаріусъ принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ русскихъ писателей, которые своими сочиненіями доказали возможность существованія у насъ настоящей литературы для дѣтства и юношества, чуждой слащавыхъ и приторныхъ приемовъ, составляющихъ отличительный признакъ этого рода литературныхъ произведеній. Изданный теперь г. Авенаріусомъ сборникъ разказовъ и

очерковъ для юношества отличается тѣми-же существенными достоинствами, какъ и прежнія произведенія того-же автора, а именно: занимательною, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и серьезною обработкою темы, такъ что почти всѣ эти рассказы могли бы не безъ достоинства занять мѣсто и въ сборникахъ для взрослыхъ читателей. Сборникъ, украшенный множествомъ рисунковъ, изданъ во всѣхъ отношеніяхъ такъ изящно, какъ заслуживаютъ того книги, назначаемыя для подарковъ». («Новое Время».)

## II.

### «Дѣтскія сказки».

Новое, дополненное изданіе, съ рисунками Н. Н. Каразина и др. Въ это изданіе вошли избранныя, наиболѣе удачныя простонародныя и иностранныя сказки изъ прежняго изданія «Тридцать лучшихъ новыхъ сказокъ», а также «Сказка о Муравьѣ-Богатырѣ», «Что комната говоритъ», и «Сказка о Пчелѣ-Мохнаткѣ». Послѣднія двѣ удостоены каждая первой преміи С.-Петербургскаго Фребелевскаго общества. Ц. въ бумажкѣ 1 р. 25 к., въ красной папкѣ 1 р. 50 к., въ коленкор. перепл. съ золот. 2 р. *Одобрены Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ библіотекъ младшаго возраста средн. учебныхъ завед. и городскихъ училищъ; *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи допущены для приобрѣтенія въ библіотеки низшихъ и среднихъ классовъ училищъ вѣдомства.

**Отзывы печати:** «Авторъ этой книги хорошо извѣстенъ своей прекрасной и широко распространенной «Книгою былинъ». Новая книга его состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: 1) оригинальныя сказки: «Сказка о Муравьѣ-Богатырѣ», «Сказка о Пчелѣ-Мохнаткѣ» и «Что комната говоритъ»; 2) пересказы русскихъ простонародныхъ сказокъ и 3) пересказы иностранныхъ сказокъ. Лучшимъ отдѣломъ надо безспорно считать первый. Эти сказки «оригинальныя» въ полномъ смыслѣ этого слова; въ нихъ сказывается замѣчательный талантъ автора сочетать сказочный интересъ, быструю смѣну дѣйствій, живость рассказа съ дѣловитостью. Притомъ рассказы проникнуты добродушнымъ юморомъ, вполне доступнымъ дѣтямъ; наконецъ, юные читатели встрѣчаютъ безпрепятственно вполне здравые и нравственные взгляды, которые естественно вытекаютъ изъ хода дѣйствія, а это, конечно, не то, что докучливая голая мораль, которою такъ часто донимаютъ дѣтей многіе писатели и писательницы дѣтскихъ рассказовъ. Пересказы русскихъ простонародныхъ сказокъ тоже очень удачны, иностранныя сказки почти всѣ граціозны и остроумны. Книга издана весьма изящно, на прекрасной бумагѣ, четкимъ шрифтомъ, украшена множествомъ рисунковъ, и ее можно рекомендовать какъ прекрасный подарокъ дѣтямъ». («Женское Образованіе»).

«Отличительная черта Авенариуса, какъ дѣтскаго писателя,—это стремленіе избѣгнуть того условно-дѣтскаго языка и условно дѣтской морали, которое для сколько нибудьмышленныхъ дѣтей дѣлаютъ такъ непривлекательной огромную часть нашей дѣтской литературы. Авенариусъ старается обработать выбираемые имъ сюжеты по возможности «взросло» и сообщать дѣтямъ, на сколько это доступно ихъ пониманію, вполне «взрослую» мораль. Такъ, напр., наиболѣе популярная сказка А.—«Пчела-Мохнатка» старается разъяснить юнымъ читателямъ, что высшая задача человѣка на землѣ—трудиться для блага общаго». («Критико-біогр. словарь русск. писателей и ученыхъ» С. Венгерова).



### III.

#### «Листки изъ дѣтскихъ воспоминаній».

Десять автобіографическихъ разсказовъ. Съ портретомъ автора, гравированнымъ на деревѣ Кизелемъ въ Берлинѣ, и съ 14 отдѣльными рисунками Н. П. Загорскаго и Т. И. Никитина. Цѣна 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплетѣ 2 р.

### IV.

#### Молодильныя яблоки.

Сказка-поэма. Съ рисунками. Ц. 10 к. *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи допущена въ ученическія библіотеки среднихъ и низшихъ классовъ средн. учебныхъ заведеній

### V.

#### «Отроческіе годы Пушкина».

Біографическая повѣсть. Изд. 3-е, съ рисунками и портретомъ Пушкина Цѣна 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р. Въ первомъ изданіи одобрено *Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ и фундаментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній мужскихъ и женскихъ. *Рекомендовано Главнымъ Управ. еніемъ* военно-учебныхъ заведеній, *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи для чтенія въ трехъ старшихъ классахъ, а также для подарковъ.

**Отзывы печати:** «Счастливая мысль—нарисовать въ живыхъ образахъ, на основаніи точныхъ біографическихъ данныхъ и историческихъ источниковъ, дѣтство и отрочество великаго поэта—выполненная авторомъ съ большимъ успѣхомъ. Повидимому, книга его назначена для юношескаго возраста, но живость изложенія, масса интересныхъ бытовыхъ и фактическихъ подробностей изъ жизни нашего вѣка, рельефно очерченная личность Пушкина въ средѣ его товарищей—даютъ книгѣ этой право на болѣе широкій и зрѣлый кругъ читателей. Нѣкоторыя главы ея, напр. «Война 1812 г.», или «Открытіе лица», представляютъ собою маленькія историческія картинки, написанныя съ большимъ умѣніемъ. («*Вѣстникъ Европы*»).

«Написать повѣсть для дѣтей, хотя-бы и старшаго возраста, изъ жизни Пушкина—не могло не казаться дѣломъ рискованнымъ, трудно выполнимымъ. Многіе несомнѣнно отнеслись недовѣрчиво къ предпріятію, изъ котораго однако, г. Авенаріусъ вышелъ съ честью. Все, что говоритъ и дѣлаетъ Пушкинъ, характеристика его товарищей, гувернеровъ, учителей, прислуги лица, директора



Малиновскаго, дяди поэта, А. И. Тургенева, А. К. Разумовскаго и другихъ лицъ, — основано на документальныхъ свидѣтельствахъ того времени. Такой-же исторической и археологическою точностію отличается описаніе лица, его открытія, товарищескихъ бесѣдъ и шалостей, первыхъ литературныхъ попытокъ изданія лицейскихъ журналовъ, неудачной театральной попытки, заключеніе поэта въ карцеръ съ пятью товарищами» («*Историч. Вѣстникъ*».)

## VI.

### Сказка о Муравьѣ-Богатырѣ.

Разсказъ для дѣтей. Съ рисунками Н. Н. Каразина. Новое 4-е изд. Цѣна 50 к. Ученымъ Комитетомъ вѣдомства учреждений Императрицы Маріи допущена въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

## VII.

### «Юношескіе годы Пушкина».

Біографическая повѣсть. Изд. 2-е, съ 6-ю портретами и 3-мя картинками. Цѣна 1 р. 75 к., въ папкѣ 2 р., въ изящномъ коленкор. переплетѣ 2 р. 50 к. Въ первомъ изданіи одобрено Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщенія для ученическихъ и фундаментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній мужскихъ и женскихъ, и Учебнымъ Комитетомъ вѣдомства Императрицы Маріи для ученическихъ библіотекъ старшихъ классовъ. Рекомендована Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній.

Отзывы печати: «Вотъ въ полномъ смыслѣ слова «историческая повѣсть»: тутъ все вѣрно исторіи и ея документамъ: тутъ встаютъ въ воображеніи читателя живыя лица и заставляютъ переживать съ ними описываемыя талантливымъ авторомъ событія; тутъ все полно интереса, приковывающаго вниманіе читателей. Ей—это мы предсказываемъ съ полною увѣренностію—предстоитъ сдѣлаться одною изъ любимѣйшихъ книгъ русскаго юношества». («*Русскія Вѣдомости*».)

«Отъ повѣсти г. Авенаріуса вѣетъ любовью къ Пушкину и его сверстникамъ, описываемымъ въ книгѣ, вѣетъ бодростію и свѣжестью, свойственными молодости. Читается эта книга съ интересомъ не только внѣшнимъ, которымъ она обязана бойкости пера г. Авенаріуса, — нѣтъ, тутъ дѣти находятъ и внутренній интересъ, пріобрѣтаютъ серьезныя и обстоятельныя свѣдѣнія о молодости родного поэта, которыя очень и очень пригодятся имъ для уясненія его творчества и развитія въ немъ поэтическаго генія. Скажемъ болѣе: повѣсть г. Авенаріуса по своей глубокой, такъ сказать, историчности должна занять одно изъ первыхъ мѣстъ не только въ литературѣ, но ей предстоитъ занять весьма почтенное мѣсто среди серьезныхъ историко-литературныхъ изслѣдованій. («*Русская Мысль*».)

---

## Книги, составленные А. Н. Острогорскимъ:

**По бѣлу-свѣту.** Сборникъ разсказовъ. Изданіе 3-е, исправл., съ рисунк. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ коленк. переп. съ золотомъ 1 р. 60 к. *Одобрено Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній. *Рекомендовано* для ученическихъ библіотекъ младшихъ и среднихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній вѣдомства учреждений Императрицы Маріи, а также *для подарковъ*.

**У рабочихъ людей.** Сборникъ разсказовъ. Изд. 3-е, исправл., съ рисунк. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ коленкоровомъ переплетѣ съ золотомъ 1 р. 60 к. *Одобрено Ученымъ Ком. М-ва Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ библіотекъ гимназій и училищъ мужскихъ и женскихъ и для *наградъ учащимся*. *Рекомендовано* для ученическихъ библіот. младш. и средн. классовъ среднихъ учебн. заведеній вѣдомства учреждений Императрицы Маріи, а также *для подарковъ*.

**Въ своемъ кругу.** Повѣсти и разсказы. Изд. 3-е, исправл., съ рисунк. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ коленкор. перепл. съ золот. 2 р. *Одобрено Ученымъ Ком. М-ва Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ (младш. возр.) библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. *Рекомендовано* для училищныхъ библіотекъ младшихъ и среднихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній вѣдомства учреждений Императрицы Маріи, а также *для подарковъ*.

**Дѣтскій альманахъ.** Сборникъ разсказовъ. Изд. 3-е, исправл., съ рисунк. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ колен. перепл. съ зол. 1 р. 60 к. *Одобрено Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщ.* для ученич. биб. младш. возр. гимназій и училищъ мужскихъ и женскихъ. *Рекомендовано* для ученическихъ библіотекъ младшихъ и среднихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній вѣдомства учреждений Императрицы Маріи, а также *для подарковъ*.

**На досугѣ.** Этюды по естествознанію. Съ рисунк. Изд. 2-е. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ переплетѣ съ золотомъ 1 р. 60 к. *Одобрено Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученич. библіотекъ средн. и низшихъ учебныхъ заведеній.

**Среди природы.** Съ рисунками. Изд. 3-е, исправленное. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ коленкоров. перепл. съ золот. 2 р. Значится въ каталогѣ ученич. библіотекъ *среднихъ учебныхъ заведеній* вѣдомства Мин. Народ. Просв.

### Отдѣльные выпуски разсказовъ изъ книгъ А. Н. Острогорскаго:

**Альпійская горная область,** разсказъ. Ц. 10 к. **Восхождение Соссюра на Монбланъ.** Ц. 10 к. *Одобрены Ученымъ Ком. Мин. Нар. Пр. свѣщенія* для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній. **Листокъ бумаги и Старья книги,** два разсказа. Ц. 10 к. **Безпокойная ночь,** разсказъ. Ц. 10 к. **Георгъ Краббъ,** англійскій поэтъ. Ц. 10 к. *Одобрены Учен. Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ библіотекъ младш. возр. гимназій и училищъ мужскихъ и женскихъ. **Прерванная вечеринка,** разсказъ. Ц. 10 к. **Дробинка,** разсказъ. Ц. 10 к. **Рыбы,** два разсказа. Ц. 10 к. **Рыбаки на Волгѣ,** три разсказа. Ц. 10 к. *Одобрены Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ (младш. возр.) библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. **Друзья и враги сельскаго хозяина,** разсказъ. Ц. 10 к. *Допущено Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ (младш. возр.) библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. **Польза прирученія животныхъ,** разск. Ц. 10 к. **Первобытные лѣса,** разск. Ц. 10 к. *Ученымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ* допущены къ приобрѣтенію въ ученическія библіотеки мужскихъ духовныхъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ въ качествѣ книгъ для дѣтскаго чтенія. **Ясный и пасмурный дни,** разсказъ. Ц. 10 к. **Огнедышущія горы,** разсказъ. Ц. 10 к. **Снѣгъ,** разсказъ. Ц. 10 к. **Какъ узнали люди, что и воздухъ имѣетъ вѣсъ,** разсказъ. Ц. 10 к. **Электричество, громъ и молнія,** два разсказа. Ц. 10 к. **Что придумали люди, чтобы не бояться грозы;** разсказъ. Ц. 10 к. **Родникъ,** разсказъ. Ц. 10 к. **Смерчъ,** разсказъ. Ц. 10 к.

Допущены Ученымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ къ приобрѣтенію въ ученическія библіотеки мужскихъ духовныхъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ въ качествѣ книгъ для дѣтскаго чтенія.

Всѣ шесть книгъ Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній *рекомендованы* для военно-учебныхъ заведеній.



**Актеа.** Повѣсть изъ древней греческой и римской жизни, *Е. Сисоевой*. Съ 2-мя рисунками. Изданіе 2-е, исправленное. Цѣна 50 к., въ папкѣ 70 к., въ коленкор. переплетѣ съ золот. 1 р. Допущена *Учебнымъ Комит. Мин. Нар. Просвѣщ.* въ ученическія библіотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. *Рекомендована Главнымъ Управленіемъ* военно-учебныхъ заведеній.

**Вороненокъ.** Разсказъ въ стихахъ, *В. Буша*. Переводъ съ послѣдн. нѣмецкаго изданія. Съ рисунками. Ц. въ папкѣ 75 к., въ коленкоров. перепл. 1 р. 25 к.

**Двѣ собачки.** Разсказъ въ стихахъ, *В. Буша*. Перев. съ послѣдняго нѣмецкаго изданія. Съ рисунками. Ц. въ папкѣ 75 к., въ коленкоров. перепл. 1 р. 25 к.

**Дѣтскій сборникъ.** Разсказы для дѣтей, *В. М. Сорокина*, съ рисунками. Изд. 3-е, исправленное. Ц. 75 к., въ красив. папкѣ 1 р., въ коленкор. переплетѣ съ золот. 1 р. 35 к.—Первое изданіе значится въ каталогѣ книгъ, одобренныхъ *Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просв.* для ученическихъ библіотекъ.

**Иллюстрированные романы** Вальтера Скотта, томъ XI, **Аббатъ**. Съ 2 карт. и 37-ю политип. въ текстѣ. Ц. 2 р. 50 к. *Одобренъ Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.* для приобрѣтенія въ фундаментал. и ученическія библіотеки гимназій (мужск. и женск.), реальныхъ училищъ, учительск. институтовъ и семинарій.

**Иллюстрированный сборникъ** описаній интересныхъ явленій въ области природы, наукъ и искусствъ. Ц. 1 р., въ коленк. перепл. 1 р. 60 к.

**Маленькіе чистильщики улицъ.** Разсказъ изъ книги „Дѣтскій Сборникъ“. *В. М. Сорокина*. Ц. 10 к.

**Новые разсказы и сказки для дѣтей.** Сост. *А. Коваленская*. Съ 10-ю отдѣльными большими картинами и др. рисунками. Ц. 1 р. 75 к., въ красивой папкѣ 2 р., въ переплетѣ съ золотомъ 2 р. 50 к.

**Полное собраніе сказокъ Андерсена.** Съ картинами, въ красивыхъ папкахъ: т. 1-й, переводъ *Петра Вейнберга*, издан. 6-е. Цѣна 1 р. 75 к.; т. 2-й, перев. *Марка Вовчка*, издан. 4-е. Ц. 2 р.; т. 3-й, переводъ *С. Майковой*, изд. 2-е, съ портретомъ автора и рисунками. Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к.

**Отдѣльно изданныя сказки изъ III-го тома:** «Злой принцъ», съ рисункомъ. Ц. 10 к.; «Золотой кладъ», съ рисункомъ. Ц. 10 к.; «Камень мудрости», съ рисункомъ. Ц. 10 к. «Садовникъ и его господинъ», съ рисункомъ. Ц. 10 к., и «Сидень», съ рисункомъ. Ц. 10 к.

**Разскажите мнѣ что-нибудь и покажите картинки.** Сост. *В. Андреевская*. Со множествомъ рисунковъ. Ц. 1 р. 25 коп., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ коленкоровомъ переплетѣ съ золотомъ 2 руб.

**Разсказы о Петрѣ Великомъ.** *В. М. Сорокина*. Съ рисунками и портретомъ Петра Великаго. Изд. 2-е, исправленное. Ц. 45 к., въ папкѣ 65 к., въ коленкор. перепл. съ золот. 1 р.—*Допущено Ученымъ Комит. Мин. Народ. Просв.* для ученическихъ библіотекъ народныхъ училищъ.

**Семь новыхъ сказокъ.** Сост. *А. Коваленская*. Съ отдѣльными картинами и друг. рисунками. Изданіе 2-е, Ц. 1 р. 25 к., въ красивой папкѣ 1 р. 40 к., въ переплетѣ съ золотомъ 1 р. 60 к.

**Школьный Шекспиръ.** Біографія Шекспира. Гамлетъ, принцъ Датскій. Критическія статьи Бѣлинскаго и Тургенева о Гамлетѣ. Съ портретомъ Шекспира и 9 другими рисунками. Изданіе 2-е. Ц. 1 р., въ коленкор. перепл. съ золот. 1 р. 60 к. *Допущ. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.* въ ученическ. библ. для высшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній.

**Вокругъ свѣта въ одиннадцать дней.**

Путевыя записки *Анны Брассей*. Въ переводѣ *Н. И. Познякова* (автора книгъ: «Почитать-бы», «Товарищъ» и др.). Съ картинами и рисунками. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ коленкоровомъ переплетѣ съ золотомъ 1 р. 60 к.

**Отзывы печати:** «Г-жа Брассей первая женщина, рѣшившаяся предпринять кругосвѣтное плаваніе. Путешествіе свое она совершила на собственной яхтѣ, и, какъ результатъ поѣздки, представила, вернувшись домой въ Англію, свои подробныя путевыя записки, полныя живаго интереса. Книжку эту прочтутъ, несомнѣнно, съ удовольствіемъ и взрослый, и юноша, и подростокъ». («Од. Л.»)







Пушкинъ-лицеистъ.

# ЮНОШЕСКІЕ ГОДЫ ПУШКИНА.

БІОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ

В. П. А в е н а р і у с а.

---

„Пока не требуетъ поэта  
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,  
Въ заботахъ суетнаго свѣта  
Онъ малодушно погруженъ...

„Но лишь божественный глаголъ  
До слуха чуткаго коснется,—  
Душа поэта вострепнется,  
Какъ пробудившійся орелъ“.

(Поэтъ.)

---

Изданіе второе.

Въ первомъ изданіи одобрено Ученымъ Комит. Мин. Нар. Просвѣщенія и  
Учебнымъ Комитетомъ вѣдомства Императрицы Маріи.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе Книжнаго Магазина П. В. Луковникова.

Лештуковъ переулкъ, № 2—80.



Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 20 Мая 1893 г.

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

---

Настоящая повѣсть, сама по себѣ составляя законченное цѣлое, вмѣстѣ съ тѣмъ служить прямымъ продолженіемъ и окончаніемъ другой моей повѣсти: «Отроческіе годы Пушкина». Хотя обѣ и предназначены для юношества, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы онѣ не могли имѣть и общаго интереса. Обстоятельныхъ біографій Пушкина до сихъ поръ ни одной не существуетъ. Двѣ біографическія повѣсти мои, правда, захватываютъ также только лицейскій періодъ жизни поэта, и самая форма моего разсказа беллетристическая; но, какъ показываетъ уже приложенный въ концѣ книги перечень бывшихъ въ моемъ распоряженіи матеріаловъ, я старался не упустить изъ виду ни одного факта, ни одной личности, имѣвшихъ вліяніе на развитіе характера и таланта Пушкина-лицеиста. Беллетристическую форму я предпочелъ потому, что она, какъ болѣе доступная, могла разсчитывать на большее число читателей, а стало быть, —принести и бѣольшую пользу. Задача моя — возможно живо и правдоподобно описать молодость нашего великаго поэта до перваго крупнаго его произведенія: «Руслана и Людмилы», установившаго его славу, —значительно облегчалась возможностью пользоваться такою

массою накопившихся за полвѣка отъ его смерти печатныхъ, а также нѣкоторыхъ рукописныхъ матеріаловъ. Въ числѣ рукописныхъ не могу не указать особенно на лицейскій журналъ: «Лицейскій Мудрецъ» за 1815 годъ, до послѣдняго времени хранившійся у бывшаго лицеиста, впослѣдствіи академика, Я. К. Грота. Съ разрѣшенія послѣдняго, мною сдѣланы были изъ «Лицейскаго Мудреца» для моего разсказа нигдѣ еще непечатавшіяся, чрезвычайно любопытныя выписки и сняты точныя копіи съ двухъ, также неизвѣстныхъ еще ранѣе публикѣ, карикатуръ лицейскаго товарища Пушкина, Илличевскаго.

*В. А.*

---





## Г Л А В А I.

### Лицейское междуцарствіе.

«Лошади шли шагомъ и скоро стали.

« — Что же ты не ѣдешь? спросилъ я ямщика съ нетерпѣніемъ.

« — Да что ѣхать? отвѣчалъ онъ, слѣзая съ облучка:—невѣсть и такъ куда заѣхали: дороги нѣтъ, и мгла кругомъ.»

(Капитанская дочка.)



Въ солнечный полдень, весною 1814 г., по крайней аллеѣ царскосельскаго дворцоваго парка, прилегающей къ городу, брели рука объ руку два лицеиста. Старшій изъ нихъ казался на видъ уже степеннымъ юношей, хотя въ дѣйствительности ему не было еще и шестнадцати лѣтъ. Но синія очки, защищавшія его близорукіе и слабые глаза отъ яркаго весенняго свѣта, и мечтательно-серьезное выраженіе довольно полнаго, блѣднаго лица старообразили его. Съ молчаливымъ сочувствіемъ поглядывалъ онъ только по временамъ на своего разговорчиваго собесѣдника, подростка лѣтъ пятнадцати, съ смуглыми, неправильными, но чрезвычайно выразительными чертами лица.

— Что же ты все молчишь, Дельвигъ? нетерпѣливо прервалъ послѣдній самъ себя и, снявъ съ своей курчавой го-

ловы форменную фуражку, сталъ обмахиваться ею. — Однако, какъ жарко!..

— Да... согласился Дельвигъ, какъ бы очнувшись отъ раздумья.

— Что «да?»

— Жарко.

— Ну, вотъ! Битый часъ разсыпаю я передъ нимъ свой бисеръ...

— Да я совершенно согласенъ съ тобой, Пушкинъ...

— Въ чемъ же именно? Ну-ка, повтори!

Дельвигъ усмѣхнулся пылкости пріятеля и дружелюбно пожалъ ему рукою локоть.

— Повторить, братъ, не берусь. Я слѣдилъ не столько за твоимъ бисеромъ, какъ за тобой самимъ, и съ удовольствіемъ вижу, что ты дѣлаешься опять тѣмъ же живчикомъ, какимъ былъ до смерти Малиновскаго.

— Да, жаль Малиновскаго! вздохнулъ Пушкинъ, и легкое облако грусти затуманило его оживленный взоръ. — Такого директора намъ ужъ не дождаться..

— Ну, жаловаться намъ на свою судьбу покуда грѣхъ: учись или лѣнись — ни въ чемъ ни приказа, ни заказа нѣтъ; распѣвай себѣ свои пѣсни, какъ птичка Божія...

— То-то, что еще не поется!.. Смотри-ка, кого это къ намъ несеть? прибавилъ онъ, подходя къ чугунной рѣшеткѣ парка. — Такую пыль подняли, что и не разглядишь.

Изъ-за столба пыли, приближавшагося по большой дорогѣ, вынырнула въ это время верхушка старомодной почтовой громады-колымаги.

— Ноевъ ковчегъ! размѣялся Пушкинъ. — А на козлахъ-то, гляди-ка, рядомъ съ ямщикомъ, старая вѣдьма кievская!..

— И насъ съ тобой, кажется, увидѣла, подхватилъ Дельвигъ: — машеть сюда рукою...



— Вѣрно, тебѣ, баронъ!

— Нѣтъ, я ея не знаю. Вотъ и зубы оскалила, головой киваетъ: вѣрно, тебѣ, Пушкинъ.

Но Пушкинъ уже примолкъ и судорожно схватился рукою за холодную рѣшетку.

«Неужели это няня Арина Родіоновна?» промелькнуло у него въ головѣ, и духъ у него заняло, сердце забилося.

Между тѣмъ, колымага по ту сторону рѣшетки поравнялась уже съ ними. «Кіевская вѣдьма» наклонилась съ козелъ къ окну колымаги. И вотъ, оттуда, изъ-подъ развѣвающагося голубаго вуаля, выглянуло свѣжее, какъ розанъ, личико.

— Александръ! донеслось къ нему. Бѣлый носовой платокъ взвился въ воздухъ — и колымага прогромычала мимо, заволакиваясь прежнимъ облакомъ пыли.

— Оля! вырвалось у Пушкина, и онъ бѣгомъ пустился по тому же направленію, вверхъ по аллеѣ, къ выходнымъ воротамъ парка.

— Кто это? кричалъ ему въ догонку Дельвигъ.

— Наши! отвѣтилъ, не оглядываясь, Пушкинъ и, добѣжавъ до воротъ, бросился черезъ улицу къ лицу.

«Ноевъ ковчегъ» стоялъ уже у лицейскаго подъѣзда. Швейцаръ высаживалъ оттуда подъ руку видную даму лѣтъ 35-ти.

— Матушка! какими судьбами? окликнулъ ее по-французски Пушкинъ и хотѣлъ кинуться къ ней на шею.

— Что съ тобой, Александръ? обниматься на улицѣ! на томъ же языкѣ охладила мать его неумѣстный порывъ и дала ему приложиться только къ ея лайковой перчаткѣ.

Баронъ Дельвигъ остановился на тротуарѣ въ десяти шагахъ отъ нихъ, и былъ невольнымъ свидѣтелемъ этой форменной встрѣчи.

«Такъ вотъ она, Надежда Осиповна Пушкина, пре-



красная креолка, какъ зовутъ ее во всей Москвѣ, ска- залъ онъ про себя. — Дѣйствительно, она еще очень хороша, и какое изящество въ каждомъ движеніи, какая надменность въ осанкѣ!»

Вслѣдъ за Надеждой Осиповной, изъ колымаги выпорхнула, уже безъ помощи швейцара, молоденькая барышня. По фамильному сходству, Дельвигъ тотчасъ сообразилъ, что это сестра Пушкина, Ольга Сергѣевна. Она, какъ видно, приняла къ свѣдѣнію замѣчаніе матери, потому что мимоходомъ только коснулась губами щеки брата.

Зато сползшая съ козелъ старушка-няня дала полную волю чувствамъ: пригнувъ къ себѣ голову своего питомца, она такъ и прильнула къ нему, осыпая поцѣлуями то одну его щеку, то другую.

— Сердечный ты мой! сокровище мое! единственный мой!.. приговаривала она.

— Ты съ ума сошла, Родіоновна?! старалась ее урезонить барыня.

— Помилуйте, сударыня! оправдывалась расчувствовавшаяся старушка:— не я ли его съ самыхъ пеленокъ взростила? Дороже онъ мнѣ и родныхъ-то ребятъ; ей-богу, правда!

— Ну, ну, не разсуждай, пожалуйста! Полѣзай себѣ опять на козлы: скоро поѣдемъ дальше, оборвала ее Надежда Осиповна; потомъ обратилась по-французски къ сыну:— а ужъ тебѣ-то какъ не совѣстно, Александръ?

Александръ насилу высвободился изъ объятій няни; на глазахъ его блеснули слезы, когда онъ взглянулъ на стоявшаго тутъ же Дельвига. Выраженіе глазъ послѣдняго нельзя было замѣтить за синими очками, но игравшая на губахъ его улыбка какъ бы говорила: «Вотъ тебѣ и кіевская вѣдьма!»

Раскраснѣвшійся Пушкинъ только улынулся въ отвѣтъ: старушка няня его, хотя и вся бронзовая отъ загара, имѣла та-

кую простодушную, чисто-великорусскую фізіономію и высказала къ нему такую непритворную материнскую нѣжность, что заподозрить въ ней малорусскую вѣдьму, конечно, никому бы и въ голову не пришло.

Надежда Осиповна вошла, между тѣмъ, въ прихожую лица и на ходу, черезъ плечо, небрежно сказала швейцару:

— Нельзя ли позвать ко мнѣ пансіонера Льва Пушкина?

— Слушаю-съ, ваше превосходительство! подобострастно отвѣчалъ швейцаръ, который съ перваго взгляда призналъ въ ней, по меньшей мѣрѣ, генеральшу.

Надежда Осиповна стала подниматься во второй этажъ, шурша по каменнымъ ступенямъ лѣстницы своимъ дорожнымъ шелковымъ платьемъ; дочь и сынъ слѣдовали за нею.

Здѣсь же, на лѣстницѣ, Ольга Сергѣевна, украдкой отъ матери, крѣпко чмокнула брата и окинула его сіяющимъ взглядомъ.

— Какъ ты, однако, Александръ, выросъ!

— И ты не меньше стала, отшутился онъ:—совсѣмъ какъ взрослая—въ длинномъ платьи!

— Да вѣдь мнѣ ужъ семнадцатый годъ. Ты меня сколько лѣтъ не видалъ. Но вотъ теперь мы будемъ видѣться часто. Лѣто мы еще проведемъ въ Михайловскомъ \*), а къ осени совсѣмъ ужъ переѣдемъ въ Петербургъ.

— Вотъ какъ! И папа тоже? Отчего онъ не съ вами?

— Папа? да развѣ ты не знаешь, что онъ зимой еще отправился изъ Москвы въ Варшаву, начальникомъ этой коммисаріатской, что ли, коммисіи нашей резервной арміи.

— Да, правда; ну, и что же?

— Ну, и надоѣло ему, кажется; бросаетъ службу и надняхъ долженъ съѣхаться съ нами въ Петербургъ.

---

\*) Село Михайловское, Псковской губерніи, имѣніе Пушкиныхъ.



Въ пріемной Надежду Осиповну встрѣтилъ сухощавый и вертлявый чиновникъ. Освѣдомившись о цѣли ея прібытія, онъ съ неловкимъ поклономъ отрекомендовался ей:

— Надзиратель по учебной части, Василій Васильевичъ Чачковъ.

— Чачковъ? переспросила Надежда Осиповна;—а не Пилецкій?

— Совершенно справедливо-съ, залебезилъ надзиратель:— предмѣстникъ мой точно назывался Пилецкій-Урбановичъ; но мѣсяца два назадъ его... какъ бы лучше выразиться?..

Онъ замаялся и опасливо оглянулся на молодого Пушкина. Но тотъ съ сестрою удалился уже въ углубленіе окна, чтобы продолжать съ нею тамъ прерванную бесѣду.

— Не угодно ли вамъ присѣсть, сударыня? спросилъ Чачковъ, указывая почетной гостѣ на клеенчатый диванъ.

Она сѣла, а онъ остался на ногахъ передъ нею, и продолжалъ пониженнымъ голосомъ:

— Съ предмѣстникомъ моимъ, изволите видѣть, учинилось здѣсь нѣчто необычайное.. Развѣ сынокъ вашъ ничего не отписалъ вамъ?

— Писалъ, кажется,—какъ теперь припоминаю,— что Пилецкій ушелъ, но и только.

— Ушелъ... гмъ! да-съ... но форсированнымъ маршемъ.

— То-есть его «уходили»?

— Хе-хе-хе! тонко изволили замѣтить. Однако, мало ли что болтаютъ. Не всякому слуху вѣрь. Воспитанники, словно сговорившись межъ собой, хранятъ дѣло въ тайнѣ. Намъ же, начальству, вѣдомо лишь, что у нихъ съ господиномъ Пилецкимъ было секретное собесѣдованіе при закрытыхъ дверяхъ. О чемъ? Одному Богу да самимъ имъ только извѣстно. На другое же утро господина Пилецкаго и слѣдъ простылъ: укатилъ въ Петербургъ невозвратно. Да-съ, сударыня! вздохнулъ преемникъ



Пилецкаго и снова покосился на Пушкина: — могу сказать, тяжеленько-таки нынче нашему брату! Директора намъ все еще не даютъ, и живемъ мы между небомъ да землей, какъ на шарѣ воздушномъ.

— Да вѣдь кто-нибудь поставленъ у васъ на мѣсто директора?

— Положимъ, что такъ... Я васъ, сударыня, не беспокою своимъ разговоромъ?

— Нѣтъ, отчего же! Мнѣ, напротивъ, любопытно знать, какой у васъ тутъ надзоръ за дѣтьми.

— А мнѣ, осмѣлюсь доложить, нѣкая даже потребность облегчить душу... Какъ скончался, изволите видѣть, въ мартѣ мѣсяцѣ покойный директоръ Малиновскій (достойнѣйшій, говорятъ, былъ человѣкъ; не имѣлъ чести его знать), такъ, впредь до окончательнаго назначенія ему преемника, обязанности директорскія его сіятельство графъ Алексѣй Кирилловичъ (министръ нашъ, Разумовскій) изволилъ возложить на старшаго изъ господъ профессоровъ, Кошанскаго. Но бѣда бѣду родить. Господина Кошанскаго постигла тоже тяжкая болѣзнь. И вотъ, власть раздѣлили: каждый изъ господъ профессоровъ директорствуетъ поочередно. Всѣ они, положимъ, люди препочтенные, но бывають здѣсь только наѣздомъ изъ Петербурга и спѣшатъ «распорядиться» каждый по своей части, не справясь толкомъ, согласуется ли, нѣтъ ли, «распоряженіе» съ мѣрами прочихъ содиректоровъ. Коли уже у семи нянекъ дитя безъ глазу, такъ спрашиваю я васъ, сударыня: каково-то нашему многоголовому дѣтищу-лицею у семи ученыхъ мужей? Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ; а гдѣ лѣсъ рубятъ, тамъ щепки летятъ. Первой такой щепкой былъ мой бѣдный предшественникъ; второй щепкой чуть-чуть не сдѣлался экономъ нашъ Золотаревъ...

— А что было съ нимъ?

— Что было съ нимъ?... повторилъ Чачковъ и прикусилъ языкъ. Теперь только какъ-будто спохватился онъ, что черезъ-чуръ уже откровенно излилъ передъ постороннимъ лицомъ накипѣвшую у него на сердцѣ горечь — Да такъ, ничего-съ, маленькое недоразумѣніе съ однимъ изъ воспитанниковъ; но все теперь, слава Богу, улажено, а кто старое вспомнеть, тому глазъ вонъ.

— Надѣюсь, что воспитанникъ этотъ былъ не сынъ мой Александръ? спросила Надежда Осиповна, строго поглядывая въ сторону сына.

— О, нѣтъ-съ!.... скажу прямо: то былъ графъ Брогліо... Такъ вотъ какъ, сударыня. Одно слово: «междударствіе», какъ мѣтко прозвали сами господа лицеисты это переходное время-съ. И приходится намъ, начальству ихъ, идти потихонечку-полегонечку, лавировать, какъ межъ подводныхъ рифовъ, между строгостью и лаской.

Какъ нарочно, надзирателю пришлось тутъ-же показать это «лавированіе» на дѣлѣ. Въ пріемную вошелъ, въ высокихъ ботфортахъ, съ хлыстомъ въ рукѣ, темнолицый, чернобровый геркулесъ-лицеистъ. Похлопывая хлыстомъ по ботфортамъ, онъ такъ самоувѣренно оглядѣлся кругомъ, такъ беззастѣнчиво прищурился своими, какъ смоль черными, глазами на сидѣвшую на подоконникѣ, рядомъ съ братомъ, Ольгу Сергѣевну, что та вспыхнула и потупилась. Съ тонкой усмѣшкой переглянувшись съ Пушкинымъ, онъ прошелъ далѣе.

— А, графъ! обратился къ нему съ товарищескою фамиллярностью надзиратель. — Ну, что, наѣздились верхомъ?

— Наѣздился, нехотя отозвался тотъ, и, проходя мимо, еще пристальнѣе всмотрѣлся въ лицо красавицы-матери своего товарища.

— Кто этотъ нахаль? спросила, негодуя, Надежда Осиповна, когда графъ-наѣздникъ скрылся за дверью.



— А это, сударыня, тотъ самый графъ Броглю, о которомъ я имѣлъ честь давеча вамъ докладывать. Онъ пользуется у насъ привилегіей ѣздить верхомъ въ здѣшнемъ гусарскомъ манежѣ.

Влетѣвшій въ это время вихремъ второй сынъ Надежды Осиповны, Левъ, Леонъ или Левушка, прервалъ разговоръ ея съ надзирателемъ. Обнявъ и расцѣловавъ по пути сестру у окна, онъ бросился къ матери и, уже безъ околичностей, сжалъ ее также въ объятіяхъ. Младшій сынъ былъ ей, очевидно, дороже первенца. Сама порывисто приглубивъ мальчика, она усадила его около себя, вышитымъ батистовымъ платкомъ отерла ему разгоряченное лицо и съ одобрительной улыбкой заслушалась его дѣтской болтовни.

Надзиратель Чачковъ деликатно отошелъ въ сторону; да ему было теперь и не до нихъ, потому что воспитанники, возвращавшіеся одинъ за другимъ съ прогулки и съ шумнымъ говоромъ проходившіе чрезъ пріемную въ столовую, требовали его полного вниманія; каждому говорилъ онъ что-нибудь, по его мнѣнію, подходящее и пріятное.

— Дельвига я сейчасъ узнала на улицѣ по его синимъ очкамъ, говорила полупшепотомъ Ольга Сергѣевна брату, который долженъ былъ называть ей по именамъ всѣхъ товарищей, проходившихъ мимо какъ бы церемоніальнымъ маршемъ.

— А этотъ блондинъ, вѣрно князь Горчаковъ? спросила она, когда мимо нихъ прошли опять два лицеиста, блондинъ и брюнетъ: первый—писанный красавецъ; второй—тщедушный, неприглядный малый, съ крупнымъ носомъ и замѣтными уже усами.

— Да, Горчаковъ, отвѣчалъ Александръ.—Ты какъ догадалась, Оля?

— Да вѣдь ты же писалъ мнѣ, что онъ въ своемъ родѣ Аполлонъ Бельведерскій...

— Неправда ли? Но онъ прекрасенъ не только тѣломъ, но



и душой. Впрочемъ, Суворочка ему въ этомъ отношеніи ничуть не уступить.

— «Суворочка»?

— Ну, да, тотъ брюнетъ, что шелъ съ нимъ — Вальховскій, Суворочка или Sapientia (мудрость).

— За что вы его такъ прозвали?

— За его выдержку и разсудительность. Повѣришь ли: чтобы не изнѣжить своего слабаго тѣла, онъ спитъ нарочно на голыхъ доскахъ, встаетъ зимой въ 4, лѣтомъ въ 3 часа утра; чтобы приучить себя къ голоду, онъ постится по недѣлямъ, даже въ мясоѣдѣ отказывается отъ пирожнато, отъ чаю; наконецъ, даже приготовляясь къ урокамъ, чтобы тѣло не отдыхало, онъ кладетъ себѣ на плечи по толстѣйшему тому словаря Гейма. Прямой спартаецъ или Суворовъ.

— И, вѣроятно, тоже изъ первыхъ учениковъ?

— Да, они оба съ Горчаковымъ перебиваются другъ у друга пальму первенства; но, какъ ты сейчасъ видѣла, они въ лучшихъ отношеніяхъ между собой.

Обѣденный колоколъ, сзывавшій лицейстовъ въ столовую, положилъ конецъ свиданію Пушкиныхъ. Началось торопливое прощанье. Сестра и младшій братъ украдкою утирали глаза.

— Ничего, господа: вы можете проводить вашу матушку и до экипажа, милостиво разрѣшилъ двумъ братьямъ надзиратель Чачковъ.

— Такъ смотри же, Александръ, пиши ко мнѣ, говорила Ольга Сергѣевна старшему брату, спускаясь съ лѣстницы.

— Да вѣдь письма, сама ты знаешь, Оля, смерть моя, отговаривался братъ.

— Ну, такъ пришли хоть стихи. Вѣдь ты теперь пишешь и по-русски. Обѣщаешься?

— Не знаю, право... Въ послѣднее время я совсѣмъ бросилъ писать...

— И слышать не хочу! Я жду отъ тебя предлиннаго и премолага «посланія» въ стихахъ. Такъ и знай!

Терпѣливо сидѣвшая на козлахъ колымаги, въ ожиданіи господъ, няня Арина Родіоновна собиралась теперь слѣзть опять на-земь, чтобы какъ слѣдуетъ проститься со своимъ любимцемъ, Александромъ. Барыня повелительнымъ жестомъ остановила ее. Зато, когда швейцаръ суетливо сталъ подсаживать «ея превосходительство» въ колымагу, старушка подозвала къ себѣ пальцемъ Александра и, наклонившись съ козелъ, сунула ему небольшой пакетецъ изъ толстой синей сахарной бумаги, перевязанный золотымъ шнуркомъ.

— Спрячь, родной мой... шепнула она. — Думала: сама благословлю образкомъ Иверской Божьей Матери, да не довелось, вишь...

Еще нѣсколько добрыхъ пожеланій на дорогу, свистъ бича, окрикъ ямщика: «Трогай! Эй, вы, любезныя!» — и громоздкій дѣдовскій экипажъ загромыхалъ по мостовой.

Пушкинъ едва могъ дождаться конца обѣда. Пакетъ няни за пазухой не давалъ ему покоя. «Что-то положено у нея тамъ?» Послѣ обѣда онъ, первымъ дѣломъ, побѣжалъ на-верхъ, въ четвертый этажъ, въ свою комнату. Когда онъ сорвалъ съ пакета золотой шнурокъ и развернулъ бумагу, — сверху, какъ онъ и ожидалъ, оказался миниатюрный образокъ Иверской Богоматери на голубой шелковинкѣ. Подъ образкомъ же блестѣла цѣлая груда новенькихъ и старинныхъ серебряныхъ монетъ, Петровскій рубль съ просверленнымъ ушкомъ и одинъ старый голландскій червонецъ. И Петровскій рубль, и голландскій червонецъ онъ видѣлъ когда-то въ копилкѣ своей скопидомки-няни; а теперь вотъ она все — все отдала ему!

На глазахъ его навернулись слезы умиленія. Съ безотчетнымъ благоговѣніемъ приложился онъ губами къ святому лику,

разстегнулъ воротъ и надѣлъ на себя образокъ. Деньги же няни онъ заперъ въ конторку, мысленно обѣщая себѣ — ни за что, ни за что не истратить изъ нихъ ни копѣйки!

Дня черезъ два, няня и сестра получили отъ него въ Петербургъ по посланію: первая — благодарственное въ прозѣ, вторая — извѣстное стихотворное: «Къ сестрѣ», начинающееся словами:

„Ты хочешь, другъ безцѣнный,  
Чтобъ я, поэтъ молодой,  
Бесѣдовалъ съ тобой..“

Увидѣлся Пушкинъ снова съ няней, матерью и сестрой только мелькомъ, при обратномъ проѣздѣ ихъ черезъ Царское въ село Михайловское, гдѣ съ этого года семья Пушкиныхъ проводила уже каждое лѣто. Арина Родіоновна такъ и осталась въ Михайловскомъ; Ольга же Сергѣевна, по возвращеніи въ Петербургъ, по временамъ навѣщала брата-поэта, то съ отцомъ, то съ матерью, и была однимъ изъ его внимательнѣйшихъ и снисходительнѣйшихъ судей. Примѣръ его даже ее заразилъ; сама она тайкомъ отъ всѣхъ принялась упражняться въ стихотворствѣ, и уже на старости лѣтъ только призналась въ томъ своимъ дѣтямъ.







## Г Л А В А П.

### На Розовомъ полѣ.

«Вы помните-ль то *Розовое поле*,  
Друзья мои, гдѣ красною весной,  
Оставя классъ, рѣзвились мы на волѣ  
И тѣшились отважною игрой?  
Графъ Броглио былъ отважнѣе, сильнѣе,  
Комовскій же проворнѣе, хитрѣе;  
Не скоро могъ рѣшиться жаркій бой...  
Гдѣ вы, лѣта забавы молодой?...»

(Отрывокъ.)



Въ концѣ того же мая мѣсяца, двухъ братьевъ Пушкиныхъ въ царскосельскомъ лицѣѣ навѣстилъ, по пути изъ Варшавы въ Петербургъ, и отецъ ихъ, Сергѣй Львовичъ. Когда онъ небрежно скинулъ на руки швейцара свой пыльный дорожный плащъ съ капишономъ, на немъ оказался нарядъ, по пестротѣ своей, пожалуй, не совсѣмъ уже соотвѣтствовавшій его немолодымъ лѣтамъ: зеленый фракъ, клѣтчатый трехцвѣтный жилетъ и полосатые панталоны. Когда-то нарядъ этотъ былъ очень моднымъ, Сергѣй же Львовичъ въ молодости слылъ въ Москвѣ, подобно брату своему, стихотворцу Василю Львовичу Пушкину, извѣстнымъ щеголемъ, и съ годами, не перенявъ новыхъ модъ, продолжалъ держаться излюбленной разъ пестроты. Лицейскій швейцаръ, «видавшій виды», по пословицѣ «по платью встрѣчаютъ, а по уму провожаютъ», тотчасъ оцѣ-

нилъ пріѣзжаго по его изысканной, въ своемъ родѣ, виѣшности, а также по той покровительственной важности, съ которой онъ потребовалъ къ себѣ обоихъ своихъ сыновей. Впрочемъ, за старшимъ изъ нихъ, гулявшимъ гдѣ-то въ паркѣ, швейцару некого было сейчасъ послать, а самъ онъ для этого не смѣлъ такъ надолго отлучиться изъ своей швейцарской; за младшимъ же онъ не замедлилъ побѣжать въ лицейскій пансіонъ, который былъ рядомъ.

Наговорившись съ Левушкой, по обычаю того времени, въ перемежку -- по-русски и по-французски, Сергѣй Львовичъ вспомнилъ, наконецъ, опять о старшемъ сынѣ.

— А гдѣ же Александръ?

— Онъ, вѣрно, на Розовомъ полѣ, отвѣчалъ Левушка.

— Это чтожъ такое?

— А большой лугъ, знаете, между большой руиной и капризомъ, гдѣ при Екатеринѣ Великой, говорятъ, росли розы. Теперь его отвели лицеистамъ для ихъ игръ.

— Стреножили, значить, жеребчиковъ, чтобы другой травы не помяли? Ну, чтожъ, пойдемъ, отыщемъ его.

Спустившись съ сыномъ въ паркъ, Сергѣй Львовичъ остановился на минутку и взглядомъ знатока окинулъ великолѣпный фасадъ императорскаго дворца.

— Семьдесятъ лѣтъ вѣдь прошло съ тѣхъ поръ, промолвилъ онъ, — какъ графъ Растрелли обезсмертилъ себя этой колоссальной постройкой. Позолота, правда, сошла ужъ съ крыши, карнизовъ и статуй; но стиль, смотри-ка, какъ выдержанъ: Людовикъ XIV да и только! Рассказываютъ, что когда императрица Елисавета Петровна прибыла сюда со всѣмъ Дворомъ и иностранными послами осмотрѣть новый дворецъ, одинъ только французскій посолъ, маркизъ де-ла-Шетарди, не проронилъ ни слова.

«— Что же, маркизь, вамъ не нравится мой дворецъ? спросила Елисавета.

«— Одной, главной вещи недостаетъ, отвѣчалъ онъ.

«— Чего же именно?

«— Футляра, чтобы покрыть эту драгоцѣнность.»

При дальнѣйшей прогулкѣ по парку, отцу съ сыномъ попался на глаза лицеистъ въ синихъ очкахъ, который, полулежа на скамьѣ, читалъ книгу.

— Это баронъ Дельвигъ, другъ Александра, вполголоса пояснилъ Леонъ.

— Вѣрно, онъ такъ прилеженъ, что даже не играетъ съ другими?

Левушка разсмѣялся.

— Напротивъ, такъ лѣнивъ, что не хочетъ играть. А читаетъ теперь непременно какіе-нибудь стихи.

— Сейчасъ узнаемъ, сказалъ Сергѣй Львовичъ и, подойдя къ Дельвигу, очень вѣжливо снялъ шляпу:

— Если не ошибаюсь, баронъ Дельвигъ, другъ моего старшаго сына, Александра Пушкина?

— Точно такъ, отвѣчалъ, вставая, Дельвигъ. Вы ищете Александра? Онъ съ другими на Розовомъ полѣ.

— А вы предпочли читать книгу? Позвольте полюбопытствовать.

Дельвигъ не могъ не подать ему книги.

— Такъ и зналъ: стишки, снисходительно усмѣхнулся Сергѣй Львовичъ. — Вы вѣдь тоже одинъ изъ лицейскихъ стихотворцевъ?

— Полкласса у нихъ стихотворцы! вмѣшался съ живостью Левушка. — Баронъ да нашъ Александръ изъ самыхъ лучшихъ. Одинъ только Иличевскій можетъ помѣряться съ ними. Какія, я вамъ скажу, у нихъ эпиграммы, какія каррикатуры! Особенно въ каррикатурномъ журналѣ. Самъ губернёръ



нашъ и учитель рисованья, Ч и р и к о в ъ, поправляетъ эти карикатуры...

— Похвально, произнесъ Сергѣй Львовичъ такимъ тономъ, что оставалось подѣ сомнѣніемъ: хвалить онъ иронически или серьезно. — И ко мнѣ, за тридевять земель, дошли уже слухи, что у васъ здѣсь сильно «зажурналилось» и «затуманилось», какъ выразился Державинъ, когда у насъ на Руси черезъ-чуръ расплодились журналы.

— Въ настоящее время, у насъ въ лицѣ всего одинъ журналъ: «Лицейскій мудрецъ», замѣтилъ, какъ бы извиняясь, Дельвигъ.

— Но самъ баронъ—цензоръ этого журнала, подхватилъ Левушка;—К о р с а к о в ъ — редакторъ, а Д а н з а с ъ — типографщикъ, т. е. переписчикъ, потому что у него лучший почеркъ.

— Запретить вамъ, господа, баловаться стихами никто посторонній, конечно, не въ правѣ, наставительно заговорилъ Сергѣй Львовичъ, и между бровями его появилась легкая складка;—но сыну моему Александру я строго закажу...

— Но вы же сами, папенька, пишете прекраснѣйшіе альбомные стихи, вступился за отсутствующаго брата Леонъ.

— Альбомные — да. Всякій благовоспитанный человѣкъ нашего вѣка обязанъ умѣть: войти въ комнату, болтать по-французски обо всемъ и ни о чемъ, знать наизусть тысячи изреченій и сентенцій, участвовать въ спектакляхъ, живыхъ картинахъ, общественныхъ играхъ; точно также онъ долженъ быть готовъ во всякое время, по первому востребованію, настроить альбомный куплетъ по-русски, по-французски или на иномъ европейскомъ діалектѣ. И въ этомъ отношеніи, любезный баронъ, могу сказать безъ излишняго самохвальства, вашъ покорный слуга дошелъ до нѣкоторой виртуозности:

«Вы приказали—повинуюсь  
И дань спѣшу принести въ альбомъ;  
Хоть въ стихотворцы я не суюсь,  
Но воля ваша мнѣ законъ...»

Вы, кажется, не одобряете моего куплета? прервалъ самъ себя декламаторъ, замѣтивъ, что Дельвигъ закусилъ губу.— «Альбомъ» и «законъ» не особенно богатая рѣма,—согласенъ. Но альбомный стихъ—дареный конь; а дареному коню въ зубы не смотрять.

— Такъ видите ли, папенька, какъ хорошо, что Александръ ужь смолоду упражняется въ стихахъ! возразилъ Левушка.— Въ послѣдніе мѣсяцы онъ что-то мало писалъ. Но есть у него одна вещица: «Красавицѣ, которая нюхала табакъ» — просто, пальчики расцѣловать!

— Хороша должна быть красавица, которая набиваетъ себѣ носъ табакомъ! Горгона какая-нибудь?

— О, нѣтъ! Родная сестра лицеиста нашего, князя Горчакова, княгиня Кантакузенъ: молоденькая и прехорошенькая. Она какъ-то прѣзжала сюда къ своему брату. Я вамъ сейчасъ скажу все стихотвореніе: я знаю его отъ доски до доски... \*)

— Не трудись сказалъ Сергѣй Львовичъ.

— Нѣтъ, вы только послушайте, папенька, какіе тамъ есть стихи:

«Ахъ, еслибъ превращенный въ прахъ,  
И, въ табакеркѣ, въ заточеньи,  
Я въ персты нѣжныя твои попасться могъ, —  
Тогда-бъ въ сердечномъ восхищеньи..»

---

\*) Впослѣдствіи, во время отсутствія А. С. Пушкина изъ Петербурга братъ его, Левъ Сергѣевичъ, былъ постояннымъ его комисіонеромъ по книжнымъ дѣламъ, и, обладая удивительною памятью, говорилъ наизусть своимъ знакомымъ цѣлыя поэмы старшаго брата. По этому поводу кѣмъ-то былъ сказанъ такой экспромтъ:

«Нашъ Левъ Сергѣичъ очень радъ,  
Что своему онъ брату братъ».

— И такъ далѣе, перебилъ Дельвигъ, который не могъ вынести насмѣшливой улыбки, показавшейся на губахъ отца его друга.—Александръ будетъ очень радъ васъ видѣть.

— Надѣюсь, съ нѣкоторою уже сухостью произнесъ Сергѣй Львовичъ.—Вы, баронъ, не пойдете съ нами?

— Нѣтъ, благодарю васъ... Я почитаю.

— Такъ имѣю честь вамъ кланяться: больше, вѣроятно, не увидимся.

И, въ сопровожденіи младшаго сына, Сергѣй Львовичъ отправился далѣе. На Розовомъ полѣ всѣ прочіе лицеисты, дѣйствительно, оказались на лицо. Играли они въ лапту, и игра ихъ была въ полномъ разгарѣ \*). Одинъ изъ горожанъ,

---

\*) Для читателей, незнакомыхъ съ игрою въ лапту, опишемъ ее здѣсь нѣсколько подробнѣе. Играющіе изъ своей среды избираютъ двухъ—наиболѣе ловкихъ и увертливыхъ—начальниками, которые называются *матками*. По жребію (схватываніемъ подброшенной палки) обѣ матки рѣшаютъ, кому изъ нихъ быть *старшей*, кому *младшей маткой*. Старшая, по жребію же (угадываніемъ произвольно-взятыхъ кличекъ), избираетъ себѣ подначальную команду изъ прочихъ товарищей, подходящихъ къ ней попарно, послѣ чего занимаетъ со своей командой небольшой уголокъ — *городъ*—на предназначенномъ для игры мѣстѣ. Младшая же matka со своей шайкой располагается вразсыпную въ *поле*, т. е. на остальномъ пространствѣ ристалища, которое отгораживается отъ города небольшою, только въ сажень ширины, нейтральною полосою. Одинъ изъ *полевщиковъ*, съ мячемъ въ рукѣ, становится на пограничной чертѣ поля и подбрасываетъ *горожанамъ* мячъ. *Горожане*, по-очереди, *сдаютъ*, т. е. бьютъ по мячу *лаптою*—палкою съ лопатообразнымъ концомъ, стараясь зашвырнуть мячъ возможно далѣе въ *поле* или даже за крайнюю его черту. Вслѣдъ за сдѣланнымъ ударомъ, горожанинъ самъ бѣжитъ черезъ *поле*, чтобы перебраться за вражій станъ, пока еще никто изъ враговъ не успѣлъ *запятнать* его. *Пятнать*, однако, не дозволяется руками, а только тѣмъ же мячемъ. Чтобы ударъ былъ возможно мѣтокъ, полевщикъ, первый подхватившій мячъ, перебрасываетъ его къ самому ловкому изъ ближайшихъ къ бѣгущему товарищей, и тотъ уже старается *запятнать* послѣдняго. Если *запятнать* его удалось, то этимъ самымъ полевщики побѣдили, *городъ взятъ*, — *полевщики* дѣлаются *горожанами*, и наоборотъ. Точно также игра кончена, если кто-нибудь изъ полевщиковъ успѣетъ поймать на-лету *сданный* мячъ, пока онъ еще не коснулся земли. Если очередной *горожанинъ* промахнулся лаптою въ подброшенный ему мячъ, то онъ на этотъ разъ лишается права бѣжать черезъ *поле* и становится на пограничной чертѣ въ



сутуловатый великанъ, забѣжавшій за противоположную черту поля, перебѣгалъ только-что обратно въ городъ.

— Живѣе, Кюхельбекеръ! Не поддавайся, Виленька! подбодряли его друзья-горожане.

Согнувшись въ три погибели, Кюхельбекеръ неуклюже вымѣрлялъ уже своими длинными журавлиными ногами половину вражьяго стана, когда попалъ подъ непріятельскую бомбу: матка полевщиковъ, графъ Броглию, несмотря на то, что былъ лѣвша, такъ мѣтко угодилъ ему въ голову мячемъ, что Кюхельбекеръ схватился за щеку и сдѣлалъ козлиный прыжокъ. Полевщики кругомъ такъ и заликовали, потому что этимъ бой былъ рѣшенъ и городъ перешелъ въ ихъ власть.

— Стой, Кюхля! не разгибайся! раздался вдругъ повелительный голосъ.

Добродушный и простоватый Кюхельбекеръ, неоправившійся отъ понесеннаго сейчасъ пораженія, послушно согнулся еще круче въ дугу. Въ тотъ же мигъ товарищъ, крикнувшій ему, разбѣжался на него сзади и, едва коснувшись руками его плечъ, однимъ махомъ перелетѣлъ черезъ него.

— Ай-да, Пушкинъ! молодець-французъ! привѣтствовалъ его выходку дружный смѣхъ.

---

ожиданіи, пока кто нибудь изъ его товарищей *сдастъ* болѣе удачно. Тогда онъ, вмѣстѣ съ послѣднимъ, бѣжитъ чарезъ *поле*. Старшая *матка* имѣетъ три удара, чтобы, въ случаѣ нужды, выручать своихъ подначальныхъ, и потому сдаетъ всегда послѣднею. Перебѣжавъ разъ благополучно за *поле*, каждый горожанинъ можетъ бѣжать въ удобный моментъ обратно въ *городъ*, и если при этомъ избѣгнетъ направленного противъ него врагами мяча, то пріобрѣтаетъ опять право на одинъ ударъ. Такъ продолжается игра, пока одного изъ горожанъ, не *запятнаютъ*, или мячъ не будетъ пойманъ на-лету. Игра можетъ быть прекращена исключительно по усмотрѣнію обладателей города въ данное время. *Горожане* ни мало не утомляются игрою и, такъ-сказать, почіютъ на лаврахъ, потому что изрѣдка только сдаютъ мячъ и перебѣгаютъ *поле*. *Полевщики* же, вынужденные поминутно гнаться за мячемъ вдоль и поперекъ по всему *полю*, до-того, по большей части, изнемогаютъ, что еле-дышутъ и ноги волочатъ

— Пи съ мѣста, Виленька! побереги голову! закричалъ вражескій атаманъ Броглю. Тѣмъ же порядкомъ, какъ Пушкинъ, но съ изяществомъ записнаго эквилибриста, перенесся онъ черезъ ошеломленнаго Кюхельбекера.

Примѣръ двухъ шалуновъ нашелъ усердныхъ подражателей. Съ крикомъ: «Ниже голову, Кюхля! ниже!»—все враги-полевщики, одинъ за другимъ, болѣе или менѣе ловко, перепрыгнули черезъ бѣднягу.

Между тѣмъ Пушкинъ замѣтилъ уже присутствіе отца.

— Ахъ, папа! радостно вскричалъ онъ, но, вспомнивъ тотчасъ, какъ неодобрительно мать его отнеслась къ пылкимъ изліяніямъ сыновней любви, не рѣшился при другихъ обнять отца.

Но Сергѣй Львовичъ широко раскрылъ уже сыну объятія, подставилъ для поцѣлуя щеку и съ нѣкоторою, какъ бы театральною торжественностью, прижалъ его къ груди.

— Однако, ты все тотъ же сорви-голова, заговорилъ онъ, выпуская сына изъ объятій. — Лежачаго, ты знаешь, не бьютъ; *de mortuis aut bene, aut nihil* (о мертвыхъ говорятъ или хорошо, или ничего); а Кюхельбекеръ вашъ теперь тотъ же покойникъ.

— Совершенно вѣрно, папенька, весело отозвался Александръ:

„Покойникъ Клитъ въ раю не будетъ:  
Творилъ онъ тяжкіе грѣхи.  
Пусть Богъ дѣла его забудетъ,  
Какъ свѣтъ забылъ его стихи“.

— Эпиграмма эта твоего собственнаго сочиненія? недовѣрчиво спросилъ Сергѣй Львовичъ.

— Собственнаго. И л и ч е в с к і й еще перещеголялъ меня по этой части. Поди-ка сюда, Иличевскій!

Тотъ не замедлилъ явиться на зовъ и почтительно поздоровался съ отцомъ пріятеля. На просьбу Сергѣя Львовича—ска-

затѣ также одну изъ своихъ эпиграммъ, онъ не сталъ долго чиниться и не безъ самодовольства продекламировалъ:

— «Нѣтъ, полно, мудрецы, обманывать вамъ свѣтъ  
И утверждать свое, что совершенства нѣтъ  
На свѣтѣ въ твари тлѣнной.  
Явился, Виленька, и докажи собой,  
Что ты и тѣломъ и душой  
Уродъ пресовершенный».

— На бѣднаго Макара всѣ шишки валятся, замѣтилъ Сергѣй Львовичъ.

— На то онъ и Макаръ, легкомысленно подхватилъ Александръ. — Пушинъ составилъ даже цѣлый сборникъ эпиграммъ на него: «Жертва Мому, или Лицейская Антологія» \*).

Наблюдавшій за играющими, дежурный гувернеръ Чириковъ наклонился къ Пушкину и шепнулъ ему:

— Пожалѣйте хоть несчастнаго! Вы видите: онъ виѣ себя.

И точно: Кюхельбекеръ былъ красенъ, какъ раззадоренный индѣйскій пѣтухъ. Размахивая своими длинными, какъ жерди, руками, захлебываясь и отдуваясь, онъ хриплымъ басомъ и съ замѣтнымъ нѣмецкимъ произношеніемъ слезно жаловался столпившейся около него кучкѣ молодежи на причиненную ему обиду:

— Развѣ этакъ можно?... Развѣ мы играемъ теперь въ чехарду?

— Военная, братъ, хитрость! смѣялся въ отвѣтъ Броглю. — На войнѣ допускается всякій фортель.

— Нѣтъ, не всякій! всему есть мѣра, заступилась за обиженнаго matka его — Комовскій. — Сергѣй Гаврилычъ — лицо

---

\*) Вотъ названія нѣкоторыхъ изъ этихъ эпиграммъ: «Надпись на конную статую пушкаря В. фонъ-Рекеблихера», «О Донъ-Кихотѣ», «Жалкій человекъ», «Вилъ Теркулесу», «На случай, когда Вилъ на балѣ растерялъ свои башмаки».



незаинтересованное: пусть онъ рѣшить, допускается ли такой фортель?

— И прекрасно! Пусть Сергѣй Гаврилычъ рѣшить.

Вся толпа хлынула къ судѣ-губернеру. Но разбирательство сомнительнаго вопроса было тутъ же пріостановлено однимъ плотнымъ, широкоплечимъ лицейстомъ.

— Стойте, господа! крикнулъ онъ, поднимая руку. — Сергѣй Гаврилычъ, позвольте мнѣ два слова сказать.

— Не давайте ему говорить! Пускай онъ говорить! перебывали другъ друга обѣ враждебныя партіи.

— Говорите, Пущинъ, сказалъ Чириковъ.

— Прежде всего, господа, началъ Пущинъ, — обращу ваше вниманіе на то, что мы здѣсь не одни. Межъ насъ, лицейстовъ, долженъ происходить судъ — и что же? какой-то молокососъ-пансіонеръ преспокойно слушаетъ насъ, подсмѣивается надъ нами.

Всѣ взоры обратились на Левушку Пушкина. По смѣшливости своей, онъ, дѣйствительно, отъ души потѣшался также эпиграммами на Кюхельбекера; теперь же, сдѣлавшись предметомъ общаго вниманія, онъ радъ былъ сквозь землю провалиться. Прежде чѣмъ поднявшійся среди лицейстовъ ропотъ возросъ до угрожающаго протеста, пансіонерикъ благоразумно юркнулъ въ кусты и исчезъ.

— Можетъ быть, и я здѣсь лишній? спросилъ Сергѣй Львовичъ, дѣлая также шагъ назадъ.

— Нѣтъ, папенька, вы-то оставайтесь! поспѣшилъ остановить его старшій сынъ. — Пансіонеру нельзя было присутствовать при нашемъ самосудѣ. Но ваше присутствіе намъ даже лестно. Неправда ли, господа?

— Н-да, конечно... нерѣшительно подтвердило нѣсколько голосовъ.

— Это былъ первый пунктъ, продолжалъ Пущинъ. —

Второй пунктъ слѣдующій: не вы ли сами, Сергѣй Гаврилычъ, всегда твердили намъ, что всякій споръ намъ лучше рѣшать промежъ себя, безъ всякаго чужаго посредничества?

— И повторяю опять то же, сказалъ гувернеръ.

— Ну, вотъ. Стало быть, отчего же намъ и теперь не поладить однимъ, безъ васъ?

— Сдѣлайте одолженіе, господа. Я, пожалуй, на время совсѣмъ удалюсь...

— Нѣтъ, нѣтъ, зачѣмъ!—чѣмъ болѣе безпристрастныхъ свидѣтелей, тѣмъ судъ у насъ будетъ справедливѣе и строже. Наконецъ, третій пунктъ: чего же требуетъ отъ насъ противная сторона? Каковъ спросъ, таковъ и отвѣтъ.

Атаманъ противной стороны, Комовскій, выступилъ впередъ.

— Пускай Пушкинъ формальнымъ образомъ извинится передъ Кюхельбекеромъ.

— Извини, Виля... началъ Пушкинъ, подходя къ обиженному.

Миролюбивый по природѣ, Кюхельбекеръ готовъ былъ уже принять протянутую руку, когда Пушкинъ докончилъ свою фразу:

— Въ другой разъ я не стану прыгать, а заставлю тебя самого прыгнуть — черезъ ножку.

— Вотъ онъ всегда такъ! воскликнулъ Кюхельбекеръ, отдергивая руку. — Развѣ съ нимъ можно мириться?

— Такъ вотъ что, господа, выступилъ съ новымъ предложеніемъ Комовскій: — пускай Пушкинъ станетъ также въ позицію, а мы всѣ перепрыгнемъ черезъ него. Долгъ платежемъ красенъ.

— Вотъ это такъ: на это я согласенъ! обрадовался Кюхельбекеръ.

— А я—нѣтъ, сказалъ Пушкинъ. — Я, Колумбъ, от-

крыль Америку, а ты, Америго Веспуччи, хочешь пожать мои лавры!

— Лавры неважные, вступился миротворцемъ Пушинъ;— да и не всякому же быть Колумбомъ. Я, господа, предлагаю среднюю мѣру. Теперь нашъ чередъ быть въ городѣ. Кого изъ насъ запятнають, тотъ пусть и становится въ позицію. Отъ Кюхельбекера зависитъ попасть въ Пушкина.

Послѣ нѣкоторыхъ еще препирательствъ, предложеніе Пушина было принято большинствомъ голосовъ. Комовскій съ Кюхельбекеромъ и прочими полевщиками удалились въ поле, тогда какъ графъ Броглію съ Пушкинымъ и остальными горожанами заняли городъ. Сергѣй Львовичъ подсѣлъ къ Чирикову на скамейку и завязалъ съ нимъ оживленную бесѣду. Съ первыхъ его словъ гувернеръ могъ убѣдиться, что передъ нимъ образцовый собесѣдникъ. Всѣ послѣднія новости дня, анекдоты, каламбуры—неудержимымъ потокомъ, безъ всякаго видимаго усилія, такъ и струились съ устъ Сергѣя Львовича, точно онъ разматывалъ безконечный клубокъ. Съ предмета на предметъ, онъ дошелъ и до послѣдней политической новости—взятія Парижа. Какъ во-очію, передъ глазами его внимательнаго слушателя развернулась вдругъ живописная панорама «современнаго Вавилона», представшая предъ союзными войсками съ высотъ Бельвиля и Монмартра; какъ во-очію, посыпался съ этихъ высотъ на городъ огненный дождь гранатъ и бомбъ, и завѣялъ бѣлый платокъ присланнаго къ графу Милорадовичу парламента.

«— Ради Бога, прекратите убійственный огонь!

«— Стало быть, городъ сдается?

«— Сдается.

«— А армія?

«— Армія ретируется.

«— Ну, Богъ съ вами! ретируйтесь.»



На слѣдующій день, съ ранняго утра любопытные парижане высыпали уже тысячами на улицы, на балконы и крыши, съ одушевленіемъ продолжалъ рассказчикъ. — Никогда, вѣдь, еще не видѣли они этихъ варваровъ съ береговъ Ледовитаго океана, одѣтыхъ, какъ слышно, въ звѣриныя шкуры и лакомящихся сальными свѣчами. Но что за диво! Вмѣсто какихъ-то косолапыхъ получудовищъ, подъ тактъ благозвучнаго военного марша, чинно и стройно выступали по улицамъ здоровяки-богатыри, молодцы-гвардейцы, въ щегольскихъ мундирахъ европейскаго покроя; а командовавшіе ими офицеры на всякій вопросъ уличныхъ ротозѣевъ отвѣчали бойко и чисто по-французски.

« — Неужели это русскіе? повторяли парижане на всѣ лады. — А гдѣ же самъ императоръ Александръ? »

« — Вотъ онъ, вотъ Александръ! кричали другіе: — на бѣломъ конѣ съ бѣлымъ султаномъ! Какъ онъ милостиво кланяется, какъ онъ прекрасенъ... Да слушайте же, слушайте: что онъ говоритъ такое? »

« — Да здравствуетъ императоръ Александръ! въ восторгѣ гремѣлъ кругомъ народъ. »

« — Да здравствуетъ миръ! отвѣчалъ государь: — я вступаю къ вамъ не врагомъ, а съ тѣмъ, чтобы возвратить вамъ спокойствіе и свободу торговли. »

« — Мы давно уже ждали ваше величество! радушно крикнулъ одинъ изъ французовъ. »

« — Я пришелъ бы и ранѣе, не менѣе вѣжливо отвѣчалъ государь, — но ваша собственная храбрость задержала меня ». »

Такъ разглагольствовалъ Сергѣй Львовичъ, а стоявшій безъ дѣла, въ ожиданіи своей очереди бѣжать въ поле, старшій сынъ его подошелъ ближе и подсѣлъ, наконецъ, къ нему на скамейку. Прочіе горожане-лицейсты точно такъ-же невольно прислушива-

лись къ занимательному разсказу, и вскорѣ всей толпой сгучились около разсказчика.

— Какъ жаль, право, что всѣхъ этихъ подробностей мы здѣсь не знали раньше! вздохнулъ Иличевскій.

— А что? спросилъ Сергѣй Львовичъ.

— Да мы съ такою жадностью читали въ газетахъ о взятіи Парижа. А тутъ разъ профессоръ Кошанскій, войдя въ классъ, объявилъ намъ: «Европейская драма сыграна: Наполеонъ отказался отъ престола и удаленъ на островъ Эльбу; статуя его снята съ Вандомской колонны, и Людовикъ XVIII объявленъ королемъ. Нашъ императоръ во всемъ блескѣ своего величія!» Отъ восторга мы всѣмъ классомъ крикнули: «ура!» Тогда Кошанскій предложилъ намъ, поэтамъ лицейскимъ, попытаться сочинить патріотическую оду: «На взятіе Парижа.»

— И вы сочинили?

— Да; двое изъ насъ: я да Дельвигъ.

— А ты, Александръ, отчего-же не написалъ?

— Да какъ-то не пишется...

— Но скоро вы про него кое-что услышите! вмѣшался въ разговоръ Пущинъ.

— Что же именно?

— Гм... извольте видѣть... замялся Пущинъ:—покуда объ этомъ еще рано распространяться.

— Я тебя не понимаю, Пущинъ, сказалъ Александръ.—О чемъ это ты говоришь?

Пущинъ только загадочно улыбнулся.

— И не для чего тебѣ знать!

— Ну, чтожъ это, господа? Какая это игра! крикнулъ горожанамъ изъ-за нейтральной полосы Комовскій.—Этакъ васъ, конечно, никогда не запятнаешь.

Горожане нехотя заняли опять свои мѣста. Очередь сда-

вать мячъ была за Пушкинымъ. Стоявшій рядомъ съ нимъ Вальховскій шепнулъ ему:

— Отдайся ужъ имъ въ руки, Господь съ ними!

— Какъ бы не такъ! отвѣчалъ Пушкинъ. — Ты — Суворочка, такъ тебѣ самъ Богъ велить; а ужъ я-то, извини, добровольно не отдамся!

— И то, Пушкинъ, отчего бы тебѣ не потѣшить Кюхельбекера? заговорилъ тутъ и другой сосѣдъ, Горчаковъ. — Смотри, какъ онъ нахохлился. Ну, что тебѣ значить?

Пушкинъ ничего не отвѣтилъ; но, сд авъ мячъ, онъ не сейчасъ перебѣжалъ поле, а выждалъ, пока мячъ достался въ руки Кюхельбекеру: тогда только, не очень спѣшно, онъ пустился въ путь. Неудивительно, что Кюхельбекеру удалось теперь запятнать его.

— Ага! наконецъ-то! захохоталъ тотъ. — Ну, становись-ка въ позицію, становись!

Пушкинъ, казалось, ужъ раскаивался въ своемъ великодушіи. Онъ, хмурясь, оглядѣлся; — но дѣлать нечего: непрекословно наклонилъ спину. Кюхельбекеръ отошелъ на десять шаговъ, разбѣжался и совершилъ довольно ловкій, при своей грузности, прыжекъ.

Но тутъ... тутъ произошло что-то непостижимое. Въ слѣдующее же мгновеніе, прыгающій лежалъ уже распростертымъ на землѣ, а врагъ его съ легкостью козы перескочилъ черезъ него и, смѣясь, возвратился въ городъ.

Если онъ рассчитывалъ этотъ разъ на чье либо одобреніе, то ошибся. Враги его громко зароптали, изъ друзей же только двое-трое расхохотались, но и тѣ ни однимъ словомъ не поддержали его.

— О чемъ вы смѣтаетесь, господа? обратился къ нимъ Суворочка-Вальховскій. — По-моему, это ничуть не смѣшно, а очень даже печально.



Пушкина какъ варомъ обожгло.

— Почему печально? запальчиво вскинулся онъ, пскоса посматривая на отца и гувернера — нѣмыхъ свидѣтелей всей сцены.

— Потому что подставлять ножку хоть бы и врагу — недостойно настоящаго лицеиста!

— Я и не думалъ подставлять ему ножки...

— Но давеча самъ же ты сказалъ, что подставишь?

— Мало ли что! Виновать ли я, что онъ тяжель, какъ набитый мѣшокъ, и не усидѣлъ на мнѣ?

Теперь въ споръ ихъ вмѣшался Пущинъ и отвелъ виноватаго въ сторону. Что говорилъ онъ ему — нельзя было слышать; но видно было, что Пушкину куда какъ не хочется сдаться на его доводы.

— Не урезонить! сказалъ гувернеру Сергѣй Львовичъ. — Я его слишкомъ хорошо знаю. Еще такимъ вотъ мальчишкой (онъ указалъ на аршинъ отъ земли) это былъ самый отчаянный упрямецъ и задира, готовъ былъ спорить до слезъ...

— И здѣсь бывали у него тоже слезы, горючія слезы, подтвердилъ Чириковъ. — Но спасибо Пущину: онъ много подтянулся, умѣетъ побороть себя. Вотъ увидите, что, въ концѣ-концовъ, Пущинъ его переубѣдитъ.

И дѣйствительно, вслѣдъ затѣмъ, Пушкинъ, красный какъ ракъ, съ безпокойно-бѣгающими глазами, подошелъ къ Кюхельбекеру и самымъ чистосердечнымъ тономъ предложилъ ему повторить опытъ, обѣщаясь «честнымъ словомъ лицеиста» не уронить его. Но для Кюхельбекера, видно, довольно было и одного опыта. Молча принявъ руку недавняго врага, онъ наотрѣзъ уклонился отъ предлагаемаго удовольствія.

— А теперь, господа, не прогуляться ли намъ къ большому пруду? сказалъ Чириковъ, приподнимаясь со скамейки. — Вы бы, М а т ю ш к и н ъ, побѣжали впередъ приготовить лодку.

Матюшкинъ, страстный рыболовъ и искусный гребецъ, былъ

главнымъ распорядителемъ водяныхъ прогулокъ лицейстовъ. Но не успѣлъ онъ еще удалиться, какъ дѣло уже разстроилось. Возвратившійся внезапно Левушка Пушкинъ принесъ отцу приказъ кучера Потапыча живѣе собираться въ дорогу: лошади-де отдохнули.

Сергѣй Львовичъ взглянулъ на часы и засуетился.

— Въ самомъ дѣлѣ, давно пора, сказалъ онъ:— жена въ Питерѣ дожидается, да и хотѣлось бы нынче вечеромъ побывать съ нею у однихъ знакомыхъ, до переѣзда ихъ на дачу. До свиданія, господа! Очень радъ, что познакомился.

Съ покровительственной миной пожавъ на прощаньи руку гувернеру и ближайшимъ лицеистамъ, онъ, въ сопровожденіи обоихъ сыновей, направился назадъ къ лицу.

— О чемъ я хотѣлъ попросить васъ, папенька... вкрадчиво заговорилъ по-французски Левушка и запнулся.

— Впередъ знаю, благосклонно улыбнулся отецъ и щипнулъ его ласково за ухо.— Всѣ денежки свои промоталъ. Такъ, вѣдь?

— О, нѣтъ, не промоталъ... Но надо, знаете, давать на чай сторожамъ, обзаводиться всякой всячиной...

— Наизусть знаю! перебилъ со вздохомъ Сергѣй Львовичъ и досталъ изъ кармана бумажникъ.— Вотъ тебѣ пять рублей. Будетъ съ тебя?

Леонъ порывисто поцѣловалъ отцовскую руку, подававшую ему кредитную бумажку.

— О, конечно!

— Ну, а вотъ тебѣ, такъ и быть, еще пять въ придачу: на орѣхи.

— Не знаю, какъ и благодарить васъ!.. А Александру, папенька? наивно добавилъ онъ.

Отецъ сдвинулъ брови и, нерѣшительно роясь въ бумажникъ, черезъ плечо оглянулся на старшаго сына.

— Да тебѣ развѣ нужно?

— Нѣтъ! коротко отрѣзалъ тотъ и крѣпко стиснулъ губы, точно боясь проронить лишнее слово.

— Очень радъ, потому что у меня и безъ того, по случаю переѣзда, пропасть расходовъ, съ довольнымъ видомъ сказалъ Сергѣй Львовичъ, опуская бумажникъ обратно въ карманъ.

Когда бричка, увозившая отца, скрылась изъ виду, Левушка обратился съ вопросомъ къ старшему брату:

— Да вѣдь у тебя, Александръ, нѣтъ ни копѣйки? Ты недавно еще, я знаю, занялъ три рубля у Горчакова...

— А тебѣ что за дѣло!

— Да вотъ, возьми себѣ одну-то бумажку. Подѣлимся по-братски.

— Спасибо, братъ... У меня изъ няниныхъ денегъ остались еще старый червонецъ да Петровскій рубль... Но я не хотѣлъ ихъ трогать...

— Ну, понятное дѣло. Бери же, сдѣлай милость! Мнѣ пять ли, десять ли рублей—все одно: живо пристрою.

Оставя въ рукахъ брата одну изъ пятирублевокъ, Левушка убѣждалъ съ другою, чтобы «живо ее пристроить».







### Г Л А В А III.

## Предатели - друзья.

«Предатели-друзья  
Невинное творенье  
Украдкой въ городъ шлютъ,  
И плодъ уединенья  
Тисненью предають.»

(Посланіе къ Дельвигу.)



Вѣстникъ Европы», издававшійся до 1803 года Карамзинымъ, потомъ нѣкоторое время— Жуковскимъ, а въ 1814 году — Измайловымъ, былъ любимымъ журналомъ лицейстовъ. Поэтому, едва только приходилъ съ почтой новый номеръ этого журнала, какъ лицейсты, просто, дрались изъ-за него. То же было и съ послѣднимъ майскимъ номеромъ. На этотъ разъ онъ ранѣе другихъ очутился въ рукахъ Пушкина.

— Дай-ка мнѣ немножко взглянуть, Пушкинъ, сказалъ, наклоняясь надъ сидящимъ, Дельвигъ: — я тебѣ сейчасъ возвращу.

Онъ отвернулъ обложку, чтобы пробѣжать содержаніе книжки.

— Ну, что, ничего? слышался сзади другой, тихій голосъ — голосъ Пущина.

— Странное дѣло: ни того, ни другого! отвѣтилъ вполголоса же Дельвигъ.

— Я, вѣдь, такъ и предсказывалъ тебѣ! Но ты не хотѣлъ...

— Что вы тамъ шепчетесь? обратился теперь къ двумъ друзьямъ Пушкинъ.

Дельвигъ какъ-будто смутился. Пущинъ съ усмѣшкой заглянулъ въ глаза Пушкину.

— Мы справлялись, нѣтъ ли тутъ одного знакомаго стихотворенія, сказалъ онъ.

Дельвигъ дернулъ его за рукавъ; но было уже поздно.

— Какого стихотворенія? спросилъ Пушкинъ.

— Да твоего — «Къ Другу-Стихотворцу».

— Клянусь вамъ, господа, я и не думалъ посылать его въ какой бы то ни было журналъ...

— А мы съ Дельвигомъ были увѣрены, что ты скромничаешь: что это былъ тебѣ запросъ отъ редактора въ восьмомъ номерѣ «Вѣстника».

— Запросъ?

— Ну, да; неужели ты не замѣтилъ?

Напрасно Дельвигъ, изъ-за спины Пушкина, поднесъ палецъ къ губамъ. Пущинъ, будто ничего не замѣчая, взялъ со стола восьмой номеръ «Вѣстника Европы» и тотчасъ отыскалъ требуемую страницу.

— На, вотъ, читай самъ, сказалъ онъ.

Пушкинъ прочелъ слѣдующее:

#### «Отъ Издателя».

«Просимъ сочинителя присланной въ «Вѣстникъ Европы» пьесы, подъ названіемъ «Къ Другу - Стихотворцу», какъ всѣхъ другихъ сочинителей, объявить намъ свое имя, ибо мы поставили себѣ закономъ не печатать тѣхъ сочиненій, авторы которыхъ не сообщили намъ своего имени и

адреса. Но смѣемъ увѣрить, что мы не употребимъ во зло право издателя и не откроемъ тайны имени, когда автору угодно скрыть его отъ публики».

— Дѣйствительно, довольно странно, задумчиво произнесъ Пушкинъ, — что другой поэтъ выбралъ какъ-разъ то же заглавіе, что и я. Но вы оба, я думаю, очень хорошо помните, что свое стихотвореніе, вмѣстѣ съ другими негодными, я бросилъ въ огонь.

— А если бы оно, паче чаянія, спаслось? спросилъ Пущинъ. — Вѣдь оно, что ни говори, было очень и очень годно.

— Иконниковъ-то расхвалилъ его.

— Ну, вотъ. Такъ отчего бы ему не украсить страницъ журнала?

Въ полминуты Пушкинъ измѣнился два раза въ лицѣ. Онъ вскочилъ со стула и, схвативъ подъ руку обоихъ друзей, потащилъ ихъ вонъ изъ читальни.

— Послушайте, господа, настоятельно приступилъ онъ къ нимъ, остановясь въ корридорѣ: — говорите ужъ на чистоту: это ваши шутки?

— Знать ничего не знаемъ... началъ Дельвигъ.

— Вѣдать не вѣдаемъ, досказалъ Пущинъ. — Стихи — можетъ быть, твои, можетъ быть, и чужіе. Если твои, то читатели тебѣ только спасибо скажутъ; если же чужіе, то тебѣ отъ нихъ ни холодно, ни жарко.

— Но согласитесь, господа, что я не давалъ никому права публиковать мою фамилію...

— А ты какъ бы подписался?

— Да, разумѣется, не полнымъ моимъ именемъ.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ, вмѣсто фамиліи: «Пушкинъ», однѣ согласныя буквы наоборотъ: «Н. к. ш. п.»



— Но тогда авторомъ могли бы счесть, пожалуй, твоего дядю Василья Львовича.

— Ну, такъ впереди этихъ буквъ я выставилъ бы свое имя: «Александръ».

— «Александръ Н. к. ш. п.»? Очень хорошо. Такъ и будемъ знать.

— Что? что?

— Ничего! отвѣчалъ Пущинъ.

Такъ Пушкинъ отъ заговорщиковъ ничего и не добился. Но каждую новую книжку «Вѣстника Европы» онъ ждалъ уже теперь съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ. Въ первомъ іюньскомъ нумерѣ опять-таки ничего не оказалось. Въ слѣдующемъ же хотя и не было посланія его «Къ Другу-Стихотворцу», зато совершенно неожиданно появилась, за подписью: «Русской», новѣйшая ода Дельвига: «На взятіе Парижа».

— Слышали, слышали, господа? раздавалось по всѣмъ комнатамъ и переходамъ лицейскимъ:—Дельвигъ печатается въ «Вѣстникѣ Европы»! Каковъ тихоня! Не даромъ говорится, что въ тихомъ омутѣ черти водятся.

Одинъ Пушкинъ молча пожалъ руку своему другу и посмотрѣлъ ему вопросительно въ глаза. Но Дельвигъ отвѣтилъ только крѣпкимъ рукопожатіемъ и съ виноватою улыбкой потупился.

Профессоръ русской словесности Кошанскій, по праву, могъ бы также гордиться этимъ первымъ плодомъ выступившей передъ публикой лицейской музы; но его не было уже въ то время въ Царскомъ: онъ занемогъ (какъ сказано выше) тяжелою болѣзнію, которая на полтора года удалила его изъ лица. Временной же замѣститель Кошанскаго, молодой адъюнктъ-профессоръ педагогическаго института въ Петербургѣ, Александръ Ивановичъ Галичъ, успѣвшій въ короткое время своимъ

мягкимъ, открытымъ нравомъ расположить къ себѣ лицейскую молодежь, сердечно поздравилъ Дельвига съ первымъ печатнымъ опытомъ.

— Починъ дороже денегъ, говорилъ онъ:— вы, баронъ, открыли дверь и другимъ товарищамъ вашимъ въ родную литературу. Богъ помочь! А чтобы достойно отпраздновать этотъ починъ, я прошу васъ и всѣхъ вашихъ друзей-поэтовъ въ мою хижину на хлѣбъ-соль.

— Ваше благородіе, позвольте узнать, допрашивалъ, немного снуся, Пушкина лицейскій оберъ-провіантмейстеръ и старшій дядька, Леонтій Кемерскій:—какое такое празднество нонече у Александра Ивановича?

— У Галича? А ты, Леонтій, почему знаешь?

— Да заказали они у меня къ вечеру всякаго десерту: яблоковъ, да мармеладу, да кондитерскаго печенья-съ...

— Нынче именины барона Дельвига, усмѣхнувшись, отвѣчалъ Пушкинъ.

— Ой-ли? Именины-то ихъ, помнится, приходятся на преподобнаго Антонія Римлянина, осенью, за три дня до большаго Спаса?

— Да, то именины церковныя, а нынче стихотверныя: день стихотворнаго его ангела.

— Такъ-съ.

Въ тотъ же день, въ 5 часовъ, вмѣсто вечерняго чая съ полубулкой, Леонтій Кемерскій собственноручно преподнесъ Дельвигу на маленькомъ подносѣ стаканъ шоколаду съ тарелочкой бисквитъ.

— Честь имѣемъ поздравить ваше благородіе съ днемъ стихотворнаго ангела-съ!

Надо ли прибавлять, что добровольное угощеніе это обошлось неожиданному имениннику вдвое дороже заказнаго?

Вечеръ у профессора Галича прошелъ для лицейскихъ сти-

хотворцевъ чрезвычайно оживленно. Первымъ дѣломъ, разумѣется, была прочитана знаменитая отнынѣ ода Дельвига, подавшая поводъ къ торжеству \*). Послѣ того Иличевскій долженъ былъ также продекламировать свою оду на ту же тѣму, и исполнилъ это съ такимъ умѣньемъ, что скроенная по точному образцу Ломоносова и Державина, напыщенная ода была прослушана всѣми съ видимымъ удовольствіемъ и вызвала дружные аплодисменты.

— Ну, а теперь твоя очередь, Кюхля, сказалъ Пушкинъ.

— Почему же моя? застѣнчиво краснѣя, пробасилъ Кюхельбекеръ, однако сталъ растегивать куртку, чтобы опустить руку въ боковой карманъ.

— То-то, взялъ, небось съ собой. И я знаю даже — что.

— Ну, ужъ нѣтъ!

— А хочешь, я тебѣ всю пьесу твою наизусть скажу?

— Говори!

Пушкинъ приподнялъ плечи и сгорбился, чтобы придать себѣ сутуловатую фигуру Кюхельбекера; послѣ чего, подражая нѣмецкому произношенію послѣдняго, съ неестественнымъ паѳосомъ забасилъ:

•Страхъ при звонѣ мѣди заставляетъ народъ уstraшенный

Толпами стремиться въ храмъ священный.

Зри, Боже! число великій унылыхъ тебя просящихъ

Сохранить имъ цѣль трудъ многимъ людямъ принадлежащій...\*\*)

\*) Вотъ наиболѣе удачные стихи этой, вообще довольно слабой въ литературномъ отношеніи, пьесы:

«... Зевсъ вдругъ кинулъ перуны,  
Горы въ песокъ превратились,  
Рухнули съ трескомъ на землю  
И — подавили гигантовъ...

Гдѣ же надменный Сизифъ?

Иль покоряетъ россиянь?..

Нѣтъ, громъ оружія россовъ

Внемлетъ пространный Парижъ!

И побѣдитель Парижа

Нѣжный отецъ россиянамъ,

Пепель Москвы забывая,

Съ кротостью галламъ прощаетъ —

И какъ дѣтей ихъ пріемлетъ

Слава герою, который

Всѣ побѣждаетъ народы

Нѣжной любовью — не силой!..»

\*\*) Такъ буквально приводитъ А. С. Пушкинъ на память, въ пи сѣмѣ къ брату своему Льву Сергѣевичу изъ Кишинева, отъ 4-го сентября 1822 года, стихи Кюхельбекера: «Гроза С — тѣ Ламберта».



Всѣ присутствующіе покатывались со смѣху; Кюхельбекеръ, чуть не плача, вскочилъ на ноги, нервно застегнулъ опять разстегнутую пуговицу куртки и завопилъ:

— Это ужъ не по товарищески!.. Такой чепухи я никогда не писалъ... Да и теперешніе стихи мои совсѣмъ другіе...

Онъ такъ круто повернулся къ выходу, что наткнулся на стулъ и уронилъ его съ грохотомъ. Пушкинъ насильно усадилъ разобиженного на прежнее мѣсто.

— Экой ты, Вильгельмъ Карлычъ, недотрога, право! Настоящій Донъ-Кихоть Ламанчскій: готовъ сражаться съ бараками да съ вѣтряными мельницами.

— А ты, Пушкинъ, что: баранъ или вѣтряная мельница? спросилъ съ кислосладкой улыбкой Кюхельбекеръ.

Пушкинъ, какъ и прочіе, засмѣялся.

— Каковъ? Остричь тоже! Нѣтъ, не шутя, Кюхельбекеръ, послѣдніе опыты твои не въ примѣръ лучше прежнихъ — публично здѣсь заявляю; ты со дня на день совершенствуешься, и тѣ стишки, что у тебя въ карманѣ, я увѣренъ, первый сортъ. Покажи-ка ихъ.

— Не охота доставать... продолжалъ дуться Кюхельбекеръ.

— Я тебѣ помогу, сказалъ Пушкинъ, живо разстегнулъ ему ту же пуговицу и полѣзъ ужъ къ нему рукой за пазуху.

— Отстанешь ли ты?! окрысился опять Кюхельбекеръ и такъ сильно толкнулъ озорника локтемъ въ бокъ, что отбросилъ его на средину комнаты.

— Однако же, костлявъ ты! прямой Донъ Кихоть! проворчалъ Пушкинъ, морщась отъ боли и потирая бокъ.

— А у васъ самихъ, Пушкинъ, развѣ ничего не припасено? спросилъ Галичъ, чтобы отвлечь общее вниманіе отъ лицейскаго Донъ-Кихота.

— Нѣтъ... да и стиховъ, я полагаю, на сегодня довольно. Хорошаго понемножку.

Разговоръ перешелъ на другую тѣму. Закончился «вечеръ» довольно поздно, и профессоръ-хозяинъ при прощаніи выразилъ увѣренность, что онъ видитъ молодыхъ гостей у себя не въ послѣдній разъ. Онъ былъ съ ними такъ радушенъ и милъ, что всѣ разошлись по своимъ камерамъ вполне довольными, за исключеніемъ развѣ одного—Кюхельбекера: никто и не вспомнилъ потомъ о хранившемся у него за пазухой стихотворномъ кладѣ! Зато, лежа уже подъ одѣяломъ, онъ, на сонъ грядущій, доставилъ себѣ то духовное наслажденіе, котораго лишилъ пріятелей: вполголоса перечелъ онъ про себя свое произведеніе, послѣ чего съ невольнымъ вздохомъ положилъ его себѣ подъ изголовье. Для чего? Быть можетъ, для того, чтобы перечестъ его еще разъ поутру или же въ надеждѣ, что оно навѣетъ ему, непризнанному таланту, утѣшительный сонъ.

Пушкинъ, потушивъ свѣчу, также не сейчасъ заснулъ. Поворочавшись на кровати, онъ, наконецъ, постучался въ стѣну, отдѣлявшую его камеру отъ сосѣдней камеры Пущина. На отвѣтный стукъ друга (кровать котораго стояла около той же стѣны), онъ началъ-было:

— Я хотѣлъ спросить тебя, Пущинъ... Ты догадываешься, конечно, о чемъ?

— Очень можетъ быть, былъ отвѣтъ.

— Такъ скажи же мнѣ откровенно...

— Что?

— Ну, да то, что мнѣ хочется знать.

— Отчего же ты прямо не спросишь?

— Оттого, что... Ты, стало быть, не хочешь сказать? Ну, и не нужно! оборвалъ разговоръ Пушкинъ, задѣтый за-живое, что другъ его не былъ настолько великодушенъ, чтобы облегчить ему задачу.

— А я вотъ что тебѣ скажу, голубчикъ, мягко и убѣдительно заговорилъ Пущинъ:—много еще въ тебѣ этихъ ребя-

чьихъ капризовъ: подай тебѣ сейчасъ игрушку, а не подашь, такъ ты готовъ челоуѣка на смерть разобидѣть, въ ключья разорвать. Одно изъ двухъ: либо я знаю, что тебѣ надо знать, либо не знаю. Ежели знаю да молчу, то, значить, у меня есть свои причины молчать. Если же не знаю, то на нѣтъ и суда нѣтъ.

— Ну, и знай про себя, и поперхнись этимъ! раздраженно крикнулъ Пушкинъ.

— Ты волнуешься совершенно напрасно, по-прежнему миролюбиво продолжалъ Пущинъ.—Тебѣ хочется вывѣдать чужую тайну; но тайна эта не моя только, но и Дельвига; онъ готовить тебѣ сюрпризъ...

— Молчи же, молчи! перебилъ опять Пушкинъ.—Я затыкнулъ уши и, все равно, ничего не услышу.

Собственно говоря, ему не было уже никакой надобности затыкать уши: слово «сюрпризъ» настолько разоблачило передъ нимъ скрываемую друзьями тайну, что сердце въ груди у него слышно заекало. Но ему все еще какъ-то не вѣрилось, чтобы они на свой страхъ такъ распорядились его литературной будущностью.

Протекли еще двѣ томительныя недѣли. Пришла новая книжка «Вѣстника Европы». Хищнымъ коршуномъ накинулся опять первымъ на нее Пушкинъ. Дрожащими руками отвернулъ онъ обертку книжки, гдѣ на оборотѣ стояло оглавление.

Вдругъ кровь, какъ молоткомъ, ударила ему въ голову. Онъ исподлобья быстро оглядѣлся въ читальнѣ: не наблюдаетъ-ли кто за нимъ.

Но три-четыре товарища, случившіеся тамъ, были погружены въ чтеніе новыхъ газетъ и журналовъ, а Дельвига и Пущина, на его счастье, не было на лицо. Глубоко переведя духъ и отвернувшись отъ ближайшаго сосѣда настолько, что-



бы тотъ не могъ заглянуть къ нему въ книжку, онъ отыскалъ въ ней то, что ему нужно было.

Да, вотъ оно, отъ слова до слова, его драгоцѣнное духовное дѣтище, посланіе «Къ Другу-Стихотворцу», которое онъ считалъ на-вѣки погибшимъ.

Онъ не читалъ—онъ пожиралъ глазами строку за строкой.

Сколько разъ вѣдь онъ перечеркивалъ, передѣлывалъ каждый стихъ! А теперь вотъ эти самые стихи нашли мѣсто въ большомъ журналѣ среди статей заправскихъ, всѣми признанныхъ писателей, точно такъ и быть должно, и смотрятъ на него изъ книги настоящими печатными литерами: ни слова въ нихъ уже не убавишь, не прибавишь... И по всей-то матушкѣ-Руси, въ это самое время, тысячи читателей и читательницъ перечитываютъ, можетъ быть, эти риѳмованные строки и, какъ знать?—разсуждаютъ про себя: «Каковъ, однако, молодчина! Славно тоже риѳмуеть! И интересно бы знать: кто этотъ новоявленный риѳмотворъ?»

Риѳмотворъ нашъ теперь только внимательнѣе вглядѣлся въ подпись. Такъ и есть, вѣдь! — четкимъ, жирнымъ шрифтомъ напечатано внизу буквально такъ, какъ онъ сказалъ тогда Пушкину:

«Александръ Н. к. ш. п.»

— Ахъ, злодѣи, злодѣи!.. пробормоталъ онъ про себя.

— А? что ты говоришь? откликнулся сосѣдъ-лицеистъ, поднимая голову.

— Ничего... я такъ...

Захлопнувъ книгу, Пушкинъ побѣждалъ отыскивать двухъ «злодѣевъ». Первымъ попался ему Пущинъ, который по насупленнымъ бровямъ и сіяющимъ глазамъ пріятеля тотчасъ смекнулъ, въ чемъ дѣло.

— Ну, что, узналъ нашу тайну? спросилъ онъ, самъ свѣтло улыбаясь.

— Узналъ, отвѣчалъ Пушкинъ, нѣсколько обезкураженный его привѣтливостью. — До сихъ поръ я считалъ васъ обоихъ за добрыхъ товарищей, а теперь вижу, что вы — Іуды-предатели...

— Потому что хлопчемъ о твоей славѣ? Впрочемъ, я тутъ почти не при чемъ. Дельвигъ спасъ тогда твои стихи отъ сожженія; мнѣ пришла только мысль послать ихъ, вмѣстѣ со стихами Дельвига, въ «Вѣстникъ Европы».

Въ это время подошелъ къ нимъ и второй «предатель» — Дельвигъ.

— Отъ тебя-то, баронъ, я ужъ никакъ не ожидалъ такого коварства, съ отгѣнкомъ упрека еще сказалъ ему Пушкинъ.

— Такъ, стало быть, напечатано? воскликнулъ Дельвигъ. — Ну, отъ души поздравляю тебя, мой милый! Я такъ радъ...

— А я, можетъ быть, вовсе не радъ! Если-бы я только не былъ убѣжденъ въ томъ, что вы не желаете мнѣ зла, то навсегда перессорился бы съ вами. Теперь же, право, не знаю, что дѣлать съ вами...

— А я знаю! съ дружелюбнымъ лукавствомъ отозвался Пущинъ.

— Что же?

— Да расцѣловать насъ обоихъ.

Какъ ни крѣпился Пушкинъ, чтобы не обнаружить своего скрытаго удовольствія, — теперь онъ мгновенно просвѣтлѣлъ, расхохотался и въ точности исполнилъ совѣтъ пріятеля: звонко чмокнулъ по три раза сперва одного, потомъ другаго.

— Но, пожалуйста, господа, дайте мнѣ слово не рассказывать другимъ, попросилъ онъ въ заключеніе.

Они дали слово. Но это ни къ чему не повело. На другое же утро, вмѣсто стакана чаю, передъ каждымъ лицейстомъ очутилось по чашкѣ кофею и по «столбушкѣ» сухарей.

— Съ днемъ стихотворнаго ангела-съ, ваше благородіе! говорилъ опять Пушкину Леонтій Кемерскій.

— Ай-да, Пушкинъ! спасибо за угощеніе! наперерывъ кричали ему товарищи.

Пушкинъ съ укоромъ взглянулъ на двухъ предателей-друзей; но тѣ съ самымъ невиннымъ видомъ покачали головой: очевидно ни тотъ, ни другой не знали, кто выдалъ стихотворнаго именинника.

Послѣ кофey Пушкинъ тотчасъ же отыскалъ оберъ-провіантмейстера въ его коморкѣ и потребовалъ у него отчета.

— Не велѣно сказывать вамъ, сударь, уклонился Леонтій и, какъ ни настаивалъ Пушкинъ, не назвалъ-таки новаго предателя.

— А что я тебѣ долженъ за кофey? спросилъ Пушкинъ.

— Ничего-съ: все уже справлено.

— Заплачено?—кѣмъ же?

— Не велѣно сказывать.

— Заладилъ свое! Подарковъ я, братецъ, ни отъ тебя и ни отъ кого не принимаю.

— Отчего-жъ, коли отъ добраго сердца? А у Вильгельма Карлыча сердце, можно сказать, золотое...

— А! такъ это Кюхельбекеръ!..

— Типунъ мнѣ на языкъ! спохватился старикъ-дядька.— Ужъ сдѣлайте такую Божескую милость, ваше благородіе, не выдавайте меня, старика! Господинъ Кюхельбекеръ во вѣкъ мнѣ сего не проститъ: сердце у него хошь и добрѣющее, да, ухъ! какое разгорчивое...

— Ладно, не бойся, успокоилъ его Пушкинъ и, встрѣтивъ затѣмъ Кюхельбекера, пожалъ ему украдкою руку со словами:—«спасибо, дружище! ты тоже поэтъ въ душѣ и понимаешь поэта».

Тотъ покраснѣлъ отъ счастья и пробормоталъ:

— Ты слишкомъ добръ, Пушкинъ... Мнѣ далеко до тебя...



Но если-бы ты только позволилъ мнѣ иногда давать тебѣ на просмотръ мои стихи...

Пушкина покорило, но нечего было дѣлать.

— Хорошо; сдѣлай одолженіе, сказалъ онъ.

Таковъ былъ печатный дебютъ великаго нашего поэта. Первая литературная неудача его (описанная въ первомъ нашемъ разсказѣ) была окончательно забыта и искуплена послѣднимъ успѣхомъ. Не только товарищи, но и профессора, въ особенности профессоръ русской словесности Галичъ, относились къ нему съ этихъ поръ съ бѣльшею внимательностью, а маленькіе пансіонеры даже съ видимымъ уваженіемъ. Справедливость, впрочемъ, требуетъ сказать, что младшій братъ поэта, пансіонеръ Левушка, прилагалъ всевозможныя старанія къ еще большему прославленію брата между своими сверстниками; между лицеистами же болѣе всего трубилъ о немъ не Дельвигъ, не Пущинъ, а новый восторженный поклонникъ его Кюхельбекеръ. Самому Пушкину сдавалось, что онъ какъ-будто вдругъ на вершокъ выросъ, и смѣлѣе, веселѣе прежняго сталъ глядѣть теперь всѣмъ и каждому въ глаза.

Одна только мимолетная тучка затмила разъ надъ нимъ ясный небосклонъ. Въ слѣдующемъ письмѣ къ нему отъ отца изъ деревни была такая приписка:

«Братъ Василій Львовичъ неодобрительно пишетъ мнѣ изъ Москвы, что ты напечаталъ какую-то вещь въ журналѣ Измайлова. Правда ли это? Рано пташка запѣла: какъ бы кошка не съѣла!»





## ГЛАВА IV.

### Павловскій праздникъ.

«Вы помните, какъ нашъ Агамемнонъ  
Изъ плѣннаго Парижа къ намъ примчался  
Какой восторгъ тогда предъ нимъ раздался.  
Какъ былъ великъ, какъ былъ прекрасенъ  
онъ..»

(Лицейская годовщина.)

Въ «царскомъ домѣ пиръ веселый...»

(Пиръ Петра Великаго.)



диннадцатаго іюля, надзиратель Чачковъ созвалъ лицейстовъ въ рекреационный залъ.

— Только-что, господа, въ здѣшній дворецъ при-  
скакалъ курьеръ отъ нашего возлюбленнаго монарха,  
объявилъ онъ.—Побѣдоносная армія наша, совершивъ  
свое великое дѣло, возвращается изъ Парижа; самъ же  
государь завтра пожалуетъ къ намъ въ Царское и будетъ  
отдыхать здѣсь отъ перенесенныхъ трудовъ.

Легко представить себѣ, какъ заволновалась при такомъ  
радостномъ извѣстіи лицейская молодежь, которая, начиная съ  
войны 1812 года, съ живымъ участіемъ слѣдила по газетамъ  
за каждымъ, такъ сказать, шагомъ нашей арміи и императора  
Александра.

— Одного только не забудьте, господа, продолжалъ над-  
зиратель, замѣтивъ, какое сильное впечатлѣніе произвело его





Императрица Марія Θεοδоровна.

1759 — 1828.





сообщеніе на молодыхъ людей: — государь хочетъ день-другой уединиться здѣсь, подышать на полной свободѣ. Поэтому обѣщаетесь ли вы поумѣрить вашу... какъ бы лучше выразиться? — вашу юношескую удаль и не нарушать его покоя?

— Мы ужъ не малыя дѣти, Василій Васильичъ, отвѣчалъ серьезно за себя и товарищей Суворочка-Вальховскій; — мы очень хорошо понимаемъ, что государю нуженъ также отдыхъ и что съ нашей стороны было бы крайне безтактно соваться къ нему на глаза, хотя всѣ мы и горимъ желаніемъ выказать ему нашу безпредѣльную преданность и любовь.

— Успѣете, господа. Государя встрѣчаютъ теперь вездѣ съ такимъ восторгомъ, съ такими затѣями, что у нашего брата, простаго смертнаго, голова бы кругомъ пошла. Вотъ и въ самомъ близкомъ сосѣдствѣ нашемъ, въ Павловскѣ, августѣйшая мать его, Марія Ѳеодоровна, готовитъ, говорятъ, небывалый праздникъ.

На вопросъ любопытствующихъ, — въ чемъ же именно будетъ заключаться этотъ праздникъ, — Чачковъ отозвался незнаніемъ и, выразивъ еще разъ увѣренность, что господа лицеисты не забудутъ своего обѣщанія, удалился.

— Гдѣ же нашъ ходячій листокъ, Францъ Осипычъ? толковали межъ собой лицеисты. — Когда нужно, тогда и нѣтъ его.

Но обвиненіе почтеннаго лицейскаго врача было преждевременно. Не успѣли молодые люди разойтись, какъ на порогѣ показалась полная, сановитая фигура Пешеля. Лицеисты мигомъ окружили его.

— Гдѣ вы это пропадаете, Францъ Осипычъ? накинулись они на него. — Въ Павловскѣ затѣвается что-то небывалое, а вы и въ усь себѣ не дуете.

— Я-то въ усь не дую? переспросилъ Францъ Осиповичъ и съ самодовольной усмѣшкой закрутилъ надъ тщательно-вы-

бритой верхней губой воображаемый усъ.—Вы спросите-ка лучше: откуда я сейчасъ?

— Откуда?

— Оттуда же, изъ Павловска.

— А!

— Б! передразнилъ докторъ.—Въ Розовомъ павильонѣ тамъ устраивается, въ самомъ дѣлѣ, нѣчто грандіозное.

— Въ Розовомъ павильонѣ?—Это что такое?

— А простенькій сельскій домикъ, который окрашенъ розовой краской и обсаженъ кругомъ розовыми кустами.

— Да и на панеляхъ, внутри него, нарисованы розы, вмѣшался хриплымъ басомъ Кюхельбекеръ, который дѣтство свое провелъ въ Павловскѣ, гдѣ покойный отецъ его былъ комендантомъ.—Въ окнахъ же павильона, знаете, золотыя арфы, такъ что когда подходишь къ нему, то еще издали кажется, будто слышишь небесную музыку:

«Глаголь времянь, металла звонъ...»

— Пошелъ! поѣхалъ! перебили его товарищи.—Ну, и что же, докторъ? Говорите, рассказывайте!

— А вотъ что, съ важностью докладчика началъ докторъ:—черезъ двѣ недѣли павильонъ будетъ неузнаваемъ. Полагается пристроить къ нему еще пару маленькихъ горницъ, наружную галерею и наконецъ большой танцевальный залъ. Работа уже закипѣла. Но и это еще не все. Будетъ двое триумфальныхъ воротъ, будетъ декорація на заднемъ планѣ, съ изображеніемъ настоящей русской деревни. Тутъ же будетъ разыгранъ въ лицахъ «пастораль»: крестьянъ и крестьянокъ будутъ изображать первые сюжеты императорской оперной и балетной труппы, а коровъ, овецъ да козъ...

— Вторые сюжеты? шутливо досказалъ Пушкинъ.

— Нѣтъ, любезнѣйшій, отвѣчалъ, улыбнувшись, Пешель:—тѣхъ на сей разъ возьмутъ съ царской фермы. Главный режис-



серъ всего праздника, придворный балетмейстеръ Дидло, такъ и объявилъ государынѣ: «Дайте мнѣ, ваше величество, вашихъ коровъ, овецъ, козъ; сыръ отъ этого не будетъ хуже \*). Дайте мнѣ мужиковъ, бабъ, дѣвушекъ, дѣтей, всю святую Русь! Пусть все пляшетъ, играетъ, поетъ и веселится. Ваши гости совсѣмъ сдѣлались парижанами: пусть же они снова почувствуютъ, что они русскіе!» Замѣсто простыхъ мужиковъ да бабъ, впрочемъ, предпочли взять поддѣльныхъ — оперныхъ и балетныхъ.

— Вотъ куда бы попасть! вздохнулъ Пушкинъ.

— Я-то попаду! похвастался графъ Броглю.

— Это какимъ путемъ?

— Да ужъ попаду!

До поздняго вечера у лицейстовъ только и было разговоровъ, что о государынѣ и предстоящемъ праздникѣ въ Розовомъ павильонѣ. Удалившись въ свою камеру и улегшись въ постель, Пушкинъ опять не утерпѣлъ, чтобы черезъ стѣнку не обмѣняться занимавшими его мыслями съ сосѣдомъ и другомъ своимъ Пушинымъ.

— Какъ ты думаешь, Пушинъ, спросилъ онъ: — какимъ образомъ Броглю надѣется попасть въ Павловскъ?

— Вѣроятно, черезъ своего посланника: — тотъ, можетъ быть, дѣйствительно выхлопочетъ ему разрѣшеніе у министра; а нѣтъ, — такъ Броглю станетъ и на то, чтобы улизнуть туда тайкомъ.

— А отчего бы и намъ съ тобой не попробовать того-же?

— Ну, нѣтъ, другъ мой, возразилъ болѣе благоразумный Пушинъ: — удрать не большая мудрость, но вернуться назадъ незамѣченнымъ — куда мудрено. А замѣтятъ, такъ донесутъ министру, и тотъ по головкѣ не погладитъ.

---

\*) На императорской фермѣ приготовлялся въ то время швейцарскій сыръ, который отправляли даже на продажу въ Петербургъ.

— Но упустить такой единственный случай, согласишься, ужасно обидно!

— Обидно — правда. Но мало ли чего кому хочется? По моему, коли ужъ на то пошло, то лучше дѣйствовать честно и открыто: черезъ Чачкова просить самого министра.

— Хорошо, если выгорить.

— А не выгорить — такъ, значить, не судьба. Завтра же попытаемъ счастья.

Сказано — сдѣлано. На слѣдующее утро, подговоренные двумя друзьями, лиценсты гурьбой повалили къ надзирателю — просить заступничества передъ графомъ Разумовскимъ.

— Право, затрудняюсь, господа, съ обычною мягкостью началь-было отговариваться Чачковъ.

— Вѣдь это одно изъ тѣхъ рѣдкихъ торжествъ, гдѣ много званныхъ, да мало избранныхъ...

— Такъ мы удеремъ безъ спросу! вырвалось сгоряча у Пушкина.

— Что вы! что вы! перекреститесь! не на шутку переполошился надзиратель и замахалъ руками. — Да за такое ваше любопытство...

— Это не простое любопытство, Василій Васильичъ, съ горделивою скромностью прервалъ его тутъ князь Горчаковъ: — это патріотизмъ, очень понятное желаніе каждаго сына отечества своими глазами видѣть торжество нашего спасителя — государя. Едва ли насъ за это казнятъ, не помилуютъ.

— Браво! браво, Горчаковъ! загалдѣлъ кругомъ хоръ товарищей. — Нѣтъ, Василій Васильичъ, лучше ужъ напрямикъ доложите министру, что мы такіе, молъ, патріоты...

— Что удерете даже безъ начальства? Я сдѣлаю, господа, все, что отъ меня зависитъ...

— Ей-богу?

— Да, да...

Что Чачковъ сдѣлалъ все возможное, — лицеисты убѣдились вскорѣ: за нѣсколько дней до праздника, дѣйствительно было получено изъ Петербурга официальное разрѣшеніе всѣмъ имъ присутствовать на торжествѣ.

Между тѣмъ, 12 іюля, въ Царское Село, какъ предупредилъ ихъ надзиратель, прибылъ уже изъ заграничнаго похода императоръ Александръ. По особо-выраженному имъ желанію, прибытіе его не сопровождалось никакимъ наружнымъ блескомъ. все осталось какъ бы въ будничной колѣѣ, и только императорскій флагъ, развѣвавшійся надъ кровлей дворца, свидѣтельствоваъ о присутствіи Высокаго хозяина.

Лицеисты, вѣрные обѣщанію, которое взялъ съ нихъ Чачковъ, избѣгали попадаться на глаза государю. Но вовсе его не увидѣть — было для нихъ невысказано. И вотъ, изъ-за густой чащи деревъ они тихомолкомъ наблюдали за нимъ, когда онъ, въ глубокой задумчивости, прохаживался иногда по уединеннымъ аллеямъ парка. А Дельвигъ, въ поэтической своей разсѣянности, забрелъ однажды слишкомъ далеко и очутился лицомъ къ лицу съ императоромъ. Онъ дотога оторопѣлъ, что остановился, какъ вкопанный, и тогда лишь догадался сорвать съ головы фуражку, когда Александръ Павловичъ обратился къ нему съ милостивымъ вопросомъ. Рассказывая потомъ товарищамъ объ этой встрѣчѣ, хладнокровный по природѣ Дельвигъ все еще не могъ успокоиться и не умѣлъ передать въ точности своего разговора съ государемъ.

— Знаю одно: что онъ былъ со мною такъ ласковъ, говорилъ онъ, — что, право, теперь я за него пойду хоть въ огонь и въ воду!

Графъ Броглю, между тѣмъ, успѣлъ уже завязать знакомство съ молодымъ свитскимъ офицеромъ, прибывшимъ вмѣстѣ съ государемъ. Отъ него лицеисты узнали нѣсколько интересныхъ подробностей о пребываніи русскихъ въ Парижѣ. Особен-



ное впечатлѣніе произвелъ на нихъ рассказъ о томъ, какъ праздновалось тамъ Свѣтлое Христово Воскресенье. Послѣ большаго парада, войска наши заняли площадь Людовика XVI или Согласія. На высокомъ амвонѣ было совершено здѣсь православнымъ духовенствомъ торжественное благодарственное молебствіе за низложеніе Наполеона и за воцареніе вновь Бурбоновъ. Французы, наравнѣ съ русскими, преклонили колѣни, плакали и молились за освободителя всей Европы—императора Александра. По русскому обычаю, государь, предъ лицомъ всего народа, похристосовался и съ французскими маршалами, при громѣ пушекъ, сдѣлавшихъ 101 выстрѣлъ. Запрудившая всю громадную площадь стотысячная толпа, какъ одинъ человѣкъ, восторженно кричала: «Да здравствуетъ Александръ I! Да здравствуетъ Людовикъ XVIII!»

Въ своемъ Царскомъ Селѣ Александръ Павловичъ на этотъ разъ пробылъ не долѣе сутокъ. Въ Петербургѣ, какъ слышали потомъ лицеисты, онъ точно также отмѣнилъ приготовленную для него торжественную встрѣчу. Когда же ему, отъ имени синода, сената и государственнаго совѣта, былъ поднесенъ вѣрно-подданническій адресъ, то, скромный въ своемъ величіи, монархъ наотрѣзъ отказался принять предложенное ему наименованіе «Благословеннаго». Зато, когда онъ, 14 іюля, подъѣхалъ къ Казанскому собору, чтобы присутствовать на молебнѣ, народъ бросился къ его коляскѣ и огласилъ воздухъ такими единокдушными криками восторга, что ему невозможно было сомнѣваться въ безграничной благодарности народной.

Съ какимъ нетерпѣніемъ ожидали лицеисты 26-е іюля—день, назначенный для Павловскаго празднества—не трудно себѣ представить. Наконецъ, забрезжило желанное утро. Но, Боже мой! чтожъ это такое? Словно теперь и силы небесныя сговорились противъ нихъ. Дождь лилъ, какъ изъ ведра, а небо было застлано такой сплошной сѣрой пеленой, что на перемѣну

погоды не было никакой надежды. Хотя къ полудню ливень поутихъ, но въ серединѣ обѣда зарядилъ снова, такъ что у лицейстовъ даже аппетитъ отбило.

— Неужели же праздника не отмѣнять? жаловались они.

— Да, въ этакое ненастье, извините, я васъ никакъ не могу пустить, господа, объявилъ Чачковъ:—до ниточки промокнете. Но докторъ Пешель явился опять добрымъ вѣстникомъ,—что праздникъ, по распоряженію императрицы Маріи Ѳеодоровны, отложенъ до слѣдующаго дня.

— Слава Тебѣ, Господи! вздохнули съ облегченнымъ сердцемъ лицейсты.—Только бы завтра не было дождя.

Опасенія ихъ, однако, не оправдались. Хотя съ утра небо было еще туманно, но барометръ значительно поднялся, и съ половины дня погода совсѣмъ разгулялась. Барометръ душевнаго настроенія лицейстовъ показывалъ также самую ясную погоду. Ровно въ пять часовъ, напившись чаю съ полубулкой, они въ парадной формѣ: мундирахъ, треуголкахъ и ботфортахъ, перешучиваясь, пересмѣиваясь, выстроились въ ряды, чтобы, подъ наблюденіемъ надзирателя Чачкова, гувернера Чирикова и старшаго дядьки Кемерскаго, тронуться въ путь. Но передъ самымъ выходомъ встрѣтилась задержка. Вбѣжавшій впопыхахъ сторожъ вполголоса отрапортовалъ надзирателю, что «супругъ его высокоблагородія съ ягодой однѣмъ никакъ не управится».

Чачковъ заметался и схватился за голову.

— Ахъ, Матерь Пресвятая Богордица! Не разорваться же мнѣ... Скажи, что я не могу, что долгъ службы прежде всего...

— Не смѣю, ваше высокоблагородіе, отозвался сторожъ:—барыня и такъ ужъ больно гнѣваться изволятъ, такого мнѣ феферу зададутъ...

Надзиратель въ отчаяніи оглядѣлся кругомъ: не выручитъ ли его добрый ангелъ изъ бѣды. Такой нашелся въ лицѣ молодого



профессора Галича, очереднаго дежурнаго директора, который въ это время стоялъ тутъ же и бесѣдовалъ съ лицеистами.

— Не могу ли я чѣмъ-нибудь пособить вамъ, Василій Васильичъ?—спросилъ онъ, подходя къ растерявшемуся надзирателю.

— И то, батюшка Александръ Ивановичъ! будьте благодѣтелемъ! обрадовался Чачковъ и, взявъ подъ руку профессора, отвелъ его къ окошку.—У меня въ домѣ, знаете, нынче какъ-разъ варенье варится...

— Ну, ужъ по этой части я круглый невѣжда, сказалъ съ усмѣшкой Галичъ.

— Да нѣтъ-съ, не въ томъ дѣло-съ. Супругъ-то моей одной, безъ меня, никакъ не управиться: почистить, знаете, ягодку, ложкой помѣшать варево въ тазу потихонечку да полегонечку, знаете, чтобы не подгорѣло...

Графъ Броглю, подслушавшій ихъ разговоръ, счелъ нужнымъ вставить свое острое слово:

— Мы бы вамъ, Василій Васильичъ, потихонечку да полегонечку все очистили, и варить бы не надо было.

— Эхъ, графъ! вы все съ вашими шуточками! сказалъ Чачковъ.—Вотъ кабы вы, добрѣйшій Александръ Ивановичъ, заступили меня при господахъ лицеистахъ...

— Съ удовольствіемъ, отвѣчалъ Галичъ и, наскоро переодѣвшись, сталъ съ Чириковымъ во главѣ препорученнаго ему отряда молодежи.

Впродолженіи всего пути въ Павловскъ, разговоръ лицестовъ вращался исключительно около цѣли ихъ прогулки. Кюхельбекеръ, который побывалъ уже въ Розовомъ павильонѣ, долженъ былъ описать теперь внутренность павильона.

— Есть тамъ клавесинъ, рассказывалъ онъ,—есть небольшая библіотека. На столѣ разложены послѣдніе газеты и журналы, а на особомъ столикѣ, въ углу—альбомы, куда каждый



гость можетъ вписать, что ему угодно. Все тамъ такъ просто, но и такъ мило, такъ вкусно..., т. е. я хотѣлъ сказать: во всемъ такой вкусъ...

— Что ты съѣлъ бы и клавесинъ, и альбомы? подхватилъ насмѣшливо графъ Броглю. — Нѣтъ, братъ Кюхля, тамъ есть вѣроятно, еще и повкуснѣе вещи. Я слышалъ, по крайней мѣрѣ, продолжалъ онъ, облизывая свои пухлыя, красныя губы, — что у Маріи Θεодоровны весь штатъ придворный какъ сыръ въ масле катается. Въ каждомъ павильончикѣ у нея, говорятъ, какъ каждомъ сельскомъ домикѣ, можно требовать себѣ свѣжихъ сливокъ, масла, сыру. Не проходитъ почти дня, чтобы не устраивались у нея увеселительныя прогулки на линейкахъ: то на ферму, то въ Славянку, и впередъ высылаются всегда цѣлыя фуры съ отборной провизіей. По воскреснымъ же днямъ, во дворцѣ обязательно званый обѣдъ, на площадкѣ передъ дворцомъ музыка, гулянье: ну, и, разумѣется, масса всякаго сброду, особенно мужичья, бабья; всѣ они тутъ, какъ у себя дома, орутъ хоромъ пѣсни, бѣгаютъ въ горѣлки...

— Слушая васъ, любезный графъ, иной, пожалуй, заключилъ бы, что у государыни только и заботы, чтобы веселить народъ и своихъ придворныхъ, серьезно замѣтилъ профессоръ Галичъ, и рассказалъ, въ свою очередь, въ подробности, какъ именно распредѣленъ день у вдовствующей императрицы: какъ она, вставая аккуратно въ 6 часовъ утра, садится сейчасъ за текущія дѣла, читаетъ просьбы, письма и донесенія отъ всѣхъ женскихъ институтовъ, отъ воспитательнаго дома и другихъ благотворительныхъ заведеній; какъ потомъ, въ обществѣ великой княжны Анны Павловны, отправляется, смотря по погодѣ, пѣшкомъ или въ экипажѣ, гулять не гулять, а убѣдиться собственными глазами, всѣ ли на своихъ мѣстахъ и у дѣла; какъ, возвратясь домой, тутъ же передъ дворцомъ принимаетъ просителей и для cadaго найдетъ слово утѣшенія,

одобренія; какъ послѣ обѣда, передъ которымъ она снова занимается дѣломъ, у нея собирается избранный кружокъ, и какъ тотъ или другой искусный чтець-литераторъ — Дмитріевъ или Нелединскій-Мелецкій — прочитываютъ какого-нибудь классика, а въ это время сама Марія Ѳеодоровна, со своими камеръ-фрейлинами, слушая ихъ, щиплетъ корпію для русскихъ раненыхъ.

Въ такихъ разговорахъ наша молодежь незамѣтно достигла Павловскаго парка. Здѣсь было уже не до связной бесѣды; чѣмъ ближе подходили они къ Розовому павильону, тѣмъ чаще приходилось имъ обгонять группы горожанъ и крестьянъ, шумно и весело спѣшившихъ къ той же цѣли. Возбужденіе, въ которомъ находились всѣ эти празднично-разряженные люди, дѣйствовало заразительно и на лицейстовъ. Все ускоряя шагъ, они почти-что бѣжали.

— Вонъ и триумфальныя ворота! крикнулъ одинъ изъ передовыхъ.

Въ концѣ песчаной дорожки, извивавшейся между деревьями, высились увитыя зеленью ворота, съ какою-то замысловатою надписью изъ живыхъ цвѣтовъ.

— Кто первый прочтетъ? предложилъ Пушкинъ и, перегнавъ товарищей, пустился со всѣхъ ногъ къ воротамъ.

Нѣкоторые бросились вслѣдъ за нимъ. Но онъ уже подбѣжалъ на 10 шаговъ къ воротамъ и, обернувшись, крикнулъ:

•Тебя, грядущаго къ намъ съ бою,  
Врата побѣдны не вмѣстятъ».

— Нельзя ли потише, молодой человѣкъ? раздался около него внушительный старческій голосъ.

Теперь только Пушкинъ замѣтилъ невысокаго, толстенькаго, исполненнаго чувства собственного достоинства старичка-сановника, въ треуголкѣ съ плюмажемъ, въ раззолоченномъ сенаторекомъ мундирѣ, съ двумя звѣздами на груди и съ голубой



лентой черезъ плечо. То былъ, очевидно, одинъ изъ главныхъ распорядителей праздника. Около него, въ однообразныхъ долгополыхъ кафтанахъ, скучились пѣвчіе придворной капеллы. Приставленные къ воротамъ двое полицейскихъ старались, довольно, впрочемъ, безуспѣшно, оттѣснить на окружающій лугъ напиравшую отовсюду пеструю толпу зѣвакъ.

— Это—Нелединскій... шепнулъ Пушкину подоспѣвшій въ это время Галичъ, и, затѣмъ, съ легкимъ поклономъ обратился къ самому сановнику-поэту:

— Не взыщите съ нихъ, молодое—зелено. Позвольте узнать, кому принадлежать эти два стиха на воротахъ?

Нелединскій-Мелецкій, не поворачивая головы, чуть-чуть прищуренными глазами снисходительно покосился на вопрошающаго.

— Новѣйшей поэтессѣ нашей, г-жѣ Буниной, произнесъ онъ съ оттѣнкомъ пренебреженія, но неизвѣстно къ кому именно: къ поэтессѣ или къ вопрошающему.

— А сами, ваше превосходительство, безъ сомнѣнія, тоже изволили сочинить кое-что для настоящаго торжества? почтительно спросилъ его тутъ, выступая впередъ, Чириковъ.

— Кое-что—да, болѣе привѣтливо отвѣчалъ польщенный вопросомъ Нелединскій:— кантату, что будетъ пѣться при сихъ самыхъ вратахъ.

— И музыка вашей же композиціи? осмѣлюсь спросить.

— Нѣтъ, Бортнянскаго. Каждый истинный служитель Аполлона и Мельпомены потщился принести свою лепту на алтарь отчизны: текстъ—Державина, Батюшкова, князя Вяземскаго и вашего покорнаго слуги; музыка—Бортнянскаго, Кавоса, Антолини.

— Ъдутъ! ъдутъ! раздались тутъ крики, и море людей кругомъ бурно заколыхалось. Лицеисты, какъ ни упирались, были смыты съ мѣста живой волной и отброшены на ближай-



шую полянку. Отсюда, изъ-за головъ сосѣдей, они вытягивали шею, чтобы хоть что-нибудь да увидать.

Сперва на линейкахъ и въ открытыхъ коляскахъ прибывали только разные придворные чины. Разноцвѣтные плюмажи и ленты такъ и пестрѣли; золотые и серебряные воротники, эполеты и аксельбанты такъ и сверкали въ косыхъ лучахъ вечерняго солнца.

Но вотъ изъ-за купы деревъ донеслось отдаленное «ура»! — и восторженный крикъ громогласно перекатился по всей многотысячной толпѣ и былъ подхваченъ лицами: въ сопровожденіи великихъ князей, окруженный блестящей свитой, показался самъ императоръ Александръ Павловичъ. Раскланиваясь по сторонамъ, едва только онъ приблизился къ первымъ триумфальнымъ воротамъ, какъ, по знаку Нелединскаго, хоръ пѣвчихъ грянулъ привѣтственную кантату.

Разнообразные фазисы празднества такъ непрерывно и быстро смѣнялись теперь одинъ другимъ, что лицеисты, такъ сказать, почувствоваться не могли.

У самаго Розоваго павильона стояли вторыя ворота, увѣшанныя лавровыми вѣнками. Здѣсь были пропѣты новые куплеты. По обѣ стороны павильона, на лужайкахъ, были возведены кулисы изъ живой зелени, а на заднемъ фонѣ виднѣлись: справа — высоты Монмартра съ вѣтряными мельницами, слѣва — барская усадьба и рядъ крестьянскихъ избъ.

Изъ-за сплошной толпы народа и придворныхъ, окружавшихъ царскую фамилію, лицеисты не имѣли возможности послѣдовательно наблюдать за ходомъ всего представленія, за пѣніемъ и танцами подъ открытымъ небомъ. Тѣмъ не менѣе, общее содержаніе пьесы отъ нихъ не ускользнуло. Спектакль состоялъ изъ 4-хъ картинъ. Въ первой дѣйствующими лицами были дѣти, во второй — юноши и дѣвушки, въ третьей — жены воиновъ, а въ четвертой — ихъ родители. Всѣ они, въ той или

другой формѣ, выражали свою радость по случаю возвращенія близкихъ ихъ сердцу людей съ поля сраженія, возсылали молитвы къ Богу за благоденствіе спасителя родины и всей Европы и осыпали путь его цвѣтами. Взаключеніе, первый теноръ петербургской оперы, знаменитый С а м о й л о в ъ, пропѣлъ кантату, нарочно по этому случаю сочиненную Державинымъ:

«Ты возвратился, благодатный,  
Нашъ кроткій ангель, лучъ сердець...»

Своимъ чуднымъ, бархатнымъ голосомъ онъ пѣлъ съ такою задушевностью, что и самъ государь, и свита, и весь народъ были видимо растроганы. Пушкинъ вынужденъ былъ даже достать изъ кармана платокъ и сталъ усиленно сморкаться.

— У тебя, Пушкинъ, насморкъ? не утерпѣлъ, чтобы не подразнить его стоявшій рядомъ съ нимъ Брогліо.

Пушкинъ окинулъ его молніеноснымъ взглядомъ.

— Ты, Брогліо, иностранецъ, и насъ, русскихъ, понять не можешь! съ гордостью произнесъ онъ и повернулся къ нему спиной.

Кстати упомянемъ здѣсь, что кантата Державина имѣла потомъ самый обширный успѣхъ, потому что долгое время еще пѣлась по всей Россіи. Воспѣваемый въ ней «кроткій ангель», императоръ Александръ былъ тогда у всѣхъ и каждаго на душѣ и на устахъ: не было почти русскаго дома, гдѣ бы портретъ или бюстъ государя не былъ увить цвѣтами, гдѣ бы первая молитва, первый тостъ не посвящались ему.

Между тѣмъ, понемногу смеркалось, и Розовый павильонъ, куда вошли государь и придворные, засвѣтился огнями. Лицеисты, благодаря покровительству Нелединскаго-Мелецкаго, успѣли протѣсниться сквозь толпу на вновь-возведенную во кругъ павильона галерею. Вечеръ былъ теплый, и окна въ танцевальномъ залѣ раскрыты настежь, почему зрители могли прекрасно видѣть весь огромный залъ. По всему потолку его



лучеобразно были развѣшаны гирлянды зелени и розъ. Пять большихъ деревянныхъ раззолоченныхъ люстръ были изящно увиты такими же гирляндами, а на самыхъ люстрахъ, по всему карнизу и надъ дверьми горѣли безсчетные огни. Въ углубленіи зала, за трельяжемъ съ зеленью, былъ скрытъ струнный оркестръ. При появленіи Двора, онъ заигралъ полонезъ.

Государь, объ руку съ императрицей-матерью, открылъ балъ. Нѣсколько разъ проходили они мимо окна, у котораго стоялъ Пушкинъ, такъ что онъ могъ разглядѣть вблизи не только знакомыя уже ему черты ихъ, но и нарядъ обоихъ: императоръ былъ въ красномъ кавалергардскомъ мундирѣ; императрица въ шелковомъ моарѣ платья, съ буфчиками, съ короткой тальей и открытыми плечами; у лѣваго плеча ея, на черномъ бантѣ былъ приколотъ бѣлый мальтійскій крестъ; на шеѣ сверкало алмазное ожерелье; на головѣ былъ надѣтъ токъ съ бѣлымъ страусовымъ перомъ; на рукахъ, до самыхъ локтей, палевыя лайковыя перчатки; въ одной рукѣ она держала кружевной платокъ и лорнетъ, въ другой — вѣеръ. Но стоило только Пушкину взглянуть ей въ лицо, какъ онъ забывалъ уже объ ея нарядѣ: такое безпредѣльное счастье, такая материнская гордость сіяли въ этихъ близорукихъ, но выразительныхъ глазахъ, въ каждой чертѣ этого немолодаго, но необычайно симпатичнаго, благороднаго лица!

За полонезомъ раздались плѣнительные звуки вальса — и пары закружились по залѣ, изящно свиваясь и развиваясь такими же цвѣтущими гирляндами, какія свѣсились на нихъ сверху, съ потолка и люстръ. Въ воздушныхъ бальныхъ платьяхъ, въ золотѣ и самоцвѣтныхъ камняхъ, разруманившись отъ волненія и танцевъ, чуть ли не каждая изъ танцующихъ молодыхъ дамъ и дѣвицъ казалась красавицей. Но одна между всѣми, одѣтая довольно скромно, особенно выдѣлялась своей классической красотой, своей неподражаемой граціей.



— Это Марья Антоновна Нарышкина, назвалъ ес одинъ изъ зрителей, и имя сказочной красавицы мигомъ облетѣло всю галерею.

Вдругъ около входныхъ дверей послышался жалобный дѣтскій пискъ.

— Что тутъ случилось? съ заботливостью матери спросила императрица Марія Ѳеодоровна, направляясь къ дверямъ. — Не придавили ли ребенка?

Чрезъ разступившуюся передъ нею толпу, она ввела въ залъ нѣсколько дѣтей и поставила ихъ тутъ же въ первомъ ряду, а когда въ паузахъ между танцами ливрейные камеръ-лакеи стали разносить гостямъ фрукты и конфекты, государыня-хозяйка вспомнила о своихъ маленькихъ гостяхъ и изъ собственныхъ рукъ щедро одѣлила ихъ разными сластями; потомъ, взявъ съ углового столика хрустальную вазу съ конфектами, обошла еще зрителей у оконъ.

— Безъ церемоніи, мой милый! Берите хоть эту, любезно сказала она по-французски Пушкину, когда очередь дошла до него. Обворожительно-ласковая улыбка государыни отразилась и на вспыхнувшемъ лицѣ юноши. Онъ низко поклонился и поспѣшилъ взять указанную ему нарядную конфетку.

«Оставляю себѣ на память!» обѣщалъ онъ самъ себѣ.

Императрица прошла далѣе. Тутъ позади Пушкина раздался плаксивый голосокъ:

— А мнѣ-то, мама, ничего не досталось!

Держа за руку бѣдно-одѣтую даму, стоялъ здѣсь пятилѣтній мальчуганъ и кулачкомъ растиралъ себѣ глаза.

Въ свѣтломъ настроеніи своемъ, Пушкинъ не могъ видѣть равнодушно этихъ дѣтскихъ слезъ.

— Не плачь, на! сказалъ онъ мальчику и сунулъ ему свою драгоцѣнную конфетку.

Когда на дворѣ совершенно стемнѣло, оглушительный, какъ

бы пушечный выстрѣлъ заставилъ всѣхъ вздрогнуть. То былъ сигнальный буракъ, предвѣстникъ фейерверка. Танцы въ залѣ разомъ прекратились. Всѣ, сломя голову, повалили изъ павильона на галерею, а оттуда разсыпались по широкому лугу позади павильона—изъ яркаго свѣта въ полную тьму! Толкотня и давка, визгъ и смѣхъ!

Черезъ минуту—новый громовой взрывъ. Къ темному ночному небу, съ змѣинымъ шипѣньемъ, стремительно взвивается огненный змѣй. Утративъ понемногу первоначальную скорость, онъ описываетъ въ вышинѣ крутую дугу и—тррахъ!—гулко лопается, рассыпаясь надъ головами внизу стоящихъ пунцово-красными брызгами.

— А-а-а! будто эхомъ проносится по всему лугу.

За первой ракетой слѣдуетъ вторая, за второй—третья. Не разлетѣлись еще, не потухли послѣднія ихъ искры, какъ раздается сухой, рѣзкій трескъ, и, непосредственно передъ зрителями, въ то же мгновеніе вспыхиваетъ громадное огненное колесо. Съ шумомъ водопада разбрасывая кругомъ дождь разноцвѣтныхъ огней, оно вращается около своей оси съ изумительной быстротой. Но вотъ оно истощило уже свой жаръ и такъ же почти быстро угасаетъ. Однако оно достигло свой цѣли: дружные рукоплесканія и возгласы выражаютъ всеобщее одобреніе.

Римскія свѣчи и индійскій дождь, жаворонки и швермеры смѣняются огненными солнцами, мельницами и вензелемъ государя въ «золотомъ храмѣ». Но вотъ, видно, и конецъ: въ разныхъ мѣстахъ луга одновременно загораются бенгальскіе огни; красные, лиловые и зеленые, отъ которыхъ и окружающая зелень, и павильонъ озаряются какимъ-то, по-истинѣ, волшебнымъ свѣтомъ.

— Какъ есть, арабская сказка, сказалъ профессоръ Галичъ, когда ему, при помощи гувернера и дядьки, удалось собрать разбредшееся по лугу лицейское стадо.—Вотъ бы вамъ,

Пушкинъ, сочинить теперь нѣчто подходящее! Отъ полноты души уста глаголятъ.

— А отъ пустоты желудка безмолствуютъ, отозвался Пушкинъ.—Одна конфеточка была, да и та сплыла!

Оказалось, что Пушкинъ былъ еще счастливѣе другихъ: большинство товарищей его убралось спозаранку съ галереи, чтобы не прозѣвать фейерверка,—и прозѣвало угощенье.

— Ну, да вѣдь это же сказка, замѣтилъ Пушкинъ,—такъ чего мудренаго, что все по усамъ потекло, ничего въ ротъ не попало.

— Дома, впрочемъ, я сказалъ, на всякій случай, эконому, чтобы онъ оставилъ для васъ, господа, какое-нибудь блюдо, успокоилъ молодыхъ людей Чириковъ.

— А у меня, ваша милость, коли понадобится, найдется не второе, такъ третье! лукаво подмигивая, добавилъ оберъ-провіантмейстеръ Леонтій.

Такая перспектива настолько улыбнулась проголодавшимся лицеистамъ, что обратный путь въ Царское они, несмотря на усталость, совершили не менѣе быстро, какъ и въ Павловскъ.







## ГЛАВА V.

### Дивертисементъ.

«Карауль! Лови, лови,  
Да дави его, дави..  
Вотъ ужо! пожди немножко,  
Погоди...—А шмель въ окошко.»  
(Сказка о царѣ Салтанѣ.)

«Хлопецъ, видно, промахнулся:  
Прямо въ лобъ ему попалъ.»  
(Воевода.)



Такъ мирно и чинно заключился бы этотъ богатый впечатлѣніями день, если-бы, неожиданно-негаданно, въ самомъ лицѣ не разыгрался небольшой дивертисементъ, имѣвшій довольно крупныя послѣдствія.

При приближеніи къ лицу, у Пушкина завязался споръ съ графомъ Броглю. Первый изъ нихъ утверждалъ, что попасть въ столовую можно одинаково скоро какъ съ параднаго крыльца, такъ и со двора. Второй отрицалъ эту возможность.

— Давай, побьемся объ закладъ! предложилъ онъ заключеніе.

— На что? спросилъ Пушкинъ.

— Да хоть на сегодняшній ужинъ.

— Идетъ!

— Я съ тобой, Пушкинъ, сказалъ, неразлучный съ нимъ во всѣхъ такихъ затѣяхъ, другъ его Пущинъ.

Въ то самое время, когда Брогліо съ начальниками и прочими товарищами входили съ улицы въ парадную дверь, открытую имъ швейцаромъ, два друга наши шмыгнули въ калитку на дворъ лицейскій.

— О чемъ ты думаешь, Пушкинъ? спросилъ Пущинъ, когда пріятель его вдругъ остановился посреди двора и потянулъ носомъ воздухъ.

— Да ты развѣ не слышишь запаха малины?

— Да, въ самомъ дѣлѣ, будто пахнетъ; но откуда?

— А вонъ, изъ квартиры Чачкова. Видишь, окошко еще не закрыто. Нынче, вѣдь, они варили варенье. Ты, Пущинъ, охотникъ до малиноваго варенья?

— А какъ же.

— Такъ вотъ, подожди меня тутъ.

— Куда же ты? Вѣдь проиграешь Брогліо ужинъ.

— Пускай ѣстъ себѣ на здоровье! Варенья ему ужъ вѣрно не подадутъ.

Болѣе разсудительный Пущинъ хотѣлъ-было задержать вѣтренаго друга; но тотъ былъ уже у завѣтнаго окна.

Квартира надзирателя помѣщалась въ нижнемъ этажѣ, такъ что туда было легко заглянуть со двора; а недавно выплывшій изъ-за парка серпъ молодого мѣсяца освѣщалъ внутренность комнаты съ открытымъ окномъ ровно настолько, что Пушкинъ однимъ взглядомъ убѣдился въ отсутствіи тамъ живой души. Гимнастическія игры на Розовомъ полѣ не пропали для него даромъ. Съ ловкостью гимнаста, онъ однимъ прыжкомъ очутился на высокомъ подоконникѣ, а другимъ — уже въ комнатѣ.

Воздухъ тамъ былъ пропитанъ ароматомъ малиноваго и еще какого-то другаго варенья. На столѣ красовалась цѣлая



батарея заманчивыхъ банокъ, и въ одну изъ нихъ, какъ нарочно, была опущена десертная ложка. Пушкинъ не устоялъ противъ искушенія. Взявъ ложку, онъ, не спѣша, сталъ смаковать варенье то изъ одной, то изъ другой банки.

— Что ты тамъ дѣлаешь, Пушкинъ? слышался изъ-за окошка нетерпѣливый голосъ Пущина.

— Да выборъ, братецъ, очень ужъ труденъ, отвѣчалъ онъ; — ты какое варенье предпочитаешь: малиновое, вишневое или изъ черной смородины?

— Все равно, братъ... Смотри, еще поймаютъ тебя съ поличнымъ.

— Не таковскій, не дамся! Намъ, какъ ты думаешь, одной банки довольно будетъ?

— Ну, да, конечно.

— Такъ на вотъ вишневое: вкусъ, знаешь, тоньше. Какъ, однако, прилипается! прибавилъ онъ, обсасывая кончики пальцевъ.

Въ это время, за спиной его распахнулась дверь, и въ комнату проникъ легкій свѣтъ изъ коридора, что былъ рядомъ. Въ тотъ же мигъ раздался отчаянный женскій вопль:

— Разбойники! воры!

Одного брошеннаго назадъ взгляда было достаточно Пушкину, чтобы успокоиться на счетъ собственной безопасности. Стоявшая на порогѣ, съ засученными до локтей рукавами дородная барыня такъ четко выдѣлялась темнымъ силуэтомъ на свѣтломъ фонѣ освѣщеннаго коридора, что онъ тотчасъ призналъ въ ней домовитую хозяйку, госпожу Чачкову. Самого же его, Пушкина, она, за полумракомъ въ комнатѣ, едва ли могла распознать, тѣмъ болѣе что, за короткое время пребыванія своего съ мужемъ въ лицеѣ, она не успѣла узнать поименно всѣхъ лицеистовъ.

Не давъ ей очутъся, Пушкинъ шагнулъ черезъ подокон-



никъ—и былъ таковъ, а Пущинъ, съ банкой варенья въ рукахъ, подымался уже въ это время въ камеру, чтобы спрятать добычу.

Минуты три спустя, въ столовую къ лицеистамъ, недождавшимися еще своего ужина, влетѣлъ надзиратель Чачковъ. Онъ былъ, противъ обыкновенія, мраченъ и въ крайнемъ возбужденіи.

— Кого-то, господа, нѣтъ между вами,—сказалъ онъ, пересчитавъ глазами присутствующихъ.

Отвѣтъ далъ ему своимъ появленіемъ въ дверяхъ самъ отсутствовавшій.

— А! господинъ Пущинъ! Признаться, не ожидалъ я отъ васъ такого... такой... какъ бы деликатнѣе выразиться...

— Позвольте спросить, Василій Васильичъ, учтиво и нѣсколько небрежно вмѣшался тутъ Пушкинъ, выходя изъ-за стола:—дѣло въ банкѣ съ вареньемъ?

— А вы что про нее знаете?

— Да, во всякомъ случаѣ, болѣе Пущина, потому что самъ былъ за нею у васъ на квартирѣ.

— Вотъ что! Да, отъ васъ этого можно ожидать. Но я считалъ васъ всегда вѣжливымъ молодымъ человѣкомъ, вы же не только взяли безъ спросу у супруги моей банку свареннаго ею варенья, но даже не дали себѣ труда поклониться ей! Это мнѣ, признаться, крайне прискорбно!.. Благородная дама...

— Да вѣдь, поклонись я, супруга ваша могла бы еще пуще обидѣться: «благодарю, дескать, сударыня, за угощенье!»

— А вотъ подите, потолкуйте съ нею! упавшимъ голосомъ прошепталъ бѣдный супругъ.—Какъ бы то ни было, голубчикъ, положи руку на сердце, скажите: провинились вы нынче или нѣтъ?

— Положи руку на сердце, провинился.

Чачковъ замѣтно просвѣтлѣлъ.

— Вотъ это я называю по-рыцарски:—честно и прямо! воскликнулъ онъ.— Ну, и за провинность свою заслужили вы какую ни-на-есть кару?

— Полагаю.

— Великолѣпно-съ! Такъ вотъ-съ, дорогой мой, извольте же сами продиктовать намъ: чего вы заслужили, чтобы, понимаете, ни единое существо въ поднебесной не могло утверждать, будто я даю вамъ, лицеистамъ, поблажку?

Пушкинъ прекрасно понялъ, кого Чачковъ разумѣлъ подъ «единымъ существомъ въ поднебесной»; понялъ, что добровольно принятое имъ на себя наказаніе сослужить добряку-надзирателю великую службу.

— Да пошлите меня до утра въ карцеръ—и дѣло съ концомъ, сказалъ онъ.

Слегка озабоченныя еще, черты Чачкова окончательно прояснились. Онъ схватилъ обѣими руками руки Пушкина и крѣпко потрясъ ихъ.

— Вы — славный молодой человѣкъ! Я лично провожу васъ. Эй, Прокофьевъ! посвѣти-ка намъ. А вотъ кстати и мой любезный коллега, прибавилъ онъ, столкнувшись на порогѣ съ экономомъ лицейскимъ (иначе: надзирателемъ по хозяйственной части) Золотаревымъ, за которымъ два служителя несли ужинъ лицеистамъ.—Сдѣлайте одолженіе, Матвѣй Александрычъ, доставьте вотъ этому молодому человѣку въ карцеръ его порцію.

— Не трудитесь, Матвѣй Александрычъ, предупредилъ тутъ Пушкинъ:—отдайте мою порцію Броглию.

— Проиграли ему, знать, пари? спросилъ Пушкина на ходу Чачковъ, ласково трепля его по плечу.

— Проигралъ. Да варенье ваше меня отчасти вознаградило.

— Шалунъ! Ну, что, небось, мастерица варить супруга у меня, а?



— Мастерница—да; только посовѣтуйте ей вишни варить на сахарѣ; для такого нѣжнаго плода патока, увѣряю васъ, не годится.

На этомъ разговоръ ихъ прервался: догонявшіе ихъ быстрые шаги и гулкій голосъ Золотарева: «Василій Васильчъ! а, Василій Васильчъ!» заставили обоихъ оглянуться.

Какъ корабль съ распущенными парусами, летѣлъ къ нимъ эконоомъ съ развѣвающимися фалдами длиннополаго вицмундира. Выхоленное лунообразное лицо его приняло тотъ же лиловато-багровый цвѣтъ, которымъ, обыкновенно, отличался только мясистый носъ его; воловьи, на-выкатѣ, глаза налились кровью и готовы были, кажется, выскочить изъ орбитъ; даже лучшее украшеніе его виднаго лица—густѣйшіе, въ видѣ котлетъ, бакенбарды, всегда такъ тщательно расчесанные, были въ непривычномъ безпорядкѣ: въ одномъ изъ нихъ запутались мелкіе кусочки чего-то съѣстнаго.

— Помилуйте, Василій Васильчъ! пыхтѣлъ эконоомъ, задыхаясь отъ волненія и дико вращая кругомъ кровавыми глазами.— Это какой-то бунтъ... Всѣхъ бы ихъ въ кутузку!...

— Въ чемъ дѣло-съ, дражайшій коллега? спросилъ съ участіемъ Чачковъ.— Виновать: у васъ въ бородѣ что-то засѣло. Если не ошибаюсь,—начинка пирога?

— Чтобъ имъ ни на этомъ, ни на томъ свѣтѣ... фыркалъ Золотаревъ, отряхаясь, какъ мокрый пудель.— Воротились, вишь, ночью, когда добрые люди сладкимъ сномъ почиваютъ... Ничего бы имъ не подать... Нашла на меня еще дурь—подать имъ вчерашняго пирога съ печенкой. А барчуки наши, вишь, брезгаютъ, говорятъ: печенка протухла...

— Да, можетъ, она и точно была не первой ужъ свѣжести? деликатно замѣтилъ надзиратель.— Вѣдь время-то нынче жаркое: живо придастъ ароматецъ.

— Какъ же безъ аромату? Сами посудите! Да мало ли на



свѣтъ такихъ еще любителей, которымъ и рябчекъ не въ рябчикъ, коли безъ изряднаго душка!

— Однако, печенка-то ваша была не отъ рябчиковъ?

— Чего захотѣли! Не по вкусу — ну, и не кушай: прислуга либо собаки на дворѣ слоняются. А то нѣшто это резонъ въ рожу тебѣ швырять?

Чачковъ съ трудомъ сохранилъ серьезный видъ; Пушкинъ закусилъ губу, чтобы не прыснуть со смѣху.

— Къ вамъ, Василій Васильичъ, какъ къ первому нашему начальнику нынѣ, обращаюсь съ убѣдительною просьбой, оже-сточенно продолжалъ Золотаревъ: — немедля составьте протоколъ о случившемся и отапортуйте его сіятельству господину министру...

— Все потихонечку-полегонечку, почтеннѣйшій мой, старался уговорить его надзиратель. — Стоитъ ли беспокоить графа изъ-за такого пустяка?

— Изъ-за пустяка! Нѣтъ-съ, милостивый государь, пирогъ самъ по себѣ, можетъ, и пустякъ; но коли онъ обращенъ въ смертоносное орудіе...

Пушкинъ не могъ уже удержаться отъ давившаго его хохота.

— Вотъ-вотъ, изволите видѣть! еще пуще закипятился экономя: — господинъ Пушкинъ тоже зубоскалитъ! Нѣтъ, я васъ всенижайше умоляю, сударь мой, формально отписать все, какъ есть...

Чачковъ взялъ расходившагося «коллегу» за округлую его талью.

— Написать не трудно-съ, мягко заговорилъ онъ; — но, донося одно, мы не въ правѣ умолчать и о другомъ: что при предшественникѣ вашемъ, Леонтьи Карловичѣ Эйлерѣ, внукъ знаменитаго нашего астронома, воспитанники не могли нахвалиться продовольствіемъ; въ короткое же время вашего управленія хозяйствомъ — это второй уже случай...

— Да ужъ это по вашей канцелярской части расписать дѣло такъ, чтобы ни сучка, ни задоринки, возразилъ тономъ ниже Золотаревъ. — Мнѣ главное: чтобы намъ дали, наконецъ, заправскаго главу, который забралъ бы этихъ сорванцовъ въ ежевыя рукавицы. А первыхъ зачинщиковъ, графа Броглію да Пущина, я просилъ бы васъ нынѣ же заключить подъ замокъ.

— Бросьте ужъ ихъ! сказалъ Чачковъ: — у обоихъ большія, знаете, связи... Пушкинъ вотъ кстати отсидитъ за всѣхъ. Отсидите, голубчикъ?

— Съ удовольствіемъ! былъ отвѣтъ.

— Слышите: «съ удовольствіемъ». Примѣрный другъ и товарищъ! Ну, а въ рапортѣ нашемъ его сіятельству Алексѣю Кирилловичу мы только глухо отпишемъ, что такъ, молъ, и такъ: безъ постоянного директора, съ молодежью нашей, просто, сладу нѣтъ.

Такимъ образомъ, ни Броглію, ни Пущинъ на этотъ разъ не раздѣлили одиночнаго заключенія Пушкина. Но заключеніе это пошло ему въ прокъ. Когда на слѣдующее утро надзиратель Чачковъ, съ дежурнымъ профессоромъ Галичемъ, сидѣли въ правленіи за сочиненіемъ рапорта министру, сторожъ Прокофьевъ вбѣжалъ къ нимъ съ докладомъ, что «въ карцерѣ неладно». Тѣ было-перетревожились; но успокоились, когда выяснилось, что заключенный тамъ поэтъ, отъ нечего дѣлать, измаралъ цѣлую стѣну карандашемъ.

— Что тутъ подѣлаешь съ ними! воскликнулъ Чачковъ. — Вы, Александръ Ивановичъ, всегда горой стоите за господъ лицейстовъ. Я самъ стараюсь съ ними ладить; но что прикажете дѣлать, если они и въ карцерѣ не унимаются: портятъ казенное добро?

— Да, вѣрно, ему не на чемъ было писать, сообразилъ Галичъ.

— Они, дѣйствительно, просили у меня вѣчоръ принесть имъ чернилъ да бумаги, доложилъ Прокофьевъ.



— А ты, небось, отказался исполнить его просьбу?

— Не посмѣлъ, ваше высокоблагородіе...

— Ну, такъ... А поэту, Василій Васильичъ, безъ письменныхъ матеріаловъ все равно, что нашему брату безъ воздуха, — житья нѣтъ.

— Говорять-съ... Однако писанье писанью тоже рознь. Какъ ни люблю я Пушкина, но готовъ голову прозакладовать, что намараль онъ опять какой-нибудь пасквиль.

— Это мы сейчасъ, если угодно, узнаемъ, да кстати уяснимъ и казенный ущербъ.

Такъ Пушкинъ, совершенно неожиданно, удостоился въ карцерѣ визита двухъ начальниковъ

— Образцовая стѣнная живопись! съ безобидной прониіей заговорилъ Чачковъ, любуясь стѣной, испещренной каракулями, во многихъ мѣстахъ зачеркнутыми и перечеркнутыми.

— Да, въ своемъ родѣ гіероглифы, подтвердилъ Галичъ и принялся по складамъ разбирать написанное:

«Страшись, о рать иноплеменныхъ!  
Россіи двинулись сыны;  
Возсталъ и старъ, и младъ, летять на дерзновенныхъ,  
Сердца ихъ мщеньемъ возжены.  
Вострепещи, тиранъ! Ужъ близокъ часъ паденья!  
Ты въ каждомъ ратникѣ узришь богатыря.  
Ихъ цѣль: иль побѣдить, иль пасть въ пылу сраженья  
За Вѣру, за Царя».

Молодой профессоръ окинулъ надзирателя торжествующимъ взглядомъ; потомъ какимъ-то особенно-добрымъ, почти нѣжнымъ тономъ спросилъ Пушкина, переминавшася тутъ же съ карандашемъ въ рукѣ:

— Это васъ, мой другъ, вчерашній праздникъ вздохновилъ?

— Да, отвѣчалъ Пушкинъ съ смущенной улыбкой.

— Посмотримъ, что дальше, сказалъ Галичъ и продолжалъ разбирать вслухъ:



«Въ Парижѣ Россѣ! Гдѣ факель мщенья?  
Повикни, Галлія, главой!  
Но что я зрю? Герой съ улыбкой примиренья  
Грядетъ съ оливой золотой;  
Еще военный громъ грохочетъ въ отдаленіи,  
Москва въ уныніи, какъ степь въ полнощной мглѣ,—  
А онъ несетъ врагу не гибель, а спасенье  
И благотворный миръ землѣ.  
«Достойный внукъ Екатерины!..»

На этомъ стихи обрывались.

— Ну, что вы теперь скажите, Василій Васильичъ? спросилъ Галичъ.—На что это болѣе похоже: на жалкій пасквиль или на торжественную оду?

Василій Васильевичъ преклонилъ голову и развелъ руками.

— Честь и слава молодому таланту, согласился онъ. — Въ этихъ строфахъ вѣтъ, можно сказать, что-то державинское...

— И пушкинское! съ удареніемъ добавилъ Галичъ; потомъ, оборотясь къ молодому поэту, дружески положилъ ему руку на плечо и сказалъ:—Продолжайте такъ же — и новая ода ваша, вы увидите, станетъ краеугольнымъ камнемъ вашей будущей извѣстности. А чтобы вамъ не пачкать еще казенныхъ стѣнъ, — Василій Васильичъ, конечно, ужъ не откажетъ вамъ въ чернилахъ и бумагѣ. Или вы, Василій Васильичъ, можете быть, теперь же выпустите узника?

— Скатертью дорога! съ отмѣнною учтивостью указалъ надзиратель Пушкину на выходъ. — Не знаю вотъ только, Александръ Ивановичъ, какъ быть мнѣ съ этой измаранной стѣной? прибавилъ онъ вполголоса.

— Взять да выбѣлить.

— Легко сказать-съ! Надо будетъ испросить у его сіятельства Алексѣя Кирилловича сверхсмѣтный кредитъ...

— А безъ этого нельзя?

— Невозможно-съ: экстренный расходъ.

Галичъ нетерпѣливо повелъ плечемъ.

— Такъ выбѣлите хоть на мой счетъ!

— Нѣтъ, ужъ я самъ заплачу, Василій Васильичъ, вмѣшался стоявшій въ дверяхъ Пушкинъ.

— Ахъ, вы еще здѣсь, дорогой мой? Вы сами заплатите? И пречудесно-съ: изъ-за грошевого дѣла не стоило бы поднимать столбъ пыли.

Однако пыль, и самая вредоносная, была уже поднята пирогами эконома Золотарева. Лицейстамъ существеннаго вреда она не причинила, зато самому Золотареву, да «коллегѣ» его Чачкову, отъ нея, увы! не поздоровилось. Нѣкоторое время до графа Разумовскаго уже стали доходить изъ Царскаго слухи о распущенности лицейскаго быта и упадкѣ лицейскаго хозяйства, вслѣдствіе непрерывныхъ пререканій конференціи профессоровъ. Пироги золотаревскіе дали ближайшій поводъ къ ревизіи лицейскихъ порядковъ, а результатомъ этой ревизіи было увольненіе отъ службы обоихъ надзирателей: по учебной и по хозяйственной части. 13 сентября 1814 года, обязанности директора лицея, впредь до выбора постоянного директора, были поручены директору лицейскаго благороднаго пансіона, профессору нѣмецкаго языка Гауеншильд у. Надзирателемъ по учебной части, по предложенію военнаго министра Аракчеева, быть опредѣленъ старый служака и рубака, отставной подполковникъ Фроловъ. Но такъ какъ послѣдній, пробывъ цѣлый вѣкъ въ строю, могъ съ успѣхомъ глядѣть только за наружной дисциплиной, то въ помощь ему, для наблюденія за «нравственнымъ» воспитаніемъ будущихъ «государственныхъ людей», былъ данъ профессоръ «нравственныхъ наукъ» Кунинъ. Наконецъ, надзирателемъ по хозяйственной части или, проще, экономомъ, былъ назначенъ константинопольскій уроженецъ, старичекъ Камарашъ.

Этимъ не ограничились послѣдствія памятнаго всѣмъ лицейстамъ дня 27 іюля. Двѣ стофы, сочиненныя Пушкинымъ въ карцерѣ, разрослись вскорѣ въ цѣлую оду: «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ», и одѣ этой, какъ вѣрно предугадалъ профессоръ Галичъ, суждено было сдѣлаться краеугольнымъ камнемъ литературной извѣстности начинающаго поэта.







## ГЛАВА VI.

### Два дня у Державина.

#### ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.

«Онъ былъ уже лѣтами старъ,  
Но младъ и живъ душой незлобной:  
Имѣлъ онъ пѣсенъ дивный даръ  
И голосъ, шуму водъ подобный».

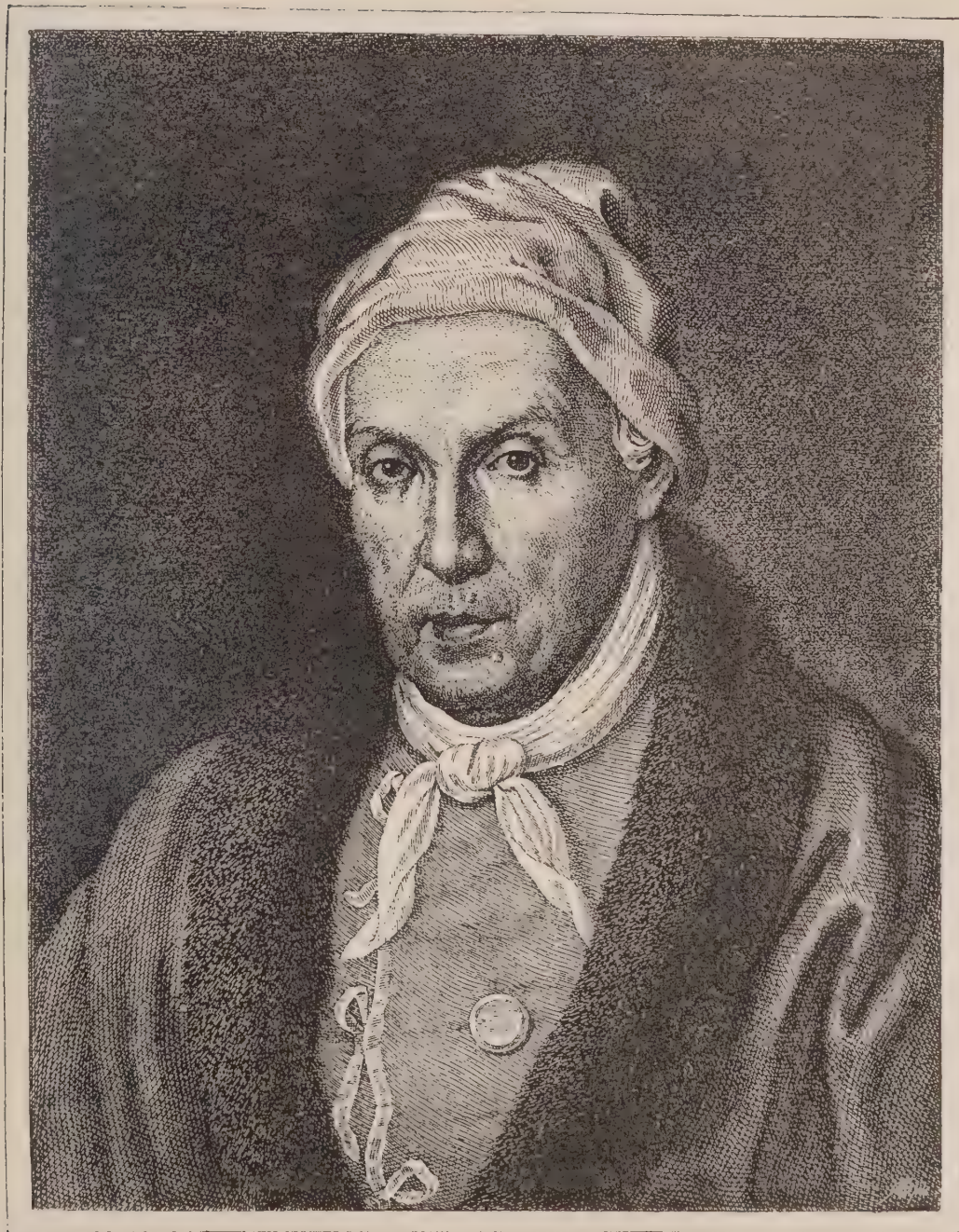
(Цыганы.)



Въ то самое время, когда въ царско-сельскомъ лицѣѣ дописывались стихи, которые должны были положить основаніе славѣ Пушкина,—въ Новгородской губерніи, въ селѣ своемъ Званкѣ, мирно «дотаскивалъ остальные деньки» (по собственному его выраженію) патриархъ русскихъ поэтовъ, Державинъ, не слыжавшій даже о существованіи начинающаго поэта и, конечно, не подозрѣвавшій, что самъ же онъ вскорѣ признаетъ его своимъ достойнымъ преемникомъ.

Въ началѣ августа, Державинъ со своими многочисленными домочадцами едва усѣлся за обѣденный столъ, какъ съ улицы донесся «малиновый» звонъ валдайскихъ колокольчиковъ. Молодежь бросилась изъ-за стола къ окнамъ. Къ колокольчикамъ явственно присоединился теперь стукъ колесъ и лошадиныхъ копытъ. Изъ-подъ скатерти стола юркнула хорошенькая, мох-





*Гавриилъ Романовичъ Державинъ*

Гавріилъ Романовичъ Державинъ.

1743 — 1816.





натая, бѣлой шерсти собаченка и съ пронзительнымъ лаемъ закружилась по комнатѣ.

— Кого Богъ несетъ? повертывая голову, спросилъ хозяинъ.

— Иванъ Аѳанасьичъ! Дмитревскій! отвѣчалъ ему хоръ голосовъ, и глухой грохотъ перекладной подъ самыми окнами разомъ замолкъ: телѣжка остановилась у крыльца.

— Иванъ Аѳанасьичъ! радостно повторилъ Державинъ и, положивъ на столъ салфетку, съ непривычной для его 73 лѣтъ живостью, приподнялся со стула.— Ждалъ-ждалъ и ждать пересталъ... Паша, голубушка! гдѣ ты?

Любимая племянница его, Прасковья Николаевна Львова, чрезвычайно миловидная брюнетка, поспѣшила подать ему руку.

— Ужели, Гаврила Романычъ, ты въ этомъ костюмѣ и примешь столичнаго гостя? спросила мужа хозяйка, Дарья Алексѣевна (вторая жена Державина), представительная, высокая и стройная дама.

— А чѣмъ же костюмъ не столичный? добродушно усмѣхнулся Гаврила Романовичъ, оглядывая себя: — и въ столицѣ по твоимъ званымъ четвергамъ неохотно расстаюсь съ нимъ.

Костюмъ же состоялъ изъ зеленого шелковаго халата, подпоясаннаго такимъ-же шнуркомъ съ кистями, изъ вязанаго бѣлаго колпака и вышитыхъ бисеромъ туфель. Постороннему человѣку ни за что и въ голову бы не пришло, что передъ нимъ бывший статсъ-секретарь Великой Екатерины, затѣмъ сенаторъ, государственный казначей и, наконецъ, министръ юстиціи. Правда, онъ уже давно удалился отъ государственныхъ дѣлъ и, въ рѣдкія минуты вдохновенія, предавался главной задачѣ своей жизни — стихотворству.

Но и поэта было трудно признать въ этомъ гладко-выбритомъ, благодушно-улыбающемся старикѣ, котораго — не будь онъ такъ

высокъ и широкоплечъ—въ его бабьемъ колпакѣ скорѣе можно было бы принять за почтенную старушку.

— Замолчишь ли ты?! прикрикнула и топнула ногой Дарья Алексѣевна на собачку, которая, какъ въ истерическомъ припадкѣ, вертѣлась около своего хвоста и заливалась самымъ высокимъ, раздирающимъ уши фальцетомъ.

— Оставь ее, милая! Надо же и ей душу отвести! вступился мужъ и, подъ руку съ племянницей, вышелъ въ переднюю, а оттуда на крыльцо. Свитой за ними высыпали туда всѣ прочіе, сидѣвшіе за столомъ.

Иванъ Аѳанасьевичъ Дмитревскій, знаменитый въ свое время актеръ императорскаго театра въ Петербургѣ, уже нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, по старческой дряхлости, покинулъ сцену. Тѣмъ не менѣе, какъ актеры, такъ и литераторы, и даже столичная знать продолжали попрежнему дорожить его сценическою опытностью, и во всѣхъ спорныхъ случаяхъ по театральной части обращались къ его суду. Державину, которому, на старости лѣтъ, вздумалось также испытать свои силы въ драмѣ, такой совѣтчикъ, какъ Дмитревскій, былъ сущимъ кладомъ, и онъ не разъ зазывалъ его на лѣто къ себѣ въ Званку. Но только теперь Дмитревскій, наконецъ, пріѣхалъ.

Когда Державинъ выбрался на крыльцо, дорогой гость его сошелъ уже съ телѣжки и, поддерживаемый краснощекимъ, быстроглазымъ казачкомъ, съ усиленіемъ сталъ подниматься по ступенямъ. Одинъ изъ племянниковъ хозяина, подпрапорщикъ Измайловскаго полка Семенъ Васильевичъ Капнистъ, живой и ловкій юноша, однимъ прыжкомъ соскочилъ внизъ и подхватилъ старика подъ другую руку.

— Спасибо, душа моя... прошамкалъ слабымъ голосомъ Дмитревскій, сюсюкая отъ недостатка зубовъ и произнося букву ш какъ с: «дуса моя».

— Молодецъ онъ у меня! похвалилъ юношу съ крыльца



дядя: — съ тѣхъ поръ, какъ секретарь мой Лиза\*) замужъ пошла, онъ у меня, и по письменной, и по всякой иной части. Здорово, Иванъ Аѳанасьичъ! Наконецъ-то вспомнили стараго пріятеля!

Пріятель очутился въ его дружескихъ объятіяхъ. Толпившіеся около нихъ молодые люди тихо перешептывались:

— Старъ, ухъ, какъ старъ сталъ! Прямой Маѹсаилъ! Дядя передъ нимъ молодецъ-молодцомъ...

Гость-Маѹсаилъ, щурясь отъ свѣта, котораго не переносило его ослабѣвшее зрѣніе, со сторбленной спиной, съ трясущейся головой, сталъ здороваться со всѣми окружающими, поочередно подходившими къ нему.

— ДарьѢ АлексѣевнѢ мое низжайшее! И вы тутъ, любезнѣйшій! и вы! говорилъ онъ, пожимая руки направо и налѣво\*\*).

Между тѣмъ, задорная собаченка, выскочившая также на крыльцо, не переставала ожесточенно таякать на гостя.

— И ты тутъ, Таечка! Да, и ты! А я слона-то, вишь, и не примѣтилъ! привѣтствовалъ ее Дмитревскій и, съ трудомъ нагнувшись къ ТайкѢ (сокращеніе отъ Горностайка), хотѣлъ ее погладить. Но та, огрызаясь, увернулась и цапнула его за панталоны. Молодой Каннистъ оттолкнулъ ее ногою.

— Вотъ злючка! не узнала развѣ?

— Дай-ка ее, сюда, Сеня! не обижай ее! сказалъ дядя, и, принявъ отъ него собачку, упряталъ ее за пазуху. Мѣсто это,

\*) Старшая сестра вышеназванной Прасковьи Николаевны Львовой, *Елисавета Николаевна*, вышедшая незадолго передъ тѣмъ замужъ за родственника своего, Ѳедора Петровича Львова.

\*\*) Кромѣ названныхъ уже трехъ лицъ: жены Державина и двухъ его любимцевъ, племянницы и племянника, въ домѣ его жили или безвыѣздно, или по недѣлямъ: *Вѣра Петровна Лазарева* (дочь прославившагося впоследствии адмирала), *Александра Николаевна Дякова* (урожд. Львова, вторая сестра Прасковьи Николаевны), *Любовь Аникитична Ярцова*, братья *Львовы* и *Дяковы*, молодые *Миллеръ* и *Фокъ*.



какъ видно, было для нея насиженное, потому что она, высунувъ свою хорошенькую мохнатую головку изъ-за отворота халата, вполголоса еще немножко поворчала, похлопала глазками на гостя и, затѣмъ, уткнулась опять розовой мордочкой въ халатъ \*).

— Ну, что у васъ тамъ, Иванъ Аѳанасьичъ, въ Питерѣ? что новаго?... любопытствовалъ хозяинъ; но тутъ же спохватился—Виновать: соловья баснями не кормятъ! Пойдемте-ка, откушаемъ вмѣстѣ, благо, мы сами еще за трапезой. А вы, чай, съ дороги какъ волкъ проголодались?

— Да Ивану Аѳанасьичу, можетъ, нужно еще напередъ почиститься, отмыться отъ пыли? замѣтила Дарья Алексѣевна.

— Оно, точно, сударыня, не мѣшало бы... отозвался Иванъ Аѳанасьевичъ.

— Я васъ сейчасъ проведу къ себѣ, услужливо вызвался молодой Капнистъ, и, мигнувъ казачку, чтобы тотъ взялъ барина своего подъ другую руку, бережно повелъ почтеннаго старца къ себѣ.

Полчаса спустя, Дмитревскій, умытый, приглаженный, съ подвязанной подъ подбородкомъ салфеткой, сидѣлъ среди многочисленной хозяйской семьи за сытнымъ деревенскимъ обѣдомъ. Въ промежуткахъ онъ рассказывалъ о недавнемъ Павловскомъ праздникѣ и о томъ глубокомъ впечатлѣніи, какое

---

\*) Тайка пережила своего барина, который еще при жизни ея сочинилъ ей такую эпитафію:

«На могилу милой собачки.

«Здѣсь песикъ бѣленькій лежитъ,  
 Который Горностайкомъ звался.  
 Онъ былъ тѣмъ милъ и знаменитъ,  
 Что за хозяина вступался  
 И угождалъ не низкою какой,  
 А твердой львиною душой;  
 Ворчалъ, визжалъ, но такъ забавно,  
 Что и сердяся пѣлъ сопрано».

произвела на всѣхъ сочиненная на этотъ случай Державинымъ кантата: «Ты возвратился, благодатный...»

— У меня не то еще было въ предметѣ, заговорилъ Державинъ. — Хотѣлось мнѣ сочинить подобающее похвальное слово государю — побѣдителя, и вотъ племянница цѣлое лѣто, вишь, должна была читать мнѣ тутъ похвальные слова разнымъ великимъ мужамъ, дабы, знаете, настроить на надлежащій тонъ мою ржавую лиру. Похвала Марку Аврелію всего болѣе пришлась мнѣ по душѣ, потому что дѣйствіе въ оной перемѣшано съ повѣствованіемъ. Однакожь, старость не радость: слушаешь, бывало, развѣсишь уши—глядь, и задремалъ! Такъ и не удосужился написать свою похвалу.

— Упустя лѣто, въ лѣсъ по малину неходятъ, замѣтилъ Дмитревскій:—а мы съ вами, ваше высокопревосходительство, что ни говори, маленько-таки состарѣлись.

— Такъ-то такъ, со вздохомъ согласился Державинъ. — Затѣмъ-то въ послѣдніе годы и взялся за драму. Вотъ гдѣ мое истинное призваніе! Четыре трагедіи мои вамъ достаточно извѣстны \*); равномѣрно и двѣ музыкальныя драмы \*\*). Но все это были цвѣточки; теперь пойдутъ ягоды. Одна у меня уже въ дѣлѣ; вотъ это такъ опера: «Іоаннъ Грозный, или Покореніе Казани». Богатѣйшая, сударь, тѣма и наисовременная; господа французы, что пожаловали къ намъ въ 12-мъ году безъ спросу и убрались, не солоно хлебавши, не тѣ же ли кровожадныя татарскія орды временъ Грознаго? Бонапартишко ихъ—не злой ли волшебникъ, мнившій обойти насъ обманными чарами?

Заговоривъ о своей новой оперѣ, старикъ-поэтъ замѣтно одушевился. Дмитревскій, не переставая жевать, исподлобья

\*) «Иродъ и Маріамна» (единственная представленная на сценѣ), «Евпраксія», «Темный» и «Аталибо или Разрушеніе Перуанской имперіи».

\*\*) «Додрыня» и «Пожарскій».



оглядѣль окружающихъ: тѣ украдкой обмѣнивались сострадательными взглядами и тихо шушукали между собой. Не могло быть сомнѣнія, — они, подобно ему, относились къ новѣйшему драматическому опыту стараго лирика съ нѣкоторымъ недо- вѣріемъ; они хорошо знали также, что эти опыты, со словъ Мерзлякова, назывались во всемъ петербургскомъ обществѣ «развалинами Державина».

— Опера, м-да... промышаль Дмитревскій. — Ну, текстъ, положимъ, будетъ; но гдѣ же, скажите, найти для него у насъ, на Руси, музыканта-композитора? Опера — чисто италіянское произрастеніе...

— И вздоръ-съ! перебилъ Державинъ. — Италіянцы, просто на-просто, пересадили ее къ себѣ изъ Греціи, ибо древняя гре- ческая трагедія съ пѣвучими речитативами — не что иное, су- дарь мой, какъ теперешняя опера съ разнотонной музыкой въ первобытномъ ея видѣ-съ. Но въ италіянщинѣ сей — дивная смѣсь великаго съ малымъ, прекраснаго съ нелѣпымъ. По своей необузданной южной натурѣ, всякій соучастникъ италіян- ской оперы лѣзетъ изъ кожи, чтобы отличиться: авторъ — испо- линскимъ воображеніемъ, актеръ — смѣшной надутостью и уродливымъ кривляніемъ, пѣвецъ — чрезмѣрной вытяжкой го- лоса, музыкантъ — непонятными прыжками перстовъ, дабы, при громкомъ рукоплесканіи, заставить выпучить глаза и про- тянуть уши того же вкуса людей, каковы они сами. Они упо- добляются тѣмъ капатнымъ прыгунамъ, которые руки свои принуждаютъ ходить, а ноги — вкладывать въ ножны шпагу, думая, что это чрезвычайно хорошо! Отъ таковыхъ-то усилій и несообразностей съ прямымъ вкусомъ въ ихъ операхъ вся нелѣпица. вмѣсто пріятнаго зрѣлища — игрище, вмѣсто восхи- тельной гармоніи — козлоглашеніе.

— Такъ какъ-же вы сами, ваше высокопревосходительство, рѣшаетесь ставить оперы? спросилъ Дмитревскій.



— Какъ-съ?-подхватилъ съ возрастающимъ огнемъ Державинъ. — Да что такое, позвольте узнать, опера? Это есть перечень, сокращеніе всего зримаго міра. Скажу болѣе: это есть живое царство поэзіи, образчикъ или тѣнь той небесной улады, которая ни оку не видится, ни уху не слышится... Ради своей чудесности, опера почерпаетъ свое содержаніе изъ языческой мифологіи, изъ древней и средней исторіи. Лица ея—боги, герои, рыцари, богатыри, феи, волшебники и волшебницы. Въ ней снисходятъ на землю небеса, летаютъ геніи, являются привидѣнія, чудовища, ходятъ деревья, поютъ человѣчьимъ голосомъ птицы, раздается эхо. Словомъ, это—міръ, въ коемъ взоръ объемлетъ блескомъ, слухъ гармоніей, умъ непонятностью, и всю сію чудесность видишь искусствомъ сотворенною, притомъ въ краткомъ, какъ-бы сгущенномъ видѣ. Тутъ только познаешь все величіе и владычество человѣка надъ вселенной! Подлинно, послѣ великолѣпной оперы находишься въ нѣкоемъ сладостномъ упоеніи, какъ-бы послѣ волшебнаго сна... Это—первый шагъ къ блаженству... \*).

Никто уже не улыбался. Никто не отрывалъ глазъ отъ расходившагося маститаго поэта, который своей, постаринному напыщенной, но образной и искренней рѣчью возбудилъ во всѣхъ невольное желаніе испытать самимъ описываемое имъ «блаженство». Одинъ Дмитревскій только, чтобы не отстать въ ѣдѣ отъ другихъ, продолжалъ двигать челюстями: при отсутствіи зубовъ, разжевываніе пищи представляло для него немаловажный трудъ. Теперь благополучно покончивъ съ этимъ дѣломъ, онъ обтеръ губы салфеткой и обратился къ хозяину:

— А позвольте спросить, Гаврила Романычъ: гдѣ же вы видѣли у насъ такія оперы?

— Гдѣ-съ? Да... Аблесимова «Мельникъ» — разъ; ну... —Гаврила Романовичъ запнулся.

\*) Подлинныя слова Державина.

— Разъ—и обочлись?

— Да вѣдь я говорю не о тѣхъ операхъ, что есть...

— А о тѣхъ, что будутъ?

— Ну, да... Вотъ погодите, любезнѣйшій, дайте мнѣ только справиться съ моимъ «Грознымъ»...— Эй, Михайлычъ!

— Михайлычъ или, точнѣе, Евстафій Михайловичъ Абрамовъ, изъ крѣпостныхъ Гаврилы Романовича, былъ у него не то мажордомомъ, не то вторымъ секретаремъ, и допущался также къ барскому столу. За безграничную преданность и примѣрную расторопность, Державинъ очень цѣнилъ его. Единственной крупной слабостью Михайлыча были крѣпкіе напитки, и потому Дарья Алексѣевна очень неохотно сажала его за одинъ столъ съ гостями; но мужъ всегда отстаивалъ его:

— Ничего, душечка! Дѣлай, будто ничего не замѣчаешь.

Сегодня Абрамовъ успѣлъ уже не въ мѣру воспользоваться обиліемъ на столѣ разныхъ наливокъ и настоекъ, по случаю именитаго гостя. Когда онъ приподнялся, чтобы идти на зовъ хозяина, то покачнулся и долженъ былъ ухватиться руками за край стола. Дарья Алексѣевнѣ это было крайне непріятно. Она даже покраснѣла и замахала рукой:

— Сиди ужъ, сиди...

— Да я, другъ мой, хотѣлъ послать его только въ кабинетъ за рукописью... почелъ нужнымъ объяснить Гаврила Романовичъ.

— А онъ, ты думаешь, такъ и отыскалъ бы? возразила супруга. — Садись же,—не слышишь? строго повторила она Михайлычу.

Тотъ покорно, съ виноватымъ видомъ, опустился на свое мѣсто.

— А помните ли, дяденька, какъ вы сочинили для меня и сестеръ, когда мы еще были маленькими, что-то въ родѣ оперы — шутку съ хорами: «Кутерьма отъ Кондра-



тѣ въ»? весело заговорила красавица-племянница, Прасковья Николаевна.—У насъ въ домѣ, Иванъ Аѳанасьичъ, надо вамъ знать, было въ то время ровно три Кондратья, продолжала она, обращаясь къ гостю: одинъ — лакей, другой — садовникъ, третій — музыкантъ. Оттого часто происходила преуморительная путаница...

— Какъ не знать, милая барышня, отвѣчалъ Дмитревскій, вдругъ оживляясь.—Самъ даже на домашней сценѣ орудовалъ въ этой пьесѣ; о сю пору, кажись, въ лицахъ представить могъ бы...

— Правда?

— Ахъ, Иванъ Аѳанасьичъ, представьте! раздались кругомъ голоса.

Доѣдали какъ-разъ послѣднее блюдо. Голодъ всѣхъ, въ томъ числѣ и старца-актера, былъ утоленъ; а рюмка-другая крѣпкой домашней наливки помолодила его на двадцать лѣтъ.

— Отвяжи-ка салфетку! приказалъ онъ казачку, стоявшему позади его стула, и, когда тотъ исполнилъ приказаніе, онъ отодвинулся отъ стола, вмѣстѣ со стуломъ, всталъ, выпрямился во весь ростъ и заговорилъ.

Всѣ съ изумленіемъ, — можно сказать — съ оцѣпенѣніемъ уставились на него. Ветеранъ императорскаго театра много лѣтъ уже не выходилъ передъ публикой; только однажды, 4 года тому назадъ, 30 августа 1812 года, въ достопамятный день, когда получено было въ Петербургъ извѣстіе о славномъ Бородинскомъ боѣ, онъ выступилъ въ патріотической пьесѣ Висковатова: «Ополченіе». И вдругъ сегодня, какъ тѣнь умершаго изъ могилы, передъ присутствующими возсталъ опять прежній великій актеръ.

— «Хорошо, слушайте, заговорилъ онъ женскимъ голосомъ Миловидовой въ Державинской штукѣ:—Ты, Варенька, скажи первому Кондратью, камердинеру, который, за отсутствіемъ



управителя, надзираетъ за кухнею, чтобы приготовилъ, между прочимъ, куръ съ шампиньонами: дяденька это блюдо очень любить. Ты, Вѣринька, второму Кондратью, садовнику, вели припасти вязъ съ повелицей. Дубу и лавру здѣсь нѣтъ; неравно намъ вздумается отставному служивому поднести, по древнимъ обычаямъ, свойственный ему вѣнокъ. А ты, Пашенька, скажи третьему Кондратью, музыканту, чтобъ онъ приготовилъ для огромности хоровъ рогъ съ барабаномъ. Смотрите же, не забудьте, а я пойду одѣваться.»

При этихъ словахъ Дмитревскій повернулся, будто уходитъ, обдернулъ себѣ съ жеманствомъ сюртукъ, будто поправляетъ женское платье, и тѣмъ-же голосомъ продолжалъ, будто обращаясь къ тремъ Кондратьямъ:

«— Приготовили-ль, друзья мои, чтò вамъ приказывали дѣти?

«— Все готово, сударыня, все готово»... отвѣчалъ онъ самъ себѣ разными голосами трехъ Кондратьевъ.

«— Гдѣ-жь?

«— Вотъ здѣсь, отвѣчалъ онъ отъ лица перваго Кондратья камердинера, подавая со стола салфетку.

«— Да что это?

«— Туръ \*) съ панталонами.

«— Какъ? Тебѣ приказывали куръ съ шампиньонами?

«— Мнѣ такъ слышалось.

«— Какой взоръ! (Дмитревскій-Миловидова обернулся къ воображаемому Кондратью-садовнику). У тебя что?

(Въ рукахъ его очутился салатникъ.)

«— Мохъ съ тюльпаномъ.

«— Какая чепуха! Тебѣ приказанъ рогъ съ барабаномъ.

«— «Я не музыкантъ.

---

\*) Туръ — парикъ.

«— У тебя что? былъ, наконецъ, послѣдній вопросъ его къ невидимкѣ Кондратью-музыканту: — «Вязъ съ повелицей?»»

«— Нѣтъ! Басъ со скрипичей, былъ отвѣтъ—и бутылка съ рюмкой изобразили требуемые музыкальные инструменты.

«— Ха-ха-ха-ха! Сумасшедшіе! Вотъ каково тамъ, гдѣ много Кондратьевъ! Смѣхъ отъ нихъ и горе! Тому прикажи, того спроси—и увидишь хоть Кондратя, да не Кондратя! Оедоть да не тотъ...»

Войдя совершенно въ роль, бывалый актеръ даже не пришептывалъ; и голосъ и мимика его принадлежали именно тѣмъ лицамъ, которыхъ онъ изображалъ. Когда онъ кончилъ, комната огласилась единодушными восторженными криками, а Державинъ, сидѣвшій еще за столомъ, снялъ съ головы колпакъ и отдалъ другу-актеру такой глубокой поклонъ, что коснулся лбомъ стола.

Но, вслѣдъ за тѣмъ, поднялась общая суматоха. За необычнымъ оживленіемъ у дряхлаго старца-актера послѣдовалъ внезапный же упадокъ силъ. Какъ мертвецъ поблѣднѣвъ, онъ закатилъ глаза, схватился за грудь и навѣрное грохнулся бы на полъ, если бы подоспѣвшіе молодые люди не подхватили его подъ мышки, не усадили въ кресло. Всѣхъ болѣе, казалось, перепугалась виновница всего, Прасковья Николаевна. Она суетилась около гостя, какъ около родного, и, наливъ ему стаканъ воды, почти насильно заставляла его пить.

— Спасибо вамъ, дуса моя... лепеталъ онъ, отпивая глотокъ за глоткомъ: — разгорячили вы меня, стараго, и, боюсь, пролежу я теперь сутки въ постели...

Сначала хозяева думали уложить его сейчасъ же въ постель. Но когда онъ немного оправился, рѣшено было перебраться въ сосѣдную гостиную.

— Туда намъ и кофе подадутъ, сказала хозяйка: — тамъ вы отдохнете въ креслѣ.

— Да и я кстати маленько вздремну съ вами, добавилъ хозяинъ:—такое ужъ у меня положеніе:

«Тутъ кофе два глотка, всхрапну минутъ пятокъ;  
Тамъ въ шахматы, въ шары иль изъ лука стрѣлами,  
Пернатый къ потолку лаптой мечу летокъ  
И тѣшусь разными играми».

Гость слабо улыбнулся:

— Ой-ли?

— То есть, было времячко... Ну, а нынче, понятно, только бостонъ да пасьянсъ. На закатѣ дней, въ чемъ нашему брату упражняться, какъ не въ терпѣніи — въ пасьянсѣ?

Дмитревскій помнилъ впоследствии, какъ-бы въ какомъ-то туманѣ, что его перенесли въ креслѣ въ гостиную, и что онъ тамъ, не дождавшись даже кофе, крѣпко заснулъ. Во снѣ долетали до его слуха звуки клавесина, и когда онъ, наконецъ, очнулся, звуки эти не прекратились. На дверѣ совершенно уже смеркалось; а гостиная, гдѣ отдыхалъ онъ попрежнему въ креслѣ, освѣщалась мягкимъ полусвѣтомъ покрытой абажуромъ лампы. Въ отдаленіи, за клавесиномъ сидѣла Прасковья Николаевна и играла одну изъ задушевныхъ пьесъ Баха, любимого композитора хозяина. Самъ же хозяинъ, съ своей Тайкой за пазухой, въ мягкихъ туфляхъ, неслышно расхаживалъ по комнатѣ изъ угла въ уголъ; опустивъ голову, отвѣсивъ губу, и одной рукой приглаживалъ Тайку, а другой билъ по воздуху тактъ.

Не желая прерывать его размышленій, Иванъ Аѳанасьевичъ тихомолкомъ окинулъ взоромъ остальныхъ присутствующихъ. За столомъ, на которомъ горѣла лампа, сидѣла хозяйка, вязавшая какой-то шарфъ, вѣроятно, для мужа; а около нея — другая племянница, вышивавшая бисеромъ кушакъ, какъ оказалось послѣ, также для дяди. На столѣ были разложены въ извѣстномъ порядкѣ карты: Гаврила Романовичъ, очевидно рас-



кладывалъ пасьянсъ, когда искусная игра Прасковьи Николаевны согнала его съ мѣста. Прочіе домочадцы расположились небольшими группами тамъ и сямъ въ тѣни, слушая также музыку и изрѣдка перешептываясь.

Дмитревскій по-прежнему не шевелился и предался тихимъ старческимъ мечтамъ. Но вотъ, нѣжные звуки клавесина стали крѣпнуть, расти, учащаться, — и Гаврила Романовичъ сбился съ такта и ускорилъ шагъ; колпакъ его сдвинулся на-бекрень, губы крѣпко сжались, тусклые глаза разгорѣлись; дойдя опять до выходной двери, онъ не повернулъ уже назадъ, а вдругъ исчезъ.

Музыка разомъ смолкла; музыкантша, а за нею и всѣ молодые слушатели встрепенулись, заговорили:

— Ну, завтра къ утрешнему кофею дяденька навѣрно принесетъ новые стихи!

Они не совсѣмъ ошиблись: «дяденька», дѣйствительно, занялся стихами, хотя не новыми, а старыми, требовавшими отдѣлки. Когда всѣ сошлись опять къ ужину въ столовую, онъ также явился туда съ довольной улыбкой, держа въ рукахъ объемистую тетрадь.

— Екатеринина Муза заговорила? спросилъ его Дмитревскій.

— Нѣтъ; ко мнѣ теперь она ужъ рѣдко заглядываетъ, отвѣчалъ старикъ-поэтъ:

«Холодна старость—духъ, у лиры—гласъ отъемлетъ,  
Екатерины Муза дремлетъ...»

Положивъ тетрадь на столъ около своего прибора, онъ то и дѣло съ нѣжностью поглядывалъ на нее; когда-же, съ боемъ 11-ти часовъ, всѣ разомъ поднялись и стали прощаться на ночь, онъ вручилъ тетрадь гостю со словами:

— Прочтите, любезнѣйшій, и занотуйте, что нужно...

Дѣло это для Дмитревскаго было не ново. Продремавъ да-

веча часа два въ своемъ креслѣ въ гостиной, онъ такъ освѣжился, что не нуждался уже въ ночномъ отдыхѣ. Лежа въ постели, онъ принялся со скучающимъ видомъ перелистывать Державинскаго «Грознаго», причемъ гдѣ писалъ карандашомъ на поляхъ, гдѣ просто ставилъ вопросительный или восклицательный знакъ, пока не дошелъ до послѣдней страницы. Тутъ онъ отъ души зѣвнулъ и загасилъ свѣчу.





## ГЛАВА VII.

### Два дня у Державина.

#### ВТОРОЙ ДЕНЬ.

„Тамъ русскій духъ, тамъ Русью пахнетъ!  
И тамъ я былъ, и медъ я пилъ...”

(Прологъ къ Руслану и Людмилѣ.)



Старость не знаетъ долгаго сна. Не было еще шести часовъ утра, какъ Дмитревскій уже проснулся. Или, быть можетъ, его разбудилъ смутный говоръ, долетавшій къ нему сквозь тонкую стѣнку изъ смежной горницы. Онъ прислушался и явственно различилъ голоса хозяина и его мажордома Михайлыча. Гаврила Романовичъ давалъ послѣднему какія-то наставленія по хозяйству.

— Да гуся-то фаршированного, смотри, не забудь, говорилъ онъ: — Иванъ Аѳанасьевичъ у насъ, самъ знаешь, какой знатокъ по кухонной части.

— Какъ не знать-съ, отвѣчалъ Михайлычъ. — Анисовки нонече, сударь, отмѣнно уродились; такъ съ свѣжей капустой такой фаршъ дадутъ... А на счетъ февереку-то какъ прикажете?

— Ну, это — по части молодого барина, Семена Васильича: съ нимъ и столкуйся.



Далѣ Дмитревскій разговора ихъ не дослышалъ: въ дверь къ нему осторожно заглянулъ его казачекъ. Убѣдившись, что баринъ не спитъ, онъ вошелъ съ вычищенными сапогами и платьемъ.

— Будете одѣваться, сударь?

— Да, пора.

Оканчивая уже туалетъ, Иванъ Аѳанасьевичъ случайно увидѣлъ въ окошко живую группу: на ступенькахъ крыльца сидѣлъ Гаврила Романовичъ въ неизмѣнныхъ своихъ колпакъ да халатъ, а вокругъ него толпилось человѣкъ двадцать босоногихъ деревенскихъ ребятишекъ.

— Каждое утро, вишь, у нихъ здѣсь тоже, сказывали мнѣ, пояснилъ казачекъ:— молитвы учать, да ссоры ребячьи разбирають.

— Подай-ка шляпу да, вонъ, тетрадку, сказалъ баринъ и, опираясь на казачка, вышелъ также на крыльцо.

Державинъ сидѣлъ къ нему спиной и не замѣтилъ его прихода.

— Ну, вотъ такъ-то; на сегодня и будетъ съ васъ, други мои, говорилъ онъ и, взявъ въ руки стоявшую рядомъ на ступенькѣ корзиночку съ медовыми пряниками, сталъ раздавать ихъ дѣтямъ.

Тѣ наперерывъ выхватывали ихъ изъ его рукъ.

— А мнѣ-то! мнѣ, дяденька!

— Отчего же нынче, дяденька, не крендели, а пряники? Нешто нынче праздникъ? — сыпались вопросы.

— И какой еще праздникъ-то! — пріятеля загадочнаго изъ Питера чествую, отвѣчалъ «дяденька».

— Вонъ, этого самаго?

Державинъ обернулся.

— А! Иванъ Аѳанасьичъ! — вы здѣсь? Ну, какъ почивать изволили?

— Благодарю васъ, отвѣчалъ тотъ.—Да я вамъ, ваше высокопревосходительство, не мѣшаю ли?

— Нѣтъ, мы съ ребятами какъ-разъ покончили. Вотъ что, дѣтушки: ступайте по домамъ, да скажите парнямъ и дѣвчатамъ, отцамъ и матерямъ, что, молъ, всѣмъ имъ отъ меня тутъ угощеніе будетъ. Поняли?

— Какъ не понять! Не въ первый разъ...

— Ну, пошли. Съ Богомъ!

Весело горлая, дѣти вразсыпную бросились прочь отъ крыльца. Тутъ, между тѣмъ, Гаврила Романовичъ увидалъ свою завѣтную тетрадь въ рукахъ друга-актера.

— Ага! прочли? спросилъ онъ, и въ глазахъ его забѣгалъ беспокойный огонекъ.

— Прочель-съ... Очень хорошо... невнятно пробормоталъ Дмитревскій и, не глядя на Державина, подалъ ему тетрадь.

Сидѣвшая за пазухой Гаврилы Романовича Тайка ошибочно поняла движеніе гостя и сердито на него заворчала.

— Ну, ну, ну! не тронетъ онъ меня, успокоилъ ее хозяинъ и дрожащими пальцами сталъ перебирать листы тетради.—Много, кажись, замѣчаній...

— Ваше высокопревосходительство, отвѣчалъ Дмитревскій: — будьте совершенно спокойны, —эти замѣчанія дѣлаю я не для васъ; но, вы знаете, на театрѣ всегда бываютъ прощальныя, которые готовы за все придираются къ авторамъ. Отъ нихъ-то я и хочу уберечь васъ.

— Бываютъ, охъ, бываютъ! вздохнулъ Державинъ и указалъ себѣ на шею: —вонъ, гдѣ они сидятъ у меня!.. Ну да Господь теперь съ ними! Милости просимъ на балконъ: кофей, вѣрно, ужъ ждетъ насъ. Вы вѣдь тамъ, кажись, еще не были?

— Нѣтъ-съ.

— Ну, вотъ, пойдете, посмотрите при утреннемъ освѣщеніи каковъ видъ-то!

Цѣлымъ рядомъ комнатъ прошли они на противоположную сторону дома и вышли на балконъ. Солнечное утро пахнуло имъ навстрѣчу; оба старика поздоровались съ суетившейся около дымящагося самовара Прасковьей Николаевной, такой же свѣжей и розовой, какъ солнечное утро.

— Она у меня вѣдь ранняя пташка, сказалъ Гаврила Романовичъ:—прочія нѣженки, изволите видѣть, еще сладко дрыхнуть, а она ужъ все для насъ приготовила.

— Можно, дяденька, налить вамъ и Ивану Аѳанасьичу? спросила племянница и взяла кофейникъ.

— Наливай, душенька, наливай, а мы вотъ съ нимъ покуда оглядимся.

— Что, васъ никакъ смущаютъ сіи смертоносныя орудія? съ усмѣшкой спросилъ онъ, видя, что гость въ недоумѣніи остановился передъ одной изъ небольшихъ чугунныхъ пушекъ, поставленныхъ на баллюстрадѣ балкона.—Вотъ нынче вечеромъ узнаете ихъ назначеніе, загадочно добавилъ онъ,—а покамѣстъ полюбуйтесь-ка картиной природы. Ну, что, какъ находите, сударь мой?

Прислонившись къ одному изъ столбовъ, на которыхъ лежала крыша балкона, Дмитревскій засмотрѣлся на разстилавшуюся внизу панораму. Передъ каменной лѣстницей балкона, среди клумбъ цвѣтовъ, билъ фонтанъ, начиная отъ котораго уступами шелъ довольно крутой спускъ къ Волхову. Голубая лента рѣки красиво извивалась между желтѣющими нивами, зеленѣющими лугами, а плывшія по ней барки и лодки пріятно оживляли этотъ мирный сельскій видъ. У берега, прямо противъ усадьбы, были привязаны къ плоту большая крытая лодка и маленькій ботикъ.

— Это моя флотилія, самодовольно объяснилъ Гаврила Романовичъ: — на Гавріилѣ мы ѣдимъ всей семьей къ сосѣдямъ...



— На Гавріилѣ?

— Да, вонъ — на той лодкѣ: она окрещена такъ въ честь моего ангела-хранителя.

— А имя ботику, какъ вы полагаете, — какое? слышался со стороны стола звонкій голосокъ молодой хозяйки.

— Пашенька? спросилъ наугадъ гость, лукаво улыбувшись.

— И не угадали! засмѣялась она въ отвѣтъ:— у дяди есть еще бѣлая любимица.

— Та й ка?

— Ну, да!

— Такъ-съ.

Державинъ только погрозилъ пальцемъ племянницѣ, а потомъ показалъ Дмитревскому въ сторону, гдѣ за плетнемъ темнѣла кудрявая купа деревъ.

— А тамъ мой садъ фруктовый. Самъ сажаю, и не новѣрите, какая услада собирать потомъ плоды рукъ своихъ!

— Но та бесѣдка, вонъ, что на холмѣ, дядѣ еще милѣе. замѣтила Прасковья Николаевна, указывая, въ свою очередь, на виднѣвшуюся въ отдаленіи, на высотѣ, бесѣдку:— тамъ онъ по цѣлымъ часамъ бесѣдуетъ со своей Музой...

— Изъ-за нея забываетъ и жену, и весь остальной міръ! внезапно раздался позади говорящихъ другой женскій голосъ.

Въ дверяхъ балкона стояла сама супруга старика-поэта, Дарья Алексѣевна. Послѣ обычныхъ взаимныхъ привѣтствій, она пригласила гостя за столъ и продолжала:

— Видите направо флигель? Это ткацкая, гдѣ ткутся у меня сукна да полотна. А спросите-ка Гаврилу Романыча, когда онъ въ послѣдній разъ былъ тамъ?

— И не дай Богъ мнѣ, душенька, безъ спросу вторгаться въ твою область! добродушно отозвался мужъ. — Вѣдь и ты не тревожишь же моей Музы?

Понемногу на балконѣ собралось все остальное, заспавшееся общество. Веселый, неумолчный говоръ и смѣхъ огласили воздухъ.

— Только не по-заморскому болтайте, дѣтки! замѣтилъ Гаврила Романовичъ, когда послышалось нѣсколько французскихъ фразъ:—смотрите, чтобы съ вами не случилось того, что другъ мой Шишковъ, Александръ Семенычъ, продѣлалъ съ дѣвицей Турсуковой.

— Что-жъ онъ сдѣлалъ съ нею, дяденька?

— Что? А вотъ что. Былъ у этой дѣвицы роскошнѣйшій рисовальный альбомъ, вывезенный изъ Парижа; были въ немъ рисунки разныхъ свѣтилъ живописи; а подписи-то всѣ были французскія, даже русскихъ художниковъ.

« — Какой позоръ! сказалъ Александръ Семенычъ: — русскій художникъ рисуетъ для русской дѣвицы — и стыдится подписаться русскими буквами; совсѣмъ исковеркалъ свое бѣдное имя! »

Какъ на грѣхъ подвернулся ему тутъ шутникъ-племянникъ (на манеръ вотъ моего Сени)!

« — Да не угодно ли, говоритъ, дядя, перо и чернилъ?

« — Давай! »! сказалъ Александръ Семенычъ; взялъ перо, обмакнулъ въ чернила да и переправилъ всѣ, какъ есть, подписи на русскій ладъ; а на первой, заглавной страницѣ настроилъ собственный куплетецъ:

«Безъ бѣлилъ ты, дѣвка, бѣла,  
Безъ румянъ ты, дѣвка, ала;  
Ты честь, хвала отцу, матери,  
Сухота сердцу молодецкому».

Внизу же, какъ подобаетъ, расчеркнулся:

«Александръ Шишковъ.»

Анекдотъ хозяина еще болѣе развеселилъ молодыхъ мужчинъ. Барышни, напротивъ, надули губки.

— А что же сказала дѣвица на такую непрошенную любовь? спросила одна изъ барышень:—поблагодарила?

— Отъ радости словъ не нашла: расплакалась, а альбомъ отправила опять въ Парижъ—вывести помарки; но стихи Александра Семеныча не похерила-таки, сохранила!

— Теперь, однакожъ, и Александру Семенычу икается, вступился за обиженную дѣвицу Дмитревскій.

— Что такъ?

— Да такъ-съ... Задѣваютъ ужъ больно его съ «Бесѣдой» молодые «карамзинисты»; сочинили стихотворный пасквиль...

Тутъ кстати будетъ сказать нѣсколько словъ по поводу упомянутой Дмитревскимъ «Бесѣды»—литературнаго общества, къ которому принадлежалъ и Державинъ.

Когда, въ концѣ прошлаго столѣтія, начинающій еще писатель Карамзинъ сталъ печатать свои «Письма русскаго путешественника», чисто-разговорный языкъ этихъ писемъ (помимо ихъ любопытнаго содержанія) возбудилъ къ автору ихъ симпатіи большинства читателей, особенно молодого поколѣнія. Зато приверженцы стариннаго слога ополчились противъ него, и глава ихъ, академикъ Шишковъ, выпустилъ свое знаменитое «Разсужденіе о старомъ и новомъ слоgѣ». Ближайшій другъ Карамзина, извѣстный также въ свое время стихотворецъ Дмитріевъ, уговаривалъ его написать возраженіе. Карамзинъ, который, между тѣмъ, былъ сдѣланъ исторіографомъ (31-го октября 1803 г.) и порвалъ уже всякую связь съ текущей литературой, долго отнѣкивался. Наконецъ, вынужденный уступить, онъ написалъ обширную статью противъ Шишкова и прочелъ ее своему пріятелю.

— Одобряешь? спросилъ онъ его.

— И весьма! былъ отвѣтъ.

— Ну, вотъ, сказалъ Карамзинъ:—я исполнилъ твою волю. Теперь позволь мнѣ исполнить свою...



И, съ этими словами, онъ бросилъ тетрадь въ каминъ.

Но друзья его не уgomонились. Молодой, талантливый писатель Дашковъ, въ брошюрѣ своей «О легчайшемъ способѣ отвѣчать на критику», разобралъ «Разсужденіе» Шишкова, какъ говорится, по косточкамъ и доказалъ незнаніе имъ основныхъ правилъ русскаго и славянскаго языковъ. Вслѣдъ за нимъ и прочіе молодые литераторы въ журналахъ и отдѣльныхъ брошюрахъ осыпали Шишкова градомъ насмѣшекъ. Тотъ бросился за совѣтомъ къ своему сотоварищу по старинному слогу, Державину: что ему дѣлать?

— Да махнуть рукой, отвѣчалъ Гаврила Романовичъ совершенно въ томъ же примирительномъ духѣ, какъ отвѣчалъ Дмитріеву Карамзинъ:—мудрость въ серединѣ крайностей. «Дунь на искру—разгорится, сказалъ Іисусъ Сирахъ,—а плюнь, такъ погаснетъ».

Шишковъ на видъ смирился, не сталъ препираться съ врагами печатно. Но, по его почину, шишковисты (какъ назывались тогда послѣдователи стариннаго слога) начали сбираться другъ у друга, для «противоборства нашествію иноплемennыхъ». Большая часть «шишковистовъ» были литературныя посредственности, о которыхъ въ наше время даже никто и не говорить. Но были между ними и выдающіеся таланты: Державинъ, Крыловъ, Гнѣдичъ, князь Шаховской (Гнѣдичъ, впрочемъ, впослѣдствіи вышелъ изъ ихъ кружка). Державинъ, у котораго былъ прекрасный барскій домъ въ Петербургѣ, съ колоннами по бокамъ и статуями четырехъ богинь надъ главнымъ фасадомъ,—отвелъ у себя для этихъ сборищъ большой залъ въ два свѣта, а на хоры поставилъ органъ \*).

---

\*) Бывшій домъ Державина, на Фонтанкѣ, у Измайловскаго моста, занятъ, въ настоящее время, римско-католической коллегіей.

сначала названное «Ликеемъ», потомъ «Атенеумъ» и, наконецъ, «Бесѣдой, или обществомъ любителей россійской словесности». Уставъ новаго общества былъ представленъ министромъ народнаго просвѣщенія, графомъ Разумовскимъ, на Высочайшее утвержденіе, и первое публичное чтеніе «Бесѣды» состоялось 11-го марта 1811 года. Ожидали даже, что будетъ государь. Для привѣтствія его Державинъ сочинилъ гимнъ: «Срѣщеніе Орфеемъ Солнца», который Бортнянскій положилъ на музыку. О новомъ обществѣ шло въ высшемъ кругу уже такъ много толковъ, что на первое засѣданіе стеклась вся столичная знать, числомъ не менѣе 200 человѣкъ. Но государь чѣмъ-то былъ задержанъ и не пріѣхалъ. Съ тѣхъ поръ собранія «Бесѣды» вошли въ моду, и весь цвѣтъ Петербурга — блестящіе мундиры и бальные платья — разукрасили державинскій залъ. «Бесѣда» гремѣла и торжествовала, особенно съ тѣхъ поръ, какъ Шишковъ, одинъ изъ четырехъ предсѣдателей ея (другими тремя были: Державинъ, А. С. Хвостовъ и Захаровъ), сдѣлался президентомъ Россійской Академіи, а попечителями четырехъ отдѣловъ «Бесѣды» были назначены четыре министра, въ томъ числѣ прежній недругъ Шишкова, Ив. Ив. Дмитріевъ, а Карамзинъ, родоначальникъ молодой партіи, былъ избранъ въ почетные члены «Бесѣды».

И вдругъ теперь, когда онъ, Гаврила Романовичъ, правая рука Шишкова, удалился только на лѣто въ деревню, чтобы набраться къ осени свѣжихъ силъ, — близкій пріятель и гость его, Иванъ Аѳанасьевичъ Дмитревскій, самъ состоявшій почетнымъ членомъ «Бесѣды», позволяетъ себѣ во всеуслышаніе, при его домашнихъ, говорить о какомъ-то пасквилѣ на Шишкова!

— Да авторъ-то пасквиля не извѣстенъ? спросилъ Державинъ, нахмутивъ брови.



- Называютъ Дашкова.  
 — Опять этотъ Дашковъ!  
 — А вы, Иванъ Аѳанасьичъ, не помните тѣхъ стиховъ?  
 неосторожно спросилъ одинъ изъ молодыхъ людей.  
 — Какъ не помнить. Не совсѣмъ еще память отшибло.  
 — Скажите ихъ намъ!  
 — Да вотъ, какъ дядюшка вашъ...  
 — Позвольте, дядя, сказать ихъ?  
 — Да вѣдь они, вѣрно, злы и непристойны?  
 — Злы—да, несомнѣнно; непристойны—нѣтъ.  
 — Чтожъ, пожалуй, говорите, нехотя разрѣшилъ Гаврила Романовичъ.

Дмитревскій поднялъ глаза къ стропиламъ балкона и началъ какимъ-то замогильнымъ голосомъ, но съ обычнымъ своимъ искусствомъ:

„Мяется сонмъ,— но вдругъ, трикратно  
 Прокашлявши, встаетъ Шишковъ;  
 Шишковъ, отъ чьихъ рѣчей зѣваютъ,—  
 Кого читатели не знаютъ,  
 Но знаетъ бѣдный Глазуновъ... \*)  
 Встаетъ—въ молчаніи глубокомъ,—  
 Благоговѣютъ всѣ предъ нимъ.  
 Вращая всюду мрачнымъ окомъ,—  
 Въ церковномъ слогѣ и высокомъ,  
 Гласить къ сочленамъ онъ своимъ:  
 „Воспряньте, други, отъ покоя!  
 Насталъ бо лютой распри часъ!  
 На то сію „Бесѣду“ строя,  
 Въ едину купу собралъ васъ...“

Нѣсколько разъ хозяинъ порывался перебить декламатора; но тотъ упорно глядѣлъ въ потолокъ. Дойдя до послѣдняго стиха, онъ, будто съ-просонья, хлопалъ глазами, недоумѣвая оглядѣлся.

— Что, не заснули еще, господа? А меня ужъ, признаться, совсѣмъ сонъ клонить... добавилъ онъ, зѣвая въ руку.

\*) Петербургскій книгопродавецъ.



— Зѣвота ужасно заразительна! засмѣялась одна изъ барышень, также закрывая ротъ рукою.

— Особенно, когда рѣчь идетъ о «Бесѣдѣ», подхватилъ Капнистъ, громко уже зѣвая.

Кругомъ раздались общіе зѣвки, общій смѣхъ.

— И вовсе не смѣшно, а неприлично! съ неудовольствіемъ замѣтилъ Державинъ.

— Но согласитесь, дяденька, сказалъ племянникъ, — что чтенія «Бесѣды» крайне сухи, и только басни Крылова нѣсколько разгоняють скуку.

— Чтенія наши, другъ мой, служатъ не ребячьей забавѣ, а родной словесности: они насквозь пропитаны русскимъ духомъ...

— Да Карамзинъ-то, который написалъ «Мареу Посадицу», который пишетъ теперь «Исторію Государства Россійскаго», — развѣ менѣе русскій, чѣмъ мы съ вами? И не сами ли вы, дядя, предложили его въ почетные члены «Бесѣды»?..

— Вотъ присталъ! отмахнулся дядя. — Ты меня, любезный, чего добраго, еще въ карамзинскую вѣру совратить хочешь?

— Да не мѣшало бы, дядя...

— Что?! Вотъ не было печали...

Дарья Алексѣвна, видя, что споръ ихъ начинаетъ принимать слишкомъ острый характеръ, озаботилась дать разговору другое направленіе. Подойдя къ периламъ балкона, она крикнула внизъ, къ рѣкѣ:

— Дѣвченка! а, дѣвченка!

Дмитревскій машинально оглянулся. На плоту, у берега рѣки, стояла 70-тилѣтняя старушка съ подобраннымъ подоломъ, и удила рыбу; никакой другой «дѣвченки» кругомъ не было видно. Но что окрикъ хозяйки относился именно къ ней, подтвердилось тѣмъ, что старуха, наскоро оправивъ подолъ и свернувъ лесу на удилищѣ, откликнулась въ отвѣтъ:

— Сейчасъ, сударыня!

— Почему вы ее называете дѣвченкой? удивился Дмитревскій.

— Да такъ, знаете, по старой привычкѣ, отвѣчала Дарья Алексѣевна.—А нисью Сидоровну дали мнѣ еще въ приданое, и она у меня, здѣсь, въ Званкѣ, теперь то же, что у Гаврилы Романыча его Михайлычъ.

Когда Анися Сидоровна поднялась по косогору къ балкону, барыня приказала ей распорядиться достать изъ огорода арбузы, «да поспѣлѣ».

— Гаврила-то Романычъ у насъ вѣдь, кромѣ арбузовъ, никакихъ фруктовъ не уважаетъ, пояснила она гостю.

До обѣда Иванъ Аѳанасьевичъ удалился въ отведенный ему покой, чтобы отдохнуть часокъ. Когда онъ вошелъ затѣмъ въ гостиную, то засталъ уже тамъ нѣсколько сосѣдей-помѣщиковъ, за которыми было нарочно послано въ честь рѣдкаго столичнаго гостя. Ожидали изъ села Грузина, отстоящаго отъ Званки всего на 18 верстъ, еще всесильнаго тогда военного министра, графа Аракчеева; но оказалось, что тотъ былъ вызванъ въ Павловскъ, по случаю описаннаго нами выше царскаго праздника, и въ имѣніе свое еще не возвратился.

— Зналъ бы, такъ не переодѣвался бы! сказалъ Державинъ, съ сожалѣніемъ оглядывая на себѣ коричневый фракъ, короткія брюки и сапожки, которые замѣнили теперь столь милые ему халаты и туфли, и, поправляя на головѣ парикъ съ косичкой, заступившій мѣсто столь удобнаго колпака.

Несмотря однако на отсутствіе именитаго сосѣда, а можетъ быть именно благодаря его отсутствію, обѣдъ прошелъ чрезвычайно оживленно. Предложенный хозяиномъ первый тостъ за императора Александра и августѣйшую мать его Марію Ѳеодоровну былъ единодушно подхваченъ всѣми.



На этотъ разъ Гаврила Романовичъ отказался, въ видѣ исключенія, даже отъ короткаго послѣобѣденнаго сна.

— Теперь, государи мои, покорнѣйше прошу слѣдовать за мною на вольный воздухъ, предложилъ онъ гостямъ и, весело посвистывая, вышелъ впереди всѣхъ.

Неразлучная съ нимъ Тайка съ пронзительнымъ лаемъ выбѣжала вслѣдъ за нимъ и, отъ радости, что можетъ погулять, запрыгала и закружилась у его ногъ.

Все общество длинной вереницей потянулось въ тому холму съ бесѣдкой, гдѣ старикъ-поэтъ (какъ рассказывала поутру Дмитревскому Прасковья Николаевна) всего чаще вдохновлялся. Послѣднимъ поплелся своей дрожащей походкой, поддерживаемый казачкомъ, старецъ-актеръ.

У подножія холма шумѣла уже толпа разряженныхъ крестьянскихъ парней и дѣвушекъ; въ сторонѣ чинно стояла кучка деревенскихъ хозяевъ-мужиковъ и бабъ. Когда все общество «господь» расположилось въ бесѣдкѣ и по зеленому скату холма, приблизился мажордомъ Михайлычъ, въ сопровожденіи двухъ дворовыхъ, которые несли за спиной туго-набитые мѣшки. Гаврила Романовичъ поднялся на ноги, обнажилъ голову и, указывая на Дмитревскаго, сказалъ собравшемуся внизу народу такую рѣчь:

— Вотъ старый другъ и пріятель мой изъ Питера привезъ добрую вѣсточку, что нашъ царь-батюшка благополучно вернулся изъ чужихъ краевъ восвояси. Матушка-царица устроила ему пиръ горой, какого не было, говорить, и не будетъ. Возрадуемся же и мы, вѣрноподданные, насколько средствъ и умѣнья нашихъ хватить. Вали!

Послѣднее слово относилось къ двумъ дворовымъ, которые не замедлили развязать принесенные ими мѣшки и высыпать подъ гору, что тамъ было. По всему скату покатались, запрыгали краснощекія яблоки, сорванные, какъ видно, только-что



съ деревь барскаго фруктоваго сада. То-то потѣха для мужской деревенской молодежи! Съ крикомъ и смѣхомъ, толкаясь и валясь другъ на дружку, парни брали каждое яблоко съ бою. Дѣвушки скромно отстранились. Между тѣмъ, Михайлычъ мигнулъ двумъ другимъ дворовымъ, и тѣ поднесли сошедшему внизъ барину: одинъ — корзинку съ разными лакомствами и принадлежностями сельскаго женскаго туалета, другой — бутылъ полугара и серебряный стаканчикъ.

— Подойдите-ка сюда, красныя, да и вы, молодушки и старушки, кивнулъ Гаврила Романовичъ дѣвушкамъ и бабамъ.

Подталкивая другъ друга, хихикая и закрываясь рукавами, онѣ стояли на мѣстѣ, не рѣшаясь подойти.

— Чего закобянились? Аль не понимаете барской ласки? проворчалъ на нихъ Михайлычъ.

Тогда одна за другой, не безъ робости и жеманства, стали подходить онѣ къ барину. Отдавъ короткій поклонъ, каждая поскорѣе отходила опять отъ него, унося съ собой либо полный передникъ орѣховъ и пеструю ленту, либо пригоршню пряниковъ, леденцовъ и пестрый платочекъ.

Послѣ прекраснаго пола насталъ чередъ непрекрасному: каждый бородатый крестьянинъ получалъ изъ собственныхъ рукъ барина полный до краевъ стаканчикъ «зеленá вина». Зажмурясь отъ удовольствія и кряхнувъ, каждый обтиралъ рукой мокрые усы, и, со словами: «добраго тебѣ здоровья, баринъ», — уступалъ мѣсто слѣдующему.

— И любятъ же они Гаврилу Романыча: по глазамъ видно! отнесся Дмитревскій къ стоявшему около него молодому Капнисту.

— Какъ имъ его не любить! отвѣчалъ тотъ: — они у него, какъ у Христа за пазухой: скотскій ли падежъ у нихъ, неурожай или пожаръ, онъ купить имъ и корову, и лошадь, дастъ хлѣба, выстроить новую избу.

Наибольшее удовольствіе, казалось, испытывалъ самъ Гаврила Романовичъ.

— Конецъ перваго дѣйствія—и занавѣсъ опускается! весело объявилъ онъ гостямъ, окончивъ раздачу.—Теперь пойдутъ у нихъ хороводы и игрища. Кому любо—пусть посмотритъ, а мы, старички, примемся за бостонъ. Не такъ ли, Иванъ Аѳанасьичъ?

— Какъ прикажете, ваше высокопревосходительство!

— Оставьте-ка теперь въ покоѣ мой чинъ! А то не угодно ли, можетъ, въ шашки-шахматы, или, просто, стариной тряхнуть — тарáбара про ко́мара? Прошу, господа, за мной!

Подпѣвая, онъ бодро направился опять во главѣ гостей обратно къ дому. Здѣсь, въ кабинетѣ, были уже разставлены ломберные столы; за однимъ изъ нихъ помѣстился, вмѣстѣ съ хозяиномъ, Дмитревскій. Въ открытыя окна неслись къ нимъ нескончаемыя хороводныя пѣсни. Немного погодя, изъ гостиной раздались веселые звуки клавесина: молодые «господа» также затѣяли танцы. Наконецъ, и эти звуки были заглушены духовой музыкой подъ самыми окнами.

— Каково наострились-то? похвалился хозяинъ:— а вѣдь, изъ своихъ же крѣпостныхъ!

Но картежникамъ за музыкальнымъ шумомъ нельзя было уже разслышать собственныхъ словъ, и одинъ изъ нихъ всталъ, чтобъ притворить окна и дверь.

— Что, развѣ громко? будто удивился Гаврила Романовичъ:

— «Они немножечко дерутъ»,

какъ говоритъ другъ мой Иванъ Андреичъ (Крыловъ):

«Зато ужъ въ ротъ хмельнаго не берутъ,  
И всѣ съ прекраснымъ поведеніемъ».

Съ наступленіемъ сумерекъ, балконъ засвѣтился пестрыми фонарями, а съ лодки, выѣхавшей на средину Волхова, стали



взлетать къ темному небу разноцвѣтныя ракеты, отражавшіяся въ подвижномъ зеркалѣ рѣки.

— Не то, нонятно, что у васъ, въ Павловскѣ, говорилъ хозяинъ Дмитревскому, стоявшему вмѣстѣ съ нимъ у окна, — а все же вѣдь изрядно, а? И все-то дѣло рукъ молодца-племянника. Сени!

Подбѣжавшій къ барину Михайлычъ шепнулъ ему что-то на ухо.

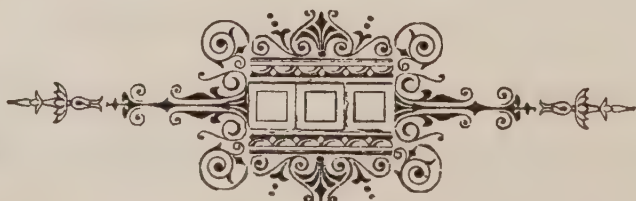
— Пали! сказалъ тотъ и предупредилъ гостя: — вы только не очень пугайтесь.

Вслѣдъ за тѣмъ, съ балкопа грянуло шесть подрядъ оглушительныхъ пушечныхъ выстрѣловъ, и, въ то же время, весь скать къ рѣкѣ, усадьба съ окружающими ее деревьями и группы пировавшихъ подъ ними крестьянъ были ярко залиты бенгальскими огнями. Нескончаемые крики пирующихъ послужили краснорѣчивымъ отвѣтомъ на этотъ финалъ праздника.

— Помните стихи мои? спросилъ Державинъ Дмитревскаго:

«Изъ жерлъ чугунныхъ громъ по праздникамъ реветъ;  
Подъ звѣздной молніей, подъ свѣтлыми древами  
Толпа крестьянъ, ихъ женъ — вино и пиво пьетъ,  
Поетъ и пляшетъ подъ гудками»...

Воспоминаніе о первыхъ двухъ дняхъ пребыванія въ Званкѣ такъ глубоко врѣзалось въ памяти старика-актера, что, возвратясь въ Петербургъ, онъ, по старческой болтливости, не разъ передавалъ до мельчайшихъ подробностей все испытанное имъ внуку своему, бывшему гувернеру лицейскому, Иконникову, а отъ послѣдняго, какъ мы скоро увидимъ, узнали тоже и наши лицеисты въ Царскомъ Селѣ, куда мы теперь и попросимъ читателей.







## ГЛАВА VIII.

### Убѣжище лицеистовъ.

«Вотъ онъ, пріютъ гостепріимный...  
Гдѣ дружбы знали мы блаженство,  
Гдѣ въ колпакѣ за круглый столъ  
Садилось милое равенство».

(Посланіе къ Толстому.)

«Наставникамъ, хранившимъ юность нашу,  
Всѣмъ честію, и мертвымъ, и живымъ,  
Не помня зла, за благо воздадимъ».

(19 Октября.)



Второй день уже Пушкинъ лежалъ въ лазаретѣ. Былъ ли онъ тогда дѣйствительно боленъ? Объ этомъ не сохранилось достовѣрныхъ свѣдѣній. Несомнѣнно одно, что добрейшій докторъ Пешель, начинавшій также цѣнить назрѣвавшій талантъ молодого лицеиста, по первому его требованію, охотно отводилъ ему больничную койку, на которой Пушкинъ имѣлъ полный досугъ предаваться своей стихотворной страсти. Здѣсь-то возникли многія изъ лучшихъ строфъ его лицейскихъ стихотвореній.

— Что-то опять стряпаетъ Пушкинъ? говорилъ шепотомъ горячій поклонникъ его, Кюхельбекеръ, сидѣвшему въ классѣ рядомъ съ нимъ Дельвигу.— Еслибъ только подглядѣть въ его поэтическую кухню...

— И испортить ему всю стряпню, хладнокровно досказалъ Дельвигъ.—Ты очень хорошо знаешь, Кюхля, что Пушкинъ терпѣть не можетъ, когда ему мѣшаютъ.

— Знаю, дружище, знаю, и потому самъ ужъ къ нему безъ спросу ни ногой. Но что бы тебѣ, Тося, спуститься къ нему въ лазаретъ и осторожно выпытать, не прочтетъ ли онъ намъ хоть того, что у него готово? На тебя-то, закадычнаго друга, онъ не разсердится.

Дельвигъ пожалъ плечами.

— Пожалуй, узнаемъ.

Результатъ визита Дельвига къ своему «закадычному» другу былъ неожиданно благопріятный: всѣ записные лицейскіе поэты, въ томъ числѣ и Кюхельбекеръ, получили негласное приглашеніе въ лазаретъ. Новый надзиратель, подполковникъ Фроловъ, который, съ перваго же дня вступленія въ должность своимъ солдатски-рѣзкимъ обращеніемъ съ воспитанниками, успѣлъ поставить между собой и ими неприступную стѣну формализма,—отнюдь не долженъ былъ знать объ этомъ сборищѣ въ «непоказанномъ» для того мѣстѣ. Поэтому одинъ только дежурный гувернеръ Чириковъ, вѣрный и испытанный покровитель лицейской Музы, былъ посвященъ въ тайну. Подъ его-то прикрытіемъ, собравшись послѣ 5-ти-часоваго вечера на обычную прогулку, приглашенные отдѣлились отъ остальныхъ товарищей и завернули въ лазаретъ.

— Извините, господа, что я васъ принимаю въ такомъ, не совсѣмъ салонномъ, облаченіи, развязно встрѣтилъ ихъ хозяинъ-Пушкинъ, запахивая на груди свой больничный халатъ.—Прошу садиться.

Гости, пошучивая также, расположились кругомъ, на чемъ попало: на кровати, на столѣ, на тубаретахъ.

Всѣмъ было очень любопытно прослушать новѣйшее произведеніе первенствующаго собрата. Но ни у кого нетерпѣніе



не выражалось такъ явственно, какъ у Кюхельбекера. При-сѣвъ-было на край кровати, онъ тотчасъ вскочилъ опять на ноги, потому что и самъ Пушкинъ, со своими стихами въ рукахъ, остался стоять посреди комнаты.

— Позволь мнѣ, Пушкинъ, стать около тебя, проговорилъ онъ заискивающимъ голосомъ. — Ты вѣдь знаешь, я немножко тугъ на ухо отъ золотухи...

— Хорошо! сказалъ Пушкинъ. — Только ты все же не стеклянный. Отойди-ка отъ свѣта.

— Ахъ, прости, пожалуйста!

— Такъ и быть, прощаю. Пьеса моя, господа, носить названіе: «Пирующіе студенты». По заглавію вы уже, конечно, догадываетесь, что студенты эти—мы.

— Эге! вотъ оно что! обрадовался Кюхельбекеръ, и сталъ потирать руки. — Но когда же мы, однако, пировали?

— А ты, видно, прозѣваль? Поздравляю! Пирушки наши, Сергѣй Гаврилычъ, какъ вы знаете, происходятъ у профессора Галича и, въ дѣйствительности, самыя трезвыя, продолжалъ Пушкинъ, обращаясь къ гувернеру: — чай да булочное печенье; но въ стихахъ позволителенъ нѣкоторый полетъ фантазіи, *licentia poetica* (поэтическая вольность).

— Ну, ладно, читай! нетерпѣливо перебили его товарищи.

— „Друзья! досужный часъ насталь,  
Все тихо, все въ покоѣ..“

началь поэтъ. Все кругомъ притаилось; можно было, кажется, слышать полетъ мухи, — если бы въ то время года водились мухи. Но вотъ авторъ предлагаетъ избрать президента «пирующихъ». Кого-то онъ назоветъ?

„Апостоль яѣги и прохладъ,  
Мой добрый *Галичъ*, vale!..  
Главу вѣнками убери —  
Будь нашимъ президентомъ...“



— Браво! браво! раздались вокругъ одобрительные голоса.

— Дайте же ему читать, господа! умоляющимъ тономъ промолвилъ Кюхельбекеръ.

Пушкинъ продолжалъ:

„Дай руку, Дельвигъ! Что ты спишь?  
Проснись, лѣнivecъ сонный!  
Ты не подъ каедрой сидишь,  
Латынью усыпленный.  
Взгляни! — тутъ кругъ твоихъ друзей...“

При первомъ же обращеніи Пушкина къ своему другу-поэту взоры всѣхъ присутствующихъ устремились на Дельвига, на блѣдныхъ щекахъ котораго вспыхнула даже легкая краска. Но вскорѣ оказалось, что авторъ никого изъ пріятелей-поэтовъ не обошелъ, и когда онъ называлъ того или другаго, остальные, кивая, подмигивая или, просто, улыбаясь, обращались къ называемому. Сейчасъ за Дельвигомъ упоминался извѣстный мастеръ на экспромты и эпиграммы, Илличевскій:

„Острякъ любезный! По рукамъ!  
Полнѣй бокаль досуга,  
И вылей сотню эпиграммъ  
На недруга и друга!“

За Илличевскимъ слѣдовалъ князь Горчаковъ, «красавецъ молодой, сіятельный повѣса», а за Горчаковымъ — Пущинъ.

Когда Пушкинъ началъ только:

„Товарищъ милый, другъ прямой!  
Тряхнемъ рукою руку...“

и машинально протянулъ къ нему руку, — Пущинъ, въ порывѣ дружбы, схватилъ ее да такъ тряхнулъ, что у Пушкина суставы хрустнули, и онъ невольно вскрикнулъ.

— Да развѣ въ самомъ дѣлѣ больно? всполошился Пущинъ, и принялся растирать пальцы друга.

— Эй, фельдшеръ! свинцовой примочки! крикнулъ шутникъ Илличевскій.

— Шпанскую мушку! подхватилъ кто-то другой.

Среди общей веселости Пушкинъ закончилъ куплетъ, посвященный Пущину:

„Нерѣдко и бранимся—  
И тотчасъ помиримся“.

— Да какъ съ тобой не помирись, голубчикъ? вполголоса замѣтилъ Пущинъ.

Едва замолкшій смѣхъ опять возобновился, когда очередь дошла до Яковлева,—

„О, ты, который съ дѣтскихъ лѣтъ  
Однимъ весельемъ дышешь!  
Забавный, право, ты поэтъ,  
Хоть плохо басни пишешь..“

— Да я никогда и не рассчитывалъ, господа, угоняться за вами, скромно отнесся Яковлевъ къ тремъ свѣтиламъ лицейскимъ:—Пушкину, Дельвигу и Илличевскому.

— Ну, чтожъ это, право! Совсѣмъ слушать не даютъ! заворчалъ опять Кюхельбекеръ, который, какъ видно, уже смутно чуялъ, что и на его пай перепадетъ стишокъ.

Но ему пришлось нѣсколько потерпѣть: ранѣе его были упомянуты еще двое: Малиновскій.—

„...повѣса изъ повѣсь,  
На шалости рожденный,  
Удалый хватъ, головорѣзь,  
Пріятель неизмѣнный,“—

и Корсаковъ, «пѣвецъ, любимый Аполлономъ», воспѣвающій «властителя сердець» «гитары тихимъ звономъ».

«Неужели онъ меня одного забылъ?» мелькнуло въ головѣ Кюхельбекера, когда по интонаціи голоса чтеца можно было уже заключить, что чтеніе подходитъ къ концу. «За чтожъ такая немилость?»

— „Гдѣ вы, товарищи, гдѣ я?  
Скажите Вакха ради,“

началъ Пушкинъ послѣдній куплетъ:

„Вы дремлете, мои друзья,  
Склонившись на тетради,  
Писатель! за свои грѣхи  
Ты съ виду всѣхъ трезвѣе:  
Вильгельмъ! прочти свои стихи,—  
Чтобъ намъ уснуть скорѣе.“

Эффектъ отъ заключительной эпиграммы вышелъ полный. Кюхельбекеръ, почти помирившійся уже съ мыслью, что онъ забытъ, былъ ошеломленъ, какъ ударомъ кулака въ лобъ; остальные же слушатели, забывъ уже про автора, какъ по уговору, всей гурьбой кинулись къ «Вильгельму» и, наперерывъ прижимая его къ груди, приговаривали:

— «Вильгельмъ! прочти свои стихи,—  
Чтобъ намъ уснуть скорѣе!»

Тѣснимый со всѣхъ сторонъ, Вильгельмъ рычалъ, какъ медвѣдь, неуклюже отбиваясь. Когда же, благодаря заступничеству Пушкина, онъ высвободился, наконецъ, отъ непрошенныхъ объятій, то Пушкинъ долженъ былъ, по настоятельной его просьбѣ, вторично прочесть стихи сначала, причемъ Кюхельбекеръ, по своему природному добродушію, самъ уже съ другими смѣялся надъ усыпительностью своихъ стиховъ.

— Съ Дельвига ты началъ, мною кончилъ, стало быть, онъ—альфа, а я—омега лицейскихъ «снотворцевъ», самодовольно сострилъ онъ.

— Съ тою только существенною разницею, пояснилъ острословъ Иличевскій, — что ты «снотворствуешь» въ дѣйствительномъ залогѣ, а Дельвигъ въ страдательномъ: ты усыпляешь, а онъ засыпаетъ.

По поводу приведеннаго выше стихотворенія: «Пирующіе студенты», кстати будетъ здѣсь подтвердить еще разъ то, что говорилъ Пушкинъ Чирикову о собраніяхъ у про-



фессора Галича: какъ свидѣтельствуя участники этихъ собраній, «пирушки», описываемыя во многихъ лицейскихъ стихахъ Пушкина, происходили исключительно въ пылкомъ воображеніи молодого поэта, подобно тому, какъ онъ свою «монастырскую келью» въ лицѣ, «для красоты слога» очерчиваетъ въ «Посланіи къ сестрѣ» такъ:

«Стулъ ветхій, необитый  
И шаткая постель,  
Сосудъ, водой налитый,  
Соломенная свирѣль...»

Отъ солдатской «муштровки» надзирателя Фролова лицейстамъ необходимо было какое-нибудь убѣжище, гдѣ бы можно было имъ поразмять члены, перевести духъ; и вотъ такимъ-то убѣжищемъ служила уютная комнатка гостепріимнаго Галича. За стаканомъ чая да трубкой, дѣйствительно, запрещеннаго табаку, они могли тутъ по душѣ наговориться — о чемъ? Да прежде всего, разумѣется, о своихъ литературныхъ дѣлахъ. Въ одномъ изъ своимъ посланій къ Галичу Пушкинъ пишетъ:

«Смотри, тебѣ въ награду  
Нашъ Дельвигъ, нашъ поэтъ,  
Несетъ свою балладу  
И стансы винограду...  
И всѣ къ тебѣ нагрянемъ,  
И снова каждый день  
Стихами, прозой станемъ  
Мы гнать печали тѣнь».

Но чтеніемъ другъ другу собственныхъ своихъ юношескихъ опытовъ далеко не исчерпывались эти бесѣды лицейстовъ. Зачитываясь вновь выходящими журналами, всевозможными историческими и даже философскими книгами изъ лицейской бібліотеки, они, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ прочитаннаго, имѣли неодолимую потребность обмѣниваться возбужденными въ нихъ новыми мыслями, изощряться въ «празднословіи» и «праздномысліи» (собственные выраженія Пушкина).

«Межъ ними все рождало споры  
И къ размышленію влекло:  
Племень минувшихъ договоры,  
Плоды наукъ, добро и зло,  
И предразсудки вѣковые,  
И гроба тайны роковыя...»

(Евг. Онегинъ)

Одно, впрочемъ, изъ такихъ сборищъ у Галича, особенно бурное, имѣло преимущественно учебный характеръ. Дѣло въ томъ, что общій шестилѣтній курсъ лицейскій раздѣлялся на два трехгодичные: младшаго и старшаго возраста. Между тѣмъ, 19 октября 1814 года истекло уже первое трехлѣтіе пребыванія Пушкина и его товарищей въ лицей, и, для перехода въ старшій курсъ, имъ предстояло теперь сдать по всѣмъ предметамъ полный экзамень, который, въ довершеніе всего, долженъ былъ происходить еще публично. Хотя, для облегченія лицеистовъ, экзамень этотъ былъ отложенъ до января 1815 года, тѣмъ не менѣе они трепетали не на шутку.

— Помилуйте, Александръ Ивановичъ! на васъ вся надежда! пристали они къ Галичу, какъ только собрались опять у него.

— То-то! взялись за умъ, да поздно! подтрунилъ надъ ними молодой профессоръ. — О чемъ же вы, господа, раньше-то думали?

— «Громъ не грянетъ—мужикъ не перекрестится», замѣтилъ Горчаковъ.—А впрочемъ, «на Бога надѣйся, да самъ не плошай», говоритъ другая пословица.

— Ну, да! тебѣ-то, Горчаковъ, хорошо толковать, возразилъ Пушкинъ.—Тебя, да Вальховскаго, да, пожалуй, зубрилу Кюхельбекера хотъ сейчасъ проэкзаменуй — не сръжетесь. За то мы, прочіе, провалимся... до центра земли!

— А кто же виновать въ этомъ, другъ мой? спросилъ Галичъ.

— Да, ужъ, разумѣется, не мы.

— Не вы? Такъ ужъ не мы-ли, ваши наставники?

— А то кто же? Зачѣмъ насъ порядкомъ не приструнили?

— Такъ-такъ. Съ больной головы да на здоровую...

— Нѣтъ, господа, вмѣшался Пушчинъ:— виновато во всемъ наше безпутное междуцарствіе: нѣтъ твердой руки надъ нами— и все врозь расползлось.

— А новый надзиратель вашъ, Фроловъ? спросилъ Галичъ:—кажется, человѣкъ твердый?

— Да, какъ камень! Но мы все-таки, какъ бы то ни было, не совсѣмъ ужъ дѣти или пѣшки; а онъ какъ нами помыкаетъ:

«— Руки по швамъ! Цыцъ! молчать!

«— Позвольте объяснить вамъ, Степанъ Степанычъ... начнешь, бывало, только.

«— Что-о-о-съ? Вы еще объясняться? Молокососы!

«— Извините, Степанъ Степанычъ, молокососами насъ даже профессора не называютъ.

«— Молчать! говорятъ вамъ. Маршъ въ карцеръ! Еще разсуждать вздумали!...»

Разсуждать, конечно, перестанешь; но—и слушаться тоже.

— Вотъ это напрасно, сказалъ Галичъ:— онъ, такъ-ли, сякъ-ли, вашъ первый начальникъ, потому что Гауеншильдъ хотя и числится за директора, но такъ занятъ своимъ пансіономъ, что ему не до васъ. А что Степанъ Степанычъ ввелъ у насъ нѣкоторый порядокъ— этого, я думаю, вы не станете отрицать. Новый экономя, Камарашъ, кормить васъ вѣдь лучше Золотарева?

— Лучше. Но вѣдь это новая метла, Александръ Ивановичъ...

— Все равно; на продовольствіе вамъ пока, стало быть, жаловаться нельзя. Затѣмъ, по предложенію же Фролова, у васъ введено теперь фехтованіе, введены танцы. То и другое, какъ упражненіе въ тѣлесной ловкости, вовсе не лишнее. Далѣе: онъ



хлопочеть уже о томъ, чтобы сдѣлать для васъ обязательнымъ и верховую ѣзду, т. е. то самое, что до сихъ поръ было только привилегіей графа Брогліо. Словомъ, онъ не знаетъ покоя, стараясь сдѣлать изъ лица образцовое, — по его понятіямъ, заведеніе.

— По его понятіямъ, — да! подхватилъ Пушкинъ.

— Онъ, можетъ быть, и сдѣлалъ для насъ то, другое, но все это не выкупаетъ тѣхъ стѣсненій, которыя мы отъ него выносимъ. Воспитанникъ закрытаго учебнаго заведенія, согласитесь, долженъ чувствовать тамъ себя, болѣе или менѣе, какъ дома; лицей и былъ для насъ до сихъ поръ какъ бы роднымъ домомъ; но, по милости Фролова, онъ скоро, кажется, совсѣмъ намъ опостылитъ.

— Эхъ, господа! сказалъ Галичъ. — Немножечко обкарнали вамъ крылышки, чтобы далеко не залетали, такъ вы ужъ и судьбу свою клянете. Чтобы вѣрно судить о предметѣ, надо сравнивать его всегда съ другими однородными. Слышали вы про іезуитскій коллегіумъ въ Петербургѣ?

— Какъ не слыжать! отвѣчалъ Пушкинъ. — Меня самого даже родители предполагали сперва пристроить туда; но тутъ какъ-разъ открылся лицей, — и меня отдали сюда.

— Благодарите же Бога, что не попали къ іезуитамъ!

— А что же? Вѣдь коллегіумъ ихъ считается въ Петербургѣ чуть ли не самымъ аристократическимъ заведеніемъ?

— Многіе аристократы, точно, отдають туда своихъ дѣтей. Но почему? — потому, что коллегіумъ въ модѣ, а въ модѣ потому, что всѣ предметы, даже русская словесность, преподаются тамъ по-французски; французскій же языкъ нынче для насъ дороже своего отечественнаго! Наконецъ, древніе языки, а также и математика, какъ слышно, идутъ тамъ довольно успѣшно. За то родная рѣчь и православный Законъ Божій въ полномъ загонѣ.

— Потому, вѣрно, что начальство училища—католическіе патеры?

— Да. На устахъ вѣдь у ѣтихъ господъ христіанское милосердіе, а на дѣлѣ—неумолимая строгость.

— На языкѣ медь, а подъ языкомъ ледь?

— Буквально. За малѣйшій проступокъ воспитанники лишаются свободы и пищи, подвергаются тѣлесному наказанію. Но это еще не все. Они шагу ступить не могутъ, чтобы обо всемъ не узнало сейчасъ ихъ начальство.

— Какими же путями?

— А во-первыхъ, въ дверяхъ дортуаровъ у нихъ, конечно, продѣланы такія же рѣшетки, какъ и у васъ здѣсь, въ лицеѣ. Но, по природному благодущію русскаго человѣка, гувернеры ваши ни мало не стѣсняють васъ своимъ надзоромъ. Питомцы же іезуитовъ ни на минуту не могутъ быть увѣрены, что изъ-за рѣшетки не слѣдитъ за ними зоркій глазъ, чуткое ухо дежурнаго патера. Они не могутъ быть даже увѣрены въ собственныхъ своихъ товарищахъ: выбранные начальствомъ изъ ихъ же среды аудиторы переспрашиваютъ у нихъ уроки и непокорныхъ выдаютъ головою. А нѣсколько человѣкъ изъ нихъ, безъ вѣдома остальныхъ, играютъ роль шпионовъ и доносчиковъ, по іезуитскому правилу: цѣль оправдываетъ средства...

— Но это Богъ знаетъ что такое! это не жизнь, а адъ! ужасались лицеисты.

— И я чуть-было не угодилъ туда... проговорилъ, съ дрожью въ тѣлѣ, Пушкинъ.

— За то стали бы тихимъ, аки агнецъ, и мудрымъ, аки змій! съ горькой усмѣшкой замѣтилъ Галичъ.

— И какъ это еще терпятъ у насъ подобное заведеніе!

— Пока терпѣли; но дни господъ іезуитовъ, я слышалъ,



уже сочтены \*). Такъ вотъ, друзья мои, и извольте-ка сравнить положеніе тѣхъ воспитанниковъ съ вашимъ. Тѣлесныхъ наказаній у васъ не допускается уже по самому уставу лицея. Свобода ваша ничѣмъ почти не стѣснена. Вы видаетесь съ вашими родными, когда угодно; гуляете по парку и между публикой у музыки, безъ опасенія, что кто-нибудь васъ подслушаетъ; вы бываете даже въ городѣ на домашнихъ спектакляхъ у графа Толстого; собираетесь вотъ у меня для литературныхъ бесѣдъ; наконецъ, можете посвящать страсти вашей къ поэзіи все ваше досужное время...

— И даже недосужное! подхватилъ весельчакъ Илличевскій. — Недавно, знаете, на урокъ алгебры у профессора Карцова, вышелъ презабавный анекдотъ. Пушкинъ, какъ обыкновенно, усѣлся на задней скамейкѣ, чтобы удобнѣе, знаете, было писать стихи. Вдругъ Яковъ Ивановичъ вызываетъ его къ доскѣ. Онъ очнулся, какъ со сна, идетъ къ доскѣ, беретъ мѣлокъ въ руки, да и стоитъ съ разинутымъ ртомъ.

« — Чего вы ждете? пишите же! » говоритъ ему Яковъ Ивановичъ.

Сталъ онъ писать формулы, пишетъ себѣ да пишетъ, исписалъ всю доску. Профессоръ смотритъ и молчитъ, только тихо, про себя, посмѣивается.

« — Что-же у васъ вышло? спрашиваетъ онъ, наконецъ: — чему равняется иксъ? »

Пушкинъ самъ тоже смѣется.

« — Нулю! говоритъ онъ.

« — Хорошо! говоритъ Яковъ Ивановичъ: — у васъ, Пушкинъ, въ моемъ классѣ все кончается нулемъ. Садитесь на свое мѣсто и пишите стихи. »

---

\*) Петербургскій іезуитскій коллегіумъ, по распоряженію правительства, закрытъ въ 1815 году; а пять лѣтъ спустя, въ 1820 г., изгнаны изъ предѣловъ Россіи и всѣ іезуиты.



Анекдотъ Илличевскаго имѣлъ полный успѣхъ: всѣ весело хохотали, начиная съ Галича и кончая Пушкинымъ.

— Да вѣдь математика — Ахиллеса пята моя, заговорилъ Пушкинъ. — Другое дѣло, напримѣръ, не менѣе серьезный предметъ — логика. Потому ли, что К у н и ц ы н ъ читаетъ ее такъ занимательно, потому ли, что онъ лично такъ расположенъ ко мнѣ, или же естественная логика дается мнѣ легче искусственной — математической, — только къ логикѣ я готовлюсь всегда очень охотно.

— Хотя и не имѣешь собственныхъ записокъ! смѣясь, добавилъ Илличевскій.

— На что мнѣ онѣ, коли я могу взять ихъ всегда у любого изъ васъ? былъ легкомысленный отвѣтъ.

(Надо замѣтить, что въ то время въ лицѣ не было еще печатныхъ руководствъ, и лиценсты переписывали для себя тетради профессоровъ.)

— На меня, Пушкинъ, вамъ тоже, я думаю, нельзя жаловаться, чтобы я черезчуръ прижималъ васъ? спросилъ Галичъ.

— О, нѣтъ! вы-то, Александръ Ивановичъ, очень снисходительны...

— Такъ кто же черезчуръ взыскателенъ? — К а й д а н о в ъ?

— Нѣтъ, исторію я тоже люблю и, обыкновенно, знаю урокъ.

— Такъ не Де-Будри же? Вѣдь не даромъ товарищи васъ прозвали даже «французомъ».

— Нѣтъ, съ Давидомъ Ивановичемъ мы большіе пріятели, отвѣчалъ Пушкинъ. — Но зато съ нѣмцемъ Гауеншильдомъ воюемъ не на жизнь, а на смерть.

— Только-то, значить? Правомъ онъ, пожалуй, дѣйствительно, тяжелъ, но у него есть и свои достоинства: онъ хорошо знаетъ свой предметъ, очень начитанъ. И изъ-за него-то одного вы, Пушкинъ, готовы разлюбить нашъ дорогой лицей?

— Вы забываете, Александръ Ивановичъ, новаго нашего надзирателя Фролова.

— Гм... да, хотя и онъ, какъ сказано, служить по мѣрѣ силъ и умѣнья. Ну, чтожъ, и въ солнцѣ есть пятна, такъ какъ же земному учрежденію, лицу, быть безъ нихъ? По примѣру древней Руси, земля наша велика и обильна, но порядку въ ней нѣтъ. Однако, вамъ-то, господа поэты, это только на руку: на невоздѣланной тучной нивѣ вашей, рядомъ съ сорными травами, расцвѣтають и пышные розаны — цвѣты истинной поэзіи.

— Все это совершенно справедливо, Александръ Ивановичъ, согласился дѣловымъ тономъ Пущинъ: — но въ данную минуту намъ нужны не цвѣты, а плоды, или, вѣрнѣе, горькіе корни науки; по милости безначалія, ученіе у насъ, надо сознаться, шло это время довольно-таки плохо, и если вы, профессоръ, насъ не выручите на экзаменѣ, то мы васъ поневолѣ уже не выручимъ.

— Да, видно, придется васъ на сей разъ хоть за виски вытянуть изъ воды! сказалъ Галичъ.

— Хоть за виски! сдѣлайте божескую милость! взмолились хоромъ лицеисты.

— Постараюсь.

Молодой профессоръ сдержалъ свое обѣщаніе, и лицеисты, отъ перваго до послѣдняго, вышли сухи изъ воды.







## ГЛАВА IX.

### Державинъ въ лицѣ.

«И славный старецъ нашъ, царей пѣвецъ избранный,  
Крылатымъ Геніемъ и Граціей вѣнчанный,  
Въ слезахъ обнялъ меня дрожащею рукой  
И счастье мнѣ предрекъ, незнаемое мной.»

(Посланіе къ Жуковскому.)



аступило Рождество; но, вмѣсто двухнедѣльнаго отдыха отъ классныхъ занятій, лицеистовъ ждала теперь усиленная «долбня»: во время самыхъ праздниковъ, 4-го января, предстоялъ имъ уже первый экзаменъ; а четыре дня спустя — второй. Правда, благодаря въ особенности содѣйствію Галича, задача имъ была значительно облегчена: секретно каждому изъ нихъ было объявлено, какой билетъ, изъ чего и кого спросятъ. Но такъ какъ испытаніе должно было происходить публично, и присутствующей публикѣ предоставлялось право также предлагать воспитанникамъ вопросы, то имъ надо было быть готовыми на всякія случайности. Съ утра до вечера шла «долбня» въ перегонку, и даже въ свободные часы, въ рекреацію и за столомъ, только и было рѣчи, что о научныхъ премудростяхъ.

Но вотъ, отъ правленія лицея разослали приглашенія присутствовать на экзаменѣ родителямъ воспитанниковъ и раз-



нымъ высокопоставленнымъ лицамъ. Въ числѣ послѣднихъ былъ и Державинъ. Понятно, что для лицейскихъ стихотворцевъ ожидаемая встрѣча съ «мастистымъ бардомъ россійскимъ» отодвинула на задній планъ даже ближайшую злобу дня — экзамень. Поэты новаго поколѣнія, Батюшковъ и Жуковскій, звучностью и плавностью стиховъ превосходившіе напыщеннаго старика-Державина, были имъ, правда, доступнѣе его и милѣе; но Державинъ стоялъ тогда на самой высотѣ своей авторской славы, и передъ этимъ колоссомъ отечественной поэзіи, вмѣстѣ со всей образованной Россіей, безотчетно благоговѣли и юноши-лицеисты.

— Братцы! видѣлъ ли кто-нибудь изъ васъ Державина? переспрашивали они другъ друга.

Оказалось, что никто изъ нихъ не только въ глаза его не видалъ, но не имѣлъ и яснаго понятія о немъ, какъ о человѣкѣ. Любопытство ихъ въ этомъ отношеніи вполне удовлетворилъ бывшій гувернеръ лицейскій Иконниковъ, который хотя и жилъ теперь въ Петербургѣ, но сохранилъ къ своимъ прежнимъ питомцамъ неизмѣнную привязанность, и на рождественскихъ праздникахъ, по обыкновенію, «по образу пѣшаго хожденія», т. е. пѣшкомъ, опять навѣстилъ ихъ въ Царскомъ Селѣ. Все, что разсказалъ ему его дѣдъ, актеръ Дмитревскій, о пребываніи своемъ въ Званкѣ у Державина, онъ передалъ теперь дословно лицеистамъ. Тѣ, понятно, не проронили ни одного слова.

— Такъ Державинъ, стало быть, человѣкъ какъ человѣкъ! съ облегченіемъ замѣтилъ Иличевскій. — А мы, Александръ Николаичъ, признаться, таки-побаивались: онъ представлялся намъ какимъ-то полубогомъ. Начальство же выдаетъ ему насъ головою.

— Какъ такъ? спросилъ Иконниковъ.

— Да такъ-съ: всѣмъ намъ задали сочинить разсужденіе

на одну изъ двухъ тѣмъ: «О причинахъ, охлаждающихъ любовь къ отечеству» и «О цѣли человѣческой жизни». Настрочили мы, какъ умѣли, и отправили наши писанія въ Питеръ, къ министру, чтобы онъ самъ выбралъ лучшее для прочтенія на экзаменѣ. На наше счастье, впрочемъ, взяли у каждаго изъ насъ также и лучшее, что написано нами безъ заказа. Я охотнѣе всего, конечно, далъ бы свою новую комическую оперу...

— Комическую оперу? Вотъ куда у васъ ужъ пошло!

— Да-съ... вольный переводъ, знаете, изъ Сегюра... Но потому-то именно, что не совсѣмъ свое, пришлось послать оригинальную мелочь: «Осенній вечеръ». Надѣюсь, что и этой мелочью лицомъ въ грязь не шлепнусь.

Такъ лицейскіе поэты, еще за двѣ недѣли до экзамена, были празднично настроены ожидаемой встрѣчей съ Державинымъ. Тутъ возвратились и рукописи ихъ отъ графа Разумовскаго. Увы! Иличевского надежда обманула; по собственному его выраженію, онъ «шлепнулся лицомъ въ грязь»: оба произведенія его — и заказное, и оригинальное — были забракованы. Изъ прозаическихъ сочиненій на заданную тѣму графъ отдалъ предпочтеніе разсужденію Яковлева: «О причинахъ, охлаждающихъ любовь къ отечеству»; изъ стихотворныхъ же выборъ его палъ на пушкинскія «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ».

Молодой авторъ, втайнѣ ликуя, передъ товарищами, разумѣется, старался не показывать и виду. Но сердце въ немъ все же невольно замирало. До сихъ поръ онъ самъ вѣдь былъ такъ доволенъ своими стихами; а теперь, при мысли о Державинѣ, который долженъ былъ произнести надъ нимъ послѣдній приговоръ, — какъ неблагозвучны, какъ безсодержательны представлялись ему даже цѣлыя строфы! Ну, да чему быть, того не миновать: отъ своей судьбы не уйдешь!



Наконецъ, насталь и первый роковой день — 4-е января 1815 года... Но мы не станемъ утомлять читателей подробностями экзамена. Предоставленная профессорами лицеистамъ льгота — отвѣчать на впередъ заданные имъ вопросы — привела къ желанному результату, судя уже по той хвалебной замѣткѣ, которая, затѣмъ, появилась въ журналѣ «Сынъ Отечества»:

«Испытаніе сіе, удовлетворивъ ожиданіямъ публики, свидѣтельствуеть, съ какимъ отеческимъ стараніемъ начальство печется о образованіи ввѣреннаго имъ юношества».

Прибавимъ только отъ себя, что первыми оба раза были вызываемы князь Горчаковъ и Вальховскій, которые, несмотря на то, что самъ министръ спрашивалъ ихъ въ разбивку по всему курсу, отвѣчали бойко, какъ по книжкѣ, безъ запинки. Послѣ такого блестящаго начала, ни одинъ уже изъ постороннихъ посѣтителей не воспользовался предоставленнымъ имъ правомъ предлагать вопросы и прочимъ лицеистамъ, которые, такимъ образомъ, понятно, «удовлетворили ожиданіямъ публики». Если и были нѣкоторыя прорухи, то ихъ совсѣмъ скрасилъ финалъ того и другаго дня. Первый день испытанія увѣнчался небольшою, но многосодержательною и цвѣтистою рѣчью профессора «нравственныхъ наукъ» Куницына и «нравоучительнымъ» разсужденіемъ лицеиста Яковлева, прочтеннымъ самимъ авторомъ.

Второй день заключился еще болѣе эффектно... Но мы забѣгаемъ впередъ.

Съ утра уже этого втораго дня, лицейскіе стихотворцы были въ сильномъ возбужденіи: Державинъ, по старческой дряхлости отсутствовавшій 4-го января, обѣщаль непременно быть сегодня, 8-го числа, чтобы высказаться на счетъ ихъ литературныхъ дарованій. Съ отцомъ своимъ, Сергѣемъ Львовичемъ, прибывшимъ также еще до начала экзамена, Пушкинъ



мимоходомъ только поздоровался: всѣ его мысли были устремлены на одного Державина.

— Я чувствую себя, точно молодой рекрутъ передъ первымъ боемъ, признался онъ Дельвигу. — А тебѣ, баронъ, не жутко?

— Довольно съ тебя, отвѣчалъ тотъ, — что я проснулся нынче даже ранѣе звонка, что далъ себѣ слово... ну, да, далъ себѣ слово поцѣловать руку, написавшую «Водопадъ»!

— Вотъ какъ! А онъ ее тебѣ, ты воображаешь, такъ и подставить?

— Нѣтъ, я выжду его нарочно на лѣстницѣ, возьму да и поцѣлую.

— Посмотримъ!

Дельвигъ не шутилъ. Чтобы не пропустить случая, онъ еще до сѣзда бѣльшей части гостей вышелъ на парадную лѣстницу и сталъ дожидаться тамъ на нижнемъ поворотѣ. Пушкинъ остался на верхней площадкѣ. Ждать имъ пришлось довольно долго. Наконецъ, стеклянная дверь внизу снова стукнула, и швейцаръ сталъ торопливо снимать медвѣжьё шубу съ высокаго, сгорбленнаго старца. Перевѣсившись черезъ перила, Пушкинъ видѣлъ сверху, какъ Дельвигъ живо соскользнулъ по периламъ до нижней площадки. Въ то же время донесся оттуда дребезжащій голосъ Державина, спрашивавшаго что-то у швейцара.

Но что это съ барономъ? Онъ, въ двухъ шагахъ отъ великаго старца, повернулся вдругъ налѣво-кругомъ и безъ оглядки взлетѣлъ опять вверхъ по ступенямъ.

— Отчего-жъ ты не поцѣловалъ у него руки? спросилъ Пушкинъ.

Дельвигъ только усмѣхнулся.

— Да говори же: въ чемъ дѣло?

— Ты, Пушкинъ, развѣ не слышалъ, что онъ спросилъ у швейцара?

— Нѣтъ.

— Ну, и не спрашивай лучше. Меня, какъ водой окатило. Онъ поэтъ въ душѣ, но прозаикъ на дѣлѣ.

Испытаніе изъ разныхъ предметовъ, не имѣвшихъ никакого отношенія къ «россійской словесности», длилось нѣсколько часовъ и не могло не утомить Державина. Сидя за экзаменаціоннымъ столомъ рядомъ съ графомъ Разумовскимъ, онъ подперъ голову рукой и, совершенно безучастный ко всему окружающему, какъ бы дремалъ съ полужакрытыми вѣками. Но взоры Пушкина невольно какъ-то все тянуло въ его сторону. Гаврила Романовичъ былъ на этотъ разъ, разумѣется, въ «полномъ парадѣ»: въ парикѣ съ косичкой и въ позолоченномъ мундирѣ, украшенномъ двумя звѣздами. Но, вглядываясь въ его могучую, словно согнувшуюся подъ собственной тяжестью фигуру, Пушкинъ живо представлялъ его себѣ въ излюбленномъ имъ домашнемъ костюмѣ: колпакѣ и халатѣ, съ Тайкой за пазухой.

«Это—старый спящій левъ, думалось ему:—все-то онъ на свѣтѣ перевидѣлъ, ничѣмъ его не удивишь. Но почуветь онъ только сквозь сонъ запахъ свѣжины—родной поэзіи—и встряхнетъ гривой, воспрянетъ отъ сна».

И точно: уже съ первыхъ вопросовъ по русскому языку, которымъ завершался экзаменъ, «старый левъ» пріосанился и сбросилъ съ себя тяготѣвшую на немъ лѣнь \*). Да, впрочемъ, и не диво: что бы ни разбирали, какія бы тѣмы ни задавались,—вездѣ и во всемъ выдвигали впередъ его же, Державина. Оду его «Богъ» разобрали, можно сказать, по ниточкамъ и, в заклю-

\*) Экзаменъ изъ русскаго языка былъ раздѣленъ на четыре отдѣла:

- 1) Разные роды словъ и украшеніе рѣчи.
- 2) Краткая литература краснорѣчія въ Россіи.
- 3) Славянская грамматика.
- и 4) Чтеніе собственныхъ сочиненій.



ченіе, пришли къ выводу, что по полету фантазіи, по образности выраженій и по глубинѣ религіознаго чувства — ничего подобнаго нѣтъ ни въ русской и ни въ одной изъ иностранныхъ литературъ.

— М-да, осѣнилъ меня Господь, заговорилъ польщенный «бардъ російскій», — и въ тусклыхъ глазахъ его, какъ-изъ подъ пепла, затлился былой огонь: — стоялъ (я какъ теперь помню) у заутрени на Свѣтлый праздникъ... Заронила въ душу искра Божія... Разгорѣлось сердце... Брызнули градомъ слезы отъ восторга... И вотъ, пришедъ домой, съ чувствомъ, исполненнымъ несказанной благодарности, написалъ я то, что мнѣ сердце подсказало, — начальныя строфы моей лучшей оды.

— Да вѣдь всѣ онѣ у васъ, Гаврила Романычъ, одинаково превосходны, любезно замѣтилъ ему сосѣдъ-министръ.

— Недурны-съ, ваше сіятельство; могу сказать безъ излишней скромности: доселѣ лучшихъ нѣту. Но онѣ тоже — прахъ, забудутся однажды, какъ многое иное. Трагедіи же мои, наперекоръ моимъ зоидамъ, пререкаю вамъ, будутъ вѣчно жить!

На лбу «старого льва» вырѣзалась грозная складка, и онъ окинулъ окружающихъ царственнымъ взглядомъ. На тонкихъ губахъ Разумовскаго зазмѣлилась снисходительная усмѣшка.

— Потомство васъ, ваше высокопревосходительство, конечно, лучше современниковъ оцѣнитъ... сказалъ онъ.

— Потомство? Развѣ-что потомство.

«Бѣдный!» подумалъ Пушкинъ, вспомнившій рассказъ Иконникова о неудачныхъ драматическихъ опытахъ великаго лирика: — «ну, зачѣмъ ты выдаешь себя головою, зачѣмъ показываешь себя на-распашку передъ людьми, которые недостойны подвязать тебѣ подвязки»?

Графу Разумовскому, повидимому, также стало жаль старика..



— Не перейти ли намъ теперь, Гаврила Романычъ, къ оцѣнкѣ перваго лепета лицейской Музы? сказалъ онъ. — Дабы не докучать вамъ многословіемъ, мы остановили выборъ на единой, по нашему мнѣнію, наиболѣе зрѣлой вещицѣ, скомпанованной по образцу и плану безсмертныхъ твореній россійскаго Орфея—пѣвца Фелицы.

При этихъ словахъ, министръ почтительно преклонилъ голову передъ «пѣвцомъ Фелицы». Слегка омраченные черты послѣдняго опять прояснились.

— Посмакуемъ, произнесъ онъ, пожевывая губами, точно впередъ смакуя уже предлагаемый ему на пробу литературный плодъ.

— Пожалуйте-ка сюда, Пушкинъ! вызвалъ молодого автора профессоръ словесности Галичъ.

Эту рѣшительную въ жизни его минуту Пушкинъ предвидѣлъ уже съ самаго утра, и нервы его были напряжены до послѣдней крайности. Въ волненіи, словно увлекаемый неодолимой силой, — рванулся онъ къ зеленому столу съ пергаментнымъ листомъ стиховъ въ рукахъ.

— Старые знакомые! благосклонно встрѣтилъ его графъ Разумовскій. — Станьте тутъ, поближе къ Гаврилѣ Романычу.

Пушкинъ послушался и взглянулъ прямо въ лицо Державину, который сидѣлъ не далѣе какъ на аршинъ отъ него. Волненіе, охватившее юношу, не скрылось, видно, и отъ старика-поэта, потому что, какъ-бы для ободренія его, тотъ задалъ ему вопросъ:

— Что у васъ тутъ приготовлено: переводное или свое?

— Свое... отвѣчалъ Пушкинъ, — и самъ не узналъ своего голоса: вмѣсто звучнаго баритона, изъ устъ его вылетѣла какая-то звонкая фистула.

— Хвалю, сказалъ Державинъ; — въ юности переводить не безопасно: легко заразиться подражательностью. На старости

лѣтъ, какъ выдохнетесь, поспѣете заняться этимъ. Теперь же пишите, что на умъ взбредетъ, но только свое. Пишите, но не печатайте! Что прибыли отдавать себя на судъ площадныхъ критикановъ? Не количество, дружокъ мой, а качество стиховъ вѣнчаетъ поэта. Недаромъ и мнѣ, бывалому стихотвору, говаривали пріятели:

«Писанія свои прилежно вычищай:

Вѣдь изъ чистилища лишь идутъ въ рай».

— Я прилежно тоже очищаю... пролепеталъ Пушкинъ.

— А вотъ увидимъ. Какой у васъ сюжетецъ?

— «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ», прочелъ съ листа своего Пушкинъ.

— Возвращеніе государя императора изъ побѣдоноснаго странствія, пояснилъ, съ своей стороны, Галичъ.

— Сюжетъ высокій и достойный воспѣванія, одобрилъ Державинъ и тихо вздохнулъ. — Во времена-оны и мы, грѣшныя, пѣли Фелицу, пѣли отрока царевича Хлора \*). Теперь мы одряхлѣли, а съ нами и Муза російская вѣкъ свой доживаетъ; изъ новыхъ патриціевъ парнасскихъ некому, кажись, замѣнить насъ: дѣланности — сколько хочешь, искренности — ни слѣда!..

Послѣднюю фразу онъ пробормоталъ едва внятно, какъ бы про себя. На минуту онъ словно забылъ даже, гдѣ онъ; потомъ, очнувшись вдругъ отъ грустнаго раздумья, онъ поднялъ потускнѣвшій взоръ на безмолвно-стоявшаго передъ нимъ лицейста.

— Ну, чтожъ? Читайте.

Пушкинъ вздрогнулъ и сдѣлалъ надъ собой усиліе, чтобы сосредоточить все вниманіе на своей рукописи. Первое слово

---

\*) Екатерина II — державинская Фелица — напсала свою сказку «Царевичъ Хлоръ» для своего маленькаго внука Александра Павловича. По вошествіи послѣдняго на престолъ, Державинъ, въ 1802 году, написалъ ему также посланіе: «Къ царевичу Хлору».

«нощи», попавшееся ему тутъ на глаза, вовсе ужъ некстати напомнило ему слышанное имъ какъ-то отъ Пущина критическое замѣчаніе:

— Нельзя ли, братъ, безъ этой славянщины? Кто, напримеръ, въ наше время говорить: «Доброй нощи!»

— Да вѣдь это не проза, пойми, а стихи! обидчиво оправдывался онъ тогда. Но теперь онъ понялъ всю мѣткость замѣчанія друга, и Богъ знаетъ, что далъ бы, если-бы тогда послушался добраго совѣта.

«Ну, да дѣлать нечего! Державинъ самъ славянофилъ, не осудить!»

Все это промелькнуло у него въ головѣ мгновенно, и онъ, переведя духъ, сталъ читать:

„Нависъ покровъ угрюмой нощи  
На сводѣ дремлющихъ небесъ;  
Въ безмолвной тишинѣ почилъ доль и рощи,  
Въ сѣдомъ туманъ дальній лѣсъ;  
Чуть слышится ручей, бѣгущій въ сѣнь дубравы,  
Чуть дышетъ вѣтерокъ, уснувшій на листьяхъ,  
И тихая луна, какъ лебедь величавый,  
Плыветъ въ серебристыхъ облакахъ“.

Идиллически-мирное содержаніе начальныхъ строфъ, ихъ несомнѣнная благозвучность возвратили молодому автору необходимое присутствіе духа. Чтеніе его стало смѣлѣе и выразительнѣе, особенно когда онъ коснулся въ стихахъ Екатерины Великой:

„Здѣсь каждый шагъ въ душѣ рождаетъ  
Воспоминанья прежнихъ лѣтъ;  
Возрѣвъъ вокругъ себя, со вздохомъ Россѣ вѣщаетъ:  
„Исчезло все, Великой нѣтъ!“

Не отрывая взора отъ рукописи, онъ, по внезапному движенію Державина въ креслахъ, понялъ, что память о «Фелицѣ» затронула пѣвца ея за-живое. Но вотъ, послѣ картиннаго



описанія Кагульскаго памятника, онъ, рядомъ съ именами Орлова, Румянцева и Суворова, упоминаетъ и ихъ пѣвцовъ:

„Державинъ и Петровъ героямъ пѣснь бряцали  
Струнами громозвучныхъ лиръ“.

Онъ зналъ, онъ инстинктивно чувствовалъ, что Державинъ въ упоръ смотритъ на него, и подъ магнетическимъ дѣйствіемъ этого взгляда имъ овладѣлъ какой-то небывалый экстазъ. Онъ ощущалъ неиспытанное до сихъ поръ, невыразимое наслажденіе читать истинному поэту эти, вылившіеся у него самого отъ полноты патріотическаго чувства стихи, между которыми два куплета, написанные имъ еще лѣтомъ на стѣнахъ карцера, занимали, конечно, не послѣднее мѣсто.

Но впечатлѣніе отъ его стиховъ на его слушателя было едва ли менѣе сильное. Еслибъ онъ взглянулъ теперь на Гаврилу Романовича, то не узналъ бы его. Все неподвижно-усталое тѣло старца-поэта задвигалось въ креслѣ; отдыхавшія на столѣ руки его задергало; отяжелѣвшая голова его судорожно затряслась; мутные, словно заспанные глаза разгорѣлись и метали молніи. Угасающій геній почувалъ живительное дыханіе вновь нарождающагося генія.

И графъ Разумовскій, и профессоръ, и лицеисты не могли отвести глазъ отъ двухъ поэтовъ: юноши и старца, восторженно читающаго и восторженно слушающаго. При послѣднемъ обращеніи Пушкина къ «пѣвцу во станѣ русскихъ воиновъ», Жуковскому, всѣмъ невольно представилось, будто онъ обращается, вмѣстѣ съ тѣмъ, и къ Державину, и къ самому себѣ:

„— О, Скальдъ Россіи вдохновенный,  
Воспѣвшій ратныхъ грозный строй!  
Въ кругу друзей твоихъ, съ душой воспламененной,  
Взгреми на арфѣ золотой;  
Да снова стройный гласъ герою въ честь прольется,  
И струны трепетны посыплютъ огонь въ сердца,  
И ратникъ молодой вскипитъ и содрогнется  
При звукахъ браннаго пѣвца“.

«Я не въ силахъ описать состоянія души моей», рассказываетъ Пушкинъ въ своихъ «Запискахъ»:—«когда я дошелъ до стиха, гдѣ упоминаю имя Державина, голосъ мой отроческій зазвенѣлъ, а сердце забилося съ упоительнымъ восторгомъ... Не помню, какъ я кончилъ свое чтеніе; не помню, куда убѣжалъ. Державинъ былъ въ восхищеніи: онъ меня требовалъ, хотѣлъ меня обнять... Меня искали, но не нашли...»

Такъ и не слышалъ онъ знаменательныхъ словъ растроганнаго Державина: «Нѣтъ, я не умеръ!» Такъ и не видѣлъ, что тотъ взялъ съ собой на память оригиналъ прочитанныхъ стиховъ, найденный впослѣдствіи, послѣ его смерти, между его бумагами.

Зато вечеромъ, прощаясь съ отцомъ, Пушкинъ узналъ отъ него, что на обѣдѣ у графа Разумовскаго, гдѣ, въ числѣ прочихъ, были также Сергѣй Львовичъ и Державинъ, толки о молодомъ талантѣ долго не прекращались.

— Я-бы желалъ, однакожъ, образовать сына вашего въ прозѣ, замѣтилъ, между прочимъ, Разумовскій Сергѣю Львовичу.

— Ваше сіятельство! съ жаромъ вступился Державинъ:— оставьте его поэтомъ.

— Такъ вотъ мы какъ нынче, сыночекъ мой! шутливо закончилъ Сергѣй Львовичъ и потрепалъ сына по плечу.— Каюсь откровенно, что до сегодняшняго дня мало вѣрилъ я въ твое поэтическое призваніе, да и ты, дружокъ, не очень-то домогался заслужить родительскую ласку и любовь...

Та непритворная нѣжность, которая звучала сквозь легкій упрекъ отца, была такъ непривычна неизбалованному на этотъ счетъ юношѣ, что онъ, подъ живымъ еще впечатлѣніемъ одержаннаго успѣха, какъ говорится, растаялъ.

— Я понимаю, папенька, что я виноватъ передъ вами, передъ маменькой... порывисто заговорилъ онъ, избѣгая гля-



дѣтъ на отца.—Но вы знаете тоже мою горячую натуру... Я дуриль, потому что то было въ моей африканской крови... А вы и маменька не хотѣли этого знать; сперва наказывали меня, потомъ совсѣмъ отъ меня отступились... Ну, я и замкнулся въ себѣ, ожесточился... Спасибо вамъ теперь за ваше доброе слово: я его никогда не забуду!

Онъ припалъ губами къ рукѣ отца. Тотъ съ чувствомъ обнялъ его.

— Миръ полный и ненарушимый на-вѣки-вѣковъ, аминь! торжественно заявилъ Сергѣй Львовичъ. — А теперь, милый мой, скажи-ка: въ какомъ положеніи твои финансы?

— Ахъ, папенька! не говорите теперь объ этой прозѣ...

— Ну, не будемъ говорить, а будемъ дѣйствовать, — впадая опять въ свой шутиливый тонъ, отозвался отецъ, и бывшую уже у него, какъ оказалось, наготовѣ въ сжатой рукѣ небольшую пачку ассигнацій сунулъ въ задній карманъ сына. — Не вырони только!

За примиреніемъ съ отцомъ слѣдовало и примиреніе съ матерью: черезъ нѣсколько дней, Надежда Осиповна, вмѣстѣ съ дочерью, прикатила въ Царское и, послѣ долгихъ лѣтъ, такъ искренно обласкала старшаго сына, что тотъ досталъ платокъ и, подъ видомъ, что сморкается, украдкой отеръ себѣ глаза.

— А кстати, Александръ, весело замѣтила мать, чтобы скрыть свое собственное умиленіе: — ты, кажется, уже не теряешь платковъ?

— А прежде я развѣ терялъ ихъ, маменька! спросилъ онъ въ отвѣтъ.

— Ужели ты забылъ? Когда ты былъ маленькимъ и ходилъ еще въ курточкѣ, я, просто, не могла напастись на тебя платковъ! Что оставалось мнѣ дѣлать? Я пришила тебѣ платокъ на грудь, вмѣсто аксельбанта, и объявила, что жалую тебя моимъ безсмѣннымъ адъютантомъ...



— И честь эта меня живо вылѣчила! смѣясь, подхватилъ Александръ.

— Но теперь, маменька, вы, я думаю, и безъ всякаго аксельбанта охотно примете его къ себѣ въ адъютанты? вмѣшалась сестра его, влажными глазами глядя на обоихъ.

Вмѣсто отвѣта, Надежда Осиповна снова притянула къ себѣ сына и крѣпко его поцѣловала. Съ этого времени она въ обращеніи съ нимъ стала выказывать почти такое же уваженіе, какъ и дочь ея, которая, разговаривая, съ какимъ-то робкимъ благоговѣніемъ заглядывалась всегда на брата-поэта. О своихъ собственныхъ поэтическихъ опытахъ Ольга Сергѣевна тѣмъ менѣе уже смѣла теперь передъ нимъ заикнуться.

Лицейскій Корсаковъ, бывшій и поэтомъ, и музыкантомъ, положилъ вскорѣ на музыку двѣ пѣсни Пушкина, которыя потомъ часто пѣлись хоромъ всѣми лицеистами. Не только товарищи, но и лицейское начальство не сомнѣвалось уже въ истинномъ талантѣ Пушкина съ тѣхъ поръ, что Державинъ публично призналъ его своимъ преемникомъ. А что Гаврила Романовичъ высказался такъ рѣшительно не подъ минутнымъ лишь впечатлѣніемъ, видно уже изъ отзыва, который слышалъ отъ него о Пушкинѣ, почти годъ спустя, начинающій въ то время писатель Сергѣй Тимофеевичъ Аксаковъ. Зимой 1816 года, Аксаковъ не разъ навѣщалъ въ Петербургѣ Державина и зачиталъ его, т. е. обладая особеннымъ даромъ прочитывать стихи, онъ довелъ старика-поэта до такого экзальтированно-нервнаго состоянія, что тотъ даже слегъ въ постель. И вотъ, однажды, на вопросъ Аксакова: «не помѣшалъ ли онъ?» — Державинъ, писавшій что-то грифелемъ на аспидной доскѣ, отвѣтилъ:

— О, нѣтъ! я всегда что-нибудь мараю, перебираю старое, чищу и глажу, а новаго не пишу ничего. Мое время прошло. Теперь ваше время. Теперь многіе пишутъ славные стихи,

такіе гладкіе, что относительно версификаціи ужъ ничего не остается желать. Скоро явится свѣту второй Державинъ: это Пушкинъ, который ужъ въ лицѣ перещегоолялъ всѣхъ писателей.

Такъ судилъ тогда про Пушкина самъ Державинъ. Когда же не стало ни того, ни другаго, первый критикъ нашъ Бѣлинскій такъ опредѣлилъ значеніе ихъ обоихъ:

«Державинская поэзія, въ сравненіи съ Пушкиною, это — заря предразсвѣтная, когда бываетъ ни ночь, ни день, ни полночь, ни утро, но едва начиняется борьба тьмы со свѣтомъ: брежжетъ невѣрный сумракъ, обманчивый полусвѣтъ; вдали на небѣ какъ-будто бѣлѣетъ полоса свѣта, и, въ то же время, догораютъ, готовыя погаснуть, ночныя звѣзды, а всѣ предметы являются въ неестественной величинѣ и ложномъ видѣ. Пушкинская поэзія, въ сравненіи съ Державинскою, это — роскошный, полный сіянія и блеска полдень лѣтняго дня: всѣ предметы земли озарены свѣтомъ неба и являются въ своемъ собственномъ, ясномъ видѣ, и самая даль только дѣлаетъ ихъ болѣе поэтическими и прекрасными, а не ложными и безобразными... Словомъ, поэзія Державина есть безвременно явившаяся, а потому и неудачная поэзія Пушкинская, а поэзія Пушкинская есть во-время явившаяся и вполне достигшая своей опредѣленности, роскошно и благоуханно развившаяся поэзія Державинская...»





## ГЛАВА Х.

### Жуковскій.

«... Мирный,—благосклонный  
Онъ посѣщалъ бесѣды наши. Съ нимъ  
Дѣлились мы и чистыми мечтами,  
И пѣснями: онъ вдохновенъ былъ выше  
И съ высоты взиралъ на жизнь...»

(М. \*)



Въ началѣ іюня 1815 года, лицейство постигла чувствительная утрата: имъ пришлось навсегда распрощаться съ любимившимся имъ такъ молодымъ профессоромъ Галичемъ. Профессоръ Кошанскій, котораго временно замѣщаль Галичъ, оправился отъ своей продолжительной болѣзни, и послѣдній по-неволѣ долженъ былъ опять уступить ему его кафедру. Утрату эту особенно близко приняли къ сердцу поэты лицейскіе, и двое изъ ихъ, Пушкинъ и Дельвигъ, гуляя вмѣстѣ по часамъ въ тѣнистыхъ аллеяхъ дворцоваго парка, не разъ съ грустью вспоминали о товарищескихъ литературныхъ вечерахъ въ уютной комнаткѣ Галича. На одной изъ такихъ прогулокъ судьба послала имъ, въ томъ же іюнѣ мѣсяцѣ, неожиданнаго утѣшителя, который, для Пушкина, по крайней мѣрѣ, скоро вполне замѣнилъ Галича.

Два друга наши, утомившись отъ ходьбы, только-что расположились отдохнуть на любимомъ своемъ мѣстѣ — полу-





Василій Андреевичъ Жуковскій.

1783 — 1852.



островъ большого пруда, какъ со стороны дворца къ нимъ приблизился молодой человѣкъ, лѣтъ тридцати съ небольшимъ, въ легкомъ дорожномъ плащѣ и пуховой шляпѣ. Мягкая трава заглушала звукъ его шаговъ, и лицеисты тогда лишь замѣтили, что они не одни, когда онъ, подойдя сзади къ Пушкину, внезапно закрылъ ему руками глаза.

— Другъ или врагъ?

Дельвигъ съ недоумѣніемъ смотрѣлъ на незнакомца: онъ его видѣлъ въ первый разъ. Но простодушное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, умное лицо неизвѣстнаго расположило Дельвига тотчасъ въ его пользу.

— Другъ! отвѣчалъ Пушкинъ и сорвалъ съ глазъ загадочныя руки. — Ахъ, это вы, Василій Андреичъ?

— Какъ видишь, не ошибся: другъ. Позволишь обнять себя?

Послѣ дружескаго объятія, Пушкинъ счелъ нужнымъ отрекомендовать другъ другу еще незнакомыхъ между собой двухъ пріятелей своихъ:

— Лирикъ лицейскій — баронъ Дельвигъ! «Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ» — Жуковскій!

Послѣ рекомендаціи и обмѣна нѣсколькихъ любезностей, всѣ трое усѣлись подъ деревомъ на скамьѣ.

— Скажи-ка мнѣ, Александръ... началъ Жуковскій. — Но я, право, не знаю, смѣю ли еще говорить тебѣ «ты»?

— Помилуйте, Василій Андреичъ!

— Да вѣдь ты ужъ не мальчикъ; ты, въ нѣкоторомъ родѣ, отважный мореплаватель: пустился въ бурное море журнальное на всѣхъ парусахъ.

— Но откуда вы знаете? Я, кажется, не выставлю своей фамиліи...

— Слухомъ земля полнится.

Жуковскій не преувеличивалъ: уже въ 1815 году, Пуш-



кинъ участвовалъ въ трехъ журналахъ: въ «Сынъ Отечества», «Трудахъ Общества Любителей Россійской Словесности» и «Россійскомъ Музеумѣ, или Журналѣ Европейскихъ Новостей.» Послѣдній съ 1815 г. издавался прежнимъ издателемъ «Вѣстника Европы», Измайловымъ, который завербовалъ къ себѣ, въ числѣ другихъ постоянныхъ сотрудниковъ-лицейстовъ, и Пушкина. Въ одномъ 1815 году, въ Измайловскомъ «Музеумѣ» появилось 17 стихотвореній Пушкина. Изъ нихъ, впрочемъ, только подъ однимъ онъ поставилъ свое полное имя: Александръ Пушкинъ, именно—подъ выдержавшими цензуру Державина «Воспоминаніями въ Царскомъ Селѣ». Подъ остальными же онъ подписывался сокращенно, какъ въ первый разъ, Александръ И. к. ш. п., или Александръ Н. — П., или просто, цифрами, соотвѣтствовавшими буквамъ въ алфавитѣ: 1... 14 — 16 (что значило: А... н—п.), 1... 16 — 14 (т. е. А... п—н.), 1... 17 — 14 (т. е. А... р—н.).

— Еще бы не слышать о тебѣ, Пушкинъ! сказалъ Дельвигъ.—Послѣ того, что Державинъ посвятилъ тебя въ рыцари пера, кто-кто только не перебывалъ здѣсь у тебя съ поклономъ! всѣ «генералы отъ литературы»: Дмитріевъ, Батюшковъ, Дашковъ, графъ Хвостовъ... \*)

Жуковский только усмѣхнулся.

— Нѣтъ, ужъ Хвостова, пожалуйста, не ставьте съ прочими «генералами» на одну доску. На видъ онъ, дѣйствительно, роскошный павлинъ, но голосомъ... тотъ же павлинъ! Про себя, видно, онъ и сложилъ свой прелестный стихъ:

„Павлиннынъ гласомъ нѣтъ толико не способно,  
Какъ розами клопу запахнуть неудобно.“

Оба лицеиста расхохотались.

---

\*) Графъ Дмитрій Ивановичъ Хвостовъ, сенаторъ и поэтъ; род. въ 1757 г., ум. въ 1835 г.

— Надо бы записать, Пушкинъ, сказалъ Дельвигъ: — для «Смѣси» нашего «Лицейскаго Мудреца» это будетъ находка. Но говорятъ, вѣдь, Василій Андреичъ, будто великій нашъ Державинъ дружить съ этимъ Хвостовымъ?

— Дружить больше по старой памяти; но тому отъ него тоже порядкомъ-таки достается.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Вы, значитъ, не слышали, какъ Державинъ недавно, въ засѣданіи «Бесѣды», отдѣлалъ его? Нѣтъ? Вотъ послушайте. Желая подольститься къ нему, предсѣдателю своему, Хвостовъ при всемъ собраніи окликнулъ его сзади: «Пиндаръ Романовичъ!» намекая на послѣдніе переводы его изъ Пиндара. Державинъ показалъ видъ, что не слышитъ. Тогда Хвостовъ повторилъ еще громче: «Пиндаръ Романовичъ!» Державинъ и на этотъ разъ не оглянулся, но отвѣчалъ нараспѣвъ извѣстнымъ экспромтомъ:

„Хвосты есть у лисицъ, хвосты есть у волковъ,  
Хвосты есть у кнутовъ—такъ берегись, Хвостовъ“! \*)

Анекдотъ, понятно, разсмѣшилъ опять друзей-лицеистовъ. Но Пушкинъ счелъ своимъ нравственнымъ долгомъ заступиться за бѣднаго графа Хвостова.

— Извините меня, Василій Андреичъ, сказалъ онъ, — но я глубоко благодаренъ Хвостову уже за то, что онъ изъ всѣхъ нашихъ отечественныхъ поэтовъ первый сдѣлалъ мнѣ честь поздравить меня съ успѣхомъ.

— А ты, небось, и не догадался, что

„умыселъ другой тутъ былъ:  
Хозяинъ музыку любилъ?“

Поздравить-то онъ тебя поздравилъ, но, вѣрно, при этомъ случаѣ поймалъ за руки, приперъ въ уголъ и давай душить своими одами: нелюбо — не слушай, а пѣть павлиномъ — не мѣшай?

\*) Экспромтъ этотъ приписываютъ С. Л. Львову.

— Вѣрно! засмѣялся Пушкинъ.—Какъ вы сейчасъ догадались?

— Какъ не догадаться, коли самъ на себѣ испыталъ: онъ никому вѣдь проходу не даетъ. Впрочемъ, надо отдать ему справедливость: у него есть такіе перлы, которые хоть мертвого въ гробу размѣшатъ. Такъ, у него сума надувается отъ вздоховъ; оселъ лѣзетъ на рябину и лапами хватается за дерево...

— Премило! Но онъ говорилъ мнѣ однако, что стихи его бойко раскупаются...

— Еще бы, когда онъ самъ разсылаетъ для этого въ книжныя лавки своихъ лакеевъ.

— Такъ это не выдумка?

— Нѣтъ, сущая правда. Во весь вѣкъ ему удался, кажется, единственный стихъ:

„Потомства не страшись: его ты не увидишь!“

Но мой новый родственникъ и старикъ пріятель Воейковъ \*) и этого стиха ему не подарилъ: «Графъ, очевидно, обмолвился, говорить онъ:—онъ хотѣлъ сказать, конечно: «Потомства не страшись: оно тебя не увидитъ». Кстати о Воейковѣ. Въ своей новѣйшей сатирѣ «Домъ сумасшедшихъ» онъ такъ обрисовалъ Хвостова:

„— Ты-ль Хвостовъ? къ нему вошедши,  
Вскрикнулъ я:—тебѣ-ль здѣсь быть?  
Ты—дуракъ, не сумасшедшій,  
Не съ чего тебѣ сходить!—  
— Въ Буало я смыслъ убивалъ,  
Лафонтена я убилъ  
И Расина обезславилъ!—  
Быстро онъ проговорилъ...“

---

\*) Александръ Ѳеодоровъ изъ Воейковъ (1779—1839 г.), извѣстный въ свое время сатирикъ и профессоръ Дерптскаго (Юрьевскаго) университета, въ 1815 году женился на племянницѣ Жуковскаго, Александрѣ Андреевнѣ Протасовой.



— Зло! сказалъ Пушкинъ. — И многихъ Воейковъ засадилъ этакъ въ желтый домъ?

— Да всю нашу пишущую братію: Карамзина, Батюшкова, Кутузова, Шаликова — и, разумѣется, меня, грѣшнаго, тоже:

„Вотъ Жуковский: въ саванъ длинный  
Скутанъ, лапочки крестомъ,  
Ноги вытянувши чинно,  
Чорта дразнить языкомъ;  
Видѣть вѣдьмъ воображаетъ.  
То глазкомъ имъ подмигнетъ,  
То кадитъ и отпѣваетъ,  
И трезвонитъ, и реветъ“.

Цитируя этотъ куплетъ про самого себя съ соотвѣтствующими интонаціей и тѣлодвиженіями, Жуковский потѣшался ѣдкимъ остроуміемъ сатирика съ тѣмъ же простодушіемъ, какъ и его два юные собесѣдника.

— Поддѣлъ онъ меня очень ловко, прибавилъ онъ: — заморгильныя страсти и заоблачныя выси — моя родная сфера.

— Но вѣдь чѣмъ ближе къ небу, Василій Андреичъ, тѣмъ холоднѣе, замѣтилъ Дельвигъ.

— Такъ; но и воздухъ тамъ неизмѣримо чище: ни копоты отъ этихъ коптителей неба, ни смраду отъ ихъ будничныхъ дразгъ.

— Однако, прожить-то между ними все же и вамъ, и намъ придется.

По свѣтлому лбу поэта-романтика промелькнула мимолетная тѣнь.

— Придется, милый мой, охъ, придется! промолвилъ онъ. — Вѣдь вотъ мнѣ 33-й годъ пошелъ, а все еще съ небесъ на землю толкомъ не спустился: не имѣю твердой почвы подъ собой. Тургеневъ Александръ Ивановичъ, общій нашъ другъ и заступникъ, напрягъ всѣ пружины, чтобы пристроить меня при Дворѣ Маріи Ѳеодоровны. Ёду теперь на зовъ. Но что изъ этого еще выйдетъ — одному Богу извѣстно!

— Александръ Ивановичъ самъ рассказывалъ мнѣ, какъ онъ читалъ Маріи Ѳеодоровнѣ ваше патріотическое посланіе къ государю, подхватилъ Пушкинъ. — Всѣ слушавшіе чтеніе: и императрица, и великіе князья — были тронуты до слезъ и повторяли: «Прекрасно! превосходно!» Государю въ Вѣну послали сейчасъ списокъ вашихъ стиховъ, а вамъ, вѣдь, кажется государыня пожаловала перстень?

— Вотъ этотъ самый, сказалъ Жуковскій, показывая на указательномъ пальцѣ правой руки драгоцѣнный перстень. — Я съ нимъ никогда не расстаюсь... Государыня была слишкомъ снисходительна ко мнѣ. Граверъ Уткинъ, что прославился и въ Парижѣ, долженъ былъ, по ея желанію, сдѣлать виньетку для моихъ стиховъ, и 1200 экземпляровъ ихъ на веленовой бумагѣ также отданы въ мою пользу. Тѣмъ не менѣе...

Жуковскій замолкъ и въ грустной задумчивости заглядѣлся вдаль, на ту сторону пруда, гдѣ, отражаясь въ зеркалѣ водъ, тихо и величаво плавала семья бѣлыхъ лебедей.

— Тѣмъ не менѣе?... переспросилъ Пушкинъ.

— Мнѣ страшно отъ чего-то...

— Но если Тургеневъ открылъ вамъ настежъ всѣ двери...

— То-то, что я не выношу сквознаго вѣтра, отшутился Жуковскій и круто перемѣнилъ разговоръ. — А что, Александръ, скажи-ка, не пишешь ли ты теперь чего новаго?

— О! если-бы вы знали, Василій Андреичъ, какіе у него теперь планы въ головѣ... съ непривычною живостью отвѣчалъ за друга своего Дельвигъ.

— Перестань! ну, стоитъ ли толковать... остановилъ его, смутясь, Пушкинъ.

— Какіе планы? полюбопытствовалъ Жуковскій. — Меня это очень интересуешь.

— Ну, не ломайся, Пушкинъ, расскажи! — продолжалъ Дельвигъ.

— Да что же я расскажу?...

— Хоть про «Фатаму» свою, что ли.

— И то, Расскажи-ка, Александръ, поддерж алъ Жуковскій «Поломавшись» еще немного для вида, Пушкинъ началъ:

— «Фатама, или разумъ человѣческій» — восточная сказка-поэма. Вкратцѣ идея такая:

Жили два старика: мужъ съ женой; жили счастливо, какъ лучше быть нельзя. Одного только не послалъ имъ Аллахъ для полного счастія, — дѣтей. И вотъ, является имъ добрая фея. Они молятъ ее умиласердить Всевышняго — дать имъ сына.

« — Желаніе ваше исполнится, говоритъ фея.

« — Но умника-разумника, какого въ мірѣ еще не бывало! добавляють старики.

« — Будь по вашему, говоритъ фея: — въ самый день рожденія онъ будетъ уже возмужалымъ... »

Старики словъ не находятъ, какъ благодарить фею.

« — Не хвалите утра рапѣ вечера, говоритъ имъ она. — Природа не терпитъ нарушенія ея законовъ; что она теряетъ на одномъ, то беретъ себѣ на другомъ. Сынъ вашъ, родясь возмужалымъ, съ году на годъ будетъ слабѣть умомъ и тѣломъ, пока не пройдетъ обратно всѣхъ возрастовъ жизни, отъ возмужалости до младенчества ».

И точно: Аллахъ далъ старикамъ сына, который былъ такъ ученъ, что только выглянулъ на свѣтъ Божій, какъ первымъ дѣломъ спросилъ по-латыни:

« — Ubi sum? » (Гдѣ я?)

Но съ году на годъ, со дня на день, ученость его испарялась какъ дымъ, пока, наконецъ, на рукахъ родителей не очутился безпомощный, бессмысленный младенецъ.

Мораль сказки: насильственное нарушеніе естественнаго порядка вещей не ведетъ къ добру.

Жуковскій внимательно выслушалъ сказку.



— Оригинально, похвалилъ онъ; — изъ этого матеріала можно многое сдѣлать.

— Что въ моихъ силахъ, — я постараюсь сдѣлать. Если-бы вы знали, Василій Андреичъ, сколько я для этого однѣхъ книгъ перечиталъ!

— Да, читать нашему брату, писателю, надо много, раздумчиво заговорилъ Жуковскій. — Но читать надо съ толкомъ. Одинъ нѣмецкій ученый, Миллеръ, очень вѣрно замѣтилъ «Lesen ist nichts; lesen und denken — etwas; lesen und fühlen — die Vollkommenheit» (Чтеніе — ничто; чтеніе осмысленное — кое-что; чтеніе же осмысленное и переживуемое — совершенство). Я, другъ мой, говорю это тебѣ не въ укоръ, поспѣшилъ добавить Жуковскій, видя, что щеки начинающаго поэта покрылись краской. — Я самъ только съ лѣтами научился читать, какъ слѣдуетъ.

— А сами вы, что теперь пишете, Василій Андреичъ? Можно полюбопытствовать? спросилъ Дельвигъ.

— Въ эту минуту меня особенно занимаетъ одна древняя новгородская легенда. По странной случайности, она имѣетъ нѣкоторое сходство съ Вальтеръ-Скоттовой «Дѣвой Озера», которая вамъ, вѣроятно, извѣстна.

— Какъ же.

— Если желаете, я передамъ вамъ содержаніе моей легенды?

— Сдѣлайте милость!

Жуковскій былъ прекрасный рассказчикъ, и переданная имъ, хотя только въ общихъ чертахъ, древне-новгородская легенда произвела на обоихъ слушателей сильное впечатлѣніе.

— Вотъ это такъ поэма! воскликнулъ Пушкинъ — «Фа-та-ма» моя послѣ нея какая-то ребяческая выдумка.

Жуковскій обнялъ его и заглянулъ ему дружелюбно въ глаза.

— Хочешь, помѣняемся?

— Что вы, Василій Андреичъ! какъ это можно... пробормоталъ Пушкинъ.

— Такъ ты, можетъ быть, написалъ ужъ много?

— Не то что много... нѣсколько строфъ...

— Въ такомъ случаѣ, я добровольно отказываюсь отъ твоей «Фатамы»: съ Богомъ доканчивай ее. Мою же легенду я дарю тебѣ: дѣлай съ нею, что хочешь.

— Нѣтъ, это слишкомъ великодушно!. Можетъ быть, я съ нею не слажу; можетъ быть, при другихъ тѣмахъ и вовсе не примусь за нее...

— Ну, такъ вотъ что: я даю тебѣ пять лѣтъ сроку. Не воспользуешься этимъ временемъ, я возвращу себѣ мое авторское право \*)!

Солнце уже спряталось за верхушки парка, когда Жуковский сталъ прощаться съ лицейскими поэтами.

— Но въ столицѣ, въ большомъ свѣтѣ, вы насъ, бѣдныхъ заключенниковъ, пожалуй, совсѣмъ забудете? сказалъ Пушкинъ, и въ голосъ его прозвучала такая чувствительная нота, что Жуковский крѣпко его обнялъ и поцѣловалъ.

— Друзей не забываютъ, сказалъ онъ;—а ты мнѣ другъ по Аполлону.

Не прошло и двухъ недѣль, какъ онъ, дѣйствительно, опять навѣстилъ въ Царскомъ своего молодого друга.

— Видишь, не забылъ, сказалъ онъ:—а вотъ тебѣ и залогъ моей вѣрной дружбы.

Онъ подаль ему книжку своихъ стихотвореній. Въ посланіи своемъ къ Жуковскому, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> года спустя, Пушкинъ вспоминаетъ то глубокое впечатлѣніе, какое произвелъ на него этотъ неожиданный подарокъ:

---

\*) За обиліемъ собственныхъ тѣмъ, Пушкинъ, дѣйствительно, только въ 1821 году принялся за предоставленный ему Жуковскимъ сюжетъ и началъ-было новгородскую поэму: «Вадимъ», но такъ ея и не окончилъ.

„И ты, природою на пѣсни обреченный,  
 Не ты-ль мнѣ руку далъ въ завѣтъ любви священной?  
 Могу-ль забыть я часъ, когда передъ тобой  
 Безмолвный я стоялъ, и молнійной струей  
 Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла  
 И, тайно съединяясь, въ восторгахъ пламенѣла?»

Когда же Жуковскій, вскорѣ затѣмъ, пріѣхалъ въ третій разъ, то Пушкинъ съ увлеченіемъ декламировалъ ему наизусть нѣсколько стихотвореній изъ подареннаго ему сборника. Каждое новое свое стихотвореніе, до отдачи въ печать, Жуковскій съ этого времени обязательно читалъ ему. У Пушкина была такая счастливая память, что, прослушавъ внимательно совершенно незнакомые ему стихи, онъ могъ повторить ихъ почти безъ запинокъ. Если случалось, что онъ забывалъ ту или другую строфу, прочитанную ему наканунѣ, то Жуковскій почиталъ уже такую строфу настолько слабою, что передѣлывалъ ее заново. Такое значеніе придавалъ этотъ искушенный опытомъ поэтъ изящному вкусу 16-ти-лѣтняго юноши! Онъ обращался съ нимъ совершенно какъ съ равнымъ, и вскорѣ настоялъ на томъ, чтобы Пушкинъ также говорилъ ему «ты».

Пушкинъ, въ свою очередь, усердно зачитывался поэзіей Жуковского и, упиваясь ея музыкальностью, поучался по ней таинству гармоніи человѣческой рѣчи. Какъ высоко цѣнилъ онъ это качество стиховъ своего учителя, — краснорѣчивѣе всего свидѣтельствуешь пятистишіе его: «Къ портрету Жуковского», которое, по чарующему благозвучію, не уступить лучшимъ строфамъ самого Жуковского:

„Его стиховъ плѣнительная сладость  
 Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,  
 И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,  
 Утѣшится безмолвная печаль  
 И рѣзвая задумается радость“.

Какъ всякій молодой орленокъ, пробующій свои крылья, Пушкинъ началъ съ подражанія полету большихъ орловъ.



Сперва онъ подражалъ Державину, Батюшкову и французскимъ лирикамъ; теперь онъ подчинился вліянію Жуковского, а впослѣдствіи, по выходѣ изъ лица, поддался Байрону. Но повредила ли сколько-нибудь такая подражательность въ первый періодъ жизни самобытности его генія?

Лучшимъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ можетъ служить опять слѣдующее картинное сравненіе Бѣлинскаго:

«Кто можетъ разложить химически воду Волги, чтобъ узнать въ ней воды Оки и Камы? Принявъ въ себя столько рѣкъ, и большихъ, и малыхъ, Волга пышно катитъ свои собственные волны, и всѣ, зная о ея безчисленныхъ похищеніяхъ, не могутъ указать ни на одно изъ нихъ, плывя по ея широкому раздолью. Муза Пушкина была вскормлена и воспитана твореніями предшествовавшихъ поэтовъ. Скажемъ болѣе: она приняла ихъ въ себя, какъ свое законное достояніе,—и возвратила ихъ міру въ новомъ, преображенномъ видѣ».





## Г Л А В А XI.

### «Бесѣдчики» и «арзамасцы».

«Вы, рыцари парнасскихъ горъ,  
Старайтесь не смѣшить народъ  
Нескромнымъ шумомъ вашихъ ссоръ;  
Бранитесь — только осторожно».  
(Русланъ и Людмила.)



Въ началѣ октября Жуковскій снова навѣдался къ молодому другу своему въ Царское Село. Съ первыхъ же словъ, по убитому виду, по минорному тону дорогаго гостя, Пушкинъ понялъ, что ему не по себѣ.

— Ты, вѣрно, нездоровъ, Василій Андреичъ? участливо спросилъ онъ.

Жуковскій грустно улыбнулся.

— Хандрю. Бываютъ, дружокъ, такія минуты въ жизни. Жестокая сухость залѣзетъ тебѣ въ душу, давитъ тебя изнутри — и не годенъ ты ни на что.. ни на дѣло, ни на бездѣлье.

— А неизмѣнная утѣшительница твоя — поэзія?

— И та отъ меня отворотилась! Не знаю, когда она опять на меня взглянетъ. Я думалъ, не бродитъ ли она теперь по аллеямъ здѣшняго парка, и нарочно за этимъ прибылъ сюда.

Тяжелое настроеніе старшаго друга подѣйствовало подавляющимъ образомъ и на Пушкина. На шутку его онъ отвѣчалъ только слабой улыбкой.

— Нѣтъ, и у насъ здѣсь теперь не разгуляешься. Птицы и дачники улетѣли, зелень увяла; холодно, сыро. пусто кругомъ...

— Совсѣмъ, какъ у меня на душѣ... Слышалъ ты, Александръ, про представленіе новой пьесы Шаховскаго: — «Липецкія воды»? заговорилъ вдругъ Жуковскій измѣнившимся голосомъ и нервно взялъ Пушкина за руку.

— Ахъ, вотъ что! догадался Пушкинъ. — Въ газетахъ былъ, дѣйствительно, намекъ на то, что будто Шаховской позволилъ себѣ вывести тебя въ своей пьесѣ...

— Да, подъ видомъ «балладника» Фіалкина. Я, какъ ты знаешь, не обидчиваго десятка. Не я первый, не я послѣдній; и Карамзинъ, столбъ нашей молодой литературы, былъ однажды осмѣянъ тѣмъ же Шаховскимъ въ его «Новомъ Стернѣ». Я нарочно даже взялъ съ друзьями ложу на первое представленіе «Липецкихъ водъ», чтобы отъ души посмѣяться. Остротѣ мѣткой и даже рѣзкой отчего не посмѣяться? Но если острота бьетъ только на дурной вкусъ толпы, если она и плоска и дерзка, тогда какъ-то совѣстно за самого автора и не до смѣха. Если же послѣ того, въ торжественномъ засѣданіи «Бесѣды», Шишковъ (президентъ академіи и мужъ ученый), вмѣстѣ съ Буниной, вѣнчаютъ автора лавровымъ вѣнкомъ, величаютъ его современнымъ Аристофаномъ, и избранная публика имъ рукоплещетъ, — тогда не глядѣлъ бы на свѣтъ Божій, просто, краснѣешь за своихъ ближнихъ, за весь родъ людской...

— Неужели это правда; неужели они увѣнчали его еще лаврами? негодуя, воскликнулъ Пушкинъ и вскочилъ даже съ мѣста. И ты это такъ спустишь Шаховскому, не бросишь ему въ лицо перчатки въ формѣ эпиграммы, что ли?

— Карамзинъ въ свое время смолчалъ — и я смолчу. И безъ меня на Парнасъ довольно шуму; друзья вступились за



меня. Дашковъ напечаталъ «къ новому Аристофану» жестокое письмо; Блудовъ написалъ презабавную сатиру, а Вяземскій разразился фейрверкомъ эпиграммъ. Около меня дерутся за меня; а я молчу.—Да лучше бы, когда бы и всѣ молчали... Я благодаренъ этому глупому случаю: онъ болѣе познакомилъ меня съ самимъ собой. Я знаю теперь, что люблю поэзію для нея самой, а не для почестей, и что комары парнасскіе меня не укусятъ никогда слишкомъ больно.

Приведенный разговоръ происходилъ въ лицейской пріемной.

— Экой ты, право, чудакъ, Кюхля! чего ты опять пятишься? слышался съ площадки лѣстницы голосъ Дельвига, и, вслѣдъ затѣмъ, въ пріемную, спотыкаясь, влетѣлъ Кюхельбекеръ, котораго Дельвигъ насильно втокнулъ туда передъ собой.

— А, здравствуйте, господа! привѣтствовалъ обоихъ Жуковскій, успѣвшій за лѣто перезнакомиться со всѣми стихотворцами.—Въ чемъ дѣло, любезный баронъ?

— Да вотъ нашъ Вильгельмъ Карлычъ на колѣняхъ умолялъ меня сейчасъ...

— Вовсе не на колѣняхъ... перебилъ неоправившійся еще отъ замѣшательства Кюхельбекеръ. Но никто здѣсь, кромѣ Гауеншильда, и не знаетъ хорошенько нѣмецкаго языка, а къ нему-то за совѣтомъ я уже ни за-что не обращаюсь...

Въ рукахъ у него оказался бумажный свертокъ, который онъ, въ душевномъ волненіи, мялъ немилосердно.

— У васъ, вѣроятно, приготовлены нѣмецкіе стихи, догадался Жуковскій,—и вы хотите знать мое мнѣніе. Правда?

— Правда-съ... прошепталъ, все еще заминаясь, Кюхельбекеръ.— Но вы, Василій Андреичъ, ради самого Бога, не будьте слишкомъ строги, не смѣйтесь надо мной... Я переводилъ, какъ умѣлъ...

— Такъ это у васъ переводъ съ русскаго?

— Да-съ, Кирши Данилова древнерусская былина: «Сорокъ каликъ съ каликою». Я думалъ, что жаль, если такое сокровище народной поэзіи пропадетъ для другихъ націй...

— Очень жаль, подтвердилъ Жуковскій, протягивая руку за стихами, которые авторъ все еще не рѣшался вручить ему.

— Нѣтъ, нѣтъ! прежде обѣщайтесь не читать здѣсь, при этихъ зубоскалахъ! вскричалъ Кюхельбекеръ и спряталъ свертокъ за спину.

Но это ему ни къ чему не послужило. Подкравшійся къ нему, въ это самое время, сзади Иллическій выдернулъ у него листокъ изъ рукъ и почтительно преподнесъ Жуковскому.

— Имѣю честь представить и представиться!

— Это что же такое? среди общей веселости, съ недоумѣніемъ спросилъ Жуковскій; въ рукахъ у него, кромѣ стиховъ, очутилась вдругъ еще какая-то картинка, которую лицейскій карикатуристъ Илличевскій, очевидно, еще раньше приготовилъ и очень ловко подсунулъ ему теперь, вмѣстѣ со стихами.

— А портреты автора и его вдохновителя, какъ иллюстрація къ тексту, серьезно отвѣчалъ Илличевскій.

(Вмѣсто описанія самой иллюстраціи, прилагаемъ здѣсь, для наглядности, точный снимокъ съ нея.)

Даже Жуковскій, взглянувъ на удачную карикатуру, не могъ удержаться отъ улыбки; Пушкинъ же и Дельвигъ, просто, покатывались со смѣху.

— Это—совершенство! это—прелесть что такое!

Кюхельбекеръ готовъ былъ разобидѣться; но Жуковскій возвратилъ уже рисунокъ живописцу, а стихи упряталъ въ свой боковой карманъ со словами:

— Мы съ вами, Вильгельмъ Карлычъ, терпимъ одинаковую участь: обоимъ намъ за стихи наши отъ завистниковъ достается; но не будемъ отчаяваться. Въ слѣдующій же пріѣздъ

сообщу вамъ мое откровенное мнѣніе о настоящемъ вашемъ опытѣ.

— А когда вы будете къ намъ опять, Василій Андреичъ? спросилъ Илличевскій. — Я надѣюсь, что въ воскресенье, 24 числа, вы, во всякомъ случаѣ, насъ не забудете?

— А что у васъ здѣсь тогда?

— Да 19-го — годовщина открытія нашего лица, въ ближайшее же воскресенье послѣ того у насъ всегда спектакль ....

— А Илличевскій у насъ — первый лицедеѣй, пояснилъ Пушкинъ.

— Поневолѣ станешь хоть лицедеѣмъ, когда ты съ Кюхельбекеромъ выбили у меня изъ рукъ мое парнасское оружіе — гусиное перо. Лучше быть первымъ въ селѣ, чѣмъ послѣднимъ въ городѣ.

— О! если вы такой первостатейный актеръ, то я непременно буду, любезно сказалъ Жуковскій и совсѣмъ повеселѣвшимъ взоромъ оглядѣлъ столпившуюся около него молодежь. — Пріятно на васъ глядѣть, друзья мои! Пріѣхалъ я сюда съ слабой надеждой отдохнуть у васъ душою — и не ошибся въ расчетѣ: всю навѣянную на меня «бесѣдчиками» пыль съ души, какъ вѣтромъ, сдуло.

— А кстати, Василій Андреичъ, какую это сатиру, говорилъ ты давеча, сочинилъ другъ твой Блудовъ на «бесѣдчиковъ»? спросилъ Пушкинъ.

— Полное названіе ея: «Видѣніе въ нѣкоторой оградѣ, изданное обществомъ ученыхъ людей». «Ограда», понятно, означаетъ «Бесѣду». Одинъ списокъ съ сатиры нарочно посланъ къ герою ея — князю Шаховскому, при письмѣ, будто-бы, отъ имени нѣсколькихъ арзамасскихъ литераторовъ.

— Арзамасскихъ?

— Да. Блудовъ — помѣщикъ Арзамасскаго уѣзда, недавно





Кюхельбекеръ за сочиненіемъ стиховъ.  
Снимокъ съ кар. пкатуры изъ журнала „Литерескій Мудрецъ“.



побывалъ на родищѣ и, для разсказа своего, воспользовался однимъ анекдотомъ, который случился на мѣстѣ. Только героемъ онъ сдѣлалъ Шаховскаго и скромный номеръ арзамасскаго трактира обратилъ въ великолѣпный залъ «Бесѣды».

— Но въ чемъ же соль сатиры? Разскажите, Василій Андреичъ! пристали къ Жуковскому лицеисты.

— Въ письмѣ, къ которому была приложена эта сатира, объяснено, что нѣсколько арзамасскихъ литераторовъ собрались разъ въ мѣстномъ трактирѣ, началъ Жуковскій. — Вдругъ вошедшій половой докладываетъ имъ, что рядомъ въ номерѣ оставился какой-то проѣзжій — должно полагать, ясновидящій: бредить съ открытыми глазами. Заинтригованные литераторы подкрались къ дверямъ таинственнаго сосѣда и заглянули въ щелку. Что же они увидѣли тамъ? По номеру взадъ и впередъ шагаль, размахивая руками, безобразный толстякъ и нараспѣвъ декламировалъ какія-то бессмысленныя, напыщенныя фразы...

— А вѣдь Шаховской, говорятъ, очень толстъ? прервалъ разсказчика Илличевскій.

— На столько же толстъ, на сколько Шишковъ тощъ: оба дополняютъ другъ друга. Итакъ, продолжалъ Жуковскій, — онъ декламировалъ безъ передышки, а окончивъ свою рѣчь, начиналъ ее опять съизнова. Такимъ образомъ, подслушивавшіе арзамасцы имѣли возможность записать все «видѣніе» отъ слова до слова. Именъ своихъ они, однако, по скромности, не выставили, ибо скромность — отличительная черта арзамасцевъ.

— А содержаніе «видѣнія»? спросилъ одинъ изъ слушателей.

— Дословно, къ сожалѣнію, я не сумѣю передать вамъ его. Вкратцѣ же оно такое: въ магнетическомъ снѣ своемъ Шаховской повѣствуетъ, какъ онъ однажды, послѣ засѣданія «Бесѣды» въ Державинскомъ залѣ, по разсѣянности забылъ выйти съ другими. Свѣчи задули, дверь замкнули на два замка,



и очутился онъ вдругъ одинъ-одинешенекъ въ опустѣвшемъ и темномъ залѣ. Вѣтеръ за окнами заунывно вылъ, и думы, одна другой мрачнѣе, нахлынули на злополучнаго драматурга. Прислонясь къ оконницѣ буйной головой, онъ сталъ громко каяться въ собственныхъ своихъ прегрѣшеніяхъ... Жаль, право, что я не захватилъ съ собою этой образцовой исповѣди! Когда-нибудь доставлю ее вамъ.

— Да вотъ 24-го числа, когда будетъ у насъ спектакль, сказалъ Илличевскій.

— Непремѣнно, если не забуду.

Описывать самое празднество лицейской годовщины въ 1815 году — мы не станемъ. Приведемъ только краткій, но характеристичный отчетъ о немъ, сохранившійся въ письмѣ Илличевского къ Фуссу, другу его по гимназіи, гдѣ онъ обучался до лица:

«26 октября 1815 г. (Царское Село — вѣчное Царское Село).

«Я получилъ письмо твое въ такое время, когда я не имѣлъ ни на часъ свободнаго времени, ибо оно было посвящено цѣлому обществу; скажу яснѣе, въ такое время, когда мы готовились праздновать день открытія лица (правильнѣе бы было: день закрытія насъ въ лицеѣ), чтò дѣлается, обыкновенно, всякій годъ въ первое воскресенье послѣ 19 октября, и нынѣшній годъ также октября 24 числа. Этотъ праздникъ описать тебѣ недолго: начался театромъ; мы играли «Стряпчяго» Пателена и «Ссору двухъ сосѣдей». Обѣ пьесы — комедіи. Въ первой представлялъ я Вильгельма, купца, торгующаго сукнами, котораго плутъ-стряпчій подрядился во всю пьесу обманывать; во второй — Вспышкина, записнаго писаря, охотника и одного изъ ссорящихся сосѣдовъ. Не хочу хвастать передъ другомъ, но скажу, что мною зрители остались довольны. За театромъ послѣдовалъ маленькій балъ и подчива-

ніе гостей всякими лакомствами, что называется въ свѣтъ угощеніемъ».

Что касается Пушкина, то онъ исполнялъ только незначительную роль въ первой пьесѣ.

«Отзвонилъ и съ колокольни долой»: сорвалъ съ себя парикъ, смылъ съ лица слѣды пудры и угля, придававшіе ему требуемый пьесою старческій видъ, переодѣлся въ лицейскій мундиръ, и какъ-разъ къ началу антракта поспѣлъ въ «партеръ», гдѣ со сцены еще замѣтилъ Жуковского.

Тотъ сидѣлъ въ сторонѣ, прислонясь къ колоннѣ, но былъ уже не одинъ: предъ нимъ торчалъ великанъ Кюхельбекеръ. Наклонясь къ сидящему съ своей вышины и приложивъ раковиной руку къ одному уху (потому что, какъ уже сказано, онъ былъ нѣсколько глухъ), Кюхельбекеръ благоговѣнно прислушивался къ тому, что говорилъ ему Жуковскій. Чело послѣдняго было ясно, взоръ свѣтелъ; отъ прежняго меланхолическаго настроенія, очевидно, не осталось и тѣни.

— Барометръ парнасскій, кажется, не показываетъ уже на «дождь»? было первое привѣтствіе Пушкина.

— На дождь-то — пѣтъ, но на «грозу и бурю», былъ веселый отвѣтъ.

— Вотъ какъ!

— Да, на Парнасѣ у насъ теперь жаркій бой: клочья перьевъ такъ и летятъ, чернила такъ и брызжутъ.

— Между вами, Карамзинистами, и стариками — Шишковистами?

— Да, или, точнѣе, между «арзамасцами» и «бесѣдчиками». Вѣдь, намедни ты слышалъ ужъ отъ меня о шуткѣ Блудова? Ну, такъ изъ тѣхъ, что участвовали въ шуткѣ, сложился теперь плотный кружокъ: «Арзамасъ» — и горе «Бесѣдѣ»!

— Эхъ, Пушкинъ! ну, зачѣмъ ты помѣшалъ намъ? по-

прекнулъ Кюхельбекеръ.—Василій Андреичъ только-что началъ объяснять мнѣ...

— Что нѣмецкія вирши твои безподобны? насмѣшливо досказалъ Пушкинъ.

— Онѣ, въ самомъ дѣлѣ, очень сносны, серьезно отозвался Жуковскій,—и я уже обѣщалъ Вильгельму Карлычу пристроить ихъ въ какомъ-нибудь нѣмецкомъ журналѣ.

Кюхельбекеръ весь раскраснѣлся и скромно потупился.

— Василій Андреичъ, конечно, черезчуръ добръ... пробор-мotalъ онъ.—Но мнѣніе его меня очень ободрило... Мнѣ хотѣлось бы теперь написать нѣмецкую же статью о русской литературѣ, и я просилъ Василья Андреича дать мнѣ нѣкоторыя указанія...

— И представь себѣ, подхватилъ съ улыбкой Жуковскій:—Вильгельмъ Карлычъ оказывается тайнымъ приверженцемъ «старого» слога...

— Ну, какъ тебѣ не стыдно, Кюхля! воскликнулъ Пушкинъ

— Нѣтъ, у него есть свои резоны, примирительно вступился Жуковскій.—Глава старой партіи, Шишковъ, не номинально только президентъ Россійской академіи: онъ и мужъ глубоко-ученый, государственный, да и не заурядный писатель. Но, какъ у всякаго смертнаго, у него есть свой конекъ, свой предметъ помѣшательства. Это —славянщина. Цѣлые годы изучая всевозможные языки, онъ, въ концѣ-концовъ, пришелъ къ какому выводу? Что древнѣйшій въ мірѣ языкъ —славянскій, и что всѣ прочіе языки —только нарѣчія славянскаго. Разъ ставъ на эту точку, онъ готовъ всякое иностранное слово хоть за волосы притянуть къ славянскому.

— Напримѣръ? спросилъ, съ нѣкоторымъ ужъ задоромъ, Кюхельбекеръ.

— Напримѣръ... Хоть слово ястребъ. Шишковъ производитъ его отъ: яству терebить.



— И преостроумно!

— Не спорю. Но едва ли вѣрно, потому что латинское *Astur* развѣ не тотъ же ястребъ, только позаимствованный нами у древнихъ римлянъ?

— Ну, это еще вопросъ!

— Даже вопроса не можетъ быть, усмѣхнулся Пушкинъ: — очевидно, римляне исковеркали наше славянское слово!

— Нѣтъ, и славяне, и римляне, можетъ быть, взяли его изъ древняго санскритскаго...

— Вотъ это, пожалуй, всего вѣрнѣе, согласился Жуковский. — Но тутъ вы, Вильгельмъ Карлычъ, ужъ отступили нѣсколько отъ Шишкова. А мало ли у насъ совсѣмъ иностранныхъ словъ? Не имѣя никакой возможности пріурочить ихъ къ славянщинѣ, Шишковисты изгоняютъ ихъ вовсе изъ родной рѣчи и замѣняютъ словами собственного изобрѣтенія. Такъ: проза у нихъ — говоръ, номеръ — число, швейцаръ — вѣстникъ, калоши — мокроступы, билліардъ — шарокать, кій — шаропихъ..

— Да чѣмъ же эти новыя слова хуже иностранныхъ? возразилъ Кюхельбекеръ.

— Особенно шаропихъ! разсмѣялся Пушкинъ. — Прелестно!

— Да и между «бесѣдчиками» начинается уже расколъ, продолжалъ Жуковский. — Державинъ не соглашается на предложеніе Шишкова — соединить «Бесѣду» съ академіей; Крыловъ прямо осмѣялъ своихъ друзей «бесѣдчиковъ» въ баснѣ «Квартетъ»:

«А вы, друзья, какъ ни садитесь, —  
Все въ музыканты не годитесь...»

Но мы, «арзамасцы», рѣшили теперь окончательно доконать ихъ. Въ позапрошлый четвергъ, 14 октября, по приглашенію Уварова, мы собрались у него на первый «арзамасскій вечеръ»

Въ прошлый четвергъ — на второй у Блудова \*). Предсѣдателемъ нашимъ всего ближе было бы выбрать самого создателя новаго слога, Карамзина. Но онъ живетъ въ Москвѣ и могъ бы участвовать въ собраніяхъ нашихъ только наѣздомъ (а мы думаемъ собираться каждый четвергъ). Главное же, что онъ — олимпіецъ и не въ его характерѣ вздорить съ кѣмъ бы то ни было. Но мы, его ученики, не добравшіеся еще до вершинъ Олимпа, постоемъ и за него, и за себя. Новорожденный «Арзамасъ» — пародія дряхлой «Бесѣды», и насколько засѣданія «Бесѣды» напыщенно-важны и непроходимо-скучны, настолько же засѣданія «Арзамаса» задушевно-веселы и непринужденно-шутливы. Арзамасская критика должна ѣхать верхомъ на галиматьѣ. Это — нашъ девизъ. Отрѣшась на время засѣданій «Арзамаса» отъ своего свѣтскаго званія, каждый изъ насъ принялъ условную кличку изъ моихъ балладъ, которыя такъ не пришлись по вкусу «бесѣдчикамъ». Блудовъ у насъ — К а с с а н д р а», Уваровъ — «Старушка», Батюшковъ — «А х и л л ѣ», впрочемъ и — «П о п е н ь к а» за его птичій носъ; Дашковъ — «Ч у!» «Чурка» или просто «Д а ш е н ь к а»; Тургеневъ — «Э о л о в а а р ф а»...

— Это за что же? спросилъ Пушкинъ.

— За вѣчное бурчанье его ненасытнаго брюха.

— Не въ бровь, а прямо въ глазъ! А тебя самого какъ прозвали, Василій Андреичъ?

— «Свѣтланой». Похожъ, видно, на красную дѣвицу.

— А кто же у васъ предсѣдатель? спросилъ Кюхельбекеръ. — Не вы ли?

— Нѣтъ, предсѣдатель у насъ очередной; я же взялъ на себя болѣе скромную, но не менѣе отвѣтственную роль — секретаря. Достодолжно оформить протоколъ нашихъ засѣданій —

---

\*) Оба впоследствии графы и министры.

задача, я вамъ скажу! То-то рѣчи, то-то перлы высшаго сумасбродства! Но зато и польза велія: нѣтъ на свѣтѣ средства пользительнѣе смѣха,—онъ удивительно какъ способствуетъ сваренію желудка.

— Но о чемъ же у васъ рѣчи?

— Да вотъ, прежде всего, по образцу французской академіи наукъ, каждый вновь-принятый членъ у насъ долженъ сказать надгробное похвальное слово своему предшественнику. Но такъ какъ мы, первые учредители, не имѣли предшественниковъ, то мы для нашихъ надгробныхъ рѣчей беремъ заимобразно и напрокатъ живыхъ покойниковъ «Бесѣды». Мнѣ выпала счастливая доля отпѣвать современнаго Тредьяковскаго—Хлыстова.

— Графа Хвостова?

— Да. И, признаюсь, рѣдко я бывалъ такъ въ ударѣ! Да и не диво: настольной книгой въ засѣданіи, неисчерпаемымъ кладеземъ вдохновенія служатъ мнѣ его собственные притчи.

„Нашъ графъ, сказать ему мы можемъ не въ укоръ,  
Танцуетъ какъ Вольтеръ и пишетъ какъ Дюпоръ“ \*).

— Вотъ бы подслушать васъ! сказалъ Пушкинъ.

— А что-жъ? рано или поздно, попадешь тоже, вѣроятно, къ намъ.

— Кто?—я? спросилъ Пушкинъ, и отъ радостнаго волненія весь такъ и вспыхнулъ.

— Ну, понятно; кому-жъ изъ насъ, какъ не тебѣ, быть тамъ, убѣжденно сказалъ Кюхельбекеръ. — Отъ души, братъ, впередъ тебя поздравляю!

Пробасилъ онъ это такъ громко, что кругомъ по зрительной залѣ пронеслось дружное шиканье: «ш-ш-ш!» — потому что антрактъ сейчасъ кончился, ширмы на сценѣ, замѣнявшія занавѣсъ, раздвинулись и представленіе возобновилось.

---

\*) Дюпоръ—знаменитый въ то время балетный танцовщикъ.



Зато, по окончаніи послѣдней пьесы, когда сцена была убрана вонъ и заиграла музыка для танцевъ, около Жуковского столпились все лицеійскіе стихотворцы. Онъ долженъ былъ повторить имъ все то, что разсказалъ передъ тѣмъ Пушкину и Бюхельбекеру объ «Арзамасѣ»; но наибольшій фуроръ произвелъ двумя притчами «арзамасскими», сочиненными по образцу притчъ графа Хвостова. Начало одной изъ нихъ, «Обжорство», было такое:

„Одинъ французъ  
Жевалъ арбузъ...“

Другая, «Дождь», начиналась такъ:

„Однажды  
Шелъ дождикъ дважды...“

— Это чудо что такое! потѣшались лицеисты.

— Но заслуга вся за Хвостовымъ, сказалъ Жуковский: — онъ вдохновляетъ насъ, и мы, въ благодарность ему, сочинили слѣдующую благозвучную надпись къ его портрету:

„Се—Росска Флакка зракъ! \*) Се тотъ, кто, какъ и онъ,  
Выспрь быстро, какъ птицъ царь, порхъ вверхъ на Геликонъ;  
Се ликъ одъ, притчъ творца, музъ читателя Хлыстова,  
Кой поле испестрилъ російска красна слова.“

— Помилуйте, господа! дамы сидятъ безъ кавалеровъ, а вы тутъ болтаете, какъ ни въ чемъ не бывало! завопилъ, подбѣгая къ товарищамъ-поэтамъ, графъ Броглію, распорядитель танцевъ.

Дѣлать было нечего — пришлось, волей-неволей, принять участіе въ танцахъ. Но, и танцуя, рѣдкій изъ кавалеровъ-стихотворцевъ не занималъ свою даму бесѣдой объ «Арзамасѣ»; точно также многіе еще дни послѣ того главной тѣмой разговоровъ лицеистовъ между собою былъ тотъ-же «Арзамасъ». Большинство лицеистовъ, надо сказать правду, видѣло въ новомъ

\*) Т. е. изображеніе русскаго Горація Флакка.

литературномъ обществѣ одну потѣшную сторону и интересовалось только арзамасскими «шалостями», т. е. баснями и притчами, сочиненными въ подражаніе графу Хвостову. Наибольшимъ успѣхомъ пользовалась у нихъ басня: «Копчина коровы», которую мы и приводимъ здѣсь цѣликомъ:

„У мужика корова,  
Когда была здорова,  
И ѣстъ, и пьетъ,  
И долгъ природѣ свой день каждый отдаетъ,  
Иль, говоря по-русски:  
Давать и творогу, и сливокъ на закуску  
Ничуть не устаетъ.  
Корова не заморска птица,  
Но дѣлать молоко ужасна мастерица.  
Въ коровушкѣ своей души не зналъ мужикъ,  
То-есть до молока охотникъ онъ великъ;  
Вѣдь у людей всѣ внутреннія части  
Корыстолюбія во власти.  
Но вдругъ  
Коровушку мою сразилъ недугъ:  
Ей не взлюбился лугъ,  
Сталь лобъ нахмурень;  
Она худа, блѣдна,  
И цвѣтъ въ лицѣ сталъ дурень,  
И голова дурна.  
Бывало, свѣтлый глазъ: днесъ безъ свѣтильни плошка;  
Корова-здоровякъ—ни дать—ни взять  
Ободранная кошка!  
Мужикъ реветъ не часъ, не два, не пять,  
Реветь онъ цѣлы сутки;  
Для мужика  
Безъ молока  
Приходить не до шутки.  
Но—какъ ни плачь, но какъ скотинушки ни жаль—  
Ее отиравъ хотъ въ гошпиталь.  
На вопль хозяина сбѣжались изъ деревни  
Матроны древни;  
Весь бабій факультетъ  
Къ больной приходитъ на совѣтъ.  
Та говоритъ: «въ коровѣ сперлись спазмы,  
Ее-бы въ ванну посадить»;  
Другая: „можетъ быть, въ коровушкѣ міазмы;

Не худо прилѣпить  
Ей шпанску муху  
Къ уху»;  
А третья: «повѣрьте мнѣ, легко  
Въ коровѣ разлилось, быть можетъ, молоко»;  
Четвертая: «чтобы помочь больной здоровью,  
Привейте оспу ей коровью».  
Тутъ мысль былъ класть всякъ лихъ  
И лѣзетъ въ Эскулапы.  
Корова между тѣмъ, крестомъ сложивши лапы,  
Вздыхнула разъ-другой,—и нѣтъ ея въ живыхъ.  
  
Такія-жъ и у насъ бываютъ штуки,  
И каждый, щедрый на совѣтъ,  
Донтъ корову въ обѣ руки,  
А все коровѣ пользы нѣтъ.“

Неудивительно, что и стрѣлы лицейскихъ эпиграммъ съ этого времени часто обращались противъ бѣднаго Хвостова.

Такъ-то новое вѣяніе въ «большой литературѣ» отзывалось и въ тѣсныхъ стѣнахъ царскосельскаго лицея.







## ГЛАВА XII.

### Лицейскій Донъ-Кихотъ.

„Враги его, друзья его  
(Что, можетъ быть, одно и то же)  
Его честили такъ и сѣкъ.  
Враговъ имѣеть въ мѣрѣ всякъ,  
Но отъ друзей спаси насъ, Боже!“  
(Евгеній Онегинъ.)

„ — Гдѣ-жъ мертвецъ? — „Вонъ,  
тятя, э — вотъ!“  
(Утопленникъ.)



Въ томъ, что Пушкинъ, можетъ быть, даже очень скоро, удостоится чести приѣма въ «Арзамасъ», никто изъ его товарищей - литераторовъ уже не сомнѣвался. Завѣтною мечтою каждаго изъ нихъ было попасть туда же, и всѣ они еще усерднѣе прежняго принялись царапать перомъ. Но такъ какъ избраннымъ изъ нихъ открылся уже доступъ въ «большую печать», то единственный въ 1815 году, собственный ихъ рукописный журналъ—«Лицейскій Мудрецъ»—имѣлъ не болѣе двухъ-трехъ постоянныхъ и притомъ слабыхъ сотрудниковъ \*).

---

\*) Школьный товарищъ Пушкина, адмиралъ Матюшкинъ, передъ своей смертью передалъ сохранившійся у него подлинникъ „Мудреца“ за 1815 годъ

Вотъ два куплета самаго удачнаго, по нашему мнѣнію, стихотворенія въ «Мудрецѣ», такъ и озаглавленнаго «Мудрецъ». Оно названо «подражаніемъ Жуковскому», но составляетъ, вѣрнѣе, пародію на извѣстный романсъ Жуковского «Пѣвецъ»:

„На каѳедрѣ, надъ красными столами,  
Вы кипу книгъ не видите-ль, друзья?  
Печально чуть скрипитъ огромная доска,  
И карты грустно вѣютъ \*) надъ стѣнами.  
На печкѣ дудка и вѣнецъ.  
Восплачемте, друзья: могила  
Прахъ мудреца на вѣкъ сокрыла.  
Бѣдный мудрецъ!

„Нѣтъ мудреца! И дудка перестала  
Пріятный гласъ повсюду разносить.

академику Я. К. Гроту. Благодаря любезности послѣдняго, пишущій настоящія строки имѣлъ случай просмотрѣть этотъ подлинникъ. Почти весь журналъ переписанъ однимъ и тѣмъ же красивымъ почеркомъ Данзаса, что удостовѣряется какъ покойнымъ Матюшкинымъ, такъ и помѣткой въ концѣ перваго № „Мудреца“: „Въ типографіи Данзаса“. По словамъ того-же Матюшкина, статьи принадлежали почти исключительно Данзасу и Корсакову. Дельвигъ, какъ «извѣстный» уже литераторъ, только просматривалъ ихъ до переписки,—почему подъ подписью Данзаса выставлено: «Печатать позволяется. Цензоръ Баронъ Дельвигъ». Наконецъ, Илличевскій участвовалъ въ журналѣ собственно какъ иллюстраторъ: недурныя раскрашенныя карикатуры украшаютъ каждый номеръ и подъ одной изъ нихъ можно прочесть подпись: „Ill. Pinx.“, т. е. «*Illitschewsky pinxit*» (Рисовалъ Илличевскій).

Кстати выпишемъ здѣсь оглавленіе 1-го № „Мудреца“ за 1815 г.: *Изящная словесность*: 1) Проза: а) къ читателямъ. б) Оседь-философъ. 2) *Стихотворенія*: а) Къ заключенному другу-поэту. б) Къ Мудрецу. с) Эпиграмма. д) Эпитафія. е) Нѣтъ, нѣтъ! 3) *Критика*: а) Письмо къ издателю. б) Объявленіе. 4) *Смѣсь*: а) Письмо изъ Индостана. б) Анекдотъ.

Въ концѣ № приложены двѣ карикатуры. Въ одной изъ нихъ дѣйствующими лицами представлены Мясоѣдовъ, Кюхельбекеръ и гувернеръ; въ другой—Мясоѣдовъ, Илличевскій и гувернеръ. Въ той и другой Мясоѣдовъ, по обыкновению, изображенъ съ ослиной головой, а Кюхельбекеръ и Илличевскій совсѣмъ взрослыми мужчинами, Илличевскій даже съ бакенбардами, въ современныхъ штатскихъ платьяхъ.

Въ 3-мъ номерѣ „Мудреца“ къ указаннымъ 4-мъ отдѣламъ прибавились еще два новыхъ: „Моды“ и „Политика“.

\*) Въ подлинникѣ, по очевидной опискѣ, сказано: «*воютъ*».

И въ классахъ скорбно все—и все молчить,  
И, кажется, доска чернѣе стала!  
Изъ печки дымъ коптитъ вѣнецъ,  
Его колебля надъ могилой,  
И дудка вторить имъ уныло:  
Бѣдный мудрецъ!“ \*)

Надгробные куплеты эти на «Лицейскаго Мудреца» какъ-бы предвѣщали его скорую кончину. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, трудно было «Мудрецу» завербовать себѣ сотрудниковъ,—нагляднѣе всего свидѣтельствуютъ безплодные воззванія издателя «Къ читателямъ» въ №№ 2 и 3.

«Право, любезные читатели, я чрезвычайно разсерженъ на васъ (говорится въ № 2). Какъ! ни одного пособія не дать мнѣ; заставить меня одного издавать журналъ! Это стыдно! весьма стыдно! Послѣ такого озорническаго поступка я съ вами и говорить не хочу!..

«Что, читатели? вы меня кличете? Такъ и быть; что вы только можете сказать въ свое оправданіе?

«— Дѣла много!..

\*) Для сравненія приводимъ и соотвѣтствующіе куплеты Жуковского:

„Въ тѣни деревъ, надъ чистыми водами,  
Дерновыи холмъ вы видите-ль, друзья?  
Чуть слышно тамъ плескаетъ въ брегъ струя,  
Чуть вѣтерокъ тамъ дышетъ межъ листьями;  
На вѣтвяхъ лира п вѣнецъ...  
Увы! друзья, сей холмъ—могила;  
Здѣсь прахъ пѣвца земля сокрыла;  
Бѣдный пѣвецъ!

„И нѣтъ пѣвца! Его не слышно лиры...  
Его слѣды исчезли въ сихъ мѣстахъ;  
И скорбно все въ долину, на холмахъ;  
И все молчить... Лишь тихіе зефиры,  
Колебля вянущій вѣнецъ,  
Порою вѣютъ надъ могилой,  
И лира вторить имъ уныло:  
Бѣдный пѣвецъ!“



«Неправда; на этой недѣлѣ и уроковъ не было. Нѣмецкая бессмыслица не трудна...

« — Предметовъ не было...

«Вздоръ! пустое! На этой недѣлѣ былъ царскій день... Такъ! вижу, васъ лѣнь одолѣла, мошенница... Только слушайте, любезные читатели, я васъ на этотъ разъ прощу; только хорошенько посмѣйтесь надъ тѣмъ, что только услышите въ нашемъ журналѣ; но если же (страшитесь моего мщенія!), если же, для будущаго нумера, вы мнѣ ничего не пришлете стихотворнаго или прозаическаго, если же ваши Карамзины не развернутся и не дадутъ мнѣ какихъ-нибудь смѣшныхъ разговоровъ, то я сдѣлаю вамъ такую штуку, отъ которой вы не скоро отдѣлаетесь. Подумайте...

« — Онъ не станетъ издавать журнала...

«Хуже!

« — Онъ натретъ ядомъ листочки «Лицейскаго Мудреца»...

«Вы почти угадали: я подарю васъ усыпительною балладою г-на Гезеля!!!»

Гезель же былъ не кто иной, какъ злосчастный Кюхельбекеръ, которому вездѣ и отъ всѣхъ доставалось.

Но первое воззваніе, видно, ни къ чему не повело. № 3 «Мудреца» начинается еще болѣе сильными вздохами:

«Охъ! охти мнѣ! — Рифматизмъ!.. Горло болитъ; чуть-чуть дышу... Право, любезные читатели, я чрезвычайно боленъ, а вы заставляете меня говорить. Я думалъ, что болѣзнь моя избавитъ меня отъ того, чтобъ издавать журналъ; но не тутъ-то было. Вызвали меня изъ убѣжища, приставили ножъ къ горлу и кричатъ: «издавай!..»

Въ этомъ-же 3-мъ № статья «Алогія» (защитительная рѣчь) заканчивается знаменательными словами: «...Еще скажу вамъ, что я чрезвычайно люблю спать; потому что, когда буду

великимъ Канцлеромъ Россіи, тогда спать будетъ некогда, а теперь хочу наспаться на всю жизнь. Вы ожидаете отъ меня длинной Апологіи; но я вамъ ничего не скажу, не потому, чтобы не было доказательствъ, но потому, что мнѣ чрезвычайно спать хочется... Что-то зѣвается... Охъ!.. ахъ!.. ухъ!..»

Противъ послѣдняго слова сдѣлана внизу страницы такая выноска: «Просимъ любезныхъ читателей извинить г-на Писаку; ему хотѣлось спать, и онъ набредилъ цѣлый листъ».

Изъ приведенныхъ нами выписокъ очевидно, какъ понемногу, вмѣстѣ со своими сотрудниками, засыпалъ «Лицейскій Мудрецъ», пока, въ 1816 году, онъ не заснулъ на-вѣки.

Временному оживленію «Мудреца» въ концѣ 1815 г. способствовалъ (совершенно, впрочемъ, помимо своей воли), Донъ-Кихоть лицейскій, Кюхельбекеръ. Поощряемый Жуковскимъ, онъ хотя и упражнялся теперь преимущественно въ переводахъ съ русскаго на свой родной, нѣмецкій языкъ, но не могъ однако отказаться и отъ русскаго стихотворства. Даже на лекціяхъ нерѣдко обуревало его вдохновеніе. Разъ, вызванный къ доскѣ профессоромъ Карцовымъ, онъ второпяхъ обронилъ на полъ какой-то листокъ. Пушкинъ, къ ногамъ котораго упалъ листокъ, не замедлилъ поднять его и припрятать. Возвратясь отъ доски на свое мѣсто, Кюхельбекеръ началъ рыться у себя въ столѣ, сунулся въ столъ къ сосѣду, заглянулъ и подъ лавку—все, конечно, напрасно.

— Donnerwetter... ворчалъ онъ про себя.

— Да что ты потерялъ, Кюхля? спрашивали его сосѣди.

— Ничего! коротко отрѣзалъ онъ и уткнулся въ книгу.

Онъ былъ увѣренъ, что, по обычной своей разсѣянности, заложилъ стихи куда-нибудь въ тетрадь или книгу, и что они послѣ сами собой найдутся. Они, точно, нашлись, но не сами собой и не тамъ, гдѣ онъ думалъ.

Едва лицеисты собрались къ обѣду въ столовой и приня-

лись за супъ, какъ Пушкинъ зазвенѣлъ о стаканъ ложкой и провозгласилъ:

— Вниманія, господа! Въ математическомъ классѣ у насъ объявился нынче стихотворный найденышъ. Кто его къ намъ подбросилъ — одному Аллаху извѣстно. Но яблоко, говорятъ, падаетъ не далеко отъ дерева, и потому по яблоку мы, можетъ быть, доберемся и до дерева. Развѣсьте уши и утѣшьте души:

„Взликуйте, русскіе народы,  
Камчатки и Карпатскихъ горъ,  
Дуная, Вислы воды,  
Мы днесъ составимъ цѣльный хоръ.

„Всѣ племена славенска, члены  
Во сердцѣ съ правдою своемъ,  
Собравшись подъ свои знамены,  
Однимъ языкомъ воспоемъ.

„Страшилища Европы пали,  
Кичливый сверженъ мира врагъ,  
Какъ тѣ, что Бога воевали,  
Злодѣямъ-извергамъ на страхъ“.

Гомерическій хохотъ былъ отвѣтомъ на нескладныя, безграмотныя вирши. Кто былъ авторомъ ихъ — ни для кого не оставалось уже тайной, потому что Кюхельбекеръ, хотя и скорчилъ самую невинную рожу, но съ каждымъ стихомъ все болѣе багровѣлъ въ лицѣ и, наконецъ, нервно расплескалъ ложкой супъ на скатерть.

— Молодецъ, Виленька! вотъ такъ отличился! хохотали вокругъ товарищи.

— Чего вы пристали!.. это вовсе не я... неумѣло протестовалъ Виленька.

— Видѣнъ соколъ по полету, Донъ-Кихотъ по поступу. Второй куплетъ особенно великолѣпенъ. Прочти-ка его еще разъ, Пушкинъ!

— „Всѣ племена славенска, члены  
Во сердцѣ съ правдою своемъ...“



— Говорятъ же вамъ, что это не я... со слезами уже въ голосъ перебилъ Кюхельбекеръ.

— Ну, полноте, господа, заговорилъ Вальховскій. — Спрячь стихи, Пушкинъ, или, лучше, дай ихъ сюда.

— Нѣтъ, братъ, не отдавай: онъ ихъ разорветъ! крикнулъ Данзасъ. — Дай-ка лучше мнѣ: это такой кладъ для «Мудреца»...

Пушкинъ перебросилъ ему листокъ черезъ столъ. Кюхельбекеръ сорвался со стула, чтобы налету поймать листокъ; но, по неловкости, онъ опрокинулъ только графинъ съ водой, которая разлилась по всему столу. Листокъ же, между тѣмъ, безслѣдно исчезъ.

Дежурный гувернеръ, который нѣсколько разъ безуспѣшно старался унять шумящихъ, серьезно внушилъ имъ теперь «перестать» и кушать, если они не желаютъ, чтобы онъ послалъ сейчасъ за Степаномъ Степановичемъ, т. е. за грознымъ новымъ надзирателемъ Фроловымъ. Всѣ взялись опять за ложки, за исключеніемъ одного Кюхельбекера: онъ, видно, окончательно лишился аппетита и съ сердцемъ отодвинулъ отъ себя тарелку.

— Что же вы не кушаете, сеньоръ Ламанчскій? спросилъ его ближайшій сосѣдъ, графъ Брогліо.

— Не хочу.... былъ глухой отвѣтъ.

— Однако, приказаніе начальства! Не слышалъ развѣ?

— Отвяжись, говорятъ тебѣ!

— Ну, ужъ нѣтъ, какъ хочешь: противъ воли начальства никакъ невозможно.

Съ этими словами, неугомонный снова пододвинулъ къ Кюхельбекеру его тарелку и ласковымъ голосомъ дядьки, увѣщающаго строптиваго мальчугана, продолжалъ:

— „Сосѣдушка мой свѣтъ, пожалуйста, покушай!“

— Оставь меня, Броглію, прошу тебя... умоляющимъ уже тономъ проговорилъ Кюхельбекеръ.

Тотъ, однако, все не унимался:

— Ты сытъ по горло?

— Да, да...

— „И полно, что за счеты,  
Лишь стало бы охоты“...

— Да у него нѣтъ, кажется, хлѣба? замѣтилъ съ другаго конца стола Пушкинъ. — На вотъ, Кюхля, получай!

Онъ швырнулъ кусокъ хлѣба черезъ столъ, да такъ ловко, что хлѣбъ шлепнулся прямо въ тарелку рыцаря Ламанческаго — и супъ брызнулъ ему въ лицо. Терпѣніе бѣдняги лопнуло. Бормоча что-то безсвязное, онъ рванулся вонъ изъ-за стола. Но Броглію поймалъ его сзади за локти, насильно усадилъ опять на мѣсто и обратился къ Дельвигу, который сидѣлъ по другую его руку:

— Покорми же его, баронъ! Не видишь развѣ, что у мальчика языкъ заплетается?

И кроткаго въ другое время Дельвига обуялъ бѣсъ дурачества. Онъ зачерпнулъ ложкой супу и поднесъ ее къ губамъ Кюхельбекера.

— На, милочка, ѣшь на здоровье!

А что же гувернеръ?

Гувернера въ столовой уже не было: убѣдясь, что одному ему съ шалунами не управиться, онъ бросился за надзирателемъ.

Между тѣмъ, Кюхельбекеръ, поводя кругомъ налитыми кровью глазами, какъ дикій звѣрь въ сѣтяхъ, въ изступленіи барахтался и брыкался въ сдерживавшихъ его рукахъ силача Броглію; губы же его изрыгали отрывисто такія неприличныя рѣчи, какихъ отъ него никто еще до сихъ поръ не слыхалъ.

— Донъ-Кихоть нашъ съ ума сошелъ! Донъ-Кихоть взбѣсился! раздавалось вокругъ стола. — Облейте его водой!

Но воды подъ рукой у Дельвига не оказалось: опрокинутый Кюхельбекеромъ графинъ не былъ еще налитъ. Въ порывѣ мальчишества, не отдавая себѣ отчета въ своемъ поступкѣ, Дельвигъ схватилъ недоѣденную имъ тарелку супа и опорожнилъ ее на голову бѣснующагося.

Товарищи ахнули; самъ Дельвигъ, видимо, смутился, а Кюхельбекеръ, сдѣлавъ сверхъестественное усиліе, вывернулся изъ обхватывавшихъ его рукъ и опрометью кинулся къ выходу.

— Куда вы, Вильгельмъ Карлычъ? спросилъ его одинъ дядька, загораживая ему у дверей дорогу.

Рослый Донъ-Кихоть лицейскій отодвинулъ его, какъ ребенка, въ сторону.

— Помолись за мою грѣшную душу...

— Батюшки-свѣты! да онъ и то, вѣдь, рехнулся, руку на себя наложить!... вскричалъ дядька — и пустился въ погоню за нимъ.

Надо ли говорить, что и товарищи обезумѣвшаго не безучастно отнеслись къ этому и не остались сидѣть за столомъ?

Стояла глубокая осень; съ вѣтвистыхъ вѣковыхъ деревьевъ дворцоваго парка осеннимъ вѣтромъ срывало послѣдніе листья, и гуляющихъ почти нельзя было встрѣтить. Единственное исключеніе составлялъ докторъ Пешель. Имѣя наклонность къ тучности, онъ, навѣстивъ своихъ больныхъ въ Софіи (предмѣстїи Царскаго Села), каждый разъ, ради моціона, направлялся въ лицей не прямымъ путемъ по шоссе, а окольными аллеями черезъ паркъ, мимо большаго пруда. Каково же было теперь его удивленіе, когда, именно въ обѣденный часъ лицейстовъ, онъ наткнулся тутъ на весь старшій курсъ. Мало того: это была не обычная, чинная ихъ прогулка, а какая-то бѣшеная скачка или травля! Впереди всѣхъ, какъ преслѣдуемый звѣрь, мчался исполинскими шагами, въ одной курткѣ, съ непокры-



той, растрепанной головой, долговязый Кюхельбекеръ. За нимъ шагахъ въ тридцати, также налегкѣ, безъ фуражекъ, гнались гурьбой его товарищи, а въ арьергардѣ ковыляли, пыхтя и спотыкаясь, двое дядекъ - инвалидовъ. Докторъ едва успѣлъ посторониться отъ налетѣвшаго на него людскаго вихря.

— Что это съ Кюхельбекеромъ, Тома? крикнулъ онъ въ догонку послѣднему дядкѣ.

— Рехнулся... отвѣтилъ тотъ на-бѣгу, не умѣруя шага.

— Рехнулся? повторилъ про себя Пешель и взглянулъ на часы, точно справляясь, пора ли было Кюхельбекеру рехнуться.— Гмъ... фантастъ! и то, пожалуй, удереть штуку. Надо вернуться.

Когда онъ сталъ подходить къ большому пруду, донесшіеся до него оттуда смѣшанные крики ясно доказали, что «фантастъ удралъ уже штуку».

— Вонъ, вонъ! вынырнулъ, пузыри пускаетъ! кричалъ одинъ.

— Да вѣдь онъ плавать не умѣетъ! голосилъ другой.

Задыхаясь отъ одышки, толстякъ - докторъ уже бѣгомъ добрался до пруда. Большинство лицейстовъ, вмѣстѣ съ дядьками, беспомощно бродили по берегу, не зная что предпринять. Хотя снѣгъ еще не выпалъ, но въ тихихъ бухточкахъ поверхность воды кой-гдѣ уже затянуло тонкой ледяной корой. Въ нѣсколькихъ же шагахъ отъ берега, фыркая и захлебываясь, барахтался въ водѣ Кюхельбекеръ.

— Да нельзя ли хоть сбѣгать за лодкой? замѣтилъ Пешель.

— Ужъ побѣжали, отвѣчалъ одинъ изъ лицейстовъ:— Матюшкинъ да Дельвигъ, да еще кто-то.

— Помогите! донесся съ пруда отчаянный вопль.

— То-то вотъ: «помогите!» философствовалъ докторъ:— а кто въ воду толкалъ? не самъ развѣ полѣзъ?... Вы что это

дѣлаете, Вальховскій? обратился онъ къ Суворочкѣ-Вальховскому, который живо скинулъ съ плечъ куртку.

— Да вы развѣ не слышите, Францъ Осипычъ, что онъ зоветъ на помощь? отозвался тотъ, начиная снимать и сапоги.

— Вы, батенька, кажется тоже съ ума спятили? напустился на него Пешель.—Сейчасъ извольте-ка опять одѣться.

— Да поймите, докторъ, что онъ плавать не умѣетъ! А я, слава Богу, плаваю, какъ утка. Пустите меня...

— Нѣтъ, ужъ извините, не пущу! рѣшительно заявилъ докторъ, не выпуская его изъ рукъ.— При вашей слабой комплекціи, вы отъ такой ванны схватите горячку...

— А потомъ, небось, мы и отвѣчай за васъ? раздался возлѣ рѣзкій посторонній голосъ.

Спорящіе у видѣли передъ собою надзирателя, подполковника Фролова, а вмѣстѣ съ нимъ временнаго директора Гауеншильда и дежурнаго гувернера.

Всѣхъ болѣе, казалось, растерялся Гауеншильдъ. То и дѣло хватаясь за голову, онъ причитывалъ ломанымъ русскимъ языкомъ:

— Я сказалъ, что не можно быть такъ безъ директора,— и не можно! Коли не придетъ новый деректоръ, я отставку подамъ... Завтра-жъ отправлюсь съ мадамъ и kleiner Сашей...

«Мадамъ» была его супруга—Madame Hauenschild; kleiner Саша—сынокъ ихъ.

— Да вонъ, ваше высокоблагородіе, и лодка! успокоилъ его подвернувшійся дядька.—Ишь, вѣдь, какъ лихо гребутъ! Мигомъ выудятъ.

И точно, не прошло пяти минутъ, какъ утопленникъ былъ благополучно выловленъ изъ воды и уложенъ на днѣ лодки, а спустя еще полчаса онъ потѣлъ подъ двумя одѣялами въ лицейскомъ лазаретѣ. Баронъ Дельвигъ, въ качествѣ сидѣлки, усердно поилъ его потогоннымъ чаемъ, который предписалъ

простуженному докторъ. Даже крѣпкая натура Кюхельбекера не выдержала купанія въ ледяной водѣ, и ночью у него открылся жаръ и бредъ. Дельвигъ, изнемогая отъ усталости, все-таки дежурилъ безсѣнно у его изголовья. Докторъ Пешель, на всѣ дѣлаемые ему вопросы, мычалъ только что-то подъ носъ себѣ; но озабоченный видъ его показывалъ, что положеніе больного не шуточное. Скрыть отъ министра настоящій при- скорбный случай не представлялось возможности. Послѣ всесто- ронняго обсужденія вопроса въ лицейской конференціи, въ Петербургъ былъ отправленъ рапортъ о томъ, что Кюхельбе- керъ, въ припадкѣ горячки, выскочилъ, дескать, изъ лазарета и бросился въ прудъ; въ правленіи же лица, какъ слѣдуетъ, было заведено особое дѣло: «Объ умомъ помѣшательствѣ Кюхельбекера».

На третій день, впрочемъ, Кюхельбекеръ пришелъ въ себя, и первое, что услышали отъ него докторъ и Дельвигъ, были стихи, которые онъ прочелъ замогильнымъ голосомъ, не рас- крывая глазъ:

— „Сажень земли—мое стяжанье,  
Мнѣ отведенъ смиренный домъ:  
Здѣсь спать надежда и желанье,  
Окованъ страхъ желѣзнымъ сномъ;  
Безмолвно все въ подземной кельѣ...“

— Слава Богу, опять стихи сочиняетъ! вздохнулъ изъ глубины души Дельвигъ. — Онъ, кажется, очувствовался, Францъ Осипычъ?

— Кажется, что такъ, отвѣчалъ Францъ Осиповичъ и взялъ больного за пульсъ. — Ну, что, любезный паціентъ, выспались?

— Ахъ, докторъ, зачѣмъ вы меня сбили! проворчалъ паціентъ, щурясь отъ свѣта:

„— Безмолвно все въ подземной кельѣ...“



Дальше вотъ и забылъ!...

— Послѣ вспомнишь, душа моя, вѣшался Дельвигъ, наклоняясь надъ товарищемъ. — Не сердись, Кюхельбекеръ! Я виноватъ, кругомъ виноватъ, но, право, я никакъ не могъ представить себѣ...

— Ничего, мой другъ... Господь съ тобой... Когда меня похоронять, вели только сдѣлать на камнѣ эту надпись...

— Рано вздумалъ помирать! перебилъ Пешель. — Вы еще насъ всѣхъ переживете.

— Ну, конечно! подхватилъ Дельвигъ. — А эти стихи твои, право, очень даже складны.

Больной застѣнчиво улыбнулся.

— Ты находишь? Ну, спасибо-тебѣ, баронъ, за доброе слово! Если хочешь, я тебѣ ихъ даже...

— На могильный камень пожертвуешь? весело добавилъ Дельвигъ. — За честь почту; очень обяжешь.

Такъ переполохъ съ Кюхельбекеромъ, угрожавшій трагической развязкой, окончился ко всеобщему удовольствію вполне мирно и имѣлъ свою комическую сторону. Слѣдующій же № «Лицейскаго Мудреца», не менѣе какъ въ трехъ статьяхъ и въ одной карикатурѣ, увѣковѣчилъ этотъ любопытный въ исторіи лица эпизодъ. Во-первыхъ, «національная пѣсня» лицейстовъ обогатилась новымъ куплетомъ:

«Коль не придетъ директоръ,  
Отставку я подамъ,  
И завтра-жъ съ kleiner Самой  
Отпращусь и съ мадамъ.»

Далѣе, въ отдѣлѣ «Критика», появилась статья: «Найденныи», гдѣ были выписаны приведенные выше патріотическіе стихи Кюхельбекера, и раскритикованы, какъ говорится, въ пухъ и въ прахъ, причемъ такъ и пояснено, что эта «высокая одическая бессмыслица пиндарическаго порядка»

есть найденышъ: «ее отыскали въ обширныхъ степяхъ математическаго класса, и потому она немного холодна».

Наконецъ, въ отдѣлѣ: «Политика» было помѣщено странное письмо къ издателю «отъ морскаго корреспондента, живущаго въ Харибдѣ». Въ письмѣ этомъ, послѣ описанія большаго торжества у жителей моря, по случаю праздника царя ихъ Нептуна, рассказывалось такъ:

«Въ то время, какъ все предавалось шумной радости, вдругъ возмущилась стекляная поверхность водъ. Смотримъ и видимъ блѣдную, толстую, съ большимъ краснымъ носомъ фигуру \*). Все было на немъ въ безпорядкѣ. Одной рукой хлопалъ онъ себя по ногѣ, въ другую хрюкалъ. Онъ снизшелъ и тотчасъ, навалившись на спину Нептуна, началъ ему басомъ говорить слѣдующіе стихи:

«Сядемъ, любезный Нептунъ, подъ тѣнью зеленыхъ роши...» \*\*).

«Нептунъ танцевалъ тогда мазурку и потому чрезвычайно вспотѣлъ, а этотъ неучъ навалился на него и скоро получилъ бы сильнѣйшій кулакъ... какъ вдругъ какой-то багоръ схватилъ его за галстукъ и потащилъ вверхъ...»

Иллюстраціей въ письму «морскаго корреспондента» служила карикатура Илличевского, точную копію съ которой (только безъ красокъ) мы имѣемъ возможность представить читателямъ.

«Помѣшательство» Кюхельбекера было явленіемъ не случайнымъ, единичнымъ: оно было одною изъ многихъ неурядицъ двухлѣтняго періода лицейскаго безначалія; оно было началомъ конца — конца «междоцарствія».



\*) Въ подлинникѣ сдѣлана выноска: «Фигура Синтезисъ» — острота, вызванная, вѣроятно, класснымъ урокомъ, гдѣ говорилось о синтезисѣ (мысленное соединеніе частей въ цѣлое) въ противоположность анализу (разложеніе цѣлаго на части).

\*\*) Пародія на извѣстную оду Дельвига:

«Сядемъ, любезный Діонъ...»





Вторая карикатура на Кюхельбекера.  
Снимок съ карикатуры изъ журнала „Лицейскій Мудрецъ“







## ГЛАВА XIII.

### Мракобѣсіе лицеистовъ.

«Тогда я демоновъ увидѣлъ черный рой,  
Подобный издали ватагъ муравьиной,  
И бѣсы тѣшились проклятою игрой...»

(Подраженіе Данту.)



акъ добрый товарищъ, Пушкинъ никогда не уклонялся отъ участія въ какихъ бы то ни было ребяческихъ продѣлкахъ лицеистовъ; но въ то же время онъ неустанно трудился, чтобы достигнуть высокой цѣли — принести посильную дань родной литературѣ. Именно трудился, потому что хотя науками на школьной скамьѣ онъ занимался попрежнему не очень прилежно, такъ что впослѣдствіи долженъ былъ стараться пополнить пробѣлы своего школьнаго образованія; но своей неозательной работѣ — собственнымъ стихамъ и собственной прозѣ — онъ посвящалъ цѣлые часы, исправляя, отдѣливая каждую фразу до тѣхъ поръ, пока не оставался ею вполне доволенъ. Поэтическихъ же тѣмъ въ головѣ у него роилось такъ много, что онъ не зналъ, за которую раньше приняться. Выше было уже упомянуто довольно подробно о его поэмѣ-сказкѣ «Фатама». Затѣмъ, въ своихъ автобіографическихъ запискахъ конца 1815 г., онъ еще говоритъ:

«Началъ я комедію,—не знаю, кончу ли ее. Третьягодня

хотѣлъ я написать прозаическую поэму: «Игорь и Ольга».

«Лѣтомъ напишу я «Картину Царскаго Села»:

1. Картина сада.
2. Дворецъ. День въ Царскомъ Селѣ.
3. Утреннее гулянье.
4. Полуденное гулянье.
5. Вечернее гулянье.
6. Жители Царскаго Села».

Какую именно комедію свою разумѣлъ онъ здѣсь, видно изъ письма Иличевскаго къ другу его Фуссу (отъ 16-го января 1816 г.):

«Кстати о Пушкинѣ: онъ пишетъ теперь комедію въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, подъ названіемъ «Философъ». Планъ довольно удаченъ, и начало, т. е. первое дѣйствіе, до сихъ поръ только написанное, обѣщаетъ нѣчто хорошее; стихи—и говорить нечего, а острыхъ словъ—сколько хочешь!... Дай Богъ ему успѣха — лучи славы его будутъ отсвѣчиваться и на его товарищахъ».

(Пророческія слова!)

Ни «Фатама», ни «Философъ» не дошли, однако, до насъ, а «Игорь и Ольга», «Картины Царскаго Села» и, конечно, масса другихъ еще замысловъ такъ и остались въ зародышѣ, безъ исполненія. Что «Фатама», впрочемъ подобно «Философу», была начата и, во всякомъ случаѣ, доведена уже до третьей главы, видно изъ тѣхъ же записокъ (отъ 10-го декабря 1815 г.), гдѣ значится:

«Вчера написалъ я третью главу «Фатама, или разумъ человѣческій»; читалъ ее С. С., и вечеромъ съ товарищами тушилъ свѣчки и лампы въ залѣ. Прекрасное занятіе для философа! Поутру читалъ жизнь Вольтера...»

Такъ, кажется, и видишь нашего школьника-философа, какъ онъ, пожимая плечами, съ усмѣшкой говоритъ:



— Ну, что-жъ! порѣзвился, поразмялъ члены, а тамъ опять за работу.

С. С., которому читалъ свою поэму, былъ никто иной, какъ Степанъ Степановичъ Фроловъ, надзиратель лицейскій. Отставной подполковникъ, солдатъ аракчеевскаго закала съ головы до пятокъ, Фроловъ въ дѣлѣ воспитанія выше всего ставилъ строгую дисциплину. Если ему, въ теченіи короткой бытности его въ лицей, не удалось еще «приструнить», «вымуштровать» распущенныхъ «мальчишекъ», то единственно потому (какъ увѣрялъ онъ, по крайней мѣрѣ, самъ), что «руки у него были коротки»: что надъ нимъ стояли и временной директоръ, и конференція.

Слава Пушкина, какъ перваго лицейскаго стихотворца, дошла, конечно, и до ушей Фролова. Но онъ не придавалъ ей никакого значенія до тѣхъ поръ, пока новое патріотическое стихотвореніе нашего поэта не затронуло въ груди браваго воина сочувственной струны. 1-го декабря 1815 г., императоръ Александръ Павловичъ вторично вернулся изъ Парижа, и Пушкинъ по этому поводу написалъ свои извѣстные стихи: «На возвращеніе Государя Императора изъ Парижа въ 1815 году». Вспоминая, вѣроятно, свое собственное участіе въ знаменитомъ Кульмскомъ бою, Фроловъ однажды, совершенно неожиданно, при встрѣчѣ съ Пушкинымъ, выпалилъ въ него его же стихами:

— «Сыны Бородина, о Кульмскіе герои,  
Я видѣлъ какъ на брань летѣли ваши строи..»

— Молодецъ-мужчина! отвелъ душу...

Въ рѣдкихъ порывахъ благосклонности къ воспитанникамъ, надзиратель удостоивалъ ихъ отческимъ «ты».

— Да у меня есть еще и лучше стихи, не утерпѣлъ похвалиться Пушкинъ.

— Ну?

— Увѣрю васъ, Степанъ Степанычъ.

— Тащи!

Ослушаться надзирателя — при его вспыльчивости — было немыслимо. Да, съ другой стороны, молодому автору было и лестно, что суровый «сынъ Марса», ничего писаннаго, кромѣ рапортовъ, не признававшій, заинтересовался его юношескими опытами.

— Слушаю-съ, сказалъ онъ и побѣждалъ за двумя окончательно имъ пересмотрѣнными и перебѣленными главами «Фатамы».

На другое утро Фроловъ, выстраивая лицейстовъ въ ряды, чтобы вести ихъ въ классъ, и только-что прикрикнувъ на нихъ: «смирно!» вдругъ обернулся въ поворотъ къ Пушкину и какъ-бы невзначай проронилъ:

— А дальше-то?

Пушкинъ понялъ сейчасъ, что рѣчь идетъ о его поэмѣ.

— Дальше еще не готово, Степанъ Степанычъ...

— А-съ?

— Не дописалъ.

— Вотъ нѣ! Зачѣмъ же по губамъ помазали?

— Да некогда: лекціи.

— Гмъ!... А когда поспѣетъ?

— Третья-то глава у меня вчернѣ тоже, пожалуй, написана...

— Ну, и прислать!

— Вы ничего не поймете.

— Что-о-о-съ?! Да вы, молодой человѣкъ, забываетесь..  
Руки по швамъ!

— Каракуль моихъ не разберете.

— А! Не ваше дѣло.

Надзиратель обратился опять къ остальнымъ лицеистамъ, въ рядахъ которыхъ слышалось перешептыванье.

— Но-съ! Это еще что? Равняйся! Съ лѣвой ноги начинай... Кюхельбекеръ! вы что? воронъ считаете? Гдѣ у васъ лѣвая нога?

Кюхельбекеръ отдернулъ выставленную правую ногу.

— Носки внизъ! Вольнымъ шагомъ маршъ! Разъ-два! разъ-два!

Недаромъ Пушкинъ предупреждалъ Фролова, что тому не разобрать его каракуль. Въ рекреацію послѣ ужина, онъ былъ вызванъ лично на квартиру надзирателя.

— У васъ тутъ самъ чортъ ногу сломить! было первое при-  
вѣтствіе, съ которымъ встрѣтилъ его хозяинъ.

— Да я же говорилъ вамъ, Степанъ Степановичъ, отвѣчалъ Пушкинъ, съ трудомъ удерживаясь отъ улыбки.

— А-съ? Вотъ стулъ. Вотъ ваше чертово писанье. Извольте читать.

Пушкинъ усѣлся на указанный стулъ, раскрылъ тетрадь и началъ:

— «Глава третья...»

— Стой! крикнулъ вдругъ Степанъ Степановичъ такъ оглушительно-громко, что Пушкинъ даже вздрогнулъ. — Человѣкъ! трубку!

Стоявшій на часахъ за дверьми «человѣкъ», т. е. сторожъ-инвалидъ, бросился со всѣхъ ногъ въ комнату исполнить приказаніе. Набивъ начальнику свѣжую трубку, онъ повернулся-было налѣво кругомъ, но былъ остановленъ окрикомъ:

— Куда?! Ни съ мѣста!

Онъ замеръ, какъ статуя. Степанъ Степановичъ, пуская къ потолку клубы дыма, болѣе милостиво отнесся къ молодому гостю съ обычнымъ лаконизмомъ:

— А сахарной воды?

— Нѣтъ, благодарю, отвѣчалъ Пушкинъ такъ-же лаконично.

— Чего сталъ? Но! буркнулъ надзиратель на человѣка-статую, и тотъ какъ явился, такъ и исчезъ мгновенно.



Чтеніе началось. Пушкинъ вообще читалъ хорошо, а на этотъ разъ еще особенно постарался. Дѣйствіе его чтенія на единственнаго слушателя тотчасъ сказалось. Сначала Фроловъ только «хмыкалъ», потомъ сталъ издавать одобрительные возгласы: «Эхе!» «Ишь-ты! поди-ка, на!» «Экъ его нелегкая!» наконецъ толкнулъ костлявой рукой колѣно молодого чтеца и прервалъ его:

— Постой, минутку! Такъ, стало, это молодчикъ-то твой изъ взрослого человѣка да мальчикъ-съ-пальчикъ сталъ?

Пушкинъ поднималъ глаза съ рукописи, чтобы отвѣтить. Но отвѣтить ему не пришлось. Сидя лицомъ къ входной двери, онъ, за спиной начальника, увидѣлъ вдругъ на порогѣ Пущина, который дѣлалъ ему какіе-то телеграфные знаки.

— Виновать, Степанъ Степанычъ... сказалъ онъ и живо приподнялся.

— Куда? Нездоровится, что ли?

— М-да...

— Такъ капли?

— Благодарю васъ... Я сейчасъ...

И, не слыша уже, что кричалъ ему еще вслѣдъ хозяинъ, забывъ на столѣ и тетрадь, онъ выскочилъ вонъ.

Покачавъ головой, Степанъ Степанычъ взялъ опять въ руки замысловатую сказку и сталъ ее перечитывать сначала. Лобъ его то и дѣло морщился, губы скашивались на сторону и бормотали что-то далеко не лестное для почерка автора.

Прошло пять минутъ, прошло десять, а автора все не было.

— Человѣкъ! крикнулъ надзиратель.

Тотъ, однако, тоже куда-то отлучился: ничего рядомъ не шелохнулось. Фроловъ раздраженно ударилъ кулакомъ по столу.

— Человѣкъ!

Хлопнула отдаленная дверь, послышались поспѣшные шаги

и въ комнату, вмѣсто «человѣка», влетѣлъ вихремъ младшій дядька С а з о н о в ъ.

— Бѣда, ваше высокоблагородіе! Пожалуйте на секурсъ! Старый奴жакъ разомъ встрепенулся и былъ на ногахъ.

— Что тамъ?

— Да въ рекреационномъ-то залѣ тьма кромѣшная...

— Ну?

— Всѣ лампы потушены, и такой содомъ... свѣтопредставленіе, одно слово.

Глаза надзирателя зловѣще засверкали...

— И Пушкинъ тамъ-же?

— Кажись, что вмѣстѣ съ другомъ своимъ Пушинымъ-съ прошмыгнули.

— Га!... Ну, голубчики-сударики!...

Еще на лѣстницѣ, за два перехода отъ рекреационнаго зала, до него донесся такой гвалтъ, что онъ счелъ нужнымъ походный шагъ свой обратить въ бѣглый.

— Слава Богу! Мы васъ ждемъ не дождемся, полковникъ... крикнулъ ему навстрѣчу дежурный гувернеръ, К а л и н и ч ъ, который съ толпой дядекъ и сторожей-инвалидовъ стоялъ въ нерѣшительности около дверей въ залъ. Двери были притворены, но, тѣмъ не менѣе, отъ долетавшаго изъ-за нихъ шума едва можно было разобрать свою собственную рѣчь.

— Стыдно, Фотій Петровичъ, стыдно-съ! укорилъ подчиненнаго «полковникъ».

— Да я только вышелъ на минутку; какъ вдругъ-съ...

— Стыдно-съ! Отчего не войдете?

— Да я вотъ посылалъ Леонтья, какъ старшаго дядьку, зажечь тамъ лампы...

— Ну?

— Отказывается...

— Что-о-о?!

Впередъ выступилъ теперь самъ старикъ-оберпровіантмейстеръ и старшій дядька Леонтій Кемерскій.

— Не то, чтобъ отказывался, ваше высокоблагородіе, съ достоинствомъ заговорилъ онъ: — а думалъ, не вышло бы оказіи... Ежели же оставить ихъ такъ, — пошумятъ, пошумятъ, да и уймутся.

— Трусъ!

— Георгіевскій кавалеръ, сударь, не можетъ быть трусомъ! оскорбленно и гордо отозвался старикъ-дядька, указывая на бѣлый крестикъ, украшавшій его грудь въ ряду другихъ крестовъ и медалей. — Не разъ за царя и отечество кровь проливалъ. Но тутъ не врагъ какой, а большія дѣтки, да и дѣтки-то не простыя, а дворянскія: ихъ пальцемъ не моги тронуть, а тебя они сгоряча да съ ребячьей дури на свою же бѣду пристукнутъ...

— Ну, и трусъ, значить! нахально перебилъ его младшій дядька Сазоновъ. — Ваше высокоблагородіе! дозвольте мнѣ вести туда всю команду?

Благодаря своей необыкновенной шустрости и пронырливости, Сазоновъ въ короткое время успѣлъ расположить въ свою пользу черезчуръ довѣрчиваго и простаго Фролова. Выказанное имъ въ настоящемъ случаѣ мужество особенно подняло его въ глазахъ отставнаго воина.

— Мнѣ сдается, Леонтій, сухо замѣтилъ надзиратель, — что тебѣ пора совсѣмъ на покой, а на твое мѣсто найдется кто помоложе.

Сазоновъ окинулъ Леонтья торжествующимъ взглядомъ.

— Такъ прикажете идти, что ли, ваше высокоблагородіе?

— Виноватъ, Степанъ Степанычъ, счелъ нужнымъ вмѣшаться тутъ гувернеръ. — Вѣдь, съ молодежью этой инвалидамъ нашимъ не легко будетъ управиться. А выйдетъ что, такъ отвѣтственность на комъ, прежде всего, ляжетъ-съ? Мы съ вами все-же не первыя спицы въ колесницѣ...



Степанъ Степановичъ мрачно насупился, но отказался уже, повидимому, отъ насильственныхъ мѣръ.

— Такъ вы полагаете капитулировать? нехотя процѣдилъ онъ сквозь зубы.

— Осторожнѣе-съ...

— Гмъ...

Онъ испустилъ глубокій вздохъ; потомъ разомъ раскрылъ настежь дверь въ рекреационный залъ и по-военному зычно крикнулъ:

— Смир-но!

Когда же стоявшій въ непроглядномъ мракѣ зала гомонъ мгновенно затихъ, онъ спросилъ:

— Пушкинъ! вы тамъ?

— Здѣсь, откликнулся изъ темноты голосъ Пушкина.

— Пожалуйте-ка сюда!

— Не ходи! закричало нѣсколько голосовъ. — Не пускайте его, господа!

— Я за тебя пойду, Пушкинъ! вызвался басъ съ нѣмецкимъ акцентомъ, и на порогѣ появилась высокая, неуклюжая фигура Кюхельбекера.

— Что вамъ угодно, Степанъ Степанычъ?

Не успѣлъ Степанъ Степанычъ еще отвѣтить, какъ нѣсколько таинственныхъ рукъ съ крикомъ: «Ты куда?» протянулось изъ темноты за непрощеннымъ посредникомъ, поймало его за шиворотъ, за чтò попало; въ воздухѣ мелькнули его ноги и руки—только его и видѣли! Изъ темнаго зала грянулъ раскатистый хохотъ. Инвалиды и гувернеръ также не могли удержаться отъ смѣха. Даже на строгихъ губахъ надзирателя на минутку заиграла улыбка.

— Такъ что же, Пушкинъ? громко повторилъ онъ.

— Позвольте, братцы! это ужъ мое дѣло! заговорилъ Пушкинъ и, вслѣдъ затѣмъ, протѣснился впередъ къ начальнику.

— Такъ вотъ зачѣмъ вы ушли отъ меня? укорилъ его тотъ: — чтобы баламутить другихъ?

— Не за этимъ, просто отвѣчалъ Пушкинъ: — меня позвали...

— Кто?

— Извините, если умолчу. Позвали — я не зналъ для чего. Но разъ я здѣсь, такъ не выдавать же товарищей: на міру и смерть красна.

Между тѣмъ, въ залѣ снова поднялся шумный говоръ, но уже говоръ спорящихъ:

— Нѣтъ, нѣтъ! мы не согласны! горланило нѣсколько человѣкъ.

— Да, вѣдь, это, господа, наконецъ, глупо! можно было разслышать голосъ Суворочки-Вальховскаго. — Пошумѣли — и будетъ. Зачѣмъ же еще доводить до непріятностей?

— Но теперь, насъ все равно накажутъ...

— Я объяснюсь.

Опять поднялось нѣсколько протестовъ, но также бесполезно; около Пушкина изъ темноты вынырнула фигура Вальховскаго.

— Дозвольте намъ, Степанъ Степанычъ, разойтись по дортуарамъ, началъ онъ.

— Га! произнесъ Степанъ Степановичъ. — А тамъ вы, небось, опять набѣдокурите...

— Нѣтъ, увѣряю васъ, съ насъ довольно.

— Ой-ли? А кто мнѣ за то отвѣтитъ?

— Я вамъ отвѣчаю и за себя и за товарищей словомъ лицеиста.

— Такъ... Ну, слово лицеиста, должно быть, вамъ не менѣе свято, какъ нашему брату слово офицера: Богъ вамъ на сей разъ судья — расходитесь!

Самъ Вальховскій былъ нѣсколько озадаченъ такой сговор-

чивостью непреклоннаго всегда надзирателя. Но задумываться надъ этимъ ему не пришлось: товарищи изъ рекреационнаго зала внимательно слѣдили за его переговорами, и теперь такъ дружно наперли на вторую половинку двери, что та распахнулась съ трескомъ. И пачальство, и подначальная инвалидная команда поспѣшили дать дорогу молодежи, которая хлынула оттуда бурной волной.

— Вѣдь я же докладывалъ вашему высокоблагородію... замѣтилъ Леонтій Кемерскій.

— Что-о-о? ты еще разговаривать? вскинулся на него Фроловъ.— Не быть тебѣ старшимъ дядькой, сказано тебѣ,— и не будешь!

То была не пустая угроза: черезъ нѣсколько дней она оправдалась на дѣлѣ.







## ГЛАВА XIV.

### Конецъ междуцарствія.

«И что-жъ? — попались молодцы;  
Недолго братья пировали:  
Поймали насъ — и кузнецы  
Насъ другъ ко другу приковали».

(Братья-разбойники.)



ласенныя занятія лицейстовъ передъ рождественскими праздниками 1815 года были прекращены дня за два до сочельника. Но пока товарищи Пушкина на-радостяхъ задумывали новыя проказы, самъ онъ уединился въ своей камерѣ, чтобы набросать на бумагу то, что назрѣло у него въ головѣ во время послѣдней лекціи. То не была, однако, на этотъ разъ какая-нибудь обширная поэма. Восьмилѣтняя сестрица друга его, Дельвига, Мими, или Машенька, съ которой онъ видѣлся только однажды — въ день своего пріемнаго экзамена, просила его письменно черезъ брата написать ей что-нибудь въ альбомъ. Значитъ, и до нея даже, маленькой крошки, туда, въ Москву, дошла вѣсть о его талантѣ! Онъ только-что дописывалъ послѣднія строки, какъ въ комнату къ нему ворвались два пріятели: Пущинъ и Малиновскій.

— Такъ, вѣдь, и есть! сказалъ Малиновскій: — опять скрипитъ перомъ! Идемъ-ка сейчасъ съ нами.

— Минутку... попросилъ Пушкинъ:—только пару словъ...

— Ни полслова.

Рѣшительный и живой Малиновскій вырвалъ у него изъ подъ рукъ бумагу и, кажется, смялъ бы ее въ комокъ, если бы Пущинъ не удержалъ его за руку.

— Постой, Казакъ! (К а з а к ъ было лицейское прозвище Малиновскаго.)

— Да, вѣдь, надо же его хоть разъ наказать...

— И другихъ вмѣстѣ съ нимъ! Ты для кого это пишешь, Пушкинъ?

— Для сестры Дельвига, Мими.

— Вотъ видишь ли, Малиновскій: наказалъ бы и дѣвочку, и нашего милаго барона.

— Такъ бы сейчасъ и сказалъ, отозвался Казакъ-Малиновскій и возвратилъ стихи автору, который, приподнявъ крышку конторки, спряталъ ихъ туда.

— Что вы тамъ опять затѣваете, господа? спросилъ онъ.

— А вотъ что... началъ Малиновскій.

— погоди! остановилъ его Пущинъ и, подойдя къ двери, оглядѣлъ коридоръ. — Нѣтъ ни души. А то, вишь, могли бы подслушать. Говори, только потише.

— Вотъ что, продолжалъ, понизивъ голосъ, Малиновскій: — мы завариваемъ гоголь-моголь.

— Доброе дѣло! сказалъ Пушкинъ и даже облизался. — Но матеріалы?

— Матеріалы всѣ на лицо: два десятка яицъ, сахаръ, ромъ...

— И ромъ? Какъ же это Леонтій рѣшился дать вамъ? Вѣдь, онъ Степаномъ Степанычемъ такъ запуганъ, что едва ситника съ патокой отъ него раздобудешь.

— Мы и то еле-выклячили у него лица да сахаръ. За ромомъ пришлось откомандировать Оому.

— Да онъ-то какъ не побоялся?

— И онъ тоже долго ломался; но когда мы его увѣрили, что всю отвѣтственность беремъ на себя и посулили ему сребренникъ, то онъ не устоялъ.

— Развѣ-что сребренникъ! А гдѣ же мѣсто дѣйствія?

— Угадай.

— У одного изъ васъ?

— Нѣтъ.

— У Оомы?

— О, нѣтъ! Коморка его слишкомъ тѣсна да и душна.

— Такъ гдѣ же?

— Въ карцерѣ!

Пушкинъ звонко расхохотался.

— Вотъ это гениально! И идти-то потомъ недалеко, коли засадятъ. Ну, такъ руки по швамъ, налѣво кругомъ и маршъ!

— Тссс!... сказалъ вдругъ, поднимая палецъ, Пушинъ:— кто-то, кажется, крадется къ намъ по коридору.

Онъ на цыпочкахъ приблизился опять къ двери, за которой шорохъ уже затихъ. Лампы въ полутемномъ коридорѣ были зажжены, и потому сквозь рѣшетчатое окошечко Пушинъ ясно могъ разглядѣть прикорнувшую на полу фигуру въ солдатской формѣ.

— Ты что тамъ дѣлаешь? крикнулъ онъ въ окошечко.

Фигура мигомъ шарахнулась въ сторону и, согнувшись въ три погибели, бросилась вонъ.

— Кто это былъ тамъ? въ одинъ голосъ спросили Пушкинъ и Малиновскій.

— А все дрянъ эта, Сазоновъ! отвѣчалъ Пушинъ. — Вообразилъ, вишь, что его не узнаютъ.

— Плутъ этотъ и давеча прошмыгнулъ мимо, когда я у Леонтья заказывалъ яицъ да сахару, замѣтилъ Малиновскій.

— Ну, вотъ! Того и гляди, что выдастъ. На всякій слу-



чай, господа, не уйти ли намъ по-одиночкѣ отсюда? Вы ступайте прямо на мѣсто, а я заверну еще къ Өомѣ — узнать, поставленъ ли у него самоваръ.

— А не позвать-ли еще барона? предложилъ Пушкинъ.

— Что-жъ? Зови, пожалуй, веселѣе будетъ.

Когда Пушкинъ съ барономъ Дельвигомъ спустились въ уединенный карцеръ, то застали уже тамъ всѣхъ за работой: Пущинъ толочъ сахаръ, Малиновскій билъ яйца, а дядька Өома возился около дымящагося самовара.

— Ну, а теперь, братецъ, убирайся! сказалъ послѣднему Малиновскій.—Да чуръ, никому ни гугу. Слышишь?

— Слушаю-съ.

— А пущѣ всего Сазонову.

— Да ужъ съ этимъ аспидомъ я и слова не промолвлю.

— И прекрасно. Проваливай!

Гоголь-моголь удался на-славу. Никто не потревожилъ четырехъ друзей, пока они не напились веласть. Но гоголь-моголь, какъ извѣстно, очень сытенъ, такъ-что изъ двухъ десятковъ заготовленныхъ яицъ остались еще нетронуты штукъ шесть-семь, и очень кстати пожаловали тутъ двое непрошенныхъ гостей—графъ Броглю и Тырковъ.

— Эге-ге! дѣло въ полномъ ходу! сказалъ, заглядывая въ щелку, Броглю и свистнулъ.—Можно войти?

— Милости просимъ! отвѣчалъ Малиновскій. — Но какъ вы, братцы, пронюхали?

— Верхнимъ чутьемъ.

— Нѣтъ, нижнимъ: черезъ Сазонова! перебилъ Тырковъ и, чрезвычайно довольный своей дешевой остротой, во все горло захохоталъ.

Пущинъ переглянулся съ тремя пріятелями.

— Ну, что я давеча говорилъ? Сазоновъ—ужасный пройдоха! Однимъ ужъ выдалъ.

— А тебѣ жалко, небось, подѣлиться съ нами? спросилъ Броглю.

— Нѣтъ, сдѣлай милость...

— Да у васъ тутъ, пожалуй, ничего путнаго и не осталось?

— А вотъ, видишь, сколько еще яицъ и сахару; рому же мы почти вовсе не тронули: подливали только для аромату.

— Эхъ вы, горе-лицеисты! Что, братъ Тырковіусъ, покажемъ имъ, какъ надо варить гоголь-моголь? отнесся онъ къ своему спутнику и хлопнулъ послѣдняго по плечу съ такой силой, что тотъ даже присѣлъ.

— Покажемъ! молодцовато отозвался простоватый Тырковъ. — Заваривай!

...Прозвонилъ вечерній 9-ти-часовой звонокъ, сзывавшій лицеистовъ къ ужину. Но въ столовой не было еще ни души. Дежурный гувернеръ Калиничъ направился въ рекреаціонный залъ, откуда доносились гамъ и хохотъ.

Центромъ веселья оказался Тырковъ, котораго, посреди зала, широкимъ кругомъ обступили товарищи.

— Ай-да Тырковіусъ! Ну-ка еще! раздавались кругомъ одобрительные крики.

При входѣ гувернера произошло общее смятеніе, и всѣ со смѣхомъ повалили въ столовую, оставивъ посреди зала одного «Тырковіуса». Тотъ, лихо подбоченясь и разставивъ ноги, посоловѣлыми глазами уставился на Калинича и щелкнулъ языкомъ.

— Да вы здоровы ли, Тырковъ? спросилъ гувернеръ, подозрительно всматриваясь въ него.

— Покорнѣйше васъ благодарю! отвѣчалъ Тырковъ, во весь ротъ осклабяясь и отвѣшивая необычайно развязный поклонъ. — А ваше здоровье какъ, Фотій Петровичъ?

— Вы, въ самомъ дѣлѣ, кажется, не совсѣмъ въ нормальномъ состояніи, еще болѣе настоятельно замѣтилъ Фотій Петро-

вичъ. — Я совѣтовалъ бы вамъ теперь же идти къ себѣ въ камеру и прилечь.

— Безъ ужина? За что-же-съ это?

— Вы и такъ, кажется, лишнее перехватили...

— Ахъ, нѣтъ-съ, совсѣмъ даже не лишнее: чуточку только гоголю-моголю...

— То-то вотъ чуточку! Ступайте-ка, право, наверхъ къ себѣ и не показывайтесь больше.

— Фотій Петровичъ, голубчикъ! слезно уже взмолился Тырковъ. — Мнѣ до тошноты ѣсть хочется! Дозвольте поужинать съ другими въ столовой!

— Но общаетесь ли вы вести себя скромно?

— Ужъ такъ скромно, Фотій Петровичъ! Сами знаете, какъ я скромень...

— Ну, Богъ съ вами! Только смотрите у меня!

Но, несмотря на свое общаніе, Тырковъ, подзадориваемый за столомъ товарищами, продолжалъ выказывать такое «ненормальное» настроеніе, что Фотій Петровичъ счелъ, наконецъ, нужнымъ послать за надзирателемъ Фроловымъ. Тотъ не замедлилъ явиться, и начался формальный допросъ.

Отъ лицеистовъ надзиратель ничего не добился; точно также и прислуга сначала отъ всего отпѣкивалась. Но подвернувшійся тутъ Сазоновъ будто проговорился, что слышалъ кое-что отъ Леонтья. Потомъ, будто припертый къ стѣнѣ начальникомъ, съ тѣмъ же наивнымъ видомъ повѣдалъ далѣе, что Леонтій отпустилъ, дескать, при немъ на гоголь-моголь яицъ да сахару, а его, Сазопова, хотѣлъ послать въ лавочку за ромомъ, но онъ отговорился недосугомъ.

— Бога въ тебѣ нѣтъ, Константишь!... напустился на него Леонтій. — Яицъ и сахару я, точно, каюсь, отпустилъ...

— Цыцъ! молчать! оборвалъ его надзиратель. — Васъ обоихъ мы еще разберемъ; во всякомъ случаѣ, тебѣ, Леонтій, не



быть уже старшимъ дядькой, да и не продавать тебѣ съ нынѣшняго дня воспитанникамъ ни единого сухаря; слышишь?— А кто былъ заказчикомъ у него, Константинъ? обратился онъ опять къ Сазонову.

Угрожающій ропотъ между лицеистами заставилъ Сазонова опять съежиться и отпереться.

— Виновать, ваше высокоблагородіе, пробормоталъ онъ:— ей-ей, запамятовалъ.

Фроловъ круто обернулся къ лицеистамъ и заговорилъ такъ:

— Товарищество—дѣло святое, господа. Тѣхъ изъ васъ, что не выдаютъ зачинщиковъ, я не очень виню; но тѣхъ двухъ-трехъ, которые всему виною и которые, оберегая свою шкуру, прячутся за другихъ—какъ прикажете назвать? Они—трусы, хуже того—измѣнники... Что-о-о-съ? Дайте договорить. Да-съ, измѣнники, потому что въ свою бѣду втягиваютъ весь классъ, ни душой, ни тѣломъ не повинный. Вѣрно я говорю, Пушкинъ, а-съ? отнесся надзиратель къ Пушкину, вѣроятно, случайно, потому только, что тотъ стоялъ впереди другихъ и что фیزیономія его еще прежде ему примелькалась. Но онъ попалъ какъ-разъ въ цѣль. Пушкинъ выступилъ изъ ряда и признался:

— Вѣрно, Степанъ Степанычъ, и позвольте повиниться: я зачинщикъ.

— И я! и я! и я! откликнулись за нимъ еще трое: Пущинъ, Малиновскій и Дельвигъ.

— Нѣтъ, Степанъ Степанычъ, Дельвига я позвалъ, вступился Пушкинъ:— вы его, пожалуйста, увольте.

— Гмъ... такъ и быть, ступайте, рѣшилъ Степанъ Степанычъ. — Всѣхъ васъ, значитъ, сколько же: трое?

— Трое.

Въ это время протѣснился впередъ графъ Брогліо.

— Правду сказать, Степанъ Степанычъ, и я въ этой пьескѣ игралъ небольшую роль...

— Небольшую?

— Да, такъ-сказать, выходную, и не съ первой сцены, потому что нѣсколько запоздалъ...

— Стало быть, вы, графъ, не были первымъ зачинщикомъ?

— Не первымъ, но...

— Ну, и благодарите Бога. А вы трое извольте-ка идти подъ арестъ и ждать рѣшенія. Ты, Константинъ, отвѣчаешь мнѣ за нихъ!

На слѣдующее утро, въ Петербургъ поскакалъ нарочный съ донесеніемъ отъ Гауеншильда; а на третій день въ Царское прибылъ самъ министръ, графъ Разумовскій. Треть «зачинщикамъ» былъ сдѣланъ строгій выговоръ, а проступокъ ихъ былъ переданъ на рѣшеніе конференціи профессоровъ. Рѣшеніе состоялось такое:

1) Двѣ недѣли провинившимся стоять на колѣняхъ во время утренней и вечерней молитвы.

2) Пересадить ихъ за столомъ на послѣднія мѣста,—

и 3) Занести ихъ фамиліи въ черную книгу.

Всѣ три пункта были исполнены въ точности. Двѣ недѣли подрядъ, изо-дня въ день, наши три пріятеля выстаивали молитву на колѣняхъ. За ѣдой имъ были отведены самыя невыгодныя мѣста въ концѣ стола, гдѣ кушанье подавалось послѣ всѣхъ; но такъ-какъ, вообще, воспитанники разсаживались по поведенію, то вскорѣ оштрафованные имѣли возможность подвинуться вверхъ. Относительно черной книги, которая должна была имѣть значеніе при выпускѣ изъ лицея, мы скажемъ подробнѣе въ свое время, въ одной изъ послѣдующихъ главъ.

Но болѣе, чѣмъ зачинщики, болѣе даже, чѣмъ бравый старикъ-покровитель ихъ, оберъ-провіантмейстеръ Леонтій Кемер-

скій, пострадалъ его подчиненный, младшій дядька Оома. Отъ погребщика, у котораго была добыта имъ злосчастная бутылка рому, пронырливый Сазоновъ развѣдалъ, кому она была отпущена. Въ тотъ же день и часть Оома долженъ былъ навсегда убраться изъ Царскаго. Однако, еще до его ухода, лиценисты старшаго курса, прослышавъ о постигшей его бѣдѣ, сдѣлали посильную складчину, чтобы хоть чѣмъ-нибудь вознаградить бѣднягу за потерю мѣста.

Въ среднихъ числахъ января 1816 г., Гауеншильдъ, по собственной его усиленной просьбѣ, былъ также уволенъ отъ обязанностей директора, и временное «директорство» было возложено на Фролова, который успѣлъ уже зарекомендовать себя энергіей и распорядительностью.

«Директорство» Фролова длилось не долѣе двухъ недѣль, но оно надолго осталось памятнымъ лиценстамъ. Первымъ дѣломъ его было назначеніе Сазонова старшимъ дядькой и оберъ-провіантмейстеромъ.

Отозвалось это назначеніе на лиценистахъ особенно чувствительно потому, что они сговорились никакихъ лакомствъ у этого «фискала» не покупать, и, такимъ образомъ, добровольно приговорили себя къ голодовкѣ на неопредѣленное время.

Далѣе, Фроловъ призналъ нужнымъ подвергнуть ихъ вездѣ и во всемъ самому строгому надзору. Такъ, гулять ихъ водили не иначе, какъ подъ двойнымъ конвоемъ; отлучаться въ свои дортуары они могли только по особымъ билетамъ; даже газеты и журналы попадали къ нимъ въ руки не ранѣе, какъ послѣ самой тщательной цензуры со стороны гувернеровъ, которые должны были вырѣзывать все «нецензурное». За столомъ воспитанниковъ разсаживали, какъ уже сказано, по поведенію, вслѣдствіе чего у нихъ сложилась даже поговорка:

„Блаженъ мужъ, иже  
Сидитъ къ кашѣ ближе.“



Карцеръ ни одного дня почти не пустовалъ, а лицеисты младшаго курса за всякую провинность, смѣхъ, или громкое слово, простаивали по часамъ на колѣняхъ.

Порядокъ, казалось, былъ окончательно возстановленъ. И вдругъ.. вдругъ по лицу пронеслась почти невѣроятная, ужасная вѣсть, которая перевернула все верхъ дномъ. Недалеко отъ лица было совершено звѣрское убійство: старикъ-разнощикъ и находившійся при немъ мальчикъ были найдены плавающими въ крови, а за ближней оградой былъ отысканъ окровавленный топоръ. По топору напали на слѣдъ убійцы. И кто же оказался имъ?

Не кто иной, какъ вновь возведенный въ старшіе дядьки, Сазоновъ, который, какъ вскорѣ потомъ было дознано, и прежде этого уже имѣлъ на своей совѣсти не одну человѣческую душу. Само собой разумѣется, что преступникъ былъ отданъ въ руки правосудія.

Но случай этотъ далъ послѣдній толчекъ «междоусобицѣ». Прибывшій тотчасъ же въ Царское-Село министръ былъ, прежде всего, непріятно пораженъ представившейся ему въ рекреационномъ залѣ картиной: чуть ли не весь младшій курсъ въ двѣ шеренги стоялъ тамъ на колѣняхъ.

— Это что за комедія? нахмурясь, спросилъ министръ.

— Проштрафились, ваше сіятельство, отвѣчалъ почтительно Фроловъ.—Смѣю доложить...

Графъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— У васъ здѣсь, видно, повальное непослушаніе?

— Точно такъ-съ: повальная болѣзнь. Одно средство: военная муштровка. Ежели бы ваше сіятельство соизволили разрѣшить ввести поротное обученіе воинскимъ артикуламъ, маршировку въ три пріема...

Министръ такъ выразительно отмахнулся, что надзиратель замолкъ на полуфразѣ.

— Встаньте, господа! обратился графъ Разумовскій къ мальчикамъ.—Я возлагалъ всегда большія надежды на лицей, я любилъ лицейстовъ какъ собственныхъ дѣтей; а теперь, господа,—теперь я, видите, краснѣю за своихъ дѣтей! Надѣюсь, что никого изъ васъ я ужъ никогда больше не увижу въ этомъ униженномъ положеніи.

Добрыя слова министра оказали на мальчугановъ большее вліяніе, чѣмъ вынесенное ими наказаніе. По крайней мѣрѣ, рѣдкій изъ нихъ послѣ того стоялъ еще на колѣняхъ. А скоро и необходимость въ томъ миновала: 27-го января 1816 г., въ лицей былъ назначенъ, наконецъ, постоянный, «настоящій» директоръ въ лицѣ Ангельгардта, директора петербургскаго педагогическаго института.

Фроловъ номинально хотя и продолжалъ числиться еще надзирателемъ, но совсѣмъ стушевался, а въ началѣ слѣдующаго, 1817 года и вовсе оставилъ службу. Но нѣкоторыя черты его двухнедѣльнаго управленія сохранились въ новой «національной пѣснѣ», которую воспитанники часто потомъ распѣвали хоромъ. Вотъ нѣсколько куплетовъ этой нехитрой пѣсни:

«Дѣтей ты ставишь на колѣни,  
Отъ графа слушаешь ты пени...

По поведенію мы хлебаемъ,  
А все молитву просыпаемъ...

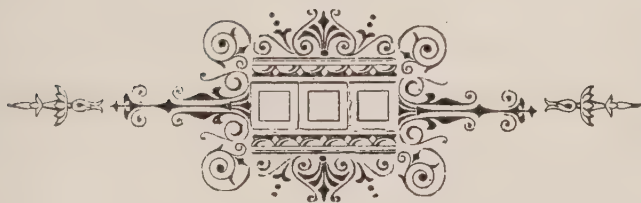
Наверхъ пускалъ насъ по билетамъ,  
Цензуру учредилъ газетамъ...

Очистилъ мѣсто Константину,  
Леонтья чуть не выгналъ въ спину...»

Очень можетъ быть, что и Пушкину принадлежитъ тотъ или другой куплетъ. Гораздо менѣе вѣроятно участіе его въ небольшой поэмѣ «Сазоновіада», появившейся въ послѣднемъ № «Лицейскаго Мудреца» за 1815 годъ, крайне слабой по

конструкціи стиха \*). Зато несомнѣнно, что междуцарствіе подало Пушкину мысль къ баснѣ о грѣшной душѣ, переходящей изъ рукъ въ руки, отъ одного чорта къ другому. Басня эта, какъ и многіе другіе юношескіе опыты его, затерялась. Наконецъ, на Сазонова онъ написалъ еще эпиграмму, въ которой кстати задѣлъ и добрѣйшаго доктора Пешеля:

„Заутра съ свѣчкой грошевою  
Явлюсь предъ образомъ святымъ.  
Мой другъ! остался я живымъ,  
Но былъ ужъ смерти подъ косою:  
Сазоновъ былъ моимъ слугою,  
А Пёшель лекаремъ моимъ!“



---

\*) Для образчика приводимъ здѣсь наиболѣе еще удачные стихи 2-й пѣсни «Сазоновіады»:

«Тихо все въ срединѣ града  
И покой лишь обитаетъ,  
Изъ лица, какъ изъ ада,  
Вдругъ Сазоновъ выступаетъ,  
Съ смертоноснымъ топоромъ  
На разнощика летитъ...  
...И вдругъ въ одно мгновенье  
Ему всю голову расшибъ,  
А мальчикъ въ сопровожденьи (sic),  
Его рукою же погибъ...“





## ГЛАВА XV.

### Директоръ Энгельгардтъ.

„Лишь только Анджело вступилъ во управленье—  
И все тотчасъ другимъ порядкомъ потекло,  
Пружины ржавыя оячь пришли въ движенье,  
Законы поднялись, хватая въ когти зло“.

(Анджело.)



отъ назначеніе Энгельгардта директоромъ лица  
состоялось еще въ январѣ 1816 года, но сдача  
имъ своему преемнику прежней своей должно-  
сти — директора педагогическаго института —  
задержала его въ Петербургѣ до первыхъ чиселъ марта.

Изъ присланнаго, между тѣмъ, въ правленіе лица формулярнаго списка новаго директора лицеисты уже знали: что онъ родился въ Ригѣ въ 1775 году (стало быть, ему было съ небольшимъ 40 лѣтъ); что онъ воспитывался въ дерптскомъ университетѣ, и что еще молодымъ человѣкомъ 26 лѣтъ онъ былъ назначенъ помощникомъ статсъ-секретаря государственнаго совѣта, а послѣдніе четыре года былъ начальникомъ педагогическаго института. Насколько лицеисты были заинтересованы его личностью, видно изъ слѣдующихъ строкъ Илличевского къ петербургскому школьному другу своему Фуссу, писанныхъ 17-го февраля 1816 года:

«Благодарю тебя, что ты насъ поздравляешь съ новымъ директоромъ; онъ уже былъ у насъ. Если можно судить по наружности, то Энгельгардтъ человѣкъ не худой. Vous sentez la pointe? (Понимаешь соль?) Не полѣнись написать мнѣ о немъ подробнѣе; это для насъ не будетъ лишнимъ. Мы всѣ желаемъ, чтобъ онъ былъ человѣкъ прямой, чтобъ не былъ къ однимъ Engel (ангель), а къ другимъ hart (строгъ)».

Опасенія лицеистовъ были напрасны. Съ перваго же дня Энгельгардтъ, очень опытный педагогъ, поставилъ себя какъ къ прочему служебному персоналу, такъ и къ воспитанникамъ въ самыя правильныя отношенія. Съ профессорами онъ сошелся какъ съ старыми знакомыми, потому что присутствовалъ еще въ 1811 году на актѣ открытія лицея, и, выпросивъ себѣ тогда у Куницына копію съ произнесенной послѣднимъ блестящей вступительной рѣчи, въ тотъ же вечеръ перевелъ ее на нѣмецкій языкъ и затѣмъ, вмѣстѣ съ объяснительною къ ней статьею, напечаталъ въ «Дерптскомъ журналѣ». Но такъ какъ онъ, съ чисто-нѣмецкою аккуратностью, все время свое, съ утра до ночи, посвящалъ ввѣренному ему заведенію, то и профессора, на лекціи которыхъ онъ часто заглядывалъ, поневолѣ должны были сами «подтянуться», да и «подтянуть» учениковъ. Но, странно, лицеисты почти не чувствовали наложенной на нихъ узды; не чувствовали потому, что узда эта служила Энгельгардту не столько для сдерживанія, сколько для направленія пылкой молодежи.

— Школа должна быть для ученика роднымъ домомъ, говаривалъ онъ: — чѣмъ болѣе разумной свободы, тѣмъ болѣе и самостоятельности, сознанія собственного достоинства.

Эту-то «разумную свободу» онъ старался предоставить имъ во всемъ. Такъ, при самомъ поступленіи своемъ въ лицей, они не мало гордились своей щегольской, парадной, «почти военной» формой: треуголкой, бѣлыми, въ обтяжку, суконными пантало-



нами и высокими ботфортами. Но на дѣлѣ форма эта оказалась довольно стѣснительной: треуголку сдувало вѣтромъ; тѣсныя и свѣтлыя панталоны легко рвались и пачкались, а въ ботфортахъ было неудобно бѣгать. И вотъ, Ангельгардтъ выхлопоталъ имъ вмѣсто треуголокъ — фуражки съ чернымъ бархатнымъ околышемъ и красными кантами, вмѣсто узкихъ, бѣлыхъ панталонъ — просторныя синія, а вмѣсто ботфортонъ — сапоги. Въ отличіе же старшаго курса отъ младшаго, первымъ дали на мундирахъ золотыя петлицы, а вторымъ — серебряныя, что льстило также, конечно, самолюбію старшихъ.

Во время «директорства» подполковника Фролова, воспитанники были приучены по-военному застегиваться наглухо на все пуговицы. То же дѣлали они вначалѣ и при Ангельгардтѣ. Но разъ онъ засталъ ихъ врасплохъ въ рекреационномъ залѣ, когда они, набѣгавшись до третьяго пота, разстегнули куртки, чтобы остыть. Оторопѣвъ, ближайшіе къ нему пробормотали что-то въ извиненіе и стали поспѣшно застегиваться.

— Да вѣдь вамъ жарко, друзья мои? сказалъ Ангельгардтъ. — Подъ курткой же у васъ жилеты; стало быть, костюмъ вашъ и такъ совершенно приличенъ.

Нечего говорить, что послѣ этого лицеисты застегивались на все пуговицы только отъ холода.

Видя, съ какою жадностью они накидываются на новыя журналы, Ангельгардтъ озаботился доставить имъ больше полезнаго чтенія. По его ходатайству, лицеемъ была уступлена библіотека царскосельскаго Александровскаго дворца и стали присылаться въ лицей избранныя книги изъ числа поступавшихъ въ департаментъ народнаго просвѣщенія, такъ что, благодаря ему, лицейская библіотека вскорѣ возросла до 7.000 томовъ.

Чтобы, однако, приохотить воспитанниковъ и къ чтенію классическихъ сочиненій, Ангельгардтъ завелъ въ конференцъ-



залѣ литературные вечера. Обладая особеннымъ даромъ читать на разные голоса, онъ читалъ по большей части самъ, и лицейстамъ очень полюбились эти чтенія.

По заведенному порядку, нѣсколько разъ въ году въ лицей бывали спектакли и танцы, а именно: въ первое воскресенье послѣ 19-го октября (день открытія лицея), на Рождествѣ и иногда на Масляницѣ. Энгельгардтъ не только сохранилъ эти празднества, но еще упорядочилъ ихъ, придавъ имъ образовательное значеніе и самъ редактировалъ и даже сочинялъ представляемыя пьесы. Въ то же время онъ обратилъ особенное вниманіе на пѣніе и музыку, которыя поручилъ хорошему капельмейстеру, барону Тепперъ-де-Фергюсону, такъ-что лицейскіе концерты пріобрѣли нѣкотораго рода извѣстность и за стѣнами лицея. Расходы на всѣ эти собранія лицеисты по-прежнему покрывали складчиной, въ которую богатые, по собственному уже побужденію, вносили, конечно, больше менѣе состоятельныхъ.

Для тѣлесныхъ упражненій воспитанниковъ, Энгельгардтъ завелъ гимнастику, а въ паркѣ зимой устраивалъ для нихъ ледяныя горы и катокъ.

Разъ до него дошелъ слухъ, что въ Павловскѣ у императрицы Маріи Ѳеодоровны какой-то заѣзжій итальянецъ давалъ представленія съ маленькой дрессированной лошадкой. Онъ не замедлилъ послать за этимъ искусникомъ, и на лицейскомъ дворѣ, въ присутствіи всѣхъ обитателей лицея: начальства, воспитанниковъ и прислуги, франтъ-итальянецъ во фракѣ, треугольной шляпѣ, чулкахъ и башмакахъ, вывелъ свою ученую лошадку, которая премило кланялась публикѣ, сгибая переднія ноги, и ударомъ копыта отвѣчала на задаваемые вопросы о времени, о числѣ собранныхъ тутъ лиценстовъ и т. п. Для финала самъ «синьоре профессорѣ» (какъ величалъ себя фокусникъ) просвисталъ нѣсколько итальянскихъ арій соловьемъ. Графу

Броглію послѣднее такъ понравилось, что онъ, за приличное вознагражденіе, упросилъ искусника дать ему нѣсколько частныхъ уроковъ, и, дѣйствительно, научился у него шелкать и рокотать почти по-соловьиному.

Всѣмъ описаннымъ не ограничивались заботы Энгельгардта о лицеистахъ. Зимой, въ праздники, онъ возилъ ихъ на тройкахъ за городъ, а лѣтомъ, захвативъ съ собою провизіи, совершалъ съ ними пѣшкомъ отдаленныя «географическія» экскурсіи, продолжавшіяся день и два.

Наконецъ, находя, что домашнее воспитаніе должно служить фундаментомъ для воспитанія школьнаго и общественнаго, что вращеніе въ семейномъ кругу и особенно въ женскомъ обществѣ «шлифуетъ» угловатыя манеры, смягчаетъ нравы необузданной молодежи,—онъ выхлопоталъ у министра лицеистамъ старшаго курса право отлучаться послѣ уроковъ въ городъ, т. е. въ Царское Село и Софію, въ знакомые имъ семейные дома, и точно также открылъ имъ двери и въ собственный свой домъ. Семья его состояла изъ жены и пятерыхъ дѣтей \*). Кромѣ того, въ домѣ у него проживала молодая родственница-вдова Марія Смитъ, урожденная Шаронъ Ларозъ, впослѣдствіи вышедшая замужъ за Паскаля, очень милая и остроумная дама. Ежедневно нѣсколько человѣкъ лицеистовъ приглашались на квартиру директора и проводили здѣсь вечеръ въ непринужденной бесѣдѣ, въ чтеніи по ролямъ театральныхъ пьесъ, въ общественныхъ играхъ.

Здѣсь же, у Энгельгардтовъ, они увидѣли впервые за просто, какъ обыкновеннаго смертнаго, императора Александра Павловича. Государь, давно знавшій и оцѣнившій Энгельгардта, при встрѣчѣ съ нимъ въ паркѣ, охотно съ нимъ заговаривалъ, а

---

\*) Старшему изъ трехъ сыновей Энгельгардта было 14, второму 12 и младшему 8 лѣтъ; двумъ дочерямъ его было 11 и 10 лѣтъ.



иногда заглядывать къ нему и въ домъ. Такъ зашелъ онъ разъ подвечеръ, когда у директора собралась уже компанія лицейстовъ, въ томъ числѣ и Пушкинъ.

— Вижу и радуюсь, что директоръ и его воспитанники составляютъ одну нераздѣльную семью, сказалъ онъ; затѣмъ, обернувшись къ хозяину, добавилъ: — твои воспитанники, стало быть, для тебя не мертвый педагогическій матеріалъ, а живые люди?

— Ваше величество, отвѣчалъ Энгельгардтъ, — позвольте мнѣ повторить то, что сами вы при мнѣ приказывали вашему придворному садовнику, когда я имѣлъ разъ счастье сопровождать васъ на прогулкѣ. «Гдѣ увидишь протоптанную тропинку, сказали вы ему, — тамъ смѣло прокладывай дорожку: это — указаніе, что есть потребность въ ней».

— А у молодыхъ людей, замѣтилъ ты вѣроятно, не меньшая потребность въ обществѣ взрослыхъ и семейныхъ людей?

— Да, ваше величество, въ особенности же это важно для юношей восторженныхъ и талантливыхъ, которые подають большія надежды, но, по выходѣ изъ заведенія, среди безпкойной толпы очутились бы какъ на бурномъ морѣ.

— Такъ есть между твоими воспитанниками и такіе? спросилъ государь и, прищурясь своими близорукими глазами, съ любопытствомъ оглядѣлъ вытянувшихся въ-рядъ лицейстовъ.

— Одного я имѣю возможность сейчасъ представить вашему величеству, сказалъ Энгельгардтъ и, подойдя къ Пушкину, подвелъ его за руку къ государю: — это — Александръ Пушкинъ, будущая надежда и краса родной литературы.

— Я читалъ твои «Воспоминанія о Царскомъ» и стихи на мое «возвращеніе», ласково произнесъ Александръ Павловичъ. — Старайся — и я тебя не забуду.

Поэтъ-лицейстъ отъ неожиданности былъ дотого смущенъ, что ничего не нашелся отвѣтить. Императоръ, дѣлая видъ, что



не замѣчаетъ его замѣшательства, обратился опять къ Энгельгардту.

— Ты, я полагаю, теперь уже не раскаиваешься, что принялъ отъ меня должность начальника лицея?

— Нѣтъ, государь, не только не раскаиваюсь, но полагаю, что всякій подданный вашъ можетъ мнѣ позавидовать, — не потому, чтобы обязанности мои были такъ легки, а потому, что нѣтъ дѣятельности полезнѣе для общества, какъ дѣятельность добросовѣстнаго педагога.

— Ты полагаешь?

— Я убѣжденъ въ этомъ. Всякая другая дѣятельность, какъ бы она ни была усердна, остается единичною; педагогъ же воспитываетъ, даетъ отечеству десятки примѣрныхъ гражданъ и тѣмъ удесятѣряетъ свою дѣятельность на пользу общества.

— Ты правъ, сказалъ государь: — воспитаніе юношества — самое благородное занятіе, но, я думаю, и самое трудное! Мнѣ остается только гордиться тѣмъ, что я выбралъ тебя, что я — твой хозяинъ, какъ ты — хозяинъ твоего вѣрнаго Султана. Кстати, что его не видать?

— Отслужилъ уже свою службу, ваше величество, со вздохомъ отвѣчалъ Энгельгардтъ, — и прошлой зимой приказалъ долго жить.

— А жаль: славный песъ былъ!

Сказавъ еще нѣсколько милостивыхъ словъ хозяйкѣ и молодымъ людямъ, императоръ удалился. Лицейстовъ заинтересовало, почему вдругъ Александръ Павловичъ вспомнилъ о собакѣ директора?

— Султанъ мой былъ огромный водолазъ и вѣриѣйшій песъ, объяснилъ Энгельгардтъ. — И лѣтомъ, и зимой онъ сторожилъ здѣсь въ Царскомъ нашу дачу. Чужихъ онъ, вообще, очень неохотно пропускалъ въ домъ; военныхъ же особенно не долюбивалъ. И вотъ, однажды, когда я сидѣлъ въ кабинетѣ

за письменной работой, за окошком раздался шумъ подъѣзжающаго экипажа и страшный собачій лай. Я выглянулъ—да такъ и обмеръ: у калитки остановилась царская коляска; въ саду же никого не было, кромѣ Султана, который, съ бѣшенымъ лаемъ, огромными скачками бѣжалъ на-встрѣчу государю! Не помню ужъ, какъ я самъ выскочилъ на балконъ. И что же я вижу? Государь стоитъ совершенно спокойно тамъ же, у калитки, и ласкаетъ моего Султана, а Султанъ лижетъ ему ласкающую руку.

« — Что ты такъ блѣденъ, Энгельгардтъ? спросилъ меня государь.—Ты нездоровъ?

« — Отъ испуга, ваше величество, отвѣчалъ я: — я услышалъ лай собаки и увидѣлъ вашу коляску...

« — Чего же тебѣ было пугаться? Вѣдь она тебя, я думаю, слушается?

« — Слушается, государь; но вѣдь я—ея хозяинъ...

« — А я—твой хозяинъ, сказалъ съ улыбкой государь; — ты видишь, собака это хорошо понимаетъ: она мнѣ руку лижетъ ».

Большинство лицестовъ въ скоромъ времени оцѣнило новаго директора и съ каждымъ днемъ все болѣе привязывалось къ нему. Даже своевольный графъ Броглю, попытавшійся-было сначала выйти изъ-подъ его власти, самъ собой смирился. Дѣло было такъ.

Все лицейское начальство до сихъ поръ говорило лицеистамъ: «вы». Исключеніе дѣлалъ иногда только (какъ уже упомянуто нами) надзиратель Фроловъ, когда былъ въ духѣ.

— Что съ него взыскивать, говорили межъ собой лицеисты: — онъ—старый служака, военная косточка!

И вдругъ теперь Энгельгардтъ, человѣкъ уже не военный, придававшій особенное значеніе приличному, деликатному обра-

щенію, съ перваго же дня сталъ говорить безъ разбору всѣмъ воспитанникамъ: «ты».

— Какое право онъ имѣеть такъ фамиллярничать съ нами? заронталъ громче всѣхъ надменный Брогліо. — Мы, кажется, уже не такіе малюточки! Я его когда-нибудь хорошенько проучу!

— Ну, не рѣшишься, усомнились товарищи.

— Я-то не рѣшусь? А вотъ погодите: обрѣю лучше бритвы!

Онъ воспользовался для того первымъ случаемъ, когда директоръ проходилъ черезъ рекреаціонный залъ. Ласково заговаривая по пути то съ однимъ, то съ другимъ, Энгельгардтъ подошелъ только-что къ дверямъ въ столовую, когда Брогліо, протиснувшись мимо него, задѣлъ его локтемъ и, пробормотавъ вскользь: «виновать!» посвистывая, прошелъ далѣе.

— Послушай-ка, Брогліо! раздался позади него голосъ директора.

Брогліо на ходу озирался по сторонамъ съ такимъ видомъ, будто недоумѣваетъ, къ кому могутъ относиться эти слова.

— Графъ Брогліо! вторично окликнулъ его Энгельгардтъ.

Тотъ съ самою утонченною вѣжливостью подошелъ къ начальнику и шаркнулъ ногой.

— Вы меня звали, Егоръ Антонычъ?

— Звалъ. У тебя, мой другъ, дурная привычка — свистать.

Брогліо опять обернулся черезъ плечо, какъ-бы желая удостовѣриться, нѣтъ-ли кого у него за спиной.

— Вы съ кѣмъ это говорите, Егоръ Антонычъ?

— Съ вами, ваше сіятельство!

— Ахъ, со мною! А то я подумалъ, что тутъ стоитъ какой-нибудь сторожъ, потому что насъ, лицейство, слава Богу, никто изъ начальства еще до сихъ поръ не «тыкалъ».

Ходившіе по залу и громко разговаривавшіе между собой товарищи молодого графа теперь остановились, примолкли и съ



затаеннымъ любопытствомъ слѣдили за возникшимъ между нимъ и директоромъ препирательствомъ.

— Виновать, ваше сіятельство! произнесъ съ явной ироніей Энгельгардтъ, ни мало при этомъ не возвышая голоса.—Говорилъ я вамъ «ты» не потому, чтобы считалъ васъ сторожемъ (хотя манера ваша толкаться и свистать—скорѣе прилична сторожу, чѣмъ лицеисту), но потому, что въ воспитанникахъ вижу какъ-бы моихъ родныхъ дѣтей и обращаюсь съ ними, какъ съ собственными дѣтьми. Но вы, графъ, можете быть отнынѣ совершенно покойны: насильно я не буду вамъ отцомъ, и вы для меня будете только казеннымъ воспитанникомъ.

Съ легкимъ поклономъ директоръ вышелъ. Броглію, мѣняясь въ лицѣ, кусая губы, глядѣлъ ему вслѣдъ; потомъ вдругъ расхохотался. Но хохоть его какъ-то не удался и на полутонѣ оборвался.

— Что, братъ, поперхнулся? донеслось къ нему изъ ближайшей кучки товарищей.

— Бородобрѣй! обрилъ лучше бритвы! слышалось изъ другой группы.

— Дурачье! буркнулъ Броглію и, круто повернувшись, вышелъ также вонъ.

Прошелъ день, прошло два, а прежнія пріятельскія отношенія Броглію къ другимъ лицеистамъ еще не возобновились. Энгельгардтъ, ничуть не измѣнивъ своего обхожденія съ остальными, подходилъ, какъ бывало, то къ одному, то къ другому, продолжалъ называть ихъ «ты», и никто этимъ не думалъ обижаться. Самолюбиваго же графа онъ рѣшительно не замѣчалъ, глядѣлъ на него какъ въ пустое пространство. Такое невниманіе къ нему любимаго директора не осталось безъ вліянія и на прочихъ воспитанниковъ: точно по уговору, они, видимо, избѣгали уже опальнаго товарища. Самъ Броглію, чувствуя это, гордо

сторонился отъ нихъ, и, противъ обыкновенія, забивался куда-нибудь въ отдаленный уголь съ книжкой.

На третьи уже сутки, Энгельгардтъ совершенно неожиданно подошелъ къ отверженному.

— Чего ты сидишь все одинъ? сказалъ онъ съ обычной своей добротой. — Ступай сейчасъ играть съ друзьями.

Наболѣвшее сердце молодого графа не выдержало: онъ отвернулся, чтобы не показать, что у него на глазахъ слезы.

— Комовскій! Тырковъ! позвалъ Энгельгардтъ проходившихъ мимо двухъ лицейстовъ. — Не видите: на друга вашего хандра напала! Возьмите его съ собой.

— Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, Броглию? пойдемъ съ нами, сказалъ Комовскій.

— Ступай съ ними, другъ мой, повторилъ директоръ: — они давно соскучились по тебѣ.

Клеймо, наложенное на опальнаго, было снято, и товарищи тѣмъ охотнѣе приняли его вновь въ свою среду, что за послѣдніе два дня лишились въ немъ главнаго руководителя игръ.

Съ этихъ поръ у лицейстовъ считалось уже большимъ наказаніемъ, когда Егоръ Антоновичъ не удостоивалъ говорить имъ: «ты». Стоило ему мимоходомъ спросить кого-нибудь: «Хорошо-ли вы, N. N., провели время тамъ-то?» — и всѣ уже знали, что N. N. провинился, и невольно чуждались его, пока не слышали опять обращенное къ нему директоромъ отеческое «ты».





## Г Л А В А XVI.

### Пушкинъ и Энгельгардтъ.

„Придетъ-ли часъ моей свободы?  
Пора, пора! взываю къ ней“.

(Евг. Онѣгинъ.)

„Воспоминаніе безмолвно предо мною  
Свой длинный развиваетъ свитокъ.  
И, съ отвращеніемъ читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклиная,  
И горько жалеюся, и горько слезы лью,  
Но строкъ печальныхъ не смываю“.

(Воспоминаніе.)



Если Энгельгардтъ сумѣлъ уже внушить уваженіе и любовь всеѣмъ, вообще, лицейстамъ, то тѣмъ болѣе должны были питать къ нему чувство благодарности лицейскіе литераторы, о которыхъ онъ спеціально позаботился увеличеніемъ библіотеки и устройствомъ чтеній. Восторженный Кюхельбекеръ, а за нимъ невозмутимый Дельвигъ, дѣйствительно, сдѣлались самыми усердными участниками литературныхъ вечеровъ на квартирѣ директора. Одинъ только Пушкинъ не могъ побороть своего врожденнаго отвращенія къ нѣмецкому языку, на которомъ не только зачастую происходили чтенія (потому что читались въ оригиналѣ и нѣмецкіе классики), но велись также разговоры въ семьѣ директора. Недавнее посѣщеніе «арзамасцевъ» тянуло



его совершенно въ другую сторону — къ родной литературѣ. Душевное настроеніе его въ это время лучше всего рисуетъ слѣдующее письмо его къ князю Вяземскому отъ 27 марта 1816 года:

«Признаюсь, что одна только надежда, получить изъ Москвы русскіе стихи Шанеля и Буало, могла побѣдить благословенную мою лѣнь. Такъ и быть, ужъ не пеняйте, если письмо мое заставитъ зѣвать ваше пѣтическое сіятельство: сами виноваты! Зачѣмъ дразнить было несчастнаго царскосельскаго пустынника, котораго ужъ и безъ того дергаетъ бѣшеный демонъ бумагомаранія?..

«Что сказать вамъ о нашемъ уединеніи? Никогда Лицей (или Лицей, только ради Бога, не Лицея) не казался мнѣ такъ несноснымъ, какъ въ нынѣшнее время. Увѣряю васъ, что уединеніе въ самомъ дѣлѣ вещь очень глупая, на зло всѣмъ философамъ и поэтамъ, которые притворяются, будто-бы живали въ деревняхъ и влюблены въ безмолвіе и тишину.

«Блаженъ, кто въ шумѣ городскомъ  
Мечтаетъ объ уединеніи,  
Кто видитъ только въ отдаленіи  
Пустыню, садикъ, сельскій домъ,  
Холмы съ безмолвными лѣсами,  
Долину съ рѣзвымъ ручейкомъ  
И даже... стадо съ пастухомъ!  
Блаженъ, кто съ добрыми друзьями  
Сидитъ до ночи за столомъ  
И надъ словенскими глупцами  
Смѣется русскими стихами.»

«Правда, время нашего выпуска приближается; остался годъ еще. Но цѣлый годъ еще плюсовъ, минусовъ, правъ, налоговъ, высокаго, прекраснаго!.. Это ужасно! Право, съ радостью согласился бы я двѣнадцать разъ перечитать всѣ 12 пѣсенъ пресловутой «Россіады», даже съ присовокупленіемъ къ тому и премудрой критики Мерзлякова, съ тѣмъ только, чтобы графъ

Разумовскій сократилъ время моего заточенія. Безбожно молодого человѣка держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и въ невишномъ удовольствіи погребать покойную «Академію» и «Бесѣду губителей Россійскаго слова...»

Но вотъ, очень скоро послѣ этого письма, Пушкинъ зачистилъ въ домъ Энгельгардта, сдѣлался тамъ почти ежедневнымъ гостемъ. И вдругъ, точно такъ-же внезапно, онъ прекратилъ опять свои посѣщенія. Что было причиной того и другаго?

У Энгельгардта собралось къ чаю, по обыкновенію, нѣсколько человѣкъ лицестовъ; былъ тутъ и Пушкинъ. Весь вечеръ онъ былъ въ какомъ-то ненормальномъ настроеніи духа. Сперва онъ былъ до ребячества веселъ, до колкости остроуменъ; потомъ вдругъ сталъ до безпамятства разсѣянъ, до угрюмости молчаливъ. Такая переменна совпала въ немъ какъ разъ съ исчезновеніемъ изъ-за чайнаго стола молодой родственницы хозяина, Маріи Смитъ.

— Да гдѣ-же Мери? хватилась ея хозяйка и отправилась отыскивать отсутствующую.

Вскорѣ затѣмъ возвратившись, она наклонилась къ уху мужа и шепнула ему что-то. При этомъ взоръ ея на одно мгновеніе вперился въ лицо Пушкина. Но взоръ этотъ былъ такъ пытливъ и проникателенъ, что Пушкинъ зашевелился на стулѣ и опустилъ глаза. Между тѣмъ, Энгельгардтъ всталъ и ушелъ въ свой кабинетъ.

— Что съ мадамъ Смитъ? спросилъ кто-то за столомъ.

— Ничего... мигрень... отрывисто отозвалась г-жа Энгельгардтъ.

Немного погодя, Егоръ Антоновичъ вышелъ опять изъ кабинета.

Онъ не взглянулъ ни на кого, не промолвилъ ни слова; но пасмурное, почти суровое выраженіе его лица, всегда столь открытаго и привѣтливаго, не предвѣщало ничего добраго.

Когда пробило  $1\frac{1}{2}$  10-го, и лицеисты стали расходиться, Энгельгардтъ задержалъ Пушкина:

— Останьтесь на минутку.

Потомъ, выждавъ, когда всѣ прочіе удалились, онъ позвалъ его за собой въ кабинетъ.

— Что это значитъ, Пушкинъ? съ сдержаннымъ негодованіемъ заговорилъ онъ тутъ.—Сколько я знаю, вы—хорошаго семейства: въ лицей воспитанниковъ принимаютъ съ строгимъ разборомъ; у васъ самихъ есть, кажется, и старшая сестра?

— Есть... отвѣчалъ Пушкинъ, не смѣя поднять на директора глазъ.

— Какъ-же вы, скажите, позволили себѣ такую выходку съ Мери?

— Что-же я такое сдѣлалъ, Егоръ Антонычъ? Я написалъ ей только стихи...

— Стихи,—да; но какіе!

Они стояли около письменнаго стола, освѣщеннаго лампой. Егоръ Антоновичъ поднялъ на столъ прессъ-панье, подъ которымъ лежала пачка бумагъ. Сверху оказался розовый почтовый листокъ, очень хорошо знакомый Пушкину. Энгельгардтъ взялъ его въ руки.

— Вы не знаете еще никакого различія между людьми! продолжалъ онъ, и въ голосѣ его невольно уже прорывалось его душевное раздраженіе.—Не говоря уже о совершенной неумѣстности, вообще, обращаться со стихами къ молодой дамѣ, когда она съ своей стороны не подала къ тому ни малѣйшаго повода, — у васъ есть тутъ, напр., такіе стихи:

«О, безцѣвная подруга!  
Вѣчно-ль слезы проливать?  
Вѣчно-ль мертваго супруга  
Изъ могилы вызывать?»

Что это такое, Бога ради, объясните мнѣ?! Молодую вдову, которая едва схоронила только и оплакиваетъ своего любимаго



мужа, безъ спросу утѣшаетъ первый попавшійся школьникъ и, для риѣмы, еще осмѣливается называть ее «безцѣпной подругой!» Скажите: что вы—въ умѣ своемъ были, или нѣтъ?

Пушкинъ молчалъ, стараясь отъ стыда и досады. Энгельгардтъ пристально смотрѣлъ на него, какъ-бы стараясь проникнуть въ глубину его души.

— Вы не думайте, что я слишкомъ короткое время знаю васъ, заговорилъ онъ опять.—Хоть я, правда, здѣсь въ лицѣ всего нѣсколько недѣль, но я старался внимательно изучить всѣхъ васъ и составилъ лично для себя даже письменнo характеристику каждаго изъ васъ. Я буду съ вами, Пушкинъ, вполне откровененъ: я прочту вамъ то, чего никому не читалъ, никому не прочту

Вынувъ изъ стола толстую тетрадь, Энгельгардтъ сталъ перелистывать ее \*).

— Я пишу для себя по-нѣмецки, объяснилъ онъ.—Вы хотя и слабы въ этомъ языкѣ, но, надѣюсь, сколько нужно—поймете. Если-же чего не поймете, то спросите,—я вамъ переведу. Слушайте, что у меня сказано про васъ:

«Его высшая и конечная цѣль—блестѣть, и именно поэзію; но едва ли найдетъ она у него прочное основаніе, потому что онъ боится всякаго серьезнаго ученія, и его умъ, не имѣя ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французскій умъ».

— Вѣрно это или нѣтъ? спросилъ Егоръ Антоновичъ, переставая читать.

— Можетъ быть, и вѣрно... съ глухимъ ожесточеніемъ отвѣчалъ Пушкинъ.—Но если природа отказала мнѣ въ настоящемъ умѣ, такъ развѣ въ томъ моя вина?

---

\*) Рукопись Энгельгардта озаглавлена: «*Etwas über die Zöglinge der höheren Abtheilung des Lyceums*» (т. е. «Кое-что о воспитанникахъ старшаго курса лицея»).

— Это было у меня написано до сегодняшняго дня, сказалъ Энгельгардтъ.—Но вотъ, часъ тому назадъ, когда г-жа Смитъ передала ваши стихи, я приписалъ слѣдующее:

«Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкинѣ. Его сердце холодно и пусто; въ немъ нѣтъ ни любви, ни религіи; можетъ быть, оно такъ пусто, какъ никогда еще не было юношеское сердце. Нѣжныя и юношескія чувствованія унижены въ немъ воображеніемъ...» \*)

— Нѣтъ, Егоръ Антонычъ! Это уже неправда! горячо перебилъ тутъ Пушкинъ.—О религіи лучше не будемъ говорить, потому что вы—лютеранинъ, я—православный; но сердце во мнѣ есть, теплое русское сердце... когда-нибудь вы это узнаете...

Въ голосѣ поэта-лицеиста, сквозь слезы, звучала нота глубоко-уязвленного самолюбія.

— Дай-то Богъ! вздохнулъ Энгельгардтъ.—Но если такъ, то чѣмъ же прикажете объяснить вашъ поступокъ? Безпредѣльнымъ легкомысліемъ, что-ли? скажите: вы любите вашу сестру?

— Какъ вы еще спрашиваете!

— Очень любите?

— Очень.

---

\*) Если Энгельгардтъ нѣсколько и ошибался въ Пушкинѣ, котораго своеобразная, пылкая натура не подходила подъ общій масштабъ, то товарищей его этотъ опытный педагогъ оцѣнилъ чрезвычайно мѣтко. Такъ про *Кюхельбекера* въ рукописи его сказано:

«Читалъ все и обо всемъ; имѣетъ большія способности, прилежаніе, добрую волю, много сердца и добродушія; но въ немъ совершенно нѣтъ вкуса, такта, граціи, мѣры и опредѣленной цѣли. Чувство чести и добродѣтели проявляется въ немъ иногда какимъ-то донкихотствомъ. Онъ часто впадаетъ въ задумчивость и меланхолію, подвергается мученіямъ совѣсти и подозрительности, и, только увлеченный какимъ-нибудь обширнымъ планомъ, выходитъ изъ этого болѣзненнаго состоянія...»

Относительно *Илличевского* тамъ-же сказано, что раннія похвалы повредили этому юношѣ, и что въ умственномъ развитіи и наукахъ онъ остановился на той же степени, на которой находился при поступленіи въ лицей.

— Такъ вотъ, представьте же себѣ, что она вышла бы замужъ, что она вскорѣ бы овдовѣла, и тутъ какой-нибудь молодой чикъ, безъ всякаго повода съ ея стороны, написалъ бы ей такое же точно милое утѣшеніе. Сочли ли бы вы это за дерзость?

— Еще бы!..

— Какъ же вы поступили бы съ нимъ?

Отвѣта не было.

— Что сдѣлали бы вы съ нимъ? повторилъ Егоръ Антоновичъ.

— Я убилъ бы его на мѣстѣ!.. глухо прошепталъ Пушкинъ.

— Надѣюсь, что до этого не дошло бы, сказалъ Энгельгардтъ.— Но совѣсть и, кажется, сердце у васъ все же есть. Очень радъ и буду еще болѣе доволенъ, если все окажется съ вашей стороны только юношескимъ увлеченіемъ. Во всякомъ случаѣ, вы поймете, Пушкинъ, что мадамъ Смитъ не можетъ не чувствовать оскорбленія, что ей тяжело быть въ одномъ обществѣ съ своимъ оскорбителемъ, пока хоть нѣсколько не уляжется ея непріязнь противъ него.

— Хорошо! я не буду вовсе ходить къ вамъ... отрывисто проговорилъ Пушкинъ.

— Недѣлю-другую пропустите; а тамъ опять милости просимъ. Тѣмъ временемъ, вы успѣете на-досугъ вдуматься въ вашъ поступокъ. Вообще, всякому изъ насъ нелишне, время отъ времени, перебирать свое прошлое, чтобы избѣгать ошибокъ. И вамъ совѣтую дѣлать то же. Доброй ночи!

Въ послѣднихъ словахъ звучало уже снова то отеческое благоволеніе, которое выказывалъ директоръ ко всѣмъ лицеистамъ.

Давно обитатели лицея отъ мала до велика покоились мирнымъ сномъ. Одинъ только Пушкинъ ворочался подъ своимъ одѣяломъ и ни въ какомъ положеніи не находилъ себѣ покоя. О! какъ охотно открылъ бы онъ теперь наболѣвшую душу передъ первымъ своимъ другомъ, Пущинымъ... Стоило вѣдь только



стукнуть въ раздѣлявшую ихъ стѣнку. Но рука у него не подымалась: признаться другу въ такомъ поступкѣ—о, нѣтъ, нѣтъ!.. Тотъ отъ него, пожалуй, тоже отшатнется...

«Вдумайтесь на-досугѣ въ вашъ поступокъ; переберите ваше прошлое», вспомнились ему тутъ слова директора. И съ какимъ-то горькимъ самоуслаженіемъ кающагося дервиша, истязаящего самого себя, онъ сталъ въ памяти перебирать свое прошлое, свое непослушаніе и своеволіе, какъ въ родительскомъ домѣ, такъ и въ лицѣѣ, разныя мелкія столкновенія съ товарищами, съ начальствомъ... Ночью, когда воображеніе наше работаетъ сильнѣе, все предметы, какъ извѣстно, являются намъ въ значительно преувеличенномъ видѣ. Нагромождая противъ себя обвиненіе на обвиненіе, Пушкинъ представлялся самъ себѣ наконецъ какимъ-то безпримѣрнымъ, чудовищнымъ грѣшникомъ. Слезы душили его, но онъ пересиливалъ себя, и только глубокіе вздохи невольно вырывались изъ его груди.

— Что же ты, Пушкинъ, не ходишь уже къ Егору Антонычу? спросилъ его какъ-то нѣсколько дней спустя Пущинъ.

— Какъ не хожу? Вчера еще былъ... отговорился онъ.

— Вчера? Нѣтъ, вчера какъ разъ я былъ тамъ, и тебя навѣрное не было.

— Ну, такъ третьяго-дня.

— И третьяго-дня тебя тамъ не могло быть: мы вмѣстѣ же съ тобой сидѣли еще здѣсь за ужиномъ; помнишь?

— Ахъ, отстань, пожалуйста!

Покачавъ головой, Пущинъ отсталъ.

Но вотъ, двѣ и три недѣли прошли уже со времени разговора съ директоромъ, а Пушкинъ по-прежнему чуждался его. Самъ Егоръ Антоновичъ наконецъ зашелъ къ нему въ камеру, гдѣ засталъ его за конторкой съ перомъ въ рукахъ. Обернувшись и увидѣвъ директора, Пушкинъ какъ-будто оторопѣлъ и спряталъ свое писаніе въ конторку.

— Пиши, пиши: я не хочу мѣшать тебѣ, съ прежней уже ласковостью заговорилъ Энгельгардтъ.—Я хотѣлъ только спросить тебя, Пушкинъ: за что ты еще дуешься на меня?

— Я не дуюсь, Егоръ Антонычъ... не поборовъ еще смущенія, отвѣчалъ Пушкинъ.

— Но ты не бываешь у меня?

— Вы очень хорошо знаете, Егоръ Антонычъ, почему...

— О! если ты про то, то все уже давно забыто и прощено. О тебѣ уже спрашивали...

— Благодарю васъ; но... извините меня...

— Такъ ты меня, видно, вовсе не любишь? Но за что, скажи?

— Вы сами же, Егоръ Антонычъ, меня тоже терпѣть не можете! съ внезапною горечью вырвалось у Пушкина:—вы считаете меня совсѣмъ безсердечнымъ...

— Я, можетъ быть, нѣсколько перемѣнилъ уже мое мнѣніе о тебѣ; отъ тебя же зависитъ совершенно переубѣдить меня.

Обнявъ рукой юношу, Энгельгардтъ продолжалъ:

— То, что я слышалъ съ тѣхъ поръ про тебя отъ твоихъ наставниковъ, отъ твоихъ товарищей, заставило меня глубже вдуматься въ тебя. Изъ тебя выйдетъ вѣроятно не совсѣмъ заурядный человѣкъ. У тебя нѣтъ необходимой выдержки, усидчивости,—правда; но за то природа одарила тебя богаче многихъ другихъ. Ты нахваталъ урывками массу свѣдѣній, которыхъ не найти ни въ какихъ учебныхъ книгахъ. Между тѣмъ, обмѣнъ мыслей съ другими людьми еще болѣе упражняетъ и обогащаетъ умъ. Поэтому тебѣ просто грѣхъ избѣгать общества, котораго ты могъ бы быть украшеніемъ.

Пушкинъ слушалъ молча, насупивъ брови и отворотившись отъ директора.

— Напротивъ, Егоръ Антонычъ, отрывисто наконецъ пропизнесъ онъ:—я вовсе не гожусь для общества. Въ обществѣ

требуется такъ называемый тактъ, т. е. лицемѣріе, ложь, а я лгать не умѣю: что на душѣ, то и на языкѣ.

— Лгать, мой другъ, или не всегда говорить правду — разница огромная. Можно быть благороднѣйшимъ, правдивѣйшимъ человѣкомъ — и высказывать истину только тамъ, гдѣ отъ того можетъ быть польза, умалчивать же о ней тамъ, гдѣ нѣтъ отъ того пользы, или гдѣ можно нанести только незаслуженный вредъ или оскорбленіе. Не безразсудно ли, на примѣръ, не жестоко ли доказывать слѣпому счастье зрячихъ — видѣть окружающій міръ и несчастіе его самого — не имѣть зрѣнія? Не безумно ли описывать лопарю прелести итальянской природы и убѣждать его, что судьба обидѣла его суровымъ климатомъ, бесплодной землей?

— Ну, конечно... долженъ былъ согласиться Пушкинъ.

— А не случалось ли, подумай, и тебѣ колоть глаза твоимъ ближнимъ такими ихъ недостатками, которыхъ они, при всемъ желаніи, не могутъ исправить?

— Случалось... Но если кто черезчуръ уже смѣшенъ, какъ, на примѣръ, Кюхельбекеръ, то какъ же надъ нимъ не посмѣяться?

— Посмѣяться, — да, про себя, въ душѣ; но не поднимать его публично на смѣхъ, не глумиться надъ нимъ передъ всѣми, не оскорблять въ немъ человѣка. Затѣмъ, однако, ты вообще также слишкомъ опрометчиво выражаешь свои чувства, свои мнѣнія (часто справедливыя, но чаще еще преувеличенныя) тамъ, гдѣ слѣдовало бы промолчать, — и приговоръ о тебѣ, по большей части слишкомъ строгій, уже составленъ. И я, признаюсь, поторопился нѣсколько своимъ заключеніемъ о тебѣ. Но теперь между нами, надѣюсь, нѣтъ уже недоразумѣній?

Пушкинъ все еще не оборачивался къ говорящему; но ярко-раскраснѣвшіяся уши явно выдавали его глубокое душевное волненіе.



— Я тоже до сихъ поръ не понималъ васъ, Егоръ Антонычъ... прошепталъ онъ прерывающимся голосомъ.

— Не будемъ болѣе говорить объ этомъ, съ чувствомъ прервалъ его Энгельгардтъ. — Обѣщаешь ли ты мнѣ, Пушкинъ, что не станешь болѣе бѣгать моего дома?

— Обѣщаюсь...

И вдругъ, обернувшись, онъ со слезами повисъ на шеѣ директора.

— Я очень виноватъ передъ вами: простите меня...

— Полно, полно... старался успокоить его Энгельгардтъ, а у самого слезы катились по щекамъ. — И такъ, мы — прежніе друзья, и я жду тебя къ себѣ...

Всѣ недоразумѣнія, казалось, были улажены, всѣ препятствія устранены. Но не прошло и десяти минутъ, какъ явилось новое, непреодолимое уже препятствіе.

Едва только директоръ скрылся за дверью, какъ поэтъ нашъ вынулъ изъ конторки спрятанный листокъ. То былъ рисунокъ перомъ съ четверостишіемъ подъ нимъ. Первымъ побужденіемъ его было — разорвать рисунокъ. Но когда онъ перечелъ внизу куплетъ, собственная острота показалась ему настолько удачной, что ему жаль ея стало. Онъ обмакнулъ перо и сталъ опять старательно растушевывать картинку.

Онъ былъ такъ погруженъ въ свое занятіе, что не замѣтилъ, какъ растворилась дверь камеры, какъ къ нему подошелъ Энгельгардтъ, и только тогда очнулся и вздрогнулъ, когда тотъ заговорилъ:

— Я забылъ сказать тебѣ...

Пушкинъ съ такимъ испугомъ прикрылъ листокъ рукавомъ, что Егоръ Антоновичъ снисходительно улыбнулся.

— Что это у тебя? Вѣрно стихи?

— Н-да...

— Покажи-ка, если не секретъ? Отъ друга нечего таиться...

На поэта словно столбнякъ нашель, и роковой листокъ очутился въ рукахъ начальника. Что же Егоръ Антоновичъ увидѣлъ тамъ? Карикатуру на самого себя, а подь карикатурой злую эпигramму.

— Теперь я понимаю, почему вы не желаете бывать у меня въ домѣ, съ глубоко-огорченнымъ уже видомъ произнесъ онъ.— Не знаю только, чѣмъ я заслужилъ такое ваше нерасположеніе?

И, возвративъ Пушкину его произведеніе, онъ тотчасъ оставилъ его одного.

— Гдѣ же Пушкинъ? спросилъ за вечернимъ чаемъ дежурный гувернеръ.

— Имъ нездоровится что-то, доложилъ Леонтій Кемерскій.

Слышавшій этотъ разговоръ Пущинъ, наскоро допивъ стаканъ, вышелъ изъ-за стола и отправился къ пріятелю. Когда онъ входилъ къ нему въ комнату, по всему полу тамъ были разсыпаны мелкіе лепестки разорванной бумаги, а самъ Пушкинъ лежалъ навзничъ на кровати, и спина его приподымалась отъ нервныхъ всхлипываній.

— Ты, вѣрно, получилъ какое-нибудь печальное извѣстіе, Пушкинъ? заботливо освѣдомился Пущинъ.

— Нѣтъ...

— Такъ кто-нибудь тебя опять разобидѣлъ?

Изъ груди Пушкина вырвался глухой стонъ, и онъ зарыдалъ сильнѣе.

— Стало быть, правда? Но кто? Неужели Энгельгардтъ?

— Да... Уйди только, пожалуйста... былъ весь отвѣтъ безутѣшнаго.

— Но Энгельгардтъ—благороднѣйшая душа... убѣжденно продолжалъ Пущинъ.

Пушкинъ разомъ приподнялся на кровати и почти съ ненавистью впился красными отъ слезъ глазами въ лицо друга.

— Уйдешь ли ты?

Онъ топнулъ при этомъ ногой, и слезы грядомъ вдругъ брызнули изъ глазъ его.

Пушкѣнъ участливо посмотрѣлъ на него, вздохнулъ и, не сказавъ уже ни слова, послушно удалился.

Что было между нимъ и Энгельгардтомъ,—Пушкѣнъ ни теперь, ни послѣ не открылъ даже своему ближайшему другу. Тотъ видѣлъ только, что между обоими установились какія-то ненатурально-холодныя, натянутыя отношенія, почти не измѣнившіяся до самаго выпуска Пушкина изъ лицея. Но, не бывая уже почти вовсе въ семейномъ кружкѣ Энгельгардта, Пушкинъ искалъ и нашелъ утѣшеніе въ нѣсколькихъ другихъ кружкахъ.







## ГЛАВА XVII.

### Дядя Василій Львовичъ.

«Философъ рѣзвый и пійтъ...»

(Посланіе къ Батюшкову.)



е желая прерывать нить нашего разсказа о переломѣ въ лицейскомъ междоусобицѣ, мы не говорили объ одномъ рѣдкомъ гостѣ, который навѣстилъ Пушкина на Рождествѣ 1815 года. Разъ его вызвали въ пріемную—и кого же тамъ встрѣтилъ онъ? Игнатія, старика-камердинера своего дяди-поэта, Василья Львовича Пушкина, съ которымъ онъ не видался съ самаго своего опредѣленія въ лицей, т. е. съ осени 1811 года.

— Ты ли это, Игнатій? воскликнулъ Пушкинъ и, кажется, обнялъ бы стараго брюзгу, если бы небритое лицо послѣдняго и истасканная ливрея не были покрыты мокрымъ снѣгомъ.

— Я-съ, батюшка, Александръ Сергѣичъ, отвѣчалъ Игнатій, видимо также обрадованный.—Позвольте ручку...

— Не нужно, оставь... Но какими судьбами ты попалъ сюда изъ Москвы? Какъ дядя рѣшился разстаться съ тобой?

— Да они-съ тоже здѣсь, со мной.

— Гдѣ? Здѣсь, въ Царскомъ?



Василій Львовичъ Пушкинъ.

1770 — 1830.







— Точно такъ: въ възкѣ-съ.

— Вотъ что! Что же онъ не поднялся сюда, наверхъ?

— Больно, вишь, къ спѣху: сломя голову въ Питеръ гонять! брюзжалъ старикъ. — Велѣли вамъ немедля внизъ къ нимъ пожаловать.

Не тратя лишнихъ словъ, Пушкинъ выбѣжалъ на лѣстницу и, черезъ три ступени на четвертую, соскользнулъ на рукахъ по периламъ до нижней площадки. Но тутъ его задержалъ швейцаръ:

— Куда, ваше благородіе? На дворъ выюга...

— Ну, такъ что-жъ?

— Какъ вамъ угодно-съ, а такъ нельзя-съ. Хоть фуражкой накройтесь.

Пушкинъ оглядѣлся. На вѣшалкѣ висѣло нѣсколько шляпъ и шапокъ профессоровъ и чиновниковъ лицейскаго правленія. Какъ это кстати! Сорвавъ съ гвоздя первую попавшуюся подъ-руку шапку, онъ нахлобучилъ ее себѣ до ушей, оттолкнулъ отъ выходныхъ дверей швейцара и выскочилъ на улицу.

У подъѣзда стоялъ, запряженный чертверкой изморенныхъ и запаренныхъ почтовыхъ клячъ, тяжеловѣсный возокъ. Сквозь напотѣвшія стекла нельзя было разглядѣть сидѣвшаго внутри пассажира. Пушкинъ дернулъ ручку дверецъ — и очутился лицомъ къ лицу съ своимъ дядей, который, впрочемъ, былъ такъ зарытъ въ медвѣжью шубу, что племянникъ узналъ его только по высунувшемуся изъ мѣховъ, заостренному и загнуптому на одинъ бокъ носу, слегка зарумянившемуся теперь отъ холода.

— Бога ради, притвори! совсѣмъ застудишь возокъ... испуганно крикнулъ ему по-французски Василій Львовичъ и отодвинулся настолько, чтобы дать юношѣ мѣсто около себя.

Тотъ послушно вскочилъ въ возокъ и захлопнулъ дверцы.

— Ну, а теперь здравствуй, Александръ.

— Здравствуйте, дяденька.

Заклученный въ мѣховыя объятія, Александръ ощутилъ на своихъ щекахъ три знакомые ему сочные поцѣлуя, съ легкимъ запахомъ нюхательнаго табаку.

— Дай-ка посмотрѣть на тебя, заговорилъ дядя, ласковыми глазами оглядывая его. — Скажи, пожалуйста: усики себѣ отпустилъ! Каждое утро, чай, у парикмахера завиваешь?

— Нѣтъ, каждую ночь завертываю въ папилотки, отшутился племянникъ.

— А шапка эта, видно, новая форма лицейская?

— А то какъ же?

— Одобряю... Но ты, Александръ, чего-добраго еще простудишься! спохватился Василій Львовичъ и вытащилъ изъ-подъ себя мохнатое дорожное одѣяло. — На вотъ, завернись.

— Благодарю васъ. Но мнѣ, право, не холодно.

— Не мудрствуй, сдѣлай милость, и слушайся старшихъ.

Собственноручно закутавъ племянника, какъ ребенка, въ одѣяло, онъ запустилъ руку въ одинъ изъ боковыхъ мѣшковъ возка и досталъ оттуда бумажный свертокъ.

— Ты, вѣдь, помнится, охотникъ тоже до барбарисовыхъ карамелекъ? сказалъ онъ. — Угощайся.

— А вы, дядя, меня все еще, кажется, за маленькаго считаете?

— Да выросъ-то ты еще не ахти на сколько отъ земли...

— Въ дядю, видно, пошелъ — и тѣломъ и духомъ.

— Т. е. по стихотворной части? «Лициній» твой, точно, очень недуренъ, но...

— Но куда не годится? перебилъ Александръ. — Не будемъ лучше говорить объ этомъ. Расскажите, куда вы такъ торопитесь, что даже не вышли изъ возка?

— Куда? повторилъ Василій Львовичъ и принялъ таинственно-важный видъ. — Ты слышалъ, можетъ статься... да нѣтъ! гдѣ же тебѣ знать объ этомъ!

— О чемъ?

— Объ «Арзамасѣ».

— Да я о немъ знаю, можетъ быть, болѣе вашего, дядя.

— Ого! Отъ кого это?

— Отъ Жуковского. Такъ васъ, значить, выбрали тоже въ члены «Арзамаса»?

Дядя зажалъ ему ротъ рукой.

— Молчокъ!

— Отъ души васъ поздравляю.

— Сказано: молчокъ! Еще рано поздравлять. До принятія въ «Арзамасъ», всякій новобранецъ долженъ выдержать тяжкій искусь...

— Василій Андреичъ ничего не говорилъ мнѣ объ этомъ...

— Потому что считалъ тебя недостаточно еще зрѣлымъ для того. И у меня только какъ-то невзначай съ языка сорвалось. Но ты смакуешь ли, дружокъ, весь букетъ этого пункта: меня, бываго сотрудника «Академическихъ Извѣстій», яко бы сторонника «Бесѣды», приглашаютъ теперь въ противный лагерь!

— Да какой же это противный вамъ лагерь, дядя, когда вы давнымъ-давно дружите со всѣми нынѣшними «арзамасцами»?

Василій Львовичъ нетерпѣливо зашевелился въ своей шубѣ.

— Ничего ты, братецъ, не смыслишь! проворчалъ онъ. — Коли «арзамасцы» — все милѣйшіе люди, такъ какъ же не дружить съ ними?

— А «бесѣдчики» (кромѣ, развѣ личного врага вашего, Шишкова) — тоже, вѣдь, прекраснѣйшіе люди? Такъ вы, стало быть, какъ говорится: и нашимъ, и вашимъ?



Василья Львовича не на шутку взорвало.

— Пошелъ вонъ! крикнулъ онъ и толкнулъ въ бокъ племянника.

— Вы гоните меня?

— Да, какъ видишь. Маршъ!

— Не шутя, дядя?

— Ну, да! Будь здоровъ. Заболтался я съ тобой.

— А съ Левушкой вы такъ и не увидите? Его это, вѣрно, огорчить.

— Гмъ... да. О немъ-то я, признаться, забылъ... Ну, что-жъ, поцѣлуй его отъ меня. да отдай ему эти карамели.

— Цѣловать его я не стану, но карамели, извольте, отдамъ. Только лучше бы ужъ, право, вы сами, дядя, отдали ему; поси-дѣли бы въ пріемной, погрѣлись бы; а я велѣлъ бы подать вамъ стаканчикъ чаю.

Послѣдній аргументъ поколебалъ нѣсколько рѣшимость Василья Львовича.

— До Питера и то еще изрядный кончикъ: часа два съ хвостикомъ... соображалъ онъ.

— А чай у насъ хоть и не первый сортъ, но во всякомъ случаѣ горячій, подхватилъ племянникъ.—Позволите заказать?

— Быть по сему.

— И чудесно! Не успѣете подняться по лѣстницѣ, какъ мы васъ догонимъ.

Сдѣлалось все, однако, не такъ живо, какъ онъ рассчитывалъ. Леонтій Кемерскій (который не былъ еще тогда отставленъ отъ должности оберъ-провіантмейстера) не безъ труда далъ убѣдить себя подать чай въ «непоказанное» мѣсто—въ пріемную. Младшаго брата своего Александръ также не сейчасъ разыскалъ. Когда братья, наконецъ, вошли въ пріемную, то остановились оба какъ вкопанные; а вслѣдъ затѣмъ оба прыснули со смѣху. Передъ ними была нѣмая картина: Леонтій съ дымящимся ста-

каномъ чаю въ рукахъ, а передъ нимъ свернувшійся калачикомъ на клеенчатомъ диванѣ Василій Львовичъ. Отъ дороги и холода его здѣсь, въ теплѣ, очевидно, распарило, и, не дождавшись племянниковъ, онъ сладко заснулъ.

— Будить его или нѣтъ? шепотомъ совѣтовались межъ собой братья.

Какъ бы въ отвѣтъ, съ дивана донесся къ нимъ густой храпъ.

— Пожалѣйте дядюшку, ваши благородія, сказалъ Леонтій: — изморились, небось, путемъ-дорожкой; дайте имъ всхрапнуть часочекъ.

— Пускай его! рѣшилъ старшій братъ. — А ты, Леонтій, пасъ позовешь, когда онъ проснется?

— Обязательно-съ; будьте благонадежны. Я тутъ, какъ у больного, продежурю-съ.

Пододвинувъ къ дивану стулъ для стакана, бывалый дядька накрылъ послѣдній блюдечкомъ, чтобы чай не такъ скоро остылъ; потомъ самъ терпѣливо уѣлся на отдаленный стулъ.

Не прошло четверти часа, какъ Леонтій впопыхахъ влетѣлъ въ камеру старшаго Пушкина.

— Пожалуйте-съ, сударь! Вашъ дядюшка уѣзжаютъ.

— Уже?

— Да-съ. Проснулись, выпили залпомъ-съ стаканъ, да такъ заторопились, словно на пожаръ спѣшать.

Когда Александръ сбѣжалъ во второй этажъ, то засталъ тамъ уже Левушку, который тщетно уговаривалъ дядю хотъ посидѣть еще минутку.

— Ни секунды, дружочекъ, ни терціи! отвѣчалъ Василій Львовичъ. — Семеро одного не ждутъ, а меня въ Питеръ дважды семеро не дождутся.

— Сколько я далъ бы, дядя, чтобы подсмотрѣть, какъ васъ будутъ принимать въ «Арзамасъ», замѣтилъ Александръ.

— Молчокъ! цыкнулъ на него Василій Львовичъ, грозя пальцемъ.

Долго еще по отъѣздѣ дяди, молодой поэтъ нашъ уносился мысленно за нимъ, стараясь въ своемъ пылкомъ воображеніи воспроизвести всю сцену приѣма дяди въ «Арзамасъ». Мы, не стѣсняемые ни пространствомъ, ни временемъ, послѣдуемъ теперь въ дѣйствительности за Васильемъ Львовичемъ.







## Глава XVIII.

### Въ «Арзамасѣ».

«И что-же! видитъ... за столомъ  
Сидятъ чудовища кругомъ;  
Одинъ въ рогахъ съ собачьей мордой  
Другой съ пѣтушьей головой,  
Здѣсь вѣдьма съ козьей бородой,  
Тутъ оставъ чопорный и гордый,  
Тамъ карла съ хвостикомъ, а вотъ  
Полу-журавль и полу-котъ».

(Еег. Онѣгинъ.)



а этотъ разъ засѣданіе «арзамасцевъ» было назначено у Уварова. Еще за четверть часа до урочнаго времени, 8-ми часовъ вечера, Василій Львовичъ входилъ въ подъѣздъ Уваровскаго дома. Принявшій съ него шубу швейцаръ хотѣлъ-было предупредительно зазвонить въ колокольчикъ хозяйской квартиры, но пріѣзжіи остановилъ его рукой.

— Постой, другъ!

Рослый и толстый бакенбардистъ-швейцаръ въ расшитой ливреѣ, картинно упершись на свою блестящую булаву, критически оглядѣлъ съ головы до ногъ небольшую, кругленькую фигурку рѣдкаго московскаго гостя. Онъ могъ это дѣлать безъ стѣсненія, потому что Василій Львовичъ, подойдя къ висѣвшему тутъ-же зеркалу, сталъ охорашиваться и былъ въ такомъ замѣтномъ возбужденіи, что ничего другаго не видѣлъ

вокругъ себя. Одѣтъ онъ былъ съ пюлочки, по послѣдней парижской модѣ, въ свѣтлозеленый фракъ съ короткой тальей, бѣлый жилетъ, напковые панталоны въ обтяжку и высокіе сапоги съ кисточками. Колыхаясь своимъ полнымъ, рыхлымъ тѣльцемъ на тонкихъ ножкахъ, онъ карманной щеточкой эффектно взъерошилъ себѣ примятый шапкой пѣтушій хохолокъ на макушкѣ, пригладилъ виски; потомъ расправилъ ушпирившіеся въ глинцевитыя щеки жабо и вышитую манишку, обдернулъ фалды, наконецъ досталъ красный фуляръ и серебряную табакерку, методически-осторожно (чтобы не засыпать манишки) набилъ себѣ табакомъ сперва одну поздю, потомъ другую и, въ заключеніе, на всякій случай обмахнулся еще фуляромъ. Всѣ эти операціи потребовали у него ровно  $\frac{1}{4}$  часа времени. Часы въ швейцарской пробили 8. Василій Львовичъ встрепенулся.

— Теперь, голубчикъ, позвони!

Въ передней его встрѣтилъ не только Уваровскій камердинеръ во фракѣ, бѣломъ галстухѣ и бѣлыхъ перчаткахъ, но и давнишній другъ и пріятель его «Свѣтлана» — Жуковскій, безсмѣнный секретарь «Арзамаса».

— «Бесѣдчики» всѣ уже въ сборѣ и безмятежно дремлютъ, тайнственно объявилъ онъ гостю.

— «Бесѣдчики»? недоумѣвая, переспросилъ Василій Львовичъ.

— Ну, да: воображаемые «бесѣдчики». Вѣдь, мы же, «арзамасцы», пародируемъ «Бесѣду».

— Ага! вѣрно.

— Немножко потише! Хотя ты у насъ и новорожденный, но кричать тебѣ не полагается: разбудишь нашихъ старцевъ.

Оба на цыпочкахъ вошли въ обширную залу. За длиннымъ зеленымъ столомъ, уставленным зажженными канделябрами, живописно возсѣдали или, вѣрнѣе, возлежали въ креслахъ

съ закрытыми глазами знакомые все Василью Львовичу молодые литераторы, изображавшіе теперь старцевъ «бесѣдчиковъ». Всѣхъ какъ-бы одолѣлъ сонъ: кто склонился отяжелѣвшей головой прямо на столъ; кто прислонился къ плечу сосѣда; кто откинулся назадъ и похрапывалъ съ открытымъ ртомъ.

— Барыня — «Арзамасъ» требуетъ весь туалетъ! зычнымъ голосомъ возгласилъ секретарь «Свѣтлана», и въ тотъ-же мигъ всѣ спящіе какъ-бы разомъ пришли въ себя, принялись наперерывъ зѣвать, потягиваться и протирать глаза.

Занимавшій въ этотъ день предсѣдательское кресло, очередной предсѣдатель «Ч у р к а» — Дашковъ — позвонилъ въ колокольчикъ, и, когда все опять успокоилось, торжественно заговорилъ:

— Милостивые государи! передъ вами новорожденный старецъ, алкающій воспріять крещеніе нашего юнаго ордена. Тяжки его прегрѣшенія: сотрудничалъ онъ въ «Академическихкихъ Извѣстіяхъ», участвовалъ во времена-оны, какъ гласить преданіе, и въ «Бесѣдѣ губителей россійскаго слова»; но не возсіяетъ ли тѣмъ ярче свѣтъ «Арзамаса», буде и сія паршивая овца, очистясь отъ проказы, вступить въ наше многославное лоно?

По рядамъ «арзамасцевъ» пробѣжалъ одобрителный шепотъ.

— Никто изъ васъ, государи мои, не возражаетъ? Слѣдственно, можетъ быть приступлено неукоснительно къ требуемому искусу. Новорожденный! Ваше присутствіе въ семъ освященномъ мѣстѣ въ достаточной мѣрѣ свидѣтельствуеъ уже о твердомъ вашемъ намѣреніи подвергнуться вступительнымъ испытаніямъ. Но, согласно установленному чину нашего ордена, предварительно еще вопрошаю: непреклонно и нелицепріятно ли ваше намѣреніе?

— Непреклонно и нелицепріятно! отвѣчалъ громко и явственно Василій Львовичъ.



— Да будетъ тако! «Расхищенные шубы» князя Шutowскаго \*) кого изъ нашей братіи не заставили жестоко прѣть, а тѣмъ паче нашего новорожденнаго? Да будетъ же первымъ его испытаніемъ—шубное прѣніе.

«Арзамасцы» мигомъ скрылись въ передней и вернулись тотчасъ каждый съ своей шубой. Не успѣлъ «новорожденный» ахнуть, какъ былъ подхваченъ на руки, уложенъ на ближній диванъ, накрытъ шубой, а сверху заваленъ всѣми прочими шубами.

Дородный и полнокровный московскій «стихотворецъ» едва не задохся подъ мѣховой грудой. Но взялся за гужъ—не говори, что не дюжъ!

Тутъ послышался надъ нимъ чей-то торжественный голосъ. Онъ узналъ голосъ секретаря «Свѣтлана».

— Какое зрѣлище передъ очами моими? Кто сей, обремененный толиками шубами, страдалецъ? Сердце мое говоритъ, что это почтенный Василій Львовичъ Пушкинъ; тотъ Василій Львовичъ, который видѣлъ въ Парижѣ не одни переулки, но г. Фонтаня и Делиля \*\*). тотъ Василій Львовичъ, который могуществомъ генія обратилъ дороднаго Крылова въ легкокрылую малиновку \*\*\*). Все это говоритъ мнѣ мое сердце. Но что же говорятъ мнѣ мои очи? Увы! Я вижу предъ собою одну только груду шубъ. Подъ сею грудой существо друга моего, орошенное хладнымъ потомъ. И другу моему не жарко. И не

---

\*) Шуточная поэма князя Шаховскаго, направленная вообще противъ «Карамзинистовъ», въ особенности же противъ В. Л. Пушкина.

\*\*) Намекъ на споръ Василья Львовича съ Шашковымъ (рассказанный нами въ «Отроческихъ годахъ Пушкина») и на оправдательные стихи Василья Львовича:

«... Не улицы однѣ, не площади, не дома,—

Сень-Пьеръ, Делиль, Фонтанъ мнѣ были тамъ знакомы...»

\*\*\*). Въ баснѣ своей «Соловей и Малиновка» В. Л. Пушкинъ сравниваетъ Крылова съ малиновкой.

будетъ жарко, хотя бы гряда сія возвысилась до Олимпа и давила его, какъ Этна Энцелада. Такъ точно! Сей Василій Львовичъ есть Энцеладъ: онъ славно вооружился противъ Зевеса-Шутовскаго и пустилъ въ него утесистый стихъ, раздавившій его чрево. Но что же? Сей издыхающій Зевесъ наслалъ на него, смиренно пѣшешествующаго къ «Арзамасу», мятель «Расхищенныхъ шубъ». И лежитъ онъ подъ страшнымъ сугробомъ шубъ прохладительныхъ. Очи его постигла курячья слѣпота «Бесѣды»; тѣло его покрыто проказою сотрудничества, и въ членахъ его пакость «Академическихъ Извѣстій», издаваемыхъ г. Шишковымъ. О, другъ мой! Скажу тебѣ просто твоимъ же непорочнымъ стихомъ: «терпѣніе, любезный!» Сіе испытаніе, конечно, есть мзда справедливая за нѣкіе тайные грѣхи твои. Когда бы ты имѣлъ совершенную чистоту арзамасскаго Гуся, тогда бы прямо и безпрепятственно вступилъ въ святилище «Арзамаса»; но ты еще скверенъ; еще короста «Бесѣды», покрывающая тебя, не совсѣмъ облупилась. Подъ сими шубами испытанія она отдѣлится отъ твоего состава. Потерпи, потерпи, Василій Львовичъ! Прикасаюсь рукою дружбы къ мученической главѣ твоей: Да погибнетъ ветхій Василій Львовичъ! Да воскреснетъ другъ нашъ возрожденный «Вотъ»! Разсыпьте, шубы! Возстань, другъ нашъ! Гряди къ «Арзамасу»!..

При этихъ словахъ «Свѣтланы», дружескими усиліями остальныхъ «арзамасцевъ» гора шубъ была свалена съ поверженнаго, и тотъ, тяжело переводя духъ, не безъ труда приподнялся. Но, Боже! что случилось съ его новенькимъ парижскимъ нарядомъ! Что случилось съ его кружевной манишкой, съ его туго-накрахмаленными жабо! Что случилось, наконецъ, съ его франтовской прической! Измятый, встрепанный и обливаясь потомъ, онъ поводитъ кругомъ помутившимся взоромъ. По мановенію руки предсѣдателя, два члена поспѣшили снять съ

новорожденного его жалкій фракъ, и, взявъ того, какъ будущаго пилиграма, облекли его въ живописный хитонъ съ раковинами, украсили ему голову широкополой шляпой, а въ руки ему вложили странническій посохъ. «Свѣтлана» же продолжала между тѣмъ свою крылатую рѣчь:

— Путь твой труденъ. Ожидаетъ тебя испытаніе. («№ 2-й!» вздохнулъ про себя Василій Львовичъ) «Чудище обло, озорно, трезѣвно и лаяй» \*) ожидаетъ тебя за сими дверями. Но ты низложи сего Пифона, облобызай Сову правды, прикоснись къ Лирѣ мщенія, умойся водою потока—и будешь достоинъ вкусить за трапезою отъ арзамасскаго Гуса...

Говоря такъ, Жуковскій наложилъ испытуемому на глаза повязку, взялъ его за руку и повлекъ за собою. Прогулка ихъ длилась довольно долго, по какимъ-то невѣдомымъ коридорамъ и переходамъ, съ лѣстницы на лѣстницу, то вверхъ, то внизъ. Страдавшій уже въ ту пору подагрой въ ногахъ, Василій Львовичъ, за повязкой ничего передъ собой не различая, не разъ спотыкался и судорожно только держался за руку своего вожатаго.

— Куда ты ведешь меня, Василій Андреичъ? рѣшился шепотомъ справиться онъ у него.

— Въ глубокія пропасти между гіенами и онаграми халдеевъ «Бесѣды», былъ таинственный отвѣтъ.— Яко бѣдные читатели блуждаютъ въ мрачномъ лабиринтѣ славенскихъ періодовъ, такъ и ты, другъ мой, нынѣ иносказательно бродишь по опустѣвшимъ чертогамъ сѣдой Славены и добровольно спускаешься въ бездны безвкусія и безсмыслицы.

Наконецъ, странствіе окончилось безъ особыхъ приключеній. Платокъ былъ снятъ съ глазъ Василья Львовича. Самъ

---

\*) Стихъ Тредьяковскаго, котораго «азрамассцы» называли «патріархомъ славнофиловъ».



онъ стоялъ въ совершенной темнотѣ; но передъ нимъ виднѣлась арка, завѣшанная ярко-оранжевой, какъ-бы огненной занавѣской.

— Прими сіе священное оружіе, братъ мой во «Арзамасѣ» — сказалъ «Свѣтлана» — Жуковский, подавая ему лукъ и стрѣлы. — «Чудище обло, озорно, трезвѣно и лаяй», изможденный ликъ славенофила, иначе: дурной вкусъ, предстанетъ здѣсь передъ тобой. Ты же не страшись и повергни его во прахъ.

Невидимая рука отдернула занавѣску, — и Василій Львовичъ невольно отшатнулся. Въ двухъ шагахъ отъ него возвышалось какое-то безобразное, блѣднолицее пугало въ бѣломъ саванѣ (какъ потомъ оказалось, вѣшалка для платья, покрытая простыней и снабженная человѣческой маской).

— Смѣлѣй! стрѣлай! шепнула «Свѣтлана».

Василій Львовичъ дрожащей рукой натянулъ тетиву, прицѣлился и пустилъ стрѣлу. За чучеломъ же былъ скрытъ казачекъ Уварова. Въ то же мгновеніе мальчикъ опрокинулъ чучело и выстрѣлилъ въ Василья Львовича въ упоръ изъ пистолета. Отъ такой неожиданности (хотя зарядъ и былъ холостой) Василій Львовичъ, какъ подстрѣленный, упалъ ничкомъ, да такъ и остался лежать, увѣренный, кажется, что онъ убитъ наповалъ.

— Не страшись, любезный странникъ! раздался тутъ надъ нимъ ободрительный голосъ «Рѣзвато кота» — Северина. — Твоему ли чистому сердцу опасаться испытаній? Тебѣ ли трепетать при видѣ пораженнаго непріятеля? Ты пришелъ, увидѣлъ и побѣдилъ. Какое сходство въ судьбахъ любимыхъ сыновъ Аполлона! Ты напоминаешь намъ о путешествіи предка Данта. Ведомый божественнымъ Виргиліемъ въ подземныхъ подвалахъ Плутона и Прозерпины, онъ презиралъ возрождавшіяся препятствія на пути своемъ. Гряди подобно Данту,

рази безъ милосердія тѣни Мѣшковыхъ и Шутовскихъ \*), и помни, что

«Прямой талантъ вездѣ защитниковъ найдетъ».

Послѣдній стихъ, принадлежавшій самому Василю Львовичу, настолько придалъ ему опять силы, что онъ, при помощи услужливой «Свѣтланы», «возсталъ изъ мертвыхъ». Тогда председатель предложилъ ему приложиться губами сперва къ Лирѣ, потомъ къ Совѣ, причемъ въ обстоятельной рѣчи объяснилъ ему значеніе новаго таинства.

— Уста твои прикоснулись къ таинственнымъ символамъ, говорилъ онъ:—къ Лирѣ, конечно не Хлыстова и не Баранова, и къ Совѣ, сей вѣрной подругѣ арзамасскаго Гуся, въ которой истинные «арзамасцы» чтятъ изображеніе сокровенной мудрости. Не «Бесѣдѣ» принадлежитъ сія посланница Аѳинъ, хотя сѣдой славянофилъ и желалъ себѣ присвоить ее въ слѣдующей пѣснѣ, достойной бесѣдныхъ Анакреоновъ:

„Сидитъ сова на печи,  
Крылышками треплючи,  
Оченьками лопъ-лопъ,  
Ноженьками топъ-топъ“.

Нѣтъ! не благородная Сова, но безобразный нетопырь служить ему изображеніемъ, ему и всѣмъ его клеветамъ... Настала минута откровеній; приблизься, почтенный «Вотъ», новый любезный собратъ нашъ! продолжалъ председатель и вручилъ Василю Львовичу огромнаго замороженнаго гуся: —Прими же изъ рукъ моихъ истинный символъ «Арзамаса», сего благолѣпнаго Гуся, и съ нимъ стремись къ совершенному очищенію. Въ потокѣ «Липецкомъ» \*\*) омой остатки бесѣдныхъ скверны, и потомъ, съ Гусемъ въ рукахъ и сердцѣ, займи мѣсто, давно

\*) Мѣшковы и Шутовскіе—Шишковы и Шаховскіе.

\*\*) Намекъ на комедію кн. Шаховскаго: «Липецкія воды».

тебя ожидающее. Таинственный Гусь сей да будетъ отнынѣ всегдашнимъ твоимъ путеводителемъ. Гусь нашъ достоинъ предковъ своихъ. Тѣ спасли Капитолій отъ внезапнаго нападенія галловъ, а сей бодрственно охраняетъ «Арзамасъ» отъ нападеній бесѣдныхъ халдеевъ и щиплетъ ихъ побѣдоноснымъ своимъ клювомъ...

«Липецкія воды», въ которыхъ предстояло теперь омыть руки и лицо новокрещенному «Воту», оказалисьъ рукомоѣйникомъ съ серебряною подъ нимъ лоханью. Обрядъ этотъ сопровождался новою рѣчью «Кассандры» — Блудова, который, восхваляя чудодѣйственную силу «Липецкихъ водъ», въ юмористическихъ краскахъ обрисовалъ поочередно всѣхъ присутствующихъ членовъ «Арзамаса».

Омовеніемъ закончился искусь, и младшій членъ общества, «Асмодей» — князь Вяземскій, — за  $1\frac{1}{2}$  мѣсяца передъ тѣмъ только принятый въ «Арзамасъ», произнесъ послѣднюю привѣтственную рѣчь новому сочлену:

— Непостижимы приговоры Провидѣнія. Я юный ратникъ на полѣ жизни, младшій на поляхъ «Арзамаса», приѣмлю кого? — Героя, посѣдѣвшаго въ буряхъ житейскихъ, прославившагося давно подъ знаменами вкуса и ума и — «Арзамаса»! Того, который первый водрузилъ хоругвь независимости на башняхъ халдейскихъ, первый прервалъ безмолвіе робости, первый вырвалъ перо изъ крыла безвѣстнаго еще тогда арзамасскаго Гуса, и пламенными чертами написалъ манифестъ о войнѣ съ противниками подъ именемъ посланія къ «Свѣтланѣ» \*). Приди, о мой отче! О мой сынъ, ты, побѣдившій всѣ испытанія, переплывшій бурныя пучины водъ... Судьба,

---

\*) Здѣсь разумѣется упомянутое уже въ первой нашей повѣсти стихотворное посланіе В. Л. Пушкина къ Жуковскому, служившее отвѣтомъ на ожесточенныя нападки Шишкова.



отворившая тебѣ двери святилища послѣ всѣхъ и, такъ-сказать, замыкающая тобой торжественный рядъ арзамасскихъ Гусей, хотѣла оправдать знаменитое предсказаніе, что нѣкогда первые будутъ послѣдними, а послѣдніе будутъ первыми. Такъ! Ты будешь Староста «Арзамаса». Благодарность и осторожность вручать тебѣ патріархальный посохъ. Арзамасскій Гусь пріосѣнитъ чело твое покровительственнымъ крыломъ....

Окончаніе рѣчи члена «Асмодея» пропало въ сумбурѣ голосовъ всѣхъ «арзамассцевъ», которые, обступивъ Василья Львовича, съ непритворнымъ уже радушіемъ поздравляли его съ званіемъ старосты «Арзамаса». Натѣшившись надъ простоватымъ московскимъ пріателемъ своимъ, они, казалось, вполне чистосердечно жали ему руку, троекратно лобызались съ нимъ, потому что за его открытый, добрый нравъ всѣ отъ души были къ нему расположены.

— Теперь, дорогой собратъ нашъ «Вотъ», возгласилъ предсѣдатель, — очередь говорить за тобой: тебѣ предстоитъ славный подвигъ отпѣть твоего покойнаго предмѣстника по «Бесѣдѣ». Но какъ симъ предмѣстникомъ былъ ты же самъ, то и отпѣть ты имѣешь самого себя.

Василій Львовичъ, приготовившій уже подобающее отвѣтное слово, сперва немного какъ-бы опѣшилъ. Но надо было выдержать роль до конца. Зайдя на другую сторону стола, онъ принялъ изящную ораторскую позу и развязно началъ такъ:

— Правила почтеннѣйшаго нашего сословія повелѣваютъ мнѣ, любезнѣйшіе арзамасцы, совершить себѣ самому надгробное отпѣваніе. Но — я не почитаю себя умершимъ! Напротивъ того, я воскресъ: ибо нахожусь посреди васъ; я воскресъ, ибо навсегда оставляю мертвыхъ умомъ и чувствами...

— Очень хорошо! Прекрасно сказано! раздалось кругомъ. Ораторъ окинулъ присутствующихъ орлинымъ взглядомъ и,

искусно перейдя къ длинноухимъ Мидасамъ «Бесѣды», прочелъ теперь заранѣе приготовленную литію мнимо-усопшему «бесѣдчику» князу Шихматову. Похоронивъ его, онъ обратился снова къ присутствующимъ:

— Почтениѣйшіе сограждане «Арзамаса»! Я не буду исчислять подвиговъ вашихъ. Они всѣмъ извѣстны. Я скажу только, что каждый изъ васъ приводитъ сочлена «Бесѣды» въ содроганіе, точно такъ, какъ каждый изъ нихъ производитъ въ собраніи нашемъ смѣхъ и забаву. Да вѣчно сіе продолжится! Пусть сычи вѣчно останутся сычами: мы вѣчно будемъ удивляться многоплоднымъ ихъ произведеніямъ, вѣчно отпѣвать ихъ, вѣчно забавляться ихъ трагедіями, плакать и зѣвать отъ ихъ комедій, любоваться нѣжностью ихъ сатиръ и колкостью ихъ мадригаловъ. Вотъ чего я желаю и чего вы, любезнѣйшіе товарищи, должны желать непрестанно для утѣшенія и чести «Арзамаса».

Замѣчательныя въ своемъ родѣ рѣчи этого достопамятнаго вечера не пропали для потомства: князь Вяземскій занесъ ихъ отъ слова до слова въ свою записную книжку и поставилъ насъ, такимъ образомъ, въ возможность дословно (съ нѣкоторыми только сокращеніями) привести ихъ въ нашемъ правдивомъ повѣствованіи.

Прибавимъ къ рассказанному одно: что вечеръ заключился обильнымъ ужиномъ, за которымъ неоднократно уже упомянутому арзамаскому Гусю (конечно, въ жареномъ уже видѣ) была оказана полная честь, старостѣ «Арзамаса» «Во т у» были принесены самые душевные тосты, а заклтому врагу его — князю Шаховскому — пропѣта хоромъ сочиненная Дашковымъ кантата, каждый куплетъ которой заканчивался припѣвомъ:

•Хвала, хвала тебѣ, о Шутовской!»







## ГЛАВА XIX.

### Опять дядя и племянникъ.

«Звѣрь началъ фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдругъ, поднявшись на заднія лапы, пошелъ на него. Французъ не смутился, не побѣжалъ.... вынулъ изъ кармана маленькій пистолетъ, вложилъ его въ ухо голодному звѣрю и выстрѣлилъ».

(Дубровскій.)



Могъ ли ожидать почтенный староста «Арзамаса» послѣ описаннаго торжества своего, что родной племянникъ его, 16-ти-лѣтній школьникъ, осмѣлится подмѣтнуть въ этомъ торжествѣ одну оборотную сторону?

Отчасти виновать въ томъ, правда, былъ «Свѣтлана» — Жуковскій. Недолго послѣ того «арзамасскаго вечера», онъ навѣстилъ опять своего молодого друга въ Царскомъ Селѣ и былъ самъ въ такомъ рѣдко-счастливомъ настроеніи духа, что почти, безъ настояній со стороны Пушкина, чрезвычайно картинно воспроизвелъ передъ его глазами все фазисы торжества и даже произнесъ цѣлыя тирады изъ сказанныхъ рѣчей. Пушкинъ хохоталъ до упаду.

— Но какія же, скажи, преимущества дяди, какъ старосты «Арзамаса»? спросилъ онъ.



— О! весьма существенныя, съ важностью отвѣчалъ Жуковский: — когда онъ присутствуетъ въ засѣданіи, то мѣсто его — рядомъ съ предѣдателемъ; когда же отсутствуетъ, то — въ сердцахъ друзей; вѣщій гласъ его въ «Арзамасѣ» имѣетъ силу трубы и пріятность флейты; подпись его на протоколахъ отмѣчается приличною званію размашкою, и прочее, и прочее.

— Миѣ, право, немного жаль дяди. Неужели онъ такъ и не замѣтилъ, что вы надъ нимъ подтрунивали?

— Да вѣдь, голубчикъ, все отъ чистаго сердца, а у него оно еще добрѣе.

— Но въ концѣ-концовъ вамъ нельзя же будетъ скрыть отъ него, что другіе члены принимаются безъ такихъ Дантовскихъ мученій?

— Напротивъ, все уже шито и крыто. Вяземскій увѣрилъ его, что онъ такъ-же прошелъ чрезъ тѣ-же мытарства.

— Ну, а на будущее время?

— На будущее время ихъ уже не будетъ: въ виду тѣхъ мукъ, которыя испыталъ Василій Львовичъ при своемъ искуствѣ и которыя онъ преодолѣлъ только благодаря силѣ своего духа, — всѣ гуси единогласно постановили: впредь новыхъ гусей принимать безъ искуса, какъ для нихъ тягостнаго, а для старыхъ гусей убыточнаго.

— Гусей? переспросилъ Пушкинъ.

— Ну, да, арзамасскихъ гусей, т. е. членовъ. Такъ мы выбрали уже нашими почетными гусями: Нелединскаго, Дмитриева, Карамзина...

— Даже Карамзина?

— Онъ лично благодарилъ насъ за честь.

— Такъ онъ развѣ теперь въ Петербургѣ?

— Да, онъ пріѣхалъ изъ Москвы представить государю восемь готовыхъ уже томовъ своей «Исторіи Государства Россійскаго». Ахъ, милый мой, что это за свѣтлая

личность! Мнѣ какъ-то необыкновенно пріятно даже о немъ думать и говорить. У меня въ душѣ, можно сказать, есть особенное хорошее свойство, которое называется *К а р а м з и н ы м ѣ*: тутъ соединено все, что есть во мнѣ добраго и лучшаго. Недавно я провелъ у него самый пріятный вечеръ. Онъ читалъ намъ описаніе взятія Казани. Какое совершенство! и какая эпоха для русскаго — появленіе этой исторіи! По сію пору наши предки были для насъ только мертвыми муміями, и всѣ исторіи русскаго народа, извѣстныя доселѣ, можно назвать только гробами, въ которыхъ мы видѣли лежащими эти безобразныя муміи. Теперь, благодаря Карамзину, онѣ оживаютъ, поднимаются и получаютъ привлекательный, величественный образъ...

— Если бы мнѣ самому удалось тоже увидѣть опять его! сказалъ Пушкинъ.

— А онъ, кажется, собирался на обратномъ пути въ Москву завернуть сюда къ тебѣ.

— Да? И ты, Василій Андреичъ, тоже заѣдешь вмѣстѣ съ нимъ?

— Не могу, другъ мой, потому что не буду уже въ Петербургѣ.

— Но ты ожидалъ, вѣдь, пристроиться при Дворѣ?

— И пристроился.

— Пристроился? И молчишь до сихъ поръ!

— Императрица Марія Ѳеодоровна была такъ милостива, что назначила меня своимъ чтецомъ. Но... я все еще не могу привыкнуть къ придворной сферѣ; меня все тянетъ домой, къ своимъ; и вотъ, на дняхъ, я собираюсь къ нимъ въ Дерптъ.

И точно, Жуковскій болѣе года провелъ въ тѣсномъ семейномъ кругу въ Дерптѣ и только въ концѣ 1817 г. возвратился въ Петербургъ, когда былъ назначенъ преподавателемъ русскаго языка великой княгини (впослѣдствіи императрицы) Александры Ѳеодоровны.

Какъ предупредилъ уже Жуковскій, вскорѣ послѣ него, именно въ концѣ марта, Пушкина въ Царскомъ Селѣ, дѣйстви-тельно, навѣстилъ Карамзинъ, а вмѣстѣ съ нимъ и возвращав-шіеся также въ Москву Василій Львовичъ и князь Вяземскій.

Карамзина Пушкинъ видѣлъ въ послѣдній разъ 4 года назадъ въ Москвѣ, въ родительскомъ домѣ, и хорошо еще помнилъ. Князя Вяземскаго, который у нихъ бывалъ рѣже и, какъ человѣкъ молодой, значительно возмужалъ, онъ почти не узналъ. Будучи мальчикомъ, Пушкинъ не интересовался особенно ни тѣмъ, ни другимъ. Въ настоящее время, самъ выступивъ на литературное поприще, онъ глядѣлъ на нихъ во всѣ глаза.

Карамзину въ декабрѣ мѣсяцъ минуло ровно 50 лѣтъ, но онъ за послѣдніе 4 года почти не измѣнился. Только волосы, зачесанные съ боковъ на верхъ головы, сильнѣе прежняго се-ребрились, да двѣ характеристичныя морщины по угламъ рта врѣзались какъ-будто глубже. Благородное, спокойно-доброе лицо его съ высокимъ, открытымъ лбомъ и правильнымъ рим-скимъ носомъ, было попрежнему удивительно привлекательно; серьезно-улыбающіяся губы его не умѣли, казалось, принять недовольное выраженіе; а изъ задумчиво-выразительныхъ глазъ глядѣла самая свѣтлая, чистая душа. Съ первой же встрѣчи съ этимъ человѣкомъ нельзя было не исполниться къ нему без-отчетнаго уваженія и довѣрія.

Князь Вяземскій, лѣтами хотя и болѣе чѣмъ вдвое его мо-ложе (ему минуло только 23 года), былъ на видъ не менѣе его солиденъ. Высокаго роста, плечистый и коренастый, онъ, словно сознавая свою богатырскую мощь, двигался медленно, въ раз-валку и, разъ удобно гдѣ-нибудь усѣвшись, не перемѣнялъ уже своего положенія. Зато въ умныхъ глазахъ его часто вспыхи-валъ яркій огонекъ; насмѣшливо-улыбающіяся губы его раскры-вались только для мѣткихъ и дѣльных замѣчаній. Сойдясь съ



нимъ въ послѣдствіи на дружескую ногу, Пушкинъ такъ нарисовалъ его портретъ:

„Судьба свои дары явить желала въ немъ,  
Въ счастливомъ баловнѣ соединивъ ошибкой  
Богатство, знатный родъ съ возвышеннымъ умомъ  
И простодушіе съ язвительной улыбкой“.

На сдѣланный Пушкинымъ Карамзину обычный вопросъ вѣжливости о здоровьи его жены и дѣтей, ясныя черты исторіографа слегка омрачились.

— Ты, можетъ быть, не слышалъ, сказалъ онъ, — что мы въ ноябрѣ мѣсяцѣ схоронили нашу милую дочь Наташу?

— Ни слова!

— Всѣ дѣти у насъ переболѣли скарлатиной; но Наташа не перенесла болѣзни...

Карамзинъ подавилъ вздохъ и, отвернувшись къ окошку, забарабанилъ пальцами по стеклу.

— Но вашъ серьезный трудъ долженъ бы, кажется, помочь вамъ забыть вашу потерю? счелъ нужнымъ выразить свое соболѣзнованіе Пушкинъ.

— Ахъ, милый мой!... Жить не значить—писать исторію, писать стихи или комедію, а какъ можно лучше мыслить, чувствовать и дѣйствовать, любить добро и возвышаться къ нему душою; все другое — шелуха, не исключая и моихъ восьми томовъ исторіи. Чѣмъ болѣе живешь, тѣмъ болѣе уясняется тебѣ цѣль жизни...

— Ну, полно, Николай Михайлычъ, сказалъ Василій Львовичъ, дружески хлопая опечаленнаго по плечу. — Лучше поговоримъ о твоихъ успѣхахъ. Знаешь-ли, Александръ, что государь далъ Николаю Михайлычу 60 тысячъ на напечатаніе его исторіи и пожаловалъ ему Анненскую ленту черезъ плечо!

— Послѣднее даже было лишнее... вставилъ отъ себя Карамзинъ.

— Ну, нѣтъ, не говори. И это, братецъ ты мой, еще не все, съ одушевленіемъ продолжалъ Василій Львовичъ, обращаясь къ племяннику: — смертельный врагъ его и всѣхъ насъ, «арзамасцевъ», Александръ Семенычъ Шишковъ, расшаркнулся передъ нимъ и призналъ себя побѣжденнымъ.

— Вотъ это, точно, блистательная побѣда! Гдѣ-жъ это было?

— А у старика Державина. Расскажи-ка самъ, Николай Михайлычъ.

— Гаврила Романычъ пригласилъ меня на обѣдъ, началъ Карамзинъ. — Оказалось, что онъ позвалъ и друга своего Шишкова. Тотъ, когда насъ представили другъ другу, какъ-будто смутился.

« — Люди, которые не знаютъ коротко ни васъ, ни меня, сказалъ я ему, — вздумали приписать мнѣ вражду къ вамъ. Я не способенъ къ враждѣ; напротивъ того, я привыкъ питать искреннее уваженіе къ добросовѣстнымъ писателямъ, которые трудятся для общей пользы, хотя и не сходятся со мною въ нѣкоторыхъ убѣжденіяхъ. Я не врагъ вашъ, а ученикъ, потому что многое, высказанное вами, было мнѣ полезно... »

« — Я ничего не сдѣлалъ »... пробормоталъ Шишковъ сквозь зубы; но, судя по тому, какъ онъ встрѣчался потомъ со мною, надо думать, что онъ относится теперь снисходительнѣе ко мнѣ, хотя я дружу по-прежнему съ «арзамасцами».

— Ахъ, кстати, дядя, замѣтилъ Пушкинъ, — васъ можно поздравить какъ старосту «Арзамаса»?

Василій Львовичъ окинулъ столпившуюся кругомъ лицейскую молодежь сіяющимъ взглядомъ.

— А до васъ сюда тоже слухъ уже дошелъ? М-да, добавилъ онъ съ самодовольною скромностью. — Теперь хоть сейчасъ въ гробъ лягу, не поморщась; надъ могилой же моей вы, племянники мои, можете начертать ту самую эпитафію, что

начерталь Бѣлосельскій \*) на смерть моего тески, а своего камердинера:

„Подъ камнемъ симъ лежитъ признательный Василій:  
Миръ и покой ему отъ всѣхъ земныхъ василій!“

— Можно начертать и варіантъ, неосторожно сострилъ Александръ:— «Подъ шубой сей лежитъ»... или еще лучше: «Подъ чучеломъ лежитъ нашъ дядюшка Василій»...

Насмѣшка была слишкомъ прямолинейна: даже простодушнѣйшій Василій Львовичъ попялъ ее и насупился. Князь Вяземскій счелъ нужнымъ выступить посредникомъ.

— Жуковский, видно, разболталъ вамъ объ искусѣ дяди? спросилъ онъ Пушкина.

— Да, рассказалъ...

— Ну, вотъ. А лавры нашей «Свѣтланы» прельстили, очевидно, молодого человѣка. Есть-ли на свѣтѣ человѣкъ милѣе нашего Василья Андреича? И что же? онъ, чувствительнѣйшій «балладникъ», «гробовыхъ дѣлъ мастеръ», въ то-же время нашъ первый гусярь и скоморохъ, «шуточныхъ и шутовскихъ дѣлъ мастеръ».

— То поэтъ самой чистой воды: ему простительно, съ важностью отозвался Василій Львовичъ:— а у этого и молоко-то на губахъ не обсохло...

— Однако, тоже поэтъ, тоже попадетъ скоро въ вашъ «Арзамасъ»! неожиданно вступился за товарища Кюхельбекеръ.

— Кто? Александръ-то? Французъ, какъ вы сами его здѣсь прозвали?

— Я, дядя, пишу теперь почти-что только по-русски... возразилъ съ своей стороны племянникъ, котораго отъ словъ дяди вогнали въ краску.

---

\*) Князь Александръ Михайловичъ Бѣлосельскій, вельможа временъ Павла I и Александра I, оберъ-шенкъ, посланникъ въ Дрезденъ и Туринъ, композиторъ оперетки: „Оленька“ и сочинитель многихъ французскихъ и русскихъ стиховъ.



— Да что пишешь-то? продолжалъ въ томъ-же высокомѣрномъ тонѣ Василій Львовичъ. — Накропалъ пару какихъ-то жалкихъ одъ и вообразилъ себя тоже поэтомъ. На такихъ скорспѣлыхъ поэтиковъ у меня давно сложена эпиграмма:

„Какой-то стихотворъ (довольно ихъ у насъ)  
Послалъ двѣ оды на Парнасъ.  
Онъ въ нихъ описывалъ красу природы, неба,  
Цвѣтъ розо-желтый облаковъ,  
Шумъ листьевъ, вой звѣрей, ночное пѣнье совъ,  
И милости просилъ у Феба.  
Читая, Фебъ зѣвалъ и наконецъ спросилъ:  
„Какихъ лѣтъ стихотворецъ былъ,  
И оды громкія давно-ли сочиняетъ?“  
— Ему пятнадцать лѣтъ, Эрата отвѣчаетъ.  
„Пятнадцать только лѣтъ?“—Не болѣе того. —  
„Такъ розгами его!“

Эпиграмма видимо понравилась большинству лицеистовъ; они со смѣхомъ оглянулись на молодого Пушкина: что-то онъ еще скажетъ?

— Эпиграмма была бы хоть куда, заговорилъ Александръ, и въ голосъ его прозвенѣла уже задорная нотка, — если бы только...

— Если бы что? Ну, говори! приступилъ къ нему дядя.

— Если бы она была вдвое короче.

— Что?!

— Первое условіе эпиграммы—сжатость, лаконизмъ.

— Скажите, пожалуйста! Лаконизмъ! Тоже критикъ нашелся! Хотѣлъ бы я знать, какъ ты выразился бы короче?

— Дайте мнѣ десять минутъ—напишу.

— Десять минутъ? Ха! Изволь, дружокъ. На вотъ тебѣ бумагу (Василій Львовичъ досталъ свою карманную книжку и вырвалъ листокъ); на карандашъ. Садись сейчасъ и пиши.

Всѣхъ присутствующихъ сильно заняло стихотворное состязаніе между дядей и племянникомъ. Даже Карамзинъ, бесѣдовавшій въ сторонѣ съ лицеистомъ Ломоносовымъ, котораго

зналъ еще по Москвѣ, подошелъ теперь узнать о предметѣ спора. Пока Александръ присѣлъ къ столу, чтобы рѣшить мудреную задачу, Василій Львовичъ вынулъ часы и, не отрываясь, слѣдилъ за движеніемъ минутной стрѣлки.

— Семь минутъ прошло... бормоталъ онъ про себя. — Восемь минутъ...

— Готово! объявилъ племянникъ, вскакивая изъ-за стола.

— Покажи-ка сюда, сказалъ тутъ Карамзинъ и отобралъ у него листокъ. Въ слѣдующую минуту, не говоря ни слова, онъ скомкалъ въ кулакъ бумагу и съ нѣмымъ укоромъ взглянулъ въ глаза молодому поэту. Тотъ, молча же, потупился.

Все поняли, что стихотворная шутка зашла уже черезчуръ далеко. Понялъ это и Василій Львовичъ. Схвативъ шапку, онъ съ какимъ-то ожесточеніемъ на-скоро сталъ прощаться. Произшелъ общій переполохъ. Все лицеисты чувствовали себя передъ нимъ какъ бы виноватыми и любезно проводили его съ лѣстницы. Одинъ старшій племянникъ его только остановился на верхней площадкѣ; да и тутъ онъ отвернулся къ окну и совершенно, казалось, погрузился въ созерцаніе валившаго съ неба густаго снѣга.

Вдругъ кто-то сзади тронулъ его за руку. Онъ быстро обернулся. Передъ нимъ стоялъ Карамзинъ.

— Я возвратился къ тебѣ вотъ зачѣмъ, серьезно заговорилъ онъ: — дай мнѣ слово, Александръ, не печатать этой эниграммы?

— Никогда? спросилъ Пушкинъ.

— Да... или, по крайней мѣрѣ, не при жизни дяди.

— Обѣщаюсь.

— Я вѣрю тебѣ, сказалъ Карамзинъ и, кивнувъ ему головой, опять спустился внизъ.

«Какая же то была эниграмма?» спросить, можетъ быть, читатель.

По всѣмъ признакамъ, эпиграмма была та самая, которая, вслѣдъ за смертью Василя Львовича, въ 1830 году, появилась въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» и въ первыхъ четырехъ строкахъ которой вполне было выражено то же, на что Василью Львовичу потребовалось не менѣе двѣнадцати строкъ:

„Мальчишка Фебу гимнъ поднесъ.  
— „Охота есть, да мало мозгу.  
А сколько лѣтъ ему, вопросъ?“  
— Пятнадцать. — „Только-то? Эй, розгу!“

Послѣдовавшему вскорѣ примиренію дяди съ племянникомъ, очень можетъ быть, способствовали какъ Карамзинъ, такъ и князь Вяземскій, съ которымъ молодой Пушкинъ со встрѣчи съ лицеѣмъ вступилъ въ переписку, а съ 1817 г. былъ уже на «ты». Но первый шагъ къ примиренію былъ сдѣланъ самимъ Александромъ. Въ Свѣтлому празднику 1816 года онъ послалъ дядѣ въ Москву свое стихотвореніе «Желаніе»:

«Христосъ воскресъ, питомецъ Феба!..»

Въ отвѣтъ на это, Василій Львовичъ (отъ 17 апрѣля) писалъ ему, между прочимъ:

«Благодарю тебя, мой милый, что ты обо мнѣ вспомнилъ. Письмо твое меня утѣшило, и точно сдѣлало съ праздникомъ... Я хотѣлъ-было отвѣчать тебѣ стихами, но съ нѣкоторыхъ поръ Муза моя стала очень лѣнива, и ее тормошить надобно, чтобъ вышло что-нибудь путное. Вяземскій тебя любить и писать къ тебѣ будетъ. Николай Михайловичъ (Карамзинъ) въ началѣ мая отправляется въ Царское Село. Люби его, слушайся и почитай. Совѣты такого человѣка послужать къ твоему добру и, можетъ быть, къ пользѣ нашей словесности. Мы отъ тебя многого ожидаемъ... Ты—сынъ Сергѣя Львовича и братъ мнѣ по Аполлону. Этого довольно...»

Если дядя жаловался на свою лѣнь, то и племянникъ не остался передъ нимъ въ этомъ отношеніи въ долгу. Отвѣтилъ



онъ ему только спустя восемь мѣсяцевъ, къ новому 1817 году, извѣстнымъ полустихотворнымъ письмомъ:

«Тебѣ, о Несторъ «Арзамаса»,  
Въ бояхъ воспитанный поэтъ,  
Опасный для пѣвцовъ сосѣдъ  
На страшной высотѣ Парнаса,  
Защитникъ вкуса, грозный «Вотъ»!  
Тебѣ, мой дядя, въ новый годъ  
Веселья прежняго желанье  
И слабый сердца переводъ—  
Въ стихахъ и прозою посланье.

«Въ письмѣ вашемъ вы назвали меня братомъ; но я не осмѣлился назвать васъ этимъ именемъ, слишкомъ для меня лестнымъ.

«Я не совсѣмъ еще разсудокъ потерялъ,  
Отъ риѣмъ бакхическихъ шатаюсь на Пегасѣ:  
Я знаю самъ себя, хоть радъ, хотя не радъ...  
Нѣтъ, нѣтъ, вы мнѣ совсѣмъ не братья:  
Вы дядя мнѣ и на Парнасѣ.

«Кажется, что судьбою опредѣлены мнѣ только два рода писемъ — общительныя и извинительныя: первыя въ началѣ годовой переписки, а послѣднія при послѣднемъ ея издыханіи...

«Но вы, которые умѣли  
Простыми пѣснями свирѣли  
Красавицъ нашихъ воспѣвать,  
И съ гнѣвной музой Ювенала  
Глухаго варварства начала  
Сатирой грозной осмѣять;  
О вы, которые умѣли  
Любить, обѣдать и писать,  
Скажите искренно: ужели  
Вы не умѣете прощать?..»

Такое благозвучное покаяніе племянника разсѣяло, кажется, послѣднюю тѣнь неудовольствія стихотворца-дяди.





Николай Михайлович Карамзинъ.

1766 — 1826.







## ГЛАВА XX.

### Карамзинъ.

«Сокрытаго въ вѣкахъ священный судія,  
Стражъ вѣрный прошлыхъ лѣтъ, наперс-  
никъ Музъ любимый  
И блѣдной зависти предметъ непоколеби-  
мый...»

(Посланіе къ Жуковскому.)



Въ весною 1816 года, именно 24-го мая, Карамзинъ, по приглашенію императора Александра, переселился съ семействомъ своимъ изъ Москвы въ Царское Село. Разъ, въ воскресенье, за утреннимъ чаемъ, Пушкину подали отъ него записку. Сообщая о своемъ перѣздѣ, Карамзинъ звалъ поэта-лицеиста къ себѣ за-просто отобѣдать, вмѣстѣ съ товарищемъ его Ломоносовымъ.

Въ глазахъ Пушкина вспыхнулъ огонь удовлетвореннаго самолюбія. На что ему теперь этотъ Ангельгардтъ, когда Карамзинъ просить его къ себѣ?

И опъ съ какою-то, почти злорадною гордостью рассказывалъ всѣмъ и каждому о полученномъ имъ приглашеніи. Особенно завидовалъ ему такой же поэтъ, Дельвигъ, которому очень, казалось, хотѣлось посмотрѣть на знаменитаго писателя и исторіографа въ его домашнемъ быту.

Изъ-за чайнаго стола Пушкинъ прямо направился въ бібліотеку, а оттуда, съ томомъ сочиненій Карамзина подъ мышкой, удалился въ паркъ. Здѣсь же, спустя нѣсколько часовъ, отыскалъ его другой приглашенный, Ломоносовъ.

— Экъ зачитался! сказалъ тотъ.—Что это у тебя? Такъ и есть: «Бѣдная Лиза»!

— Да вѣдь надо же было нѣсколько подготовиться, такъ-сказать...

— Къ предстоящему экзамену? усмѣхнулся Ломоносовъ.— Однако, пора, братъ; идемъ.

По приказанію государя, Карамзинымъ былъ отведенъ въ царскомъ паркѣ маленькій китайскій домикъ. Когда юноши наши (принаряженные, разумѣется, въ свою праздничную форму) подошли къ цвѣточному садику, разведенному передъ домомъ Карамзиныхъ, и только-что раскрыли калитку, — на нихъ, изъ-за куста сирени, съ гамомъ и визгомъ налетѣла ватага дѣтей. Пушкинъ во-время посторонился, чтобы не быть сбитымъ съ ногъ бѣжавшею впереди дѣвочкою-подросткомъ, за которой гнались остальные, меньшаго возраста дѣти.

— Сонюшка! невольно вскричалъ онъ, потому что въ хорошенькой дѣвчкѣ, хотя еще носившей короткое платьице, но стройной и довольно уже высокой, узналъ 14-ти-лѣтнюю, старшую дочь Карамзина, отъ перваго его брака.

Сонюшка остановилась и, задыхаясь еще отъ бѣга, большими удивленными глазами уставилась на незнакомаго ей лицеста.

— Вы не узнаете меня, Сон... Софья Николаевна? поправился онъ.

И безъ того раскраснѣвшееся личико дѣвочки залило огненнымъ румянцемъ до корней волосъ.

— Ахъ, Пушкинъ... пролепетала она и упорхнула мимо него птичкой обратно къ дому.



Задержанная на бѣгу вмѣстѣ съ нею, орава малолѣтокъ шумно помчалась вслѣдъ за нею.

— Это вы, Пушкинъ? привѣтствовалъ молодого гостя по-французски съ балкона звучный женскій голосъ, и подошедшіе къ дому лицеисты увидѣли на низенькомъ балконѣ, за столикомъ, уставленнымъ серебрянымъ кофейнымъ сервизомъ, двухъ лицъ: цвѣтущую и очень видную изъ себя, среднихъ лѣтъ даму, хозяйку дома, Екатерину Андреевну Карамзину \*), и молоденькаго, но не по лѣтамъ серьезнаго усача лейбъ-гусара, Петра Яковлевича Чаадаева, какъ узнали они вслѣдъ затѣмъ изъ рекомендаціи хозяйки.

На вопросъ юношей: «какъ здоровье Николая Михайловича?» Екатерина Андреевна холодно поблагодарила и объяснила, что до обѣда мужъ ея всегда занятъ и не выходитъ изъ кабинета. Наливъ затѣмъ обоимъ по чашечкѣ кофею, она, повидимому, сочла свои обязанности въ отношеніи къ нимъ оконченными и, не обращая уже на нихъ никакого вниманія, возобновила прерванную съ Чаадаевымъ живую французскую болтовню.

Пушкинъ украдкой перемигнулся съ Ломоносовымъ: «смотри, молъ, какъ важничаетъ!» однако невольно самъ заинтересовался бесѣдой или, вѣрнѣе сказать, однимъ изъ бесѣдующихъ, Чаадаевымъ. Не будь на немъ военной формы, Чаадаева можно было бы принять за флегматическаго англійскаго лорда; а его рѣшительные, часто глубокомысленные отзывы о самыхъ разнообразныхъ предметахъ, его обдуманые, осмысленные рассказы о пребываніи его за-границей обличали въ немъ не только бывалаго, всесторонне-образованнаго, но и ученаго человѣка.

Пушкинъ не вытерпѣлъ и вмѣшался въ разговоръ. Мѣткія и остроумныя замѣчанія поэта-лицеиста, должно быть, обратили

---

\*) Вторая жена исторіографа, урожденная княжна Гяземская; первой женой его была Елисавета Ивановна Протасова, умершая въ 1802 году и оставившая ему одну дочь, Сонюшку.



также вниманіе Чаадаева, потому что тотъ болѣе чѣмъ съ обыкновенною свѣтскою любезностью удовлетворялъ его любознательность относительно заграничной жизни.

Такъ незамѣтно подошло время обѣда. Всѣ собрались въ столовой. Показался изъ своего кабинета и хозяинъ-исторіографъ и, съ неизмѣнной своей, спокойной привѣтливостью, поздоровался съ гостями. Въ началѣ обѣда всѣ предались главному занятію — утоленію голода, и самый разговоръ вращался около пищи. Когда всѣмъ подали къ бульону горячихъ пирожковъ, Николаю Михайловичу поставили тарелку варенаго рису.

— Безъ рису мнѣ супъ не въ супъ, объяснилъ онъ гостямъ, подмѣшивая въ бульонъ ложку рису. — Рису, рюмка портвейна, да стаканъ пива изъ горькой квасіи — вотъ ежедневная приправа къ моему обѣду; а на ночь пара печеныхъ яблокъ — вотъ мой десертъ.

— Съ нимъ у меня просто горе, пожаловалась Екатерина Андреевна Чаадаеву на мужа: — самыя любимыя блюда мои бракуетъ, да и ѣсть-то, какъ птичка, два зернышка.

— Вамъ бы, Николай Михайлычъ, братъ примѣръ съ Крылова, развязно подхватилъ Пушкинъ: — я слышалъ отъ Жуковского, что они обѣдали разъ вмѣстѣ въ Павловскѣ у императрицы Маріи Ѳеодоровны. Крыловъ всякаго кушанья наваливалъ себѣ полную тарелку.

« — Да откажись хоть разъ, Иванъ Андреичъ, шепнулъ ему Жуковский: — дай государынѣ возможность поподчивать себя.

« — А ну, какъ не поподчуетъ? отвѣчалъ Иванъ Андреичъ и продолжалъ накладывать себѣ на тарелку: — синица въ рукѣ все же вѣрнѣе журавля въ небѣ. »

— Какъ это характеризуетъ этого гиппопотама! замѣтила Екатерина Андреевна, удостоивъ улыбкой рассказъ Пушкина, тогда какъ другіе взрослые смѣялись, а дѣти громко хохотали. — Ч-ш-ш! будьте же тише, дѣти!

— Нѣтъ, за Иваномъ Андреичемъ мнѣ не угоняться, добродушно отозвался Карамзинъ. — Да и дѣло не въ количествѣ, а въ качествѣ пищи. Для строгаго труда пужна и строгая діета. Встаю я всегда рано, на-тощакъ отправляюсь гулять пѣшкомъ или верхомъ, и зимой, и лѣтомъ, какова бы ни была погода. Выпивъ затѣмъ двѣ чашки кофею, выкуривъ трубку моего кнастера, я сажусь за работу и не разгибаю спины вплоть до обѣда. Такъ я сохраняю свое здоровье, которое мнѣ нужно не столько для себя, не столько даже для моей семьи, сколько для моего усидчиваго кабинетнаго труда.

— Я, папа, себѣ и представить не могу, чтобы вы были тоже когда-нибудь маленькимъ! рѣшилась вернуть свое слово любимица его Сонюшка.

— А между тѣмъ, представь: я былъ когда-то даже еще меньше тебя!

Шутка его снова развеселила всѣхъ за столомъ.

— Право? разсмѣялась Сонюшка и, тотчасъ покраснѣвъ, робко оглянулась на мачиху и молодыхъ гостей. — Но, вѣрно же, папа, вы были не такимъ ребенкомъ, какъ мы?

— Кое въ чемъ, милая, я, точно, можетъ быть, отличался отъ другихъ дѣтей. Очень рано лишившись матери, я не зналъ ея ласкъ и былъ предоставленъ самъ себѣ. Книги сдѣлались для меня высшимъ наслажденіемъ. Помнится, еще лѣтъ 8-ми — 9-ти отъ роду, читая въ первый разъ римскую исторію, я воображалъ себя то маленькимъ Сципіономъ, то Ганнибаломъ. Когда же мнѣ какъ-то попался въ руки «Донъ-Кихотъ», я въ одинъ темный и бурный вечеръ прокрался въ горницу, гдѣ хранился у насъ разный старый хламъ, разыскалъ ржавую саблю, заткнулъ ее себѣ за кушакъ и отправился на гумно — искать приключеній съ злыми духами. Но чѣмъ дальше, тѣмъ жутче мнѣ становилось. Помахалъ я этакъ саблей по воздуху и — съ замирающимъ



сердцемъ обратился — вспять. Но подвигъ мой казался мнѣ тогда немалымъ!

— Однако, не потому-ли именно, Николай Михайлычъ, что съ дѣтства уже побужденія ваши были всегда самыя безкорыстныя, возвышенныя, и всѣ сочиненія ваши проникнуты насквозь тѣмъ-же человѣколюбивымъ, высоко-нравственнымъ духомъ? почтительно замѣтилъ Чаадаевъ.—Я самъ, можно сказать, вскормленъ на вашемъ «Дѣтскомъ Чтеніи», на вашихъ «Аглаяхъ» и «Аонидахъ». А послѣ, когда вы стали издавать «Вѣстникъ Европы»,— съ какимъ нетерпѣніемъ, скажу я вамъ, ожидалъ я всякую книжку этого журнала въ розовой оберткѣ! Вы, Николай Михайлычъ, пріохотили насъ, русскихъ, къ чтенію — къ чтенію и размышленію; вы создали нашъ литературный языкъ и нашу читающую публику!

— Вся заслуга моя въ томъ, скромно отвѣчалъ Николай Михайловичъ,—что я прислушивался къ живой русской рѣчи и старался писать возможно проще, а также возможно занимательнѣй. Правила языка не изобрѣтаются, а въ немъ уже существуютъ. Точно также и жизнь сама по себѣ занимательнѣй всякихъ сказокъ и фантазій; надо только вглядѣться, вслушаться въ нее, а главное—руководствоваться при этомъ одними общими нравственными началами, а не мелкими житейскими расчетами. Я весь вѣкъ свой держался и буду держаться золотого правила, которое преподалъ мнѣ германскій поэтъ Виландъ, когда я навѣстилъ его въ Веймарѣ: «Если-бы судьба опредѣлила мнѣ жить на пустомъ островѣ, говорилъ онъ мнѣ,—то я написалъ бы все то-же и съ такимъ-же тщаніемъ выработывалъ бы свои сочиненія, думая, что Музы слушаютъ меня».

— А знаете-ли, Николай Михайлычъ, вмѣшался тутъ Ломоносовъ, лукаво посматривая на своего пріятеля-поэта: — знаете-ли, какой книгой цѣлое утро нынче зачитывался Пушкинъ?



— Какой?

— Вашей «Бѣдной Лизой».

Взоры всѣхъ присутствующихъ съ любопытствомъ обратились на Пушкина.

— Да вѣдь это же лучшая наша русская повѣсть... слегка смутившись, проговорилъ онъ.

— Во всякомъ случаѣ не русская, возразилъ съ улыбкой Карамзинъ: — русскаго въ ней, кромѣ имени, ничего нѣтъ.

— То-есть какъ же такъ?..

— А такъ, что моя «Бѣдная Лиза» — чистокровная французенка.

— Французенка!

— Да. Когда я былъ въ Парижѣ, я любилъ гулять въ Булонскомъ лѣсу. Есть тамъ полуразрушенный замокъ «Мадридъ». Когда я разъ какъ-то забрелъ туда, то нашелъ тамъ старушку въ лохмотьяхъ, которая грѣлась у камина. Мы разговорились. Оказалось, что она нищая, и что смотритель изъ состраданья дозволилъ ей съ дочерью жить въ пустынной залѣ.

« — У васъ есть дочь? спросилъ я.

« — Была, отвѣчала мнѣ старушка, — была; теперь она тамъ, выше... Ахъ! мы жили съ нею какъ въ раю; жили въ низенькой комнатѣ, но спокойно и весело. Тогда и свѣтъ былъ лучше, и люди добрѣе. Она любила пѣть, сидя подъ окномъ или гуляя въ рощѣ; всѣ останавливались и слушали. У меня сердце прыгало отъ радости. Тогда заимодавцы насъ не мучили: Луиза попросить — и всякій готовъ ждать. Но, вотъ, Луиза умерла — и меня выгнали изъ хижины, съ клюкой и котомкой. Ходи по міру и лей слезы!

Эта-то капва и послужила мнѣ для моей «Бѣдной Лизы»; самый эпизодъ я перенесъ только въ Москву. Моя ли вина, что дѣйствующія лица у меня не похожи на русскихъ, воркуютъ

и стонуть горlinkами, разсуждаютъ языкомъ Лафатера и Боннета?

— А между тѣмъ, подхватилъ тутъ Чаадаевъ, — вся читающая Россія заливалась надъ вашей «Лизой» горячими слезами; вся Москва ходила смотрѣть «Лизинъ Прудъ» и вырѣзывала на берегахъ вокругъ пруда разныя чувствительныя надписи.

— Потому что я былъ искрененъ и вывелъ хотя и нерусскихъ людей, но все же живыхъ людей, а не марionетокъ.

— Но теперь, слава Богу, всѣ эти вымышленные люди или марionетки давно отложены въ сторону, рѣшающимъ тономъ судьи перебила мужа Екатерина Андреевна. — Я вышла замужъ не за писателя, а за исторiографа! Ты вполне достоинъ твоихъ древнихъ предковъ...

— Какихъ? шутливо спросилъ исторiографъ: — тѣхъ, чьихъ многочисленное потомство гуляетъ теперь по Москвѣ и Петербургу, выкрикивая: «Халаты! халаты!»

— Перестань, пожалуйста! Твой прапрадѣдъ былъ мурза, а это, по нашему, по меньшей мѣрѣ, графъ...

— А что вы думаете, господа? отнесся Карамзинъ къ гостямъ. — Захожу я какъ-то съ визитомъ къ одному петербургскому знакомому и не застаю его дома.

«— Запиши-ка меня, братецъ», говорю я слугѣ.

Тотъ пошелъ въ кабинетъ и вскорѣ возвратился.

«— Записалъ», говоритъ.

«— Что-же ты записалъ?»

«— Да Карамзинъ, графъ исторiи».

Я былъ, признаться, очень пріятно польщенъ. Носить этотъ графскій титулъ мнѣ куда почетнѣе, чѣмъ если-бы меня, по прашуру, величали татарскимъ мурзою.

Обѣдъ пришелъ къ концу, и послѣобѣденный кофеи былъ поданъ мужчинамъ въ кабинетъ хозяина, помѣщавшійся въ не-

большомъ надворномъ флигелѣ. Здѣсь разговоръ вскорѣ опять зашелъ о литературѣ.

— Извините меня, Николай Михайлычъ, сказалъ Пушкинъ, — но я не могу хорошенько уяснить себѣ: какъ это вы, послѣ вашего громаднаго успѣха въ изящной словесности, вдругъ рѣшились совсѣмъ бросить ее для исторіи? Или, по-вашему, словесность—такое уже мелочное занятіе, что недостойно серьезнаго человѣка?

— Нѣтъ, отвѣчалъ Карамзинъ:—быть писателемъ или историкомъ, быть министромъ или кабинетнымъ ученымъ,—по-моему, одно и то же. Мелочныхъ занятій для меня нѣтъ; всякое занятіе для меня важно, лишь бы оно вело къ добру.

— Но почему же вы тогда занялись исторіей только въ зрѣлые годы?

— Почему?—Потому что ранѣе не былъ къ ней подготовленъ.

— Вы-то не были подготовлены? Да вѣдь вы были же въ университетѣ, вы перебывали у всякихъ ученыхъ за-границей, вы еще юношей издавали журналы...

— Все это такъ, но все же до историка мнѣ было еще очень далеко! Когда я возвратился изъ-за границы и напечаталъ мои «Письма русскаго путешественника», какой-то шутникъ недаромъ сочинилъ про меня куплетъ, который повторялся потомъ по всей Москвѣ:

„Былъ я въ Женевѣ, былъ я въ Парижѣ,  
Спесью сталъ выше, разумомъ ниже“.

Но, положя руку на сердце, могу теперь сказать: спеси во мнѣ и тогда много не было. Занялся я литературой по искреннему влеченію. Молодымъ еще человѣкомъ я имѣлъ случай порядочно изучить иностранные языки: нѣмецкій, французскій, англійскій и итальянскій, а также древніе — греческій и латинскій. Отъ знанія же языковъ до чтенія въ оригиналѣ образцовыхъ авторовъ — рукой подать. Моимъ пламеннымъ желаніемъ стало —



дать возможность всѣмъ соотечественникамъ наслаждаться хоть въ переводѣ лучшими сочиненіями иностранцевъ. И такъ-то я сдѣлался журналистомъ: переводилъ, пересказывалъ безъ отдыха... Но мѣръ же того, какъ кругозоръ мой расширялся, во мнѣ проснулось неодолимое желаніе создать что-нибудь свое. Но гдѣ было взять тѣму? Заграничную жизнь я зналъ; русской, увы! нѣтъ. И такъ-то я перекрестилъ французенку Луизу въ русскую Лизу. Вторую мою повѣсть: «Наталья боярская дочь» я хотя и позаимствовалъ уже изъ русской дѣйствительности (а именно—сюжетомъ мнѣ послужилъ второй бракъ царя Алексѣя Михайловича съ Натальей Кирилловной Нарышкиной), но, по цензурнымъ условіямъ, я многое долженъ былъ переименовать, и повѣсть эта мнѣ менѣе удалась. Но вотъ, задумалъ я свою «Марѳу Посадницу» и долженъ былъ для нея рыться въ грудѣ историческихъ матеріаловъ. Совершенно незамѣтно для самого себя, я все глубже погружался умомъ въ изученіе судебъ нашего отечества, все болѣе привязывался къ милой нашей Россіи, и въ то самое время, когда я слышалъ еще вокругъ себя чрезмѣрныя похвалы моей новѣйшей исторической повѣсти, когда со всѣхъ сторонъ мнѣ говорили, что наконецъ-то путь мой найденъ,—я уже тайнѣ отказался отъ этого пути—сочинителя историческихъ повѣстужекъ—и задался одною завѣтною мыслію—написать настоящую исторію моего отечества. Первые шаги мои предвѣщали, казалось, успѣхъ: государь былъ такъ милостивъ, что сдѣлалъ меня исторіографомъ съ ежегоднымъ пособіемъ въ 2000 рублей изъ суммъ Кабинета. Матеріально я былъ обезпеченъ и могъ вполнѣ предаться моей отвѣтственной задачѣ. Но когда я серьезно приступилъ къ ней, тогда только я понялъ, что труднѣйшее предстояло мнѣ еще впереди...

На этомъ рассказъ исторіографа былъ прерванъ появленіемъ на порогѣ его супруги.

— Что же это вы, молодые люди, закупорились, какъ въ

банкѣ? обратилась Екатерина Андреевна къ лиценстамъ.—Дѣти ждутъ васъ не дожлутся.

Пушкинъ даже вспыхнулъ и покосился на Чаадаева: что-то тотъ подумаетъ, что ихъ, лиценстовъ, приравниваютъ къ дѣтямъ?

— Супругъ вашъ досказывалъ намъ сейчасъ, какъ онъ сдѣлался исторіографомъ, объяснилъ Чаадаевъ.

— Досказать недолго, успокоилъ Карамзинъ жену и продолжалъ:—Когда я обратился за матеріалами къ нашимъ библіотекамъ и архивамъ, то очутился въ невообразимомъ хаосѣ. Каталоговъ у насъ не было и въ поминѣ; древнія лѣтописи ученой критикой не разработаны, не освѣщены; иностранныя же лѣтописи и сказанія иностранцевъ о Россіи никому у насъ неизвѣстны. Три года бродилъ я какъ въ дремучемъ лѣсу. Новыя тропы перепутывались со старыми и вели все глубже въ непроходимую чащу. Нѣсколько разъ я съ отчаянія сжигалъ мои первые томы; нѣсколько разъ съ какимъ-то ожесточеніемъ снова принимался за нихъ. И вотъ, густой лѣсъ понемногу порѣдѣлъ, и я увидѣлъ просвѣтъ на большую дорогу. Вдругъ новое непредвидѣнное препятствіе—пожаръ Москвы. Вся моя драгоценная историческая библіотека сгорѣла, и только рукописи уцѣлѣли, благодаря случайности, что мы гостили въ подмосковной Вяземскихъ, Остафьевѣ.

— А между тѣмъ, подхватила Екатерина Андреевна, слушавшая мужа стоя, изящно наклонившись сзади надъ спинкой его кресла,—между тѣмъ пожаръ этотъ былъ началомъ нашего счастья: когда мы лишились нашего дома въ Москвѣ, императрица Марія Ѳеодоровна приняла въ насъ такое живое участіе, что пригласила насъ къ себѣ въ Петербургъ или Павловскъ, и до сихъ поръ хранится у меня еще роза, которую она сорвала у Розоваго павильона и прислала намъ въ видѣ привѣта! Теперь же вотъ и государь далъ намъ здѣсь пріютъ... Но самого государя со времени нашего пріѣзда мы еще не видѣли, и пока, мой



другъ, сердце у меня еще не на мѣстѣ... со вздохомъ прибавила Екатерина Андреевна, ласково проводя бѣлой, выхоленной рукой по шелковистымъ сѣдинамъ мужа.

— Чего же тревожиться? спросилъ тотъ, оглядываясь на нее съ успокоительной улыбкой.

— У тебя столько завистниковъ...

— У кого ихъ нѣтъ? По поводу завистниковъ миѣ припоминается одинъ апологъ персидскаго стихотворца Саади. «Великій Хозрой, побѣдивъ множество народовъ, сидѣлъ на тронѣ въ садахъ своихъ; вокругъ него молча тѣснились его вельможи.

« — О чемъ вы думаете? спросилъ ихъ царь.

« — О врагахъ твоихъ, отвѣчали вельможи съ глубокимъ поклономъ:— всѣ они лежатъ въ землѣ. Кто посмѣетъ теперь безпокоить тебя?

« — Комаръ! сказалъ царь: — онъ сейчасъ укусилъ меня и скрылся отъ моей мести.

« Вельможи бросились за комаромъ. Царь же улыбнулся, сошелъ съ трона и потеръ себѣ лобъ ».

— Противъ укуловъ комаровъ нѣтъ иного средства, закончилъ Карамзинъ свой рассказъ, машинально проводя также рукою по своему высокому лбу.

— Есть! возразила жена и, въ доказательство, наклонила назадъ къ себѣ голову и съ чувствомъ поцѣловала его въ лобъ.

— Да, слава—дымъ, а семья—все, сказалъ Карамзинъ обмѣнявшись съ нею нѣжнымъ взглядомъ.

— Въ тебѣ слишкомъ много смиренія и слишкомъ мало гордости, мягко укорила она его.

— Я гордъ смиреніемъ и смиренъ гордостью.

Занятые разговоромъ, ни хозяева, ни гости ихъ не обратили вниманія на усилившійся за дверью шорохъ. Вдругъ дверь съ шумомъ распахнулась, и въ кабинетъ влетѣли хозяйскія дѣти, впереди всѣхъ — подталкиваемая прочими — Сонюшка.



— Ну, говори же, говори! смѣясь, понукали они ее.

Пунцовая какъ піонъ, Сонюшка, видимо храбрясь, пролепетала:

— Мы хотѣли играть въ горѣлки... Но насъ такъ мало...

— Ну, что-жъ, господа, не смилуетесь ли вы наконецъ надъ ними? отнесся Карамзинъ къ лицеистамъ.

Тѣ переглянулись и нерѣшительно приподнялись. Между тѣмъ Чаадаевъ уже выступилъ впередъ.

— Если позволите, я буду „горѣть“? любезно предложилъ онъ.

Примѣръ лейбъ-гусара ободрилъ лицеистовъ.

— Хотите бѣжать со мной въ первой парѣ? спросилъ Пушкинъ Сонюшку, протягивая ей руку.

— Хорошо...

Ломоносовъ, уже не спрашивая, завладѣлъ ручкой ея младшей сестрицы, Кати,—и, минутой спустя, вся молодежь выстроилась парами въ ближайшей аллеѣ парка, чтобы бѣжать взапуски передъ „горящимъ“ гусаромъ.

Былъ уже крайній срокъ—10 часовъ вечера, когда лицеисты наши вернулись къ себѣ въ лицей. Войдя въ свою камеру, Пушкинъ, еще весь подъ впечатлѣніями прожитаго дня, собирався только-что раздѣться, какъ внезапно вздрогнулъ: около него раздался тяжелый храпъ. Въ свѣтломъ сумракѣ лѣтней ночи онъ разглядѣлъ на своей кровати въ полулежащемъ положеніи спящаго барона Дельвига. Послѣдній такъ глубоко зарылся головой въ подушку, что очки сдвинулись у него изъ-за ушей и съѣхали на самый кончикъ носа.

Пушкинъ усмѣхнулся и осторожно снялъ съ него очки, потомъ толкнулъ его кулакомъ въ бокъ, а самъ скорѣй прикорнулъ за кровать.

— Ну, Леонтій... минуточку! пробормоталъ сквозь сонъ Дельвигъ, очевидно, воображая, что старшій дядька Леонтій

будить его, по обыкновенію, послѣ втораго утренняго звонка.

Пушкинъ почти громко ужъ разсмѣялся.

— Ни минуточки, ваше благородіе! Извольте вставать! пробасилъ онъ голосомъ Леонтья и, протянувъ руку изъ-за края кровати, принялся тормошить друга по коротко-остриженнымъ волосамъ.

— Экой ты! проворчалъ Дельвигъ, потягиваясь, присѣлъ на кровати и своими подслѣшоватыми глазами, лишенными теперь очковъ, мигая и щурясь, съ недоумѣніемъ оглядѣлся кругомъ въ пустой камерѣ. — Что за оказія?.. Гдѣ же Леонтій? И очки-то гдѣ?

Онъ пошарилъ сперва около себя на постели, но, не найдя очковъ, присѣлъ на полъ и сталъ искать ихъ тутъ. Вдругъ кто-то въ полумракѣ чернымъ привидѣніемъ разомъ выросъ передъ нимъ и сѣлъ ему на шею.

— Кто это!! не то испугался, не то разсердился Дельвигъ.

— На тебѣ, на! смѣясь, говорилъ Пушкинъ, надѣвая ему опять очки и слѣзая съ него.

— Ахъ, это ты, Пушкинъ? сказалъ Дельвигъ, приподнимаясь съ полу и отъ души зѣвая. — Не можешь, чтобы не школьничать!

— А ты, чтобы не поспать!

— Да вольно-жъ тебѣ засиживаться до ночи.

— А ты, Тося, нарочно ждалъ меня здѣсь?

— Конечно. Хотѣлось услышать... Ну, что, какъ Карамзинъ?

— Ахъ, братецъ, что это за человѣкъ! съ одушевленіемъ заговорилъ Пушкинъ, сядя на кровать и усаживая друга рядомъ съ собой.

Въ живомъ разсказѣ онъ передалъ ему все слышанное имъ за день. Пробила уже полночь, а два друга все сидѣли еще рядышкомъ на кровати и не могли наговориться. Стукъ въ стѣну за спиной ихъ прекратилъ наконецъ ихъ болтовню.

— Скоро-ли вы уgomонитесь, полуночники? слышался изъ смежной камеры голосъ Пущина.

— А ты, небось, все слышалъ? спросилъ Пушкинъ.

— Все не все, а два часа подъ-рядъ затыкать уши тоже не приходится. Но теперь и вамъ, и мнѣ пора честь знать. Доброй ночи!

— Доброй ночи!

И Дельвигъ, крѣпко пожавъ руку Пушкину, вышелъ. Но Пушкина мысли его унесли опять въ китайскій домикъ, и даже во снѣ онъ то слушалъ исторіографа, то спорилъ съ его женою, то бѣгалъ въ горѣлки съ ихъ дѣтьми.







## ГЛАВА XXI.

### Господа лейбъ-гусары.

„Бойцы вспоминаютъ минувшіе дни  
И битвы, гдѣ вмѣстѣ рубились они.“

(Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ.)



стрѣчаясь иногда на своей утренней прогулкѣ по царскосельскому парку съ директоромъ Ангельгардтомъ, императоръ Александръ Павловичъ охотно съ нимъ заговаривалъ.

— А найдутся ли между твоими лицеистами желающіе пойти въ военную службу? спросилъ онъ его однажды на такой прогулкѣ.

— Найдутся, ваше величество, отвѣчалъ Ангельгардтъ и подавилъ вздохъ

— Ты какъ-будто вздыхаешь?

— Нѣтъ, государь, я такъ...

— Сколько человѣкъ?

— Человѣкъ десять, если не болѣе.

— Такъ надо будетъ познакомить ихъ съ фронтомъ.

— Простите, ваше величество, за откровенное слово, съ рѣшимостью заговорилъ Ангельгардтъ. — По высочайшей волѣ вашей я былъ призванъ управлять лицеемъ и не смѣлъ уклониться отъ этой отвѣтственной задачи. Задача облегчалась мнѣ хоть тѣмъ, что я видѣлъ передъ собой высокую цѣль — воспи-

татъ поколѣніе истинно-государственныхъ людей. Оружія же я въ жизнь свою никогда не носилъ, кромѣ одного домашняго, которое у меня всегда въ карманѣ, прибавилъ онъ, показывая государю складной садовый ножикъ. — Если-бы поэтому вашему величеству угодно уже было ввести въ лицей ружье, то я, какъ человѣкъ самый мирный, не былъ бы въ силахъ управиться съ этимъ новымъ военнымъ училищемъ и, съ душевною скорбью, долженъ былъ бы просить меня уволить.

Александръ Павловичъ сдѣлалъ еще попытку убѣдить Энгельгардта, но безуспѣшно.

— Тебя не переспоришь! наконецъ, сказалъ онъ. — Но самъ же ты говоришь, что между твоими воспитанниками найдутся и такіе, которые по доброй волѣ сдѣлаются военными. Насильно ты ихъ отъ того не удержишь. Поэтому переспроси-ка всѣхъ: кто хочетъ идти по какой части, и для будущихъ воиновъ мы введемъ военныя науки.

Противъ этого Энгельгардтъ не могъ уже возражать. Онъ собралъ лицейстовъ и объявилъ имъ о рѣшеніи государя. Почти половина курса заявила тутъ же желаніе быть военными. Въ числѣ желающихъ оказались, между прочимъ, Вальховскій, Пущинъ, Малиновскій и графъ Броглю.

— А ты что же, Пушкинъ? спросилъ Броглю. — Ужъ кому, какъ не тебѣ, съ твоимъ задорнымъ правомъ быть военнымъ человѣкомъ!

Примѣръ двухъ пріятелей: — Пущина и Малиновскаго, — дѣйствительно, сильно соблазнялъ Пушкина.

— Я подумаю, отвѣчалъ онъ; — надо посоветоваться еще съ родными.

— Очень нужно, если само сердце твое тебѣ говоритъ что дѣлать! не отставалъ искустель. — Да чего лучше: я вѣдь бываю у здѣшнихъ гусаровъ. Нынче Каверинъ опять звалъ меня къ себѣ. Будутъ и другіе. Пойдемъ, я тебя познакомлю.



Они уже заявляли мнѣ, что хотѣли бы узнать ближе нашего перваго поэта.

— Разсказывай!

— Нѣтъ, серьезно. Я обѣщался имъ какъ-нибудь затащить тебя въ ихъ компанію.

— А Чаадаевъ тоже бываетъ въ этой компаніи?

— Чаадаевъ? М-да, случается... Да вѣдь это вовсе не настоящий гусаръ, а какой-то философъ, бука!

— Ну, а я пошелъ бы только ради него: я видѣлъ его у Карамзиныхъ, и онъ мнѣ, напротивъ, очень понравился.

— На вкусъ, конечно, мастера нѣтъ. Я говорю вѣдь, что и онъ бываетъ. Пойдешь, а?

Пушкинъ не сталъ уже упираться, и въ тотъ же вечеръ Броглю ввелъ его въ веселое общество царскосельскихъ лейбъ-гусаровъ. Между послѣдними, точно, былъ на этотъ разъ и Чаадаевъ. Онъ поздоровался съ Пушкинымъ просто, какъ съ старымъ знакомымъ; остальные офицеры съ сдержаннымъ любопытствомъ критически оглядывали съ ногъ до головы «перваго» лицейскаго поэта, котораго, безъ сомнѣнія, видѣли уже мелькомъ и на музыкѣ.

— Такъ что же, Петръ Яковличъ, не безъ пропіи отнесся одинъ изъ младшихъ гусаровъ къ товарищу-философу: — война, по твоему, ничто иное, какъ общественная повальная болѣзнь?

— Да, и самая жестокая, самая гибельная, отвѣчалъ Чаадаевъ съ спокойнымъ достоинствомъ: — потому что никакая моровая язва не уноситъ столько человѣческихъ жертвъ; точно также и матеріально война наноситъ обществу гораздо болѣе вреда, чѣмъ какая бы то ни была эпидемія. Но, съ другой стороны, я долженъ сказать, война — высшая школа жизни...

— Вотъ на!

— Потому что она научаетъ насъ истинному христіанскому милосердію.



— Новый парадоксъ!

— Нѣтъ, не парадоксъ, и я докажу это сейчасъ на примѣрѣ. Было то подъ Вязьмой. Семеновскій полкъ нашъ (въ которомъ, какъ вы знаете, я началъ службу), послѣ жаркаго боя, отдыхалъ на бивуакахъ. Свѣже-испеченный прапоръ, я лежалъ около костра съ другими офицерами. Вдругъ подбѣгаетъ къ намъ какая-то бабенка съ груднымъ младенцемъ на рукахъ.

«— Батюшки-сударики! вопить она и судорожно прижимаетъ ребенка къ груди.

«— Что съ тобой, матушка? спрашиваемъ мы.

«— Спасите, отцы родные! Сиротинку отнять хотятъ!

«— Сиротинку? Такъ, значить, онъ не твой?

«— Мой, господа милостивые, теперь-то мой! Даромъ, что французенокъ...

«— Да гдѣ ты обзавелась французенкомъ?

«— Въ Москвѣ, вишь, въ кормилицы къ нему взяли...

«— Какъ же ты вольной-волей къ врагамъ кормилицей пошла?

«— Не вольной-волей, батюшки; насильно взяли. Да вотъ здѣсь, подъ Вязьмой, отца-то его наши пристрѣлили; мать въ сумятицѣ не-вѣсть куда запропала; и остался бѣдняжечка на рукахъ у меня одинъ-одинешенекъ!

«— Такъ чего-жъ ты жалѣешь это зелье? шутливо замѣтилъ одинъ изъ офицеровъ. — Брось его! что тебѣ возиться съ нимъ, со щенкомъ?

«— Ой, нѣтъ, Бога ради, не троньте! взмолилась бабенка, еще крѣпче обхватила младенца и принялась голубить его. — Хоть ты и французенокъ, да какъ же мнѣ не любить тебя, сиротинку? Бѣдный ты мой, бѣдный!»!

Товарищи-гусары, какъ и Пушкинъ, слушали Чаадаева съ сочувственной улыбкой. Одинъ Броглю насмѣшливо оглядывался кругомъ, какъ-бы удивляясь ихъ «сентиментальности».

— И вы такъ и не отняли его у нея? спросилъ онъ разсказчика.

— А сами вы, скажите, рѣшились бы отнять? серьезно спросилъ его тотъ въ отвѣтъ. — Другой случай былъ, пожалуй, еще назидательнѣй. Онъ былъ не со мной, а съ однимъ моимъ пріятелемъ-офицеромъ. Въ пылу сраженіи подъ Краснымъ, наши захватили цѣлую партію французовъ, отвели ихъ въ сторону, паскоро заперли въ отдѣльный сарайчикъ, да тамъ и забыли. Спустя уже сутки, а можетъ и болѣе, пріятель мой съ своей ротой случайно проходилъ мимо сарайчика. Вдругъ слышитъ онъ оттуда стоны и вопли. Раскрылъ дверь — и отшатнулся. Глазамъ его представилась потрясающая картина: на землѣ сидѣли и лежали, дрожа отъ холода, прижимаясь другъ къ другу, несчастные исхудалые оборванцы, въ окровавленныхъ лохмотьяхъ и съ искалѣченными членами, съ разрубленными головами. Увидѣвъ русскаго офицера, они всѣ разомъ простерли къ нему руки съ отчаяннымъ крикомъ:

«— Воды! воды!»

Онъ позвалъ солдатъ и велѣлъ достать ушатъ воды. Но лишь только ушатъ былъ внесенъ въ сарай, какъ его уже опрокинули: всѣ раненые, изнывая отъ жажды, гурьбой накинудись на него и разлили воду. Поднялись попреки и брань. Товарищъ мой не безъ труда успокоилъ ожесточенныхъ, взялъ съ нихъ слово терпѣливо ждать и затѣмъ велѣлъ принести второй ушатъ и кружку. Раненые слушались его уже, какъ дѣти своей няни, и онъ каждаго по-очереди напоилъ изъ кружки. Но тутъ оказалось, что бѣдняги болѣе сутокъ ничего и не ѣли, и онъ подалъ имъ горсть черствыхъ сухарей. Повторилась прежняя свалка, сухари вырывались изъ рукъ другъ у друга, разсыпались по земляному полу, и никому не достались. Опять пришлось ему уговаривать обезумѣвшихъ и по-очереди раздать имъ по сухарю. Одинъ только изъ всѣхъ плѣнныхъ, который сидѣлъ въ са-

момъ дальнемъ углу, все время не тронулся съ мѣста, и, скрестивъ на груди руки, равнодушно, казалось, наблюдалъ за товарищами.

«— Кто вы такой и почему ничего не просите? спросилъ его мой пріятель.

«— Я — офицеръ, какъ и вы, отвѣчалъ гордо плѣнный: — и когда солдаты мои утоляютъ свою жажду, свой голодъ, я могу ждать помощи только молча».

Послѣ втораго разсказа Чаадаева наступило минутное, какъ-бы благоговѣйное молчаніе, точно каждый присутствующій, даже легкомысленный Броглю, представлялъ себя на мѣстѣ плѣннаго французскаго офицера. Первымъ нарушилъ молчаніе молодой хозяинъ, корнетъ-повѣса Каверинъ.

— «Что и требовалась доказать», какъ говаривалъ у насъ въ корпусѣ учитель геометріи, сказалъ онъ. — Милосердіе — вещь прекрасная для женщинъ, для поэтовъ (Каверинъ любезно кивнулъ въ сторону Пушкина), но не для нашего брата, военнаго. Мы знаемъ тебя, Петръ Яковличъ, очень недавно (Чаадаевъ перешелъ въ лейбъ-гусары только мѣсяца за два передъ тѣмъ), но слухомъ земля полнится: мы слышали, что ты идешь въ огонь впереди другихъ и не имѣешь привычки «кланяться пулямъ». Иначе, право, легко можно было бы подумать, что ты записался въ монахи, либо въ «братья милосердія». Мы живемъ въ практическомъ XIX вѣкѣ, и потому первый вопросъ: чего больше — пользы или вреда отъ войны? По-моему — пользы, потому что война освобождаетъ человѣчество отъ лишнихъ людей, очищаетъ воздухъ отъ застоявшихся міазмовъ, освѣжаетъ одурѣвшія головы и души! Согласитесь сами, господа: побывавши съ арміею въ чужихъ краяхъ, въ чужихъ людяхъ, не набрались ли мы тамъ болѣе всякой премудрости, чѣмъ изъ какихъ бы то ни было книгъ?



— Ты — безъ сомнѣнія, съ тонкимъ сарказмомъ замѣтилъ Чаадаевъ.

— А ты думаешь, что я уже вовсе книгъ не читаю? обидчиво вскинулся Каверинъ. — Нѣтъ, не шутя, иной разъ со скуки на сонъ грядущій я съ удовольствіемъ почитаю. Но рѣчь идетъ не о насъ съ тобой, а о массѣ намъ подобныхъ. Многіе ли въ нашей арміи говорятъ и читаютъ на иностранныхъ языкахъ? Былъ у меня тоже хорошій пріятель — по-французски ни въ зубъ, что называется, толкнуть не зналъ. Входитъ онъ въ Парижъ въ ресторанъ и требуетъ себѣ «дине»! Заучилъ, изволите видѣть, одно это слово и думаетъ: вывезетъ! Но гарсонъ подаетъ ему меню и карандашъ. Вотъ тебѣ загвоздка! Что тутъ выберешь, что отчеркнешь? И выговорить-то эти мудреные кушанья языкъ не повернется... Была-не-была! Отчеркнулъ онъ смѣло карандашомъ первыя четыре блюда и возвратилъ меню гарсону. Тотъ съ улыбкой только поклонился и пошелъ заказывать обѣдъ.

«Чего ухмыляется эта бестія?» подумалъ мой пріятель.

Вотъ подали ему тарелку какой-то небывалой похлебки. Разболталъ онъ ее ложкой; понюхалъ — ничего, пахнетъ какъ-будто вкусно; сталъ хлебать и выхлебалъ до-чиста.

«Что-то, думаетъ, будетъ дальше?»

Несутъ второе блюдо... «Ишь ты: опять какая-то горячая жижа»... Нечего дѣлать — и ту одолѣлъ.

«Но вотъ и третье блюдо — такая же французская бурда! Ахъ, чтобъ васъ»...! Отвѣдалъ — и ложку въ сторону: душа уже не принимаетъ.

«Ну, думаетъ, коли и на четвертое сунъ, тогда шабашъ! шапку въ охапку...»

Такъ оно и вышло: подали четвертый супъ. Не смѣя взглянуть уже на гарсона, онъ скорѣй расплатился, и — безъ оглядки въ дверь. А я ему тутъ какъ нарочно на-встрѣчу.

« — Куда, братъ? Отобѣдалъ? »

Онъ только отплюнулся и рукой махнулъ.

« — Да что? говорю. — Развѣ не угодили? »

« — Да ужъ угодили! говорить: — обѣдъ въ четыре блюда — и все-то однѣ похлебки! Ужъ эта мнѣ французская стряпня! »

— Такъ вотъ, господа, гдѣ подлинная житейская мудрость и польза отъ войны! наставительно заключилъ Каверинъ свой рассказъ.

Разсказывалъ онъ такъ уморительно, съ такими выразительными ужимками, и самъ съ такимъ видимымъ самоуслажде-ніемъ слушалъ себя, что и тѣ изъ присутствовавшихъ пріятелей его, которымъ прежде былъ уже извѣстенъ описанный случай, весело улыбались; лицеисты же, слышавшіе рассказъ впервые, просто покатывались со смѣху. Только Чаадаевъ хмурился и нетерпѣливо покусывалъ тонкій усъ.

— А всего вѣдь замѣчательнѣе то, заговорилъ онъ вдругъ, — что подобные анекдоты повторяются буквально въ жизни разныхъ людей: тотъ же самый случай съ тѣми же самыми прибаутками я слышалъ уже года два назадъ отъ партизана нашего Дениса Давыдова.

Каверинъ вспыхнулъ какъ порохъ.

— Что вы хотите этимъ сказать, милостивый государь?

— То, что говорю, милостивый государь: я словъ своихъ не повторяю — и не беру назадъ.

Каверинъ подскочилъ къ Чаадаеву.

— Ну, полно же, Каверинъ! полно, Чаадаевъ! вступились тутъ со всѣхъ сторонъ прочіе товарищи и розняли спорящихъ.

Чаадаевъ, зѣвая въ руку, всталъ и со своимъ стаканомъ чаю отошелъ отъ общаго стола.

— Послушайте, Пушкинъ, сказалъ онъ, — я хотѣлъ спросить васъ...

Пушкинъ не замедлилъ подойти къ офицеру-философу, который успѣлъ уже внушить ему безотчетное уваженіе.

— Сядемте тутъ, въ сторонѣ, вполголоса промолвилъ Чаадаевъ; — скажите: что новаго въ журналахъ? Я послѣднихъ номеровъ еще не видѣлъ.

Какъ ни тянуло сперва Пушкина къ общему столу, гдѣ одинъ изъ гусаровъ опять, видно, передавалъ какой-то забавный эпизодъ изъ походной жазни, потому что рассказъ его неоднократно покрывался дружнымъ смѣхомъ, — но литературный разговоръ съ начитаннымъ, глубоко-образованнымъ Чаадаевымъ вскорѣ такъ занялъ его, что онъ искренно пожалѣлъ, когда Чаадаевъ неожиданно поднялся и сталъ прощаться.

— Мнѣ надо окончить еще заказанную статью, объяснилъ онъ. — Но мы, Пушкинъ, надѣюсь, видимся съ вами не въ послѣдній разъ?

— У Карамзиныхъ, можетъ быть, удастся встрѣтиться... отвѣчалъ Пушкинъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ-же? Заходите безъ церемоній ко мнѣ.

Пушкинъ просіялъ даже отъ удовольствія.

— Если не стѣсню васъ, Петръ Яковличъ...

— Нѣтъ, сдѣлайте одолженіе; не ожидайте особыхъ приглашеній.

Никто изъ офицеровъ не удерживалъ уходящаго.

— А вотъ и самый герой нашъ! со смѣхомъ указалъ графъ Брогліо оставшимся на подошедшаго Пушкина. — Расскажи-ка, братъ, про нашъ гоголь-моголь: ты мастеръ по этой части.

Пушкинъ не далъ просить себя и очень забавно передалъ извѣстную читателямъ исторію гоголь-моголя. Гусары слушали его съ видимымъ одобреніемъ, и сами, въ свою очередь, рассказали затѣмъ нѣсколько не менѣе потѣшныхъ эпизодовъ изъ собственной жизни.

Послѣ этого перваго вечера съ лейбъ-гусарами послѣдовало



вскорѣ еще нѣсколько такихъ-же другихъ. Удивительно-ли, что пылкому воображенію поэта вездѣ теперь мерещились гусары? Стоило ему, напримѣръ, только слышать за окномъ топотъ лошадиныхъ копытъ — и самые идиллическіе стихи его получали вдругъ «гусарскій оттѣнокъ» \*). Намѣреніе его сдѣлаться военнымъ было вполне искреннее, и обстоятельства, казалось, нарочно складывались такъ, чтобы завѣтное желаніе его осуществилось. Въ срединѣ іюня въ лицей былъ опредѣленъ профессоромъ военныхъ наукъ (артиллеріи, фортификаціи и тактики) инженерный полковникъ, баронъ Эльснеръ, и два раза въ недѣлю лицеистовъ стали отправлять съ гувернеромъ въ Софійскій манежъ для обученія верховой ѣздѣ на полковыхъ лошадяхъ у полковника Кнабенау, подъ главнымъ наблю-

---

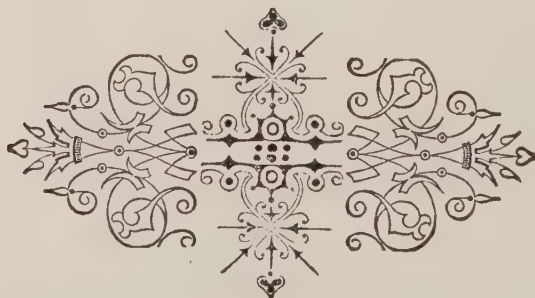
\*) „Вотъ мой каминъ; подъ вечеръ темный,  
Осенней бурною порой,  
Люблю, подъ сѣнію укромной,  
Предъ нимъ задумчиво мечтать,  
Вольтера, Виланда читать,  
Или, въ минуту вдохновенья,  
Небрежно стансы намарать  
И жечь потомъ свои творенья.  
Вотъ здѣсь... но быстро привидѣнья,  
Родясь въ волшебномъ фонарѣ,  
На бѣломъ полотнѣ мелькаютъ:  
Мечты находятъ, исчезаютъ,  
Какъ тѣнь на утренней зарѣ..  
Я слышу топотъ, слышу ржанье:  
Блеснувъ узорнымъ чепракомъ,  
Въ блестящемъ ментика сіяньи,  
Гусаръ промчался подъ окномъ.  
И гдѣ вы, мирныя картины  
Прелестной сельской простоты?  
Среди воинственной долины  
Ношусь на крыльяхъ я мечты:  
Огни во станѣ догораютъ;  
Межъ нихъ, окутанный плащомъ,  
Съ сѣдымъ, усатымъ казакомъ  
Лежу... вдали штыки сверкаютъ..“

деніемъ генерала запаснаго эскадрона Левашева. Послѣдній попалъ даже въ лицейскую «національную пѣсню». А именно, лицеисты и прежде уже нерѣдко сопровождали Броглио въ манежъ, чтобы любоваться съ галлерей его лихой ѣздой. Генераль Левашевъ, въ томъ-же манежѣ «муштруя» «своихъ ребятъ», шутя спрашивалъ лиценстовъ: когда-же они начнутъ учиться ѣздить? И вотъ, въ благодарность за такое вниманіе, они посвятили ему слѣдующій куплетъ, въ которомъ, между французскимъ разговоромъ съ господами-лицеистами, генераль, какъ-бы въ скобкахъ, обращается съ русскими наставленіями къ солдатамъ:

„Bonjour, Messieurs... (Потише!  
Поводьемъ не играй!  
Ужъ я тебя потѣшу!)  
A quand l'équitation?“

Наконецъ, и учитель фехтованія Вальвиль отличалъ Пушкина отъ другихъ товарищей, изъ которыхъ только онъ да Комовскій успѣли перенять искусство парировать удары одновременно двумя рапирами.

И при всемъ томъ — Пушкинъ не сдѣлался военнымъ. Почему? — Потому что на него неодолимой волной нахлынули вдругъ совершенно новыя ощущенія, которыя на время далеко отбросили его отъ гусарскаго круга; а послѣ, когда онъ снова сблизился съ этимъ кругомъ, онъ умственно настолько уже созрѣлъ, что не остался глухъ къ голосу разсудка.





## ГЛАВА XXII.

### Заговорило ретивое.

„Простите, игры золотыя!  
Онъ рощи полюбилъ густыя,  
Уединенье, тишину,  
И ночь и звѣзды, и луну.“  
(Евг. Онегинъ.)



Нелединскій-Мелецкій, придворный стихотворецъ императрицы Маріи Ѳеодоровны, котораго Пушкинъ въ первый разъ имѣлъ случай мелькомъ видѣть, лѣтомъ 1814 года, на Павловскомъ праздникѣ, только однажды побывалъ еще въ лицѣ на одномъ изъ концертовъ воспитанниковъ. И вотъ, теперь, нѣсколько дней спустя послѣ перваго своего посѣщенія Карамзиныхъ, Пушкинъ совершенно неожиданно удостоился чести получить визитъ отъ престарѣлаго саповника-стихотворца.

— Лично къ вамъ, молодой человѣкъ, съ покровительственной любезностью объявилъ Нелединскій, когда Пушкинъ вышелъ къ нему въ пріемную.

— Ко мнѣ? удивился Пушкинъ

— Да-съ. Вы слышали, конечно, что въ Павловскѣ у насъ гоститъ юный супругъ великой княгини Анны Павловны, наследный принцъ Оранскій \*).

\*) Впослѣдствіи король Нидерландскій Вильгельмъ II.



— Слышалъ.

— Такъ вотъ-съ, ему готовится у насъ большое празднество, и ея величество поручаетъ вамъ написать на сей конецъ кантату

Пушкинъ былъ ошеломленъ.

— Но вы сами почему-же не напишете?... пробормоталъ онъ.—Ваша лира...

— Сдана въ арсеналъ древне-русскихъ рѣдкостей и болѣе не настраивается, перебилъ съ грустной улыбкой Нелединскій.— Государыня, точно, была столь милостива, что выразила сперва желаніе, чтобы куплеты были сочинены мною. Но, по счастью, случился тутъ нашъ общій добрый знакомецъ Николай Михайлычъ Карамзинъ и указалъ на васъ.

— Николай Михайлычъ! Но, вѣдь, онъ такъ взыскателенъ къ стихамъ...

— Стало быть, ваши стихи, милый мой, пришлись ему по вкусу. Я вполне на васъ разсчитываю.

— Но эти стихи, вѣроятно, къ спѣху?

— Весьма даже: торжество завтра, а нынѣ стихи должны быть уже въ моихъ рукахъ, дабы ихъ можно на музыку положить и разучить хору.

По лицу Пушкина пробѣжала тѣнь.

— Миѣ ни за что не хотѣлось-бы послушаться императрицы, промолвилъ онъ,—но я не привыкъ вдохновляться по заказу..

— Что дѣлать, любезнѣйшій! Ступайте-ка къ себѣ, да постарайтесь вдохновиться; а я здѣсь посижу, обожду.

— Если-бы я только зналъ, о чемъ писать...

— Канву я вамъ, пожалуй, дамъ, а вы можете уже расписать по ней узоры, сказалъ Нелединскій:—злой геній Европы, Наполеонъ, удаленъ на островъ Эльбу, но измѣннически возвращается опять въ Парижъ и собираетъ около себя свои старыя дружины. Союзники тоже не дремлютъ-съ и въ битвѣ при Ва-

терлоо навосять злодѣю послѣдній ударъ. Но кто является здѣсь рѣшителемъ боя? Онъ, нашъ царственный гость, молодой принцъ Оранскій! Истекая кровью отъ полученныхъ ранъ, онъ до конца не покидаетъ поля. И вотъ-съ, нынѣ-то любовь супружеская достойно вѣнчаетъ юнаго героя...

Какъ ни витіевата была рѣчь маститаго сановника-поэта, Пушкинъ уловилъ, однако, въ ней поэтическія черты, и глаза его заблестали.

— Благодарю васъ... теперь я знаю... сказалъ онъ и поспѣшилъ въ свою камеру.

Часъ спустя, Нелединскій-Мелецкій мчался уже обратно въ Павловскъ къ императрицѣ, увозя съ собой одно изъ наиболѣе удачныхъ лицейскихъ стихотвореній Пушкина: «Къ принцу Оранскому», а на третій день молодой авторъ, въ присутствіи цѣлаго класса, удостоился особаго знака высочайшаго благоволенія

— Вчера, въ честь храбраго принца Вильгельма Оранскаго, въ Розовомъ павильонѣ былъ оный праздникъ, сказалъ, входя, Энгельгардтъ. — Особенно-же понравились всѣмъ прекрасныя куплеты, которые пропѣлъ оперный хоръ. Куплеты эти, господа, къ гордости лица, написаны однимъ изъ васъ. Вы догадываетесь, вѣроятно, кто этотъ авторъ?

— Пушкинъ! Конечно, Пушкинъ! заговорили кругомъ лицеисты.

— Вѣрно, сказалъ директоръ;—и вотъ, ея величество, въ знакъ особаго своего благоволенія, соизволила прислать ему золотыя часы съ цѣпочкой

— Ура! единодушно загремѣлъ весь классъ, и на автора со всѣхъ сторонъ посыпались самыя искреннія поздравленія; каждый старался протѣсниться къ нему, чтобы позжать ему руку.

Когда-же онъ подошелъ къ директору, чтобы принять по-

жалованный ему подарокъ, Энгельгардтъ собственноручно надѣлъ на него часы и затѣмъ крѣпко поцѣловалъ его со словами:

— Заходи-же опять къ намъ: женѣ и дѣтямъ моимъ хочется также видѣть тебя.

— Благодарю васъ... пробормоталъ только въ отвѣтъ Пушкинъ, взволнованный и тронутый до глубины души

Но къ Энгельгардтамъ онъ на этотъ разъ опять-таки не попалъ. Ему подали французскую раздушенную записочку отъ Екатерины Андреевны Карамзиной:

«Гдѣ вы пропадаете, Александръ? Мы все хотимъ лично поздравить васъ съ монаршей милостью. Цѣлый вечеръ мы дома».

Оставалось выбирать между двумя домами: Энгельгардтовъ и Карамзиныхъ. Надо-ли говорить, что выборъ былъ не въ пользу Энгельгардтовъ?

Карамзины приняли его, какъ говорится, съ открытыми объятіями. Дѣти его уже не дичились, и младшіе тотчасъ полѣзли къ нему на колѣни, чтобы оцунать собственными руками на жилетѣ его тоненькую золотую цѣпочку, прикладываться ушкомъ къ тикающимъ часамъ. Старшая дѣвочка, Сонюшка, полузастѣнчиво предложила прогулку на лодкѣ по большому пруду; но когда она, вмѣстѣ съ Пушкинымъ, взялась за весла, то сперва отъ излишняго усердія, а потомъ, подобно ему, изъ шалости, забрызгала всѣхъ водою. По возвращеніи домой, она шепотомъ упросила мать дозволить ей быть хоть разъ хозяйкой и, рдѣя отъ удовольствія, сама разливала чай.

Екатерина Андреевна, съ своей стороны, была также очень сообщительна, причемъ главной тѣмой ея бесѣды были успѣхи ея и мужа ея при Дворѣ. Пушкинъ развязно оспаривалъ ея мнѣнія и на каждое колкое замѣчаніе обидчивой аристократки находилъ не менѣе острый, но вѣжливый отвѣтъ. Николай Михайловичъ съ серьезной улыбкой благодушно слушалъ препиратель-



ства обоихъ и изрѣдка лишь сдерживалъ чрезмѣрную горячность пылкаго лицеиста словами:

— Ну, полно! Кто смѣетъ доказывать дамамъ, что онѣ ошибаются?

Съ этихъ поръ Пушкина какъ-то неодолимо влекло уже къ Карамзинымъ, да и они къ нему скоро такъ привыкли, что, когда проходило дня 3—4 и онъ не показывался, они посылали въ лицей узнать, здоровъ ли онъ. Самъ Николай Михайловичъ любилъ бесѣдовать съ развитымъ не по лѣтамъ юношей, прочитывалъ ему цѣлыя главы своей непапечатанной еще «Исторіи Государства Россійскаго» и внимательно выслушивалъ его незрѣлыя часто, но всегда почти мѣткія сужденія; кончалъ же обыкновенно тѣмъ, что гналъ его играть со своими дѣтьми въ прятки, пятнашки, горѣлки. Съ дѣтьми Пушкинъ рѣзвился какъ ребенокъ, но находилъ, казалось, еще особенное наслажденіе подтрунивать надъ ними, тормошить ихъ и физически, пока не доводилъ до слезъ. Тогда вступалась въ дѣло Екатерина Андреевна, спорить съ которою ему, повидимому, также доставляло большое удовольствіе, а она хотя и обходилась съ нимъ какъ съ мальчкомъ, но, въ то же время, находила-таки нужнымъ горячо отбиваться отъ его остроумныхъ нападокъ.

Та цѣль, для которой Энгельгардтъ открылъ лицеистамъ доступъ въ свою семью — «шлифовка наружная и душевная» — достигалась понемногу Пушкинымъ въ семьѣ Карамзиныхъ, а также въ другихъ семейныхъ домахъ Царскаго, куда приглашали молодого поэта: въ дамскомъ обществѣ онъ поневолѣ нѣсколько сдерживалъ, умѣрялъ рѣзкіе порывы своего необузданнаго нрава, поневолѣ «шлифовался», облагораживался. Кромѣ Карамзиныхъ, онъ бывалъ въ домахъ: коменданта Царскаго Села графа Ожаровскаго, Вельо, Севериной, барона Теппера де-Фергюсона (учителя пѣнія въ лицей); по

чаще другихъ въ домѣ лицейскаго товарища своего Бакунина, родители котораго и молоденькая сестра жили это лѣто также на дачѣ въ Софіи. Дѣвица Бакунина была такъ мила, что не только Пушкинъ, но и двое ближайшихъ друзей его — Дельвигъ и Пущинъ — посвятили ей не одинъ мадригалъ.

Заходилъ Пушкинъ, наконецъ, и къ старушкѣ-теткѣ Дельвига, которая прибыла изъ Москвы погостить въ Царскомъ и привезла съ собою 8-ми-лѣтнюю сестричку барона, Мими, или Машу. Послѣдняя, при первой же встрѣчѣ, подобно «большимъ» барышнямъ, пристала къ Пушкину, чтобы онъ написалъ ей что-нибудь въ альбомъ.

— Да развѣ вы, Мими, не получили отъ Тоси тѣхъ стиховъ, что я вамъ написалъ на Рождествѣ? спросилъ Пушкинъ.

— Ну, что-жъ это за стихи! замѣтила недовольнымъ тономъ хорошенькая дѣвочка и встряхнула своими бѣлокурыми локонами.

«Вотъ тоже критикъ нашелся!» подумалъ Пушкинъ и сталъ донатываться:

— Такъ стихи мои, значитъ, не хороши?

— Н—нѣтъ.

— Почему же?

— Потому, что вы говорите тамъ неправду.

— Неправду?

— Ну, да:

„Вамъ восемь лѣтъ, а мнѣ семнадцать было...“

Развѣ вамъ было ужъ тогда семнадцать?

Пушкинъ принужденно расхохотался.

— Теперь мнѣ навѣрное столько: спросите хоть кого. И почему вы, Мими, знаете, сколько мнѣ лѣтъ?

— Я не Мими теперь, а Маша... поправила она его. — Вѣдь я знаю же, что вы на годъ почти моложе Тоси. А сами еще говорите дальше, что не лжете:

„Уже я старъ, мнѣ незнакома ложь:  
Послушайте, Амуръ, какъ вы хорошъ;  
Амуръ—дитя, Амуръ на васъ похожъ...“

Кто это такой—Амуръ? я его никогда не видала.

— Ранѣ захотѣли! снова разсмѣялся Пушкинъ.

— Ну, вотъ, вы все смѣтаетесь; значить, опять ложь:  
Амуръ — какой-нибудь уродецъ, и вы только насмѣялись надо мною!.. надула она губки.

— Нѣтъ, ей-богу, Амуръ — премиленькій мальчуганъ!  
серьезно увѣрилъ ее Пушкинъ. — Если вамъ угодно, Машенька,  
я, пожалуй, напишу что-нибудь другое.

Пасмурное личико дѣвочки разомъ прояснилось и просіяло.

— Ахъ, да! вскричала она. — Только, пожалуйста, не пи-  
шите такъ важно: «Къ баронессѣ Марьѣ Антоновнѣ  
Дельвигъ», а просто, какъ слѣдуетъ: «Къ Машѣ».

— Слушаю-съ, сударыня, будетъ исполнено, съ комическою  
почтительностью отвѣчалъ нашъ поэтъ и, на слѣдующій же  
день, преподнесъ ей стихи, которые ей понравились несравненно  
больше и которые начинаются такъ:

„Вчера мнѣ Маша приказала  
Въ куплеты рѣшмы набросать...“

Въ той-же мѣрѣ, какъ Пушкинъ втягивался въ мирную  
семейную жизнь, онъ удалялся отъ веселаго гусарскаго кружка,  
и только къ гусару-мыслителю Чаадаеву заглядывалъ еще до-  
вольно часто; а когда не заставалъ его дома, то бралъ у него  
съ полки какую-нибудь капитальную книгу и, усѣвшись съ  
погами на диванъ, жадно пожиралъ страницу за страницей.  
Какъ вѣрно оцѣнилъ онъ уже тогда этого замѣчательнаго че-  
ловѣка, показываетъ слѣдующее четверостишіе его про Чаа-  
даева:

„Онъ высшей волею небесъ  
Проводить жизнь на службѣ царской;  
Онъ въ Римѣ былъ бы Брутъ, въ Аѣнахъ—Периклесь,  
У насъ онъ —офицеръ гусарскій.“



Въ самое короткое время съ Пушкинымъ, какъ съ какимъ-то сказочнымъ героемъ, совершилось удивительное превращеніе. Напрасно товарищи зазывали его играть на Розовое поле; съ видимой неохотой ходилъ онъ въ ихъ компаніи даже на музыку. По вечерамъ только его видѣли въ томъ или другомъ семейномъ домѣ; а затѣмъ, на весь день онъ дѣлался невидимкой. За общимъ же чаемъ, за обѣдомъ, среди окружающаго говора и смѣха онъ погружался въ мечтанія и шевелилъ губами, словно разсуждая самъ съ собой.

— Какой онъ странный сталъ! толковали межъ собой про него товарищи.—Точно его подмѣнили... околдовали!

Вскорѣ загадка, казалось, разъяснилась. Однажды, нѣсколько товарищей его, на прогулкѣ по парку, забрели случайно въ отдаленную, заброшенную аллею и застали его тамъ врасплохъ. Съ открытыми, неподвижно-вытаращенными глазами, ничего какъ-бы передъ собой не видя, Пушкинъ шагаль по небольшой площадкѣ взадъ и впередъ, театрально разводя по воздуху руками и декламируя какія-то рѣмованныя фразы, то возвышая голосъ, то понижая его опять до чуть слышнаго шепота.

— Ч-ш-ш-ш! сказалъ Илличевскій, останавливая другихъ движеніемъ руки.—Не видите развѣ: лунатикъ!

— Ну, да! лунатикъ при солнечномъ свѣтѣ! отозвался другой лицеистъ.

— Вѣриѣ всего съ панталыку сбился, какъ прошлой осенью Кюхельбекеръ, замѣтилъ графъ Брогліо:—взбѣсился отъ жары, либо отъ собственныхъ стиховъ. Пешель назвалъ бы его болѣзнъ стихоманіей.

— Нѣтъ, господа, болѣзнъ его сидитъ глужбе—въ самомъ сердцѣ! рѣшилъ Илличевскій. — Эй, Пушкинъ! скажи-ка, признайся: по комъ это опять у тебя заговорило ретивое?

Теперь только, казалось, Пушкинъ замѣтилъ кучку товарищей, наблюдавшихъ за нимъ.

— Чтò вамъ нужно отъ меня? сурово произнесъ онъ, оглядывая ихъ сверкающимъ взоромъ. — Оставьте меня въ покоѣ...

— Заговорило ретивое! повторилъ насмѣшливо Илличевскій. — «Не хочу учиться, хочу жениться».

— Что? что ты сказалъ? вспылилъ Пушкинъ и, съ сжатыми кулаками, такъ грозно подступилъ къ нему, что Илличевскій съ комическимъ ужасомъ отретировался за ближнее дерево.

— Ай, ай, укусить!

— Я говорю вѣдь, что онъ взбѣсился, сказалъ Брогліо: — уйдемте лучше отъ бѣды.

— Шуты гороховые! клоуны! буркнулъ Пушкинъ и быстро удалился.

Въ этотъ день у лицейстовъ не было другихъ толковъ, какъ о Пушкинѣ, у котораго «заговорило ретивое». Особенно внимательно прислушивался къ этимъ толкамъ одинъ товарищъ — князь Горчаковъ, — прислушивался и молчалъ. Но на другое утро, когда Пушкинъ опять исчезъ куда-то, онъ отправился разыскивать его на любимомъ его полуостровѣ у большаго пруда. Пушкинъ лежалъ на спинѣ въ травѣ и мечтательно глядѣлъ въ вышину.

— Я тебѣ не мѣшаю, Пушкинъ? тихо спросилъ Горчаковъ.

— Ахъ, это ты, князь? промолвилъ Пушкинъ мягкимъ, какъ-бы разслабленнымъ голосомъ, мелькомъ взглядывая на него. — Ты зачѣмъ-нибудь искалъ меня?

— Нѣтъ, я такъ... гулялъ просто... А ты, Пушкинъ, что тутъ дѣлаешь?

— Да вотъ, люблюсь облаками. Прелесть какъ хороши!

— Можно прилечь къ тебѣ?

— Сдѣлай милость.

Горчаковъ опустился на траву, прилегъ на спину рядомъ съ нимъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, согласился онъ; — вѣдь что такое въ сущности облака? Туманъ, холодный паръ; а вонъ какъ на солнцѣ сіяютъ! смотрѣть даже больно... Но что всего интереснѣе, знаешь, такъ это то, что эти дымчатая, волнистыя массы каждый мигъ совершенно незамѣтно мѣняютъ форму, и то, что сейчасъ только представляло какую-то безобразную глыбу или страшное чудище, въ слѣдующую минуту обращается уже въ смѣющееся лицо или въ фантастическое волшебное видѣніе. Не то-же ли и со всѣмъ въ мірѣ? Съ передвиженіемъ нашимъ въ пространствѣ времени не мѣняются ли точно такъ же вокругъ насъ всѣ обстоятельства, а съ ними не мѣняются ли и наши собственные мысли и убѣжденія? То, что насъ вчера еще пугало или печалило, сегодня уже, можетъ быть, насъ веселить или плѣняетъ?

— Ты, Горчаковъ, самъ, можетъ быть, не знаешь, какъ вѣрно твое замѣчаніе... произнесъ Пушкинъ, но произнесъ такимъ тономъ, что пріятель быстро приподнялся на локоть и пристально всмотрѣлся ему въ лицо.

— И то вѣдь, Пушкинъ, ты въ короткое время дотого измѣнился...

— Ты находишь? задумчиво улыбнулся Пушкинъ. — Да, въ груди у меня точно раскрылась потайная дверка, куда я еще самъ не смѣю заглянуть... Я самъ себя еще хорошенько не понимаю. Но одно несомнѣнно: что я пою теперь не съ чужаго голоса и не вымышленное, и, въ этомъ отношеніи, — какъ бы слабы ни были мои нынѣшніе стихи, — они все-же неизмѣримо выше всего, что до сихъ поръ мною написано.

Дѣйствительно, стихотворенія той мечтательной полосы, которая нашла на Пушкина лѣтомъ 1816 года, представляютъ крутой переломъ въ его поэтической дѣятельности: въ звучныхъ строфахъ изливая волновавшія его смутныя чувства, онъ сдѣлалъ первый шагъ отъ подражаній къ самостоятельному



творчеству, свернулъ съ чужихъ путей на свою собственную дорогу.

На другой же день послѣ описаннаго разговора съ Горчаковымъ, онъ самъ попросилъ у послѣдняго его альбомъ и вписалъ туда стихи, наглядно характеризующіе какъ его собственное тогдашнее душевное состояніе, такъ и свѣтлую личность Горчакова. Вотъ начало этого посланія:

„Встрѣчаюсь я съ осьмнадцатой весной;  
Въ послѣдній разъ, быть можетъ, я съ тобой,  
Задумчиво вникая шумъ дубравный,  
Надъ озеромъ иду рука съ рукой.  
Гдѣ вы, лѣта безпечности недавной?  
Съ надеждами, во цвѣтѣ юныхъ лѣтъ,  
Мой милый другъ, мы входимъ въ новый свѣтъ,  
Но тамъ удѣлъ назначенъ намъ неравный,  
И розный намъ оставить въ мірѣ слѣдъ;  
Тебѣ рукой фортуны своенравной  
Указанъ путь и счастливый, и славный; —  
Моя стезя печальна и темна.  
И нѣжная краса тебѣ дана,  
И нравиться блестящій даръ природы,  
И быстрый умъ, и вѣрный, милый нравъ;  
Ты сотворенъ для сладостной свободы,  
Для радости, для славы, для забавъ...  
Я слезы лью, я трачу вѣкъ напрасно,  
Мучительнымъ желаніемъ горя...  
Твоя заря — заря весны прекрасной,  
Моя-жъ, мой другъ, — осенняя заря“...

Когда, съ наступленіемъ осени, Карамзины и Бакунины, два наиболѣе дорогія Пушкину семейства, съѣхали съ дачи, его одолѣла сперва невыносимая тоска, разрѣшившаяся цѣлымъ рядомъ элегій: «Осеннее утро», «Разлука», «Опять я вашъ, о, юные друзья!» и проч.

Въ такомъ-то настроеніи застало его и письмо вѣрной его няни Арины Родіоновны, присланное изъ села Михайловскаго\*).

\*) Письмо это, къ сожалѣнію, не сохранилось. Но, чтобы дать хоть нѣкоторое понятіе о корреспонденціи этой, рѣдкой въ наше время няни съ ея любимцемъ, мы приводимъ здѣсь другое письмо ея, писанное къ нему 10 лѣтъ спустя.

«Любезный мой другъ Александръ Сергѣевичъ — я получила письмо и деньги,

Отдаленный привѣтъ ея нашелъ живой откликъ въ воспріимчивомъ сердцѣ поэта, и въ большомъ стихотвореніи своемъ «Сонъ» онъ посвятилъ ей слѣдующія строки, едва ли не самыя поэтическія за все время пребыванія его въ лицѣѣ:

„Ахъ, умолчу-ль о мамушкѣ моей,  
О прелести таинственныхъ ночей,  
Когда въ чепцѣ, въ старинномъ одѣяніи,  
Она, духовъ молитвой уклоня,  
Съ усердіемъ перекрестить меня,  
И шепотомъ рассказывать мнѣ станетъ  
О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы.  
Отъ ужаса не шелохнусь, бывало;  
Едва дыша, прижмусь подъ одѣяло,  
Не чувствуя ни ногъ, ни головы;  
Подъ образомъ простой ночникъ изъ глины  
Чуть освѣщаль глубокія морщины.  
Драгой антикъ, прабабушкинъ чепецъ  
И длинный ротъ, гдѣ зуба два стучало —  
Все въ душу страхъ невольный поселяло;  
Я трепеталъ, и тихо наконецъ  
Томленіе сна на очи упадало.  
Тогда толпой, съ лазурной высоты  
На ложе розъ крылатыя мечты,  
Волшебники, волшебницы слетали,  
Обманами мой сонъ обворожали;  
Терялся я въ порывѣ сладкихъ думъ;  
Въ глуши лѣсной, средь муромскихъ пустыней,  
Встрѣчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней —  
И въ вымыслахъ носился юный умъ...“

Тогда же пробужденныя въ памяти молодого поэта забытыя нянины сказки зародили въ пылкомъ воображеніи его новые волшебные образы, которые, понемногу воплощаясь, сложились, наконецъ, въ его первую большую поэму: «Русланъ и Людмила.»

которыя вы мнѣ прислали. За всѣ ваши милости я вамъ всѣмъ сердцемъ благодарна—вы у меня безпрестанно въ сердцѣ и на умѣ, и только когда засну забуду васъ. Пріѣзжай, мой Ангелъ, къ намъ въ Михайловское—всѣхъ лошадей на дорогу выставлю. Я васъ буду ожидать и молить Бога, чтобы Онъ далъ намъ свидѣться. Прощай мой батюшко Александръ Сергѣевичъ. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебень отслужила—поживи, дружечикъ, хорошенько,—самому слюбится. Я слава Богу здорова—цѣлую ваши ручки и остаюсь васъ многолюбящая няня ваша.

«Тригорское, марта 6.»

«Арина Родионовна»





## ГЛАВА XXIII.

### Яблочная экспедиція.

«Не спи, казакъ: во тьмѣ ночной  
Чеченецъ ходитъ за рѣкой.»

(Кавказскій плѣнникъ.)

Д я х и: «Побѣда! побѣда! Слава царю Димитрію!»

Д и м и т р і й: «Ударить отбой! Мы побѣдили! Довольно; шадите русскую кровь. Отбой!».

(Борисъ Годуновъ.)



Теплые, ясные дни, такъ и манившіе къ мечтаніямъ въ тѣнистой чащѣ дворцоваго парка, смѣнились дождливыми осенними полсумерками; перелетныя птицы — дачники — покинули Царское; удивительно ли, что «элегическая» полоса у нашего поэта уступила мѣсто полосѣ гусарской?»

Первый толчекъ къ тому, впрочемъ, далъ опять графъ Броглю. Проходя разъ, на послѣбобѣденной прогулкѣ съ товарищами, мимо фруктоваго сада царскаго садовника Лямина, Броглю выразительно мигнулъ Пушкину на виднѣвшіяся за высокимъ заборомъ яблони, густо увѣшанныя прозрачными, какъ воскъ, наливными яблоками:

— Вотъ бы гдѣ пожитья!

-- „Хоть видитъ око,  
Да зубъ нейметъ,“

отозвался Пушкинъ, немалый тоже охотникъ до фруктовъ.



— Это еще бабушка на-двое сказала  
Пушкинъ, недоумѣвая, оглянулся на говорящаго.

— Что такое?

Тотъ подмигнулъ ему однимъ глазомъ на шедшаго впереди  
гувернера Чирикова.

— Отстанемъ немножко...

Пропустивъ впередъ всю партію товарищей, онъ вполголоса  
продолжалъ:

— Хоть ты, Пушкинъ, въ послѣднее время и сталъ ка-  
кимъ-то филистеромъ, однако не разучился же еще играть въ  
чехарду?

— Не думаю,

— Такъ мудрость ли для такихъ двухъ молодцовъ, какъ  
мы, перемахнуть черезъ эдакій заборъ?

Теперь Пушкинъ понялъ искуителя.

— Не большая, пожалуй, мудрость, сказалъ онъ; —но, не  
говоря уже о томъ, что чужое добро въ прокъ нейдетъ...

— Увидишь, какъ еще пойдетъ въ прокъ! усмѣхнулся  
Броглю:—только слюнки потекутъ.

— Нѣтъ, я говорю о правѣ собственности. Помнишь, что  
вчера намъ еще читалъ на лекціи Куницынъ...

— Поди ты съ своимъ Куницынымъ! А впрочемъ и онъ же  
вѣдь рассказывалъ намъ, что за-границей: въ Швейцаріи, въ  
нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи, прохожимъ не запрещается  
рвать по дорогѣ фрукты, лишь бы въ карманъ не клали.

— То-то вотъ! А ты, братъ, развѣ ничего тоже въ карманъ  
себѣ не положишь?

Броглю расхохотался.

— Если положу, то только изъ высшихъ политико-эконо-  
мическихъ видовъ: чтобы дорогаго времени не терять. Вѣдь, въ  
сущности, все единственно: заразъ ли я сорву десять яблокъ,  
или же десять разъ по одной штукѣ?

— Какъ ты хорошо вдругъ политическую экономію разкусилъ!

— „Науки юношей питаютъ,“

а хорошія яблоки тѣмъ паче. Ну, а коли уже расчетливые нѣмцы на произрастенія природы смотрятъ какъ на даръ Божій, такъ какъ же тебѣ, русскому человѣку, съ широкой твоей натурой, иначе смотрѣть?

Когда кто желаетъ, чтобы его убѣдили, то онъ легко поддается и на софизмы. И Пушкинъ началъ сдаваться.

— Но вѣдь у Лямина, ты знаешь, есть въ саду всегда караульщики, еще возразилъ онъ.

— А у насъ есть свои орудія защиты, отвѣчалъ Броглио, самодовольно показывая свои здоровенныя кулачища.

— Но эти естественныя орудія могутъ не устоять противъ ихъ искусственныхъ орудій -- дубинокъ.

— Гмъ... да; это вопросъ, требующій серьезныхъ соображенія. Э! да что тутъ! Надо будетъ только уравнивать силы — если не качествомъ, то количествомъ: завербовать въ нашу экспедицію еще кой-кого изъ гоголь-моголистовъ. Это все тоже будущіе военные люди.

— Кромѣ Дельвига.

— Ну, тотъ — ночной колпакъ, прямая штафирка!

— Такъ его, значить, лучше и не тревожить?

— Господь съ нимъ! Ты переговори съ Пуцинымъ, а я съ Малиновскимъ и Тырковымъ. Надо будетъ намъ только еще выбрать начальника экспедиціи, атамана.

— И выбирать нечего: кому же, Броглио, быть атаманомъ, какъ не тебѣ, нашей маткѣ?

— А коли такъ, то я за успѣхъ отвѣчаю. Къ вечеру отправимся всѣ въ городъ и ровно въ половинѣ десятаго сберемся подъ заборомъ; рѣшено?

— И подписано.

«Гусарская» струя подхватила Пушкина и увлекла его съ собой. Передавая, затѣмъ, Пушину планъ предстоящей «кампаніи», онъ былъ очень краснорѣчивъ. Но даже мнимо-научные доводы Броглію, которые онъ въ заключеніе повторилъ ему, не могли вполне убѣдить его болѣе разсудительнаго друга.

— Да понимаешь ли, съ сердцемъ воскликнулъ Пушкинъ: — если уже самъ Куницынъ того же мнѣнія...

— Того же ли? усомнился Пушинъ. — Если хочешь, пойдемъ сейчасъ и узнаемъ: онъ кстати здѣсь...

— Съ ума ты сошелъ! Какъ педагогъ и человѣкъ штатскій, онъ насъ, понятно, не одобритъ и еще помѣшаетъ намъ.

— Что же я говорю?

— Нѣтъ, спроси любого военнаго...

— Напримѣръ, Чаадаева?

Пушкинъ нетерпѣливо дернулъ плечомъ.

— У Чаадаева совсѣмъ особыя взгляды навещи, сказалъ онъ.

— Положимъ; но чего ближе—спросимъ, наконецъ, нашего же товарища Вальховскаго: онъ тоже будущій военный. Что онъ скажетъ—тому и быть.

— Ты, Пушинъ, кажется, нарочно хочешь бѣсить меня.

Пушинъ ласково улыбнулся.

— Я хочу только доказать тебѣ, что какъ ни разсуждай, а чернаго не сдѣлать бѣлымъ

— Но ежели я разъ слово далъ...

— Ну, вотъ это резонъ! Давши слово — держись, а не давши — крѣпись. Сдѣлаться посмѣшищемъ какого-нибудь Броглію или Тыркова тебѣ уже не приходится.

Пушкинъ опять встрепенулся.

— Вотъ, видишь ли! подхватилъ онъ. — Ты, стало быть, для друга все же не откажешься?

— Для друга я готовъ не только въ огонь и въ воду, но даже... чужихъ яблокъ поѣсть! шутливо отвѣчалъ Пушинъ.



Въ тѣ времена уличныя фонари съ масляными лампами представляли еще по всей Россіи нѣкоторую роскошь. Въ Царскомъ Селѣ, правда, какъ въ лѣтней резиденціи императорской фамилии, главныя улицы пользовались уже этою роскошью. Но тотъ переулокъ, куда выходилъ фруктовый садъ царскаго садовника Лямина, къ концу дня погружался въ темноту. Въ довершеніе всего, въ описываемый день было новолуніе, и потому, когда участники яблочной экспедиціи въ урочный часъ стали сходитьсѣ подъ завѣтнымъ заборомъ, имъ, сквозь непроглядный мракъ сентябрьской ночи, не было даже видно другъ друга, и только по голосамъ они могли разобрать, кто прибылъ, кто нѣтъ.

Вотъ и всѣ были уже на лицо, кромѣ одного, самаго главнаго атамана.

— Самъ же, вѣдь, подбилъ насъ, а теперь вотъ не угодно ли ждать! вполголоса толковали межъ собой заговорщики.

— Хорошо, что хоть дождя-то нѣтъ...

— Зато вѣтеръ какой! такъ вотъ насквозь и пробираетъ.

Какъ бы въ отвѣтъ, изъ-за забора донесся сердитый шелестъ деревъ, а вдоль по переулку пронесся холодный осенній вихрь.

— Сколько же времени ждать его? Вѣрно, опять у Каверина заболтался, ворчали лицеисты, отъ холода сбиваясь въ кучу.

— Я предложилъ бы маленькую рекогносцировку, сказалъ Пушкінъ: — по крайней мѣрѣ, выяснили бы, гдѣ опасность.

— Кого же послать?

— Да меня пошлите! молодцовато вызвался Тырковъ.

— Ори громче! напустился на него Малиновскій. — Тебя послать, такъ ты навѣрное опять наглупишь.

— Дайте, я пойду, сказалъ Пушкінъ: — я ростомъ всѣхъ васъ меньше, и потому легче укроюсь...

— Ты и увертливѣе всѣхъ насъ, добавилъ Малиновскій.

— Да и смышленѣе, заключилъ Пущинъ. — Выслѣди сперва сторожей, а потомъ посмотри: нельзя ли открыть намъ калитку.

Хорошо. Не подставить ли мнѣ, господа, кто-нибудь изъ васъ спины?

— Нѣ, сказалъ Малиновскій, самый рослый изъ наличныхъ заговорщиковъ, и, упершись ладонями въ заборъ, наклонился. Пушкинъ едва лишь прикоснулся къ его плечамъ, какъ, вслѣдъ затѣмъ, товарищи услышали уже легкій прыжокъ его въ садъ.

— Благополучно? спросилъ тихо Пущинъ.

— Благополучно, былъ такой же отвѣтъ.

Пока оставшіеся подъ заборомъ выжидали результата рекогносцировки, ихъ лазутчикъ оцущью, тихомолкомъ пробирался впередъ, въ непроглядной темнотѣ то запинаясь ногой о загложшую траву, то натыкаясь на дерево или на кустъ. Вдругъ мелькнулъ впереди слабый свѣтъ, донеслись звуки двухъ голосовъ. Пушкинъ различилъ въ пятнадцати шагахъ отъ себя, подъ нависшимъ деревомъ, сложенный изъ соломы, на-подобіе копны, низкій шалашъ. Озарялся онъ тлѣющими угольями догоравшаго костра ровно настолько, что силуэтъ его выдѣлялся изъ окружающаго мрака. Голоса исходили изъ шалаша, оттуда торчали также чьи-то ноги, обутыя въ лапти. Одинъ голосъ, отрывистый и грубый, принадлежалъ, очевидно, пожилому мужику, другой, свѣтлый и звучный — молодому парню.

«О чемъ это они говорятъ? не подозрѣваютъ ли чего?»

Осторожниѣе кошки переступая по травѣ, Пушкинъ подкрался ближе.

— И вотъ, братецъ ты мой, пришло ему расплачиваться за свои тяжкіе грѣхи, наставническимъ тономъ повѣствовалъ старшій караульщикъ. — Скрутили рабу Божьему лопатки, надѣли наручники, кандалы желѣзные, поволокли въ острогъ.

« — Да за что же, говоритъ онъ, господа честные? помилосердствуйте! Живемъ мы себѣ тихо, смирно и благородно...

« — Сиди, молъ, тутъ, не гукни, да рѣшенія своего дождидай. »

— А что, дядя Пахомъ, много онъ ужъ душъ христіанскихъ загубилъ? перебилъ рассказчика молодой парень.

— Въ тридцати повинился, а остальнымъ счетъ потерялъ.

— Ишь ты! А кровь-то, небось, вопіеть?

— Вопіеть.

— Больно мнѣ ужъ занятно, когда этакъ ночью про разбойниковъ, либо домовыхъ да вѣдьмъ рассказываютъ! Жутко, а занятно! Разъ бы только, дяденька, такого душегуба увидѣть...

— Да нешто ты не видѣлъ?

— Когда?

— А Сазонова, дядьку лицейскаго.

— Ну, развѣ такіе, дяденька, душегубы бываютъ!

— Рожа самая, что ни на есть, продувная, разбойничья. Какую тебѣ еще надо?

— А мнѣ такъ всегда сдавалось, примѣрно, что у такого глазища въ пивной котелъ, усищи въ косую сажень, изъ ноздрей дымъ, изъ ушей паръ.

« Вотъ дурень! подумалъ Пушкинъ. — Ну, да они тутъ до утра прокалякаютъ. Пойти къ своимъ... »

Онъ повернулъ обратно. Но за темнотой онъ не разглядѣлъ на землѣ сухаго древеснаго сучка, который подъ ногой его вдругъ громко хрустнулъ. Онъ замеръ на мѣстѣ. Караульщики также разслышали предательскій звукъ.

— Слышалъ, Митька? спросилъ дядя Пахомъ. — Словно бы кто на хворость наступилъ?

— Это, дяденька, вѣтеръ сучокъ обломилъ, отозвался Митька.

— Выдь, посмотри. Какъ бы воровъ не прозѣвать.



Лапти передъ сторожкой зашевелились. Пушкину некогда даже было удрать незамѣченнымъ. Онъ мигомъ растянулся на сырой землѣ позади шалаша.

— Ни зги не видать, хошь глазъ выколи, говорилъ надъ нимъ парень, вылѣзшій на вольный воздухъ.— Вѣрно, что вѣтеръ. Вона, какъ яблони качаетъ! Слышь, скрипятъ какъ?

Ну, ладно; полѣзай назадъ.

Пушкинъ началъ опять тихонько приподниматься; но разговоръ въ сторожкѣ невольно заинтересовалъ и задержалъ его.

— И что же, дядя Пахомъ, онъ изъ острога-то убегъ? спрашивалъ Митька.

— Убегъ? отвѣчалъ Пахомъ;— да еще какимъ, братецъ ты мой, манеромъ!

— Какимъ?

«— Здравствуйте, говорить, господа колоднички, станичники удалые! не пора ли вамъ на волюшку!

«— Вѣстимо, пора, говорятъ; — да какъ отселева выберешься? Караулы крѣпкіе, рѣшетки желѣзныя...

«— Подайте уголекъ да воды», говорить.

Подали. Написалъ онъ это на стѣнѣ, вишь, уголькомъ лодочку, плеснулъ водой. Глядь: заправская лодка на волнахъ качается.

«— Садись, братцы, не зѣвай»!

Сѣли они это въ лодочку, ударили въ весла и поплыли куда надо!

— Такъ и ушли?

— Такъ и поминай, какъ звали. Поди, лови ихъ! На Волгѣ, почитай, по сю пору шалютъ. Чу! это что же?

Пушкинъ также насторожился. Отъ забора, гдѣ онъ оставилъ пріятелей, явственно донеслась звонкая соловьиная трель.

«Броглю!» смекнулъ тотчасъ Пушкинъ, потому что молодой графъ (какъ, вѣроятно, припомнятъ читатели) у заѣзжаго фо-

кусника перенялъ искусство свистать соловьемъ. — «Знакъ мнѣ подаетъ...»

— Ровно соловей щелкнулъ? разсуждалъ, между тѣмъ, въ сторожкѣ дядя Пахомъ. — Время-то осеннее, совсѣмъ не соловьиное. Что-то, милый ты мой, неладно...

Соловьиный рокотъ повторился. Рискавъ быть услышаннымъ, Пушкинъ со всѣхъ ногъ бросился вонъ. Онъ давеча уже настолько изучилъ мѣстность, что безъ особыхъ затрудненій достигъ забора. Здѣсь онъ прислушался: погони не было.

— Гдѣ вы, господа? тихо окликнулъ онъ товарищей.

— Тутъ, раздалось вблизи въ отвѣтъ.

— Мы думали, тебя ужь схватили, заговорилъ голосъ атамана, графа Брогліо. — Ну, что?

— Меня, въ самомъ дѣлѣ, чуть-было не накрыли; а тутъ старикъ сталъ пересказывать одну волжскую быль, должно быть, про Стеньку Разина. Такая, я вамъ скажу, прелесть, что сама въ поэмѣ просится. .

— Такъ и есть! прервалъ, негодуя, Брогліо. Его посылаютъ за дѣломъ, а онъ, вишь, уши развѣсилъ, сказочки слушаетъ. Калитку-то хоть отыскалъ?

— Нѣтъ еще.

— Ну, вотъ!

— Сейчасъ, братъ, поищу; успокойся.

Калитка скоро была найдена, и — что еще важнѣе — она оказалась не на заперѣ, а на задвижкѣ, такъ что Пушкинъ могъ тотчасъ впустить сообщниковъ въ заповѣдный садъ.

— Не забудьте, однако, господа, предупредилъ онъ, — что караульщики не дремлютъ: они слышали тоже, Брогліо, твой соловьиный свистъ...

— А мы, думаешь, дремать станемъ? отозвался Брогліо. — Я влѣзу на дерево, потрясу его, а вы, знай, подбирайте. Но чтобы насъ какъ-нибудь не захватили врасплохъ, — ты, Пуш-

кинъ, ступай-ка опять на аванпостъ, покарауль. Только, сдѣлай ужь милость, не заслушивайся.

Такое напоминаніе было не лишнее. Когда Пушкинъ осторожно добрался до «аванпоста», тѣмой ночной бесѣды дяденьки съ племянничкомъ хоть и не служили уже волжскіе разбойники, но все-таки рассказъ не менѣе прежняго соотвѣтствовалъ мрачной ночной обстановкѣ.

— Разрывъ-трава, братецъ ты мой, кочедыжникъ тожъ, великую силу въ себѣ имѣеть, убѣжденно ораторствовалъ старшій караульщикъ. — Въ стары годы, слышно, лихіе люди: разбойники да чародѣи, все, что награбятъ, въ яму зарывали; надъ ямой же дверь желѣзная, на двери три замка, а ключи — въ воду. Только нашему брату своей силой того клада никоимъ образомъ не поднять.

— Почему, дяденька, ежели съ молитвой?

— Молитва молитвой; а нечистая сила, что стережетъ кладъ, тоже даромъ его не уступить. Вотъ на это-то и есть разрывъ-трава, цвѣтъ кочедыжника, что землю и замки надъ кладомъ разрываетъ. А цвѣтетъ кочедыжникъ, сказываютъ, всего единожды въ годъ — въ Иванову ночь. Ровно въ полночь цвѣточная почка легонько этакъ треснетъ, развернется и вспыхнетъ голубымъ огонечкомъ, будто зарница. Тутъ его, значитъ, и рви. Только рвать-то надо тоже съ оглядкой, съ заговоромъ.

— Съ заговоромъ?

— А какъ же: нечистая-то сила сама подстерегаетъ, какъ бы соврать сейчасъ цвѣтъ, какъ распустится. Лихаго человѣка нечего бояться, потому — все свой братъ, какъ-нибудь сладишь съ нимъ, осилишь; ну, а лѣшій мигомъ тебя обойдетъ: аукнуть не поспѣешь. Такъ тутъ безъ заговору никакъ невозможно.

— А ты, дядя Пахомъ, знаешь тоже заговоръ такой?

— Знать-то знаю...

— Обучи меня!



— Не такое, милый, время, да и не по твоему разуму  
— Ну, хошь такъ скажи, потѣшь!

Пахомъ откашлянулся.

— Примѣрно, я буду сказывать отъ себя, Пахома, да про Терехинъ боръ, куда ходилъ я тогда за разрывъ-травой, пояснилъ онъ, и затѣмъ началъ:

«Хожу я, рабъ Пахомъ, кругомъ острова, Терехина сора, по крутымъ оврагамъ, буеракамъ; смотрю я чрезъ всѣ лѣса: дубъ, березу, осину, липу, кленъ, ель, жимолость, орѣшину, по всѣмъ сучьямъ и вѣтвямъ, по всѣмъ листьямъ и вѣткамъ. А было бы въ моей дубровѣ по-живу, по-добру, по-здорову. А въ мою бы зелену дуброву не заходилъ ни звѣрь, ни гадъ, ни лихъ человѣкъ, ни вѣдьма, ни лѣшій, ни домовой, ни водяной, ни вихрь. А былъ бы я большой набольшой, а было бы все у меня во послушаньи, а былъ бы я цѣль и не-вредимъ.»

— Ишь ты! подивился Митька.—А разрывъ-траву-то ты какъ добывалъ?

— Да такъ, въ самую Иванову ночь, незадолго до полуночи, никому не сказавшись, собрался одинъ въ тотъ Терехинъ боръ. Ночь, какъ бы теперь, темная-растемная, ни звѣздочки на небѣ. Какъ вошелъ этакъ въ лѣсъ — еще будто темнѣй да страшнѣй; деревья кругомъ ровно шенчутся надъ тобой. Иду впередъ потихонечку; у самого сердце-то слышно екаетъ. Вдругъ это межъ кустовъ голубой огонекъ, слабый и махонькій, вспыхнулъ и запрыгалъ.

— Запрыгалъ?

— Да, запрыгалъ съ кочки на кочку, то вспыхнетъ, то потухнетъ, будто за собой манить. А тутъ еще кто-то рядомъ завылъ, да такъ протяжно, жалобно, — не то какъ сова, не то какъ волкъ... Сердце въ груди индо захолонуло; волосы на головѣ поднялись..

— Испужался?

— Испужаешься!

— А я бы, дяденька, нѣтъ! Я бы...

— Кто? ты-то?

— Я! Это что-жъ опять?.. спросилъ храбрый Митька вдругъ измѣнившимся тономъ

Пушкинъ, слушая ихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, не переставалъ все время прислушиваться и въ сторону своихъ сообщниковъ. Хотя порывистый осенній вѣтеръ то и дѣло шумѣлъ и гудѣлъ въ окружающихъ яблоняхъ, но одно какое-то дерево въ отдаленіи по временамъ сотрясалось отъ корней до послѣдней вѣтки, какъ отъ сильной бури; и, вслѣдъ затѣмъ, на земь слышно сынался яблочный градъ, сопровождаемый сдержанными криками и смѣхомъ

— Ой, прямо въ спину!

— А мнѣ въ фізію!

— Вольно же подставлятъ!

Крики-то эти, должно быть, и достигли слуха караульщиковъ.

— Никакъ грабятъ? смекнулъ дядя Пахомъ. — Вылѣзай ка живо, глянь.

— Батюшка угодникъ, выручи! бормоталъ Митька. — Можетъ, лѣшій пошучиваетъ..

— Да есть на тебѣ крестъ?

— Есть.

— Такъ никакой лѣшій тебя пальцемъ не тронетъ. Ну, да пусти меня впередъ, что ли.

— Спасайтесь, братцы! успѣлъ только крикнуть своимъ Пушкинъ, какъ на него съ дубиной нагрянулъ уже Пахомъ.

— Одинъ попался! не уйдешь, братъ... говорилъ мужикъ-геркулесъ, сгребая своими жилистыми, словно медвѣжьими лапами нашего тоненькаго лицейста, какъ цыпленка, въ охапку. —

На, Митька, держи его... Вишь, мелюзга какая, а туда же — воровать! Мнѣ бы другихъ не упустить...

Митька оказался на дѣлѣ также коренастымъ и крѣпкимъ малымъ. Но, уступая ему въ мышечной силѣ, Пушкинъ былъ несравненно ловче его. Плотнo схватившись, они, какъ два опытные кулачные бойца, водили другъ друга взадъ и впередъ по площадкѣ позади сторожки. Неизвѣстно, кто бы кого еще одолѣлъ, но тутъ долетѣлъ до нихъ сдавленный вопль Пахома: «Митька, выручай!» — и Митька, насильно оттолкнувъ отъ себя Пушкина, бросился въ потемкахъ на выручку дяди.

Пушкинъ не замедлилъ, разумѣется, послѣдовать за нимъ и поспѣлъ какъ-разъ во-время, чтобы, въ свою очередь, выручить одного изъ товарищей, съ которымъ ужъ сцѣпился Митька. Но какъ храбро ни отбивался послѣдній, какъ онъ ни брыкался, а былъ-таки уложенъ на земь рядомъ съ дядей Пахомомъ, котораго должны были держать остальные три лицейста.

— Не замай! ворчалъ Пахомъ. — Навалили всѣ разомъ, черти...

— Такъ ты, стало быть, признаешь, что наша взяла? спросилъ его атаманъ Броглю.

— Вѣстимо... чего ужъ тутъ.. всѣ бока намяли...

— Не троньте ихъ, господа! Они, вѣдь, только свой долгъ исполняли. Но слушайте вы оба, повелительно обратился атаманъ къ двумъ плѣннымъ:—вы не тронетесь съ мѣста, покуда мы не будемъ за заборомъ. Понимаете?

— Понимаемъ, баринъ, понимаемъ...

— А мы на всякій случай заберемъ ваши дубины съ собой. За заборомъ найдете ихъ. Это — разъ. Второе: отнюдь не приносить никому жалобы.

— Ужъ этого, ваша милость, какъ вамъ угодно-съ, не обѣщаемъ, возразилъ Пахомъ.—Сучья-то на деревѣ, чай, всѣ переломали, яблоки всѣ порастрясли, а намъ за то быть въ отвѣтъ!



— Это вѣрно, Броглію, замѣтилъ Пущинъ — за что же имъ и нравственно еще отвѣчать?

— Не мѣшайся, пожалуйста, не въ свое дѣло! коротко отрѣзалъ Броглію. — Вы выбрали меня, господа, атаманомъ — и извольте слушаться. Жалуйтесь, братцы, коли хотите, отнесся онъ опять къ караульщикамъ; — но предупреждаю васъ: если съ насъ за это взыщутъ, то и вашимъ бокамъ не сдобровать. Такъ и зарубите себѣ на носу. А теперь, господа, стройся! налево кругомъ, маршъ!

Такъ блистательно окончилась знаменитая въ лѣтописяхъ лица «яблочная экспедиція». Остается только прибавить, что хотя Пушкинъ и не имѣлъ случая поживиться военной добычей — наливными яблоками, за то вѣрный другъ его Пущинъ братски подѣлился съ нимъ своей долей.

Побѣжденные, однако, не убоялись сдѣланной имъ побѣдителями угрозы. Въ слѣдующее же утро Броглію былъ вызванъ на квартиру директора. Здѣсь его попросили въ кабинетъ.

Передъ Энгельгардтомъ, сидѣвшимъ въ креслѣ за письменнымъ столомъ, стояли два мужика: старикъ и молодой парень. Хотя наканунѣ, за темнотою, Броглію и не разглядѣлъ своихъ двухъ противниковъ, но теперь сразу понялъ, что это они.

— Стойте тамъ, погодите, сказалъ ему Егоръ Антоновичъ, въ-полоборота дѣлая ему знакъ рукой. — Ну, и потомъ, что же, другъ мой?

— Потомъ-съ... откашлянувшись, началъ дядя Пахомъ и бросилъ исподлобья испытующій, сумрачный взглядъ на молодого графа. — Зачалъ я ихъ только этакъ дубасить, какъ съ яблони-то, ровно лѣшій, прыгъ мнѣ на шею четвертый! Ошалѣлъ я; такъ подъ сердце у меня и подкатило... А онъ меня кулакомъ по башкѣ еще здорово хлясъ!...

— Ну, хорошо, съ оттѣнкомъ уже петербургскія перебилъ

слишкомъ обстоятельнаго рассказчика Энгельгардтъ. — Они васъ обоихъ осилили?

— Какъ же, ваше превосходительство, не осилить, сами посудите...

— Хорошо. И чѣмъ же они кончили?

— Да кончили тѣмъ, что слово съ насъ взяли не вставать, доколѣ не выберутся, молъ, изъ саду; а напоследокъ еще пообѣщали: коли жалиться станемъ — бока намъ намять.

Егоръ Антоновичъ обернулся къ Броглію.

— Подойдите сюда, графъ.

Слегка прихрамывая, тотъ подошелъ къ столу. Директоръ взглянулъ на его ногу и спросилъ только:

— Вы узнаете, конечно, этихъ людей? Что вы скажете?

Броглію искоса окинулъ жалобниковъ надменнымъ взглядомъ и затѣмъ, съ холодною вѣжливостью, отвѣтилъ:

— Я не слышалъ начала, Егоръ Антонычъ, и потому не понимаю даже вашего вопроса.

— Онъ! онъ самый! злорадно вскричалъ тутъ дядя Пахомъ.

— Онъ! онъ! какъ эхо загорланилъ за нимъ Митька.

— Какой онъ? спросилъ Энгельгардтъ.

— Да атаманъ ихъ, ваше превосходительство, отвѣчалъ Пахомъ. — По голосу сейчасъ призналъ. Самъ себя атаманомъ называлъ; да онъ же и мнѣ тогда чортомъ на шею вскочилъ. Ну, сударь, кулаки же у тебя! что наши мужицкіе.. Да не ты ли, батюшка, и соловьемъ-то щелкалъ?

— Я полагаю, графъ, что вы не станете теперь напрасно отпираться? заговорилъ Энгельгардтъ по-французски — Васъ узнали по голосу и по соловьиному свисту; вы и въ играхъ съ товарищами всегда бываете атаманомъ; вы со вчерашняго дня храмлете; вы вчера отлучались въ городъ; вашъ мундиръ, наконецъ, только-что чинится портнымъ Малыгинымъ, потому

что на немъ съ вечера почему-то лопнуло нѣсколько швовъ. Видите, сколько явныхъ уликъ; довольно, я думаю, съ васъ?

— Вполнѣ, съ поклономъ отвѣчалъ графъ-атаманъ. — Но далѣе, пожалуйста, не допрашивайте: сообщниковъ своихъ я все равно не выдамъ

— Я и не требую. Въ городѣ васъ было вчера 9 человѣкъ. Всѣ девятеро въ теченіи недѣли не сдѣлаютъ ни шагу изъ стѣнъ лица.

— Но насъ было менѣе, Егоръ Антоновичъ..

— Я не прошу васъ выдавать, сколько васъ всѣхъ было; вы сами расквитаетесь межъ собой. Васъ же, графъ, я попрошу спуститься на время въ карцеръ. Я полагаю, что вы не найдете наказаніе слишкомъ строгимъ?

Графу оставалось только опять учтиво шаркнуть.

— Съ своей стороны, я постараюсь по возможности выгородить васъ передъ его величествомъ, которому Ляминъ, безъ сомнѣнія, донесетъ о вашемъ подвигѣ, продолжалъ Энгельгардтъ. — Но надѣюсь, графъ, что это былъ послѣдній вашъ подвигъ въ этомъ родѣ?

Брогліо тщетно старался не выказать директору, какъ его смутила снисходительность послѣдняго.

— Вы, вѣроятно, не ошибетесь... пробормоталъ онъ, бѣгая глазами по сторонамъ.

— Съ виновныхъ будетъ взыскано по винѣ ихъ, обратился Егоръ Антоновичъ по-русски къ караульщикамъ — Вамъ же, любезные, лучше по-христіански простить имъ ихъ обиду; а чтобы легче было забыть вамъ, такъ вотъ, возьмите отъ меня...

Съ этими словами, выдвинувъ ящикъ стола, онъ подаль каждому по ассигнаціи. Когда тѣ, бормоча слова благодарности съ поклонами выбрались вонъ, Брогліо поспѣшилъ вслѣдъ за ними въ прихожую.

— Погодите, братцы! остановилъ онъ ихъ и, доставъ изъ



кармана изящный бисерный кошелекъ, вручилъ каждому еще по новенькому серебряному рублю: — Вотъ, выйдите за мое здорье, и не поминайте лихомъ.

Оба поклонились ему въ поясъ такъ низко, какъ не кланялись передъ тѣмъ и директору.

— Покорнѣйше благодаримъ вашу милость! Добромъ только вспомняемъ.

Слухъ о «яблочной экспедиціи», какъ вѣрно предугадалъ Энгельгардтъ, дѣйствительно, дошелъ до императора Александра Павловича. Но Энгельгардтъ на докладѣ сумѣлъ освѣтить дѣло съ двухъ самыхъ выгодныхъ сторонъ: съ одной стороны — какъ простую ребяческую продѣлку; съ другой — какъ первую военную вылазку будущихъ воиновъ; а взаключеніе увѣрилъ, что виновные понесли уже заслуженную кару. Государь улыбнулся и оставилъ виновныхъ безъ дальнѣйшихъ взысканій.





## ГЛАВА XXIV.

### Послѣдніе подвиги.

«... Эхъ, Донъ-Жуанъ,  
Досадно, право. Вѣчныя проказы!  
А все не виновать...»

(Каменный гость.)



Такъ «яблочная экспедиція» втянула Пушкина снова въ «гусарскую» полосу, и изъ-подъ пера у него стали выходить черезчуръ уже игривые куплеты, которые не одобрялись даже большинствомъ его товарищей. Однажды, выслушавъ отъ него подобное «гусарское» стихотвореніе, князь Горчаковъ отвелъ поэта въ сторону и дружески замѣтилъ ему, что такая поэзія, право, недостойна его прекраснаго таланта. Пушкинъ падулся, будто разсердился, но потомъ тѣхъ стиховъ уже никому не показывалъ и, вообще, сдѣлался на нѣкоторое время осмотнительнѣе въ выборѣ сюжетовъ.

Но благоразумія его хватило не надолго; лихое «гусарство» взяло верхъ, и вскорѣ пришлось ему посчитаться съ самими гусарами. Вращаясь теперь постоянно въ ихъ кругу, онъ, при своей тонкой наблюдательности, живо подмѣтилъ слабости всякаго изъ нихъ, и вотъ, въ одинъ прекрасный день, въ Царскомъ Селѣ стала ходить по рукамъ стихотворная «Молитва

лейбъ-гусарскихъ офицеровъ». Хотя авторъ и не выставилъ подъ ней своего имени, но имя его передавалось устно вмѣстѣ съ пасквиломъ, и чѣмъ громче хохотали въ городѣ надъ двумя-тремя офицерами, которымъ въ немъ болѣе другихъ досталось, тѣмъ ближе принимали къ сердцу обиду оскорбленные. Одинъ изъ нихъ, Пашковъ, который попалъ въ куплетъ за свой несоразмѣрно-крупный носъ, дотого разсвирѣпѣлъ, что поклялся, при первой же встрѣчѣ, до полусмерти избить «зубоскала»-лицеиста. На счастье свое, Пушкинъ въ тѣхъ же стихахъ похвалилъ другаго гусара, графа Завадовскаго, за его щедрость, и тотъ, польщенный, вдругъ объявилъ, что стихи сочинены имъ, Завадовскимъ.

— Тѣмъ хуже для васъ, сударь! накинута на товарища Пашковъ.— Съ вами мы будемъ драться на жизнь и смерть.

— Я къ вашимъ услугамъ, холодно отвѣчалъ Завадовскій, и ссора ихъ не обошлась бы просто, если бы въ дѣло не вступился командиръ гвардейскаго корпуса Васильчиковъ. Созвавъ къ себѣ всѣхъ офицеровъ полка, онъ сталъ усовѣщать двухъ противниковъ и, въ концѣ-концовъ, кое-какъ успѣлъ примирить ихъ между собою.

Гусарь-повѣса Каверинъ былъ также въ числѣ серьезно-обиженныхъ и простилъ Пушкину не ранѣе, какъ получивъ отъ него стихотворное покаяніе, начинающееся такъ:

„Забудь, любезный мой Каверинъ,  
Минутной рѣзвости нескромные стихи;  
Люблю я первый, будь увѣренъ,  
Твои счастливые грѣхи.“

Естественно, что между нашимъ поэтомъ и друзьями его, гусарами, произошло временное охлажденіе. Тѣмъ усерднѣе началъ Пушкинъ посѣщать теперь два знакомые семейные дома въ Царскомъ: учителя музыки и пѣнія въ лицѣ, барона Тепера-де-Фергюсона и коменданта города, графа Ожаровскаго. У



перваго каждый вечеръ собиралось къ чаю общество любителей музыки и пѣнія, а по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ устраивались литературныя бесѣды. Бесѣды эти заключались въ чтеніи чужихъ и своихъ произведеній и въ сочиненіи экспромтомъ стиховъ на заданныя тѣмы. Нечего, кажется, говорить, что первое мѣсто между состязателями на этомъ полѣ принадлежало Пушкину. Изъ такихъ «экспромтныхъ» стихотвореній его сохранились два: французское и русское. Во французскомъ каждый куплетъ заканчивался припѣвомъ: «jusqu'au plaisir de nous revoir», въ русскомъ — служила этимъ припѣвомъ любимая фраза одного изъ гостей Теппера: «съ позволенія сказать».

У графа Ожаровскаго Пушкинъ сталкивался и съ нѣкоторыми изъ лицейскимъ профессоровъ. Въ числѣ ихъ былъ также профессоръ русской словесности Кошанскій, который, благодаря своей привлекательной внѣшности, своимъ изящнымъ манерамъ, а еще болѣе благодаря своей начитанности и искусной діалектикѣ, игралъ въ домѣ первенствующую роль. И что же? Онъ-то, мнѣніе котораго въ литературныхъ вопросахъ принималось здѣсь всѣми, какъ непреложный законъ, — онъ оказывался завзятымъ приверженцемъ «старого» слога, и тѣмъ недовѣрчивѣе относился къ стихамъ Пушкина, чѣмъ они были глаже.

— Гладко-съ, чтò говорить, отзывался онъ, пожимая плечами:—только вѣдь, гдѣ гладко, тамъ и раскатишься, поскользнешься, особливо, коли еще многословіемъ разбавлено, водичей полито.

Отвѣтомъ на эти незаслуженныя придирки было посланіе нашего поэта: «Къ моему Аристарху» \*). Перебѣлливъ стихи, Пушкинъ самъ преподнесъ ихъ профессору.

---

\*) *Аристархъ*—Александрійскій ученый, критиковавшій и исправлявшій стихи Гомера.

— Вотъ, Николай Ѳеодорычъ, взгляните, пожалуйста; подражаніе греческому. Узнаете ли вы автора?

Кошанскій отличался большимъ присутствіемъ духа. На минутѣ только между бровями его показалась легкая складка. Прочитавъ стихи до конца, онъ такъ пристально взглянулъ въ глаза юному автору, что тотъ долженъ былъ отвести взоръ.

— Греческій оригиналъ мнѣ неизвѣстенъ, но русскій авторъ хорошо знакомъ, началъ профессоръ. — Версификація ваша хоть куда; стихи и остроумны, и звучны; но, съ тѣмъ вмѣстѣ, въ нихъ все прежній недостатокъ: и по содержанію, и по формѣ они не въ мѣру легковѣсны. Вы укоряете «вашего Аристарха» въ ученой черствости:

«Я знаю самъ свои пороки,  
Не нужны мнѣ, повѣрь, уроки  
Твоей учености сухой»,

а сами же вслѣдъ затѣмъ признаете.

«Конечно, бѣденъ геній мой:  
За риемой часто холостой,  
На зло закопамъ сочетанья,  
Бѣгутъ трехстопные толпой  
На аю, аетъ и на ой.  
Еще немногія признанья:  
Я ставлю (кто же безъ грѣха?)  
Для мѣры, риемы, восклицанья,  
Для смысла, лишннихъ три стиха;  
Не хорошо; но оправданья  
Позволь мнѣ скромно принести:  
Мои летучія посланья  
Въ потомствѣ будутъ ли цвѣсти?»

Именно, «не хорошо», ибо вамъ, при вашемъ дарованіи, надо тщиться о томъ, чтобы они «цвѣли въ потомствѣ». За одно люблю васъ, Пушкинъ, — за вашу прямоту; какъ откровенно вы вручили мнѣ сіе посланіе, такъ же откровенно сознайтесь, что, спустя рукава, слагаете свои вирши:

«Не думай, цензоръ мой угрюмый,  
 Что, лѣнью жертвуя стихамъ,  
 Объятый стихотворной думой,  
 Встаю... бѣспуюсь по ночамъ;  
 Что, засвѣтивъ свою лампаду,  
 Едва дыша, нахмуря взоръ,  
 Сижу, сижу три ночи сряду  
 И выпишу—трехстопный вздоръ...»

Стихи вамъ даются, очевидно, легче, чѣмъ всякому другому; но и поэзія—дѣло, которое мастера боится; таинство, къ которому надо приступать осмотнительно и сознательно. А вы, любезнѣйшій, какъ занимаетесь ею:

«Ужъ утра яркое свѣтило  
 Поля и рощи озарило;  
 Давно прощѣли пѣтухи!  
 Въ пол-глаза дремля и зѣвая,  
 Шапеля въ пѣсняхъ призывая,  
 Пишу короткіе стихи  
 Среди пріятнаго забвенья,  
 Склонясь въ подушку головой—  
 И въ простотѣ, безъ украшенья  
 Мои слагаю извиненья  
 Немного сонною рукой».

Ну, согласитесь, порядокъ ли это для записнаго поэта? Оттого вы, при всемъ талантѣ, ничего путнаго до сей поры не написали.

— Лѣнь, Николай Ѳедорычъ, раньше насъ родилась! старался отшутиться Пушкинъ, котораго доброжелательный тонъ профессора поневолѣ обезоружилъ.

— Надѣюсь, что время васъ отъ нея наконецъ излечитъ, со вздохомъ сказалъ Кошанскій. — За посланіе ваше всячески благодарю и буквально сдѣлаю то, что вы прописываете «вашему Аристарху»:

«А ты, мой скучный проповѣдникъ,  
 Умѣрь ученый вкуса гнѣвъ!  
 Поди, кричи, брани другаго  
 И брось лѣннѣца молодаго,  
 Объ немъ тихонько пожалѣвъ».



Неумѣстная гусарская развязность со старшими прорывалась у Пушкина въ общеніи даже съ такими людьми, которыхъ онъ самъ ставилъ неизмѣримо выше себя, какъ, напримѣръ, съ Карамзинымъ. Знаменитый исторіографъ лѣто 1817 года проводилъ также на дачѣ въ Царскомъ. Въ срединѣ мая мѣсяца уже перебрался онъ съ семействомъ въ тотъ самый китайскій домикъ въ императорскомъ паркѣ, который занималъ предшествовавшее лѣто. Первые шесть томовъ своей «Исторіи Государства Россійскаго» онъ напечаталъ, для скорости, одновременно въ нѣсколькихъ столичныхъ типографіяхъ, и въ Царское то и дѣло высылались къ нему корректуры, надъ которыми онъ просиживалъ ежедневно цѣлые часы. Неудивительно, что живой и остроумный поэтъ-лицеистъ, отвлекавшій его отъ этой скучной работы, былъ для него всегда милымъ гостемъ. Встрѣчая со стороны Карамзина самый радужный пріемъ, Пушкинъ сталъ держать себя съ нимъ также черезчуръ уже просто.

Разъ дѣло чуть-было не дошло до разрыва между ними. Карамзинъ охотно излагалъ внимательному молодому слушателю свои воззрѣнія на историческіе факты, причемъ, увлекаясь тѣмой, иногда, какъ говорится, «хваталъ черезъ край». Такъ, защищая Бориса Годунова, закрѣпившаго крестьянъ къ землѣ, онъ сталъ доказывать всѣ преимущества крѣпостнаго права.

— И такъ, вы рабство предпочитаете свободѣ! перебилъ Пушкинъ.

«Карамзинъ вспыхнулъ и назвалъ меня своимъ клеветникомъ (разсказываетъ объ этомъ случаѣ въ своихъ «Запискахъ» самъ Пушкинъ). Я замолчалъ, уважая самый гнѣвъ прекрасной души. Разговоръ перемѣнился. Я всталъ. Карамзину стало совѣстно и, прощаясь со мной, онъ ласково упрекалъ меня, какъ бы самъ извиняясь въ своей горячности:

« — Вы сказали на меня то, чего ни Шаховской, ни Кутузовъ на меня не говорили... »

Всѣ подобныя выходки сходили Пушкину благополучно. Но одна продѣлка его, сама по себѣ, пожалуй, также довольно невинная, едва не обошлась ему слишкомъ дорого: наканунѣ выпуска изъ лицея онъ былъ на волоскѣ отъ исключенія оттуда. Дѣло было такъ.

Въ числѣ фрейлинъ императрицы Елисаветы Алексѣевны состояла иѣкая княжна Волконская. Сама княжна была уже старушка, но при ней была молоденькая горничная Наташа, и та была такъ миловидна, что скоро обратила на себя вниманіе лицестовъ. При случайныхъ встрѣчахъ съ нею, они любезно кивали ей головой; Пушкинъ же сложилъ въ честь ея даже стихи.

Отправляясь по вечерамъ на музыку у дворцовой гаунт-вахты, молодежь должна была проходить туда черезъ дворецъ, длиннѣйшимъ темнымъ коридоромъ, куда выходили и комнаты фрейлинъ. Разъ Пушкинъ какъ-то позамѣшкался и не поспѣлъ вмѣстѣ съ другими. Попарно, шумной вереницей двигалась лицейская братія вокругъ полковаго оркестра передъ дворцомъ, между пестрой толпой горожанъ. Пушкинъ, заключавшій шествіе, оглядывался по сторонамъ: не идетъ ли, наконецъ, его пара, Пушкинъ. Вдругъ кто-то сзади крѣпко схватилъ его подъ руку. Онъ обернулся и невольно отступилъ.

— Что съ тобой, Пушкинъ?

Тотъ былъ красенъ, какъ вареный ракъ, тяжело переводилъ духъ и отиралъ лобъ платкомъ.

— Ч-ш-ш-ш! сказалъ Пушкинъ съ натянутымъ смѣхомъ. — Вотъ, братъ, влопался-то... Преглупая исторія...

— Опять? Въ который разъ!

— Да видишь ли... Уфъ! дай отдышаться... Прохожу я этимъ проклятымъ коридоромъ, чтобы нагнать васъ. Темъ, какъ

знаешь, непроглядная, ни зги не видать. Тутъ, около самыхъ дверей княжны Волконской, слышу: шелеститъ женское платье. Почему-то мнѣ вообразилось, что это Наташа...

— И ты отпустилъ ей непрошенную любезность?

— Н-да; т. е. меня точно бѣсъ какой толкнулъ поцѣловать ее...

— Хорошъ мальчикъ! Ну, и что же, то была вовсе не Наташа?

— То-то, что нѣтъ! Какъ заоретъ вдругъ благимъ матомъ! Дверь настежь, корридоръ освѣтился, и кого же я увидѣлъ передъ собой? — саму старуху княжну!

Пушкинъ расхохотался.

— Поздравляю, милый мой! Жаль, что я не могъ видѣть тогда твоей рожи!

— Тебѣ-то хорошо смѣяться, а мнѣ-то каково?

— Подѣломъ вору и мука. А княжна тебя узнала?

— Кажется, что да: «А! говорить, это вы!»

— Но ты сейчасъ, какъ слѣдуетъ, извинился?

— До того ли мнѣ, скажи, было? Я совсѣмъ голову потерялъ -- и давай Богъ ноги!

— А еще военнымъ человѣкомъ хочешь быть! Но такъ ли, сякъ ли, тебѣ придется повиниться. Вѣдь она, не забудь, фрейлина императрицы...

— Я и то думалъ, скрѣпя сердце, написать ей извинительное письмо...

— А какъ она покажетъ его самой государынѣ? Съ огнемъ, братъ, шутить тоже нельзя. Мигомъ забрѣютъ лобъ — и на Кавказъ.

— Такъ что же дѣлать?

— Я на твоёмъ мѣстѣ пошелъ бы, прежде всего, къ Ангельгардту...

— Ни за что! запальчиво вскинулся Пушкинъ.



— Я, признаться, другъ мой, все еще тебя хорошенько не раскусилъ, хотя въ шесть лѣтъ мы съ тобой болѣе десяти пудовъ соли съѣли. Что у тебя, скажи, было съ Егоромъ Антонычемъ?

— Ничего не было...

— Такъ ли? Отчего же ты не бываешь у него? отчего онъ давно что-то не приглашаетъ тебя къ себѣ? Онъ не только милѣйшій хозяинъ, но и прекраснѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ...

— Ну, ужъ на этотъ счетъ позволь мнѣ имѣть мое личное мнѣніе!

— Ага! Такъ, значить, между вами все-таки пробѣжала черная кошка?

— Какъ-будто безъ того я не могъ составить себѣ о немъ опредѣленное мнѣніе!

— Опредѣленное, но не дурное. И знаешь ли, Пушкинъ, мнѣ сдается, что ты сердить на него не за то, что онъ тебя чѣмъ-нибудь обидѣлъ (Энгельгардтъ, кажется, на это не способенъ), а за то, что ты самъ нанесъ ему какую-нибудь незаслуженную обиду.

Пушкинъ опять неестественно разсмѣялся.

— Вотъ нѣ! Я его обидѣлъ, да я же сердить на него?

— Да, братецъ ты мой, такова ужъ натура человѣческая. Чѣмъ болѣе мы благодѣтельствуемъ ближнему, тѣмъ онъ дѣлается намъ дороже, точно мы добромъ своимъ купили, закрѣпостили его себѣ; и наоборотъ: чѣмъ несправедливѣе мы были къ нему, тѣмъ сильнѣе потомъ чувствуемъ къ нему антипатію, тѣмъ болѣе отворачиваемся отъ него. Съ перваго взгляда это, пожалуй, странно, а въ сущности очень просто: мы стыдимся въ душѣ своей собственной вины и не можемъ простить своего стыда тому, кто былъ его первой причиной...

— Ну, зафилософствовался!

Ходившій впереди нихъ Илличевскій подхватилъ послѣднее слово и обернулся.

— А о чемъ вы философствуете, господа?

— Молчи! шепнулъ другу своему Пушкинъ.

Ни тому, ни другому и безъ того не пришлось уже отвѣчать: подбѣжавшій къ нимъ въ это время лицейскій сторожъ впопыхахъ принесъ Пушкину приказаніе директора: «тотчасъ пожаловать къ его превосходительству». Друзья переглянулись.

— Однако, живо! замѣтилъ Пущинъ.—Смотри же, братъ, сдѣлай такъ, какъ я тебѣ говорилъ.

Пушкинъ покачалъ только отрицательно головой, повернулся—и исчезъ въ толпѣ.

— Что съ нимъ? спросилъ Илличевскій у Пущина. -- Сперва онъ вдругъ поблѣднѣлъ, потомъ покраснѣлъ.

— Скоро и такъ узнаешь, уклонился тотъ отъ прямого отвѣта.

Между тѣмъ, Пушкинъ входилъ въ кабинетъ директора. Не въ первый разъ входилъ онъ туда съ бьющимся сердцемъ; но теперь оно билось едва ли не тревожнѣе, чѣмъ когда-либо прежде. Энгельгардтъ принялъ его стоя, опершись рукой на столъ; лицо его было омрачено печалью и заботой.

— Разкажите, какъ было дѣло? были первыя слова его.

«Какое дѣло?» хотѣлъ-было спросить Пушкинъ, чтобы отдалить хоть на минуту тягостное объясненіе; но, встрѣтивъ устремленный на него строгій взглядъ директора, перемѣнилъ намѣреніе и откровенно разказалъ несложное дѣло.

— Такъ это, стало быть, была обыкновенная шалость? спросилъ замѣтно смягченый его признаніемъ Энгельгардтъ.

— Самая обыкновенная, Егоръ Антонычъ! горячо подхватилъ Пушкинъ, и на рѣсницахъ у него блеснули слезы.—Знай я только, что это не Наташа, а старая княжна...

— То вы оставили бы ее въ покоѣ? досказалъ Энгель-

гардтъ, и на губахъ его промелькнула даже улыбка. — Охотно вѣрю, мой милый. Но, какъ бы то ни было, дѣло можетъ принять очень дурной для васъ оборотъ. Князь Волконскій, братъ княжны, принесъ мнѣ только-что жалобу на васъ. Завтра, нѣтъ сомнѣнія, о вашемъ поступкѣ узнаетъ весь дворъ, а слѣдовательно, и государь...

— Ну, что-жъ! въ внезапномъ порывѣ упрямства вскричалъ Пушкинъ. — Солдаты — такіе же люди, какъ и мы. Объ одномъ только прошу васъ, Егоръ Антонычъ: стойте на томъ, чтобы меня отдали въ гусары...

— Чтобы ты тамъ совсѣмъ сбился съ пути? Нѣтъ, мой другъ, пока ты у меня въ лицѣ, я постою за тебя. Что отъ меня зависитъ — будетъ сдѣлано, чтобы выгородить тебя. Но и самъ ты долженъ кое-что сдѣлать. Если порядочный человѣкъ, хотя бы и противъ своего желанія, оскорбилъ даму, то какая его первая обязанность?

— Извиниться, понятно... Да я, Егоръ Антонычъ, и такъ уже думалъ написать письмо княжнѣ...

— И напиши, непременно напиши. За остальное я отвѣчаю.

На слѣдующее утро Энгельгардтъ ожидалъ обычнаго часа прогулки императора Александра Павловича, чтобы застать его въ паркѣ. Но когда онъ только-что собирался спуститься въ садъ, самъ государь неожиданно зашелъ къ нему.

— Мнѣ надо поговорить съ тобой, Энгельгардтъ, объ этомъ Пушкинѣ, съ необычною серьезностью началъ государь. — Что-жъ это, скажи, наконецъ, будетъ? Лицейсты твои не только снимаютъ у меня черезъ заборъ мои наливныя яблоки, избиваютъ сторожей моего садовника, но не даютъ прохода и фрейлинамъ жены моей...

— Ваше величество предупредили меня, отвѣчалъ Энгельгардтъ; — я самъ искалъ случая принести вамъ повинную за Пушкина. Онъ, бѣдный, въ отчаяньи приходилъ за моимъ по-



зволениемъ письменно просить княжну, чтобы она отпустила ему его неумышленное прегрѣшеніе...

Затѣмъ, Энгельгардтъ, въ самомъ выгодномъ для Пушкина свѣтѣ, представилъ весь эпизодъ.

— Само собой разумѣется, что я сдѣлалъ ему строжайшій выговоръ, закончилъ онъ свой докладъ: — и молю васъ, государь, объ одномъ — разрѣшить ему письменно повиниться передъ княжной.

Узнавъ подробности дѣла, императоръ Александръ Павловичъ уже смиростивился.

— Пусть пишетъ, сказалъ онъ; — я, такъ и быть, беру на себя адвокатство за Пушкина. Но скажи ему, слышишь: что это въ послѣдній разъ! Между нами сказать, — съ тонкой улыбкой прибавилъ государь вполголоса по-французски, — наша почтенная княжна, можетъ быть, и вовсе не такъ сердита на молодаго человѣка. До свиданья, однако: жена, вонъ видишь, ждетъ меня.

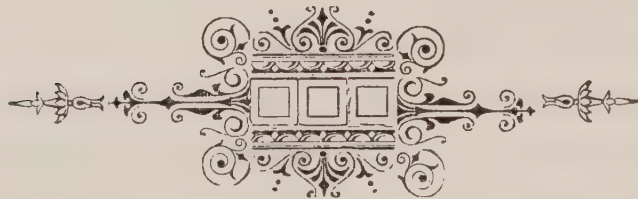
Проходившая по саду мимо лица императрица Елисавета Алексѣевна, въ самомъ дѣлѣ, только что оглядывалась на окна Энгельгардта. Пожавъ наскоро послѣднему руку, государь спѣшилъ спуститься въ садъ.

Такъ пронеслась послѣдняя гроза, надвинувшаяся надъ Пушкинымъ-лицеистомъ. Что благопріятный исходъ ея былъ заслугой, прежде всего, Энгельгардта, — этого, конечно, не могъ отрицать въ глубинѣ души и Пушкинъ. Тѣмъ не менѣе, въ лицеѣ онъ не имѣлъ еще достаточно мужества признать открыто, что онъ заблуждался въ Энгельгардтѣ. Напротивъ, когда Пушкинъ сталъ доказывать ему, какъ благородно велъ себя Энгельгардтъ во всемъ этомъ дѣлѣ, Пушкинъ съ какимъ-то ожесточеніемъ возражалъ, что Энгельгардтъ, защищая его, защищалъ самого себя.

«Много мы спорили (разсказываетъ по этому поводу въ

въ своихъ «Запискахъ» Пушкинъ).—Для меня осталось неразрѣшенною загадкой, почему всѣ знаки вниманія директора и жены его отвергались Пушкинымъ: онъ никакъ не хотѣлъ видѣть его въ настоящемъ свѣтѣ, избѣгая всякаго сближенія съ нимъ. Эта несправедливость Пушкина къ Энгельгардту, котораго я душой полюбилъ, сильно меня волновала. Тутъ крылось что-нибудь, чего онъ никакъ не хотѣлъ мнѣ сказать; наконецъ, я пересталъ и настаивать, предоставя все времени. Оно одно можетъ вразумить въ такомъ непонятномъ упорствѣ.»

Для насъ, потомковъ, передъ которыми внутренній міръ юноши-Пушкина лежитъ открытой книгой, такое крайнее упорство его не представляется уже неразрѣшимою загадкой: оно объясняется, какъ его гордымъ и строптивымъ правомъ, такъ и тѣми келейными, щекотливаго свойства разговорами его съ Энгельгардтомъ, о которыхъ онъ тогда умолчалъ даже передъ своимъ первымъ другомъ.





## Г л а в а XXV.

### Выпускъ изъ лица.

„Богъ съ тобою, золотая рыбка,  
Ступай себѣ въ синее море,  
Гуляй тамъ себѣ на просторѣ!“

(Сказка о рыбацѣ и рыбкѣ.)



Весь старшій классъ лицейстовъ былъ въ неопи-  
санномъ волненіи. Шестилѣтній срокъ пребыванія  
ихъ въ лицѣѣ истекалъ только въ октябрѣ 1817 года,  
когда имъ предстоялъ и выпускной экзаменъ, какъ  
вдругъ имъ объявляютъ, что выпускъ ихъ состоится  
почти за полгода ранѣе, теперь же весною!

— Да какъ? да что? да почему? такъ и сыпались вопросы.

Догадкамъ и слухамъ не было конца. Одна догадка казалась  
всѣхъ правдоподобнѣе, одинъ слухъ держался упорнѣе другихъ:  
утверждали, что послѣдній «гусарскій» подвигъ Пушкина по-  
нудилъ лицейское начальство поскорѣе развязаться съ чрез-  
чуръ удалымъ старшимъ курсомъ.

Какъ бы то ни было, выпускной экзаменъ былъ на носу,  
и даже у самыхъ удалыхъ первокурсниковъ сердце поневолѣ  
заекало. За годъ съ небольшимъ директорства Энгельгардта,  
они не успѣли, конечно, пополнить хорошенько тѣ научные  
пробѣлы, которые оставило въ головахъ ихъ двухлѣтнее меж-  
дуцарствіе. Что же касается Пушкина, то онъ и при Энгель-



гартѣ не отличался особеннымъ прилежаніемъ. Удовлетворительныя отмѣтки были у него только по двумъ предметамъ: русскому и французскому языкамъ. До 1816 года профессора вели подробныя вѣдомости о способностяхъ и успѣхахъ въ отдѣльности каждаго воспитанника; Энгельгартъ же, вмѣсто того, завелъ обыкновенную балльную систему, а именно: цифра 1 означала отличные успѣхи, 2—очень хорошіе, 3—хорошіе, 4—посредственные и 0—худые. У Пушкина только за «россійскую» поэзію и французскую риторикѣ стоялъ высшій баллъ—1; по всѣмъ остальнымъ предметамъ у него было по 4, а въ военныхъ наукахъ и латинскомъ языкѣ 0. Очень можетъ быть, что такая неуспѣшность въ военныхъ наукахъ (требовавшихъ спеціальныхъ математическихъ познаній, которыхъ у Пушкина не было) охладила его также къ намѣченной—было военной карьерѣ.

Профессора, съ своей стороны, не желая ронять сразу репутацію новаго заведенія, дали и на этотъ разъ склонить себя просьбами лицеистовъ и допустили при выпускныхъ испытаніяхъ ту же льготную систему, которая такъ облегчила молодежи въ 1815 года переходъ изъ младшаго въ старшій курсъ. Починъ сдѣлалъ профессоръ математики Карцовъ, у котораго дѣйствительно занимался и успѣвалъ одинъ только Вальховскій. Раздавъ впередъ каждому воспитаннику по билету, онъ взялъ съ нихъ слово, что свой-то билетъ хотъ каждый «выдолбить» какъ слѣдуетъ.

«Подобно, какъ въ математикѣ (разсказываетъ въ своихъ воспоминаніяхъ одинъ изъ лицеистовъ, баронъ Корфъ), и по большей части другихъ предметовъ сдѣлана была между воспитанниками разверстка опредѣленныхъ ролей, и дурные отвѣты являлись только тогда, когда который либо изъ профессоровъ сбивался въ своемъ росписаніи, или какой-нибудь лѣнивый ученикъ не хотѣлъ или не умѣлъ затвердить даже послѣдняго

въ своей жизни урока. Посѣтители же могли только невѣжественно поклоняться безднѣ нашей премудрости, или сами, какъ наши профессора, состояли участниками въ заговорѣ.»

Испытанія продолжались цѣлые 15 дней, и уже по этой простой причинѣ на нихъ не было никого изъ родителей, какъ нежившихъ въ самомъ Царскомъ Селѣ. Присутствовали профессора, да еще кое-кто изъ постоянныхъ мѣстныхъ жителей, интересовавшихся успѣхами того или другаго изъ знакомыхъ имъ молодыхъ людей. Энгельгардтъ, если что-нибудь и зналъ, быть можетъ о тайномъ соглашеніи учащихся и учащихся, то долженъ былъ смотрѣть на то сквозь пальцы. На сколько же онъ заботился о будущности каждаго изъ воспитанниковъ, имъ стало извѣстно вслѣдъ за послѣднимъ экзаменомъ, когда директоръ, вмѣстѣ съ профессорами, заперся въ конференцъ-залѣ, чтобы составить списокъ выпускныхъ лицейстовъ по ихъ успѣхамъ и опредѣлить ихъ права на государственную службу.

Лицейскіе поэты, въ то же самое время, замкнулись въ классной комнатѣ, чтобы по поводу того-же списка въ послѣдній разъ сообща сочинить новую «національную пѣсню». Сочинительство ихъ было вскорѣ прервано громкимъ стукомъ въ дверь.

— Ну, кто тамъ? съ неудовольствіемъ крикнулъ Иличевскій.

— Впустите, что-ли! раздался въ отвѣтъ зычный голосъ графа Броглю.

— Чего тебѣ, Сильверій? Мы тутъ сочиняемъ...

— Да ну васъ, сочинителей! донесся теперь другой голосъ — Мясоѣдова. — На прощанье поиграть бы еще въ казаки-разбойники...

— Играйте безъ насъ...

— Да казаковъ у насъ не хватаетъ.

— А вы сами по натурѣ все разбойники?

— Да, постоимъ за себя!

— Вѣдь, силой вломимся! задорно отозвался опять графъ Брогліо, и крѣпкая дубовая дверь, подъ напоромъ его богатырскаго плеча, дѣйствительно, такъ затрещала, что казалось, сейчасъ слетить съ петель.

— И то, вѣдь, разбойникъ... проворчалъ Иличевскій и, нехотя, пошелъ впустить нетерпѣливыхъ.

— Неблагодарные! не чаете, что васъ самихъ только-что воспѣли.

— Ой-ли? сказалъ Брогліо.

— А вотъ, послушай. Ну-ка, Корфъ, ты нашъ дьячекъ, такъ запѣвай.

Баронъ Корфъ, лицейскій запѣвало, не далъ долго упрашивать себя и звонко затянулъ:

— „Этотъ списокъ сущи бредни—  
Кто тутъ первый, кто послѣдній..“

Хоръ товарищей не замедлилъ грянуть припѣвъ:

— „Всѣ нули, всѣ нули,  
Ай люли, люли, люли!“

— Лихо! ей-богу, молодцы! похвалили Брогліо и Мясоѣдовъ.—Валяй дальше.

— „Покровительствомъ Минервы  
Пусть *Вальховскій* будетъ первый..“ \*)

началъ снова «дьячекъ» Корфъ.

— „Мы-жъ нули, мы нули,  
Ай люли, люли, люли!“

\*) Эта самая фраза впоследствии, очевидно, не безъ умысла включена Пушкинымъ, какъ память о «лицейской старинѣ», въ одну строфу известной пьесы его «19 октября» («Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ»):

„Спартанскою душой плѣняя насъ,  
Воспитанный суровою Минервой,  
Пуškai опять Вальховскій сидеть первый,  
Послѣднимъ я, или Брогліо, или Данзасъ..“



подхватили теперь, вмѣстѣ съ хоромъ, также и двое слушателей. Увлеченіе ихъ, понятно, еще болѣе возросло, когда оба они попали въ куплеты:

— „*Полю* протекціей бояровъ  
Будетъ юнкеромъ гусаровъ —  
Мы-жъ нули, мы нули,  
Ай люли, люли, люли!  
„*Графу* нѣтъ большой заботы,  
Будь хоть юнкеръ онъ пѣхоты —  
Мы-жъ нули, мы нули,  
Ай люли, люли, люли!“

(«Полю» запросто назывался товарищами Павелъ Мясоѣдовъ, «графомъ» — Броглю.) Распѣвая куплетъ на самихъ себя, оба сіяли такимъ самодовольствіемъ, точно имъ Богъ знаетъ какіе подарки поднесли.

— А про себя самого ты что-жъ ни-гугу? спросилъ Броглю Корфа.

— Будетъ и про меня, отвѣчалъ тотъ и затянулъ тотчасъ:

— „*Корфъ* — дьячекъ у насъ исправный,  
И сидѣлецъ въ классахъ славный —  
Мы-жъ нули, мы нули,  
Ай люли, люли, люли!“

Ну, а теперь, господа, будетъ съ васъ: хорошаго понемножку, заключилъ онъ.

— Повеличаемъ только еще Дельвига, сказалъ Пушкинъ:

— „*Дельвигъ* мыслитъ: на-досугъ  
Можно спать и въ Кременчугъ —  
Мы-жъ нули, мы нули,  
Ай люли, люли, люли!“

(Въ Кременчугѣ, Полтавской губерніи, стояла бригада, которую командовалъ отецъ Дельвига.)

Куплетъ на Дельвига не былъ еще допѣтъ, какъ въ комнату къ пѣвцамъ, въ полуоткрытую дверь, заглянулъ профессоръ Куницынъ.

— Вы, господа, черезчуръ ужъ что-то про нули свои распѣлись, замѣтилъ онъ.

— Ахъ, Александръ Петровичъ! въ одинъ голосъ вскричали лицеисты и гурьбой обступили любимаго профессора: — конференція, вѣрно, кончилась?

— Кончилась.

— Такъ что-же: много нулей?

— Все узнаете въ свое время. Одно могу сказать вамъ: что никого изъ васъ слишкомъ не обидѣли.

— Такъ что, и кромѣ Вальховскаго, кое-кто изъ насъ попадетъ еще въ гвардію? спросилъ Пущинъ.

— Васъ-то, Пущинъ, кажется, можно поздравить: вы будете выпущены въ гвардію.

— „Не тужи, любезный *Пущинъ*:  
Будешь въ гвардію ты пущень!“

подхватилъ, смѣясь, Илличевскій: — вотъ и новый куплетъ готовъ!

— А знаете-ли, господа, кто васъ болѣе всѣхъ отстаивалъ?

— Вѣроятно, вы, Александръ Петровичъ.

— Нѣтъ, мой слабый голосъ былъ бы гласомъ вопіющаго въ пустынь, скромно отозвался Куницынъ. — Отстаивалъ, отбивалъ васъ отъ всѣхъ нападокъ вашъ почтенный директоръ. Трое же изъ васъ: вы, Пущинъ, вы, Пушкинъ, да вы, Малиновскій, должны ему, какъ отцу родному, просто въ ножки поклониться.

— За что это?

— А вотъ за что. Помните, что, года полтора назадъ, за вашъ гоголь-моголь васъ троихъ занесли въ черную книгу; или забыли?

— Нѣтъ...

— Ну, такъ въ книгѣ той прямо сказано, что вашъ милый

проступокъ долженъ быть принять съ соображеніе при выпускѣ вашемъ изъ лица. Но Егоръ Антонычъ горячо возсталъ противъ этого и убѣдилъ насъ, что за старые грѣхи грѣшно взыскивать: кто старое вспоманетъ, тому глазъ вонъ.

— И что же: черная книга сдана въ архивъ?

— Въ архивъ!

— Ай-да Егоръ Антонычъ! молодецъ! вскричалъ Брогліо. — Теперь, господа поэты, вамъ ничего не остается, какъ и его воспѣть.

— Обязательно!

— Не хочу вамъ мѣшать, господа, сказалъ, улыбувшись, Куницынъ и вышелъ вонъ.

Кушетъ во славу Энгельгардта, дѣйствительно, былъ сложенъ, хотя нельзя сказать, чтобы онъ особенно удался:

— „Пусть о нихъ \*) заводятъ споры

Съ *Энгельгардт* мъ профессёры —

И они тѣ-жъ нули,

Ай люли, люли, люли!“

Новая «національная пѣсня» въ литературномъ отношеніи оставляла желать многого уже потому, что въ сочиненіи ея принимало участіе слишкомъ много лицъ. Тѣмъ удачнѣе были альбомные стихи, которые должны были писать теперь другъ другу на прощанье лицейскіе стихотворцы. Само собою разумѣется, что къ Пушкину приставали болѣе, чѣмъ къ другимъ, и, удовлетворивъ двоихъ, Пущина и Иличевского, онъ отъ остальныхъ отдѣлался уже однимъ общимъ посланіемъ: «Къ товарищамъ передъ выпускомъ». Директоръ, съ своей стороны, предлагалъ ему написать прощальный гимнъ для акта, на которомъ долженъ былъ присутствовать и государь. Пушкинъ сначала-было обѣщался написать, но затѣмъ все не могъ со-

---

\*) Т. е. о нуляхъ.



браться исполнить обѣщаніе, такъ что Энгельгардтъ нарочно зашелъ къ нему въ камеру.

— Ну, что же, Пушкинъ? спросилъ онъ: — гимнъ твой еще не готовъ?

— И не начать!—былъ отвѣтъ

— Экой ты! Когда же ты, наконецъ, примешься за него?

— Ей-богу, не знаю, Егоръ Антонычъ. Заказныхъ стиховъ, повѣрите ли, такая масса... И то едва развязался съ товарищами...

— Кстати! сказалъ Энгельгардтъ:—хорошо, что напомнилъ. Я имѣлъ случай прочесть твои стихи къ товарищамъ. У тебя, конечно, есть еще собственноручный списокъ съ этихъ стиховъ?

— Есть.

— Такъ дай мнѣ на память! Я не ожидаю, чтобы ты написалъ что-либо и лично мнѣ; но какой-нибудь автографъ твой мнѣ надо же имѣть.

Пушкинъ открылъ конторку и подалъ директору начисто-перебѣленные имъ для себя стихи. Тотъ сейчасъ же прочелъ ихъ, и довольное выраженіе лица его при чтеніи заключительныхъ строкъ сказало яснѣе словъ, какъ поэтъ угодилъ ему. Дѣло въ томъ, что Пушкинъ, какъ-бы въ видѣ шага къ примиренію съ нимъ, косвенно похвалилъ выхлопотанную Энгельгардтомъ лицейстамъ льготу — не застегиваться на-глухо на всѣ пуговицы:

„Друзья, немного снисхожденья!  
Оставьте пестрый мнѣ кошаекъ,  
Пока его за прегрѣшенья  
Не промѣнялъ я на шишакъ;  
Пока лѣнивому возможно,  
Не опасаясь грозныхъ бѣдъ,  
Еще рукой неосторожной  
Въ іюль распахнуть жилетъ.“

— Спасибо тебѣ! съ теплотою сказалъ Энгельгардтъ, пряча стихи.—Такъ какъ-же, другъ мой, на счетъ гимна?

— Ужь, право, Егоръ Антонычъ, не берусь навѣрное... Поручите лучше Дельвигу: онъ такой-же поэтъ, какъ и я...

— Поэтъ, да не такой. Ну, да нечего дѣлать! обратимся къ Дельвигу. Но у меня до тебя еще другое дѣло. Надѣюсь, что въ немъ-то ты мнѣ хоть поможешь.

— Приказывайте.

— Послѣ акта у меня на квартирѣ будетъ небольшой спектакль. Кромѣ моихъ домашнихъ, въ пьесѣ должны участвовать нѣсколько человѣкъ лицейстовъ. У тебя же, Пушкинъ, есть несомнѣнный актерскій талантъ, и нашъ главный режиссеръ, Мери, рассчитываетъ на тебя.

При имени Мери лицо Пушкина разомъ залило румянцемъ, а брови его сдвинулись.

— Мадамъ Смитъ, видно, смѣется надо мной? отрывисто произнесъ онъ.

— Ни чуть. Она сама, видишь ли, сочинила французскую пьеску: «*Tout veut parler, voilà ce qui brouille ce petit monde*», и такъ какъ ты не только хорошій актеръ, но и самъ поэтъ, да, кромѣ того, прекрасно говоришь по-французски...

— Нѣтъ, ужь увольте! прервалъ рѣшительно Пушкинъ. — Вы, Егоръ Антонычъ, сами хорошо поймете, почему я не могу.

— Но что мнѣ сказать ей?

— Поблагодарите за честь... Скажите, что родители пришлютъ за мной изъ Петербурга сейчасъ послѣ акта... И это вѣдь сущая правда...

— Пожалуй, скажемъ, если уже ты наотрѣзъ отказываешься. Не знаю, Пушкинъ, доведется ли намъ съ тобой еще быть наединѣ до твоего отъѣзда, — продолжалъ Энгельгардтъ, и въ голосѣ его зазвучала отечески-задушевная нота. — Поэтому я теперь же дамъ тебѣ совѣтъ на дорогу: въ тебѣ есть искра Божія — не задувай ея!

— Я могъ бы быть, конечно, прилежнѣе, согласился Пушкинъ,—и, вѣроятно, буду сожалѣть о потерянныхъ школьныхъ годахъ...

— О потерянномъ, другъ мой, что теперь толковать! Что съ возу упало —то пропало. Но впереди у тебя еще цѣлая жизнь: если ты хочешь стать настоящимъ человѣкомъ, то долженъ доучивать то, чему не доучился въ лицей и что далось бы тебѣ въ лицей гораздо легче. Помоги тебѣ Богъ! насъ же не поминай лихомъ...

— Я буду поминать васъ только добромъ, Егоръ Антонычъ.

— Спасибо. Такъ вотъ что: если въ трудное время тебѣ понадобится дружеская помощь, искренній совѣтъ, — иди прямо ко мнѣ: двери моего дома такъ же, какъ и сердце мое, всегда будутъ открыты для тебя!

Самъ не зная какъ, Пушкинъ очутился въ объятіяхъ Энгельгардта.

— Хоть простились-то друзьями! промолвилъ съ улыбкой растроганнымъ голосомъ Энгельгардтъ и, чтобы скрыть свое внутреннее волненіе, поспѣшно вышелъ.

А Пушкинъ? На глазахъ у него также навернулись слезы. Онъ стоялъ, какъ въ забытіи: прочувствованныя дружескія слова директора глубоко запали ему въ душу и, какъ показало будущее, принесли хорошіе плоды.

Давно ли онъ рвался изъ стѣнъ лица! А теперь, когда стѣны эти вдругъ раздвинулись передъ нимъ еще за полгода до срока, неодолимая грусть напала на него: лицей—эта воображаемая нѣкогда тюрьма, сдѣлался для него какъ бы роднымъ домомъ, а начальники (въ томъ числѣ, конечно, и Энгельгардтъ), товарищи и даже лицейская прислуга стали ему вдругъ такъ же близки, какъ члены своей семьи. Немногіе дни между экзаменами и актомъ пролетѣли для лицеистовъ какъ сонъ; передъ вѣчной, быть можетъ, разлукой имъ хотѣлось поговориться до-



сыта. Воспоминанія о прошломъ, мечты о будущемъ прерывались только дорожными сборами и прощальными визитами къ царскосельскимъ знакомымъ.

Такъ наступило утро послѣдняго дня пребыванія ихъ въ лицей—9-го іюня. Насколько пышно и торжественно, 6 лѣтъ передъ тѣмъ, открывался лицей, настолько тихъ и скромень былъ актъ ихъ выпуска оттуда. Правда, императоръ Александръ Павловичъ, какъ и тогда, удостоилъ актъ своимъ присутствіемъ; но государь и сопровождавшій его князь Голицынъ (исправлявшій должность министра народнаго просвѣщенія, вмѣсто графа Разумовскаго) были единственные присутствующіе изъ «сильныхъ міра сего». Кромѣ 29-ти воспитанниковъ выпускнаго класса въ парадной формѣ, было тутъ, разумѣется, ихъ начальство, были родители немногихъ изъ нихъ, да кое-кто изъ жителей Царскаго Села. Когда государь, ровно въ 12 часовъ дня, прошелъ изъ внутреннихъ покоевъ дворца въ большой лицейскій залъ, навстрѣчу ему вышли директоръ и всѣ профессора. Когда, затѣмъ, всѣ заняли свои мѣста, Энгельгардтъ съ кафедры сказалъ небольшую вступительную рѣчь. Послѣ него конференцъ-секретарь, профессоръ Куницынъ, прочиталъ отчетъ о ходѣ занятій лицейстовъ и основныхъ началахъ ихъ воспитанія. Взаключеніе, князь Голицынъ вызывалъ воспитанниковъ по списку, представлялъ каждого изъ нихъ государю и вручалъ однимъ—медали или похвальные листы, а другимъ—просто аттестаты.

Первую золотую медаль, оказалось, заслужилъ В а л ь х о в с к і й, вторую — князь Горчаковъ, первую серебряную — М а с л о в ъ, вторую — Е с а к о в ъ, третью—К ю х е л ь б е к е р ь и четвертую—Л о м о н о с о в ъ. Четверымъ другимъ: К о р с а к о в у, барону К о р ф у, П у щ и н у и С а в р а с о в у, взамѣнъ медалей, были присуждены похвальные листы. Изъ 17-ти воспитанниковъ, назначавшихся въ гражданскую службу, 9 чело-

вѣкъ вышло по 1-му разряду съ чиномъ титулярнаго совѣтника и 8—по 2-му съ чиномъ коллежскаго секретаря. Изъ 12-ти же воспитанниковъ, выбравшихъ военную карьеру, семеро было выпущено по 1-му разряду—въ гвардію и пятеро по 2-му—въ армію. Въ общемъ счету Пушкинъ оказался 19-мъ, а между «гражданскими чинами» 14-мъ. Тотчасъ за нимъ слѣдовалъ Дельвигъ.

— Сама судьба сдѣлала меня твоимъ вѣрнымъ спутникомъ и оруженосцемъ! сказалъ онъ Пушкину, возвращаясь къ нему отъ стола съ аттестатомъ.—Покажи-ка, братъ: какъ тебя описали?

Пушкинъ подалъ ему свой аттестатъ.

— «Александръ Пушкинъ... оказалъ успѣхи...» прочелъ про себя Дельвигъ:.. «въ законѣ Божіемъ и священной исторіи, въ логикѣ и нравственной философіи, въ правѣ естественномъ, частномъ и публичномъ, въ россійскомъ, гражданскомъ и уголовномъ правѣ—хорошіе; въ латинской словесности, въ государственной экономіи и финансахъ—весьма хорошіе...» Что правда, то правда: ты первый у насъ экономистъ и финансистъ!

— А какъ-же, отозвался шутя Пушкинъ:—пристраивать деньги развѣ не умѣю?

— Еще бы, согласился Дельвигъ и продолжалъ читать: — «Въ россійской и французской словесности, также и въ фехтованіи—превосходные...» По этимъ частямъ, конечно, тебѣ и книги въ руки. «Сверхъ того...» Вотъ это лучше всего: «сверхъ того, занимался исторіею, географіею, статистикою, математикою, нѣмецкимъ языкомъ...», стихоплетствомъ и всякими дурачествами.

Послѣднія слова Дельвигъ скороговоркой добавилъ такъ неожиданно отъ себя, что товарищи кругомъ фыркнули, а стоявшій около нихъ дежурный гувернеръ ужаснулся.

— Помилуйте, господа! что съ вами?!

Но счастью, вниманіе высокихъ гостей было въ это время отвлечено отъ лицействъ, потому что, отпустивъ только-что послѣдняго изъ нихъ, графа Броглю, князь Голицынъ сталъ представлять государю, поочередно, профессоровъ. Сказавъ каждому изъ нихъ нѣсколько ласковыхъ словъ, императоръ всталъ, подошелъ къ лицеистамъ и обратился къ нимъ съ отеческимъ увѣщеваніемъ «не совращаться съ пути добродѣтели и честности, если они желаютъ быть счастливыми въ жизни, и свято уважать всегда свои обязанности къ Богу и отечеству.»

— А теперь покажи-ка мнѣ свой лицей, обратился государь къ Ангельгардту.

Тотъ немного оторопѣлъ.

— Я долженъ предупредить ваше величество, что воспитанники укладываются въ дорогу, и потому у насъ вездѣ безпорядокъ...

— Безъ этого нельзя, конечно. Но я сегодня не въ гостяхъ у тебя, а, какъ хозяинъ, хочу только посмотрѣть на сборы нашихъ молодыхъ людей.

Съ этими словами императоръ направился прямо къ выходу. Учитель пѣнія, баронъ Тепперъ-де-Фергюсонъ, все время уже стоявшій какъ на угляхъ, совсѣмъ растерялся. Дѣло въ томъ, что Дельвигъ, по настоянію Ангельгардта, дѣйствительно, сочинилъ прощальный гимнъ, а Тепперъ положилъ этотъ гимнъ на музыку. И теперь то, когда настала, наконецъ, минута его торжества, государь вдругъ выходилъ изъ зала!

— Гимнъ, господа! крикнулъ бѣдный учитель и отчаянно замахалъ обѣими руками.

Лицейсты не замедлили грянуть:

«Шесть лѣтъ промчалось, какъ мечтанье...»,

но грянули такъ громко, что вышедшій императоръ въ дверяхъ съ улыбкой обернулся и кивнулъ имъ головой.



— Я вернусь еще къ вамъ, друзья мои.

И точно, пѣвцы не совсѣмъ еще допѣли довольно длинный гимнъ, какъ государь показался снова на порогѣ въ сопровожденіи Голицына и Ангельгардта, и остановился, чтобы дослушать послѣдній куплетъ.

— «Шесть лѣтъ промчалось, какъ мечтанье,  
Въ объятяхъ сладкой тишины,  
И ужъ отечества призванье  
Гремитъ намъ: „шествуйте, сыны!“  
Простимся, братья! руку въ руку!  
Обынемся въ послѣдній разъ!  
Судьба на вѣчную разлуку,  
Быть можетъ, породнила насъ!»

— Прекрасно! сказалъ государь, когда замолкли послѣдніе звуки гимна.— А гдѣ же авторъ? гдѣ композиторъ?

Ангельгардтъ подвелъ къ нему тотчасъ Дельвига и Теппера. Удостоивъ того и другого нѣсколькихъ лестныхъ словъ, императоръ Александръ Павловичъ обратился затѣмъ ко всѣмъ лицейстамъ:

— Ну, дѣти мои! директоръ вашъ выпросилъ у меня для васъ особую милость: на вашу экипировку будетъ отпущено изъ казны 10 тысячъ рублей, и, кромѣ того, тѣ изъ васъ, что поступаютъ на гражданскую службу, будутъ получать, пока не опредѣлятся на штатныя мѣста, окончившіе по 1-му разряду — 800 руб., а по 2-му — 700 руб. въ годъ. На будущемъ вашемъ служебномъ поприщѣ мы съ вами, надѣюсь, еще не разъ встрѣтимся. Поэтому не говорю вамъ: «прощайте!» а говорю: «до свиданья, дѣти!»

— До свиданья, ваше величество! восторженно крикнули въ отвѣтъ всѣ 29 человѣкъ лицейстовъ и бросились провожать уходящаго государя сперва на лѣстницу, а оттуда и на улицу.

— Еще разъ благодарю васъ, господа, за всѣ ваши труды! сказалъ государь на прощанье тѣснившемуся около его коляски лицейскому начальству;—и вы не будете забыты мною.

Дѣйствительно, всѣ почти служащіе въ лицѣхъ, отъ мала до велика, удостоились монаршихъ щедротъ \*).

Въ послѣдній разъ собрались лицеисты въ столовую къ обѣду. Пушкинъ сѣлъ рядомъ съ Дельвигомъ; но ему кусокъ въ ротъ не шелъ: другого друга его, Пущина, не было съ ними за столомъ; дня за два еще до акта онъ расхворался, а сегодня, перемогаясь, едва выстоялъ до конца чтенія въ актовой залѣ и, по требованію доктора Пешеля, оттуда прямо спустился въ лазаретъ.

— Надо же было ему расклеиться!.. ворчалъ Пушкинъ про себя.

— Кому? переспросилъ Дельвигъ.

— Да Пущину.

— А что?

— Да вмѣстѣ собирались въ Петербургъ.

— А мнѣ съ тобой нельзя, какъ-бы извинился Дельвигъ. — А знаешь что, Пушкинъ: послѣ обѣда прогуляемся-ка еще разъ по парку?

— Прогуляемся. Я даже сейчасъ бы пошелъ: мнѣ вовсе не до ѣды.

— Мнѣ тоже. Такъ идемъ, что ли?

— Идемъ.

Друзья-поэты разомъ встали изъ-за стола и рука объ руку отправились въ паркъ. Обоимъ казалось, что у нихъ еще такъ много недосказаннаго, о чемъ надо наговориться, — и оба за-

---

\*) Директору *Энгельгардту* былъ пожалованъ орденъ Св. Владиміра на шею; профессорамъ: *Гауеншильдту*, *де-Будри*, *Куницыну* и *Кайданову* — на шею же орденъ Св. Анны; *Кошанскому* и *Карцову* — Владимірскій крестъ въ петлицу; гувернеру *Чирикову* и доктору *Пешелю* — Аннинскій крестъ въ петлицу; инженеръ-полковнику *Эльснеру* и учителю танцованія *Эбергарту* — золотыя табакерки первому — съ алмазами; учителю фехтованія *Вальвилю* и капельмейстеру барону *Тенперу-де-Фрюссону* — алмазные перстни; наконецъ, эконому *Ротасту* — чинъ 10-го класса.

думчиво молчали или обмѣнивались только отрывистыми фразами. Задумчивые звуки голоса, дружелюбные взгляды, крѣпкія рукопожатія высказывали имъ лучше всякихъ словъ то, что нужно было имъ еще выразить другъ другу: неизмѣнную вѣрность «до гроба».

Легко понять, что имъ было не особенно пріятно, когда ихъ одинокая прощальная прогулка была прервана появленіемъ третьяго лица—такого-же поэта, Кюхельбекера.

— Простите, господа... вы гуляете? — можно и мнѣ тоже? путаясь, заговорилъ тотъ, замѣтивъ, какъ Пушкинъ вдругъ насупился.

— Кто же тебѣ мѣшаетъ? небрежно отвѣчалъ Пушкинъ.— Желаю тебѣ веселиться.

— Да нѣтъ... Я не то... Знаешь, какъ у Шиллера:

„Ich sei gewährt mir die Bitte,  
In eurem Bunde der Dritte!“

или въ вольномъ переводѣ—

„Дозволь моей маленькой Музѣ  
Быть третьей въ семь братскомъ союзѣ!“

— Bravo, Виленька! ты все совершенствуешься! усмѣхнулся уже Пушкинъ и оглядѣлъ саженную фигуру Кюхельбекера.— Маленькая Муза тебѣ, впрочемъ, не совсѣмъ по росту.

— Напротивъ, сказалъ Дельвигъ. — совершенно по законамъ физики: Муза его обратно пропорціональна квадрату его роста.

— А у васъ обоихъ чѣмъ меньше ростъ, тѣмъ больше Муза, миролюбиво соглашался на все Кюхельбекеръ.— Поэтому вамъ, господа, ничего не стоитъ исполнить мою послѣднюю просьбу: напишите мнѣ каждый на прощанье по хорошенькому стишку!

— Еще по «хорошенькому»? Во-время спохватился, нечего сказать: когда въ экипажъ садиться...



— Ну, сдѣлайте божескую милость, господа! Другимъ же вы всѣмъ написали?

— Всѣмъ не всѣмъ; во всякомъ случаѣ, теперь-то не время. Это все равно, какъ если-бы я предложилъ тебѣ сейчасъ сбухтыбарахта рѣшить какой-нибудь Ньютонъ бинъ.

— А что-жъ, рѣшу! Пойдемъ, сейчасъ—рѣшу!—А ты мнѣ зато напишешь?

— Нѣтъ, баронъ, ты на этомъ его не поймалъ, сказалъ Пушкинъ. — Такъ и быть, что ли, напишемъ ему что-нибудь?

— Вотъ другъ! вотъ душа-человѣкъ! вскричалъ въ восхищеніи Кюхельбекеръ, и, прежде чѣмъ Пушкинъ успѣлъ защититься, на щекъ его напечатлѣлся сочный поцѣлуй. — Но въ такомъ случаѣ не пойдешь ли ты сейчасъ домой?

— Ну, вотъ: съ прогулки даже гонить! Нечего дѣлать, баронъ, надо идти.

— Ты, пожалуй, пиши, отвѣчалъ Дельвигъ;—для тебя это игрушка; меня же уволь.

Солнце еще не сѣло, когда къ лицейскому подъѣзду, съ колокольчиками и бубенчиками, стали подкатывать одна за другой брички и коляски. Молодые люди, неразлучно 6 лѣтъ просидѣвшіе на одной скамьѣ, разлетались теперь во все концы свѣта. Въ швейцарской и на тротуарѣ передъ подъѣздомъ шла непрерывная толкотня: не успѣвали одного проводить, какъ приходилось отправлять другаго.

Вотъ вышелъ, одѣтый совершенно по-дорожному, и Пушкинъ. Началось беспорядочное, но сердечное прощанье. Каждый изъ неуѣхавшихъ еще товарищей поочередно заключалъ его въ объятья и затѣмъ передавалъ слѣдующему. Отъ послѣдняго онъ какъ-бы само собой перешелъ въ руки дежурнаго гувернера, искренно уважаемаго всѣми ими Чирикова. За нимъ же, впереди подначальной команды, подошелъ старшій дядька Леонтій Кемерскій. Пушкинъ взглянулъ на плутовато-добродушное

лицо браваго усача—и не узналъ его: старикъ плакалъ, не отирая слезъ, щеки его судорожно подергивало, а вмѣсто всегдашняго лукавства, въ отуманенныхъ глазахъ его можно было прочесть только самую искреннюю печаль. Печаль эта была у него такъ необычна, что Пушкинъ теперь только, въ эту минуту, будто въ первый разъ замѣтилъ ту значительную перемѣну, которая совершилась за эти 6 лѣтъ со старикомъ: морщины въ лицѣ у него прибавилось вдвое, а слегка серебрившіеся прежде усы совсѣмъ побѣлѣли.

— Какъ ты, однако, постарѣлъ, Леонтій, съ тѣхъ поръ, что мы знаемъ другъ друга! невольно сказалъ ему Пушкинъ.

— Постарѣешь, сударь! отвѣчалъ какимъ-то надтреснутымъ голосомъ Леонтій и всхлипнулъ. — А вы, соколы, крылья отростили и ш-ш-ш! — полетѣли... Прощайте, ваше благородіе! Господь храни васъ! счастливо оставаться...

— Прощай, Леонтій.

Волненіе старика передалось и Пушкину. Онъ паскоро также обнялъ, поцѣловалъ его и вскочилъ въ бричку.

— А что же, Пушкинъ, обѣщанье твое? спросилъ тутъ, пробиваясь впередъ, Кюхельбекеръ.

— Ахъ, да! вспомнилъ Пушкинъ и подалъ ему изъ кармана листокъ.— Не взыщи: что было на душѣ, то и написалъ.

Кюхельбекеръ не безъ нѣкотораго сомнѣнья бросилъ взглядъ на листокъ въ своихъ рукахъ. Но начальныя строки сразу разубѣдили его:

„Въ послѣдній разъ, въ сѣни уединенья,  
Моимъ стихамъ внимаетъ нашъ пенать.  
Лицейской жизни милый братъ,  
Дѣлю съ тобой послѣднія мгновенья...“

— Братъ и другъ! растроганно проговорилъ лицейскій Донъ-Кихоть и обѣими руками потянулся къ поэту.— Спасибо тебѣ...

— Не за что... Ну, трогай! обратился Пушкинъ къ кучеру.—Прощай, баронъ! Прощайте, господа!

— Прощай, Пушкинъ! Добрый путь!

Лошади тронулись.

— Стой! стой! раздался въ это время съ подъѣзда знакомый голосъ. Въ дверяхъ показалась фигура въ сѣромъ больничномъ халатѣ, соскочила внизъ на улицу и протѣснилась сквозь толпившуюся около отъѣзжающаго экипажа кучку.

— Пушинъ! вскричалъ Пушкинъ.

— Меня въ лазаретѣ ты, небось, и забылъ? съ укоромъ говорилъ первый другъ его, крѣпко обнимаясь съ нимъ.

— Извини, милый мой... Все это, знаешь, такъ внезапно... Въ Петербургѣ осенью опять свидимся... Ахъ, Боже! вѣдь и съ Егоромъ-то Антонычемъ я еще хорошенько не простился... Ну, да теперь уже поздно; передай ему мое извиненіе, мой поклонъ...

Кучеръ свистнулъ, бричка снова тронулась; въ воздухѣ взвилось нѣсколько бѣлыхъ платковъ; кто-то крикнулъ что-то вслѣдъ отъѣзжающему; экипажъ круто вдругъ завернулъ въ паркъ...

Прощай, лицей!







## ГЛАВА XXVI.

### За стѣнами лица.

„Насилу я  
На волю вырвался, друзья!  
Ну, скоро-ль встрѣчусь съ великаномъ?“  
(Русланъ и Людмила.)  
„Отечество тебя ласкало съ умилениемъ“..  
(Посланіе къ Кавказскому Плѣннику.)



Въ Петербургѣ Пушкинъ на этотъ разъ пробылъ всего нѣсколько дней. Прикомандированный къ коллегіи иностранныхъ дѣлъ, онъ принесъ только присягу и затѣмъ съ родителями и сестрой укатилъ до поздней осени въ село Михайловское.

«Помню (говорить онъ въ своихъ «Запискахъ»), какъ я обрадовался сельской жизни, русской банѣ, клубникѣ и проч.; но все это правилось мнѣ не надолго. Я любилъ и донынѣ люблю шумъ и толпу.»

Въ октябрѣ мѣсяцѣ онъ возвратился въ Петербургъ, и такъ какъ опредѣленныхъ занятій на службѣ у него еще не было, то онъ имѣлъ полную свободу отдаться «шумной толпѣ», т. е. такъ-называемому «большому свѣту». Доступъ туда открылся ему, благодаря родственнымъ связямъ и знакомству съ графами Бутурлиными, Воронцовыми и Лаваль, съ князьями Трубецкими, Сушковыми и другими аристократами. «Толпа» такъ его

поглотила, закружила, что оттѣснила на нѣкоторое время даже отъ лицейской товарищеской семьи. Пушкинъ, который съ 6-ю другими лицепстами, тою же осенью, сдавъ новый экзамень, былъ произведенъ въ офицеры и обучался фронту въ гвардейскомъ образцовомъ батальонѣ, не даромъ возмущался этимъ увлеченіемъ своего друга свѣтскою жизнью.

«Пушкинъ часто сердить меня и вообще всѣхъ насъ тѣмъ (разсказываетъ онъ), что любить, напримѣръ, вертѣться у оркестра (въ театрѣ) около знати, которая съ покровительственною улыбкой выслушиваетъ его шутки, остроты. Случалось изъ креселъ сдѣлать ему знакъ—онъ тотчасъ прибѣжить. Говоришь, бывало:

« — Что тебѣ за охота, любезный другъ, возиться съ этимъ народомъ? Ни въ одномъ изъ нихъ ты не найдешь сочувствія.

«Онъ терпѣливо выслушаетъ, начнетъ щекотать, обнимать, —что обыкновенно дѣлалъ, когда немножко потеряется. Потомъ, смотришь: Пушкинъ опять съ тогдашними львами!... Странное смѣшеніе въ этомъ великолѣпномъ созданіи! Никогда не переставалъ я любить его; знаю, что и онъ платилъ мнѣ тѣмъ же чувствомъ; но невольно, изъ дружбы къ нему, желалось, чтобы онъ, наконецъ, настоящимъ образомъ взглянулъ на себя и понялъ свое призваніе».

А что же Чаадаевъ, что Жуковскій и друзья его «арзамасцы», имѣвшіе на него еще недавно такое рѣшительное вліяніе?

Чаадаевъ состоялъ адъютантомъ при начальникѣ гвардіи, генералѣ Васильчиковѣ, и находился въ то время, вмѣстѣ съ высочайшимъ дворомъ, въ Москвѣ. Жуковскій былъ еще въ своемъ миломъ Дерптѣ; а прочіе «арзамасцы» сдѣлали все, что зависѣло отъ нихъ: выбрали молодаго Пушкина въ члены «Арзамаса». Но то засѣданіе «Арзамаса», въ которомъ проис-



ходилъ его пріемъ, было и единственнымъ, въ которомъ онъ вообще удосужился побывать. Шуточная вступительная рѣчь его начиналась, какъ слѣдовало, торжественными шестистопными ямбами:

„Вѣнецъ желаніямъ! И такъ, я вижу васъ,  
О, други смѣлыхъ Музъ, о, дивный Арзамасъ!“

Далѣе онъ такъ рисовалъ образъ истаго «арзамасца»:

„...въ безпечномъ колпакѣ,  
Съ гремушкой, лаврами и съ розгами въ рукѣ.“

Къ сожалѣнію, эта любопытная рѣчь цѣлостью не сохранилась. Само собою разумѣется, что новому члену было также присвоено насмѣшливое прозвище, взятое, какъ всегда, изъ стиховъ Жуковского; а именно — онъ былъ прозванъ «Сверчкомъ», потому что, сидя, такъ сказать, еще за печкой царскосельскаго лица, своей поэтической стрекотней обратилъ уже на себя вниманіе старшихъ поэтовъ.

Захваченный свѣтскимъ вихремъ, Пушкинъ кружился такъ безъ отдыха около полугода. Тутъ, возвратясь однажды, морозною зимнею ночью, домой съ острововъ, куда его возили опять на тройкѣ пріатели-гусары, онъ почувствовалъ сильный ознобъ, а къ утру у него открылся бредъ. Встревоженные родители послали за придворнымъ медикомъ Лейтономъ. Оказалось, что молодой человѣкъ жестоко простудился, и что это — начало горячки. Первымъ дѣломъ ему обрили голову; затѣмъ наняли ему сидѣлку. Но днемъ сестра его, Ольга Сергѣевна, почти не отходила отъ его изголовья. Нѣсколько недѣль жизнь его висѣла на волоскѣ. Наконецъ, съ первыми лучами весенняго солнца онъ ожилъ и сталъ быстро поправляться; а разъ, когда сестра его поутру опять вошла къ нему, онъ потребовалъ бумагу и карандашъ, и набросалъ извѣстное стихотвореніе:

„Я ускользнулъ отъ Эскулапа,  
Худой, обритый, но живой...“



— Премило! восхитилась Ольга Сергѣевна, прочтя стихи;— но, право, Александръ, побереги себя еще немножко, не пиши.

Братъ ея самоувѣренно улынулся.

— Скажи вѣтру: «не свищи!» Скажи птицѣ: «не пой!» Не пиши я, милая, я въ нѣсколько дней исчахъ бы, какъ безъ пищи.

И точно: писательство, казалось, не только не вредило его здоровью, а способствовало еще его укрѣпленію. Когда опъ, послѣ нѣсколькихъ часовъ непрерывной умственной работы, выпускалъ, наконецъ, изъ рукъ перо, то былъ въ самомъ счастливомъ расположеніи духа, ѣлъ съ двойнымъ апетитомъ, и съ каждымъ днемъ вообще становился свѣжѣе и бодрѣе.

За тѣмъ же занятіемъ застали его разъ и трое молодыхъ гостей: Дельвигъ, сожителъ послѣдняго, начинающій также поэтъ Баратынскій, и пріятель обоихъ Эртель (впослѣдствіи извѣстный составитель французско-русскаго словаря и другихъ учебныхъ книгъ). Въ полосатомъ бухарскомъ халатѣ, съ ермолкой на обритой головѣ, Пушкинъ лежалъ на кровати съ перомъ въ рукахъ, окруженный бумагами и книгами. При входѣ гостей, онъ не поднималъ головы, а сдѣлалъ только знакъ, чтобы ему не мѣшали, и продолжалъ писать. Тѣ, вполголоса разговаривая, отошли къ окошку. Дописавъ что нужно, Пушкинъ радушно протянулъ обѣ руки Дельвигу и Баратынскому.

— Здравствуйте, братцы!

Съ Баратынскимъ онъ успѣлъ уже вполнѣ сойтись, бывая у Дельвига. Когда ему теперь представили Эртеля, котораго онъ видѣлъ въ первый разъ, онъ привѣтствовалъ его не менѣе развязно:

— Я давно желалъ съ вами познакомиться: мнѣ говорили что вы знаете всегда, гдѣ достать лучшія устрицы.

«Я не зналъ, радоваться ли мнѣ этому привѣтствію, или

сердиться за него», сознавался потомъ Эртель. Но вотъ рѣчь зашла о литературѣ—и гость былъ очарованъ.

«Сужденія Пушкина были вообще кратки, по мѣткѣ (разсказываетъ онъ); и даже когда они казались несправедливыми, способъ изложенія ихъ былъ такъ остроуменъ и блистателенъ, что трудно было доказать ихъ неправильность. Въ разговорѣ его замѣтна была большая склонность къ насмѣлкѣ, которая часто становилась язвительною. Она отражалась во всѣхъ чертахъ лица его...»

— Глядя на васъ, Александръ Сергѣичъ, замѣтилъ Эртель, —подумаешь, что вы однѣ злыя эпиграммы да сатиры пишете, а между тѣмъ мы говорили, что у васъ готовится цѣлая героическая поэма.

— И чудо что такое! подтвердилъ Дельвигъ;— судя по тѣмъ стихамъ, что онъ прочелъ уже мы...

— Ну, что я читалъ тебѣ? съ полудовольной, съ полусмущенной улыбкой перебилъ Пушкинъ; —ты не слыхалъ главнаго.

— Такъ почти же намъ теперь.

— Прочти, въ самомъ дѣлѣ! подхватилъ Баратынскій.

— Прочтите, Александръ Сергѣичъ, ну, пожалуйста! поддерживалъ и Эртель.

Пушкинъ не сталъ долго упираться, на скорую руку разобралъ раскиданные на столѣ листы и прочелъ гостямъ одну за другою всѣ готовыя уже пѣсни поэмы. Двое изъ слушателей были сами поэты, третій былъ также любителемъ и знатокомъ поэзіи; поэтому небывало-звучные стихи новой поэмы привели ихъ въ самый неподдѣльный восторгъ.

— Да это музыка, а не стихи! ничего подобнаго не было еще на русскомъ языкѣ! говорили они наперерывъ.

— Ты разомъ переросъ и Жуковского, и Батюшкова! рѣшилъ Баратынскій.

— Экъ куда хватилъ... далеко мнѣ еще до нихъ... пробормоталъ Пушкинъ; но та самодовольная мина, съ которою онъ поклонился надъ своимъ писаніемъ, выдавала его тайную радость и гордость.

— А знаешь ли, Пушкинъ, что даже Энгельгардтъ начинаетъ вѣрить въ твой талантъ? сказалъ Дельвигъ.—На-дняхъ встрѣчаю его и спрашиваю: что и какъ у нихъ въ лицѣ?

«— Вашу братію не совсѣмъ еще забыли, говоритъ;— особенно Пушкина.»

— Это по поводу княжны Волконской? догадался я.

«— И да, и нѣтъ, говоритъ:— когда я засадилъ этого молодца за нее въ карцеръ, онъ отъ нечего дѣлать измаралъ всю стѣну углемъ. Я думалъ-было сперва дать выбѣлить ее; но какъ прочелъ написанное—раздумалъ: пусть сохранится какъ нѣкая святыня.»

Пушкинъ слушалъ своего друга съ задумчивой улыбкой.

— Да, это были начальные стихи изъ моего «Руслана», сказалъ онъ.—Карандаша у меня на этотъ разъ не было, такъ взялъ изъ печки уголь. Жаль, что нельзя показать этой «святыни» моему дядѣ Василью Львовичу: вѣдь онъ такой же Оома невѣрный, какъ и Энгельгардтъ; не хотѣлъ ни за что признать во мнѣ поэтической искры, не хотѣлъ допустить мысли, что меня выберутъ въ «Арзамасъ».

— Ахъ, кстати, Александръ Сергѣичъ! спохватился Баратынскій;—слышалъ ты про оказію, что была съ Васильемъ Львовичемъ въ «Арзамасѣ»?

— Нѣтъ; отъ кого мнѣ слышать? Шестъ недѣль я вѣдь свѣту не видѣлъ, а вы да и Жуковскій молчите!

— Молчали до сихъ поръ, потому что не хотѣли тебя печалить злоключеніями твоего почтеннаго дяди. Но теперь, когда все устроилось опять къ лучшему, скрывать нечего.



Василій Львовичъ, видишь ли, ѣздилъ куда-то изъ Москвы за городъ въ кибиткѣ и въ стихахъ описалъ свою поѣздку. Стихи ему не очень удались; но съ кѣмъ этого не бываетъ? Все это было бы ничего. Но стихи свои онъ прислалъ на судъ друзей своихъ «арзамасцевъ»,—и вотъ это была непростительная ошибка. Друзья разжаловали его изъ «арзамасскаго» чина: вмѣсто «Вотъ!» окрестили его «Вот-рушкоу».

— Бѣдный дядя!

— Онъ самъ былъ, конечно, всѣхъ болѣе огорченъ и излилъ свою горестъ въ посланіи къ жестокимъ друзьямъ, которое начиналось такъ:

„Что дѣлать! Видно, мнѣ кибитка не Парнасъ!  
Но строгъ, несправедливъ ученый Арзамасъ!  
Я оскорбилъ вашъ слухъ; вы оскорбили друга...“

и т. д. Посланіе это, въ сравненіи съ забракованнымъ, признано было въ «Арзамасѣ» перломъ поэзіи; автору не только возвратили прежній его титулъ: «Вотъ!» но сдѣлали къ нему еще прибавку: «я васъ» — «Вотъ я васъ!»

— Сразу узнаю по этому Жуковского! сказалъ Пушкинъ. — Я, право, такъ радъ за дядю...

— А ужъ самъ-то онъ какъ радъ, говорятъ! По всей Москвѣ разѣзжаетъ, рассказываетъ анекдотъ о себѣ встрѣчному и поперечному.

— Надо будетъ послать ему списокъ съ моего «Руслана», когда кончу.

— Непремѣнно пошли. Твои лавры замѣнятъ ему его собственные.

— Нѣтъ, господа, у Василья Львовича есть и свои лавры, вступился Эртель:—это призналъ даже такой злой языкъ, какъ Воейковъ. Вы, Александръ Сергѣичъ, не читали еще его «Парнаскаго Адресъ-Календаря»?

— Нѣтъ; это что такое? Я знаю только его «Домъ съ сше д ш и х ъ».

— А то новѣйшая его сатира. Кое-что изъ этого «Адресъ-Календаря» я, кажется, помню... Про дядю вашего было сказано: «В. Л. Пушкинъ—при водяной коммуникаціи, имѣетъ въ петлицѣ листочекъ лавра съ надписью: «за Буянова». Про князя Шаховскаго: «придворный дистилаторъ; составляетъ самый лучший опиумъ для придворнаго и общественнаго театра; имѣетъ привилегію писать безъ вкуса и безъ толку». Но больше всего досталось несчастному графу Хвостову: «оберъ-дубина Феба въ рангѣ провинціального секретаря; обучаетъ инокренскихъ лягушекъ квакать и барахтаться въ грязи».

— Не въ бровь, а въ глазъ! расхохотался Пушкинъ.— Но, значить, и всей нашей пишущей братѣ не сдобровать у него.

— Нѣтъ, истинные таланты у него выдѣлены. Крыловъ, напр., охарактеризованъ такъ: «дѣйствительный поэтъ 1-го класса; придворный проповѣдникъ, имѣетъ лавровый вѣнокъ и входитъ къ его парнасскому величеству безъ доклада».

— И ты, Пушкинъ,ходишь туда теперь безъ доклада, съ непривычнымъ увлеченіемъ подхватилъ Дельвигъ.—Я предвидѣлъ это еще въ лицѣ; но скоро признаютъ то-же и всѣ другіе.

Предсказаніе друга начало оправдываться съ перваго же выѣзда больного поэта послѣ болѣзни.

Давно уже слышался Пушкинъ о капитанѣ Преображенскаго полка Павлѣ Александровичѣ Катенинѣ, какъ о знатокѣ иностранной литературы и тонкомъ критикѣ; давно искалъ онъ его знакомства. Но Чаадаевъ, общій ихъ знакомый, тогда еще не возвратился изъ Москвы. И вотъ, едва оправясь отъ болѣзни, Пушкинъ, не думая долго, надѣлъ свою шляпу

«à la Bolivar» \*), взялъ въ руку трость и отправился прямо на квартиру Катенина. Назвавъ себя, онъ подалъ ему трость и слазаль:

— Я пришелъ къ вамъ, Павелъ Александровичъ, какъ Діогенъ къ Антисфену \*\*): побей, но выучи!

— Ученаго учить, значить — портить, любезно отвѣчалъ Катенинъ, — и знакомство завязалось.

Черезъ Катенина Пушкинъ вскорѣ сошелся и съ бывшимъ «бесѣдникомъ», извѣстнымъ драматургомъ княземъ Шаховскимъ. Тотъ на дѣлѣ оказался пріимчивымъ человѣкомъ, а нѣсколько лѣтъ спустя передѣлалъ для сцены двѣ поэмы Пушкина: «Руслана» и «Бахчисарайскій Фонтанъ».

Не одинъ Катенинъ выдѣлялся изъ среды тогдашней гвардіи своею, въ полномъ смыслѣ слова, европейскою образованностью. Въ первомъ ряду съ нимъ стоялъ Чаадаевъ, который, вернувшись въ Петербургъ, втянулъ Пушкина снова въ свой кружокъ, и генералъ А. Ѳ. Орловъ, который убѣдилъ Пушкина въ безразсудствѣ, при его блестящемъ поэтическомъ дарованіи, отдаться фронтовой службѣ. Отвѣтомъ на эти убѣжденія служило извѣстное посланіе:

...„Орловъ, ты правъ: я покидаю  
Свои гусарскія мечты,  
И съ Соломономъ восклицаю:  
Мундиръ и сабля — суеты!...“

Болѣе всѣхъ, кажется, былъ доволенъ такимъ его рѣшеніемъ Жуковскій, который носился съ талантомъ своего ученика-поэта, какъ нѣжная нянька съ баловнемъ-ребенкомъ. Но, отказавшись

---

\*) Шляпа съ прямыми полями, которою онъ въпослѣдствіи украсилъ и своего любимаго героя:

„Надѣвъ широкій боливаръ,  
Онъ гинъ ѣдетъ на бульваръ...“

\*\*) *Антисфенъ* (р. въ 420 г. до Р. Х.) и *Діогенъ* (р. въ 414 г. до Р. Х.) — оба древне-греческіе философы; послѣдній — ученикъ перваго.



отъ гусарскаго мундира, Пушкинъ не отказался отъ гусарскихъ набѣговъ на ближнихъ въ формѣ эпиграммъ, и самому Жуковскому пришлось испытать на себѣ ихъ колкость, именно: Пушкинъ въ то время не хотѣлъ признавать такъ-называемыхъ «бѣлыхъ», т. е. безрименныхъ стиховъ. Жуковскій же, переводя аллеманскаго поэта Гебеля, усердно упражнялся въ нихъ. Одно изъ этихъ переводныхъ стихотвореній его: — «Тлѣнность», — начиналось такой фразой:

„Послушай, дѣдушка, мнѣ каждый разъ,  
Когда взгляну на этотъ замокъ Ретлеръ,  
Приходить въ мысль: что, если тожъ случится  
И съ нашей хижинной?..“

Пушкинъ, прочтя это начало, тотчасъ же пародировалъ:

„Послушай, дѣдушка, мнѣ каждый разъ,  
Когда взгляну на этотъ замокъ Ретлеръ,  
Приходить въ мысль: что, если это проза,  
Да и дурная?..“

Незлобивый Жуковскій очень любилъ рассказывать объ этой пародіи всѣмъ знакомымъ, Пушкину же пророчилъ, что разъ и онъ пойметъ достоинства бѣлаго стиха.

Точно также и Карамзинъ не избѣжалъ стихотворныхъ нападковъ нашего поэта. Будучи по-прежнему входя въ домъ великаго исторіографа, Пушкинъ въ глаза и за глаза восторгался выпущенной тогда (въ 1818 г.) изъ печати «Исторіей Государства Россійскаго», искренне провозглашалъ, что «древняя Россія найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ», — и, въ то-же время, черкнулъ на него одну за другою двѣ презлыя эпиграммы.

Могли ли, послѣ этого, прежніе лицейскіе товарищи ждать отъ него пощады? Кюхельбекеру онъ написалъ новое сочувственное стихотвореніе «Къ Мечтателю», которое тогда-же напечаталъ, подписавшись арзамасскомъ прозвищемъ своимъ «Сверчокъ»; а вслѣдъ затѣмъ безъ жалости поддѣлъ его

эпиграммой. Случилось, что онъ сговорился съ Жуковскимъ встрѣтиться у однихъ знакомыхъ. Жуковскій, однако, не явился. При слѣдующей встрѣчѣ, на вопросъ Пушкина, отчего его не было, Жуковскій оправдывался тѣмъ, что лакей его Яковъ имѣетъ дурную привычку не затворять за собой дверей.

— Отъ сквозника, знать, я и простудился, продолжалъ онъ; — да наканунѣ за ужиномъ поѣлъ еще лишнее. — Вдобавокъ, зашелъ опять этотъ Кюхельбекеръ.

— Такъ! И со стихами?

— Съ новой поэмой...

— Тогда не диво, что у тебя всю внутренность перевернуло!

Какъ на грѣхъ, выходя отъ Жуковского, Пушкинъ столкнулся на лѣстницѣ съ двумя друзьями — Дельвигомъ и Кюхельбекеромъ.

— Вотъ подлинно: когда говорятъ о волкѣ, такъ онъ ужъ тутъ-какъ-тутъ, сказалъ Пушкинъ, пожимая руку послѣднему.

Кюхельбекеръ весь такъ и встрепенулся.

— А у тебя, голубчикъ, съ Васильемъ Андреичемъ была сейчасъ рѣчь обо мнѣ?

— М-да.

— Ну, что-жъ онъ?

— А вотъ, говорить:

„За ужиномъ объѣлся я,  
Да Яковъ заперъ дверь оплошно, —  
Такъ было мнѣ, мои друзья,  
И кюхельбекерно, и тошно.“

Стихотворный экспромтъ былъ выпаленъ такъ въ упоръ, что даже невозмутимый вообще Дельвигъ расхохотался; вспыльчиваго же Кюхельбекера какъ варомъ обожгло.

— Ты мнѣ за это отвѣтишь!.. буркнулъ онъ въ себя. — Я пришлю къ тебѣ моихъ секундантовъ...

— Ну, полно, Вильгельмъ! развѣ ты не понимаешь шутки? вступился-было Дельвигъ.

Но Кюхельбекеръ его уже не слышалъ; сломя голову, бѣжалъ онъ съ лѣстницы внизъ и исчезъ за поворотомъ. На слѣдующее утро онъ, точно, прислалъ Пушкину формальный вызовъ; но, благодаря вмѣшательству друзей обоихъ, дѣло обошлось безъ кровопролитія. Въ накладъ остался, конечно, только бѣдный Донъ-Кихотъ лицейскій: экспромтъ на него обошелъ весь литературный кружокъ, и выраженіе «кюхельбекерно» приобрѣло въ этомъ кружкѣ значеніе, равнозначащее съ выраженіемъ «тошно».

Естественно, что домашнимъ Пушкина приходилось страдать отъ его «гусарскихъ» выходокъ еще чаще, чѣмъ другимъ. Иногда шалости его заходили за предѣлы всякаго благоразумія. Такъ, по своемъ выздоровленіи, въ солнечный майскій день, совершая въ обществѣ отца и нѣсколькихъ знакомыхъ увеселительную прогулку на лодкѣ по Невѣ, поэтъ нашъ, въ порывѣ беззавѣтнаго молодечества, вынулъ кошелекъ, досталъ червонецъ и, подбросивъ его на ладони, уронилъ въ воду.

Всѣ такъ и ахнули. Сергѣй Львовичъ, человѣкъ небогатый, а главное—скуповатый, былъ справедливо возмущенъ

— Ты съ ума сошелъ, Александръ! вскричалъ онъ.

— Нѣтъ, папенька, я только безконечно счастливъ, легкомысленно отвѣчалъ сынъ, — счастливъ, какъ Поликрать; надо же заплатить тоже какую-нибудь дань Нептуну. Вы полюбуйтеся только, какъ это красиво, какъ золото сверкаетъ на солнцѣ!

И, говоря такъ, онъ беззаботно продолжалъ швырять въ Неву червонецъ за червонцемъ.

Многое, что другому ни за что не сошло бы съ рукъ, великодушно прощалось Пушкину, какъ исключительной, артистической натурѣ. Онъ дивилъ не одинъ только «свой муравейникъ»: имя его произносилось уже наряду съ лучшими отечественными писателями во всемъ образованномъ петер-



бургскомъ обществѣ, и даже далеко отъ Петербурга. Еще въ апрѣлѣ 1818 г. князь Вяземскій, жившій въ то время въ Варшавѣ и неслыхавшій еще ничего о «Русланѣ и Людмилѣ», писалъ Жуковскому по поводу другихъ стиховъ своего молодого друга:

«Стихи чертенка-племянника чудесно-хороши! Въ дымѣ столѣтій! Это выраженіе—городъ. Я все отдалъ бы за него, движимое и недвижимое. Какая бестія! Надобно намъ посадить его въ желтый домъ; не то этотъ бѣшенный сорванецъ насъ всѣхъ заѣстъ, насъ и отцовъ нашихъ. Знаешь-ли, что Державинъ испугался бы дыма столѣтій? О прочихъ и говорить нечего!»

Нѣсколько мѣсяцевъ спустя (въ сентябрѣ), старикъ-поэтъ и министръ Дмитріевъ писалъ изъ Москвы А. И. Тургеневу, по случаю присылки ему Пушкинымъ стиховъ:

«Скажите искреннюю благодарность мою и молодому Пушкину; я и по заочности люблю его, какъ прекрасный цвѣтокъ поэзіи, который долго не поблѣднѣетъ. Почтенный дядя его недавно читалъ мнѣ нѣсколько начальныхъ стиховъ о томъ же предметѣ. Не знаю еще, что выйдетъ, но онъ исполненъ священнымъ негодованіемъ, зіяетъ молніей и громомъ говорить.»

Изъ этихъ строкъ видно, что и Василій Львовичъ Пушкинъ начиналъ невольно преклоняться передъ пробуждающимся гениемъ племянника.

Четвертый отсутствующій поэтъ, Батюшковъ, который еще такъ недавно представлялся молодому Пушкину недостижимымъ идеаломъ, также предчувствовалъ его духовное превосходство надъ собою. Страдая уже въ то время первыми приступами своей душевной болѣзни, Батюшковъ, прочитавъ посланіе Пушкина къ Юшкову, судорожно скомкалъ въ кулакъ стихи и вскричалъ:

— О, какъ сталъ писать этотъ злодѣй!

Онъ не могъ простить начинающему автору его свѣжихъ лавровъ. Но вскорѣ его ожидало еще большее пораженіе: проездомъ черезъ Петербургъ ему пришлось присутствовать при чтеніи «Руслана и Людмилы». Происходило это чтеніе у Жуковского, который, не имѣя тогда еще собственной семьи, проживалъ въ семействѣ своего деревенскаго пріятеля А. А. Плещеева, славившагося своимъ искуснымъ чтеніемъ и бывшаго, вслѣдствіе того, нѣкоторое время также чтецомъ императрицы Маріи Ѳеодоровны. Лѣтомъ 1818 г., въ селѣ Михайловскомъ, Пушкинъ вчернѣ окончилъ свою поэму, а по возвращеніи осенью въ Петербургъ, усердно занялся ея художественной отдѣлкой. По субботамъ, когда у Жуковского сходился избранный кружокъ любителей и литераторовъ, онъ, по мѣрѣ того, какъ подвигалась его работа, прочитывалъ тамъ пѣснь за пѣснью, чтобы выслушать замѣчанія знатоковъ дѣла. Къ началу 1819 года была, наконецъ, готова послѣдняя пѣснь, и когда онъ явился опять въ обычный день къ Жуковскому, его тотчасъ усадили въ кресло посреди комнаты за столъ съ двумя свѣчами и стаканомъ сахарной воды, и заставили читать поэму отъ начала до конца.

Никто изъ слушателей не смѣлъ шелохнуться, чтобы не проронить ни слова. Изрѣдка раздавались только сдержанные восклицанія:

— Изумительно!

— Какая смѣлость выраженій!

— Что за яркія краски!

— Что за музыкальныя риѣмы!

Когда онъ замолкъ, съ полминуты еще царило кругомъ благоговѣйное молчаніе. Потомъ, точно по уговору, всѣ разомъ шумно поднялись, столпились около молодого автора и напереерывъ принялись пожимать ему руку, осыпать его непритворными поздравленіями.

— Благодарю васъ, господа... бормоталъ онъ, сконфуженный и радостный.—Вотъ мой учитель!

Онъ указалъ на Жуковского. Тотъ, ни слова не отвѣтивъ, удалился изъ комнаты, но вслѣдъ затѣмъ опять возвратился и подалъ «ученику» свой собственный литографированный портретъ съ надписью:

«Ученику-побѣдителю отъ побѣжденного учителя въ высокоторжественный день окончанія «Руслана и Людмилы»».

Изъ всѣхъ присутствующихъ, послѣ самого Пушкина, наибольшее впечатлѣніе приношеніе это произвело, казалось, на Батюшкова. Одинъ онъ только не двинулся изъ своего дальняго, полутемнаго угла, когда всѣ остальные обступили Пушкина. Теперь онъ нервно сорвался со стула, схватилъ шапку, наскоро простился съ хозяиномъ и выбѣжала вонъ. Но два мѣсяца спустя, находясь уже въ Неаполѣ и нѣсколько успокоясь, онъ писалъ А. И. Тургеневу въ Петербургъ:

«Просите Пушкина именемъ Аріоста выслать мнѣ свою поэму, исполненную красотъ и надежды, если онъ возлюбитъ славу паче разсѣянiя».

Въ 1820 году, наконецъ, «Русланъ и Людмила» явились въ печати. Уже ранѣе о поэмѣ ходило въ публикѣ такъ много слуховъ, что всѣ наперерывъ бросились читать ее. Истинный цѣнитель художественныхъ произведеній, Бѣлинскій не выступилъ еще въ то время на литературное поприще; за то въ мелкихъ рецензентахъ не было недостатка. И вотъ во всей нашей журналистикѣ поднялся невообразимый гамъ. Одни критики называли перо Пушкина «мастерскимъ», самого Пушкина величали «юнымъ гигантомъ словесности нашей»; другіе, напротивъ, съ пѣною у рта, громили его и за древне-русскій фантастическій сюжетъ, и за простонародныя и необычныя выраженія. Крыловъ кратко и мѣтко въ четырехъ строкахъ охарактеризовалъ безтолковые пересуды этихъ непрizванныхъ судей:



## РЕЦЕНЗЕНТУ.

„Хоть надъ поемою и долго ты корпишь,  
Красотъ ей ни придашь и не умалишь.  
Браня, всѣмъ кажется ее ты хвалишь,  
Хваля, ее бранишь».

Зато масса читающей публики была безусловно плѣнена, побѣждена поэмой, которой, по изяществу и звучности стиха, ничего подобнаго до тѣхъ поръ у насъ не существовало. Первый крупный поэтичeskій опытъ разомъ завоевалъ Пушкину твердое и первенствующее положеніе между современными ему стихотворцами.

Самъ онъ, ко времени выхода поэмы въ свѣтъ, былъ уже далеко отъ Петербурга на югѣ Россіи. Но слѣдовавшіе за его лицейскими годами, переходные къ возмужалости годы выходять уже за рамки нашего разсказа, и мы коснулись ихъ только въ той мѣрѣ, въ какой они органически связаны съ школьнымъ періодомъ его жизни.





## ЭПИЛОГЪ.

«Куда бы насъ ни бросила судьбина  
И счастье куда-бъ ни повело,  
Все тѣ же мы: намъ цѣлый міръ — чужбина,  
Отечество намъ — Царское Село.»

(19 Октября.)

«Дохнула буря — цвѣтъ прекрасный  
Увяль на утренней зарѣ!  
Потухъ огонь на алтарѣ!»

(Евг. Онегинъ.)



Взсказъ нашъ о «лицейскихъ годахъ» Пушкина не былъ бы вполне законченъ, если бы мы не сказали еще нѣсколькихъ словъ о той связи, которая сохранилась между бывшими товарищами по оставленіи лица. Царское Село и 19 октября (день открытія лица) — вотъ два магнита, оказывавшіе на лицейскую семью и впослѣдствіи неизмѣнную притягательную силу,

Къ первой лицейской годовщинѣ по выпускѣ изъ лица, Пушкинъ не возвратился еще изъ села Михайловскаго, и потому не могъ участвовать въ обычномъ празднествѣ. На этотъ разъ оно происходило также въ Царскомъ Селѣ, въ ближайшее къ 19-му октября воскресенье, но не послѣ этого числа, а до него, именно 13-го октября. Причиною тому было то, что на этотъ день было назначено освященіе вновь отстроенной въ Царскомъ лютеранской церкви и директоръ Энгельгардтъ на-

шелъ наиболѣе удобнымъ соединить оба торжества. Въ «Сынъ Отечества» 1818 года напечатано «письмо лицейскаго ветерана къ лицейскому ветерану», описывающее этотъ знаменательный день, и если бы даже внизу не стояло подписи: «Вильгельмъ К.», то по сентиментальному тону этого любопытнаго документа не трудно было бы догадаться, кто авторъ его. Объяснивъ вначалѣ поводъ къ торжеству, Кюхельбекеръ продолжаетъ такъ:

«Представь себѣ всѣ наши, столь тебѣ знакомые разговоры съ нимъ, съ достойнымъ начальникомъ нашимъ (Энгельгардтомъ); представь себѣ всѣхъ ветерановъ, сколько насъ ни было въ Петербургѣ, за столомъ его, въ кругу его семейства, членами его любезнаго семейства. Представь, какъ многіе изъ насъ бродятъ по роднымъ, но незабвеннымъ мѣстамъ, гдѣ провели мы лучшіе годы своей жизни; какъ иной сидитъ въ той же кельѣ, въ которой сидѣлъ шесть лѣтъ, забываетъ все, что съ нимъ ни случилось со времени его выпуска, и воображаетъ себѣ, что онъ тотъ же еще воспитанникъ, тотъ же еще лицейскій; какъ двое другихъ, которыхъ дружба и одинакія наклонности соединили еще въ ихъ миломъ уединеніи, навѣщаютъ въ саду каждое знакомое дерево, каждый кустъ, каждую тропинку, обходятъ прудъ, останавливаются на Розовомъ полѣ, на Екатерининскомъ мѣстѣ, или въ темныхъ аллеяхъ, окружающихъ Павильонъ уединенія. Какую сладостную меланхолію вливала осень въ мою душу здѣсь, въ родномъ краю моемъ!...»

(Далѣе въ письмѣ описывается вечерній спектакль, за которымъ слѣдовали балъ и ужинъ.)

«...Представленіе кончилось; заиграли польское — и балъ открывается въ другомъ уже залѣ; но вдругъ четверо изъ лицейскихъ ветерановъ останавливаютъ весь рядъ танцующихъ, обнимаютъ достойнаго директора, благодарятъ его, благодарятъ со слезами за представленіе піесы, которая служить для нихъ



доказательствомъ, что и ихъ преемники воспитываются въ тѣхъ самыхъ правилахъ, въ которыхъ они воспитывались, въ правилахъ, которыя научили насъ любить отечество и добродѣтель болѣе жизни, болѣе крови своей...»

Выписанный нами выше эпиграфъ лучше всего выражаетъ тѣ чувства, которыя продолжалъ питать къ Царскому Селу Пушкинъ. А какою искреннею, просвѣтленною грустью вѣетъ отъ слѣдующихъ строкъ, вылившихся у него въ 1828 году, при возвращеніи, послѣ многолѣтняго отсутствія, въ дорогія ему мѣста:

„Воспоминаньями смущенный,  
Исполненъ сладкою тоской,  
Сады прекрасные, подъ сумракъ вашъ священный  
Вхожу съ поникшею главой!  
Такъ отрокъ Библіи, безумный расточитель,  
До капли истощивъ раскаянья фіаль,  
Увидѣвъ наконецъ родимую обитель,  
Главой поникъ и зарыдалъ...“

Пушкинъ зашелъ тогда, конечно, и въ лицей. Объ этомъ посѣщеніи его подробностей не сохранилось. Лицейскій 7-го выпуска, покойный академикъ нашъ Я. К. Гротъ, былъ тогда въ младшемъ курсѣ и не видѣлъ Пушкина, который ходилъ только съ старшимъ курсомъ; но, три года спустя, въ 1831 г., когда Пушкинъ, женившись, жилъ все лѣто въ Царскомъ, г. Гроту удалось видѣть его въ лицей.

«Никогда не забуду восторга, съ какимъ мы его приняли (разсказываетъ онъ). Какъ всегда водилось, когда пріѣзжалъ кто-нибудь изъ нашихъ «дѣдовъ», мы его окружили всѣмъ курсомъ и гурьбой провожали по всему лицей. Обращеніе его съ нами было совершенно простое, какъ съ старыми знакомыми; на каждый вопросъ онъ отвѣчалъ привѣтливо, съ участіемъ спрашивалъ о нашемъ бытѣ, показывалъ намъ свою бывшую комнатку и передавалъ подробности о памятныхъ ему

мѣстахъ. Послѣ мы не разъ встрѣчали его гуляющимъ въ царскосельскомъ саду, то съ женою, то съ Жуковскимъ».

Жившіе въ Петербургѣ «дѣды» лицейскіе, т. е. лицеисты перваго выпуска, вѣрные преданіямъ лица, ежегодно праздновали лицейскую годовщину, сперва на квартирѣ у Иличевского, а потомъ у Тыркова и Яковлева. Послѣднему за это было присвоено почетное прозвище «лицейскаго старосты», а квартира его называлась «лицейскимъ подворьемъ». Сходки «дѣдовъ» имѣли чисто-товарищескій, семейный характеръ, и на нихъ не допускалось ни одно постороннее лицо — даже изъ числа лицейстовъ послѣдующихъ выпусковъ. Въ видъ исключенія, съ 1824 года, чести этой удостоивался одинъ человѣкъ — бывший директоръ ихъ Энгельгардтъ, который за годъ передъ тѣмъ оставилъ службу въ лицейѣ.

Нечего говорить, что Пушкинъ, по возвращеніи своемъ въ Петербургъ, сдѣлался также постояннымъ участникомъ этихъ товарищескихъ собраній. Юмористическіе протоколы ихъ по большей части написаны его рукой. Протоколъ 1828 года, составленный имъ же, начинается такъ:

«Собралися на пепелищѣ скотобратца курнофеюса Тыркова, по прозванію кирпичнаго бруса, 8 человѣкъ скотобратцевъ, а именно: Дельвигъ—Т о с я, Иличевскій—О л о с е н ь к а, Яковлевъ—п а я с ь, Корфъ—д ь я ч о к ь М о р д а н ь, Стевень—ш в е д ь, Тырковъ (смотри выше), Комовскій—л и с а, Пушкинъ—ф р а н ц у з ь (смѣсь обезьяны съ тигромъ)» \*).

\*) «Скотобратцами» лицеисты перваго выпуска называли себя иногда еще въ лицейѣ по поводу каррикатуръ Иличевского, въ которыхъ они изображались въ видѣ животныхъ. Прозвище *курнофеюсъ* дано было Тыркову въ лицейѣ же за то, что онъ былъ курносъ, а *кирпичнымъ брусомъ* онъ звался за цвѣтушій, смуглобурый цвѣтъ лица; Яковлевъ получилъ кличку *паяса* за искусное переразвиванье другихъ; Комовскій прозывался *лисой* за ловкость и лукавство, а Стевень—*шведомъ* по происхожденію. Остальные прозвища объяснены нами уже ранѣе въ своемъ мѣстѣ.

Далѣ въ протоколѣ идутъ 11 пунктовъ, въ которыхъ перечисляются занятія собранія. Въ этихъ пунктахъ значится, между прочимъ: «вели бесѣду»; «пѣли скотобратскіе куплеты прошедшихъ шести годовъ» (т. е. «прощальную пѣснь» Дельвига); «Олосенька, въ видѣ французскаго тамбуръ-мажора, утѣшалъ собравшихся»; «Тырковіусъ безмолствовалъ»; «толковали о гимнѣ ежегодномъ и негодовали на вдохновеніе скотобратцевъ»; «паясъ представлялъ восковую фигуру».

Послѣдній, 11-й пунктъ гласилъ:

«И, завидѣвъ на дворѣ часъ 1-й и стражу вторую, скотобратцы разошлись, пожелавъ добраго пути воспитаннику императорскаго лицея Пушкину, французу, иже написа сію грамоту» \*).

За этимъ слѣдуютъ подписи, а послѣ нихъ куплетъ опять рукою Пушкина:

„Усердно помолившись Богу,  
Лицею прокричавъ: ура!  
Прощайте, братцы, мнѣ въ дорогу,  
А вамъ—въ постель уже пора.“

«Въ дорогу» Пушкинъ собирался почти всякую осень, потому что это время года въ деревенскомъ уединеніи было особенно плодотворно для его поэтической дѣятельности.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда его не было въ Петербургѣ къ 19-му октября, онъ присылалъ обыкновенно «скотобратцамъ» стихотворное привѣтствіе. Безъ него, ихъ записнаго пѣвца, лицейскій праздникъ былъ точно немыслимъ.

Послѣднюю лицейскую годовщину передъ своей смертью, 19-го октября 1836 года, Пушкинъ снова провелъ въ кругу друзей. Печальный, какъ бы убитый видъ его обратилъ общее

---

\*) «Воспитанникомъ лицея» Пушкинъ называлъ себя въ протоколѣ иронически потому, что, выйдя въ 1824 году въ отставку, онъ, по беззаботности своей, потерялъ выданный ему на службѣ аттестатъ, и, вмѣсто послѣдняго, предъявлялъ полиціи свой лицейскій аттестатъ, гдѣ назывался «воспитанникомъ лицея».



ихъ вниманіе. На вопросъ, что съ нимъ? — онъ отговорился нездоровьемъ. На второй вопросъ: не написалъ ли чего по случаю 25-ти-лѣтія лица? онъ отвѣчалъ, что написалъ, но не совсѣмъ окончилъ. По неотступной просьбѣ товарищей, онъ нехотя досталъ изъ кармана листокъ и сталъ читать свое превосходное стихотвореніе:

„Была пора: нашъ праздникъ молодой  
Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался...“

Но слезы мѣшали ему читать, мѣшали видѣть. Голосъ его обрывался, и, быстро вставъ, онъ удалился на другой конецъ комнаты. Одинъ изъ товарищей, вмѣсто него, дочелъ стихи вслухъ. Въ углу своемъ Пушкинъ просидѣлъ довольно долго, пока настолько успокоился, что могъ опять присѣсть за столъ къ друзьямъ. Онъ будто предчувствовалъ свой близкій конецъ, предчувствовалъ живѣе, чѣмъ еще пять лѣтъ передъ тѣмъ, когда, въ этомъ же товарищескомъ кружкѣ, предсказывалъ:

„И мнится — очередь за мной..  
Зоветь меня мой *Дельвигъ* милый...“

Дельвигъ на цѣлыхъ шесть лѣтъ опередилъ своего друга. По выходѣ изъ лица, онъ, съ грѣхомъ пополамъ, четыре года тянулъ служебную лямку мелкимъ чиновникомъ въ министерствѣ финансовъ. По врожденному своему отвращенію къ серьезному труду, онъ осенью 1821 года вышелъ уже въ отставку, чтобы имѣть еще болѣе досуга для любимаго своего занятія — изящной словесности. Но жить исключительно литературой въ тѣ времена было невозможно, и потому Дельвигъ принялъ мѣсто помощника библіотекаря въ Императорской Публичной библіотекѣ, которое предложилъ ему директоръ этой библіотеки, О л е н и н ъ. Покровительствуя молодымъ литераторомъ, Оленинъ нарочно опредѣлилъ его помощникомъ къ знаменитому баснописцу Крылову, которой занималъ должность библіотекаря. Хотя Крыловъ былъ не менѣе лѣнивъ, чѣмъ Дельвигъ, но такъ какъ

дѣла у обоихъ было не много, то они ладили между собой. Скопленные въ Публичной библіотекѣ драгоцѣнные литературные матеріалы, которыми могъ теперь постоянно пользоваться Дельвигъ, дали его Музѣ болѣе положительное направленіе: отъ лирическихъ стихотвореній онъ обратился къ идилліямъ въ классическомъ родѣ. Въ 1825 году онъ женился и перешелъ чиновникомъ особыхъ порученій въ министерство внутреннихъ дѣлъ. Мѣсто это, съ одной стороны, лучше обезпечивало его въ матеріальномъ отношеніи, а съ другой—давало ему еще больше досуга. Вся служба его ограничивалась тѣмъ, что онъ приходилъ въ департаментъ и собиралъ около себя кружокъ слушателей-сослуживцевъ, потому что былъ прекраснымъ рассказчикомъ и имѣлъ всегда въ запасѣ цѣлый коробъ новѣйшихъ анекдотовъ. Такой же кружокъ пріятелей-литераторовъ сходился у него на дому по середамъ и воскресеньямъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ зажилъ семьяниномъ. Что касается его литературнаго дарованія, то едва ли не одинъ Пушкинъ только, по сердечной привязанности къ лицейскому другу, считалъ его крупнымъ талантомъ. Баснописецъ Измайловъ рѣзко, но мѣтко охарактеризовалъ значеніе обоихъ въ слѣдующей баснѣ:

#### РОЗА И РЕПЕЙНИКЪ.

„Репейникъ возгордился,  
Да чѣмъ же?— Съ розою въ одномъ саду онъ росъ.  
Иной молокососъ,  
Который цѣлый курсъ проспалъ и пролѣivilся,  
А послѣ и въ писцы на дѣлѣ не годился,  
Твердитъ, поднявши носъ:  
„Съ такимъ-то вмѣстѣ я учился!“  
Хорошъ тотъ, слова нѣтъ! Ему хвала и честь;  
Да что, скажи, въ тебѣ-то есть?“

Впрочемъ, не создавъ самъ ничего сколько-нибудь выдающагося, Дельвигъ обладалъ тонкимъ эстетическимъ вкусомъ, и Пушкинъ, пока былъ живъ его другъ, читалъ ему всегда свои новыя произведенія до ихъ печатанія и исправлялъ ихъ по его

совѣтамъ. Идеалистъ Жуковскій, зараженный пристрастіемъ Пушкина къ Дельвигу, возлагалъ на послѣдняго также несбыточныя надежды и особенно увлекался его широко-задуманными планами новыхъ поэмъ. Однажды, выслушавъ такой планъ, Жуковскій крѣпко обнялъ Дельвига и воскликнулъ:

— Берегите это сокровище въ себѣ до дня его рожденія!

Поэтъ-лѣннинецъ такъ свято берегъ свое «сокровище», что оно никогда не увидѣло свѣта Божьяго, какъ и всѣ его большіе замыслы. Года за четыре до своей смерти, Дельвигъ сталъ издавать альманахъ «Сѣверныя Цвѣты». Альманахъ этотъ былъ принятъ публикой довольно благосклонно. Въ 1830 году онъ задумалъ «Литературную Газету»; но крупныя непріятности, вышедшія у него съ цензурой, настолько подѣйствовали на него, что и безъ того слабое здоровье его не выдержало: онъ слегъ и уже не оправлялся. 14-го января 1831 года онъ умеръ на рукахъ жены, на 33-мъ году жизни. Пушкина въ то время не было въ Петербургѣ; но какъ глубоко чувствовалъ онъ эту утрату, видно изъ слѣдующихъ строкъ его къ Плетневу:

«Что скажу тебѣ, мой милый! Ужасное извѣстіе получилъ я въ воскресенье. На другой день оно подтвердилось. Вчера ѣздилъ я къ Салтыкову \*) объявить ему все — и не имѣлъ духу. Вечеромъ получилъ твое письмо. Грустно, тоска! Вотъ первая смерть, мною оплаканная... Никто на свѣтѣ не былъ мнѣ ближе Дельвига. Изъ всѣхъ связей дѣтства онъ одинъ остался на виду—около него собиралась наша бѣдная кучка. Безъ него мы точно осиротѣли. Считай по пальцамъ: сколько насъ? Ты, я, Баратынскій—вотъ и все. Вчера провелъ я день съ Нащокинымъ \*\*), который сильно пораженъ его смертью. Говорили о немъ, называя его «покойникъ Дельвигъ»,

\*) Салтыковъ — тестъ Дельвига.

\*\*) Нащокинъ—московскій пріятель Пушкина.



и этотъ эпитетъ былъ столь же страненъ, какъ и страшенъ. Нечего дѣлать! Согласимся: покойникъ Дельвигъ — быть такъ. Баратынскій боленъ съ огорченія. Меня не такъ то легко съ ногъ свалить. Будь здоровъ — и постараемся быть живы.»

Намъ, потомкамъ, Дельвигъ интересенъ только, какъ вѣрный спутникъ и «оруженосецъ» поэта-генія, и самъ онъ лучше всего выразилъ свое литературное значеніе въ эпитафій, которую написалъ себѣ:

„Что жизньъ его? Протяжный сонъ:

Что смерть? — Отъ грезъ ужасныхъ пробужденъе.“

Съ первымъ другомъ своимъ Пущинымъ Пушкинъ встрѣчался только изрѣдка въ театрѣ да у общихъ знакомыхъ. Съ лицейской скамьи дороги ихъ разошлись: въ то время, какъ вѣтренникъ Пушкинъ искалъ сильныхъ ощущеній въ развлеченіяхъ «большаго свѣта», болѣе степенный Пущинъ весь отдался коронной службѣ — сперва военной, а затѣмъ гражданской, перейдя судьей въ уголовную палату. Тѣмъ не менѣе, даже при этихъ рѣдкихъ встрѣчахъ, братскія отношенія ихъ другъ къ другу не измѣнились; а когда Пушкинъ 1824 года, безвыѣздно поселился въ селѣ Михайловскомъ, Пущинъ былъ одинъ изъ тѣхъ трехъ друзей, которые обрадовали его тамъ:

„Трехъ изъ васъ, друзей моей души,  
Здѣсь обнялъ я. Поэта домъ печальный,  
О, Пущинъ мой, ты первый посѣтилъ:  
Ты уладилъ изгнанья день печальный,  
Ты въ день его лица превратилъ“.

(Вторымъ гостемъ его былъ Горчаковъ, третьимъ Дельвигъ.)

Въ «Запискахъ» своихъ Пущинъ такъ живо описываетъ эту поѣздку свою въ Михайловское, что мы передадимъ рассказъ его собственными его словами:

«Проведя праздникъ у отца въ Петербургѣ, послѣ Крещенія я поѣхалъ въ Псковъ. Погостилъ у сестры нѣсколько дней и отъ нея вечеромъ пустился изъ Пскова; въ Островѣ, проѣздомъ,

ночью взялъ три бутылки клико (шампанскаго) и къ утру слѣдующаго дня уже приближался къ желаемой цѣли. Свернули мы, наконецъ, съ дороги въ сторону, мчались, среди лѣса, по гористому проселку: все мнѣ казалось не довольно скоро! Спускаясь съ горы, недалеко уже отъ усадьбы, которую, за частыми соснами нельзя было видѣть, сани наши, въ ухабѣ, такъ наклонились на бокъ, что ямщикъ слетѣлъ. Я съ Алексѣемъ, неизмѣннымъ моимъ спутникомъ отъ лицейскаго порога, кое-какъ удержался въ саняхъ. Схватили возжи. Кони несутъ среди сугробовъ, опасности нѣтъ, въ сторону не бросятся, все лѣсъ и снѣгъ имъ по брюхо; править не нужно. Скачемъ опять въ гору извилистой тропой; вдругъ крутой поворотъ, и какъ будто неожиданно вломились смаху въ притворенныя ворота, при громѣ колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засѣли въ снѣгу нерасчищеннаго двора.

«Я оглядываюсь: вижу на крыльцѣ Пушкина, босикомъ, въ одной рубашкѣ, съ поднятыми вверхъ руками. Не нужно говорить, что тогда во мнѣ происходило. Выскакиваю изъ саней, беру его въ охапку и тащу въ комнату. На дворѣ страшный холодъ, но въ инныя минуты человѣкъ не простужается. Смотримъ другъ на друга, цѣлуемся, молчимъ! Онъ забылъ, что надобно прикрыть наготу, я не думалъ объ заиндевѣвшій шубѣ и шапкѣ. Было около 8-ми часовъ утра. Не знаю, что дѣлалось. Прибѣжавшая старуха застала насъ въ объятіяхъ другъ друга въ томъ самомъ видѣ, какъ мы попали въ домъ: одинъ—почти голый, другой—весь забросанный снѣгомъ. Наконецъ пробила слеза (она и теперь, черезъ 33 года, мѣшаетъ писать въ очкахъ); мы очнулись. Совѣстно стало передъ этой женщиной; впрочемъ, она все поняла. Не знаю, за кого меня приняла; только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчасъ догадался, что это добрая его няня, столько разъ имъ воспѣтая, и чуть не задушилъ ее въ объятіяхъ.



«Все это происходило на маленькомъ пространствѣ. Комната Александра была возлѣ крыльца, съ окномъ на дворъ, въ которое онъ увидѣлъ меня, услышавъ колокольчикъ. Въ этой небольшой комнатѣ помѣщалась кровать его съ пологомъ, письменный столъ, диванъ, шкафъ съ книгами, и проч., и проч. Во всемъ поэтический безпорядокъ, вездѣ разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьевъ (онъ всегда, съ самага лица писалъ оглодками, которые едва можно было держать въ пальцахъ).

«Послѣ первыхъ нашихъ обниманій пришелъ и Алексѣй, который, въ свою очередь, кинулся цѣловать Пушкина: онъ не только близко зналъ и любилъ поэта, но и читалъ наизусть многіе изъ его стиховъ.

«Подали намъ кофе; мы усѣлись съ трубками. Бесѣда пошла правильнѣе; многое надо было хронологически рассказать, о многомъ разспросить другъ друга.

«Пушкинъ показался мнѣ нѣсколько серьезнѣе прежняго, сохраняя однакоже ту-же веселость; можетъ быть, самое положеніе его произвело на меня это впечатлѣніе. Онъ, какъ дитя, былъ радъ нашему свиданію, нѣсколько разъ повторялъ, что ему еще не вѣрится, что мы вмѣстѣ. Прежняя его живость во всемъ проявлялась — въ каждомъ словѣ, въ каждомъ воспоминаніи: имъ не было конца въ неумолкаемой нашей болтовнѣ.

«Я привезъ Пушкину въ подарокъ «Горе отъ ума»; онъ былъ очень доволенъ этой, тогда рукописной комедіей, до того ему вовсе почти незнакомой. Послѣ обѣда, за чашкой кофею, онъ началъ читать ее вслухъ; жаль, что не припомню теперь мѣткихъ его замѣчаній, которыя, впрочемъ, потомъ частію явились въ печати.

«Потомъ онъ мнѣ прочелъ кое-что свое, большею частью въ отрывкахъ, которые впослѣдствіи вошли въ составъ замѣчательныхъ его пьесъ; продиктовалъ начало изъ поэмы «Цы-





Пушкинъ въ гостяхъ у Пушкина.  
Съ картины профессора Н. Ге.





ганы» — для «Полярной Звѣзды», и просилъ, обнявши крѣпко Рылѣева, благодарить за его патріотическія Думы.

«Между тѣмъ время шло за полночь. Намъ подали закусить; на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крѣпко обнялись, въ надеждѣ, можетъ быть, скоро свидѣться въ Москвѣ. Шаткая эта надежда облегчала разставанье послѣ такъ отраднo промелькнувшаго дня. Ямщикъ уже запрягъ лошадей, колоколецъ брякалъ у крыльца, на часахъ ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: какъ-будто чувствовалось, что въ послѣдній разъ вмѣстѣ пьемъ и пьемъ на вѣчную разлуку! Молча я набросилъ на плечи шубу и убѣжалъ въ сани. Пушкинъ еще что-то говорилъ мнѣ вслѣдъ; ничего не слыша, я глядѣлъ на него: онъ остановился на крыльцѣ со свѣчкой въ рукѣ. Кони рванули подъ гору. Послышалось: «Прощай, другъ»! Ворота скрипнули за мной...»

Друзьямъ не было уже суждено свидѣться: вскорѣ Пущина превратная судьба занесла на другой край свѣта — на границу Китая, въ Читу. Но въ самый день прибытія его туда, ему вручили пришедшее уже раньше привѣтствіе друга-поэта:

„Мой первый другъ, мой другъ безцѣнный!  
И я судьбу благословилъ,  
Когда мой дворъ уединенный,  
Печальнымъ снѣгомъ занесенный,  
Твой колокольчикъ огласилъ.  
Молю святое Провидѣнье,  
Да голосъ мой душѣ твоей  
Даруетъ тоже утѣшенье,  
Да озаритъ онъ заточенье  
Лучемъ лицейскихъ, ясныхъ дней!“

Уже старикомъ Пущинъ получилъ разрѣшеніе возвратиться на родину, въ село Марьино, Бронницкаго уѣзда, Московской губерніи, гдѣ тихо и окончилъ вѣкъ свой 3-го апрѣля 1859 года.



Еще безотраднѣе была судьба третьяго пріятеля Пушкина, Кюхельбекера. Несмотря на свои выдающіеся способности, на свои прекрасныя душевныя качества, на свое нѣмецкое усердіе и терпѣніе, онъ, какъ и надлежало истому Донъ-Кихоту, началъ и кончилъ жизнь восторженнымъ сумасбродомъ и неудачникомъ. Попавъ съ лицейской скамьи, вмѣстѣ съ Пушкинымъ, въ коллегію иностранныхъ дѣлъ, онъ, однако, скоро бросилъ службу и укатилъ за-границу. Здѣсь, въ Парижѣ, онъ не безъ успѣха прочелъ по-французски нѣсколько лекцій о славянской литературѣ; но онъ далъ слишкомъ большой просторъ своему краснорѣчію, и его вызвали обратно въ Россію. Перейдя на службу въ Тифлисъ, онъ близко сошелся тамъ съ Грибоѣдовымъ. Но его тянуло въ Москву, и въ 1823 г. онъ окончательно перебрался туда. Существоя уроками въ университетскомъ пансіонѣ и въ частныхъ домахъ, онъ все свободное время посвящалъ литературѣ. Даже Пушкинъ, который прежде постоянно подтрунивалъ надъ его стихотворными опытами, началъ относиться теперь къ нимъ снисходительнѣе: благодаря своей пастойчивости, Кюхельбекеръ выработалъ себѣ понемногу правильный русскій слогъ и сталъ строчить очень недурные, хотя и напыщенные стихи, которые охотно принимались въ журналы. Въ сообществѣ съ княземъ Одоевскимъ онъ предпринялъ, наконецъ, и собственный журналъ: «Мнемозину». Но роковой для многихъ русскихъ литераторовъ 1825 годъ оказался таковымъ и для Кюхельбекера. Десять лѣтъ несчастный безумецъ долженъ былъ искупать свои заблужденія въ стѣнахъ тюрьмы, а всю остальную жизнь — въ ссылкѣ. Но и въ заточеніи, въ разлукѣ со всѣми близкими, онъ не упалъ духомъ: по доставлявшимся ему журналамъ и книгамъ онъ прилежно слѣдилъ за умственнымъ движеніемъ и ростомъ милой ему Россіи, велъ дневникъ всему прочитанному, и лучшее утѣшеніе находилъ въ молчаливой бесѣдѣ съ своей

собственной Музой. 19-го октября 1836 г., когда Пушкинъ въ послѣдній разъ праздновалъ съ друзьями въ Петербургѣ лицейскую годовщину, на другомъ краю свѣта опальный товарищъ его, Кюхля, изливалъ въ стихахъ свои чувства къ нимъ и въ особенности къ Пушкину, своему идеалу:

„... Чѣмъ рѣзче всѣхъ рисуются черты  
Предъ взорами моими? Какъ перуны  
Сибирскихъ грозъ, его златыя струны  
Рокочуть... Пушкинъ, Пушкинъ! это ты!“

Въ 1837 г. Кюхельбекеръ женился на совершенно необразованной дѣвушкѣ, дочери баргузинскаго почтмейстера, которая ни мало не могла раздѣлять его возвышенныхъ стремленій. Во время зимней бури въ 1844 году, переѣзжая Байкаль и спасая жену и дѣтей, Кюхельбекеръ такъ простудился, что уже не поправился. Вдобавокъ онъ вскорѣ еще ослѣпъ. Незадолго передъ своимъ концомъ, онъ продиктовалъ старому товарищу своему, Пущину, послѣднюю свою волю и умеръ отъ чахотки въ Тобольскѣ 11 августа 1846 года. На могильной плитѣ его начертали всепрощающія слова Спасителя:

«Прійдите ко Мнѣ вси страждущіи и обремененіи и Азъ упокою вы!»

Двое другихъ лицейскихъ стихотворцевъ, связанные между собой тѣсной дружбой, какъ создатели «Лицейскаго Мудреца», Иличевскій и Корсаковъ не оправдали возлагавшихся на нихъ надеждъ. Иличевскій, которому профессоръ Кошанскій отдавалъ когда-то предпочтеніе даже предъ Пушкинымъ, оставилъ слѣдъ въ литературѣ небольшимъ только томикомъ стиховъ: «Опыты въ антологическомъ родѣ», изданнымъ въ 1827 году; на служебномъ же поприщѣ дошелъ не далѣе начальника отдѣленія. Изъ Корсакова, поэта и музыканта, можетъ быть, современемъ и развился бы талантъ; но уже три года по выпускѣ изъ лицея онъ скончался, какъ



и Кюхельбекеръ, отъ чахотки на чужбинѣ, во Флоренціи. Достоянно удивленія присутствіе духа, которое выказалъ Корсаковъ передъ неизбѣжнымъ концомъ: за часъ еще до смерти, онъ сочинилъ самому себѣ русскую надгробную надпись и нарочно написалъ ее четкими, крупными литерами, чтобы итальянскіе граверы, копируя, ненарокомъ не исказили ея. Вотъ эта надпись:

„Прохожій, поспѣши къ странѣ родной своей!  
Ахъ! грустно умирать далеко отъ друзей!“

Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, посвященныхъ лицейской годовщинѣ (1825 г.), Пушкинъ, пересчитывая отсутствующихъ друзей, сочувственно вспоминаетъ и о Корсаковѣ:

„Онъ не пришелъ, кудрявый нашъ пѣвецъ,  
Съ огнемъ въ очахъ, съ гитарой сладеогласной:  
Подъ миртами Италіи прекрасной  
Онъ тихо спитъ, и дружескій рѣзецъ  
Не начерталъ надъ русскою могилой  
Словъ нѣсколько на языкѣ родномъ,  
Чтобъ нѣкогда нашелъ привѣтъ унылый  
Сынъ сѣвера, бродя въ краю чужомъ.“

Двѣ матки лицейскія: графъ Брогліо и Комовскій имѣли діаметрально противоположную участь. Первый, замѣшанный въ 1829 г. въ возмущеніи Греціи, погибъ молодымъ еще человѣкомъ геройскою смертью въ случайной стычкѣ; второй, прослуживъ недолго помощникомъ статсъ-секретаря государственнаго совѣта, удалился въ свою частную жизнь и окончилъ ее мирно въ глубокой старости, въ 1880 году, искренне оплакиваемый семьей и многочисленными друзьями.

Большинство другихъ товарищей Пушкина, упоминаемыхъ въ нашемъ разсказѣ, достигло на государственной службѣ «степеней извѣстныхъ»: Ломоносовъ былъ посланникомъ въ Гагъ, баронъ Корфъ—членомъ государственнаго совѣта и директоромъ Императорской Публичной библіотеки, Корниловъ—сенаторомъ, Бакунинъ—тверскимъ губернаторомъ,



Вальховскій - бригаднымъ генераломъ, Матюшкинъ—адмираломъ, Масловъ—директоромъ департамента податей и сборовъ, Малиновскій и Данзасъ—полковниками. Всѣхъ ихъ, однако, неизмѣримо опередилъ одинъ—князь Горчаковъ. Какъ въ лицеѣ онъ былъ у всѣхъ на виду, ставился всѣмъ въ примѣръ, такъ точно и за стѣнами лица онъ выдвинулся впереди всего русскаго народа, сталъ первымъ подданнымъ Русскаго Царя—государственнымъ канцлеромъ и министромъ иностранныхъ дѣлъ. Сколько разъ судьба Россіи была, можно сказать, въ его рукахъ! Сколько разъ взоры всей Европы были неотступно устремлены на него! И ему же было суждено пережить всѣхъ первенцевъ лица. Удалившись уже отъ дѣлъ, но сохраняя почетное званіе канцлера, онъ угасть отъ старческой дряхлости 27 февраля 1883 г. Такимъ образомъ, къ нему, оказывается, относились вѣщія слова его геніальнаго товарища-поэта:

„...Кому-жъ изъ насъ подъ старость день лица  
Торжествовать придется одному?  
Несчастный другъ! Среди новыхъ поколѣній  
Докучный гость и лишній и чужой,  
Онъ вспомнить насъ и дни соединеній,  
Закрывъ глаза дрожащею рукой...“

Профессоръ лицейстовъ перваго выпуска Кошанскій, который, во всякомъ случаѣ, далъ первый толчекъ ихъ литературному направленію, впослѣдствіи времени гордился своимъ геніальнымъ ученикомъ-поэтомъ. Я. К. Гротъ, въ своихъ школьныхъ воспоминаніяхъ, рассказываетъ объ этомъ, между прочимъ, слѣдующее:

«Читать съ воспитанниками Пушкина еще не было принято и въ лицеѣ; его мы читали сами иногда во время классовъ, украдкою. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, Кошанскій разъ привезъ намъ на лекцію только-что полученную отъ Пушкина изъ деревни рукопись: «19 октября 1825 года» («Роняетъ лѣсъ

багряный свой уборъ») и прочелъ намъ это стихотвореніе съ особеннымъ чувствомъ, прибавляя къ каждой строфѣ свои поясненія. Только тамъ, гдѣ рѣчь шла о заблужденіяхъ поэта, онъ довольствовался многозначительной мимикой, которая вообще входила въ его приемы. Особенно при стихахъ:

„Наставникамъ, хранившимъ юность нашу,  
Не помня зла, за благо воздадимъ,“

онъ далъ намъ почувствовать, что и Пушкинъ не во всемъ заслуживаетъ подражанія.»

Умеръ Кошанскій въ 1831 году, въ должности директора института слѣпыхъ въ Петербургѣ; а любимый профессоръ лицействовъ К у н и ц ы н ъ—въ 1840 г. директоромъ департамента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій. Изъ числа прочихъ профессоровъ, Г а у е н ш и л ь д ъ ознаменовалъ себя переводомъ на нѣмецкій языкъ исторіи Карамзина.

Назвавъ Карамзина, не можемъ кстати не упомянуть, что хотя знаменитый исторіографъ имѣлъ непосредственное вліяніе на Пушкина только до 1820 года, послѣ котораго имъ не суждено было уже свидѣться, но какъ дорогъ онъ всегда оставался Пушкину,—краснорѣчивѣе всего говоритъ текстъ посвященія «Бориса Годунова»:

«Драгоцѣнной для Россіянъ памяти Николая Михайловича Карамзина, сей трудъ, геніемъ его вдохновенный, съ благоговѣніемъ и благодарностію посвящаетъ Александръ Пушкинъ».

Другой неизмѣнный покровитель и старшій другъ Пушкина, Ж у к о в с к і й пережилъ его 15-ю годами и далъ намъ подробное, глубоко-трогательное описаніе послѣднихъ минутъ его. Съ восшествіемъ на престолъ императора Николая I, будучи назначенъ воспитателемъ наслѣдника (впослѣдствіи императора) Александра Николаевича, Жуковскій до 1840 года почти вовсе отказался отъ литературы; только съ этого времени, сдѣлавшись

опять свободнымъ, онъ могъ вернуться къ своему любимому занятію и перевелъ стихами, между прочимъ, всю Гомерову «Одиссею». Последнею, лебединою пѣснью его было, какъ думаютъ, стихотвореніе: «Царскосельскій лебедь», точно написанное имъ на самого себя:

„...ВНОВЬ ПОМОЛОДѢЛЫЙ,  
Радостно вздымая перья груди бѣлой,  
Голову на шеѣ, гордо распрямленной,  
Къ небесамъ подъявля, весь воспламененный,  
Лебедь благородный дней Екатерины  
Пѣлъ, прощаясь съ жизнью, гимнъ свой лебединый.  
А когда допѣлъ онъ,—на небо взглянувши  
И крылами сильно дряхлыми взмахнувши—  
Къ небу, какъ во время оное бывало,  
Онъ съ земли рванулся... и его не стало  
Въ высотѣ... и навзничъ съ высоты упалъ онъ;  
И прекрасенъ мертвый на хребтѣ лежалъ онъ,  
Широко раскинувъ крылья, какъ летящій,  
Въ небеса вперяя взоръ ужъ негорящій.“

Подобно Жуковскому, несомнѣнно, конечно, и поэтъ-дядя, Василій Львовичъ, способствовалъ развитію таланта молодого Пушкина, хотя не столько своими собственными, довольно слабыми стихами, сколько своимъ поощрительнымъ примѣромъ. Небезынтересно, что Василій Львовичъ, долго сомнѣвавшійся въ дарованіи племянника, впоследствии громче всѣхъ прославлялъ его по всей Москвѣ и самъ попытался подражать ему въ поэмѣ своей «Капитанъ Храбровъ», которую, однако, такъ и не дописалъ. Много лѣтъ страдая подагрой, онъ цѣлые дни проводилъ лежа на диванѣ, и въ 1830 году, съ книгой въ рукахъ и со словами: «Какъ скучны статьи Катенина!» испустилъ послѣдній вздохъ.

Свою мать, Надежду Осиповну, Пушкину пришлось схоронить за нѣсколько мѣсяцевъ только до своей собственной смерти. Во время ея послѣдней болѣзни, сынъ нѣжно ухажи-



валъ за нею, и тутъ-то она стала отвѣчать ему, чуть-ли не впервые, такой-же беззавѣтною материнскою лаской.

Сергѣй Львовичъ не былъ въ Петербургѣ во время внезапной кончины сына, и (какъ мы увидимъ ниже) долго былъ безутѣшенъ. Онъ дожилъ до 1848 года и подъ конецъ жизни впалъ въ дѣтство.

Младшій сынъ его, Левъ Сергѣевичъ, служилъ нѣкоторое время офицеромъ на Кавказѣ, велъ вообще разсѣянную жизнь и пережилъ отца только пятью годами.

Сестра поэта, Ольга Сергѣевна, вышла замужъ за лицеиста Павлищева. Въ послѣдніе годы ее занимали исключительно тайны загробной жизни. Въ молодости она хотя и пописывала недурные стихи, а впослѣдствіи написала свои воспоминанія (на французскомъ языкѣ), но, въ порывѣ спиритическаго экстаза, къ сожалѣнію, сожгла всѣ свои рукописи. Ослѣпнувъ и разбитая параличемъ, она скончалась въ 1868 г., въ кругу своей семьи, въ Петербургѣ.

Вѣрная няня Пушкина, Арина Родіоновна, раздѣлявшая съ нимъ цѣлые годы сельскаго одиночества въ Михайловскомъ, перебралась, вмѣстѣ съ нимъ, въ 1826 г. въ Петербургъ, гдѣ и похоронена въ 1828 году.

Теперь намъ остается сказать еще только о главномъ дѣйствующемъ лицѣ нашего правдиваго повѣствованія — самомъ Пушкинѣ. Но это — такая неисчерпаемая тѣма, что мы, волей-неволей, ограничимся только самымъ существеннымъ, прямо относящимся къ нашему разсказу.

По мѣрѣ своего умственнаго роста, Пушкинъ все живѣе ощущалъ недостатокъ своей научной подготовки для серьезнаго литературнаго дѣла, и въ 1821 году еще признавался въ этомъ Чаадаеву:

„Въ уединеніи мой своеправный геній  
Позналъ и тихій трудъ и жажду размышленій.

Владѣю днемъ моимъ; съ порядкомъ друженъ умъ;  
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ;  
Ищу вознаградить, въ объятіяхъ свободы,  
Мятежной младости утраченные годы  
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ“.

Въ Одессѣ онъ сталъ учиться англійскому языку, чтобы читать Байрона въ оригиналѣ, началъ составлять себѣ избранную библіотеку; съ переѣздомъ же въ 1824 г. въ село Михайловское, онъ выписалъ себѣ изъ Петербурга кины научныхъ книгъ, сталъ изучать Шекспира, Тацита, Карамзина и древнія лѣтописи русскія; дѣлалъ изъ нихъ пространныя выписки, а на поляхъ писалъ свои собственные критическія замѣтки, которыя впослѣдствіи изумляли знатоковъ глубокомысліемъ и дѣловитостью. Недаромъ императоръ Николай Павловичъ, послѣ продолжительной бесѣды съ Пушкинымъ, отозвался, что говорилъ съ умнѣйшимъ человѣкомъ въ Россіи!

По возвращеніи въ Петербургъ, Пушкинъ съ удвоенной энергіей принялся за грандіозный трудъ — изученіе всѣхъ матеріаловъ къ исторіи Петра Великаго и его преемниковъ. Плодомъ этихъ изученій явился, между прочимъ, несравненный романъ: «Капитанская дочка».

Особенное усердіе и поэтическое вдохновеніе сходили на поэта осенью. Тогда онъ нарочно удалялся отъ свѣта въ сельское уединеніе, гдѣ литературная производительность его въ это время года была изумительна. Такъ, въ письмѣ своемъ къ Плетневу изъ Москвы отъ 9 декабря 1830 года, онъ сообщаетъ:

«Скажу тебѣ (за тайну), что я въ Болдинѣ писалъ, какъ давно не писалъ. Вотъ что я привезъ сюда: двѣ послѣднія главы «Онѣгина», совсѣмъ готовыя для печати; повѣсть, писанную октавами («Домикъ въ Коломнѣ»); нѣсколько драматическихъ сценъ или маленькихъ трагедій; именно: «Скупой рыцарь», Моцартъ и Сальери», «Пиръ во вре-

мя чумы» и «Донъ Жуанъ». Сверхъ того, написалъ около 30-ти мелкихъ стихотвореній. Хорошо? Еще не все (весьма секретное, для тебя единого!): написалъ я прозою 5 повѣстей («Повѣсти Бѣлкина»).

И такая-то масса капитальныхъ произведеній была создана въ какіе-нибудь три мѣсяца! Большую поэму свою «Полтава» онъ написалъ тоже осенью (1828 г.), въ двѣ недѣли времени. Точно давно предчувствуя, что нить жизни его разомъ оборвется, онъ торопился сдѣлать все, что было въ его силахъ. Онъ сознавалъ, что онъ — «избранникъ небесъ», которому свыше предопредѣлено быть «пророкомъ» своего народа:

„Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли,  
Исполнишь волею моею,  
И, обходя моря и земли,  
Глаголомъ жги сердца людей!“

Французская поговорка, что никто не бываетъ пророкомъ въ своемъ отечествѣ, не примѣнима къ Пушкину. Онъ уже въ молодые годы пользовался такою популярностью, что куда-бы онъ ни показался, вездѣ сбѣгались глазѣть на него, какъ на диковиннаго звѣря. Въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Дельвигу изъ Тверской губерніи, гдѣ онъ гостилъ въ 1828 г. у близкихъ знакомыхъ, онъ рассказывалъ о такомъ забавномъ случаѣ:

«Сосѣди ѣздятъ смотрѣть на меня, какъ на собаку Минуту \*). Петръ Марковичъ \*\*) здѣсь повеселѣлъ и уморительно миль. На дняхъ было сборище у одного сосѣда; я долженъ былъ туда пріѣхать. Дѣти его родственницы, балованные ребятишки, хотѣли непременно туда же ѣхать. Мать принесла имъ изюму, черносливу и думала тихонько отъ нихъ убраться. Но Петръ Марковичъ ихъ взбудоражилъ, онъ къ нимъ прибѣжалъ:

\*) Извѣстная въ то время ученая собака, угадывавшая карты, цвѣта и проч.

\*\*) Полторацкій—пріятель Пушкина.



«— Дѣти! дѣти! мать васъ обманываетъ! не ѣшьте черносливу, поѣзжайте съ нею: тамъ будетъ Пушкинъ; онъ весь сахарный, а задъ его яблочный; его разрѣжутъ и всѣмъ вамъ будетъ по кусочку.

«Дѣти разревѣлись:

«— Не хотимъ черносливу! хотимъ Пушкина!

«Нечего дѣлать — ихъ повезли, и они сбѣжались ко мнѣ, облизываясь; но, увидѣвъ, что я не сахарный, а кожаный, совсѣмъ опѣшили.»

Изъ множества подобныхъ анекдотовъ, приведемъ еще только одинъ, гдѣ разочарованіе было на сторонѣ Пушкина. Во время одного изъ своихъ странствій по Россіи, поэтъ нашъ, въ ожиданіи, пока на почтовой станціи перепрягали лошадей, вошелъ въ общую комнату и потребовалъ себѣ обѣдъ. Едва онъ сѣлъ за столъ, какъ передъ нимъ очутилась незнакомая барышня, очень миловидная и приличная на видъ, и, рассыпаясь въ похвалахъ его таланту, преподнесла ему вышитый кошелекъ. Польщенный поэтъ искренне поблагодарилъ ее, послѣ обѣда же сѣлъ опять въ коляску и покатилъ далѣе. Но не отѣхалъ онъ еще за черту деревни, какъ его нагналъ верховой и остановилъ экипажъ.

— Въ чемъ дѣло? спросилъ Пушкинъ.

— Да ваша милость изволили забыть отдать 10 рублей за кошелекъ, что купили у барышни, былъ отвѣтъ.

Пушкинъ расхохотался и отдалъ деньги. Послѣ онъ часто рассказывалъ объ этомъ случаѣ охлажденія его авторскаго самолюбія.

Какъ мы уже упомянули, предчувствіе близкой смерти явственно тяготило Пушкина на послѣдней лицейской годовщинѣ 1836 года. Еще въ апрѣлѣ того же года, самъ отвезя тѣло умершей матери своей въ Псковскую губернію, въ Святогорскій монастырь, онъ купилъ тамъ мѣсто и для себя, рядомъ съ ея могилой, и былъ все время крайне разстроенъ. Тѣмъ же

предчувствіемъ смерти вѣсть отъ его послѣдняго, какъ полагають, стихотворенія:

„Пора, мой другъ, пора! Покоя сердце просить,  
Летятъ за днями дни, и каждый день уноситъ  
Частицу бытія; а мы съ тобой вдвоемъ  
Располагаемъ жить. И глядь—все прахъ; умремъ!  
На свѣтѣ счастья нѣтъ, а есть покой и воля.  
Давно завидная мечтается мнѣ доля;  
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побѣгъ  
Въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нѣгъ...“

Съ вчера 27-го января 1837 года по Петербургу сперва смутно, а затѣмъ все настоятельнѣе началъ распространяться невѣроятный, ужасный слухъ: что Пушкинъ, великій Пушкинъ, котораго всѣ знали въ полномъ цвѣтѣ силъ, отъ котораго ожидали для родной литературы еще такъ много, смертельно раненъ, что ему остается жить только нѣсколько дней, можетъ быть—нѣсколько часовъ! Со всѣхъ концовъ столицы и знакомые и незнакомые наперерывъ присылали справляться о положеніи больного. Отъ императора Николая Павловича прискакалъ еще въ полночь къ ходившему за умирающимъ, лейбъ-медику Арендту, фельдъ-егерь съ собственноручной запиской, которую Арендтъ долженъ былъ прочесть поэту:

«Если Богъ не приведетъ намъ свидѣться въ здѣшнемъ свѣтѣ, писалъ государь,—посылаю тебѣ мое прощеніе и послѣдній совѣтъ умереть христіаниномъ. О женѣ и дѣтяхъ не безпокойся: я беру ихъ на свои руки.»

— Я не лягу, буду ждать, приказалъ государь словесно передать Арендту.

«Какой трогательный конецъ земной связи между царемъ и тѣмъ, кого онъ когда-то отечески присвоилъ и кого до послѣдней минуты не покинулъ! (писалъ потомъ Жуковскій къ отцу Пушкина). Какъ много прекраснаго, человѣческаго въ этомъ порывѣ, въ этой поспѣшности захватить душу Пушкина на



отлетѣ, очистить ее для будущей жизни и ободрить послѣднимъ земнымъ утѣшеніемъ. «Я не лягу, я буду ждать!»

За нѣсколько часовъ до кончины Пушкина, государь вызвалъ къ себѣ во дворецъ Жуковского, чтобы выслушать отъ него подробности о ходѣ болѣзни, и повторилъ ему то же, что сказалъ ранѣе въ запискѣ: чтобы Пушкинъ не беспокоился о судьбѣ жены и дѣтей.

— Они мои! заключилъ онъ.

— Вотъ я какъ утѣшенъ! сказалъ Пушкинъ, судорожно поднимая къ небу руки, когда выслушалъ отъ Жуковского обѣщаніе государя. — Скажи государю, что я желаю Ему долгаго, долгаго царствованія... что я желаю Ему счастья въ его сынѣ... что я желаю Ему счастья въ его Россіи...

И какъ истинно по-царски Николай Павловичъ сдержалъ свое слово! Не только съ имѣнія Пушкина былъ снятъ весь казенный долгъ, но вдовѣ его была назначена пожизненная пенсія въ 5,000 руб., дѣтямъ въ 6,000 руб., и, кромѣ того, на изданіе сочиненій поэта было пожаловано 50,000 рублей.

Въ послѣднія минуты мысли умирающаго возвратились еще разъ къ его свѣтлой юности, къ Царскому Селу.

— Какъ жаль, что нѣтъ теперь здѣсь ни Пущина, ни Малиновскаго! сказалъ онъ съ вздохомъ единственному изъ бывшихъ при немъ лицейскихъ товарищей, Данзасу.

Пуля осталась невынутою; каждая минута неизбежно приближала его къ концу.

— Смерть идетъ... вдругъ промолвилъ онъ и затѣмъ отрывисто прибавилъ:—Карамзину!

Было тотчасъ послано за Екатериной Андреевной Карамзиной, которая, сохраняя къ поэту со временъ Царскаго Села теплое материнское чувство, не замедлила прибыть.

— Перекрестите меня! попросилъ онъ ее и поцѣловалъ благословляющую его руку.



Передъ наступленіемъ предсмертной агоніи, онъ еще разъ приласкалъ жену и затѣмъ впалъ въ забытѣе.

«Друзья, ближніе, молча, окружили изголовье отходящаго (разсказываетъ писатель Даль); я, по просьбѣ его, взялъ его подъ мышки и приподнялъ повыше. Онъ вдругъ будто проснулся, быстро раскрылъ глаза, лицо его прояснилось, и онъ сказалъ:

« — Кончена жизнь!

«Я не дослышалъ и спросилъ тихо:

« — Что кончено?

« — Жизнь кончена... отвѣчалъ онъ внятно и положительно. — Тяжело дышать, давить... были послѣднія слова его.

«Всеобщее спокойствіе разлилось по всему тѣлу; отрывистое, частое дыханіе измѣнилось въ болѣе и болѣе медленное, тихое, протяжное; еще одинъ слабый, едва замѣтный вздохъ — и пропасть необъятная, неизмѣримая раздѣлила живыхъ отъ мертваго. Онъ скончался такъ тихо, что предстоящіе не замѣтили смерти его...»

Когда узнали въ городѣ, что поэта не стало, квартира его сдѣлалась мѣстомъ паломничества, къ которому въ продолженіи двухъ дней отовсюду стекались люди всѣхъ званій и состояній, чтобы въ послѣдній разъ поклониться дорогому праху, взять на память отъ него хоть лоскутокъ сюртука, клочъ волосъ. Наиболѣе горячія почитательницы поэта предусмотрительно запаслись даже ножницами; и къ концу втораго дня длинный сюртукъ усопшаго обратился какъ-бы въ куртку, а волосы на головѣ и бакенбарды оказались остриженными крайне неровно. Чтобы при входѣ и выходѣ посѣтителей наблюдать хотя извѣстную очередь, пришлось поставить полицію; во избѣжаніе же чрезмѣрнаго скопленія публики на похоронахъ, отпѣваніе, назначенное-было въ Исакиевскомъ соборѣ, подъ утро, въ 3-мъ часу ночи, было внезапно отмѣнено, и тогда же тѣло было перенесено въ Конюшенную церковь. Но это ни къ чему не по-

вело. Ко времени отпѣванія, вся площадь передъ церковью, весь Невскій проспектъ вплоть до Личкова моста были запружены народомъ, а въ самой церкви, куда впускали не иначе, какъ по билетамъ, была страшная давка.

Когда, послѣ опѣванія, гробъ подняли, вынесли изъ церкви, поставили на катафалкъ, когда, сквозь море головъ, шагъ за шагомъ двинулась погребальная колесница съ безчисленной вереницей каретъ,—вдругъ все разомъ запнулось: нѣсколько человѣкъ наклонилось надъ высокимъ мужчиной, который, въ истерическихъ рыданіяхъ, упалъ посреди дороги. То былъ одинъ изъ друзей покойнаго, такой же поэтъ—князь Вяземскій.

Вечеромъ того же дня, саксонскій посланникъ Люцероде, у котораго назначенъ былъ балъ, объявилъ съѣхавшимся гостямъ:

— Нынѣче были похороны Пушкина: у меня не будутъ танцовать.

Отвезти тѣло усопшаго на мѣсто послѣдняго успокоенія—въ Святогорскій монастырь—взялся вѣрный покровитель его съ дѣтства, Александръ Ивановичъ Тургеневъ, которому, такимъ образомъ, выпало на долю устроить и первую, и послѣднюю участь поэта.

Взрывъ негодованія, озлобленія противъ убійцы народнаго генія былъ, понятно, всеобщій. Но ни у кого не поднялась на него рука, когда стала извѣстной предсмертная воля Пушкина, настоятельно выраженная имъ Данзасу:

— Требую, чтобъ ты не мстилъ за мою смерть: прощаю ему и хочу умереть христіаниномъ.

Какое впечатлѣніе произвела смерть поэта на отца его и брата, видно изъ письма Сергѣя Львовича по поводу присланнаго ему княземъ Вяземскимъ портрета сына въ гробу, на который старикъ-отецъ не могъ рѣшиться взглянуть.

«У меня не достаетъ на это духу (писалъ онъ) и, вѣроятно, долго не достанетъ. И это не потому, чтобы я боялся возобно-



вить мою скорбь: ужасная потеря, мною понесенная, даетъ мнѣ знать себя теперь еще сильнѣе (если только это возможно), нежели въ то время, когда я получилъ о ней страшное извѣстіе. Время не ослабляетъ, а только усиливаетъ мою горестъ: съ каждымъ днемъ моя тоска становится рѣзче и мое уединеніе чувствительнѣе. Насильственная кончина такого сына, каковъ мой, не принадлежитъ къ числу обыкновенныхъ несчастій. Для меня она была внѣ всякаго вѣроятія... Я получилъ письмо отъ Льва (младшаго сына): онъ въ отчаяньи, и я за него трушу».

Едва ли менѣе былъ потрясенъ роковою вѣстью Пущинъ, находившійся въ то время за тысячи верстъ отъ Петербурга.

«Слушая этотъ горькій разсказъ (пишетъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ), я сначала рѣшительно какъ-будто не понималъ словъ разсказчика: такъ далеко была отъ меня мысль, что Пушкинъ долженъ умереть въ цвѣтѣ лѣтъ, среди живыхъ на него надеждъ. Это былъ для меня громовой ударъ изъ безоблачнаго неба: ошеломило меня, а вся скорбь не вдругъ сказала на сердцѣ... Во всѣхъ кружкахъ только и рѣчи было, что о смерти Пушкина, объ общей нашей потерѣ; но въ итогѣ выходило одно: что его не стало и что не воротить его! Провидѣніе такъ рѣшило; намъ остается смиренно блигоговѣть предъ его опредѣленіемъ...»

Романистъ Бестужевъ, писавшій подъ именемъ Марлинскаго, узналъ о смерти Пушкина, живя на Кавказѣ, и цѣлую ночь напролетъ послѣ этого извѣстія не могъ заснуть, а на разсвѣтѣ собрался въ отдаленный монастырь Св. Давида, построенный на крутой горѣ.

«Придя туда (разсказываетъ онъ въ письмѣ къ брату), я призвалъ священника и попросилъ отслужить панихиду надъ могилой Грибоѣдова, надъ могилой поэта, поправною святотатственными ногами, безъ камня, безъ надписи! Я плакалъ тогда, какъ плачу теперь, — плакалъ горячими слезами, плакалъ надъ



другомъ и товарищемъ по жизни, оплакивалъ самого себя! А когда священникъ запѣлъ: «за убіенныхъ бояръ Александра и Александра», я чуть не задохся отъ рыданій: этотъ возгласъ показался мнѣ не только поминовеніемъ, но и предсказаніемъ..\*)

Подобно Бестужеву-Марлинскому, не было почти писателя въ Россіи, который такъ или иначе не почтилъ бы память геніальнаго собрата. Жуковскій, Тютчевъ, Губеръ, Полежаевъ и даже сатирикъ Воейковъ излили скорбь свою въ прочувствованныхъ стихахъ; а молодой Лермонтовъ, до тѣхъ поръ никому еще не извѣстный поэтъ, своимъ пламеннымъ стихотвореніемъ на смерть Пушкина разомъ упрочилъ себѣ литературное имя. Подолинскій въ Одессѣ посвятилъ памяти Пушкина одну изъ лучшихъ своихъ крымскихъ элегій, а Кольцовъ—свое прекрасное стихотвореніе «Лѣсъ», въ которомъ иносказательно говоритъ о самомъ погибшемъ поэтѣ:

«Гдѣ-жъ дѣвалась  
Рѣчь высокая,  
Сила гордая,  
Доблесть царская?  
Съ богатырскихъ плечъ  
Сняли голову—  
Не большой горой,  
А соломинкой».

Давнишній пріятель Пушкина, польскій поэтъ Мицкевичъ въ Парижѣ отозвался некрологомъ во французскомъ журналѣ «Le Globe»; наконецъ, даже персидскій стихотворецъ Мирза Фактъ Али (Ахундовъ) оплакалъ кончину міроваго поэта въ небольшой поэмѣ на родномъ своемъ языкѣ.

Теперь, когда со дня горестнаго событія протекло болѣе полустолѣтія, внезапность впечатлѣнія, естественно, исподволь

---

\*) Предчувствіе не обмануло Бестужева: онъ, дѣйствительно, палъ въ бою съ черкесами нѣсколько мѣсяцевъ спустя, 7 іюня 1837 года.

сгладилась. Тѣмъ не менѣе, во всѣхъ случаяхъ, когда приходится чувствовать память нашего великаго поэта, чувствованія эти принимаютъ всенародный торжественный характеръ. Такъ было при открытіи въ 1880 году памятника его въ Москвѣ; такъ было и въ 50-ти-лѣтнюю годовщину смерти его, 29 января 1887 года. Потомство, очевидно, оцѣнило въ немъ и поэта, и учителя: давъ намъ неисчерпаемый кладъ умственныхъ наслажденій, онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, первый научилъ насъ писать неприкрашенную правду о русской жизни русскимъ языкомъ.

Завѣтное желаніе, выраженное имъ въ извѣстной элегіи: «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ», исполнилось: тѣло его покоится «близъ милаго предѣла», въ сосѣдствѣ села Михайловскаго, на кладбищѣ Святогорскаго монастыря, рядомъ съ его матерью и родителями ея Ганнибалами; а вокругъ него «сіяетъ вѣчною красою равнодушная природа»: бѣлая пирамида его могильнаго памятника, окруженная зеленью, высоко возвышается надъ нивами и лугами, разстилающимися по ту сторону монастырской ограды. Далѣе же, къ Михайловскому, виднѣется та самая роща, которую нѣкогда такъ радушно привѣтствовалъ нашъ поэтъ:

„...Здравствуй, племя  
Младое, незнакомое! Не я  
Увижу твой могучій поздній возрастъ,  
Когда переростешь моихъ знакомцевъ,  
И старую главу ихъ заслонишь  
Отъ глазъ прохожаго.“

Молодое незнакомое племя это—мы, его поздніе потомки. Но о томъ, чтобы кому-нибудь изъ насъ перерости его, не можетъ быть и рѣчи; дай Богъ намъ хоть настолько дорости до него, чтобы вполне уразумѣть его, проникнуться его чистой поэзіей, просвѣтленной умомъ и правдой:

„Да здравствуютъ Музы, да здравствуетъ Разумъ!  
 Ты, солнце святое, гори!  
 Какъ эта лампада блѣднѣтъ  
 Предъ яснымъ восходомъ зари.  
 Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлѣтъ  
 Предъ солнцемъ безсмертнымъ ума.  
 Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!“







## ПЕРЕЧЕНЬ

главнѣйшихъ источниковъ, послужившихъ матеріаломъ для настоящей повѣсти.

- 1) Сочиненія А. С. Пушкина, особенно «Записки» и письма его.
- 2) «А. С. Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи», П. В. Анненкова. 1873
- 3) «А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху. 1799—1826 г.» П. Анненкова. 1874.
- 4) «А. С. Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи». П. Бартенева. («Московскія Вѣдомости» 1854 г. № 117 и 119, 1855 г. № 142.)
- 5) «Записки И. И. Пущина о дружескихъ связяхъ его съ Пушкинымъ». («Атеней» 1859 г. № 8.)
- 6) «Извлеченія изъ писемъ Илличевскаго» («Русскій Архивъ» 1864 г.).
- 7) «Пушкинъ въ лицѣ и его лицейскія стихотворенія», В. Гаевского. («Современникъ» 1863 г. №№ 7 и 8).
- 8) «Первенцы лицея и его преданія». Я. К. Грота. («Складчина». Литературный сборникъ, 1874 г.).
- 9) «Старина царскосельскаго лицея» Я. Б. Грота («Русскій Архивъ» 1875 г. № 4).
- 10) «Пушкинъ въ царскосельскомъ лицѣ». Я. Грота. («Русскій Вѣстникъ» 1887 г. № 2).
- 11) «А. С. Пушкинъ (1816—1837). По документамъ Остафьевскаго архива и личнымъ воспоминаніямъ». Статья Кн. П. П. Вяземскаго. («Русскій Архивъ» 1884 г. № 4).
- 12) «А. С. Пушкинъ. 1799—1820». Статья К. П. П. («Русская Старина» 1879 г. № 6).
- 13) «Памяти Пушкина». Н. Ю. Юзефовича. («Русскій Архивъ» 1880 г. № 3.)
- 14) «Пушкинъ въ южной Россіи. 1820—1823». Статья П. Бартенева. («Русскій Архивъ» 1866 г.).
- 15) «Къ біографіи Пушкина. Выдержки изъ записной книжки». М. И. Семеваго («Русскій Вѣстникъ» 1869 г. № 11).
- 16) «А. С. Пушкинъ, его жизнь и сочиненія», изд. 1864 г.
- 17) «Альбомъ Пушкинской выставки 1880 г.», изд. Общ. Любит. Росс. Словесности, подъ редакціею Л. Поливанова. 1882.
- 18) «Памятная книжка Императорскаго Александровскаго лицея». 1856.

- 19) «Историческій очеркъ Императорскаго, бывшаго царскосельскаго, нынѣ Александровскаго лицея». *И. Селезнева*. 1861.
- 20) «Дельвингъ». *В. Гаевского*. («Современникъ» 1853 г. №№ 2 и 5. 1854 г. №№ 1 и 9.)
- 21) «Свѣтлѣйшій князь Александръ Михайловичъ Горчаковъ, въ его разсказахъ изъ прошлаго». («Русская Старина» 1883 г. № 10.)
- 22) «В. К. Кюхельбекеръ. 1797—1846 г.» *Ю. В. Кусова* и *М. В. Кюхельбекера*. («Русская Старина» 1875 г. № 7.)
- 23) «О первомъ выпускѣ воспитанниковъ Императорскаго царскосельскаго лицея» («Сынъ Отечества» 1817 г. № 26, Смѣсь.)
- 24) «Письмо лицейскаго ветерана къ лицейскому ветерану». *Вильгельма К. Кюхельбскера*. («Сынъ Отечества» 1818 г. № 45.)
- 25) «Воспоминанія о директорѣ царскосельскаго лицея Е. А. Энгельгардтѣ». *В. Е. Энгельгардта* («Русскій Архивъ» 1872 г. №№ 7 и 8.)
- 26) «Празднованіе лицейскихъ годовщинъ въ Пушкинское время». *И. В. Гаевского*. («Отечественныя Записки» 1861 г. № 11.)
- 27) «Послѣдніе дни жизни и кончина А. С. Пушкина». Со словъ бывшаго его лицейскаго товарища и секунданта. *К. К. Данзаса*. 1863.
- 28) «Смерть А. С. Пушкина». *В. И. Даля*. («Московская Медицинская Газета» 1860 г. № 49.)
- 29) «Послѣдніе дни жизни и кончина А. С. Пушкина». *М. Лопнинова* («Современная Лѣтопись» 1863 г. № 18.)
- 30) «Послѣднія минуты Пушкина», описанныя *В. А. Жуковскимъ* въ 1837 г. (въ письмѣ къ С. Л. Пушкину).
- 31) «Сестра А. С. Пушкина, Ольга Сергѣевна Павлицева». Біографическій очеркъ *Л. Павлицева*. («Новости» 1875 г. №№ 1, 4, 7, 9 и 11.)
- 32) «В. Л. Пушкинъ». Біографическій очеркъ *В. П. Авенариуса*. («Историческій Вѣстникъ» 1882 г. № 3.)
- 33) «Объ отношеніяхъ А. С. Пушкина къ дядѣ его В. Л. Пушкину». Замѣтка *М. Лопнинова*. («Русскій Архивъ» 1863 г.)
- 34) «Мелочи изъ запаса моей памяти» *М. А. Дмитриева*. 1869. (О В. Л. Пушкинѣ, Карамзинѣ, гр. Хвостовѣ и «Арзамасѣ».)
- 35) «Воспоминанія Ф. Ф. Вигеля» Т. II и III. 1864—1866. (Объ А. С. и В. Л. Пушкинѣ и объ «Арзамасѣ».)
- 36) «Сочиненія Державина». Т. 8. «Біографія поэта». *Я. Грота*. 1880.
- 37) «Полное Собраніе Сочиненій С. Т. Аксакова». Т. III. (Воспоминанія о Державинѣ, Дмитревскомъ и Шишковѣ.)
- 38) «В. А. Жуковскій и его произведенія. 1783—1833». Сочиненіе *П. Загарина*. 1883.
- 39) «В. А. Жуковскій. 1783—1852. Столѣтняя годовщина дня его рожденія. Очеркъ и письма поэта». Сообщ. проф. *П. А. Висковатовъ*, докт. *К. К. Зейдлицъ* и акад. *Я. К. Гротъ* («Русская Старина» 1883 г.).
- 40) «Подлинныя черты изъ жизни В. А. Жуковскаго». Корреспонденція Жуковскаго 1815—1816 гг. («Русскій Архивъ» 1864 г.).
- 41) «Н. М. Карамзинъ». *А. Старчевскаго*. 1849.



- 42) «Н. М. Карамзинъ. Матеріалы для его біографіи», М. Погодина. 1866.
- 43) «Воспоминанія К. С. Сербиновича», между прочимъ, о Н. М. Карамзинѣ. («Русская Старина» 1874 г. Т. XI.)
- 44) «Рѣчи, произнесенныя въ университетѣ Св. Владиміра по случаю столѣтняго юбилея Н. М. Карамзина». 1866.
- 45) «Воспоминанія о П. Я. Чаадаевѣ». М. Н. Лонгинова. («Русскій Вѣстникъ» 1862 г. № 11.)
- 46) Воспоминанія о П. Я. Чаадаевѣ. Д. Сербеева. («Русскій Архивъ» 1868 г.)
- 47) «Воспоминанія перваго камеръ-пажа великой княгини Александры Ѳеодоровны 1817—1819 г.», между прочимъ объ императорѣ Александрѣ I и императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ. («Русская Старина» 1875 г. Т. XII и XIII.)
- 48) «Капитуляція Парижа въ 1814 г.». Разсказъ М. Ѳ. Орлова. («Русская Старина» 1877 г. Т. XX.)
- 49) «Изъ дневника свитскаго офицера». С. Г. Хомутова. («Русскій Архивъ» 1870 г.)
- 50) «Записки И. С. Жиркевича», между прочимъ, о пребываніи императора Александра I въ Парижѣ въ 1814 г. («Русская Старина» 1874 г. № 12.)
- 51) «Павловскъ. Очеркъ исторіи и описаніе. 1777—1877 г. Составлено по порученію Его Имп. Выс. Вел. Князя Константина Николаевича».
- 52) «Изъ записокъ Ипполита Оже, 1814—1817», между прочимъ, о «Павловскомъ праздникѣ» 1814 г. («Русскій Архивъ» 1877 г. № 1.)
- 53) «Бесѣда любителей русскаго слова и Арзамасъ въ царствованіе Александра I и мои воспоминанія». А. Стурдза. («Москвитянинъ» 1851 г. № 21.)
- 54) «Графъ Блудовъ и его время». Е. П. Ковалевскаго. 1871. (Объ «Арзамасѣ» и «арзамасцахъ».)
- 55) А. Ѳ. Воейковъ: 1) «Домъ сумасшедшихъ», 1814—1838 гг., и 2) «Парвасскій адресъ-календарь» 1818 г. («Русская Старина» 1874 г. № 3.)
- 56) «Дневникъ чиновника». (Жихарева.) («Отечественныя Записки» 1855 г. С, CI и CII.)
- 57) «Полное собраніе сочиненій князя П. А. Вяземскаго». Т. VIII. «Старая записная книжка», 1883.
- 58) «Сочиненія Бѣлинскаго». Т. 8. 1860. (Критическій разборъ сочиненій Пушкина.)
- 59) Рукописные матеріалы о «лицейской старинѣ» (хранящіеся у академика Я. К. Грота.)
- 60) Семейныя воспоминанія К. С. Комовскаго, сына лицейскаго товарища Пушкина.
- 61) Семейныя преданія потомковъ лицейскаго доктора Ф. О. Лёшеля.
- 62) Семейныя преданія самого автора повѣсти—уроженца Царскаго Села и сына преподавателя царскосельскаго лицея.





## Оглавление.

	СТР.
Предисловіе . . . . .	III
Глава I. Лицейское междуцарствіе . . . . .	5
„ II. На Розовомъ полѣ . . . . .	17
„ III. Предатели-друзья . . . . .	35
„ IV. Павловскій праздникъ . . . . .	48
„ V. Дивертисементъ . . . . .	66
„ VI. Два дня у Державина (первый день) . . . . .	78
„ VII. Два дня у Державина (второй день) . . . . .	93
„ VIII. Убѣжище лиценстовъ . . . . .	109
„ IX. Державинъ въ лицѣ . . . . .	123
„ X. Жуковскій . . . . .	138
„ XI. „Бесѣдчики“ и „арзамасцы“ . . . . .	150
„ XII. Лицейскій Донъ-Кихотъ . . . . .	165
„ XIII. Мракобѣсіе лиценстовъ . . . . .	179
„ XIV. Конецъ междуцарствія . . . . .	190
„ XV. Директоръ Энгельгардтъ . . . . .	202
„ XVI. Пушкинъ и Энгельгардтъ . . . . .	213
„ XVII. Дядя Василій Львовичъ . . . . .	226
„ XVIII. Въ „Арзамасѣ“ . . . . .	233
„ XIX. Опять дядя и племянникъ . . . . .	244
„ XX. Карамзинъ . . . . .	255
„ XXI. Господа лейбъ-гусары . . . . .	270
„ XXII. Заговорило ретивое . . . . .	281
„ XXIII. Яблочная экспедиція . . . . .	293
„ XXIV. Послѣдніе подвиги . . . . .	310

	СТР.
Глава XXV. Выпускъ изъ лицея . . . . .	323
„ XXVI. За стѣнами лицея . . . . .	342
Эпilogъ . . . . .	358
Указатель источниковъ . . . . .	388

## Р И С У Н К И:

1. Портретъ Пушкина-лицеиста.	
2. „ Императрицы Маріи Ѳеодоровны. . . . .	къ стр. 48
3. „ Державина . . . . .	„ „ 78
4. „ Жуковского . . . . .	„ „ 138
5. 1-я карикатура изъ „Лицейскаго Мудреца“ . . . . .	„ „ 154
6. 2-я карикатура изъ „Лицейскаго Мудреца“ . . . . .	„ „ 178
7. Портретъ В. Л. Пушкина . . . . .	„ „ 226
8. „ Карамзина . . . . .	„ „ 255
9. Пущинъ въ гостяхъ у Пушкина, съ карт. Н. Ге. . . . .	„ „ 368



## ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ П. В. ЛУКОВНИКОВА,

С.-Петербургъ, Лештуковъ пер., уголъ Фонтанки, д. № 2—80,

и

У ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ КНИГОПРОДАВЦЕВЪ ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ

### В. П. АВЕНАРИУСА:

#### I

#### «Васильки и Колосья».

Разказы и очерки для юношества. Съ 22-мя портретами и рисунками. Цѣна 1 р. 25 к., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р. Учебнымъ Комитетомъ вѣдомства Императрицы Маріи рекомендована для ученическихъ библіотекъ старшаго и средняго возраста среднихъ учебныхъ заведеній и Учебнымъ Комитетомъ Мин Нар. Просвѣщенія допущена въ ученическія для младшаго возраста библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

#### Содержаніе.

1. Меньшой потѣшный Историческая повѣсть изъ молодости Петра Великаго.—2. На Яйлѣ. Крымская идиллія.—3. Чѣмъ былъ для Гоголя Пушкинъ? Литературный очеркъ,—5. Колумбъ Біографическій разказъ.—5. Въ одиночномъ заключеніи. Разказъ.—Рѣчка Визе. Идиллія Гебеля.—7. Дѣтскіе годы Моцарта. Біографическій разказъ—8. М. Ю. Лермонтовъ. Біографическій очеркъ—9. Сказаніе о Фритіофѣ. витязѣ норманскомъ.

Отзывы печати: «Съ истиннымъ удовольствіемъ прочли мы сборникъ В. П. Авенариуса. Чтеніе этой книги вполне подтверждаетъ справедливость положенія, которое не разъ высказывалось нами: что «только талантливые писатели могутъ писать хорошія вещи для юношества и для дѣтей, и что написанная вещь для юношества и для дѣтей будетъ читаться съ интересомъ и взрослымъ». Имя г. Авенариуса давно уже извѣстно въ нашей литературѣ, а также и въ литературѣ для дѣтей, и о талантѣ его нечего распространяться; мы ограничимся здѣсь лишь замѣчаніемъ, что въ разсматриваемомъ сборникѣ, въ незатѣйливыхъ по



большей части разсказахъ, выказалась въ особенномъ блескѣ замѣчательная способность автора увлекательно разсказывать. Г. Авенаріусъ, пересказывая даже чужіе разсказы („Дѣтскіе годы Моцарта“, „Сказаніе о Фритіофѣ“ и др.), дѣлаетъ это такъ искренно и тепло, какъ-будто-бы самъ видѣлъ и испыталъ все разсказанное, и это придаетъ такую обаятельность простому въ сущности пересказу, что, начавъ читать, положительно едва можешь оторваться отъ книги. Лучшими и болѣе крупными вещами въ сборникѣ являются произведенія самого автора: „Меньшой потѣшный“, „На Яйлѣ“, „Чѣмъ былъ для Гоголя Пушкинъ“, „М. Ю. Лермонтовъ“. Несомнѣнно, что „Насильки и Колосья“ займутъ подобающее имъ мѣсто въ ученическихъ библіотекахъ, а также обратятъ на себя вниманіе всѣхъ родителей, заботящихся о разумномъ чтеніи своихъ дѣтей» («Образованіе»).

«Г. Авенаріусъ принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ русскихъ писателей, которые своими сочиненіями доказали возможность существованія у насъ настоящей литературы для дѣтства и юношества, чуждой слащавыхъ и приторныхъ пріемовъ, составляющихъ отличительный признакъ этого рода литературныхъ произведеній. Изданный теперь г. Авенаріусомъ сборникъ разсказовъ и очерковъ для юношества отличается тѣми-же существенными достоинствами, какъ и прежнія произведенія того-же автора, а именно: занимательною, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и серьезною обработкою темы, такъ что почти всѣ эти разсказы могли бы не безъ достоинства занять мѣсто и въ сборникахъ для взрослыхъ читателей. Сборникъ, украшенный множествомъ рисунковъ, изданъ во всѣхъ отношеніяхъ такъ изящно, какъ заслуживаютъ того книги, назначаемыя для подарковъ» («Новое Время»).

## II.

### «Дѣтскія сказки».

Новое дополненное изданіе, съ рисунками Н. Н. Каразина и др. Въ это изданіе вошли избранныя наиболѣе удачныя простонародныя и иностранныя сказки изъ прежняго изданія «Тридцать лучшихъ новыхъ сказокъ», а также «Сказка о Муравѣ-Богатырѣ», «Что комната говоритъ», и «Сказка о Пчелѣ-Мохнаткѣ». Послѣднія двѣ удостоены каждая первой преміи С.-Петербургскаго Фребелевскаго общества. Ц. въ бумажкѣ 1 р. 25 к., въ красивой папкѣ 1 р. 50 к., въ коленкор. перепл. съ золот. 2 р. *Одобрены Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ библіотекъ младшаго возраста средн. учебныхъ завед. и городскихъ училищъ. *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи допущены для пріобрѣтенія въ библіотеки низшихъ и среднихъ классовъ училищъ вѣдомства.

## Содержаніе.

### Оригинальныя сказки:

1. Сказка о Муравьѣ-Богатырѣ.—2. Сказка о Пчелѣ-Мохнаткѣ.—
3. Что комната говоритъ.

### Пересказы русскихъ простонародныхъ сказокъ:

4. Горе.—5. Хитрая наука.—6. Байка о щукѣ зубастой — 7. Цыганъ-косарь.—8. Молодильныя яблоки.—9. Солнце, Морозъ и Вѣтеръ. —
10. Три копѣечки. — 11. Байка о томъ, какъ комаръ убился.—
12. Волга и Вазуза. — 13. Морозко. — 14. Журавль и Цапля.—
15. Простофиля.—Жучекъ-знахарь.

### Пересказы иностранныхъ сказокъ:

17. Прекрасная Мелузина. (По Гёте)—18. Забытая могила. (По Леандеру.) —
19. Снѣжный болванъ. (По Клетке.) —
20. Мальчикъ-зайчикъ. (По Годенъ.)—21. Приключеніе въ лѣсу. (Изъ Трояна.) —
22. Миндаль-двойчатка. (Изъ Фрейтага.)—
23. Капелька. (По Лаушу.)—24. Связка ключей. (Изъ Годенъ) —
25. Міръ домовыхъ. (По Левенштейну.)—26. Маленькая горбунья. (Изъ Леандера.)

**Отзывы печати:** «Авторъ этой книги хорошо извѣстенъ своей прекрасной и широко-распространившейся «Книгою былинъ». Новая книга его состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: 1) оригинальныя сказки: «Сказка о Муравьѣ-Богатырѣ», «Сказка о Пчелѣ-Мохнаткѣ» и «Что комната говоритъ»; 2) пересказы русскихъ простонародныхъ сказокъ и 3) пересказы иностранныхъ сказокъ. Лучшимъ отдѣломъ надо безспорно считать первый. Эти сказки «оригинальныя» въ полномъ смыслѣ этого слова; въ нихъ сказывается замѣчательный талантъ автора сочетать сказочный интересъ, быструю смѣну дѣйствій, живость разсказа съ дѣловитостью. Притомъ разсказъ проникнутъ добродушнымъ юморомъ, вполне доступнымъ дѣтямъ; наконецъ, юные читатели встрѣчаютъ безпрестанно вполне здравые и нравственные взгляды, которые естественно вытекаютъ изъ хода дѣйствія, а это, конечно, не то, что докучливая голая мораль, которою такъ часто донимаютъ дѣтей многіе писатели и писательницы дѣтскихъ разсказовъ. Пересказы русскихъ простонародныхъ сказокъ тоже очень удачны, иностранныя сказки почти всѣ граціозны и остроумны. Книга издана весьма изящно,

на прекрасной бумагѣ, четкимъ шрифтомъ, украшена множествомъ рисунковъ, и ее можно рекомендовать какъ прекрасный подарокъ дѣтямъ» («Женскогъ Образованіе»).

«Отличительная черта Авенаріуса, какъ дѣтскаго писателя, — это стремленіе избѣгнуть того условно-дѣтскаго языка и условно-дѣтской морали, которые для сколько-нибудь смысленныхъ дѣтей дѣлаютъ такъ непривлекательной огромную часть нашей дѣтской литературы. Авенаріусъ старается обработать выбираемые имъ сюжеты по возможности «взросло» и сообщать дѣтямъ, на сколько это доступно ихъ пониманію, вполне «взрослую» мораль. Такъ, напр., наиболее популярная сказка А. — «Пчела-Мохнатка» старается разъяснить юнымъ читателямъ, что высшая задача человѣка на землѣ — трудиться для блага общественнаго» («Критико-біогр. словарь русск. писателей и ученыхъ» С. Венгерова).

### III.

#### «Листки изъ дѣтскихъ воспоминаній».

Десять автобіографическихъ разсказовъ. Съ портретомъ автора, гравированнымъ на деревѣ Кизелемъ въ Берлинѣ и съ 14 отдѣльными рисунками Н. П. Загорскаго и Т. И. Никитина. Цѣна 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплетѣ 2 р.

#### Содержаніе.

I. Ночные страхи. — II. Какъ я былъ разнощикомъ. — III. У своихъ въ гостяхъ. — IV. Какъ мы купались. — V. Разбойничья исторія безъ разбойниковъ. — VI. Пѣвунья-птичка. — VII. Какъ мы проводили каникулы. — VIII. Первый воробей и первая утка. — IX. День Петра и Павла. — X. Экзамены и семейная катастрофа.

### IV.

#### МОЛОДИЛЬНЫЯ ЯБЛОКИ.

Сказка-поэма. Съ рисунками. Ц. 10 к. Учебнымъ Комитетомъ вѣдомства Императрицы Маріи допущена въ ученическія бібліотеки среднихъ и низшихъ классовъ средн. учебн. учебныхъ заведеній.



## V.

## «Отроческіе годы Пушкина».

Біографическая повѣсть. Изданіе 2-е, съ портретомъ Пушкина. Цѣна 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р. Въ первомъ изданіи одобрено *Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ и фундаментальныхъ бібліотекъ среднихъ учебныхъ заведеній мужскихъ и женскихъ. *Рекомендовано Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи для чтенія въ трехъ старшихъ классахъ, а также для подарковъ.

## Содержаніе по главамъ.

I. Поэтъ-дядя и поэтъ-племянникъ.—II. Въ ожиданіи экзамена.—III. Экзаменъ.—IV. Молодое вино бродитъ.—V. Молодое вино бурлитъ.—VI. Первый привѣтъ лица.—VII. Нановосельи.—VIII. Тюрьма или клѣтка?—IX. Открытіе лица.—X. Колесо завертѣлось.—XI. Первая «проба пера».—XII. Штрафной билетъ.—XIII. Правнукъ Петра Великаго.—XIV. Первый расцвѣтъ лицейской музы.—XV. Война 1812 года (Первый періодъ).—XVII. Гувернеръ-театраль.—XVIII. Театральная горячка и роковой исходъ ея.—XVIII. Война 1812 года. (Второй періодъ).—XIX. Стихотворныя шалости.—XX. Литературныя розы и тернія.—XX. Книги Веды.

**Отзывы печати:** «Счастливая мысль—нарисовать въ живыхъ образахъ, на основаніи точныхъ біографическихъ данныхъ и историческихъ источниковъ, дѣтство и отрочество великаго поэта—выполнена авторомъ съ большимъ успѣхомъ. Повидимому, книга его назначена для юношескаго возраста; но живость изложенія, масса интересныхъ бытовыхъ и фактическихъ подробностей изъ жизни нашего вѣка, рельефно очерченная личность Пушкина въ средѣ его товарищей—даютъ книгѣ этой право на болѣе широкій и зрѣлый кругъ читателей. Нѣкоторыя главы ея, напр. «Война 1812 г.» или «Открытіе лица», представляютъ собою маленькія историческія картинки, написанныя съ большимъ умѣніемъ» («*Вѣстникъ Европы*»).

„Написать повѣсть для дѣтей, хотя-бы и старшаго возраста, изъ жизни Пушкина—не могло не казаться дѣломъ рискованнымъ, трудно выполнимымъ. Многіе несомнѣнно отнеслись недовѣрчиво къ предпріятію, изъ котораго, однако г.

Авенариусъ вышелъ съ честью. Все, что говоритъ и дѣлаетъ Пушкинъ, характеристика его товарищей, гувернеровъ, учителей, прислуги лица, директора Малиновскаго, дяди поэта, А. И. Тургенева, А. К. Разумовскаго и другихъ лицъ,—основано на документальныхъ свидѣтельствахъ того времени. Такой-же исторической и археологической точностію отличается описаніе лица, его открытія, товарищескихъ бесѣдъ и шалостей, первыхъ литературныхъ попытокъ изданія лицейскихъ журналовъ, неудачной театральной попытки, заключенія поэта въ карцеръ съ пятью товарищами“ („Историч. Вѣстникъ“).

## VI.

### Сказка о Муравьѣ-Богатырѣ.

Разсказъ для дѣтей. Съ рисунками Н. Н. Каразина. Новое 3-е изд. Ц. 50 к. *Ученымъ Комитетомъ* вѣдомства учреждений Императрицы Маріи допущена въ ученическія библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

## VII.

### «Юношескіе годы Пушкина».

Біографическая повѣсть. Изд. 2-е, съ 6-ю портретами и 3-мя картинками. Цѣна 1 р. 75 к., въ папкѣ 2 р., въ изящномъ коленкор. переплетѣ 2 р. 50 к. Въ первомъ изданіи одобрено *Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ и фундаментальныхъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній мужскихъ и женскихъ, и *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи для ученическихъ библіотекъ старшихъ классовъ.

### Содержаніе по главамъ.

I. Лицейское междуцарствіе.—II. На Розовомъ полѣ.—III. Предатели-друзья.—IV. Павловскій праздникъ—V. Дивертисементъ.—VI и VII. Два дня у Державина.—VIII. Убѣжище лицейстовъ.—IX. Державинъ въ лицѣ.—X. Жуковскій.—XI. «Бесѣдчики» и «Арзамасцы».—XII. Лицейскій Донъ-Кихоть.—XIII. Мракобѣсіе ли-

ценстовъ.—XIV. Конецъ междуцарствія.—XV. Директоръ Энгельгардтъ.—XVI. Пушкинъ и Энгельгардтъ.—XVII. Дядя Василій Львовичъ.—XVIII. Въ «Арзамасѣ».—XIX. Опять дядя и племянникъ.—XX. Карамзинъ.—XXI. Господа лейбъ-гусары.—XXII. Заговорило ретивое.—XXIII. Яблочная экспедиція.—XXIV. Послѣдніе подвиги.—XXV. Выпускъ изъ лицея.—XXVI. За стѣнами лицея.—XXVII. Эпилогъ.

**Отзывы печати:** «Вотъ въ полномъ смыслѣ слова «историческая повѣсть»: тутъ все вѣрно исторіи и ея документамъ: тутъ встаютъ въ воображеніи читателя живыя лица и заставляютъ переживать съ ними описываемыя талантливымъ авторомъ событія; тутъ все полно интереса, приковывающаго вниманіе читателей. Ей—это мы предсказываемъ съ полною увѣренностью—предстоитъ сдѣлаться одною изъ любимѣйшихъ книгъ русскаго юношества» (*«Русскія Вѣдомости»*)

«Отъ повѣсти г. Авенаріуса вѣетъ любовью къ Пушкину и его сверстникамъ, описываемымъ въ книгѣ, вѣетъ бодростію и свѣжестію, свойственными молодости. Читается это книга съ интересомъ не только внѣшнимъ, которымъ она обязана бойкости пера г. Авенаріуса,—нѣтъ, тутъ дѣти находятъ и внутренній интересъ, пріобрѣтаютъ серьезныя и обстоятельныя свѣдѣнія о молодости роднаго поэта, которыя очень и очень пригодятся имъ для уясненія его творчества и развитія въ немъ поэтическаго генія. Скажемъ болѣе: повѣсть г. Авенаріуса, по своей глубокой, такъ-сказать, историчности, должна занять одно изъ первыхъ мѣстъ не только въ дѣтской литературѣ, но ей предстоитъ занять весьма почтенное мѣсто среди серьезныхъ историко-литературныхъ изслѣдованій» (*„Русская Мысль“*).



## Въ книжномъ магазинѣ П. В. Луковникова,

С.-Петербургъ, Лештуковъ переулокъ, д. № 2,

ПРОДАЮТСЯ, МЕЖДУ ПРОЧИМИ, СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

### Книги, составленныя А. Н. Острогорскимъ:

**По бѣлу-свѣту.** Сборникъ разсказовъ. Изданіе 3-е, исправл., съ рисунками. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ коленк. переп. съ золотомъ 1 р. 60 к. *Одобрено Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній.

**У рабочихъ людей.** Сборникъ разсказовъ. Изд. 3-е, исправл., съ рисунками Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ коленкоровомъ переплетѣ съ золотомъ 1 р. 60 к. *Одобрено Ученымъ Ком. М-ва Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ библіотекъ гимназій и училищъ мужскихъ и женскихъ и для *наградъ учащимся.*

**Въ своемъ кругу.** Повѣсти и разсказы. Изд. 3-е, исправл., съ рисунками. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ коленкор. перепл. съ золот. 2 р. *Одобрено Ученымъ Ком. М-ва Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ (младш. возр.) библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній.

**Дѣтскій альманахъ.** Сборникъ разсказовъ. Изд. 3-е, исправл., съ рисунк. Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ колен. перепл. съ зол. 1 р. 60 к. *Одобрено Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщ.* для ученич. биб. младш. возр. гимназій и училищъ мужскихъ и женскихъ.

**На досугѣ.** Этюды по естествознанію. Съ рисунк. Изд. 2-е, Ц. 1 р., въ папкѣ 1 р. 25 к., въ переплетѣ съ золотомъ 1 р. 60 к. *Одобрено Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній.

**Среди природы.** Съ рисунками. Изд. 2-е, пересмотрѣнное. Цѣна 1 р. 30 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ коленкоров. переплетѣ съ золотомъ 2 р. Значится въ каталогѣ ученическихъ библіотекъ *среднихъ учебныхъ заведеній* вѣдомства Мин. Народ. Просв.

### Отдѣльные выпуски разсказовъ изъ первыхъ трехъ книгъ.

**Альпійская горная область,** разсказъ. Ц. 10 к. **Восхождение Соссюра на Монбланъ,** разсказъ. Ц. 10 к. *Одобрены Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній. **Листокъ бумаги и Старыя книги,** два разсказа. Ц. 10 к. **Безпокойная ночь,** разсказъ. Ц. 10 к. **Георгъ Краббъ,** англійскій поэтъ. Ц. 10 к. *Одобрены Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ библіотекъ младш. возр. гимназій и училищъ мужскихъ и женскихъ. **Прерванная вечеринка,** разсказъ, Ц. 10 к. **Дробинка,** разсказъ. Ц. 10 к. **Рыбы,** два разсказа. Ц. 10 к. **Рыбаки на Волгѣ,** три разсказа. Ц. 10 к. *Одобрены Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ (младш. возр.) библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. **Друзья и враги сельскаго хозяина,** разсказъ. Ц. 10 к. *Допущено Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ (младш. возр.) библіотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. **Польза прирученія животныхъ,** разск. Ц. 10 к. **Первобытныя лѣса,** разск. Ц. 10 к.

**Ученымъ Комитетомъ при Святѣйш. Синодѣ** допущены къ приобрѣтенію въ ученическія библіотеки мужскихъ духовныхъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ въ качествѣ книгъ для дѣтскаго чтенія.

Допущены Ученымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ къ приобрѣтенію въ ученическія библіотеки мужскихъ духовныхъ и женскихъ епархіальныхъ училищъ, въ качествѣ книгъ для дѣтскаго чтенія.

## ВОКРУГЪ СВѢТА

### ВЪ ОДИННАДЦАТЬ МѢСЯЦЕВЪ.

Путевыя записки Анны Брассей. Въ сокращенномъ переводѣ Н. И. Познякова. Съ картинами и рисунками. Цѣна 1 руб., въ папкѣ 1 руб. 25 коп., въ коленкоровомъ переплетѣ съ золотомъ 1 руб. 60 коп.











UK 301691

12-

RECEIVED  
Mar. 12 07  
P. 5  
032519



12  
67



